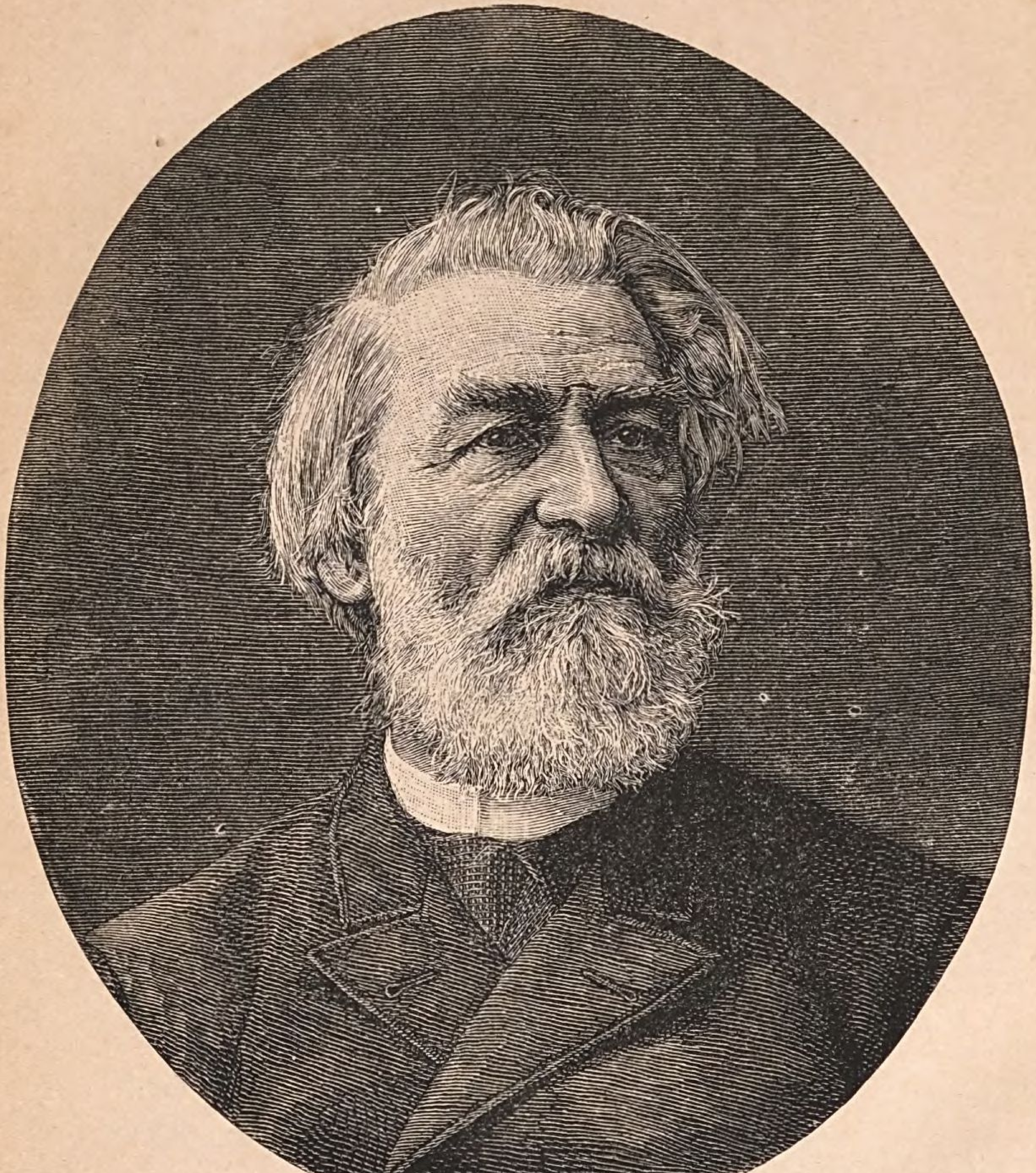
БИБЛІОТЕКА К. Х. КЕЛЬДАЛЯ
ПОЛКА 25
№ ПО ПОРЯДКУ
19

P. o. rel. Grigorovič
3073 b/(9

BAYERISCHE
STAATS-
BIBLIOTHEK
MUENCHEN

Изд. П. Г. Мартынова.



Дозволено цензурою. СПБ.
21 Апрѣля 1889 г.

Типографія В. Безобразова и К°.
(В. О., 8 л., д. № 45).

Полное собраніе сочиненій

Д. В. ГРИГОРОВИЧА.

Н. Г. Мартыновъ

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

СОЧИНЕНІЙ

Дм. Вас. Григоровича.

ТОМЪ ДЕВЯТЫЙ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

1890.

КОРАБЛЬ РЕТВИЗАНЪ.

ГОДЪ ВЪ ЕВРОПѢ

И НА

ЕВРОПЕЙСКИХЪ МОРЯХЪ.

ПУТЕВЫЯ ВПЕЧАТЛѢНІЯ И ВОСПОМИНАНІЯ

Д. В. Григоровича.

Съ портретомъ автора рѣзаннымъ на деревѣ художникомъ
В. Матэ.

Четвертое изданіе.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе книгопродавца Н. Г. Мартынова.
1890.

BAYERISCHE
STAATS-
BIBLIOTHEK
MUENCHEN

Типографія Товарищества „Общественная Польза“, Больш. Подъяч., 39.

BAYERISCHE STAATS-BIBLIOTHEK MUENCHEN

ОГЛАВЛЕНІЕ.

Корабль Ретвизанъ.

СТРАН.

ГЛАВА I. Что заставило автора перемѣнить почву мирнаго сельскаго коноплянника на корабельную палубу.—Визиты.—Кронштадтъ.—„Ретвизанъ" и купеческая гавань.—Морская поговорка.—Винтъ съ флюсомъ.—Поэтическія мечты, вызванныя созерцаніемъ Кронштадта.—Таинственный подводный врагъ.—Докъ снова принимаетъ „Ретвизанъ" въ свои отеческія объятія.—На рейдѣ.—Проводы.—Лейтенантъ В*.—На „Ретвизанѣ" оказывается знаменитый итальянецъ.—Первыя впечатлѣнія на ютѣ и на бакѣ.—Очевидность прогресса.—Корабельные звуки.—О. Р Ш*.—Поваръ турецкаго посланника.—Готландъ.—Ревель.—Ретвизанская каютъ-компанія.—Море 9

ГЛАВА II. Кронштадтскіе Филемонъ и Бавкида.—Что такое „деньщикъ".—Горе отъ генеральскаго чина.—Изъ Харибды въ Сциллу.—Корабельный писарь.—Какъ матросы пьютъ водку.—Боцманъ Вороновъ (физіологическій очеркъ)—Опять Мишель Пупо.—Ночная тревога.—Ниборгъ.—Корсеръ.—Ночь на пароходѣ.—Киль утромъ.—Голштинскій пейзажъ изъ оконъ вагоновъ желѣзной дороги.—Гамбургъ.—Чуть-чуть не разбиты въ дребезги.—Поѣзда въ Копенгагенъ.—Датскій ландшафтъ.—Копенгагенъ. Снова въ Ниборгѣ и въ добавокъ еще на большомъ обѣдѣ и на балѣ.—Ниборгское общество и преимущественно дамы.—Ретвизанъ печетъ несмѣтное количество пироговъ и накрываетъ на столъ.—Пиръ Вальтазара.—Снимается съ якоря. 55

ГЛАВА III. Сѣрыя впечатлѣнія.—Констапельская и молюски.—Вѣтеръ для перваго знакомства, рекомендуетъ себя очень дурно.—Рифы.—Удовольствія лавировки и хожденіе галсами.—Печальная сцена.—Отъ горя къ радости, отъ радости къ горю.—Машина нездорова.—Изложеніе со всѣми подробностями красотъ морской бури.—Выборы и замѣчанія по этому поводу.—Подкинутый ребенокъ.—Образчикъ матросскаго нарѣчія.—Капитанъ Кутль.—Англійскій каналъ и два берега.—Англійскій ботикъ.—Приготовленія, прерванныя разсказомъ.—Морская поговорка снова оправдывается. Французскіе лоцмана.—Бретонскіе берега и Брестъ 127

ГЛАВА IV. Парижскія впечатлѣнія.—Отъѣздъ изъ Бреста.—Многосложная біографія.—Виды Бретани.—Первое впечатлѣніе.—Бульвары при вечернемъ освѣщеніи.—Домъ Дюма-отца.—Фланерство.—Тюльерійскій садъ и дворецъ.—Пале-Рояль.—Богатство и мизерность во образѣ café des aveugles et du sauvage.—Соотечественникъ.—Ambigu comique.—Гризетка.—Машинистъ и писатель.—Змѣя, выдержавшая 150 представленій

СТРАН.

сряду.— М. В. пропадаетъ. — Луврь. — Соборъ Богоматери. — Дюма-сынъ.—Картина съ натуры въ мрачномъ вкусѣ.— M-lle Rosalba.—Мабиль и его нравы.—Роскошь.—Заключенiе. . . . 154

ГЛАВА V. Уголокъ океана.—Лоцманъ.- Кадиксъ.—Первыя впечатлѣнiя.—Фонда Vista Allegri.—Alameda.—Историческiя замѣтки.— Какъ въ одно и то-же время, одни укрываются отъ зноя, другiе прячутся отъ холода.—Площадь S. Antonio.—Кадиксъ вечеромъ.—Женщины.—Puerto di tierra.—Кладбище.—Трагикомическое положенiе.- Кое-что о нравахъ. Соборъ и рѣзная деревянная мадонна.- Общiй видъ на Кадиксъ 206

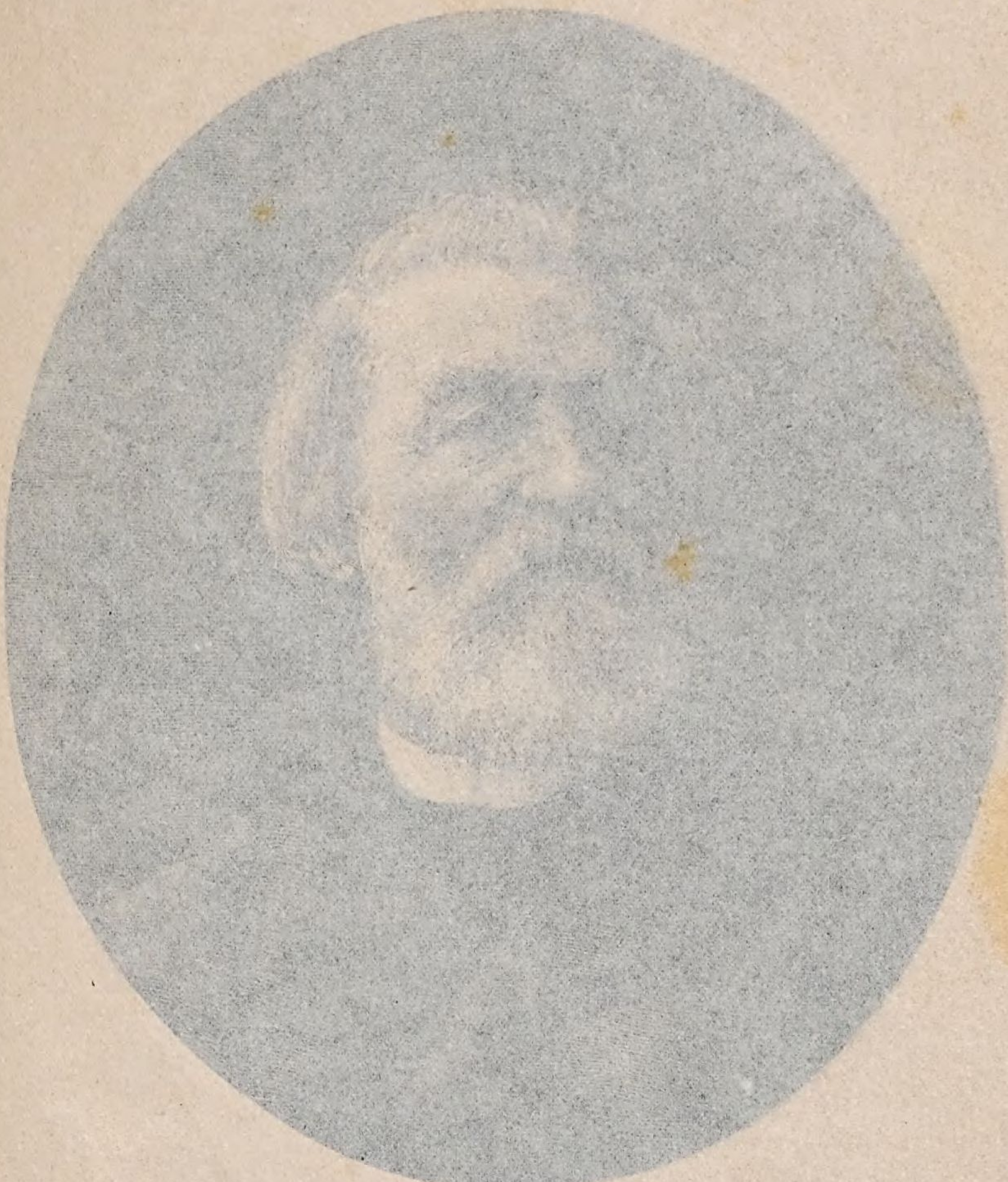
ГЛАВА VI. Уголокъ Андалузiи.- Разлука съ Кадиксомъ. —Пароходъ —Tortillas per herbas.— Пассажиры.— Берега Гвадалквивира.— Прiѣздъ въ Севилью.—Первое впечатлѣнiе.- Фонда de Paris.—Разсказы.—Севилья ночью. Нѣсколько словъ о нравахъ.—Угро.—Севилья днемъ —Хиральда.— Соборъ —La Caridat.—Легенда о Донъ-Хуанѣ.—Натурализмъ.—Св. Феликсъ de contalicio.—Драгоцѣнное фланерство.— Перiана.—Торговая площадь.—Церковная процессiя — Религiозность. - Поѣздка въ Alcala.—Дороги.—Происшествiе.—Въ театрѣ.—Зала нацiональныхъ танцевъ.- Бонавца.—Дорога и страна.—Разочарованiе.—Хересъ.—Puerto St-Maria —Возвращенiе въ гавань Кадикса. . 238

ГЛАВА VII. Сѣверъ на югѣ.—Черта изъ корабельныхъ нравовъ — Вилла-франка —Интересная соотечественница.—Мишель Пупо снова выступаетъ на сцену —Ницца à vol d'oiseau.—Цвѣточная лавка.—Прогулка англичанъ. — Table d'hôte. — M-r Sotumier.—Ущелье Маньяно. —Генуя.—Общее впечатлѣнiе. Снова въ Ниццѣ.—Несостоявшiйся клубъ.—Неудобства.—Прiятная встрѣча съ соотечественникомъ.—Закладка русской церкви.— Прогулка въ St-Jean 305

КОРАБЛЬ РЕТВИЗАНЪ.

1858—1859 гг.

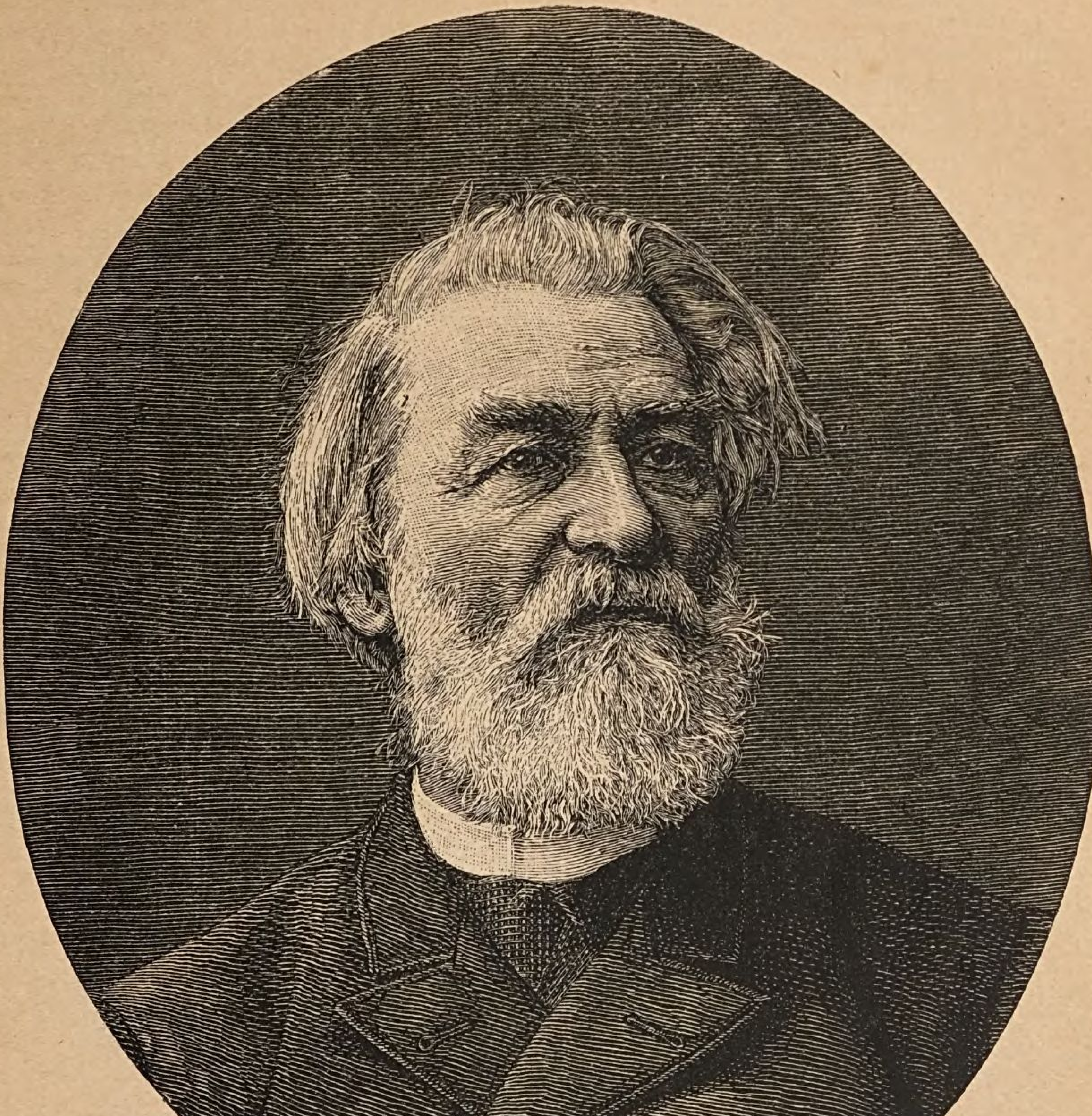
Изд. П. Г. Мартынова.



Дозволено цензурою. СПБ.
21 Апрѣля 1889 г.

Типографія Е. [illegible]
[illegible]

Изд. Н. Г. Мартынова.



Дозволено цензурою. СПБ.
21 Апрѣля 1889 г.

Типографія В. Безобразова и К°.
(В. О., 8 л., д. № 45).

КОРАБЛЬ «РЕТВИЗАНЪ».

(Годъ въ Европѣ и на европейскихъ моряхъ).

I.

Что заставило автора перемѣнить почву мирнаго сельскаго коноплянника на корабельную палубу. — Визиты. — Кронштадтъ. — „Ретвизанъ" и купеческая гавань. — Морская поговорка — Винтъ съ флюсомъ. — Поэтическія мечты, вызванныя созерцаніемъ Кронштадта — Таинственный подводный врагъ. — Докъ снова принимаетъ „Ретвизанъ" въ свои отеческія объятія. — На рейдѣ. — Проводы. — Лейтенантъ В*. — На „Ретвизанѣ" оказывается знаменитый итальянецъ.—Первыя впечатлѣнія на ютѣ и на бакѣ.— Очевидность прогресса.—Корабельные звуки.—О Р. Ш*.—Поваръ турецкаго посланника. — Гогландъ. — Ревель.—Ретвизанская каютъ-компанія.— Море.

Въ первыхъ числахъ Мая 1858 года, авторъ этихъ похожденій, столько же сухопутныхъ, какъ вы увидите, сколько и мореходныхъ,—смиренно проживалъ въ одномъ изъ самыхъ глухихъ, отдаленнѣйшихъ уголковъ Россіи, когда неожиданно получено было имъ письмо такого содержанія:

— „Корабль „Ретвизанъ" сымается съ якоря пятнадцатаго мая съ тѣмъ, чтобы отправиться на годичное плаваніе въ Средиземное море. Предупреждаю: корабль уходитъ изъ Кронштадта 15 числа „навѣрное" (послѣднее слово было дважды подчеркнуто); примите-же ваши мѣры и Бога ради не опоздайте..."

Письмо было отъ одного изъ моихъ литературныхъ товарищей.

Дня два спустя я сидѣлъ въ вагонѣ желѣзной дороги и стремительно летѣлъ въ Петербургъ.

Но здѣсь, читатель, заинтересованный не столько конечно личностію автора, сколько странностію новыхъ отношеній литературы къ кораблямъ и экспедиціямъ, скажетъ вѣроятно: „съ какой-же стати литератору писать другому литератору о такомъ предметѣ? Корабль, сколько намъ до сихъ поръ извѣстно,—самъ по себѣ,—литераторъ также самъ по себѣ; первый составляетъ неотъемлемую принадлежность морского министерства, второй, сколько извѣстно, не принадлежотъ никакому вѣдомству и министерству; связи между ними никогда не существовало; рѣшительно нѣтъ ничего общаго... Общее въ томъ развѣ, что корабль строится изъ дуба, тогда какъ перо литератора добывается изъ гуся или выбивается изъ стали...“

Все это, прибавлю я съ своей стороны,—какъ нельзя болѣе справедливо.

Вотъ въ чемъ дѣло однакожъ и какъ все это случилось.

Мѣсяцевъ за шесть до описываемыхъ событій, въ домѣ одного литератора говорили о превосходныхъ статьяхъ г. Шестакова въ Морскомъ Сборникѣ.

— Кстати о моряхъ и мореходахъ, сказалъ П*, хозяинъ дома,—нынѣшній годъ снова назначены морскія экспедиціи, даже цѣлыхъ три: одна на Амуръ, другая въ Пирей, въ Грецію, третья въ Средиземное море; морское министерство не шутя начинаетъ вести дѣла свои en grand!.. Знаете-ли также, что на каждую изъ этихъ экспедицій приглашаются литераторы? я знаю это изъ самыхъ достовѣрныхъ источниковъ; меня просили даже узнать нѣтъ-ли желающихъ... Не хотите-ли, господа? Стоитъ сказать „да“—я передамъ объ этомъ кому слѣдуетъ, и дѣло рѣшено! Неугодно-ли, напримѣръ, кому нибудь на Амуръ?

— Слишкомъ ужъ что-то далеко... отозвались присутствующіе.

— Ну такъ въ Пирей, въ Грецію...

— На сколько времени?

— Не знаю навѣрное... кажется на годъ...

— Слишкомъ неопредѣленно...

— Ну такъ въ Средиземное море...

— На сколько времени?

— На годъ!—всего только на одинъ годъ, господа! сказалъ П* нѣсколько даже умиленнымъ голосомъ:—такой экспедиціи у насъ еще не было; это собственно не столько сухая, скучная экспедиція, сколько пикникъ.

— Какъ пикникъ?

— Да, пикникъ! Мнѣ говорилъ объ этомъ одинъ господинъ, которому дѣло знакомо какъ собственная ладонь; начать съ того: корабль, — одно изъ лучшихъ судовъ нашего флота; на немъ восемьсотъ человѣкъ экипажа и восемьдесятъ четыре пушки... но впрочемъ, для васъ, я полагаю, это вовсе не интересно; главное то, что корабль зайдетъ поочередно во всѣ порты Европы; изъ Кронштадта онъ отправится въ Копенгагенъ, оттуда въ Шербургъ (замѣтьте: рукой только подать до Парижа!), — потомъ пойдутъ въ Кадиксъ; въ Кадиксѣ вѣрно воспользуются случаемъ и съѣздятъ въ Севилью; тамъ въ Ниццу, Геную...

Я сталъ внимательно прислушиваться.

— Изъ Генуи, подхватилъ П*, замѣтивъ мой взглядъ и преимущественно обращаясь ко мнѣ,—изъ Генуи пойдутъ въ Чивитта-Веккію (замѣтьте опять, рукой подать до Рима!), изъ Рима въ Неаполь, изъ Неаполя въ Сицилію. Вы увидите Палермо, Сиракузы, Мессину...

Я сдѣлался еще внимательнѣе.

— Повторяю вамъ, господа, продолжалъ П* замѣтно воодушевляясь,—все это, въ общей сложности, составитъ очаровательнѣйшую, поэтическую прогулку, какую когда либо приходилось дѣлать человѣку!.. Не будь у меня на рукахъ дѣйствительно серьезныхъ дѣлъ по журналу, не будь я связанъ теперешними обстоятельствами, — я бы ни на секунду не призадумался... Вотъ вы Г*, примолвилъ онъ неожиданно становясь передо мною,—вы, который слушаете теперь съ такимъ вниманіемъ, — скажите на милость, отчего-бы вамъ напримѣръ не поѣхать? Вы, съ тѣхъ поръ какъ я васъ знаю,—а это очень давно,—вы не перестаете мечтать и говорить о путешествіяхъ за границу, вы такъ страстно порывались всегда въ Италію:—вотъ случай! другого такого случая никогда уже не встрѣтится!..

— Все это очень хорошо, промолвилъ я, — но нельзя-же вдругъ...

— Въ чемъ-же остановка? нетерпѣливо перебилъ П*.

— Желательно было-бы знать прежде всего, продолжалъ я,— съ какою цѣлью пригласятъ меня на корабль? Чего тамъ отъ меня потребуютъ, что имѣется при этомъ въ виду? Что лежитъ въ основаніи этой экспедиціи по Средиземному морю?..

— Цѣль экспедиціи мнѣ незнакома, возразилъ П*; —но дѣло не въ этомъ; дѣло въ фактѣ, а фактъ тотъ, что вамъ предста-

вляется удивительный случай ѣхать въ Средиземное море и побывать въ Италіи, которую вы такъ любите. Что-жъ касается собственно до цѣли, съ какой приглашають въ экспедицію литератора, — цѣль самая простая, естественная: вы поѣдете на томъ-же основаніи, какъ Гончаровъ ѣздилъ въ Японію, — съ тою разницею однакожъ, что Гончаровъ плавалъ три года, испытывалъ всевозможныя невзгоды, бури, штормы, и проч. — съ вами ничего этого не случится... Средиземное море, сравнительно съ другими морями и океанами, это салонъ, гостиная; оно отъ нихъ отличается столько же изяществомъ и прелестью своихъ формъ, сколько утонченною деликатностью обращенія... Обязательства ваши въ отношеніи къ морскому министерству будутъ заключаться въ слѣдующемъ: изощряйте вашу наблюдательность и передавайте на бумагу какъ можно болѣе правдиво и живописно ваши впечатлѣнія. Статьи ваши будутъ печататься въ Морскомъ Сборникѣ; цѣль этого изданія вамъ извѣстна: цѣль, — польза, которая непосредственно истекаетъ изъ правды, — той правды, которой мы до сихъ поръ такъ боялись! Зная направленіе журнала, вамъ тѣмъ болѣе легко будетъ удовлетворить его требованіямъ, что сами вы всегда раздѣляли его убѣжденія...

— Дѣйствительно все это очень соблазнительно, сказалъ я.

— Еще бы! радостно воскликнулъ П*, — главное, такого случая уже болѣе не повторится: — ловите его, дорогой другъ; ловите, говорю вамъ, — ловите! присовокупилъ онъ разгорячаясь и убѣдительно размахивая руками.

— Что-жъ, я не прочь... вырвалось у меня невольно.

— По обыкновенію своему, Г* не шутя начинаетъ кажется увлекаться, сказалъ посмѣиваясь одинъ изъ собесѣдниковъ, — о! велика ты твердость воли и несокрушимая сила убѣжденій! Вспомните однакожъ, господа, зачѣмъ часъ тому назадъ явился сюда Г*! Онъ явился питая въ душѣ твердое, непоколебимое намѣреніе уѣхать въ свое захолустье, въ свой коноплянникъ, какъ выражается П*, — съ тѣмъ чтобы прожить тамъ безвыѣздно годъ и писать романъ...

— Скажи пожалуста, перебилъ П* раздражаясь, — какое тебѣ дѣло до этого?

— Дѣла нѣтъ никакого...

— Изъ чего же ты горячишься и хлопочешь? продолжалъ П*.

— А ты изъ чего горячишься и хлопочешь? спросилъ собесѣдникъ.

— Я убѣждаю Г* ѣхать, имѣя въ виду его же собственную

пользу; я знаю какъ онъ любитъ путешествовать и хочу, чтобы онъ увидѣлъ Италію... Оставь пожалуйста Г* увлекаться сколько ему угодно...

— Но Г* такъ охотно соглашается потому только, что понятія не имѣетъ о морѣ; бьюсь объ закладъ, Г* кромѣ какъ на картинкахъ не видалъ даже моря...

— Почти что такъ...

— Вы не плавали даже по Финскому заливу дальше Петергофа?

— Нѣтъ...

— Не видали даже въ глаза линейнаго корабля?

— Нѣтъ!

— Я вижу только, вижу, что насколько мнѣ хочется, чтобы Г* ѣхалъ на кораблѣ, настолько тебѣ этого не хочется, перебилъ П*; — повторяю тебѣ: изъ чего ты хлопочешь?

— А я повторяю: изъ чего ты хлопочешь?

— Я уже сказалъ, что убѣждаю Г*, имѣя въ виду исключительно его пользу...

— Не вѣришь-ли ты также въ его влеченье къ морю?.. смѣясь перебилъ собесѣдникъ; — взгляни на него: взглядъ этотъ долженъ убѣдить тебя сразу въ его неспособности къ морскимъ похожденіямъ; у него нѣтъ морскихъ ногъ, — это очевидно, и сверхъ того, — это мое убѣжденіе, — онъ въ сильнѣйшемъ градусѣ долженъ быть подверженъ морской болѣзни... Г* думаетъ вѣроятно, что море, по которому онъ собирается странствовать, тоже, что море ржи и коноплянника, которое описываетъ онъ въ своихъ романахъ...

— Не думаю... возразилъ я, невольно настраиваясь подъ общій веселый ладъ, — если на то пошло, я скажу вамъ, что постоянно, всегда чувствовалъ большое влеченіе къ морю.

— Гдѣ это?.. не въ Тульской ли губерніи?..

— Именно.

— Этого только не доставало!

— Берусь даже доказать это.

— Долго будетъ продожаться доказательство?

— Нѣтъ, всего минуту.

— Доказывайте!

— Извольте; если хотите знать, море, или вода, все равно, начали увлекать меня съ самаго дѣтства: лѣтъ четырехъ, переѣзжая на лодкѣ чрезъ большую рѣку, я повисъ на рулѣ, — оборвался и упалъ въ воду; лѣтъ тринадцати, купаясь въ Петергофѣ, я хо- верхомъ на одно изъ бревенъ, которыми обнесено мѣ-

сто для купанья,—перевалился на другую сторону,—и пошелъ ко дну какъ камень; лѣтъ двадцати, стоя на плотѣ на рѣчкѣ Смедвѣ, я поскользнулся и прямехонько шлепнулся въ воду; далѣе, когда я вступилъ уже въ зрѣлыя лѣта,—и это засвидѣтельствуетъ присутствующій здѣсь П*—я съ особеннымъ удовольствіемъ ѣздилъ къ нему въ Ораніенбаумъ на дачу и тамъ, по цѣлымъ днямъ, съ утра и до вечера прогуливался по берегу Финскаго залива,—и какъ еще прогуливался:—не выпуская изъ рукъ зрительной морской трубы!.. Все это ясно кажется говоритъ въ пользу моего влеченья къ водѣ... Но если мало вамъ такихъ доказательствъ,—я заключу тѣмъ, что совершенно соглашаюсь съ П* и готовъ самымъ серьезнымъ образомъ принять приглашеніе морского министерства!

— Не можетъ быть, воскликнули всѣ въ одинъ голосъ.

— Серьезно...

— И вы не шутите? спросилъ П*, подпрыгивая отъ восхищенья.

— Нисколько.

— Браво! закричалъ П*, открывая мнѣ свои объятья.

Мы обнялись и тутъ же разразились самымъ неистовымъ смѣхомъ, какой выходилъ только изъ груди человѣческой.

Разговоръ этотъ, имѣвшій отъ начала до конца шутливый характеръ, рѣшилъ однакожъ тѣмъ не менѣе мою судьбу по крайней мѣрѣ на годъ.

На другой же день получилъ я форменную, офиціальную бумагу; морское министерство приглашало меня идти въ Средиземное море и просило письменнаго согласія, въ случаѣ если я согласенъ.

Случись все это дня черезъ два или три—я бы по всей вѣроятности отказался,—тѣмъ бы конечно дѣло и кончилось. Но послѣ вчерашняго разговора мысли настроены были къ путешествіямъ; къ тому же доводы П* живо еще представлялись памяти и подогрѣвали воображеніе.—Я подписалъ бумагу.

Начало плаванія назначено было къ маю будущаго года; былъ тогда январь мѣсяцъ; въ ожиданіи будущаго странствія, я отправился въ свое захолустье,—гдѣ и прожилъ до той минуты, пока не получилъ письма, выставленнаго въ началѣ главы.

Сколько я себя помню,—меня постоянно преслѣдуетъ страхъ не поспѣть ко времени, преслѣдуетъ мысль, что я непремѣнно опоздаю на свиданіе или не явлюсь къ назначенному сроку. На этомъ основаніи я всю жизнь мою являюсь на вечера прежде чѣмъ тамъ зажгутъ свѣчи и лампы,—являюсь на желѣзную дорогу часа за два

до отправленія,—на свиданье, назначенное пріятелемъ, въ то время, когда пріятель спитъ еще крѣпкимъ сномъ, и т. д. Можете судить, что́ сталось со мною при полученіи этого письма.

— „Сегодня пятое число, говорилъ я, суетясь какъ человѣкъ запертый въ комнатѣ въ такую минуту, когда кругомъ раздаются крики „пожаръ!“,—„Ретвизанъ“, сымается съ якоря пятнадцатаго; остается всего слѣдовательно десять дней... Десять дней!—и въ это время надо успѣть доѣхать до Москвы, пріѣхать въ Петербургъ, успѣть сдѣлать кой-какія распоряженія и необходимыя дорожныя покупки...“

Дней пять спустя я подъѣзжалъ уже къ Петербургу.

Первымъ дѣломъ моимъ было броситься въ дрожки и поскакать въ адмиралтейство.

При входѣ въ главныя ворота этого зданія,—я почувствовалъ однакожъ, что надо поневолѣ укротить порывы своего нетерпѣнія и охладиться. Я увидѣлъ себя въ положеніи человѣка, попавшаго неожиданно съ страну совершенно незнакомую, — точно въ другой міръ какой-то.

Вправо шла галлерея со сводами, которая тянулась безконечно и, казалось, пропадала въ неизвѣстности; на лѣво точно въ зеркалѣ отражалась такая же точно перспектива; тамъ и сямъ сновали люди въ фуражкахъ и курткахъ со свѣтлыми пуговицами.

— Скажите пожалуйста, обратился я къ первому встрѣтившемуся туземцу,—гдѣ здѣсь можно узнать о корабляхъ, которые отправляются изъ Кронштадта въ заграничное плаваніе?

— Не могу знать! возразилъ туземецъ, вытягиваясь по швамъ.

Онъ очевидно былъ изъ русскихъ;—меня это значительно ободрило: я поочередно началъ обращаться съ моимъ вопросомъ къ каждому, кто только попадался на встрѣчу.

Отвѣтъ былъ неизмѣнно одинъ и тотъ же.

Не знаю, сколько пришлось бы бродить по этому лабиринту, еслибъ не выручилъ офицеръ; онъ очень обязательно объяснилъ мнѣ, что такія справки получаются въ инспекторскомъ департаментѣ, находящемся въ томъ же зданіи.

Инспекторскій департаментъ найти было не очень трудно: языкъ доведетъ до Кіева, говоритъ пословица.

— Кого надо? спросилъ меня часовой, приставленный къ дверямъ инспекторскаго департамента.

— Генерала! сказалъ я наобумъ.

Часовой обомлѣлъ и вытянулся; я вступилъ въ комнату, наполненную офицерами, просителями и писарями.

— Что вамъ угодно? спросилъ одинъ изъ офицеровъ.

Я разсказалъ ему, въ чемъ дѣло; онъ передалъ меня на руки адъютанту, который выслушалъ меня, наклонивъ на бокъ голову; послѣ этого, адъютантъ передалъ меня на руки полковнику, который также выслушалъ меня, наклонивъ на бокъ голову; затѣмъ полковникъ передалъ меня другому адъютанту, и я введенъ былъ куда слѣдуетъ.

Но увы! въ инспекторскомъ департаментѣ рѣшительно ничего не было извѣстно о срокѣ ухода „Ретвизана". Я узналъ только, что „Ретвизанъ" дѣйствительно существуетъ, узналъ, что „Ретвизанъ" точно, не шутя идетъ въ Средиземное море; мнѣ показали даже списокъ гг. офицеровъ, назначенныхъ на „Ретвизанъ"; но когда корабль сымается съ якоря,—на это инспекторскій департаментъ не могъ дать никакого отвѣта.

— Нельзя-ли узнать, по крайней мѣрѣ, гдѣ живетъ капитанъ „Ретвизана"? спросилъ я какъ бы по вдохновенію.

„Капитанъ, думалъ я, долженъ же знать что нибудь опредѣлительное объ этомъ предметѣ; иначе быть не можетъ"...

Было бы проще конечно отправиться прежде всего къ П* и справиться, на чемъ основывалъ онъ письмо свое; но когда ужъ человѣкъ сбитъ разъ съ толку и засуетится, — ему свойственнѣе еще больше запутываться и усложнять дѣло; простые способы, — вѣдь это нѣкоторымъ образомъ яйцо Колумба,—они обыкновенно послѣдними приходятъ въ голову.

Адресъ капитана былъ тотчасъ же мнѣ доставленъ.

— „Теперь одиннадцать часовъ, подумалъ я, спускаясь съ лѣстницы департамента,—кронштадтскій пароходъ отходитъ въ двѣнадцать; мнѣ остается ровно столько времени, чтобы не опоздать на пристань".

Въ двѣнадцать часовъ пароходъ отвалилъ отъ набережной Васильевскаго острова, а въ два часа я присталъ къ Кронштадту.

Я никогда прежде не бывалъ въ Кронштадтѣ; къ сожалѣнію, на этотъ разъ, я ничего не могу сказать вамъ объ этомъ городѣ; дулъ сильный вѣтеръ и такъ какъ въ Кронштадтѣ приходится проѣзжать сначала большую немощеную площадь, потомъ длинную улицу, въ которой вымощена одна только половина,—вѣтеръ держалъ въ воздухѣ такую страшную тучу пыли, что надо было из-

брать одно что нибудь: или открыть глаза и ослѣпнуть; или зажмурить глаза и не видать Кронштадта; я рѣшился на послѣднее. Я открылъ глаза тогда только, когда извозчикъ остановился у подъѣзда капитанской квартиры.

Подымаюсь по лѣсницѣ, звоню; выходитъ человѣкъ съ бѣлокурыми завитками на головѣ.

— Здѣсь живетъ капитанъ б. Т?..

— Здѣсь.

— Можно его видѣть?..

— Никакъ нѣтъ-съ; ихъ дома нѣтъ; они въ гавани.

Сажусь на извозчика и лечу въ гавань.

— Капитанъ б. Т. здѣсь?

— Капитанъ только что уѣхалъ домой; работы кончились и команда сѣла обѣдать.

Снова сажусь на извозчика, снова подымаюсь на лѣстницу, снова звоню, и снова встрѣчаю неудачу.

— Капитанъ только что вышелъ, говоритъ человѣкъ съ бѣлокурыми завитками на головѣ,—они пошли въ клубъ читать газеты.

Я усталъ жестоко и потъ катилъ съ меня градомъ; но дѣлать нечего; я рѣшился не выѣзжать изъ Кронштадта, пока не добьюсь толку.

Капитанъ дѣйствительно находился въ клубѣ.

Я назвалъ себя по имени, разсказалъ капитану о своемъ назначеніи и убѣдительно просилъ его сообщить мнѣ навѣрное о днѣ когда „Ретвизанъ“ уйдетъ въ море.

Капитанъ посмотрѣлъ на меня съ удивленіемъ.

— Къ сожалѣнію, я ничего не могу сказать вамъ объ этомъ, произнесъ онъ ровнымъ, спокойнымъ голосомъ,—корабль только вооружается... Вообще надо вамъ замѣтить,—у насъ въ морскомъ дѣлѣ никогда нельзя разсчитывать или опредѣлять навѣрное...

Капитанъ остановился; свѣтлые глаза его ясно между тѣмъ говорили, что онъ еще хотѣлъ что-то прибавить, но какъ будто стѣснялся чѣмъ-то.

— Я долженъ вамъ сказать, присовокупилъ онъ наконецъ, тѣмъ же ровнымъ, спокойнымъ тономъ,—я не получилъ еще никакого предписанія насчетъ васъ... мнѣ даже слова объ этомъ не сказано... Признаюсь, я въ первый разъ даже слышу, что съ нами пойдетъ литераторъ...

При этомъ извѣстіи, меня съ головы до ногъ окатило холоднымъ пòтомъ.

— „Что-жъ это значитъ? разсуждалъ я мысленно,—ужъ не мистификація ли все это? не подшутилъ ли П* надо мною... Но нѣтъ! быть не можетъ! Не далѣе какъ въ январѣ мѣсяцѣ получилъ я офиціальное приглашеніе ѣхать на „Ретвизанѣ“ въ Средиземное море... Какъ же объяснить слова капитана? Гдѣ же и какимъ образомъ добиться истины...“

П* жилъ въ Ораніенбаумѣ; изъ Кронштадта я прямо къ нему отправился.

— Откуда взяли вы, что корабль уходитъ пятнадцатаго мая? спросилъ я, передавъ ему всѣ неудачи настоящаго утра.

— Мнѣ сказалъ объ этомъ Г*, возразилъ удивленный П*, — мнѣ собственно Г* и поручилъ передать вамъ это извѣстіе.

— Сію же минуту ѣду отыскивать Г*, возразилъ я, хватаясь за шляпу.

— Совершенно напрасно.

— Это почему?

— Недѣли полторы назадъ, Г* уѣхалъ за границу.

Вотъ тебѣ на! Признаюсь: этого только не доставало!

Ясно было: пускаться въ дальніе хлопоты и разспросы, значило только убивать золотое время; я тутъ же рѣшилъ уложить чемоданъ и отправиться во-свояси.

Планъ мой не удался однакожъ—и вотъ почему: пока я собирался, мнѣ принесли пакетъ; въ немъ заключалось второе, форменное приглашеніе отъ морского министерства.

Я тотчасъ же успокоился; на столько успокоился, на сколько прежде волновался: меня снова потянуло въ Кронштадтъ; но на этотъ разъ я поѣхалъ туда съ радостнымъ сердцемъ. Мнѣ хотѣлось взглянуть на корабль и познакомиться съ офицерами, будущими моими мореходными товарищами.

Для человѣка, который незнакомъ съ Кронштадтомъ, который судитъ о немъ по наружности, который видитъ только стѣны этого города и не знаетъ, чтò скрывается за этими стѣнами, словомъ, для котораго сокрытъ духъ, смыслъ города, для такого человѣка Кронштадтъ не представляетъ ничего особенно замѣчательнаго. Впечатлѣніе, производимое Кронштадтомъ можно передать такими словами: заборы, соборъ, казармы, опять казармы и толпы матросовъ,

которые идутъ на работу или возвращаются домой, неся въ рукахъ селедку или котомку съ стружками и щепками за спиною.

„Ретвизанъ“ стоялъ въ купеческой гавани, и я прямо туда отправился.

Кто хоть разъ былъ въ Кронштадтѣ и проникалъ въ купеческую гавань, тотъ легко согласится, что поговорку: „языкъ доведетъ до Кіева“,—можно-бы съ успѣхомъ замѣнить поговоркой:—„языкъ доведетъ до кронштадтской купеческой гавани!“

Прежде всего вамъ предстоитъ пройти длинную-длинную дорогу, вымощенную булыжникомъ; справа тянется широкій каналъ, запруженный судами всякаго рода; налѣво, отъ самой подошвы дороги разстилается широкое пространство воды, по которому снуютъ по всѣмъ направленіямъ лодки, баркасы, ялики; далѣе, въ глубинѣ, все заслоняется лѣсомъ мачтъ и снастей. Совѣтую вамъ однакожъ быть какъ можно осторожнѣе, не зѣвать по сторонамъ и не засматриваться; дорога завалена досками, бревнами, желѣзными цѣпями, которыя тутъ же красятъ смолою,—веревками, которыя, кажется, для того только здѣсь и протянуты, чтобы спотыкались и кувыркались черезъ голову люди неосмотрительные и разсѣянные.

Миновавъ дорогу, вы спускаетесь на другую, но уже не каменную, а досчатую; вы, нѣкоторымъ образомъ, уже на водѣ: стоитъ прыгнуть, чтобы сквозь щели брызнула вода на ваши панталоны. Описывая зигзаги, дорога приводитъ васъ къ мостику, который съ помощью блоковъ поминутно опускается и подымается, чтобы дать проходъ баркасамъ и шлюпкамъ.

Чѣмъ дальше подвигаешься впередъ, тѣмъ шумъ, который раздавался еще издали, становится слышнѣе и слышнѣе. Тамъ, вправо, гдѣ, какъ толпа купающихся слоновъ, громоздятся большіе корабли, грохотъ дѣлается особенно замѣтенъ: тутъ каскадами сыплется уголь, здѣсь что-то падаетъ и обрушается въ воду; въ другомъ концѣ орда матросовъ тянетъ снасти, притоптывая въ тактъ ногами и припѣвая во все горло:

О—о дубинушка ухни,
О—о зеленая сама пойдетъ ..

Съ противуположной стороны, какъ-бы въ контрастъ, визжатъ тонкимъ дискантикомъ немазанные блоки или раздается пискливое „о—іо!“, которымъ англійскіе матросы ободряютъ себя когда тащатъ тяжести; и надъ всѣмъ этимъ, какъ свистъ вѣтра, немолчно зали-

ваются на всевозможные лады свистки боцмановъ и унтеръ-офицеровъ.

Описавъ еще два-три зигзага, пловучая дорога приводитъ васъ къ досчатому крутому помосту; вы поднялись, вы на такъ называемой „стѣнкѣ“.

Стѣнка, попросту: крѣпостная стѣна, валъ, огибаетъ весь Кронштадтъ со стороны моря. Передъ вами открывается заливъ съ кораблями, стоящими на рейдѣ въ отдаленьи, и пароходами, которые, дымясь и фыркая, проходятъ по всѣмъ направленіямъ. Подъ ногами вашими, у подошвы гранитной стѣны, круто упирающейся въ море, плещутъ волны, и запахъ воды и пѣны щекочетъ ваши ноздри.

Надъ стѣнкой, со стороны города, возвышаются борты кораблей, которые вооружаются. Стѣнка и корабли соединяются мостиками, которые качаются на блокахъ.

Палуба кораблей, реи, снасти, мостки, мостики и самая стѣнка усыпаны сотнями метросовъ; все это движется, бѣгаетъ, спускается, подымается, качается, тащитъ, отпускаетъ, вноситъ и выноситъ тѣ тысячи и тысячи предметовъ, которые служатъ для полнаго корабельнаго вооруженія; надъ всѣмъ этимъ неумолкаемо носятся крикъ, гамъ, топанье, приправляемые неизбѣжными трелями сотенъ свистковъ. По самой стѣнкѣ невозможно почти продраться; чтобы двигаться впередъ, приходится выдѣлывать ногами самые замысловатые узоры.

Все пространство стѣнки буквально загромождено ядрами, бочками съ саломъ, канатами, чугунами, котлами машинъ, такелажемъ, офицерскою мебелью, гвоздями, блоками, койками, скарбомъ офицерскаго и морского походнаго хозяйства.

Хаосъ увеличивается людьми: черезъ каждые десять шаговъ встрѣчаются артели матросовъ, которые, не принимая участія въ общей суматохѣ, тѣмъ не менѣе стѣсняютъ дорогу; одни, сбившись тѣсными кружками, обѣдаютъ; другіе тутъ же легли отдыхать и вкушаютъ сладкій far-niente, не обращая вниманія, что по нимъ ходятъ, наступаютъ имъ на головы и переносятъ черезъ нихъ огромныя тяжести. Васъ поразятъ здѣсь самыя невозможныя, невѣроятныя позы: у одного подъ головою ядро, а ноги аршиномъ выше, на грудѣ блоковъ; у другого ядро подъ ребрами, голова въ ямѣ, лѣвая нога поднята бочкой, тогда какъ правая спряталась въ паро

вой котелъ; у третьяго виднѣются только ноги, а голова и туловище закатились неизвѣстно куда и проч. и проч.

Мнѣ пришлось пройти всю стѣнку; „Ретвизанъ“ стоялъ дальше всѣхъ кораблей, которые тогда вооружались.

Вотъ наконецъ и „Ретвизанъ!“

— Господи, что это за громада! вырвалось у меня невольно.

Корабль, по наружному виду совсѣмъ уже былъ готовъ, такъ по крайней мѣрѣ показалось тогда моему невѣдѣнію; снасти, мачты, реи, все это стояло на мѣстѣ; сбоку виднѣлся даже якорь, словомъ,—садись да и отправляйся. А между тѣмъ, по снастямъ и по палубѣ бѣгали толпы матросовъ, которые что-то тянули; унтеръ-офицеры яростно свистали, перекликались съ другими матросами, стоящими на стѣнкѣ и которые также что-то тянули; съ наружной стороны борта, что синіе пауки, качались въ воздухѣ матросы, державшіеся одною рукою за веревку, другою рукою стукая молотомъ, долотомъ или управляя кистью съ краской.

Я машинально пошелъ за матросами, которые подымались по мостику, соединявшему корабль со стѣнкою, пролѣзъ въ дыру, откуда высовывалась пушка, и очутился на верхней палубѣ.

Первое впечатлѣніе было такого рода, что показалось мнѣ будто я вдругъ сплюснулся, уменьшился по крайней мѣрѣ на десятую долю противъ обыкновеннаго моего роста; веревки, казавшіяся издали обыкновенными, были толще руки, блоки, мелькавшіе точками, были больше головы, мачты принимали видъ обелисковъ: бѣлую трубу машины принялъ я тутъ-же за самую почетную, главную каюту.

Не успѣлъ я придти въ себя, какъ меня окружили офицеры. Они знали уже о моемъ назначеніи: всѣ тотчасъ-же вызвались показать мнѣ мою каюту.

— Какъ, развѣ ужъ и каюта назначена? спросилъ я.

— Назначена, и даже отличная! пойдемте...

Каюта была точно отличная; одно только было въ ней не совсѣмъ удобно: не было физической возможности лечь, сѣсть и еще менѣе думать о работѣ; отъ окна до двери, отъ стѣны до стѣны каюта почти вплотную занята была огромной пушкой.

— Помилуйте господа, что же мнѣ съ этимъ дѣлать? воскликнулъ я съ ужасомъ.

— Успокойтесь, сказалъ одинъ изъ нихъ; капитанъ отдалъ уже

приказаніе: не далѣе какъ завтра пушку вынесутъ и каюта ваша будетъ совершенно свободна.

Будь капитанъ на палубѣ, я бы никакъ не утерпѣлъ и въ порывѣ благодарности, бросился-бы обнимать его; но капитана на кораблѣ не было.

— Все это превосходно, господа, сказалъ я, когда мы нѣсколько осмотрѣлись, и познакомились — но не можете-ли сообщить мнѣ, хоть сколько нибудь опредѣлительно... не слыхали-ли вы хоть мелькомъ когда мы уходимъ?

— Трудно это опредѣлить; невозможно... отозвалось нѣсколько голосовъ; — вы должны знать прежде всего, что въ морскомъ дѣлѣ нѣтъ ничего положительно-вѣрнаго и рѣшительнаго.

„Какъ, снова такое изреченіе! Надо думать, оно дѣйствительно имѣетъ большое основаніе...“, проговорилъ я мысленно.

Изъ послѣдующихъ разговоровъ я узналъ нѣсколько подробностей о самомъ кораблѣ.

„Ретвизанъ“ выстроенъ въ Петербургѣ; 17 сентября 1855 года онъ спущенъ въ Неву и въ томъ-же году переведенъ въ Кронштадтъ, гдѣ былъ окончательно отдѣланъ. Онъ вмѣщаетъ въ себѣ всевозможныя усовершенствованія, введенныя первый разъ на нашихъ корабляхъ и ставящія его на ряду съ лучшими судами иностранныхъ морскихъ державъ. „Ретвизанъ“ уже потому долженъ заслуживать наше вниманіе, что на немъ все русское, національное, начиная съ лѣса и кончая машиной, которая построена на одномъ изъ лучшихъ петербургскихъ заводовъ. „Ретвизанъ“, по шведски, значитъ правосудіе. Вы спросите вѣроятно, почему русскому, чистонаціональному кораблю, дано шведское названіе. Вотъ какъ это произошло: не помню въ какомъ году, какимъ образомъ и даже какимъ капитаномъ взятъ былъ шведскій корабль, носившій такое названіе. Съ тѣхъ поръ имя „Ретвизана“ сохранилось въ нашемъ флотѣ. „Ретвизанъ“ выражаетъ слѣдовательно двѣ мысли, которыя въ одинаковой степени могутъ удовлетворить нашу гордость: побѣда надъ шведами, и главное, преуспѣваніе наше въ кораблестроительномъ искусствѣ.

Вотъ все, что узналъ я пока о „Ретвизанѣ“; но и этого, кажется, довольно.

Послѣ поѣздки этой въ Кронштадтъ, я сталъ пріѣзжать туда почти каждую недѣлю; постепенно началъ я даже перевозить свою мебель и устраивать каюту.

А между тѣмъ, объ отъѣздѣ все-таки не было помину.

Проходили дни, недѣли, стали проходить мѣсяцы,—„Ретвизанъ" все еще не поворачивалъ носа къ морю и красовался въ купеческой гавани.

— Но ради самаго неба, откройте-же мнѣ наконецъ тайну, скажите почему мы не уходимъ? повторялъ я, оглядывая съ недоумѣніемъ корабль,—вѣдь все уже, кажется, давно готово.

— Все рѣшительно; остаются только иллюминаторы.

— Что такое: иллюминаторы?..

— Окна, которыми освѣщаются каюты на кубрикѣ.

— А кубрикъ... что же такое: кубрикъ?

— Третья палуба, гдѣ расположены офицерскія каюты.

Я быстро успокоился: „иллюминаторы, такъ иллюминаторы!" повторялъ я, стараясь найти въ этомъ повтореніи что нибудь ободрительное.

Но проходила недѣля, другая, отдѣлка иллюминаторовъ все еще не приходила къ концу.

Что жъ-бы это значило?..

Оказалось, что въ кронштадтскомъ портѣ была всего на-всего одна только машина для сверленія иллюминаторовъ; оказывалось также, что и эта единственная машина находилась въ такомъ видѣ, что могла только просверливать по одному иллюминатору въ день; иллюминаторовъ было счетомъ тридцать шесть; надо было слѣдовательно отложить попеченіе объ отъѣздѣ на тридцать пять дней по крайней мѣрѣ.

— Иллюминаторы готовы! съ восторгомъ сказалъ мнѣ одинъ изъ офицеровъ при встрѣчѣ разъ на палубѣ.

— Когда-же мы ѣдемъ? спросилъ я, ожидая, что онъ скажетъ: „завтра!"—и при этомъ, признаюсь, оторопѣлъ и даже сробѣлъ нѣсколько.

— Неизвѣстно.

— Какъ неизвѣстно? да вѣдь иллюминаторы готовы; чегожъ еще больше? вѣдь за этимъ только и была остановка?

— Теперь завязалось другое дѣло... Дѣло съ винтомъ...

— Какъ съ винтомъ?

— Да; не входитъ!

Оказывалось, что винтъ дѣйствительно не входилъ въ ту часть корабля, куда слѣдовало ему войти и гдѣ назначено было ему вер-

тѣться, чтобы двигать „Ретвизаномъ“. „Ретвизанъ“ безъ винта, уже никакимъ образомъ не могъ быть „Ретвизаномъ“, т. е.—винтовымъ кораблемъ; винтъ и паръ играли въ немъ ту-же роль, что сознаніе и просвѣщеніе у человѣка; что-же человѣкъ безъ просвѣщенія и безъ сознанія?

— „Но какъ же это могло произойти? восклицалъ я мысленно, — мѣдный винтъ, въ пятьсотъ пудовъ, сколько извѣстно, не можетъ быть подверженъ флюсу; а между тѣмъ, онъ распухъ, если не входитъ, —это очевидно; съ другой стороны нельзя также предположить, чтобы мѣсто, назначенное для винта могло съежиться, ссохнуться въ тотъ короткій промежутокъ, какъ сняли съ него мѣрку для отливки винта; еще менѣе можно предполагать, чтобы вовсе не сняли мѣрки ни съ мѣста, назначеннаго для винта, ни съ винта, назначеннаго для мѣста!..“

Какъ бы тамъ ни было, винтъ однакожъ не входилъ.

Пришлось прибѣгнуть къ слесарямъ и приступить къ *обрубкѣ* винта, т. е. къ срѣзкѣ того злополучнаго остатка, который ставилъ „Ретвизанъ“ въ такое критическое положеніе.

Морская поговорка день-ото-дня для меня уяснялась; съ каждымъ разомъ, какъ я пріѣзжалъ въ Кронштадтъ, я убѣждался въ глубокомъ смыслѣ этой поговорки. Въ самомъ дѣлѣ, опредѣленнаго ничего не было; невозможно было ручаться за будущее и впередъ загадывать. Не такъ ли впрочемъ оно и слѣдуетъ: вѣдь дѣло имѣешь съ морской стихіей — самой непостоянной, самой измѣнчивой: все, что къ ней прикасается и на ней дѣйствуетъ, неминуемо должно покоряться ея законамъ; это слишкомъ естественно и сомнѣваться въ этомъ могутъ только люди, не имѣющіе понятія о подвижности морскихъ валовъ, непостоянствѣ вѣтровъ и неопредѣленности морскихъ пространствъ.

Винтъ былъ наконецъ подпиленъ или обрубленъ; но это обстоятельство все-таки не обрубило гордіева узла, который привязывалъ „Ретвизанъ“ къ купеческой гавани; гордіевъ узелъ, казалось, только усложнялся и затягивался.

Мало-по-малу, случайности и неожиданности перестали удивлять меня; мною начинали уже овладѣвать то стоическое спокойствіе, та разсудительность, которыя пріобрѣтаются опытомъ и заставляютъ смотрѣть на вещи съ настоящей, примирительной точки зрѣнія.

Скучно было только, что нечего было дѣлать. Ожидая съ каж-

дымъ днемъ отъѣзда, не стоило приниматься за какой нибудь серьезный трудъ. Бродя въ совершенномъ бездѣйствіи по Кронштадту и Петербургу, я отъ нечего дѣлать отдавался иногда мечтаніямъ.

Мечты мои обращались преимущественно вокругъ предметовъ мнѣ близкихъ или сдѣлавшихъ на меня въ послѣднее время особенно сильное впечатлѣніе; онѣ часто носились надъ Кронштадтомъ и если дѣлали скачки, то это было отъ города къ порту, отъ порта къ стѣнкѣ, отъ стѣнки къ „Ретвизану", который почему-то глубоко врѣзался въ мое сердце.

Не считаю лишнимъ замѣтить, что мечты эти, обращаясь къ предметамъ, съ которыми я едва познакомился, весьма естественно должны были принимать иногда самый распущенный, фантастическій характеръ.

Такъ напримѣръ, одною изъ любимѣйшихъ фантазій моихъ было основать въ Кронштадтѣ бумажную писчую фабрику. О чемъ бы я ни думалъ, куда бы ни стремились мысли, — бумажная фабрика, постоянно, какъ тѣнь Банко, становилась поперегъ остальныхъ мыслей. Извѣстно, что въ Россіи только три несомнѣнные способа къ обогащенію: питейная часть, булочное-хлѣбное производство и бумажныя писчія фабрики.

Кто бы могъ думать однакожъ, чтобы Кронштадтъ, гдѣ все, повидимому, должно бы заключаться въ постройкѣ и оснащеніи кораблей, въ изготовленіи сухарей и паровыхъ машинъ, т. е. въ дѣлѣ чисто практическомъ,—чтобы Кронштадтъ былъ до такой степени зараженъ грѣхомъ чернильной невоздержности, чтобы въ немъ, сравнительно, было больше потребности на писчую бумагу, чѣмъ въ городахъ, уснащенныхъ палатами, канцеляріями и департаментами! А между тѣмъ это фактъ,—фактъ,—могу васъ увѣрить.

Предоставляю вамъ судить, насколько основательны мечты мои объ устройствѣ въ Крондштадтѣ бумажной фабрики.

Корабль вооружается; прекрасно. Если вы хоть разъ въ жизни видѣли корабль, — вы легко можете себѣ представить, сколько для созданія его требуется лѣсу, веревовъ, гвоздей, винтовъ, блоковъ и проч. Капитанъ корабля, т. е. лицо, которое лично завѣдуетъ вооруженіемъ,—требуетъ, положимъ, дюжину гвоздей; вы думаете ему тотчасъ-же ихъ выдадутъ? Какъ-бы не такъ! Капитанъ прежде всего долженъ взять листъ бумаги и написать прошеніе въ контору надъ портомъ. Контора надъ портомъ начинаетъ съ того, что посылаетъ отъ себя инженера съ цѣлью удостовѣриться, правду-ли гово-

ритъ капитанъ, точно-ли нужны гвозди; убѣдившись—инженеръ пишетъ объ этомъ конторѣ надъ портомъ; та высылаетъ требуемое и также пишетъ. На вооружаемомъ кораблѣ нужна желѣзная скобка,— новая бумага со стороны капитана, новая бумага со стороны инженера, новая бумага со стороны конторы надъ портомъ.

Сколько-же тысячъ разныхъ предметовъ требуется для одного корабля! Помноживъ это число на число требованій капитана и отвѣтовъ конторы надъ портомъ,—вы получите уже нѣсколько тысячъ листовъ бумаги съ одного вооружаемаго корабля; возьмите-же въ разсчетъ число кораблей ежегодно вооружаемыхъ въ Кронштадтѣ! Бумажная фабрика очевидно поведетъ васъ къ вѣрнѣйшему обогащенію.

Меня увлекаетъ здѣсь, увѣряю васъ, не одна эгоистическая точка зрѣнія о выгодѣ; нѣтъ! Я думалъ также о томъ страшномъ замедленіи въ дѣлахъ, которое неизбѣжно связано съ перепиской; переписка куда-бы ни шла: она, положимъ, изощряетъ грамотность, поощряетъ въ отечествѣ чернильное производство, которое, какъ извѣстно, въ большомъ упадкѣ, и даетъ хлѣбъ классу писарей, который въ Кронштадтѣ очень многочисленъ.

Я не переставалъ думать о потерѣ времени по случаю переписки и, главное, по случаю того, что инженеръ отъ порта между каждой бумагой долженъ прогуляться отъ мѣста своего къ кораблю и отъ корабля опять къ своему мѣсту. И тутъ-таки бѣды-бы большой не было, еслибъ капитанъ и инженеръ смотрѣли на предметъ одинаково; но горе въ томъ именно, что они ни подъ какимъ видомъ не только не могутъ быть согласны, но даже не могутъ понимать другъ друга: требованія капитана основаны на опытѣ; онъ говоритъ о буряхъ, штормахъ, приводитъ въ доказательство законности своего требованія такой-то случай на морѣ и проч.; инженеръ, знакомый съ кораблемъ только по чертежу, по рисунку, а съ моремъ,—только со стѣнки купеческой гавани, выставляетъ капитану на видъ книгу о такелажномъ положеніи, говоритъ, что желѣзныхъ скрѣпленій положено по штату столько-то, а не больше и т. д.;—словомъ, одинъ практикъ, другой теоретикъ;—они понять другъ друга не могутъ; время ихъ совѣщанія тянется неимовѣрно долго, чтобы не сказать—безполезно,—и часто даетъ поводъ объясненіямъ, выправкамъ, справкамъ, повѣркамъ и т. д. — а время, между тѣмъ, уходитъ да уходитъ!

Размышляя обо всемъ этомъ и отдаваясь болѣе и болѣе дѣй-

ствію воображенія, я понять не могъ, какъ не наскучитъ вся эта возня конторѣ надъ портомъ, какъ, наконецъ, не утомится она нравственно, питая постоянно въ душѣ своей подозрѣніе и недовѣрчивость въ отношеніи къ капитанамъ, какъ не проникнется она наконецъ тою простою истиной,—что въ спокойствіи заключается единственное благо жизни! И чего-бы легче кажется пріобрѣсти ей это спокойствіе: стоитъ только взять примѣръ съ провіантскаго департамента того-же министерства! Провіантскій департаментъ дѣйствуетъ такимъ образомъ: онъ выдаетъ каждому капитану пачку бланокъ; капитану нужны, напримѣръ, сухари; онъ черкнетъ на бланкѣ число сухарей и свое имя,—провіантскій департаментъ тотчасъ-же выдаетъ ему требуемое; бланки служатъ въ послѣдствіи для повѣрки счетовъ. Отчего-же, думалъ я, отчего-же конторѣ надъ портомъ не послѣдовать такому благодѣтельному примѣру? Пускай себѣ капитанъ требуетъ сколько ему угодно винтовъ, блоковъ, и пр. и пр.

— „Мое дѣло, скажетъ себѣ контора, мое дѣло, — исключительно заботиться объ изготовленіи предметовъ и гордость свою поставляю я въ томъ, чтобы предметы эти изготовлялись превосходно,—лучше чѣмъ въ Англіи и во Франціи!.. Чтожъ касается до капитановъ,—я не хочу имѣть съ ними ничего общаго! Мое дѣло сторона; выдай мнѣ бланку съ требованіемъ,—и я выдамъ безпрекословно предметъ!.. А тамъ, если и произойдетъ что нибудь,—пускай капитанъ вѣдается съ высшимъ правительствомъ, а не съ моими инженерами, — лицами, по преимуществу смиренными и кабинетными!“

И въ самомъ дѣлѣ, повѣрить капитана (если только повѣрка требуется, потому что поручая ему такое значительное государственное добро какъ корабль, правительство находитъ его вѣроятно на столько опытнымъ, чтобы знать чтò нужно для корабля и чего нѣтъ,—и главное,—на столько честнымъ, чтобы не употребить во зло довѣріе),—повѣрить капитана очень легко.

Вооруживъ корабль, капитанъ объявляетъ объ этомъ министерству; министерство, вытребовавъ отъ конторы надъ портомъ бланки съ требованіями капитана и за его подписью, поручаетъ ревизію надъ вооруженнымъ кораблемъ комисіи составленной исключительно изъ опытныхъ моряковъ; корабельное дѣло знакомо имъ какъ ладонь; руководясь опытомъ, они тотчасъ-же увидятъ, насколько требованія товарища были основательны или нѣтъ; тамъ, гдѣ инженеръ или контора надъ портомъ придутъ въ ужасъ отъ лишней дюжины

болтовъ противъ числа, назначеннаго по положенію,—тутъ опытные капитаны, припоминая такой-то штормъ, найдутъ требованіе совершенно дѣльнымъ и основательнымъ;—имъ и книги въ руки! какъ говорится.

Если случилось, что капитанъ употребилъ во зло довѣріе правительства, — всегда будетъ время и возможность снять съ него голову. Но врядъ-ли это можетъ понадобиться.

Извѣстно, что ничто въ свѣтѣ такъ сильно не раздражаетъ нравственно человѣка, не способно такъ заглушать въ немъ понятіе о чести и личномъ достоинствѣ, какъ мысль, что не смотря на полное отсутствіе данныхъ, способныхъ запятнать честь его, несмотря на самыя безкорыстныя стремленія, его все-таки неизбѣжно будутъ считать лицомъ, не заслуживающимъ полнаго довѣрія!

Какой-же человѣкъ не упадетъ при этомъ духомъ? Въ этой постоянной, вѣчной борьбѣ противъ ничѣмъ несокрушимаго недовѣрія и подозрительности, въ комъ-же не ослабнетъ стремленіе къ дѣйствіямъ безвомездным,—дѣйствіямъ, ищущимъ награды только въ общественномъ мнѣніи, въ сознаніи честнаго исполненія долга! Въ комъ не потухнетъ наконецъ этотъ благодатный жаръ, возбуждаемый мыслью о пользѣ и славѣ отечества,—мыслью, которая одна только и способна творить истинно великія и сильныя дѣла.

Но воображеніе завлекло меня слишкомъ далеко за предѣлы моего разсказа.

Вскорѣ послѣ исторіи съ винтомъ получилъ я телеграфическую депешу: меня извѣщали, что „Ретвизанъ" готовъ, вышелъ на рейдъ и послѣ завтра отправляется вмѣстѣ съ другими кораблями на пробную экспедицію до Ревеля.

Человѣку, рѣшившемуся сдѣлаться морякомъ, не могло представиться лучшаго случая для испытанія своихъ мореходныхъ способностей.—„Но точно-ли пойдетъ „Ретвизанъ" послѣ завтра или не пойдетъ?.." думалъ я попеременно. Не вѣрилось что-то.

Я поѣхалъ однакожъ въ Кронштадтъ,—и отлично сдѣлалъ. Въ назначенное утро и даже часъ, „Ретвизанъ" снялся съ якоря.

Но не стану описывать вамъ пробной экспедиціи, цѣль которой заключалась въ испытаніи новыхъ паровыхъ машинъ, обученіи команды и проч. Сознаюсь чистосердечно, меня несравненно больше занимали вопросы, — буду ли я подверженъ качкѣ и морскія-ли у меня ноги или нѣтъ, чѣмъ то, что вокругъ меня совершалось. Подымались флаги всѣхъ возможныхъ цвѣтовъ, ставились и опускались паруса, разводились пары, давали винту 45, 37, 23 и т. д. обо-

ротовъ,—я зналъ, что все это такъ слѣдуетъ, если такъ дѣлается; но съ какою цѣлью дѣлалось такъ, а не иначе, все это оставалось для меня мертвою, совершенно непонятною, и притомъ, вовсе даже неинтересною буквой.

На девятый день мы возвратились въ Кронштадтъ; пробная экспедиція окончилась какъ нельзя благополучнѣе. Разставаясь на берегу, мы поздравили другъ друга съ скорымъ отплытіемъ въ столь ожидаемое Средиземное море.

Я поѣхалъ въ Петербургъ дѣлать необходимыя дорожныя закупки; мнѣ хотѣлось также успѣть проститься съ лицами, особенно дорогими сердцу.

Но скоро сказка сказывается, не скоро дѣло дѣлается; не знаю, случилось-ли вамъ собираться въ дальнее путешествіе моремъ и дѣлать закупки? Располагаешь покончить все въ одинъ часъ,—и врядъ-ли поспѣешь передѣлать дѣло въ двое сутокъ. Покупаешь мыло,—ну, думаешь,—куплю ужъ кстати новую мыльницу; покупка мыльницы даетъ мысль пріобрѣсти скромный дорожный несессеръ, чтобы сохранить мыло и мыльницу и т. д. Бѣгаешь какъ угорѣлый изъ лавки въ лавку, изъ улицы въ улицу и съ ужасомъ видишь, что списокъ покупокъ только увеличивается и, что всего замѣчательнѣе,—дѣлаются именно тѣ покупки, которыхъ не было въ спискѣ и о которыхъ никогда даже прежде не думалъ.

Въ такой бѣготнѣ проходитъ время столь дорогое всегда передъ отправленіемъ; наконецъ, бросаешь все, чтобы удѣлить послѣднія минуты на прощальные визиты; но тутъ новая исторія. Былъ іюль мѣсяцъ и всѣ знакомые мои жили на дачѣ. Поѣдешь на три часа въ Царское село, смотришь,—заболтался, прозѣвалъ паровозъ,—и ночевать остался; отправишься на утро въ Петергофъ и проживешь тамъ двое сутокъ. Словомъ, я недѣли двѣ не показывался въ Кронштадтѣ.

Разъ въ Ораніенбаумѣ, П* говоритъ мнѣ.

— Небезполезно было-бы воспользоваться близостью Кронштадта.

— А что? спросилъ я.

— Не мѣшало-бы туда съѣздить; чего добраго уйдетъ „Ретвизанъ“.

— Не можетъ быть: мнѣ дадутъ знать!

— Конечно, но вотъ уже двѣ недѣли какъ васъ нѣтъ дома; вамъ въ это время могли десять разъ послать сказать, что корабль уходитъ...

Часъ спустя, я сидѣлъ на палубѣ парохода „Луна“, дѣлающаго рейсы изъ Ораніенбаума въ Кронштадтъ.

Первое лицо, встрѣтившееся со мною, былъ лейтенантъ Ф*; встрѣча эта мгновенно меня успокоила.—„Ретвизанъ“ стало быть еще не уѣхалъ! подумалъ я.

— Несчастіе случилось! сказалъ Ф* шаговъ еще за десять.

— Что такое? спросилъ я,—и сердце у меня дрогнуло.

Мысль, что Ф* остался на берегу вслѣдствіе какого нибудь распоряженія начальства и „Ретвизанъ“ ушелъ безъ меня,—насквозь пробуравила мое сердце.

— Мы остаемся въ Кронштадтѣ и вѣроятно на долго, сказалъ Ф*:

Слово „*мы*“ снова меня ободрило.

— Какъ такъ? спросилъ я не безъ волненія однакожъ.

— Очень просто, остаемся, да и все тутъ!

— Но что же случилось?

— Развѣ вы не слыхали?

— Ни слова.

— „Ретвизанъ“ входя на рейдъ,—помните, въ то утро, послѣ пробной экспедиціи...

— Ну, перебилъ я, едва переводя духъ.

— Входя на кронштадтскій рейдъ, напоролся на чужой якорь.

— И пошелъ ко дну?.. спросилъ я, обливаясь холоднымъ потомъ.

— О нѣтъ, но только теперь разоружается, чтобы снова войти въ докъ...

— Сколько же потребуется времени на то, чтобы разоружить, починить и снова вооружить корабль? спросилъ я.

— Мѣсяцъ, по крайней мѣрѣ.

— Боже мой! воскликнулъ я, не ожидая такого удара.

— Вамъ говорили, кажется, что въ морскомъ дѣлѣ ничего нѣтъ опредѣленнаго, вѣрнаго; у насъ впередъ загадывать нельзя ни подъ какимъ видомъ.

— Вѣрю,—вѣрю; теперь это ясно... проговорилъ я съ убѣжденіемъ.

Когда Ф* объяснилъ мнѣ подробно, въ чемъ заключалось вооруженіе и разоруженіе,—я повѣсилъ голову и окончательно потерялъ надежду привести въ извѣстность, морскія-ли ноги у меня или нѣтъ. Трудъ предстоялъ дѣйствительно неимовѣрный: слѣдовало снять съ корабля восемьдесятъ четыре орудія огромнаго калибра, затѣмъ тре-

бовалось ввести корабль въ докъ, потомъ выпустить изъ дока воду, починить рану, нанесенную враждебнымъ якоремъ; снова наполнить докъ водою, вывести корабль въ гавань и снова поставить на него восемьдесятъ четыре орудія,—и все это съ помощью перевозки водою.

— И вы говорите, что на все это потребуется только мѣсяцъ, спросилъ я Ф*, тономъ человѣка, давно уже утратившаго всѣ мечтанія и обращающагося къ юношѣ, полному еще самыхъ горячихъ надеждъ и вѣрованій.

— Да, не больше... Можетъ быть меньше... Вы не знаете еще нашего матроса; не знаете, что̀ можетъ онъ сдѣлать, прибавилъ Ф*, какъ бы выстрѣливая въ меня à bout portant.

Ф* былъ правъ; сомнѣваясь тогда въ вѣроятіи его словъ, я доказывалъ только, что дѣйствительно не имѣлъ понятія о нашихъ матросахъ, не зналъ на что способно это существо, соединяющее въ себѣ силу буйвола, ловкость обезьяны, живучесть кошки и терпѣніе русскаго простолюдина... нѣтъ, мало этого,—терпѣніе матроса!

Съ того-же дня какъ съ „Ретвизаномъ" случилось несчастіе при выходѣ на рейдъ,—офицеры и вся команда приступили къ дѣлу. Сами они потомъ говорили, что въ то время ими овладѣла какая-то горячка, какой-то азартъ дѣятельности.

Мудренаго нѣтъ, проведя четыре мѣсяца на палубѣ „Ретвизана" до выхода его на пробную экспедицію, работая все это время съ разсвѣта до поздняго вечера, всѣ въ равной степени рвались на просторъ, всѣмъ равно хотѣлось погулять на морѣ.

Воодушевленные одною мыслью, имѣя въ виду одну цѣль, какъ матросы такъ и офицеры совершили тогда чудо. Въ три дня „Ретвизанъ" былъ разоруженъ, въ три дня вооруженъ; черезъ двѣ недѣли корабль стоялъ уже на рейдѣ, совершенно готовый къ отплытію.

Проживи я хоть маѳусаиловы лѣта,—я, все равно, и тогда не забылъ бы дня, когда съ крѣпости раздался послѣдній салютъ въ честь „Ретвизана", покидающаго кронштадтскій рейдъ.

Это было пятаго августа. Часовъ въ десять утра, простившись въ послѣдній разъ съ лицами, провожавшими меня до Кронштадта, я сѣлъ на вольную шлюпку и отправился на корабль; онъ стоялъ довольно далеко на рейдѣ.

Утро было чудеснѣйшее. Море разстилалось какъ зеркало, отражая безоблачное, лучезарное небо. Впереди на всемъ рейдѣ и даже въ самой отдаленной глубинѣ залива не было ни одного судна; сверкающій горизонтъ перерѣзывался только стройными мачтами „Ре-

твизана", который стоялъ бокомъ отъ солнца и темною недвижною массою выступалъ на первомъ планѣ пространной свѣтлой картины; выкрашенной заново, вылощенный, выхоленный, онъ смотрѣлъ какъ-то празднично:—точно имянинникъ важнаго чина и сановитаго вида, который, слегка наклонивъ голову, привѣтливо, ласково прислушивается къ поздравленіямъ мелкаго чиновнаго люда.

Въ это утро, я увѣренъ однакожъ,—никто не расточалъ въ честь его столько похвалъ и привѣтствій, сколько владѣтель ялика, на которомъ я ѣхалъ. То былъ старый, сѣдой отставной матросъ,—финнъ по происхожденію, но совершенно обрусѣвшій и притомъ большой весельчакъ; онъ находился въ числѣ команды, которая была при постройкѣ „Ретвизана". Присутствуя при рожденіи, можно даже сказать, при зарожденіи младенца, который рисовался теперь такимъ богатыремъ, онъ говорилъ о немъ съ необыкновеннымъ увлеченіемъ; онъ разсказывалъ какъ ходилъ на стройку, какъ таскалъ для „Ретвизана" бревна, какъ спускалъ его на воду, какъ потомъ выѣхалъ онъ на своемъ яликѣ, чтобы взглянуть какъ пойдетъ „Ретвизанъ" подъ парами, примѣненіе которыхъ къ кораблю называлъ онъ „премилымъ и прелюбезнымъ дѣломъ".

Какъ ни занимательны были разсказы старика, я едва къ нимъ прислушивался; глаза мои смотрѣли на „Ретвизанъ"; мысли устремлялись далеко-далеко, совершенно въ другую сторону. Трудно представить себѣ, чтобы кто нибудь ждалъ нетерпѣливѣе меня минуты отъѣзда; я считалъ часы и минуты; минута эту наступила,—и вдругъ сердце стѣснилось, стало тяжело, грустно...

Съ такими чувствами поднялся я на корабль; тамъ все, начиная съ верхнихъ снастей до палубы, лоснилось, блистало на солнцѣ и глядѣло еще праздничнѣе, чѣмъ казалось издали; все ходило и двигалось подъ звукъ свистковъ, заливавшихся нескончаемою трелью.

Не смотря на движеніе, многія лица замѣтно однакожъ сохраняли выраженіе задумчивости; многія лица были даже блѣдны; очевидно, не я одинъ находился подъ тягостнымъ впечатлѣніемъ недавнихъ проводовъ и разлуки. Во второй палубѣ ставили иконостасъ для напутственнаго молебна.

Я отправился къ себѣ въ каюту. Пріѣхалъ П*; мы еще разъ простились; это было послѣднее близкое, родственное лицо, съ которымъ суждено мнѣ было не видаться годъ; появленіе П*, напомнивъ мнѣ лишній разъ разлуку, усилило только сердечную тоску.

Въ полдень надъ головою моею нежданно грянула музыка; отво-

ряю дверь каюты и выглядываю на палубу: тамъ, вытянувшись въ одну линію, стояли всѣ наши офицеры; за ними плотными рядами стояли матросы.—„Генералъ-адмиралъ ѣдетъ; шлюпка подходитъ къ трапу“, сказалъ кто-то. По прошествіи двухъ минутъ генералъ-адмиралъ былъ на палубѣ. Послѣ молебствія, на которомъ находился весь экипажъ, генералъ-адмиралъ простился съ нами, и, пожелавъ намъ счастливаго,благополучнаго плаванія,—оставилъ вскорѣ корабль.

Уже при началѣ молебствія можно было видѣть съ юга, какъ стѣнка Кронштадтской крѣпости постепенно наполнялась народомъ; въ то-же время, на рейдѣ показывались одна за другою шлюпки, собиравшіяся проводить насъ. Надъ кораблемъ давно клубился столбъ дыма, возвѣщавшій Кронштадту, что „Ретвизанъ“ разводитъ пары; дымъ клубился также и надъ корветомъ „Баянъ“; который стоялъ ближе къ крѣпости и долженъ былъ оставить Кронштадтъ въ одно время съ нами.

— Готовы ли пары? раздалось съ юта.

— Готовы! отозвался голосъ, выходившій словно изъ преисподней.

На кораблѣ прошла минута мертваго молчанія.

— Якорь поднять! произнесъ голосъ съ юта.

Послышались свистки, мѣрно затопали сапоги матросовъ, ходившихъ вокругъ шпиля.

Корабль дрогнулъ и медленно началъ поворачиваться носомъ къ морю.

Всѣ мы, безъ исключенія, вооруженные, кто зрительной трубой, кто театральнымъ биноклемъ, стояли на ютѣ; глаза каждаго пристально устремлялись къ стѣнкѣ, унизанной пестрой каймой шляпокъ и зонтиковъ.

Но раздался выстрѣлъ изъ нижней палубы, за нимъ другой, третій,—и все скрылось въ сѣдомъ облакѣ порохового дыма. Когда дымъ разсѣялся и начались салюты съ крѣпости, „Ретвизанъ“ шелъ уже полнымъ ходомъ къ морю. Пестрая толпа, окаймлявшая крѣпостную стѣнку, махала платками; на катерахъ, которые насъ провожали, гремѣла музыка; множество шлюпокъ и яликовъ неслось за нами на всѣхъ парусахъ или во весь махъ веселъ.

Отдаленное „ура!“ раздалось съ крѣпостной стѣны и платки замахали еще живѣе. Крикъ этотъ, подхваченный народомъ на судахъ, переходя постепенно ближе и ближе къ намъ, послышался

на катерахъ, на яликахъ и, смѣшиваясь съ звуками нѣсколькихъ хоровъ музыки, разлился по всему заливу.

— Матросы по вантамъ! закричалъ капитанъ съ юта.

Въ одно мгновеніе ока, снасти, передовые борта, ванты или веревочныя лѣстницы, идущія отъ мачтъ къ палубѣ, покрылись почти всѣмъ народонаселеніемъ „Ретвизана". Фуражки, пестрые матросскіе платки, бѣлые платки и шляпы офицеровъ,—все пришло въ движеніе и сотни голосовъ прокричали прощальное „ура!"

— Ура! отозвалось снова на гребныхъ судахъ, которыя замѣтно уже отставали одинъ отъ другого.

— Ура! гремѣли съ „Ретвизана".

Послѣдняя шлюпка съ бѣлыми косыми парусами, шедшая скорѣе другихъ, подняла свои весла,—и остановилась; она не двигалась съ мѣста и между тѣмъ замѣтно стала уменьшаться; другія шлюпки чуть видными точками мелькали въ отдаленьи, бѣлые платки на крѣпостной стѣнѣ пропали; самая крѣпостная стѣна представлялась уже тонкою полоскою, едва отдѣлявшеюся отъ моря,—но вотъ и она скрылась... Все ушло и попряталось за линіею горизонта; она опоясала весь кругозоръ и всюду засверкало море, по которому далеко тянулась широкая глянцовитая струя, оставляемая быстро уходившимъ „Ретвизаномъ".

Многіе изъ офицеровъ давно сошли съ юта; тѣ, которые тамъ оставались, ходили взадъ и впередъ, стараясь повидимому перенестись мысленно отъ настоящаго къ будущему. Одинъ только лейтенантъ В* не отрывался отъ прежняго своего мѣста на самой передовой части юта; онъ задумчиво смотрѣлъ въ ту сторону, гдѣ пропалъ Кронштадтъ.

Лицо его было блѣдно и въ чертахъ проступало столько неотразимой грусти, что мнѣ стало жаль его; я подошелъ съ цѣлью развлечь его. Горе В* было мнѣ знакомо; онъ недавно женился, страстно влюбленъ былъ въ жену и разставался съ нею въ первый разъ. Но сколько ни пріискивалъ я вступительныхъ фразъ для начала разговора,—не могъ придумать ничего, что-бы не касалось самымъ прямымъ образомъ нашего прощанья съ Кронштадтомъ. Надо думать, прощанье это и на меня точно также довольно сильно подѣйствовало; въ желаніи утѣшить В* скрывалось можетъ быть тайное желаніе найдти въ отвѣтахъ В* утѣшеніе для себя собственно.

Мнѣ показалось, наконецъ, что я нашелъ самую приличную вступительную фразу:

— Скверная вещь вообще эти разлуки... сказалъ я,—не знаю какъ вамъ, Н. К.,—но на меня особенно непріятно подѣйствовали при проводахъ весь этотъ грохотъ, всѣ эти крики, музыка, торжественность... Все это еще сильнѣе какъ-то потрясаетъ нервы, дѣйствуетъ на нихъ особенно какъ-то раздражительно...

— Правда. возразилъ В*,—я вообще не думалъ, прибавилъ онъ колеблющимся, надорваннымъ голосомъ, не могъ думать, чтобы... такъ это... такъ тяжело было...

В* не договорилъ; крупныя слезы покатились по щекамъ его, и онъ поспѣшилъ отвернуться.

Славно я его утѣшилъ,—нечего сказать!

Во время частыхъ поѣздокъ моихъ изъ Петербурга на корабль, и особенно въ десятидневное плаваніе до Ревеля, я успѣлъ уже познакомиться со всѣмъ, что̀ составляло собственно общество „Ретвизана“, начиная съ офицеровъ и кончая четырьмя котятами, которые живмя-жили въ каютъ-компаніи; тѣхъ, съ которыми не удалось еще перемолвить слова,—я зналъ въ лицо. Въ день нашего отъѣзда я поминутно однакожъ наталкивался на человѣка, котораго мнѣ прежде не случалось видѣть; уже самая физіономія его, нѣсколько рябоватая, крѣпко измятая, съ черными быстрыми глазами, и перекосившаяся на сторону, какъ словно отъ дѣйствія только что принятой горькой микстуры,—невольно останавливала вниманіе; прибавьте къ этому особенность его одежды: онъ былъ въ черномъ бархатномъ жилетѣ и фракѣ съ остроконечными, расходившимися фалдами на подобіе ласточьихъ крыльевъ. Костюмъ его, на который я одинъ на военномъ кораблѣ имѣлъ право,—еще сильнѣе возбудилъ мое любопытство.

— Кто это? спросилъ я у стоявшаго подлѣ гардемарина.

— Какъ, вы развѣ не знаете?

— Нѣтъ.

— Какъ! это знаменитый Мишель Пупо!

— Мишель Пупо? произнесъ я, стараясь перебрать въ памяти,—но тщетно,—всѣ знакомыя мнѣ, извѣстныя имена.

— Да, умиленно подхватилъ гардемаринъ,—это нашъ maître d'hôtel! Онъ былъ поваромъ у турецкаго посланника, содержалъ гостинницу въ Петербургѣ и потомъ въ Иркутскѣ; онъ, говорятъ,

превосходнѣйшій человѣкъ, и столъ, вѣроятно, будетъ у насъ теперь отличный!

Будь Мишель Пупо знаменитый какой-нибудь виртуозъ или художникъ, я кажется не почувствовалъ бы въ сердцѣ своемъ большей радости.

Я забылъ вамъ сказать, что въ это десятидневное плаваніе до Ревеля, многіе изъ насъ,—и я въ особенносли,—à la lettre,—умирали съ голоду; обиднѣе всего было то, что провизіи закуплено было множество и она была превосходная; но несмотря на всю заботливость милаго С*, занимавшаго въ то время трудную обязанность содержателя, не смотря на трогательное усердіе пятерыхъ матросовъ, — доморощенныхъ Ваталей „Ретвизана“, — не было возможности взять въ ротъ ни единаго кусочка, ни одной ложки супа.

Съ чувствомъ невыразимаго умиленья подошелъ я къ Мишелю Пупо и представился ему по всей формѣ.

— Oh! vous aurez un bien bon diner! сказалъ онъ, высоко приподнявъ свои черныя брови и выразительно чмокая губами,—обѣдъ будетъ отличный! (Пупо говорилъ по русски),—moi, je ne suis pas chien, voyez vous,—я не собака,—я опредѣлился сюда не изъ выгодъ, продолжалъ поваръ турецкаго посланника,—у меня одна цѣль: я хочу, чтобы всѣ были довольны;—у меня такой характеръ; je veux contenter tout le monde; je suis comme ça moi!

Мишель Пупо говорилъ съ жаромъ, даже съ увлеченіемъ. Но увы! воодушевленіе Пупо показалось мнѣ съ перваго раза почему-то столько же подозрительнымъ, сколько его безкорыстіе и самоотверженіе на пользу человѣчества. Все это, вмѣстѣ съ біографіей его, чрезвычайно усложненной переходами отъ турецкаго посланника къ Иркутску, отъ Иркутска на „Ретвизанъ“, не мѣшало ему однакожъ знать толкъ въ провизіи и хорошо готовить котлеты и макароны.

Успокоенный послѣднимъ соображеніемъ, я снова поднялся на ютъ.

Меня привлекалъ туда голосъ вахтеннаго, который командовалъ постановку какого-то паруса.

Я нѣсколько разъ имѣлъ случай видѣть такого рода маневры и, признаюсь,—всякій разъ смотрѣлъ съ особымъ замираніемъ сердца. „Вотъ-вотъ, думаешь, сейчасъ кто-нибудь сорвется, слетитъ на па-

лубу и разобьется въ дребезги!..“ Вмѣстѣ съ тѣмъ, никакъ не сидится въ каютѣ, какъ только услышишь команду; какъ ни страшно, но все-таки легче какъ-то присутствовать, слѣдить самому за всѣмъ глазами, чѣмъ сидѣть въ каютѣ, прислушиваться къ непонятному грохоту, писку блока, крикамъ; съ непривычки, постоянно представляется воображенію, что кто-то упалъ и стонетъ.

— Ну, что, нравится, а? спросилъ меня Ш*, радостно потирая руками и подмигивая на матросовъ, которые чуть не бѣгомъ карабкались по вантамъ.

Я взглянулъ наверхъ на площадку гротъ-мачты, куда успѣло уже забраться нѣсколько человѣкъ.

— Снять чехолъ съ грота! крикнулъ вахтенный.

Раздался свистъ; одинъ изъ стоявшихъ наверху матросовъ пригнулся, и во всю прыть побѣжалъ по реѣ на высотѣ шести сажень надъ палубой; за нимъ пустился въ догонку другой, третій...

— Ничего нѣтъ хорошаго! возразилъ я, невольно схватывая Ш* за рукавъ,—вотъ этотъ бѣшеный, который пробѣжалъ первымъ и сидитъ теперь на кончикѣ реи, того и смотри кувырнется и упадетъ въ море...

— У насъ спасительный буекъ есть,—вытащатъ! спокойно сказалъ Ш*.

Я обмѣрилъ глазами пространство между кончикомъ реи, гдѣ сидѣлъ матросъ и моремъ: было по крайней мѣрѣ сажень восемь или девять;—ровно вдвое выше нашей деревенской колокольни!

— Теперь еще куда ни шло, сказалъ я, ну, а какъ вѣтеръ!

— Привыкли, ни почемъ! вымолвилъ Ш*.

— Ну, а ночью, въ бурю, когда на ногахъ едва устоишь и притомъ зги не видно?

— Тогда-то всего рѣже и падаютъ, сказалъ Ш*,—опасности больше, осторожнѣе дѣлаются, держатся и руками и ногами... Въ тихую погоду иной матросъ такъ смѣлъ, входитъ въ такой азартъ, что разбѣжится по реѣ во весь духъ, удержаться на концѣ не успѣетъ и бухается въ воду...

— И кончено?

— То-есть, какъ кончено?

— Погибъ?

— Нисколько; шлюпку спустятъ или спасительный буекъ бросятъ, возразилъ Ш* такъ-же спокойно, какъ еслибъ дѣло шло о

поднятіи человѣка повалившагося наземь,—паденія въ воду ничего не значатъ,—все равно что на пуховикъ! Вотъ, продолжалъ онъ, на палубу упасть,—ну, это другое дѣло! Бывали такіе случаи, что матросъ, упавъ сверху на палубу, пробивалъ ее костями ногъ своихъ на два вершка!.. Бываетъ также: матросъ летитъ сверху и падаетъ на плечи другому; тому кто летѣлъ, — ничего, — только крякнетъ да отряхнется; а тотъ на кого упали,—убитъ на поваль!.. Но вообще падаютъ рѣдко — не смѣютъ!

— Какъ не смѣютъ?

— Боятся;—страхъ держитъ... Взгляните на брамъ-стенгу, на самый кончикъ большой мачты...

— Вижу...

— Одинъ матросъ сорвался оттуда и,—весьма естественно—стремглавъ полетѣлъ внизъ, прямо на палубу; путемъ дорогой удалось ему какъ-то ухватиться за конецъ веревки и онъ повисъ на воздухѣ; достать его въ первую минуту не было никакой возможности; держаться ему было также почти невозможно; въ это время, одинъ изъ лейтенантовъ, человѣкъ очень строгій и котораго страхъ боялись матросы, подошелъ и крикнулъ: „Держись крѣпче; оборвешься, — сто линьковъ дамъ!“ Матросъ упалъ-бы, безъ всякаго сомнѣнія, но такъ подѣйствовалъ на него страхъ, что онъ продержался лишнюю минуту и былъ спасенъ; часа три только никакъ не могли вынуть изъ рукъ его веревку; какъ вцѣпился онъ въ нее всѣми десятью пальцами, такъ они тамъ и замерли; насилу разогнули!

Подъ впечатлѣніемъ такихъ разсказовъ, пошелъ я гулять по всей палубѣ, начиная отъ аристократическаго юта, — корабельнаго Царскаго села, — и кончая мѣщанскимъ бакомъ, — корабельнымъ Екатерингофомъ.

Проходя мимо группъ матросовъ, я пристально всматривался въ лица людей, какъ-бы стараясь угадать, которому изъ нихъ суждено уцѣлѣть, которому погибнуть,—и не далѣе какъ въ промежутокъ этого года. Мнѣ казалось тогда, что жизнь каждаго изъ нихъ подвержена неминуемой опасности: невѣрный шагъ, неожиданный порывъ вѣтра, мгновеніе разсѣянности, толчокъ, — и все кончено! „Смѣйся, молодцуй, думалъ я, поглядывая искоса и даже не безъ досады на свѣжаго дѣтину съ раздутыми щеками, который раскинувшись на связкѣ веревокъ скалилъ зубы и заливался козлинымъ смѣхомъ,—смѣйся, храбрись,—тебѣ первому и даже можетъ быть

сегодня-же суждено кувырнуться въ море или слетѣть головою внизъ на палубу!..“

Казалось-бы, что при такомъ настроеніи мыслей, дальнѣйшая прогулка по палубѣ должна была привести человѣка къ окончательно мрачному росположенію. А между тѣмъ вышло совсѣмъ другое. Извѣстно, что ничто не дѣйствуетъ такъ благотворно на мозгъ и вообще на весь организмъ, какъ пріятные сюпризы; дѣйствіе пріятнаго сюприза на хандру можно сравнить съ дѣйствіемъ солнечнаго луча на туманъ; какъ тотъ, такъ и этотъ сильно способствуютъ къ проясненію; такія именно сюрпризы ожидаютъ васъ на корабельной палубѣ. У кого изъ насъ не пробѣгалъ холодъ въ волосахъ слушая разсказы о страшной корабельной дисциплинѣ, жестокихъ наказаніяхъ, постоянно грозящей опасности, линькахъ, кошкахъ и т. д.

Если тамъ, гдѣ существуетъ и должна существовать военная строгость, можно дышать легко и свободно,—такъ это конечно на кораблѣ. Начать съ того, васъ прежде всего поражаетъ здѣсь полнѣйшее отсутствіе той узкой, оскорбляющей человѣческое достоинство дисциплины, которая требуетъ безусловнаго уничтоженія или по крайней мѣрѣ совершеннаго оцѣпененія младшаго передъ старшимъ. На кораблѣ отъ младшаго требуется только дѣло; то, что въ морской службѣ называется дѣломъ, такъ въ самомъ дѣлѣ серьезно и дѣйствительно, что исполнивъ его, подчиненный получаетъ право свободно стоять, смотрѣть, двигаться. Паруса поставлены, снасти закрѣплены,—дѣло сдѣлано,—матросъ спускается на палубу, ложится, садится, балагуритъ, разсказываетъ сказки; проходитъ-ли офицеръ,—матросъ не вскакиваетъ передъ нимъ какъ будто его неожиданно хватили сзади палкой, не вытягиваетъ рукъ по швамъ, не таращитъ тупоумно глаза на подобіе тѣхъ куколъ, которыя выскакиваютъ изъ ящика, когда тронешь пружину. На бакѣ вы во всякій часъ увидите въ группѣ свободно сидящихъ матросовъ, офицеровъ и гардемаринъ; всѣ весело бесѣдуютъ и смѣются. Матросъ кромѣ того, что онъ подчиненный, сверхъ того еще и помощникъ. Офицеры и матросы очень хорошо это понимаютъ.

Отсюда выходитъ какое-то простое, естественное обращеніе со стороны офицеровъ,—и спокойствіе со стороны подчиненнаго,—спокойствіе, которое нисколько не мѣшаетъ послѣднему лихо дѣлать свое дѣло и уважать старшаго. Здѣсь уже самая жизнь, сами обстоятельства уравниваютъ состоянія; коли плохо, такъ всѣмъ равно

плохо; хорошо,—всѣмъ равно хорошо безъ различія чиновъ и званій. „Качаетъ ребята; свѣжо!..“ „Свѣжо! ваше высокоблагородіе!“— всѣмъ достается въ равной степени.

Нѣтъ корабля, на которомъ-бы не было изъ матросовъ своего рода патріарха, человѣка извѣданнаго въ своемъ дѣлѣ, опытнаго, котораго не уважали-бы сами офицеры.

Результатъ такихъ простыхъ, человѣческихъ отношеній между старшими и подчиненными, ясно видѣнъ въ послѣдней крымской войнѣ; въ черноморскомъ флотѣ не разъ случалось, что матросъ, видя неминуемую опасность начальника, бросался впередъ, защищалъ его своею грудью и падалъ на мѣстѣ безъ сожалѣнья. „Ступайте, ваше благородіе, вы нужнѣе меня!“ сказалъ между прочимъ одинъ изъ тѣхъ матросовъ, падая отъ пули, предназначенной офицеру. Въ такихъ отношеніяхъ кроется быть можетъ великій секретъ успѣха въ дѣлахъ величайшей важности!

Пишу эти строки по прошествіи пяти мѣсяцевъ плаванія; пожилъ я уже на кораблѣ и успѣлъ ко многому присмотрѣться; во все это время я не слыхалъ, чтобы офицеръ преднамѣренно грубо обошелся съ матросомъ, не видалъ толчка, не видалъ тѣхъ оскорбляющихъ всякое чувство экзекуцій, которыхъ нѣкоторые дѣлили даже на разряды и называли: скоросыпательными, зубодробительными и скуловоротными! Съ первыхъ-же дней прожитыхъ мною на кораблѣ, пропала у меня вся тягость на душѣ.

Въ первый же день ухода нашего изъ Кронштадта, я случайно узналъ, что три матроса, принадлежащіе „Ретвизану“, загуляли въ кабакѣ и остались на берегу; мы ушли безъ нихъ.

— Что-же будетъ съ этими несчастными спросилъ я у Ш*, ни мало не сомнѣваясь, что они пропадутъ и будутъ смолоты въ порохъ.

— Посѣкутъ и переведутъ въ другой экипажъ.

— Даже и не высѣкутъ, весело вмѣшался б. Т.,—переведутъ только въ другой экипажъ, тѣмъ и дѣло кончится.

Это стремленіе—здраво, логично смотрѣть на проступки грубаго, необразованнаго человѣка, это смягченіе нравовъ, не доказываетъ-ли это краснорѣчивѣе всякихъ рѣчей, статей, спичей,—тотъ огромный прогрессъ, который сдѣлало нынѣшнее поколѣніе морскихъ офицеровъ? Смягченіе нравовъ можетъ только быть результатомъ нравственнаго развитія и широкаго образованія.

Но я не распространяюсь; изъ всего сказаннаго, ясно уже можно

видѣть, что флотъ нашъ идетъ настоящимъ курсомъ и притомъ полнымъ ходомъ впередъ; жаль только, что самъ подвигаясь такъ быстро, – не беретъ онъ къ себѣ никого на буксиръ...

— Сколько ходу?

— Семь узловъ! отвѣчаетъ вахтенный; идемъ отлично!..

— Какъ, только семь? говорятъ люди нетерпѣливые,—отчего-же такъ мало; велите машинѣ прибавить ходу!

— Нельзя, возражаютъ съ юта люди опытные и разсудительные,—нельзя, будетъ во вредъ машинѣ; пожалуй еще и котелъ лопнетъ... Дойдемъ, не сокрушайтесь!..

Но бьетъ восьмая вечерняя склянка (полночь), пора спать.

Надо полагать, долго еще придется колыхаться въ морѣ, долго надо будетъ умываться соленой водой и много-много придется еще съѣсть пудовъ солонины,—этой фундаментальной, основной приправы морской кухни, прежде чѣмъ привыкнешь проводить на кораблѣ спокойныя ночи. Не знаю, какъ спятъ въ другихъ палубахъ и на кубрикѣ,—этой таинственной пещерѣ, этихъ корабельныхъ катакомбахъ, куда не проникаетъ даже свѣтъ Божій; достовѣрно только, что въ каютѣ моей, непосредственно расположенной подъ ютомъ, нѣтъ никакой возможности спать, не бывъ глухимъ отъ рожденія или не свыкнувшись долгія времена съ мореходною жизнію... Ручаюсь чѣмъ угодно, что въ первый мѣсяцъ, ни одинъ смертный не проспитъ въ моей каютѣ позже пятаго часа утра, оно можетъ быть очень хорошо для здоровья, но я полагаю, однакожъ, что пока послѣдуетъ выздоровленье, успѣешь четыре раза умереть отъ безсонницы. Каюта моя расположена съ лѣвой стороны, именно подъ тою частію верхней палубы, гдѣ сосредоточивается вся возня, происходящая на ютѣ; тутъ же и лѣстница (адски скрипучая лѣстница, надо замѣтить), лѣстница, по которой команда восходитъ на ютъ; стукотня сотенъ ногъ неумолкаемо раздается надъ головою; перестали шаги, начинаетъ звенѣть цѣпь, посредствомъ которой опускаютъ винтъ, грохочетъ канатъ, визжитъ блокъ. Не упоминая о карнизѣ каюты, который подымаетъ пискъ и вой при каждомъ движеніи корабля (корабль, какъ вамъ извѣстно, покоится на волнахъ и вѣчно перекачивается со стороны въ стороны, т. е. находится слѣдовательно въ вѣчномъ движеніи),—перейду къ другимъ звукамъ, не принадлежащимъ самой каютѣ и слѣдовательно совершенно для меня чужимъ и враждебнымъ. Справа отъ моей двери еще лѣстница,

по которой разъ десять въ сутки спускается и подымается чуть-ли не вся команда „Ретвизана“; лѣстница сходитъ во вторую палубу и почти примыкаетъ къ двери каютъ-компаніи. Едва началось утро, васъ до самой глубины мозга костей вашихъ потрясаетъ крикъ:— „Фитиль! - фи-тиль!!..“ Сначала показалось мнѣ, что слова эти выкрикиваетъ паровая машина,—до того дикъ и неестественъ былъ голосъ; оказалось, однакожъ, что то былъ голосъ вѣстового; но это еще не все: подъ поломъ моей каюты стоитъ часовой, обязанность котораго заключается въ томъ, чтобы каждые полчаса звонить въ колоколъ и обозначать этимъ прожитое нами время — ни дать ни взять какъ въ московскомъ дѣвичьемъ монастырѣ, гдѣ также звонитъ колоколъ, напоминающій о близости смертнаго часа.

Представьте же себѣ, что всѣ эти крики, звонъ и топотъ, всѣ эти, даже вмѣстѣ соединенные звуки, ровно ничего еще не значатъ передъ тѣмъ, когда моютъ палубу. Не забудьте, что надъ головой моей палуба, подъ ногами три палубы, и къ довершенію, палубу моютъ не мыломъ, а мочалками и крупнымъ какъ горохъ пескомъ и каменьями, которыхъ, изъ учтивости вѣроятно, называютъ на корабляхъ пемзой. Мытье палубы начинается обыкновенно часовъ въ пять утра, т. е. именно въ тотъ часъ, какъ сонъ всего слаще.

Въ первый разъ когда мыли палубу, мнѣ показалось съ просонья, что корабль попалъ между двумя скалами и его растираетъ въ щепы.

— Какъ мы сегодня спали? спросилъ меня Ш*, когда часовъ уже около одиннадцати взошелъ я на ютъ.

Будь вопросъ этотъ сдѣланъ другимъ, я принялъ-бы его за саркастическую выходку; но лицо Ш* дышало такимъ добродушіемъ, въ голосѣ было столько искренняго участія, что нельзя было заподозрить его въ намѣреніи насмѣяться надо мною.

— Отвратительно спалъ! сказалъ я на отрѣзъ.

— Васъ вѣрно потревожило мытье палубы?

— Хорошо потревожило! Я просто до смерти перепугался и какъ шальной выскочилъ изъ постели... Скажите Бога ради, О. Р., продолжалъ я болѣе миролюбивымъ тономъ,—неужели вы серьезно думаете, что этотъ крупный песокъ и эти булыжники чистятъ палубу?

— Убѣжденъ.

Ш* вообще отличается лаконизмомъ.

— А я убѣжденъ, что этотъ каменный горохъ, приводимый въ

яростное движеніе тяжелымъ булыжникомъ, скоблитъ только палубу, бороздитъ ее и окончательно портитъ...

— Портить-то онъ портитъ; палубы ежегодно убываетъ вершка на полтора...

— Ну, вотъ видите! воскликнулъ я радостно.

— Что же съ этимъ дѣлать! Такъ ужъ заведено у насъ! возразилъ Ш* съ меланхолической улыбкой.

Внезапно лицо его дрогнуло и черты изобразили сильнѣйшее безпокойство; онъ судорожно схватилъ себя за фуражку, произнесъ скороговоркою: — „Худо! худо!“—и стремительно побѣжалъ съ юта. Все это произошло такъ неожиданно и быстро, что не успѣлъ я придти въ себя, какъ уже онъ исчезъ изъ виду.

Переходы эти отъ меланхоліи къ крайней быстротѣ и подвижности чрезвычайно замѣчательны у Ш*. Вообще говоря, О. Р. Ш*, представляетъ собою сочетаніе самыхъ рѣзкихъ контрастовъ и противорѣчій.

Я, напримѣръ, не видалъ еще, чтобы Ш* былъ чѣмъ нибудь доволенъ. Не думайте, чтобы основаніемъ этого былъ мрачный характеръ; ничуть не бывало! Душа Ш* мягче гагачьяго пуха, сердце нѣжнѣе голубинаго, къ веселости расположенъ онъ какъ дитя; въ жизнь не встрѣчалъ я еще человѣка, исполненнаго большей терпимости, доброты и сговорчивости;—словомъ, будь Ш* женщина, я тотчасъ же предложилъ бы ему руку и сердце и женился-бы на немъ, ни мало не сомнѣваясь, что пріобрѣлъ драгоцѣннѣйшую подругу жизни. Но бѣда вся въ томъ, что Ш* морякъ и вдобавокъ еще заклятой морякъ,—до мозга костей морякъ. Въ качествѣ моряка и еще какъ лицо, занимающее на кораблѣ отвѣтственную должность, онъ подверженъ страшному кокетству въ отношеніи къ „Ретвизану“,—слабости, которая рѣшительно портитъ всѣ его добродѣтели. Она разводитъ въ немъ раздражительность, безпокойство и постоянное недовольство какъ кораблемъ, такъ равно и самимъ собою. Глядя на него, кажется, какъ будто всѣ снасти и веревки „Ретвизана“ (а таковыхъ наберется нѣсколько сотенъ), проходя сквозь борты, крючья и блоки, проходятъ также и сквозь сердце Ш*; такъ что, при малѣйшемъ содроганіи какой-бы то ни было снасти, содрагается вмѣстѣ съ тѣмъ и сердце Ш*. Что значитъ заботливость кокетки, высматривающей на лицѣ своемъ морщинки, проводящей цѣлые часы передъ зеркаломъ, натирающей себя спермацетомъ, бѣлилами и румянами, передъ заботливостью Ш* въ от-

ношеніи къ поддержкѣ красоты „Ретвизана"! Еслибъ всю воду, которая пошла въ эти четыре мѣсяца на умыванье „Ретвизана", еслибъ всю эту воду слить въ пустой бассейнъ, „Ретвизанъ" могъ бы свободно въ немъ плавать какъ въ морѣ.

Подойдите въ какое угодно время дня и ночи къ Ш* и спросите его:

— Ну что, О. Р.? (онъ же и Ш*).

— Охъ, худо, худо!.. возразитъ онъ непремѣнно, потряхивая головою и судорожно комкая свою фуражку, которая какъ у истаго моряка всегда почти на затылкѣ.

— Что же такое?

— Краска на лѣвомъ борту лупится, кочегары неисправны, въ трюмѣ скверный запахъ, палуба опять загрязнилась отъ этой проклятой копоти...

— Гдѣ-жъ вы все это видите?.. Вѣдь мы только что вышли изъ порта, только что вычистились, вымылись, выкрасились; успокойтесь пожалуйста!.. Все такъ хорошо, такъ исправно, что требовать лучшаго, значило бы требовать невозможнаго...

— Успокоиться! подхватываетъ онъ уже съ нѣкоторою раздражительностью, — успокоиться для того вѣроятно, чтобы „Ретвизанъ" былъ хуже другихъ кораблей!..

— Хуже не будетъ, вы сами это знаете!

— Да, вамъ хорошо такъ разговаривать, очень-хорошо! „Ретвизанъ" для васъ — *чужой человѣкъ*!! Послушай только васъ, успокойся, въ два дня не узнаешь корабля — все пойдетъ прахомъ!

Кокетство это, раздражительность и даже обидчивость въ отношеніи къ „Ретвизану", поддерживаются впрочемъ съ успѣхомъ и остальными офицерами.

Если судьба принесетъ васъ когда нибудь на военный корабль, оборони васъ Боже дѣлать замѣчанія, не относящіяся къ похвалѣ корабля; не совѣтую особенно пускаться въ сравненія, говорить напримѣръ, что вотъ такой-то фрегатъ чище, сидитъ красивѣе, ободокъ на шлюпкѣ его расположенъ съ большимъ вкусомъ, и т. д.— все это примется за такую же точно неделикатность и подѣйствуетъ такъ же щекотливо, какъ еслибъ прогуливаясь съ сестрою одного изъ офицеровъ, вы сказали бы, что вонъ та дама, которая проходитъ мимо, красивѣе сестры его, что туалетъ на ней лучше и т. д.

Когда корабль идетъ подъ парусами, подымитесь на ютъ и скажите: какъ красиво! Вы увидите, какъ тотчасъ же разцвѣтутъ са-

мыя нахмуренныя физіономіи; вамъ непремѣнно отвѣтятъ. — „Да, величественно, не правдали? но съ юта нельзя еще судить вполнѣ; надо бы взглянуть теперь на „Ретвизанъ“ на разстояніи ста сажень съ какой нибудь шлюпки; вотъ тутъ вы бы увидали!“

— Господа! раздается часто восклицаніе и при этомъ показывается лицо, выражающее крайнюю степень смущенія и тревоги,— господа! вонъ на томъ фрегатѣ,—я самъ видѣлъ!—брамъ-рею подняли въ полторы минуты... У насъ вчера подняли въ три,—срамъ! срамъ!!—этакъ мы просто опозоримся!

Вы слышите часто, что спорятъ, и какъ горячо еще спорятъ по цѣлому часу, о выкраскѣ баркаса; судятъ, рядятъ и опять спорятъ о красотѣ зеленой, желтой, синей или красной полоски, долженствующей украсить любимую шлюпку, и т. д.

Но всѣхъ кокетливѣе все таки Ш*! Дайте „Ретвизану“ паруса изъ moire-antique, мачты изъ палисандроваго дерева, снасти изъ крученаго цвѣтного шелка, покройте палубу обюсонскими коврами, вызолотите борты и пушки, набѣлите и нарумяньте кочегаровъ, опрыскайте весь корабль esse bouquet,—онъ и тогда будетъ комкать свою фуражку, жаловаться на недостатокъ хорошаго запаса, щегольства и изящества на „Ретвизанѣ“.

— Вы вѣроятно не привыкли еще къ склянкамъ? спросилъ одинъ изъ офицеровъ, подходя ко мнѣ въ то время, какъ я говорилъ съ Ш* на ютѣ.

— Начинаю привыкать.

— Это не видно...

— Отчего?

— Въ такомъ случаѣ у васъ сегодня вѣрно очень дурной апетитъ?

— Я васъ не понимаю; напротивъ я умираю съ голоду!

— Когда такъ, ступайте-же скорѣе въ каютъ-компанію; давно уже пробила восьмая склянка, и давно сѣли обѣдать!

Сходя по лѣстницѣ, я услышалъ въ каютъ-компаніи ужаснѣйшій шумъ голосовъ.

Войдя туда, я былъ рѣшительно оглушонъ.

— Попробуйте-ка супъ! закричало нѣсколько человѣкъ, обращаясь ко мнѣ.

— Ѣсть нельзя,—сущіе помои! декламировали другіе, разводя руками надъ полными тарелками.

— Онъ чортъ знаетъ чего плеснулъ туда!

— Кто?

— Да этотъ разбойникъ Мишель Пупо!

— Просто гадость и даже воняетъ! восклицали другіе.

— Мишель Пупо! Пупо! Пупо!! закричали всѣ въ одинъ голосъ.

Пупо въ это время скрывался въ буфетѣ, находящемся тутъ-же въ каютъ-компаніи и, какъ нарочно, расположенномъ противъ обѣденнаго стола. Пользуясь темнотою своего убѣжища, онъ думалъ, что его не замѣтятъ, и ждалъ, авось-либо пройдетъ этотъ шквалъ негодованія; буря росла, однакожъ, съ каждой секундой; принужденный выйти на сцену, Пупо сдѣлалъ нѣсколько шаговъ впередъ, почтительно поклонился и приложилъ руку къ сердцу.

— Отчего супъ скверенъ? ѣсть нельзя! воняетъ! вы чортъ знаетъ чего туда плеснули!! посыпалось на него со всѣхъ сторонъ.

— Господа, кротко проговорилъ Пупо, сохраняя позу актера, осыпаннаго въ одно и то-же время свистками и печеными яблоками,—господа, супъ точно не хорошъ! Oui, bon-Dio! я это вижу!.. Но случилось несчастіе: зелень на кораблѣ испортилась... здѣсь все портится! Но увидите зато, какая будетъ говядина. О! какая будетъ говядина!!—одинъ филе тридцать пять копѣекъ за фунтъ!!..

— Давайте-же скорѣе говядину! Берите супъ и подавайте говядину! закричало тридцать голосовъ замѣтно смягченнымъ тономъ.

Пупо скрылся, и подали говядину.

Говядина оказалась не лучше супа.

Громкій ропотъ снова пробѣжалъ по каютъ-компаніи; въ ту-же секунду, подобно ракетамъ, съ трескомъ вылетающимъ изъ глухо рокочущаго фейерверка, снова раздались голоса: Пупо! Давайте сюда Мишеля Пупо!!..

Поваръ турецкаго посланника явился; лицо его было блѣдно и перекашивалось сильнѣе обыкновеннаго.

— Господа, произнесъ онъ, пользуясь минутой, когда притихъ шумъ,—господа, когда я содержалъ гостинницу въ Иркутскѣ и находился у турецкаго посланника...

— Не нужно здѣсь турецкаго посланника! говорите, отчего нельзя ѣсть говядину? выстрѣлили въ него, какъ картечью.

— Господа!—сказалъ онъ, перемѣняя вдругъ смиренное выраженіе лица на свирѣпое и принимаясь размахивать руками — я вижу, да, я былъ обманутъ кронштадтскими купцами!!.. Но, какъ предъ Богомъ, я заплатилъ имъ по тридцати пяти копѣекъ за фунтъ и покупалъ одинъ филе! О! это такіе разбойники! Я здѣсь служу не

изъ выгодъ! C'est pour me faire honneur! и вы увидите! Сознаюсь въ томъ также, что я не присмотрѣлъ, какъ готовили говядину, а положился на повара и занялся приготовленіемъ пирожнаго... Я самъ его сдѣлалъ... à la manière Italienne! Увидите, какія я вамъ сдѣлалъ пирожки! прибавилъ онъ, скорчивая сладкую мину человѣка, смакующаго варенье, — смѣю увѣрить, такихъ пирожковъ вы еще никогда не кушали!!

Увы! пирожки à la manière Italienne обманули насъ также, какъ и говядина.

Тѣсто было кислое, варенья такъ мало, что ясно было, Пупо болѣе заботился мазать имъ пирожки, чѣмъ наполнять ихъ.

Рѣшено было общимъ голосомъ положить разъ на всегда предѣлъ такимъ безпорядкамъ. Каждый членъ каютъ-компаніи платилъ за столъ двадцать пять рублей серебромъ въ мѣсяцъ, что составляло въ годъ, считая шестьдесятъ два человѣка, около семидесяти тысячъ франковъ; за такую сумму, согласитесь сами, каждый имѣлъ, кажется, право требовать тарелку съѣдобнаго супу, вкусный кусокъ говядины и что-нибудь сладкое къ десерту.

На этомъ основаніи, Пупо былъ снова потребованъ на сцену.

Никогда еще во всю жизнь не видалъ я выраженія болѣе внимательнаго, какъ то, съ какимъ Пупо выслушивалъ замѣчанія каютъ-компаніи. При каждомъ словѣ, при каждомъ вопросѣ онъ одобрительно кивалъ головою и, казалось, внутренно сознавалъ всю вину свою и глубоко скорбѣлъ объ этомъ. Такъ, по крайней мѣрѣ, говорили его задумчивость и глаза, опущенные на палубу.

— Господа, вижу, теперь ясно все вижу, проговорилъ онъ, наконецъ, разстроеннымъ, потрясеннымъ голосомъ, — я бралъ муку лучшую, конфектную, и — былъ обманутъ!! Бралъ филе лучшій, по тридцати пяти копѣекъ, и былъ обманутъ!!..

— Какъ-же такъ?.. вмѣшалось нѣсколько человѣкъ, — если вы были, какъ говорите, двадцать лѣтъ поваромъ, вы должны-же знать толкъ въ провизіи.

— Я повѣрилъ купцамъ, господа, — повѣрилъ имъ на слово; я человѣкъ честный и никогда мысль объ обманѣ не приходила мнѣ въ голову... о, никогда! Я кругомъ обманутъ этими мошенниками! Въ Ревелѣ все перемѣнится! Я брошу въ море всю теперешнюю провизію и накуплю свѣжихъ запасовъ... Oh, je ne suis pas chien! вы это увидите...

— Но вы говорили намъ, что вино было куплено отличное; отчего-же его пить нельзя? Это такая кислятина, что ротъ коверкаетъ на-сторону!

— Вино! Le vin! Какъ, и вино дурно? спросилъ Пупо тономъ глубокаго изумленія.

— Никуда не годится! отозвались всѣ въ одинъ голосъ.

— О, это разбой! совершенный разбой! повѣрите-ли: платилъ семь гривенъ за бутылку! купилъ за лучшій Сен-Жюльенъ, première qualité! Спросите, у кого угодно... Но въ Ревелѣ все перемѣнится; тамъ, я знаю, отличные погреба и честные торговцы, они меня не обманутъ! О, дайте только придти въ Ревель, и вы увидите que je ne suis pas chien!

Въ каютъ-компаніи составилось два мнѣнія: одни утверждали, что Пупо честный идіотъ; другіе—что Пупо отъявленный плутъ, принимающій смиренно-добродушный видъ для обезоруженія всеобщаго негодованія.

Тѣмъ не менѣе, всѣ были все-таки адски голодны; надежды этого дня возложены были на блюдо говядины — pièce de résistance—долженствовавшее, по условію съ содержателемъ, сопровождать вечерній чай.

Вечеромъ, часовъ около шести, проходили мы островъ Гогландъ.

Часа еще за полтора началъ онъ показываться надъ горизонтомъ моря; темносѣрая, волнистая профиль его постепенно выростала и явственнѣе обозначалась на чистомъ небосклонѣ, напоминавшемъ уже осень своими зеленоватыми отливами. Глядя на Гогландъ, кажется, что самъ Солевецкій островъ, который всегда рисуется воображенію типомъ унынія, не можетъ быть мрачнѣе и угрюмѣе: куда ни наведешь трубу, всюду встрѣчаешь однѣ голыя, пустынныя гранитныя скалы, обдаваемыя у подошвы сѣдою пѣною холодныхъ буруновъ. При внимательномъ наблюденіи, я сказалъ себѣ, что даже во снѣ не хотѣлъ-бы прожить дня на Гогландѣ.

Тамъ находятся, однакожъ, двѣ деревни, и считается до четырехсотъ жителей; промыселъ ихъ рыбная ловля, но больше—контрабанда. Они закупаютъ въ Ревелѣ ромъ, водку, чай и перевозятъ на лодкахъ своихъ эти предметы на финскій берегъ, который мутною, едва примѣтною полосою тянется съ правой стороны горизонта.

Угрюмому виду острова отвѣчаетъ и самое море, его окружающее. Здѣсь большую часть года, и особенно осенью, дуютъ сильные вѣтры и грохочутъ бури. Не перечесть всѣхъ судовъ, которыя

разбились объ этотъ негостепріимный берегъ. Существуетъ даже повѣрье, что каждое судно, проходя мимо Гогланда, должно бросить въ море нѣсколько мелкихъ монетъ; цѣль при этомъ та, чтобы смягчить, задобрить Гогландъ въ свою пользу. Повѣрье началось кажется со временъ Петра великаго и долго сохранялось во всей своей силѣ; теперь оно годъ-отъ-году теряетъ свое значеніе.

Убѣдились видно наконецъ въ безполезности задобривать Гогландъ приношеніями изъ звонкой монеты. Я полагаю, не отсюда ли взялось сравненіе: сердце твердое какъ гранитъ! Въ самомъ дѣлѣ, какое-же сердце, если не гранитное, такъ упорно можетъ оставаться нечувствительнымъ къ взяткамъ.

Боже мой, что за скучное, унылое, непривѣтливое море,— этотъ финскій заливъ! Это тотъ-же Гогландъ, но только въ жидкомъ, распущенномъ видѣ.

Вотъ уже трое сутокъ какъ мы плывемъ, и во все это время, ни одна птица не промелькнула въ воздухѣ, ни одна рыба не плеснула въ водѣ. Однообразіе страшное! Замѣтьте еще, что однообразіе составляетъ лучшую, лицевую сторону финскаго залива; это, такъ сказать—его улыбка.

Вообразите-же, какъ должно быть хорошо здѣсь въ глухую, бурную, осеннюю ночь, когда въ непроницаемомъ мракѣ бушуетъ разъяренное море, когда члены ваши костенѣютъ отъ стужи, дико ревутъ снасти подъ напоромъ вѣтра, дождь и пѣна обливаютъ вашу голову и ко всему этому, какъ грозныя привидѣнія, всюду мерещутся подводныя скалы и берега Гогланда...

Единственное наше развлеченіе состояло въ томъ, чтобы смотрѣть въ колодезь, гдѣ обращается винтъ машины. Вода замѣтно дѣлалась прозрачнѣе и принимала зеленый цвѣтъ аквамарина; мы очевидно плыли уже въ соленой водѣ.

На четвертый день, утромъ бросили мы якорь передъ Ревелемъ.

Но не стану описывать вамъ Ревель. Олай—церковь, мумія герцога de Croix, каштаны Екатериненталя, развалины монастыря св. Бригиты, замѣчательныя потому именно, что въ нихъ нѣтъ ничего замѣчательнаго,—все это вы уже знаете давно изъ описаній и по литографіямъ. Къ тому-же, мы пробыли въ Ревелѣ всего одинъ день. Что до меня касается, меня поразили въ Ревелѣ четыре особенности, о которыхъ, сколько помню, не упоминалъ еще ни одинъ путешественникъ: страшная пыль, которая еще ядовитѣе и горьче кронштадской, превосходный портвейнъ, который мы

пили въ какой-то кофейной, выходившей на площадку, заваленную картофелемъ и окруженную узкими домами съ высокими черепичными кровлями; отвратительный обѣдъ въ такъ называемомъ casino (не забудьте, обѣдъ этотъ слѣдовалъ за обѣдами Пупо), и наконецъ, женскій пансіонъ, случайно встрѣтившійся намъ на поворотѣ въ какую-то улицу; было около двадцати дѣвицъ; изъ нихъ, если судить по плѣнительной зрѣлости рукъ и плечь, многимъ было лѣтъ за семнадцать: и при всемъ томъ, всѣ онѣ были въ коротенькихъ дѣтскихъ платьяхъ и панталончикахъ...

На ревельскомъ рейдѣ встрѣтили мы корабль „Прохоръ". Вечеромъ, когда мы снялись съ якоря, повторилась въ уменьшенномъ видѣ та же сцена, что была при уходѣ нашемъ изъ Кронштадта; наши матросы и матросы „Прохора", громоздились на вантахъ, махали фуражками и кричали ура!

Наступившая ночь скрыла и „Прохора" и „Ретвизанъ".

Все наше общество, какъ это водится обыкновенно по вечерамъ, снова собралось въ каютъ-компанію, гдѣ давно уже горѣли лампы;—и снова, при плавномъ перекачиваніи слѣва направо, подъ тихій скрипъ бортовъ, напоминавшій скрипъ сверчка въ родимомъ очагѣ,—потекло своимъ обычнымъ ходомъ наше корабельное житье-бытье...

Желалъ-бы я знать, почтенный читатель, и особенно вы, моя милая читательница, желалъ-бы я знать, какого вы вообще мнѣнія о каютъ-компаніи?

Принимая въ соображеніе собственныя свои понятія касательно этого предмета до тѣхъ поръ, пока я съ нимъ коротко не познакомился, я почти увѣренъ, что каютъ-компанія пользуется въ вашихъ глазахъ самымъ невыгоднымъ мнѣніемъ.

И въ самомъ дѣлѣ: представьте себѣ пространство сажень въ пять длины, сажени четыре въ ширину и вышиною въ ростъ человѣка, гдѣ волей-неволей должны собираться человѣкъ сорокъ морскихъ офицеровъ. Воображеніе заранѣе рисуетъ не только непривлекательную, но даже страшную картину: воздухъ зараженъ міазмами рома, коньяка и другихъ спиртуозныхъ напитковъ; къ этому присоединяется табачный дымъ, который стелется въ три коромысла и выѣдаетъ глаза; въ этой смрадной атмосферѣ мелькаютъ воспаленныя лица, разбросанныя колоды картъ, слышатся дикій хохотъ, необузданныя рѣчи и пѣсни,—словомъ, адъ совершеннѣйшій,—неправда-ли?

Не могу сказать вамъ ничего опредѣленнаго, насколько вѣрно все это, если дѣло коснется быта корсаровъ и пиратовъ прѣсной и соленой воды, или жизни моряковъ временъ очаковскихъ и покоренья Крыма, и если не такой отдаленной эпохи, то пожалуй жизни моряковъ въ восьмисотыхъ годахъ. Картина, мною изображенная, можетъ быть тогда слишкомъ еще блѣдна. Я познакомился съ моряками только въ 1858 году, и надо думать, нравы корабельные въ послѣднее время сильно измѣнились.

Проведя три дня въ ретвизанской каютъ-компаніи, я убѣдился, что дѣлаюсь самымъ невольнымъ образомъ членомъ клуба или общества умѣренности, трезвости и воздержанія всякаго рода. Въ эти три дня, и потомъ слѣдующіе за тѣмъ пять мѣсяцевъ, ставилось ежедневно на столъ пятнадцать бутылокъ вина, изъ которыхъ каждый разъ дюжина уносилась непочатою (замѣтьте: вино уже не покупалъ Пупо и оно было отличное). Я не видалъ ни одной колоды картъ; даже лото и домино не существуютъ. Общество каютъ-компаніи подчинено своимъ особымъ законамъ и правиламъ; такъ напримѣръ, если который нибудь изъ ея членовъ сдѣлаетъ грубость другому, онъ обязанъ публично просить извиненія и не только передъ тѣмъ, кому сдѣлана грубость, но даже передъ всѣмъ обществомъ; въ противномъ случаѣ онъ исключается изъ общества и входъ въ каютъ-компанію остается для него навсегда закрытъ. Всякій поступокъ, способный нарушить общее согласіе, общую гармонію общества, преслѣдуется съ ожесточеніемъ и неминуемо влечетъ за собою изгнаніе. Не думаю, чтобы въ какомъ бы то ни было клубѣ или собраніи существовало столько гарантій въ пользу общественнаго спокойствія и удобства.

Правда, что все это зависитъ отъ главнаго начальника корабля, зависитъ отъ степени личнаго его образованія и развитія, отъ умѣнья дать съ перваго раза общій благородный тонъ обществу; зависитъ все это также отъ его характера и личныхъ достоинствъ, которыя, покоряя ему общество, его окружающее, возбуждая къ себѣ всеобщее уваженіе, заставляютъ молодыхъ офицеровъ подражать начальнику, принимать въ себя его образъ мыслей и тѣмъ способствовать къ поддержкѣ общаго благороднаго акорда, взятаго капитаномъ.

— „Какъ же проводятъ время въ каютъ-компаніи? Что-же дѣлаютъ и чѣмъ занимаются эти тридцать человѣкъ офицеровъ, составляющихъ общество „Ретвизана“? Изъ нихъ вѣрно половина мо-

лодежи; несбыточное дѣло, чтобы они точно также стремились исключительно къ полученію монтіоновской преміи за добродѣтель... Воля ваша; не свойственно это ни лѣтамъ ихъ, ни даже положенію...“

Начать съ того, что никто не только не думаетъ о монтіоновской преміи, но врядъ-ли даже кто-нибудь подозрѣваетъ о существованіи самого Монтіона. Каждый, дѣйствуя въ границахъ предписанныхъ правилами каютъ-компаніи, проводитъ, сколько я замѣтилъ, по своему очень пріятно время. Никому здѣсь не воспрещается бѣсноваться, скакать, прыгать, и даже дѣлать гимнастику на желѣзныхъ перекладинахъ, связывающихъ потолокъ; никому не воспрещается сбиваться въ кружки и пѣть пѣсни. Но потому-ли, что въ каютъ-компаніи „Ретвизана“ нашлись пять-шесть человѣкъ, которые съумѣли дать направленіе остальному обществу, время проходитъ въ болѣе миролюбивыхъ занятіяхъ. Вечеромъ, передъ чаемъ или послѣ чая, когда общество находится въ полномъ сборѣ, часто всѣ усаживаются вокругъ большого стола; тогда раскрывается Гоголь, Пушкинъ, Кольцовъ, Тургеневъ. Вообще у насъ много читаютъ, гораздо больше, чѣмъ я думалъ и чѣмъ сами вы думали вѣрно, почтенный читатель; читаютъ по большей части все хорошія книги. Въ продолженіе трехъ мѣсяцевъ, несмотря даже на званіе мое библіотекаря ретвизанской каютъ-компаніи, я не могъ добиться Мертвыхъ душъ, Современника, Отечественныхъ записокъ, повѣстей Тургенева и проч. и проч. Я бы рѣшительно долженъ былъ ограничиться чтеніемъ путешествій, еслибъ не Ф*, который такъ зараженъ библіоманіей, что акуратно въ каждомъ порту просаживаетъ всѣ свои деньги на покупку книгъ.

Войдите въ какое угодно время къ намъ въ каютъ компанію, вы непремѣнно найдете нѣсколько человѣкъ, которые постоянно чѣмъ-нибудь заняты. Кто, спрятавъ голову въ ладони и положивъ локти на бортъ, углубленъ въ чтеніе, кто занимается составленіемъ гербаріума, (не смѣшивайте съ гербовникомъ, какъ сдѣлало это у насъ однажды въ Россіи одно очень важное лицо, посѣтившее московскій университетъ); у одного изъ оконъ вы непремѣнно увидите длинную, сгорбленную фигуру Р*, который потрошитъ какого-нибудь жука или накалываетъ на пробку сушеную бабочку.

Но нѣтъ правилъ безъ исключенія и потому въ такой огромной семьѣ, какъ наша, не всѣхъ въ равной степени занимаютъ науки и чтеніе. Послѣднимъ, какъ уже сказано, предоставляется полная

свобода, не выходя однакожъ изъ предписанныхъ границъ, бѣсноваться, вѣшаться ногами на потолочныя перекладины, пѣть пѣсни и играть съ четырьмя котятами, которые, какъ я также говорилъ вамъ, находятся въ числѣ непремѣнныхъ членовъ каютъ-компаніи.

Кстати также объ этихъ котятахъ! По поводу ихъ, припоминаю еще черту изъ нравовъ теперешнихъ мореходовъ,—нравовъ, которые, вы сами убѣдитесь, не имѣютъ право ничего свирѣпаго.

Описывая въ началѣ главы отплытіе наше изъ Кронштадта, я говорилъ вамъ о лейтенантѣ В*; помните, тотъ самый В*, котораго я такъ хорошо утѣшилъ.

Въ первые дни нашего плаванія В* не разлучался съ однимъ изъ котятъ; онъ носился съ нимъ всюду; въ каютъ-компаніи В* по цѣлымъ часамъ игралъ съ нимъ на диванѣ; уходя на кубрикъ онъ бралъ его съ собою и, какъ говорили товарищи, клалъ его съ собою даже въ постель. Когда В* гулялъ, голова котенка непремѣнно выглядывала изъ-подъ лацкановъ его пальто или сюртука. На третій день нашего плаванія, котенка не называли иначе, какъ любимцемъ В*.

— Любопытно было бы знать, что особеннаго нашелъ В* въ этомъ котенкѣ, сказалъ я какъ-то; котенокъ этотъ какъ нарочно самый шершавый и некрасивый...

— Вы не догадываетесь? спросилъ Ф*.

— Нѣтъ! развѣ съ этимъ котенкомъ связаны особыя воспоминанія?

— Да—и даже самыя сердечныя воспоминанія, возразилъ Ф*; когда жена В* пріѣзжала въ послѣдній день на корабль, чтобы проститься съ мужемъ, она провела цѣлый часъ въ его каютѣ; въ это время забѣжалъ туда какимъ-то образомъ этотъ самый котенокъ; M-me В*, движимая можетъ быть тѣмъ же чувствомъ, которое заставляетъ теперь ея мужа возиться съ котенкомъ, не переставала ласкать его и держать все время у себя на колѣняхъ... Понимаете теперь причину пристрастія В* къ этому маленькому животному.

— Еще-бы! сказалъ я, и съ этой минуты, каждый разъ какъ хотѣлось мнѣ порадовать В*, я подходилъ къ котенку, начиналъ ласкать его и расточалъ передъ нимъ самыя утонченныя нѣжности.

Но пора, однакожъ, оставить каютъ-компанію; скоро полночь; офицеры давно уже разбрелись—кто на вахту, кто на кубрикъ. Въ каютъ-компаніи и пусто и мрачно; тамъ тускло теперь мерцаетъ

одинокій фонарь и ходитъ матросъ, приставленный на ночь для наблюденія за огнемъ.

Прежде чѣмъ запереться въ свою каюту, я люблю иногда выйти въ такое время на верхнюю палубу. Прогулка начинается тѣмъ обыкновенно, что сдѣлаешь нѣсколько шаговъ съ зажмуренными глазами, какъ это бываетъ когда зги вокругъ не видно; потомъ ощупью доберешься до лѣстницы и взойдешь на ютъ.

Когда море тихо и корабль идетъ подъ парусами, минуты проводимыя на ютѣ бываютъ особенно пріятны.

Но для полноты извѣстнаго рода впечатлѣній, надобно, чтобы ни звѣздъ, ни луны на небѣ не было; чтобы темь кромѣшная окутывала корабль и море. Тишина, царствующая на всемъ кораблѣ, во всѣхъ его палубахъ, самыхъ потайныхъ частяхъ и закоулкахъ, отвѣчаетъ мраку и довершаетъ полноту впечатлѣнія. Есть что-то таинственное, что-то охватывающее душу въ этомъ быстромъ ходѣ корабля предоставленнаго самому себѣ, идущаго какъ будто своей собственной волей и силой...

Вѣтеръ и буря ночью на морѣ имѣютъ свою прелесть, свою дикую поэзію; но я больше люблю стоять на ютѣ въ тихую черную ночь, когда весь корабельный людъ, столько шумѣвшій, кричавшій и топавшій въ продолженіе дня, улегся и угомонился; когда самые паруса, надутые легкимъ попутнымъ вѣтромъ, не шелохнутся и стоятъ неподвижно. Звукъ не раздражаетъ тогда нервовъ; напротивъ, слухъ жадно ловитъ каждый шорохъ, напоминающій дѣйствительность... Скрипнетъ-ли доска, плеснетъ-ли подъ корабельнымъ носомъ пѣна, или внезапно набѣжавшій порывъ вѣтра зашумитъ въ вышинѣ парусомъ, — живо обращаешься въ ту сторону, наклоняешься, вытягиваешь голову и прислушиваешься... А корабль между тѣмъ, пригнувшись нѣсколько на бокъ, продолжаетъ быстро разсѣкать волны и, кажется, все глубже и глубже уходитъ въ таинственное царство ночи...

II.

Отъ Петербурга до Ниццы.

Кронштадтскіе Филемонъ и Бавкида.—Что такое „деньщикъ“:—Горе отъ генеральскаго чина.—Изъ Харибды въ Сциллу.—Корабельный писарь.—Какъ матросы пьютъ водку.—Боцманъ Вороновъ (физіологическій очеркъ).—Опять Мишель Пупо.—Ночная тревога.—Ниборгъ.—Корсеръ.—Ночь на пароходѣ.—Киль утромъ.—Голштинскій пейзажъ изъ оконъ вагоновъ желѣзной дороги.—Гамбургъ.—Чуть-чуть не разбиты въ дребезги.—Поѣздка въ Копенгагенъ.—Датскій ландшафтъ.—Копенгагенъ.—Снова въ Ниборгѣ и въ добавокъ еще на большомъ обѣдѣ и на балѣ.—Ниборгское общество и преимущественно дамы.—Ретвизанъ печетъ несмѣтное количество пироговъ и накрываетъ на столъ.—Пиръ Вальтазара.—Снимаемся съ якоря.

Въ первой главѣ моихъ путевыхъ впечатлѣній я описывалъ вамъ Кронштадтъ, распространялся съ особенною подробностью по поводу мостовой, писарей и пыли этого города, пускался въ разсужденія касательно конторы надъ портомъ и проч. и проч., т. е.—говорилъ большею частію о предметахъ почти постороннихъ и ни слова почти не сказалъ о лицахъ и предметахъ, составляющихъ собственно сущность нашего корабля и мореходной жизни. Такъ напримѣръ, я едва коснулся матросовъ и, что всего удивительнѣе, не подумалъ познакомить васъ съ сигнальщикомъ Михайлой Шестаковымъ.

Михайла состоитъ при мнѣ въ должности камердинера, или деньщика, вѣстового, какъ принято называть у насъ нижнихъ чиновъ, исправляющихъ лакейскую должность. Со второго же дня нашего плаванія, я и Михайла живемъ въ такой тѣсной дружбѣ, что говоря о себѣ, я необходимо долженъ говорить и о немъ; впрочемъ не сталъ бы я упоминать ни о томъ, ни о другомъ; но Михайла представляетъ слишкомъ замѣчательный образчикъ человѣческаго рода, чтобы можно было умолчать о немъ.

Въ жизнь свою (а жилъ я довольно много и долго), невстрѣчалъ я еще человѣка до такой степени насквозь прошпигованнаго семейственнымъ элементомъ. Онъ кажется потому больше и принялъ такъ охотно роль камердинера (никто, какъ увидите, не принуждалъ его къ этому), что она давала ему восможность возиться съ чашками, колоть сахаръ, рыть каюту, убирать постель и проч. Если предположить, что у людей, дѣйствительно отданныхъ семейной жизни, чувство семейственности равняется по величинѣ грецкому орѣху, у Михайлы оно безспорно достигаетъ размѣровъ страусова яйца — никакъ не меньше.

Вотъ между тѣмъ данныя, на которыхъ воздвиглось такое сильное чувство.

Михайла женатъ на чухонкѣ, которая восемью годами старѣе его и которая, по словамъ матросовъ (а они, надо сказать, не очень взыскательны въ отношенiи къ красотѣ), обладаетъ такимъ лицомъ, что кажется, „къ нему прицѣплялись круглый годъ всѣ якоря кронштадтской купеческой гавани". Основываясь на словахъ тѣхъ же матросовъ, нравомъ своимъ жена Михайлы „вышла прямо изъ ножевого завода". Она гложетъ его съ утра и до вечера какъ черствую корку, пилитъ какъ тугое дерево, полощетъ какъ тряпку.

Со всѣмъ тѣмъ, Михайла Шестаковъ не надышется ею; у него только и разговору, что о ней; только и мысли,—какъ бы порадовать заграничнымъ какимъ нибудь подаркомъ супругу, „свою нѣмку"—какъ онъ обыкновенно хвастливо ее называетъ. Не было еще такого города, изъ котораго я не писалъ бы письма на имя Вильгельмины Шестаковой. Она очевидно держитъ его въ страшныхъ ежевыхъ рукавицахъ; онъ очевидно боится ее пуще командира и барона Ш., но гнетъ этотъ нимало не обременяетъ Михайлу: напротивъ: онъ сладостно потягивается подъ нимъ, какъ зябкiй человѣкъ притиснутый широкой пуховой периной.

Замѣтьте между тѣмъ: Михайла женился не по страсти; влеченiе сердца, сродство двухъ душъ, стремящихся другъ къ другу, все это не играло ни малѣйшей роли въ его женитьбѣ на Вильгельминѣ.

Разсказывая мнѣ свою исторiю, онъ признавался, что въ первое время совсѣмъ не любилъ своей нѣмки; она ему скорѣе тогда вовсе даже не правилась; женитьба его была, собственно говоря: un mariage de raison; разсчетъ, благоразумiе послужили къ тому поводомъ.

Вотъ какъ это случилось.

У Михайлы умеръ дядя; племяннику досталось въ наслѣдство: двадцать пѣлковыхъ деньгами, тулупъ и сапоги покойника; затѣмъ,— три платка и двѣ ситцевыхъ поневы покойной жены дяди (дядя былъ вдовый).

Наслѣдство повергло Михайлу въ крайній предѣлъ восхищенья и, вмѣстѣ съ тѣмъ, поставило его въ чрезвычайно затруднительное положенье: что дѣлать со всѣмъ этимъ добромъ? Продать, конечно! Но продавать не хотѣлось; жаль было. Вообще Михайла продавать не любитъ; онъ скорѣе человѣкъ пріобрѣтательный, бережливый. Лежать—гнить наслѣдству въ матросскомъ сундукѣ... опять жалко. Трудно рѣшить чѣмъ бы кончилось дѣло, еслибъ не произошло вскорѣ послѣ этого еще одного обстоятельства: одинъ изъ унтеръ-офицеровъ продавалъ за баснословно-дешевую цѣну самоваръ, чайникъ и три чашки; онъ особенно присталъ къ Михайлѣ, зная, что у послѣдняго водились наличныя деньги. Михайла потребовалъ конечно еще сбавки, унтеръ-офицеръ уступилъ и Михайла увидѣлъ себя во владѣніи вышеозначенныхъ предметовъ, не сознавая еще хорошенько, что новая покупка окончательно только обременяла его. И въ самомъ дѣлѣ, что дѣлать холостому человѣку съ самоваромъ? Самоваръ, чайникъ, чашки, тогда вѣдь только и получаютъ полное свое значеніе, когда есть подъ рукою хозяйка, когда есть кому принести воду, заварить чай, вымыть чашки. Все это очевидно дѣло человѣка семейнаго, а не холостого бобыля-матроса. „Продать все это“, думалъ иногда Михайла, оглядывая съ грустною заботливостію самоваръ и чашки. Но нѣтъ,—опять таки жалко!

Поставленный въ крайне затруднительное положеніе своимъ embarras de richesse, Михайла женился на чухонской прачкѣ, проживавшей въ сосѣдствѣ казармъ. Онъ женился тогда, движимый единственною цѣлью: сберечь свои сокровища, дать имъ смыслъ, значеніе. Теперь онъ бережетъ каждую нитку, веревочку, пуговицу, уже потому собственно, что женился.

Михайлѣ дали уголъ, опредѣляемый у насъ обыкновенно въ казармахъ женатымъ людямъ.

Я былъ въ такихъ углахъ и могу дать вамъ о нихъ вѣрное понятіе; представьте себѣ средней величины комнату, разгороженную досчатыми перегородками на пятнадцать, на двадцать коморокъ, аршина на два въ квадратѣ; перегородки не доходятъ до потолка; потолокъ общій у всѣхъ, слѣдовательно.

Не говоря уже о томъ, что въ этихъ углахъ нѣтъ никакой воз-

можности помѣститься (они вѣроятно даются семейнымъ людямъ такъ только, для соблюденія формы, для того только, что ужъ если людямъ позволено жениться и назначено особое помѣщеніе, то нельзя же оставить ихъ жить съ холостыми), не говоря о томъ также, что тамъ задыхаешься отъ смрада, духоты и чаду, потому что, въ той же комнатѣ помѣщаются печки, гдѣ пятнадцать семействъ жарять, варятъ, стряпаютъ и моютъ бѣлье;—взгляните только на такое жилье съ общечеловѣческой, нравственной точки зрѣнія. За одной перегородкой родятъ, тутъ же рядомъ умираютъ, тамъ происходитъ семейная ссора или драка, здѣсь лежитъ больной ребенокъ или женщина... Это цѣлый адъ, какъ видите,—адъ, который, поневолѣ дѣлается общимъ достояніемъ, распространяетъ нравственную порчу, растлѣніе нравовъ, поражаетъ лучшія человѣческія чувства.

Посреди чада, духоты и бранныхъ рѣчей рождаются и выростаютъ бѣдныя дѣти. Мудрено-ли, что изъ этихъ дѣтей обыкновенно ничего путнаго не выходитъ, ни въ моральномъ, ни даже въ физическомъ отношеніи? Мудрено-ли что наши солдатскія жены сдѣлались синонимомъ потерянныхъ женщинъ?

Семейный очагъ въ такой безотрадной формѣ, съ такой обстановкой и перспективой не удержалъ однакожъ Михайлу на рубежѣ холостой жизни. Казалось, онъ только и ждалъ такого угла. Съ женитьбой, семейное чувство воскресло въ немъ, глубоко засѣло гвоздемъ, прошло болтомъ черезъ него всего и такъ пригвоздило Махайлу къ его вонючему углу, что уголъ превратился для него въ міръ, который заслонилъ міръ дѣйствительный.

Въ эти шесть мѣсяцевъ нашего плаванія, я постоянно наблюдалъ надъ Михайлой; мы проходили множество самыхъ любопытныхъ странъ, останавливались въ замѣчательныхъ городахъ,—Михайла выказывалъ ко всему самое полное, невозмутимое равнодушіе. Если онъ сходилъ на берегъ, такъ для того только, чтобы взглянуть, не найдется-ли чего нибудь пригляднаго въ подарокъ женѣ, или, когда я соблазнялъ его, убѣждая, что надо-же пойти поглядѣть, чтобы было потомъ что разсказать хозяйкѣ. Европейскія страны и города равно настолько существуютъ для него, насколько представляютъ возможность дешево купить платокъ, серьги или матерію на салопъ. Такой матеріи то сихъ поръ еще не нашелъ онъ по вкусу. „Въ Кронштадтѣ скорѣе найдешь, в. б.; такая матерія лучше, право лучше!“ часто говоритъ онъ съ комическимъ убѣжденіемъ. Словомъ, онъ ни на минуту не отрывается мысленно отъ смраднаго угла

своего; все это внутреннее существо, всѣ его помыслы, чувства,— постоянно живутъ въ этомъ углу, гдѣ, посреди нагроможденнаго хлама, привѣтливо мерещится ему его нелуженый, нечищенный и кривобокій самоваръ, и гдѣ видитъ онъ свою рябую „нѣмку“, разрѣзывающую пирогъ съ морковью, изъ котораго коромысломъ валитъ паръ, отравляющій жителей четырехъ сосѣднихъ коморокъ. Михайла въ эти шесть мѣсяцевъ не истратилъ на себя собственно ни копѣйки: „хозяйка, в. б., строго наказала беречь деньги; она знаетъ сколько я получаю, ее не обманешь... Какъ придешь, говоритъ, въ Кронштадтъ, чтобы всѣ деньги были цѣлы, которые получилъ!..“ говоритъ онъ, когда я совѣтую ему сойти на берегъ и погулять съ товарищами.

Короче сказать, возьмите человѣка и окуните его посреди океана, онъ навѣрное не столько будетъ поглощенъ океаномъ, на сколько Михайло поглощенъ Вильгельминой и своимъ кронштадтскимъ казарменнымъ угломъ.

Но надо передать вамъ, какимъ образомъ Михайла, не принадлежащій къ числу вѣстовыхъ, попалъ ко мнѣ въ такую должность.

О морѣ пока разсказывать нечего: оно все также гладко, сѣро и однообразно какъ прежде; на кораблѣ также нѣтъ ничего новаго.

Главное, по поводу Михайлы, мнѣ предстоитъ случай передать вамъ одинъ разговоръ, который, хотя и не относится къ нашему плаванію, но тѣмъ не менѣе заслуживаетъ здѣсь мѣсто.

Въ первый же день, какъ положительно стало извѣстно на кораблѣ, что я иду въ Средиземное море, баронъ Ш*, спросилъ у меня, беру-ли я съ собой человѣка.

— Какъ „человѣка“? спросилъ я, прикидываясь непонимающимъ.

Я конечно очень хорошо зналъ, что хотѣлъ сказать Ш*; но слово „человѣкъ“, употребляемое вмѣсто слова лакей, прислужникъ, звучитъ всегда въ ушахъ моихъ самымъ неблагопріятнымъ образомъ. „Человѣкъ“! Кажется всегда какъ будто хотятъ этимъ милостиво внушить лакею, что онъ точно также человѣкъ, несмотря на низкое его званіе.

Я объявилъ Ш*, что не беру съ собой камердинера.

— Личность эта для меня совершенно лишняя, сказалъ я; хоть я русскій, къ довершенію еще и помѣщикъ, но тѣмъ не менѣе съизмала пріучилъ себя безъ помощи лакея вести счетъ своему бѣлью,

брать сигару съ сосѣдняго стола, подымать платокъ, упавшій на полъ и проч. и проч...

— Кто же сымаетъ съ васъ сапоги?

— Самъ...

— А платье кто чиститъ?..

— Конечно самъ...

— Какъ же вы умываетесь?..

— Самъ...

— Вы просто, я вамъ скажу, странный человѣкъ...

— Очень можетъ быть...

— Все это можетъ быть очень хорошо, но хорошо дома, гдѣ все устроено и приспособлено особеннымъ образомъ, перебилъ Ш*, взявъ меня за рукавъ по на кораблѣ совсѣмъ другія условія... Я не распространяюсь; вы убѣдитесь изъ опыта, до какой степени необходимъ здѣсь „прислужникъ", какъ вы его называете... Приведу одинъ только случай: пойдетъ дождь и начнетъ лить въ вашу каюту, — кто станетъ подтирать воду?.. Неужто сами вы этимъ займетесь?

— А развѣ это можетъ случиться?

— Такъ хорошо случается, что льетъ при каждомъ дождѣ!

— Ахъ батюшки!

— Серьезно; иногда даже такъ поливаетъ, что вы, чтобы спастись отъ потопа, принуждены влѣзть съ ногами въ кресло, или сѣсть на кровать, которая представляетъ тогда подобіе острова и составляетъ единственное убѣжище; не забудьте, вѣдь вы непосредственно подъ ютомъ... Но я вижу, васъ просто нечего слушать; сегодня же будетъ вамъ назначенъ вѣстовой...

— Вѣстовой? спросилъ я, переходя отъ одного удивленья къ другому.

— Ну да, вѣстовой, или деньщикъ, пожалуй, если послѣднее названіе вамъ пріятнѣе; къ вамъ будетъ приставленъ такой же точно деньщикъ, какъ и къ офицерамъ.

Я давно имѣлъ о деньщикахъ свои особыя понятія, давно искалъ случая нарочно попасть въ компанію офицеровъ, чтобы поговорить объ этомъ предметѣ,—случай представлялся отличный; разговоръ мой съ Ш* происходилъ не tête à tête, а въ присутствіи нѣсколькихъ офицеровъ.

— Позвольте мнѣ прежде всего сказать вамъ въ свою очередь, что вы точно также не безъ странностей, любезнѣйшій Ш*; вы,

какъ я вижу, также странный человѣкъ или, вѣрнѣе, всѣ вы господа вообще, странные люди...

— Это еще почему?

— А вотъ почему, началъ я спокойнымъ, убѣдительнымъ тономъ; вы предлагаете мнѣ деньщика; отлично; вѣрю, что оно и удобно будетъ и дешево... Но позвольте, при семъ удобномъ случаѣ, какъ говорится, высказать вамъ на этотъ счетъ кой-какія убѣжденія. Вы назначаете мнѣ деньщика также легко, какъ еслибъ предложили сигару... Опредѣлимъ, пожалуйста, что̀ такое деньщикъ: по моему, деньщикъ тотъ же солдатъ, не такъ-ли?.. Хорошо. Солдатъ начинаетъ съ того обыкновенно, что онъ рекрутъ; рекрутъ выбирается изъ народа; онъ представляетъ даже, въ нѣкоторомъ родѣ, лучшій сокъ, самыя свѣжія силы народа... вы это знаете. Все это совершенно въ порядкѣ вещей, когда этотъ лучшій сокъ употребляется на службу государственную, когда рекрутчина, этотъ безспорно тяжелѣйшій налогъ для народа, вызванъ необходимостью и обращается со временемъ на обезпеченіе того же народа или государства,—согласны вы съ этимъ?

— Совершенно.

— Очень радъ; такъ какъ-же же вы хотите послѣ этого, чтобы человѣкъ, отрываемый отъ сохи, отъ хлѣбопашества, которое составляетъ у насъ главное, коренное ремесло, отрываемый отъ семейства, часто отъ жены и дѣтей; чтобы вся эта страшная драма рекрутчины, всѣ эти ручьями пролитыя слезы—чтобы все это происходило частію для того только, чтобы господамъ офицерамъ доставлять людей, которые чистили бы имъ сапоги, подавали бы имъ умываться, бѣгали бы для нихъ на побѣгушкахъ!... Нѣтъ, воля ваша, но это не статочное, не нормальное, не логичное дѣло!

— О, да вы ораторъ! отозвался кто-то съ ироническимъ намѣреніемъ.

— Начать съ того, что у меня нѣтъ для этого достаточнаго краснорѣчія; во вторыхъ, и это можетъ быть главная причина, почему я не могу быть ораторомъ, — у насъ нѣтъ еще публики, которая умѣла бы, не сердясь, не обижаясь, слушать правдивыхъ ораторовъ; вотъ вы, напримѣръ, сейчасъ это доказали!.. Но докончимъ начатый разговоръ: я повторяю, что все это не логичное, ненормальное дѣло! Шутя, шутя, наберется у васъ тысячъ до ста деньщиковъ, т. е. цѣлая армія; и армія эта, вмѣсто того чтобы служить отечеству, занимается чисткою офицерскихъ сапоговъ и мытьемъ

кострюлей на кухняхъ полковыхъ командировъ!.. Возьмите теперь другую сторону вопроса, сторону нравственную какъ для солдата, такъ равно и для самого офицера; я убѣжденъ, что деньщикъ можетъ кончить только двоякимъ образомъ: или его заколотитъ баринъ; часто, замѣтьте, барину этому восемнадцать лѣтъ и самого его надо еще шибко муштровать, прежде чѣмъ дать ему въ распоряженіе человѣка, иногда вдвое его старѣе; или изъ деньщика долженъ непремѣнно выйти негоднѣйшій тунеядецъ! Не неся службы, для которой онъ предназначенъ, онъ неминуемо облѣнивается; потомъ, вскорѣ, является онъ для товарищей чѣмъ-то въ родѣ приближеннаго къ начальнику; на этомъ основаніи онъ легко развращается; беретъ подарки, занимается доносами, привыкаетъ таскать куски изъ кострюли барскаго повара, а тамъ, чего добраго, и изъ кошелька самого барина... Я только объ одномъ прошу васъ: окажите, такъ ли все это или нѣтъ?..

— Все это совершенно справедливо, отозвалось нѣсколько голосовъ, но что-же съ этимъ дѣлать?.. Не нами началось, не нами и кончится!..

— Ну хорошо, положимъ, деньщиковъ не будетъ, сказалъ одинъ изъ присутствующихъ, какъ же будутъ тогда существовать офицеры?

— Очень просто, возразилъ я, — я полагаю, они, т. е. гг. офицеры, будутъ существовать лучше даже теперешняго; гг. офицеры сами будутъ набивать себѣ трубки, сами вести счетъ своему бѣлью, сами одѣваться и умываться; чрезъ это мы извлечемъ уже ту выгоду, что постепенно начнутъ выводиться дичайшія понятія въ отношеніи къ барственному достоинству, такъ часто неумѣстному... Я полагаю даже, если гг. офицеры сами будутъ сымать съ себя сапоги, бѣда будетъ не большая; это заставитъ лишній разъ подняться съ мѣста и вымыть руки; оно часто совсѣмъ не лишнее... Чтожъ касается до воды и мыла, слава Богу, этого добра вездѣ довольно...

— Не въ этомъ вовсе дѣло, вмѣшался опять тотъ же собесѣдникъ, вы отошли отъ вопроса...

— Въ чемъ же дѣло?

— Въ томъ, что казна выдаетъ каждому офицеру сверхъ жалованья, еще и деньщицкія деньги.

— Знаю; но чтожъ изъ этого? что общаго между этими деньгами и вашимъ жалованьемъ?

— Жалованья было бы недостаточно безъ деньщицкихъ денегъ.

— Какъ, развѣ деньщицкія деньги не всѣ идутъ на деньщика?

— Нѣтъ... только часть....

— Стало-быть казна даетъ слишкомъ много на деньщика и слишкомъ мало жалованья офицерамъ.

— Она съ тѣмъ это и дѣлаетъ, чтобы прибавить офицерамъ денегъ.

— Тутъ такая путаница, что я право рѣшительно ничего не понимаю... Казна дѣлаетъ слѣдовательно два расхода, вмѣсто одного и одинъ расходъ стоитъ ей несравненно дороже другого: она тратитъ деньги и сверхъ того (я полагаю это еще важнѣе) тратитъ людей... Не понимаю, рѣшительно не понимаю... Ну, а если казна отыметъ деньщиковъ, а деньги, выдаваемыя на нихъ приложитъ просто, безо всякихъ хитросплетенныхъ и, для меня по крайней мѣрѣ, совершенно непостижимыхъ комбинацій,—приложитъ ихъ къ офицерскому жалованью,—что бы вы на это сказали?

— Тогда было бы совсѣмъ другое дѣло; тогда стали-бы развѣ только жаловаться одни барченки, какъ вы ихъ называете...

Но всего что говорится и особенно того, о чемъ думается, не перескажешь. Результатъ этого пренія былъ именно такой, какого ожидать слѣдовало: на другой же день мнѣ назначили вѣстового.

Но не странно-ли это? Съ того же дня я сдѣлался самымъ несчастнымъ человѣкомъ. Начать съ того: я пришелъ къ убѣжденію, что на кораблѣ нельзя существовать безъ лакея и слѣдовательно, нѣтъ возможности сохранить здѣсь полной независимости: во вторыхъ, каждый разъ когда встрѣчалась надобность въ лакеѣ, тутъ-то именно онъ никогда не отыскивался. Выхожу на палубу, оглядываюсь во всѣ стороны, зову, посылаю, кричу,—нѣтъ! вѣстовой мой точно нырнулъ въ неизмѣримую глубь морской пучины.

Въ одну изъ такихъ злополучныхъ минутъ, дверь моей каюты отворилась и пропустила, сначала заостренный носъ, потомъ блѣдное стерляжье лицо и наконецъ, стриженый затылокъ, нѣсколько приплюснутый съ боковъ и сформированный на подобіе сахарной головы; все это украшалось снизу голубымъ матросскимъ воротникомъ à l'enfant; далѣе шла обыкновенная человѣческая фигура. Физіономія этого человѣка была мнѣ знакома; я нѣсколько разъ видѣлъ его въ числѣ матросовъ, которые, находясь на ютѣ, постоянно топали ногами надъ моей головою.

— Чего тебѣ? спросилъ я.

— Вы звали, ваше превосходительство... сказалъ онъ, робко поглядывая своими крошечными, какъ коринки, глазками.

— Звалъ... проговорилъ я, нѣсколько озадаченный новымъ титломъ;—но ты, любезный, кто такой?

— Сигнальщикъ, ваше превосходительство; но это все равно, если вамъ нужно что нибудь, я прислужу... Я всегда тутъ на ютѣ; прибавилъ онъ, тыкая пальцемъ въ потолокъ, выйдете только на палубу и кликнете... зовутъ меня Михайломъ, ваше превосходительство,—Михайломъ Шестаковымъ!..

Въ первую минуту знакомства моего съ Михайлой, я не разувѣрялъ его въ ошибкѣ касательно моего чина. Напротивъ, я старался поощрять его говорить мнѣ какъ можно чаще: „ваше превосходительство"! Цѣль при этомъ была слѣдующая: мнѣ хотѣлось воспользоваться случаемъ и дознаться, не заключалось-ли въ этихъ словахъ: „ваше превосходительство", особеннаго какого нибудь кабалистическаго сочетанія буквъ, или тайной магической силы, дѣйствительно способной одурманить человѣчество; извѣстно также, что никто такъ не падокъ къ этому титлу, какъ люди, которые только что его получили, или такіе, которые его еще не имѣютъ: мнѣ хотѣлось привести все это въ извѣстность и я жадно прислушивался... Но нѣтъ! Превосходительный титулъ не производилъ на меня ни малѣйшаго эффекта; мнѣ только смѣшно дѣлалось; очевидно я не рожденъ для того, чтобы носить когда нибудь важный чинъ; увы! я никогда не былъ бы въ состояніи оцѣнить его какъ слѣдуетъ.

— Откуда ты взялъ, что я генералъ? спросилъ я сигнальщика.

— Ребята сказывали, ваше превосходительство!

— „Ребята сказывали!...Какъ, ребята распространяютъ слухъ, что я генералъ?" подумалъ я, проникаясь въ одно и то-же время чувствомъ негодованія и страха.

Дѣйствительно было отъ чего негодовать и пугаться: теперь яснымъ сдѣлалось, почему всѣ старанія мои познакомиться съ матросами не приносили желаемаго результата.

Чего только, чего я не дѣлалъ: и на бакѣ просиживалъ, несмотря на извѣстныя неудобства этого популярнаго мѣста, и на ютъ выходилъ въ дождь, вступалъ съ матросами въ умышленно-льстивые разговоры, на марсъ карабкался, рискуя сломить себѣ шею, — ничего не помогало! Матросы оставались нечувствительны; они отвѣчали холодностью, молчаніемъ, отходили въ сторону или вставали передо мною, сохраняя почтительную позу, которую я въ правѣ

былъ тогда принятъ за пренебреженіе. И все это надѣлалъ мнѣ генеральскій чинъ.

Выражаясь оффиціальнымъ языкомъ, свойственнымъ лицамъ важнаго сана и пользующимся всѣми преимуществами своего завиднаго положенія,—я рѣшился немедленно пресѣчь зло въ самомъ его зародышѣ. Я поспѣшилъ объяснить Михайлѣ о томъ, кто я, зачѣмъ ѣду на кораблѣ,—словомъ, внушилъ ему какъ можно понятнѣе о своемъ назначеніи и положеніи.

Объясненіе мое принесло самые скорые плоды, можно даже сказать, плоды были черезчуръ уже многочисленны и зрѣлы. Началось съ того, что по прошествіи получаса, явился Михайла, неся подъ мышкою какой-то неуклюжій сундучекъ самодѣльной работы.

— Вотъ, ваше благородіе, произнесъ онъ съ развязностью,—жена, какъ выходили мы изъ Кронштадта, подарила мнѣ чаю и сахару; поберегите пока у себя въ каютѣ: опасаюсь очень, ребята бы не попользовались... Здѣсь, у васъ будетъ надежнѣе, добавилъ онъ, укладывая сундучекъ подъ постель между моими чемоданами.

Послѣ обѣда снова явился Михайла; на этотъ разъ, въ рукахъ его пестрѣли двѣ новыя ситцевыя рубашки.

— Припрячьте ужъ и эти, ваше благородіе, сказалъ онъ, здѣсь въ каютѣ сохраннѣе будетъ... Жена беречь наказывала, а внизу не сбережешь никакъ...

— Но вѣроятно она съ тѣмъ тебѣ ихъ и дала, чтобы носить?

— Извѣстно, носить, в. б., но пуще всего беречь велѣла: „придешь въ Кронштадтъ, говоритъ, чтобы цѣлы были!..“ Она, у меня вѣдь нѣмка, бережливая такая, проговорилъ онъ умиленнымъ голосомъ;—думаю, в. б., добавилъ онъ, какъ бы размышляя съ самимъ собою,—надо бы ей письмо написать!

— Ну что-жъ? пиши!

— Напишите ужъ вы, в. б.; я грамоты не разумѣю; а коли просить кого изъ ребятъ, все сойдетъ два гривенника.

— Неужто тебѣ для жены жаль двухъ гривенниковъ? спросилъ я.

— Мнѣ-то не жаль, в. б., пуще всего велѣла нѣмка деньги беречь: „какъ придешь съ похода, говоритъ, смотри больше привези; все жалованье, которое получишь, говоритъ, все привези!..“

— А развѣ она твое жалованье считаетъ?

— А то какъ-же, в. б.! все считаетъ! Деньги, которыя за водку получаю, и тѣ на счетъ ставитъ!.. Я хотѣлъ просить васъ, чтобы

вы, в. б., и деньги мои, которыя я получаю, къ себѣ прятали; у васъ сохраннѣе будетъ...

Старанія мои убѣдить Михайлу, что я не генералъ, пали, какъ видите, не на безплодную почву.

Желая поддержать столь успѣшно начатое дѣло, я обѣщалъ быть его кассиромъ и тутъ же приступилъ къ сочиненію письма.

Но могъ-ли я подозрѣвать то, что выйдетъ изъ этого. Тутъ, какъ и вездѣ впрочемъ, поступилъ я одинаково необдуманно. Письмо это послужило нѣкоторымъ образомъ сигнальной ракетой чуть-ли не для всѣхъ женатыхъ матросовъ „Ретвизана“.

Я былъ осажденъ просьбами.

Для человѣка, который считаетъ писаніе писемъ, даже хорошимъ пріятелямъ своимъ, дѣломъ весьма затруднительнымъ, такія просьбы, согласитесь, не могли доставить большого удовольствія. Правда, здѣсь не требовалось большихъ напряженій со стороны изобрѣтательности; я старался больше писать подъ диктовку. Посланія къ кронштадтскимъ Аріаднамъ заключались всегда почти въ слѣдующемъ: „Дражайшей супругѣ нашей Марфѣ Пантелеймоновнѣ посылаемъ всепокорный поклонъ нашъ и низко кланяемся съ ласками и поцѣлуемъ; а сыну нашему Трифону Матвѣевичу посылаемъ поклонъ и наше благословеніе во вѣки ненарушимое; а живемъ мы все также на кораблѣ и придемъ скоро въ земли нѣмецкія, гдѣ зимы не бываетъ...“ Затѣмъ, на-отрѣзъ начинались опять поклоны своякамъ, кумушкамъ, свояченицамъ, золовкамъ, деверьямъ, чѣмъ и оканчивалась исторія.

Все это было невыносимо скучно, а отказаться не было возможности, особенно въ такое время, когда только что начинали упрочиваться наши отношенія; откажись я хоть разъ, кредитъ мой былъ бы навсегда утраченъ; я это ясно видѣлъ.

— „Любопытно было бы знать, однакожъ, за кого они меня принимаютъ?..“ думалъ я, и думалъ, надо вамъ сказать, первый разъ въ жизни о такомъ предметѣ. Слова: „ваше благородіе“, вставляемыя Михайлой и другими матросами, ясно доказывали, что несмотря на мои объясненія, они все-таки не могли представить себѣ, чтобы человѣкъ, живущій за панибрата съ офицерами и обѣдающій съ капитаномъ, былъ просто человѣкъ, т. е. лицо, не имѣющее важнаго чина и соотвѣтствующей ему служебной должности. Съ перваго же дня поступленія на службу, привыкли они видѣть, что все, что ихъ окружало, имѣло чинъ и званіе; даже лица, не имѣю-

щія ничего общаго съ военной должностью, какъ напримѣръ, доктора, инженеры, механики, и тѣ ходили въ мундирѣ и были офицерами или чиновниками. На всемъ „Ретвизанѣ“, только два человѣка носили статское платье: я да Мишель Пупо; но должность послѣдняго была слишкомъ извѣстна, къ тому же онъ не водился съ офицерами и не обѣдалъ съ капитаномъ.

Все это совершенно въ порядкѣ вещей. Не отличаются ли у насъ такимъ взглядомъ многія лица, принадлежащія даже къ образованному классу общества? Они точно также не могутъ представить себѣ человѣка безъ чина; человѣкъ безъ чина, является для многихъ чѣмъ-то неполнымъ, половинчатымъ, недоконченнымъ. Вы на каждомъ шагу встрѣчаете еще сужденія и даже дѣйствія, изъ которыхъ ясно видно, что личныя гражданскія заслуги получаютъ кредитъ и силу только въ той степени, въ какой освящены они чиномъ. Въ противномъ случаѣ, онѣ необходимо должны сторониться и давать дорогу чину. Короче сказать, чинъ у насъ въ обществѣ,— то-же, что спасительный буекъ на морѣ: насколько послѣдній необходимъ для человѣка, чтобы держаться безопасно на поверхности водъ, настолько первый нуженъ для вѣрной поддержки человѣка на волнахъ житейскаго моря.

— „Желательно было бы знать, за кого принимаютъ меня матросы?..“ повторялъ я мысленно.

Любопытство мое удовлетворилось скорѣе, чѣмъ я ожидалъ.

Передъ обѣдомъ вошелъ ко мнѣ лейтенантъ С*; онъ находился въ отличномъ расположеніи духа и заливался своимъ здоровымъ, свѣжимъ смѣхомъ.

— Что съ вами? спросилъ я.

— Сейчасъ былъ на бакѣ и говорилъ съ матросами, произнесъ онъ, надрываясь,—шла рѣчь объ васъ... Знаете ли, какъ они васъ прозвали?

— Батюшка, скажите! я только что думалъ объ этомъ! ничего не знаю. Знаю только, что вчера и сегодня я былъ генераломъ.

— Превосходно! перебилъ С*, опрокидываясь на мою постель,— вы разжалованы самымъ безпримѣрнымъ образомъ, разжалованы разомъ черезъ всѣ степени ниже генеральскаго чина!

— Стало быть я рядовой теперь?

— Около этого; матросы рѣшили, что вы,—корабельный писарь! Не знаю, кто разсказалъ имъ о вашемъ назначеніи на ко-

раблѣ; но они убѣждены, что вы никто иной какъ корабельный писарь!

— И вы вѣроятно увѣрили ихъ въ противномъ?

— Нѣтъ; хотѣлъ, но не могъ... я тотчасъ же побѣжалъ къ вамъ... я думалъ, вы этимъ не обидитесь... промолвилъ С*, съ неописаннымъ добродушіемъ.

— Нетолько не обижаюсь, но какъ видите, я въ совершеннѣйшемъ восхищеніи! Объ одномъ только прошу васъ: Бога ради не разувѣряйте матросиковъ; оставьте ихъ думать что хотятъ; я изъ того только и бьюсь, чтобы они передо мною не стѣснялись; это единственный способъ узнать ихъ ближе; генеральскій чинъ и весь почетъ его сопровождавшій, т. е. сниманіе фуражекъ, вытягиваніе по швамъ, совсѣмъ было меня сокрушили; теперешняя роль обходится мнѣ нѣсколько дорого; я десятками пишу письма матросскимъ женамъ; но все это со временемъ уладится и я буду совершенно счастливъ. Понимаете ли: съ матросами я могу встрѣчаться только на кораблѣ; мнѣ слѣдовательно надо ловить случай, чтобы наблюдать ихъ.

— Когда такъ, сказалъ С*, быстро вскакивая съ постели,— пойдемте!

Былъ именно тотъ часъ, когда матросы пьютъ водку, что, по словамъ С*, крайне любопытно было видѣть; къ тому-же, я никогда не присутствовалъ при этой церемоніи; мы тотчасъ-же спустились во вторую палубу.

Человѣкъ до четырехсотъ матросовъ тѣсно сбивались въ одинъ кругъ, которому центромъ служило ведро съ водкой. Въ кругу стоялъ писарь, вооруженный спискомъ и карандашомъ; онъ выставлялъ крестики противъ именъ матросовъ, отозванныхъ службой въ настоящую минуту или такихъ, которые вовсе не пьютъ водки. Мы протискались въ самую середину круга, чтобы полюбоваться картиной, которая такъ вотъ и просилась въ собраніе eaux-fortes Рембранта.

Общимъ тономъ картины служитъ мягкій янтарный полусвѣтъ, сообщаемый полузаслоненными люками и бортами, ярко облитыми по краямъ солнцемъ: въ глубинѣ палубы и даже между передовыми группами, проходятъ кой-гдѣ черныя какъ уголь тѣни, въ которыхъ смутно, фантастически, тушуются лица, головы и цѣлыя фигуры; мѣстами, солнечный лучъ, скользнувъ по лѣстничнымъ ступенькамъ и отбросивъ всторону горячій полусвѣтъ, плашмя

падаетъ на чью-нибудь голову, освѣщаетъ часть одежды и вдругъ исчезаетъ, чтобы дальше, и вовсе неожиданно, зацѣпить кончикъ носа, или пуговицу, которые, посреди мрака, горятъ ослѣпительнымъ блескомъ.

Питье водки происходитъ въ большомъ молчаніи: точно совершается какое-то друидическое таинство.

Оно нарушается только такимъ образомъ:

— Евдокимъ Ряпухинъ! выкрикиваетъ писарь монотоннымъ голосомъ.

При этомъ, въ томъ или другомъ концѣ кружка, не отвѣчаютъ: „здѣсь!“ или „я!“ какъ бываетъ обыкновенно на полковыхъ перекличкахъ; у матросовъ во всемъ свои рѣзкія особенности; матросъ отвѣчаетъ съ какою-то, ему одному свойственною интонаціей: „йо!“

— Михайло Рожновъ!

— Йо!

— Хусаанъ Хусановъ!

— Йо!

Предупреждаю: не удивляйтесь именамъ; какъ скоро дѣло идетъ о матросахъ, приготовляйтесь къ самымъ фантастическимъ необычайнымъ сочетаніямъ буквъ и звуковъ; такъ, напримѣръ, у насъ на „Ретвизанѣ“ существуютъ: Габердулы Мендыбаевы, Ики Амоновы и даже Абукиры Мугаштетьяновы!

По моему, въ этой эксцентричности именъ только и заключалась выгода рекрутскихъ наборовъ, производимыхъ прежде для флота. Сюда поступали люди не съ чисто-русскихъ береговъ морей, рѣкъ и озеръ, какъ ожидать слѣдовало; брали людей откуда ни попало; брали татаръ, жидовъ, армянъ, хохловъ, латышей, финновъ и т. д. Рекрутъ не говоритъ, напримѣръ, ни на какомъ языкѣ, кромѣ своего собственнаго, составленнаго изъ смѣси монгольскаго и финскаго,—во флотъ его! сажай во флотъ,—туда и дорога!

— Помилуйте, вѣдь это явная несообразность! невольно вырвалось у меня, когда я услышалъ объ этомъ,—какъ же люди эти могли понимать, чего отъ нихъ хотѣли? Съ другой стороны, какъ ихъ могли понимать начальники?.. Въ морской службѣ, человѣкъ не кукла, не пѣшка; отъ него требуется знаніе тысячи техническихъ терминовъ и безъ того уже очень затруднительныхъ, требуется на каждомъ шагу личное, быстрое соображеніе; здѣсь, отъ

одного слова непонятаго матросомъ, часто зависитъ неудача важнаго маневра... И наконецъ, какъ должны были жить эти несчастные между товарищами, которые ихъ не понимали?

— Чтобы долго не распространяться, возразилъ одинъ изъ присутствующихъ, человѣкъ весьма бывалый, благородный и умный, — скажу вамъ, что результатъ этихъ наборовъ, производимыхъ зря и безъ толку, былъ слѣдующій: изъ числа этихъ людей двѣ трети умирали!

Перейдемъ лучше къ питью водки.

Начать съ того, что не всѣ пьютъ; вотъ вамъ уже первый утѣшительный фактъ; такой воздержностью отличаются большею частію семейные люди; не тѣ, конечно, у которыхъ жены остались въ деревнѣ, которые, лѣтъ десять или пятнадцать, не бывали въ отпускахъ, по личнымъ соображеніямъ ближнихъ начальниковъ, и которые, слѣдовательно, давно забыли о существованіи своихъ женъ и дѣтей; я разумѣю тѣхъ, которые, какъ Михайла, живутъ съ женами въ смрадныхъ углахъ кронштадтскихъ казармъ и, тѣсноты ради вѣроятно, привязываются къ нимъ и къ дѣтямъ крѣпчайшими кабельтовами.

Непьющій матросъ получаетъ деньгами стоимость чарки, что въ общей сложности, по окончаніи годового заграничнаго плаванія, приноситъ ему до двадцати пяти рублей серебромъ въ годъ. Но вотъ вамъ черта истинно оригинальная: случалось, между матросами распространялся слухъ (насколько слухи эти имѣли основаніе, не знаю), что тѣмъ, которые не пьютъ, не будутъ все равно выдавать денегъ за водку; съ того же дня не было матроса, который не счелъ бы своею обязанностію выпить свою чарку.

— Зачѣмъ ты пьешь, Иванъ, Сидоръ или Матвѣй, спрашивали офицеры, — вѣдь ты прежде капли въ ротъ не бралъ?

— Да ужъ такъ, в. б.; все единственно, чтобы казенное добро не пропадало!...

Точь въ точь какъ одна старушка нянюшка, которая выпивала всѣ лекарства, остававшіяся послѣ больной госпожи своей; она дѣлала это на томъ основаніи, чтобы точно также добро не пропало и не платили бы по крайней мѣрѣ даромъ денегъ въ аптеку.

Въ время питья водки я первый разъ увидѣлъ стараго боцмана Воронова, о которомъ слышалъ почти каждый день и съ которымъ давно хотѣлъ познакомиться.

Вороновъ главное лицо между матросами, онъ ихъ прямой, ближайшій начальникъ; онъ наблюдаетъ также за порядкомъ на кораблѣ и является всегда однимъ изъ главныхъ дѣйствующихъ лицъ при вооруженіи, и потомъ, во время маневровъ.

Но служебная его важность не произвела бы на меня, по обыкновенію, никакого дѣйствія, еслибъ Вороновъ не былъ самъ по себѣ лицо оригинальное, симпатичное, и главное, не представлялъ бы полнѣйшаго типа коренного матроса; это настоящій „loup de mer" какъ говорятъ французы.

Въ наружности его нѣтъ ничего особеннаго; Вороновъ коренастый человѣкъ съ могучей шеей, какъ у Геркулеса фарнезскаго, съ широкой грудью, на которой красуется цѣпочка свистка, и короткимъ торсомъ, туго перехваченнымъ ремнемъ у пояса; рубашка его всегда неряшливо выпучивается во всѣ стороны и постоянно переходитъ черезъ край пояса; сверхъ рубашки носитъ онъ неизмѣнно красный фланелевый камзолъ: отъ копоти и сажи машины, отъ угольной пыли, смолы и соленой воды, камзолъ давно превратился изъ краснаго цвѣта въ бурый; но Вороновъ никогда его не сымаетъ; повидимому онъ дорожитъ имъ, какъ знакомъ отличія.

Красивый фланелевый камзолъ составляетъ вообще мечту каждаго матроса, мечту, которую большею частью осуществляютъ только унтеръ-офицеры. Красивый камзолъ для матроса—тоже, что сапоги для фабричнаго парня, часы для камердинера.

Лицо Воронова точно также не останавливаетъ вниманія: это круглое, полное лицо добряка, можно бы даже сказать простяка, еслибы судить о человѣкѣ по одной наружности.

Вороновъ дѣйствительно принадлежитъ къ тѣмъ прямымъ, простымъ натурамъ, которыя всѣ на ладони, натурамъ безъ закавычекъ, скроенныхъ цѣликомъ, безо всякихъ вставокъ, изъ одного куска толстаго опойка. Стоитъ взглянуть на узенькій лобъ его и глаза: ясно, что мысли его, а за ними и глаза никогда не устремлялись дальше какъ отъ гротъ-брам-стеньги до трюма, отъ бака и до юта.

Но за то, какъ знаетъ онъ это пространство и все, что въ немъ заключается! а заключается въ немъ много. Простите мнѣ банальное сравненіе, но корабль, — это цѣлый міръ: міръ снастей, веревокъ, блоковъ, парусовъ, и Вороновъ ходитъ въ этомъ мірѣ тверже и видитъ яснѣе, чѣмъ ходимъ мы и видимъ въ нашемъ мірѣ.

Всего удивительнѣе, что Вороновъ ни въ какомъ случаѣ не

родился морякомъ и не сдѣлался имъ по призванію; родился онъ, сколько я припоминаю, въ Калужской или Рязанской губерніи; онъ сталъ морякомъ точно также, какъ сталъ бы слесаремъ, контрабасистомъ въ оркестрѣ своего помѣщика, поваромъ и т. д. На это была воля начальства; начальство назначило! Взяли его въ рекруты, назначили во флотъ — и только.

Счастіе Воронова въ томъ, что природа, давъ ему здравый смыслъ, сметку что называется, и большую физическую силу,— лишила его тѣхъ тонкихъ свойствъ ума и духа, которыя, при большемъ или меньшемъ развитіи, составляютъ большее или меньшее совершенство человѣка,—но вмѣстѣ съ тѣмъ, въ иныхъ общественныхъ положеніяхъ, всегда почти служатъ источникомъ бѣдствій.

Въ долгихъ и частыхъ бесѣдахъ съ матросами, я убѣдился, что каждый почти, за рѣдкими исключеніями, смотритъ на поприще свое только какъ на неизбѣжную необходимость.

Я объясняю себѣ это тѣмъ, что у русскаго племени вообще, не можетъ быть искренняго сочувствія къ морю; не на чемъ ему основываться; гдѣ у насъ море?.. По краямъ только! До краевъ этихъ тысячи верстъ во всѣ стороны... больно ужъ что-то далеко!

Я не встрѣчалъ еще матроса, по крайней мѣрѣ, котораго бы служба на морѣ поглотила совершенно, въ которомъ бы, несмотря на долгія странствія по водамъ, не сохранился простолюдинъ и главное,—человѣкъ мимо всего морского, человѣкъ, въ той степени разумѣется, въ какой въ природу его вложено было человѣческаго.

Тотъ, не смотря на долгую разлуку, забыть не можетъ родной деревушки, любитъ говорить о ней, мечтаетъ туда возвратиться; другого тянетъ въ уголъ кронштадтскихъ казармъ жена и ребятишки; третьяго увлекаютъ спекулятивные разсчеты и соображенія на берегу или лихія береговыя попойки съ ребятами; четвертый, болѣзненно, тоскливо рвется къ отчизнѣ, отъ которой насильственно его оторвали, и т. д. Словомъ, каждый кромѣ службы, кромѣ жизни на кораблѣ, связанъ еще разными побужденіями съ жизнью береговою, нормальною, общечеловѣческою.

Для Воронова ничего этого не существуетъ. Его міръ кончается бортомъ корабля. Это натура по преимуществу спокойная, воловая; личность, по преимуществу, покорная, привычливая.

Благодаря здоровью и физической силѣ, матеріальная сторона службы показалась Воронову не больно тяжелою; ужъ этого одного довольно было, чтобы примирить его съ перемѣною судьбы; онъ при-

нялся работать менѣе можетъ быть безропотно, чѣмъ дѣлалъ это, когда управлялъ сохою подъ ферулой стараго отца или дѣда. Служба далась ему сразу: это окончательно обратило его въ пользу новаго поприща.

По мѣрѣ того какъ Вороновъ пускалъ корни въ палубу, дубовый корабельный бортъ, казалось, все выше и выше подымался надъ его головою, и наконецъ, совершенно и навсегда заслонилъ отъ него остальной міръ со всѣми его интересами.

Во время плаванія нашего, я внимательно къ нему присматривался: хотѣлось узнать, на сколько будутъ интересовать его иностранные города и земли. Оказалось, что онъ смотрѣлъ на этотъ предметъ точно также почти, какъ извѣстный вамъ Михайла; разница въ томъ заключалась, что Михайла смотрѣлъ на города и земли съ точки зрѣнія дешевизны матеріи на салопъ;—Вороновъ—съ точки зрѣнія дешевизны водки. На берегъ Вороновъ сходитъ также рѣдко, какъ Михайла; онъ вообще отзывается о землѣ съ большимъ пренебреженіемъ. Дѣйствительно, глядя на землю съ точки зрѣнія дешевизны или достоинства водки,—Вороновъ совершенно правъ; стоитъ ли въ самомъ дѣлѣ спускаться на берегъ, чтобы пройтись отъ пристани до ближайшаго кабака! очевидно не стоитъ.

Къ тому же, ни одна поѣздка на берегъ не обходится безъ того, чтобы Воронова не укачало жесточайшимъ образомъ; иногда такъ даже укачивало, что находили его лежащимъ пластомъ на землѣ.

Но за то, Боже, какъ твердо ходитъ онъ по палубѣ, даже въ самую нестерпимую погоду; ступивъ на корабль, онъ мгновенно беретъ перевѣсъ надъ всѣми остальными и получаетъ сто-на-сто процентовъ противъ того, что стоитъ онъ на берегу. Мудрено ли, что корабль кажется ему лучше земли! Здѣсь все пользуется его любовью, вниманіемъ и сочувствіемъ; здѣсь онъ дома, въ своей семьѣ семьѣ многочисленной, потому что каждый блокъ, мачта, веревка „Ретвизана“, возбуждаютъ нѣжнѣйшую заботливость Воронова; самъ баронъ Ш* уступаетъ ему въ этомъ случаѣ.

Надо было особенно видѣть Воронова при вооруженіи. На „Ретвизанѣ“ ставили паровую машину.

Какъ всѣ люди, долго служившіе на парусныхъ судахъ, Вороновъ большой рутинеръ въ отношеніи къ нововведеніямъ и терпѣть ихъ не можетъ. Онъ не переставалъ коситься, глядя, какъ на корабль перевозили машину; при видѣ той или другой части машины,

онъ неодобрительно потряхивалъ головою и ядовито-саркастически улыбался; къ этому примѣшивалось также и другое чувство: онъ испытывалъ то, что могъ испытать человѣкъ, въ семью котораго, и безъ его спроса, поселилось постороннее лицо,—лицо, съ которымъ онъ не былъ прежде знакомъ и которое при первомъ взглядѣ не произвело на него пріятнаго впечатлѣнія. Въ немъ попеременно боролись досада и что-то похожее на ревность. Онъ всякій разъ спускался внизъ вмѣстѣ съ механиками, отходилъ въ сторону и принималъ молчаливую, сосредоточенно-задумчивую позу. Въ одно прекрасное утро, Вороновъ просвисталъ матросовъ,—и вдругъ превратился въ самаго усерднаго помощника машиниста. Ворочая съ яростнымъ азартомъ котлами, таская на себѣ огромныя тяжести, онъ, какъ словно сказать хотѣлъ: „не дамъ же я вамъ здѣсь распоряжаться, не будетъ сказано, чтобы дѣло столь близкое „Ретвизану“ обошлось безъ Воронова! Вотъ-же вамъ! Смотрите! я все самъ дѣлаю! Я здѣсь все уставлю и самъ всѣмъ ворочаю“!..

И дѣйствительно, безъ Воронова, дѣло протянулось бы несравненно дольше. Онъ выказалъ при этомъ не только воловую дѣятельность, но и сметку неимовѣрную; онъ самъ почти уставилъ всю машину. Послѣ этого онъ видимо успокоился, хотя не совсѣмъ еще примирился съ нововведеніемъ; это по всему видно; все что на „Ретвизанѣ“ случается неудачнаго, все приписывается машинѣ. Когда дѣйствительно машина въ чемъ-нибудь виновата, на лицѣ Воронова проступаетъ неописанное самодовольство; Вороновъ по цѣлымъ днямъ твердитъ объ этомъ, точно поймалъ въ худомъ дѣлѣ человѣка, къ которому нерасположенъ и о которомъ охотно разсказываетъ дурное. И много еще нужно времени, чтобы убѣдился Вороновъ въ пользѣ примѣненія винта и пара къ кораблю, чтобы понятіе о кораблѣ слилось въ головѣ его въ одно нераздѣльное цѣлое; все это сдѣлается, когда онъ привыкнетъ къ машинѣ, точно также какъ привыкъ сначала къ сохѣ, потомъ къ кораблю. Тогда онъ начнетъ распинаться за машину, какъ готовъ теперь распинаться за исправность любого блока на „Ретвизанѣ“, любого паруса. Но тогда, можетъ быть, снова изобрѣтутъ что-нибудь новое и съ Вороновымъ снова придется вести войну за пользу нововведенія; но такова впрочемъ исторія всѣхъ рутинеровъ...

Вы видите изъ всего сказаннаго, что Вороновъ далеко не поэтическая личность. Тѣмъ не менѣе, поступите на „Ретвизанъ“, ручаюсь вамъ, изъ восьмисотъ матросовъ, вы прежде всего оста-

новите на немъ вниманіе; мало того, вы полюбите его, будете искать встрѣчи съ нимъ, будете бесѣдовать съ Вороновымъ болѣе, чѣмъ съ другими, несмотря даже на то, что есть матросы несравненно его интереснѣе, матросы, которые больше путешествовали, видѣли и больше его отшлифованы. Популярность-ли его тому причиной, обаятельное-ли дѣйствіе его прямой, добродушной натуры, которая крупными буквами отпечатана на немъ отъ головы до пятокъ, но есть дѣйствительно что-то такое, что невольно къ нему привлекаетъ. Наконецъ, я того мнѣнія, что популярность, въ какой бы то ни было сферѣ, не достается даромъ; надо же, чтобы было этому какое-нибудь основаніе.

Матросы любятъ Воронова; ужъ одно это краснорѣчиво говоритъ въ пользу человѣка, который, будучи самъ такимъ же матросомъ, унтеръ-офицеромъ, играетъ между тѣмъ роль начальника. „Гордости никакой не имѣетъ“, говорятъ матросы. „Любитъ только, чтобы его уважали!“ прибавляютъ они обыкновенно.

Отсутствіе гордости и любовь къ уваженію основываются на слѣдующемъ: сходя на кронштадтскій берегъ, Вороновъ всего охотнѣе сближается съ семейными, и главное, съ мелкими, незамѣтными матросиками. Выбравъ себѣ нѣсколько такихъ человѣкъ, онъ попеременно заходитъ въ гости то къ одному, то къ другому. Входя въ коморку, онъ съ важностью поглядываетъ на стороны, величественно усаживается на сундучкѣ, и повидимому приготовляется къ произнесенію торжественной рѣчи; но олимпическая роль очевидно не въ натурѣ его; онъ это такъ только, дурь на себя накидываетъ; по прошествіи минуты, величіе падаетъ и онъ обыкновенно обращается къ хозяйкѣ съ такими словами: „ну, ты чухна, захаривай кофе!“ или: „ставь, чухна, пироги и водку на столъ, пошевеливайся!..“ Во время угощенія, Вороновъ любитъ, чтобы всѣ присутствующіе были веселы, пѣли пѣсни, но любитъ также, чтобы величали его по имени и отчеству, и вообще, чтобы оказывали ему знаки глубочайшаго уваженія.

Замѣчательно однакожъ, что угощенья эти никогда не бываютъ насильственны и не обращаются въ накладъ хозяевамъ. Вороновъ, какъ словно на счетъ ставитъ въ умѣ своемъ каждый кусокъ, каждый глотокъ; онъ не забываетъ счета даже тогда, когда умъ его приходитъ въ совершенное помраченіе. Ни разу не случилось (мнѣ говорили это сами матросы), чтобы Вороновъ не отблагодарилъ сторицей тѣхъ, у кого ѣлъ и пилъ: смотришь, тамъ несетъ хозяйкѣ

фунтъ кофе, или четвертку чаю; тутъ ставитъ на столъ свертокъ съ сахаромъ: въ другой разъ велитъ хозяйкѣ приходить утромъ въ гавань на работу и отправитъ съ ней домой матросовъ, взваливъ имъ по корзинѣ стружекъ или щепъ для топлива.

Одно худо, отчасти даже никуда не годится въ Вороновѣ, во первыхъ, какъ въ человѣкѣ вообще, во вторыхъ какъ въ старшемъ боцманѣ въ особенности: я хочу сказать о его баснословномъ, непроходимомъ невѣжествѣ. Конечно, не онъ виноватъ въ этомъ, а все-таки досадно и противъ него какъ-то, и досадно и больно.

Вотъ вамъ образчикъ для примѣра:

Разговаривая съ нимъ о нашемъ плаваніи, я спросилъ, былъ-ли онъ когда-нибудь въ Средиземномъ морѣ.

— Какъ-же, былъ! отвѣчалъ онъ смѣло и безъ запинки.

— Когда, въ которомъ году?

— Какъ въ Англію ходили, года три будетъ.

— Вы оттуда развѣ прошли въ Италію?

— Нѣтъ, никуда больше не ходили...

— Такъ какъ-же, братецъ, попалъ ты тогда въ Средиземное море, ты былъ значитъ только въ океанѣ.

— Ну да, возразилъ Вороновъ съ убѣжденіемъ, былъ въ Средиземномъ океанѣ.

Я принялъ сначала такой отвѣтъ за одну изъ многочисленныхъ юмористическихъ выходокъ боцмана. Но когда принесъ карту и развернулъ ее передъ Вороновымъ, исчезло всякое сомнѣніе. Вороновъ ни мало не шутилъ. Я узналъ даже, что онъ никогда прежде и въ глаза не видалъ географической карты.

Роли наши перемѣнились; пришла очередь Воронова думать, что я надъ нимъ потѣшаюсь. И въ самомъ дѣлѣ, какъ-же хотѣлъ я увѣрить его, что Россія не больше ладони. Англія равняется по величинѣ матросскому надломанному сухарю, Кронштадтъ, который знаетъ онъ въ совершенствѣ, не больше точки! Ясно, что все это сдѣлано такъ только для смѣху и нѣмцами выдумано!

Все это со стороны смышленаго и въ высшей степени заслуженнаго и почтеннаго человѣка, подѣйствовало на меня какъ-то оскорбительно.

Я первый готовъ былъ бы посмѣяться надъ собою, еслибъ пришло мнѣ въ голову искать въ матросѣ образецъ просвѣщенія. Я знаю очень хорошо, что матросъ, какъ и всякій другой солдатъ, поступаетъ, или вѣрнѣе берется изъ крестьянъ, лѣтъ двадцать ра-

ботаетъ по четырнадцати часовъ въ сутки, и слѣдовательно, имѣетъ въ остаткѣ ровно столько времени, чтобы дать отдыхъ утомленному тѣлу, знаю также, что у насъ на этотъ предметъ существовала даже когда-то особенная точка зрѣнія: видѣли страшный вредъ въ развитіи въ какой бы то ни было формѣ и сферѣ и, основываясь на этомъ, требовали, чтобы нижніе чины особенно не представляли ничего больше, какъ вещь, цифру, пружину. Но времена измѣнились; измѣнилась вмѣстѣ съ тѣмъ, comme de raison, и точка зрѣнія.

При существующемъ взглядѣ на тотъ-же предметъ, хотя бы напримѣръ у насъ во флотѣ, морское министерство должно обратить вниманіе на умственное развитіе матроса. Если въ варварскія, дикія времена создалась у насъ поговорка: „за битаго двухъ не битыхъ даютъ“, въ просвѣщенное время слѣдуетъ замѣнить ее поговоркой: „за человѣка съ сознаніемъ нельзя взять и сорока пѣшекъ!“

Уже самая жизнь матроса невольнымъ образомъ подготовляетъ его къ развитію. Умъ его работаетъ несравненно больше, чѣмъ умъ обыкновеннаго солдата; личность солдата теряется, пропадаетъ въ массѣ, гдѣ играетъ онъ роль единицы; матросъ рѣдко, или вѣрнѣе, никогда не дѣйствуетъ въ массѣ; онъ работаетъ отдѣльно, дѣйствуетъ лично самъ по себѣ и за себя; умъ его постоянно на сторо̀жкѣ, внимательность возбуждена безпрестанно. Въ морской службѣ, какъ я вамъ уже сказывалъ, достаточно одного неосторожнаго, необдуманнаго дѣйствія, одного отдѣльнаго лица, чтобы испортить цѣлое важное распоряженіе; естественно, что при такихъ условіяхъ, умственныя способности постоянно изощряются, умъ не можетъ спать, „встряхиваются мозги“, какъ говорится. Не говоря уже о томъ разнообразіи впечатлѣній на морѣ и въ чужихъ краяхъ, которыя дѣйствуютъ въ пользу развитія, возьмите въ разсчетъ разнообразіе занятій, которое точно также способствуетъ пробужденію сознанія въ матросѣ. Каждый матросъ къ обыкновенной служебной должности присоединяетъ еще занятія спеціальныя: онъ артиллеристъ, столяръ, маляръ, такелажникъ, слесарь и проч., что̀ дѣлаетъ изъ него существо особенно воспріимчивое, дѣятельное, понятливое, существо, чрезвычайно подготовленное къ принятію дальнѣйшаго развитія.

У насъ, какъ видѣли вы изъ первой главы моихъ записокъ, находятся люди, которые, безъ всякаго принужденья, по своей охотѣ, выучились грамотѣ и все свободное время отдаютъ чтенію; читаютъ, какъ я опять говорилъ вамъ, Гоголя, всеобщую исторію, географію,

Пушкина, Кольцова. Когда я принесъ Воронову карту, надо было видѣть, съ какимъ любопытствомъ окружили меня остальные матросы; съ какимъ жаднымъ вниманіемъ слѣдили за пальцемъ, который обозначалъ на картѣ пройденный нами курсъ отъ Кронштадта и тотъ, который намъ оставалось пройти. Тѣ, которые читали географію, были, казалось еще внимательнѣе.

Что стоило бы, напримѣръ, морскому министерству велѣть напечатать нѣсколько сотенъ экземпляровъ общихъ, генеральныхъ картъ всѣхъ частей свѣта и роздать ихъ на суда, отправляющіяся въ большія плаванія? Для избѣжанія порчи отъ сырости, а также и для прочности, карты могли бы быть напечатаны на клеенкѣ; вѣшайте ихъ куда угодно, во вторую палубу, на бортѣ, на бакѣ, лишь бы матросы смотрѣли въ сласть, въ досталь, сколько угодно. Нѣтъ сомнѣнія, они скоро ознакомились бы съ расположеніемъ странъ, морей, отношеніями ихъ другъ къ другу. Бывъ въ состояніи слѣдить за курсомъ своего корабля, они плавали бы, если не охотнѣе, то ужъ конечно сознательнѣе, чѣмъ теперь это дѣлаютъ. На это могутъ возразить пожалуй, что такихъ картъ не существуетъ ни во Франціи, ни въ Англіи во флотѣ; не знаю, существуютъ ли тамъ онѣ или нѣтъ; но не все ли это равно! не все же намъ обезьянничать, въ самомъ дѣлѣ; пора выдумывать свое полезное и примѣнять его къ дѣлу. Изобрѣтеніе самовара конечно вещь почтенная и полезная, но нельзя же на немъ остановиться.

Но пора, давно пора кончить. Если я такъ долго говорилъ вамъ о матросахъ, такъ это потому, что во первыхъ, непремѣнно хотѣлось мнѣ познакомить васъ съ бытомъ и личностями совершенно вамъ новыми, хотѣлось ввести васъ, сколько позволяла мнѣ моя наблюдательность, въ тотъ внутренній міръ корабля, котораго всѣ мы болѣе или менѣе не знаемъ, и къ которому, потому-то можетъ быть, и чувствуешь такое непростительное равнодушіе. Во вторыхъ, вините въ этомъ страшную скудность впечатлѣній, которыя даетъ Балтійское море. Однообразіе страшное! Въ каютъ-компаніи только и слышишь желаніе, чтобы посвѣжѣлъ вѣтеръ, налетѣлъ шкваликъ, сдѣлалась бы буря. Хоть я не морякъ, а раздѣляю такое желаніе; правда, я пока не испытывалъ еще что такое „шкваликъ“ и буря; но все равно; лучше страшное будущее, чѣмъ такое сокрушительное, апатическое настоящее: плывемъ точно по одному изъ Парголовскихъ озеръ, которое вдругъ расширилось во всѣ стороны; береговъ не видно; но чувствуется, что тамъ съ успѣхомъ должны рости

ель и сосна и въ изобиліи процвѣтаютъ болотная осока, богородицына травка и брусника.

Посреди этого царства унынія, одинъ только Мишель Пупо доставляетъ обществу нѣкоторое развлеченіе. Онъ кормитъ насъ также плохо, какъ между Петербургомъ и Ревелемъ; также часто, каютъ-компанія, выведенная изъ терпѣнія, вызываетъ его на сцену, чтобы осыпать громомъ брани и упрековъ; но хорошо то по крайней мѣрѣ, что, благодаря его изобрѣтательному уму, онъ находитъ всякій разъ новую форму своимъ оправданіямъ. Сегодня обѣдъ никуда не годится, потому что матросы съѣли весь запасъ сырыхъ, необыкновенно свѣжихъ яицъ, взятыхъ въ Ревелѣ за дорогую цѣну; то ужинъ не удался, потому что три сыра, лучшіе три сыра, какіе только существовали во вселенной, случайно подвалились подъ бочку и ихъ сплюснуло такъ, что оказались они негодными для употребленія, и т.д.

Пупо очевидно уже ознакомился съ обществомъ; онъ понялъ, что бури каютъ-компаніи не такъ страшны, какъ казались прежде; когда приходится ему уже слишкомъ жутко, онъ яростно только подымаетъ кулаки къ потолку, восклицаетъ: „oh, que le diable emporte cet homme, qui inventa les vaisseaux!..“ или, вмѣсто оправданія, старается замять рѣчь какимъ нибудь разсказомъ; вдругъ разскажетъ, что былъ у него знакомый поваръ и даже родственникъ, который пятью ударами ножа разрѣзывалъ жареную индѣйку, и что за это собственно взяли его въ повара къ одному королю; король часто любилъ вести съ нимъ дружескія интимныя бесѣды.

Разъ, въ одну изъ критическихъ минутъ, когда Пупо чуть не прижали къ стѣнѣ, онъ стремительно выбѣжалъ изъ каютъ-компаніи, и минуту спустя вернулся назадъ съ двумя фотографическими портретами; на одномъ были изображены женщина и ребенокъ.

— Господа, воскликнулъ Пупо съ паѳосомъ, взгляните, это моя жена, и вотъ тутъ ея маленькій сынъ!

На другомъ портретѣ была женщина съ такимъ развитымъ бюстомъ, какого я еще никогда не видывалъ.

— Господа! провозгласилъ Пупо, еще восторженнѣе, это сестра жены моей! была первая красавица въ Петербургѣ!.. Такъ была хороша, что...

Тутъ Пупо быстро нагнулся къ группѣ ближайшихъ офицеровъ, и сладко мигая своими косыми глазками, началъ говорить что-то шопотомъ. Мы могли разслышать только слова: „графъ“... и „семь тысячъ рублей серебромъ!“...

Но и о Пупо кажется довольно.

Десятаго числа августа проходили мы мимо Борнгольма; одиннадцатаго числа, влѣво, промелькнулъ островъ Рюгенъ. Не стану говорить вамъ ни о томъ, ни о другомъ. Я взялъ за правило описывать только то, что вижу. Придерживаясь другой системѣ, т. е. пополняя свои личныя впечатлѣнія еще выписками изъ книгъ, я бы никогда не кончилъ своихъ записокъ, чего мнѣ вовсе не хочется, столько же изъ чувства сострадательности къ читателю, сколько и къ себѣ собственно. Надѣюсь, матеріаловъ будетъ довольно какъ на морѣ, на кораблѣ, такъ равно и на сушѣ.

Въ самомъ началѣ нашего плаванія, я убѣдительно просилъ офицеровъ, и затѣмъ, — строго наказалъ Михайлѣ, чтобы, не смотря ни на какое время дня и ночи, меня вызывали на ютъ всякій разъ, какъ случится что нибудь особенное.

Основываясь на этомъ, разъ вечеромъ, Михайла врывается въ мою каюту.

— На ютъ пожалуйте, в. б!

— Случилось что нибудь?

— Нѣтъ, ничего.

— Зачѣмъ же идти?

— Не могу знать; вахтенный приказалъ васъ позвать.

Надѣваю пальто и подымаюсь на верхъ.

Было около семи часовъ и солнце, багровымъ, раскаленнымъ шаромъ, начинало опускаться къ горизонту; небо было также чисто и прозрачно, какъ вообще во всѣ предыдущіе дни.

— Что у васъ тутъ происходитъ? спросилъ я, подходя къ вахтенному, который стоялъ въ обществѣ нѣсколькихъ офицеровъ, — кажется, все попрежнему благополучно?.. И на водѣ и въ небесахъ не совершается ничего новаго: сегодня, какъ вчера, вчера какъ третьяго дня и т. д.

Мнѣ указали на сѣверъ къ сторонѣ Швеціи.

Тамъ, во весь горизонтъ, тянулась тонкая совершенно бѣлая полоса, которую я сначала не примѣтилъ; не прошло пяти минутъ полоса эта значительно расширилась въ вышину; немного погодя, она закрыла половину неба и вдругъ, совершенно неожиданно, небо, вода и самый корабль, исчезли въ туманѣ.

Не успѣли мы придти въ себя, какъ уже облако тумана про-

неслось, и постепенно уменьшаясь и съуживаясь, побѣжало къ противуположному горизонту.

— Ну, этотъ феноменъ не очень еще удивителенъ! сказалъ я; по всему видно, мы не далеко ушли отъ Петербурга; такіе феномены происходятъ тамъ каждую осень на Невскомъ проспектѣ...

— Конечно, бываютъ... возразилъ О. Р. Ш*, какъ бы обидясь,—бываютъ и тамъ, но только съ маленькой разницей въ отношеніи къ неудобствамъ и опасности...

— Еще бы! Тамъ, т. е. на Невскомъ, того и смотри наѣдешь на кого нибудь, или дышло какого нибудь экипажа въѣдетъ тебѣ въ спину! Здѣсь, — гуляй себѣ на просторѣ въ этомъ туманномъ киселѣ: не боишься ни дышла, ни тѣхъ господъ, которые влѣпляются носомъ своимъ въ твой собственный носъ и въ добавокъ,— тебя же за это обругаютъ...

— Совершенно такъ! перебилъ Ш* самодовольнымъ тономъ человѣка, въ рукахъ котораго всѣ данныя, чтобы восторжествовать надъ противникомъ,—разница въ томъ только, что здѣсь, вмѣсто господина, можетъ наскочить со всего размаха чужое судно, или самъ переѣдешь черезъ какого нибудь купца!

— Какъ, купца?

— Да; купцомъ называютъ у насъ всякое купеческое судно.

— Что-жъ тогда?

— А то, что или самъ пойдешь на дно, или—его потопишь со всѣмъ экипажемъ!

Во время нашей бесѣды облака тумана чаще и чаще набѣгали на корабль; бѣлыя полосы безпрестанно появлялись то съ одной стороны горизонта, то съ другой; выростая съ неимовѣрною быстротою, онѣ охватывали небо и потопляя корабль,—также быстро уносились мимо.

— Рынду бить! неожиданно раздался голосъ вахтеннаго.

Въ ту-же минуту, въ дальней части корабля, на бакѣ, зазвонили въ колоколъ.

— Что это такое? спросилъ я, прислушиваясь къ звону, которому, казалось, конца не было.

— Это для того дѣлается, чтобы предупредить именно то, о чемъ я говорилъ вамъ; такъ будутъ звонить теперь всю ночь.

Мы разговаривали уже едва-едва различая другъ друга; туманъ по временамъ былъ такъ густъ, что все пропадало: люди, ближайшія снасти и самая палуба, на которой мы стояли; къ этому

вскорѣ присоединилась темнота безлунной ночи. Я отошелъ нѣсколько въ сторону, придерживаясь за перила юта.

Вокругъ царила тишина мертвая; паруса, надутые легкимъ попутнымъ вѣтромъ, стояли неподвижно; матросы сидѣли по своимъ угламъ или кучками лежали на бакѣ; не слышно было ни шаговъ, ни голоса.

Посреди тишины, въ воздухѣ заливался только торопливый звонъ колокола; заглушаемый туманомъ, онъ принималъ по временамъ какой-то унылый характеръ, напоминавшій набатъ въ деревнѣ. Невольно приходилъ также на память тотъ отдаленный звонъ, который слышишь иногда, пробираясь по снѣжнымъ равнинамъ, ночью, во время мятели. „Гдѣ мы? скоро-ли это кончится?.. не сбились-ли съ пути посреди безкрайной пустыни, окутанной мракомъ?..“ Вопросы эти, какъ тамъ, такъ и здѣсь неотвязно приходятъ на умъ, какъ тамъ, такъ и здѣсь сердцу становится одинаково неспокойно...

Разсказы Ш* и очевидная возможность, что все, о чемъ ни говорилъ онъ, можетъ случиться съ часу на часъ, усиливали внутреннюю тревогу.

— „Какъ ни скверно бываетъ иногда не только на Невскомъ, но даже въ поляхъ зимою,—здѣсь на морѣ все таки хуже... гораздо хуже!..“ подумалъ я, спускаясь въ каюту.

Такая тоска овладѣла мною, что я рѣшительно ничѣмъ не могъ заняться и поскорѣе легъ въ постель.

Не знаю сколько времени прошло съ той минуты, какъ я закрылъ глаза; знаю только, что я внезапно проснулся. Такъ какъ вокругъ было попрежнему тихо, мнѣ показалось въ первую минуту, что я видѣлъ сонъ, который служилъ какъ будто продолженіемъ недавнихъ моихъ впечатлѣній на ютѣ. Я собирался уже снова закутаться въ одѣяло, какъ вдругъ колоколъ зазвонилъ съ особенною силой; въ то-же время, послышались крики, застучали ноги надъ моею головою и послышалась торопливая команда: „лѣво на бортъ!..“ „Есть!“ „Лѣво на бортъ!!..“ Мысль, что случилось несчастіе, промелькнула въ головѣ моей. Я выскочилъ изъ постели, накинулъ пальто и выбѣжалъ изъ каюты.

Непроницаемый мракъ затоплялъ корабль; впереди, на бакѣ слышались крики, происходила страшная возня и колоколъ звонилъ отчаянно.

Но все это вмѣстѣ взятое, даже самая очевидность, что происходитъ что-то особенно неблагопріятное, не такъ на меня подѣй-

ствовало, какъ одинъ звукъ, который раздался въ ту самую минуту, какъ я выбѣжалъ на палубу: подъ самымъ носомъ „Ретвизана" послышался раздирающій вой собаки... Собаки у насъ не было; откуда-же она могла взяться?.. Сердце сжималось отъ безпокойства.

Черезъ минуту, и прежде еще, чѣмъ я успѣлъ подняться на ютъ и очнуться, возня утихла и все объяснилось.

Мы наѣхали на купеческое судно, или вѣрнѣе, оно подвернулось подъ носъ „Ретвизана". Еще минута, и купецъ неминуемо пошелъ-бы на дно со всѣмъ своимъ грузомъ и экипажемъ; намъ не было возможности предупредить столкновеніе: у купца не было вывѣшено сигнальныхъ фонарей: команда спала глубокимъ сномъ; самъ рулевой дремалъ, кажется, потому что онъ закричалъ тогда уже, какъ начали кричать съ „Ретвизана"; спасеніемъ своимъ судно рѣшительно обязано было собакѣ: она первая подняла тревогу и дала знать „Ретвизану" о близости судна.

Такія собаки, сказывали мнѣ, нарочно берутся для этой цѣли шкиперами купеческихъ судовъ. Команда можетъ заснуть, фонарь можетъ угаснуть отъ недосмотра; собака никогда не проспитъ; она инстинктивно чуетъ опасность и всегда во-время подыметъ тревогу.

По поводу нашей ночной встрѣчи, я имѣлъ случай узнать любопытныя подробности касательно мореходовъ вольныхъ судовъ. Право не знаешь, чему здѣсь больше удивляться: адской-ли смѣлости и удали людей, которые изъ разсчета, часто неудающагося, тысячу разъ подвергаютъ свою жизнь опасности, или вообще, людской плутоватости.

Представьте, эти мореходы купеческихъ судовъ часто нарочно подвертываются такимъ образомъ подъ большіе корабли! Для этого они ждутъ тумана или бурной ночи съ тѣмъ же нетерпѣніемъ, какъ другіе ждутъ ясной, тихой погоды. Примѣтивъ большое судно, шкиперъ слѣдуетъ за нимъ издали; съ наступленіемъ ночи, онъ тушитъ фонарь, запираетъ собаку и правитъ такимъ образомъ, чтобы корабль на него наѣхалъ и разбилъ его въ дребезги. Разсчетъ тутъ слѣдующій: судно его старо и никуда больше не годится, какъ въ ломъ, но оно застраховано. О грузѣ и людяхъ нечего безпокоиться: груза не существуетъ; что-жъ касается до людей, они заблаговременно приняли всѣ мѣры для своей безопасности: у каждаго, подъ платьемъ, имѣется клеенчатая сумка, въ которой хранятся и деньги и паспортъ. Выждавъ удобную минуту, т. е. минуту, когда корабль наѣзжаетъ

на судно, шкиперъ и люди его съ быстротою кошки цѣпляются за корабль и лѣзутъ на палубу. По морскимъ законамъ, корабль потопившій судно, платитъ его владѣльцу убытокъ. Въ первомъ-же портовомъ городѣ шкиперъ передаетъ своему консулу трогательную повѣсть о погибели судна и чудномъ своемъ спасеніи, и корабль, если только нѣтъ вѣрныхъ доказательствъ объ умышленномъ дѣйствіи шкипера, выплачиваетъ владѣльцу стоимость судна и цѣнность предполагаемаго груза.

Но какъ-бы тамъ ни было, такъ или иначе, мнѣ ни за что не хотѣлось бы вторично пережить минуту тѣхъ сердечныхъ содроганій и впечатлѣній, которыя привелось тогда испытывать.

На другой день, послѣ тумана, напоминавшаго Петербургъ, насъ окончательно, казалось, принесло къ берегамъ „Сѣверной Пальмиры" какъ выражалась нѣкогда Сѣверная пчела. Небо превратилось въ одинъ сплошной сѣрый куполъ самаго грустнаго, или вѣрнѣе, самаго плачевнаго свойства, потому что небо начало вскорѣ проливать слезы; немного погодя зарядилъ одинъ изъ тѣхъ упорныхъ мелкихъ дождей, которые наводятъ всегда такой непривлекательный глянецъ на тротуаръ Невскаго проспекта, и сквозь который такъ уныло всегда смотритъ шпиль адмиралтейства. Петербургъ, словно, соединялъ всѣ свойства своей осени и посылалъ ее за нами, изъ опасенія, вѣроятно, чтобы мы его скоро не забыли.

Часовъ около трехъ, баковый матросъ прокричалъ: „парусъ!" — точь въ точь, какъ въ морскихъ романахъ или въ описаніи крушенія Медузы.

Парусъ постепенно увеличивался. Вскорѣ различили лоцманскій флагъ. Около этихъ мѣстъ (это происходило пройдя Лангеландъ), мы дѣйствительно должны были встрѣтить лоцмановъ, которые проводятъ корабли по Ниборгскому рейду.

— „Слава Богу! думалъ я, иностранный лоцманъ внесетъ по крайней мѣрѣ новое впечатлѣніе, явится какъ новое пятно на картинѣ, которая, признаться сказать, страхъ начинала наскучать своимъ однообразіемъ".

Лоцманъ подошелъ къ кораблю; ему кинули конецъ и онъ началъ всходить по трапу.

— „Первый иностранецъ, котораго я вижу посреди чужеземнаго воздуха!" сказалъ я самъ себѣ, обращая любопытные глаза на появившагося лоцмана. Но Боже, какое разочарованіе! Представьте себѣ типъ, совершеннѣйшій типъ тѣхъ колонистовъ, которыхъ встрѣ-

чаешь каждое утро на петербургскихъ улицахъ, въ телѣжкахъ съ картофелемъ! Тотъ-же картузъ, тѣ-же бѣлокурые, плоскіе какъ щепки волосы, тотъ-же синій камзолъ и тѣ-же обшлепанные сапоги. Тутъ только согласился я внутренно, до чего Петербургъ богатъ чухонскимъ и нѣмецкимъ элементами.

Лоцманъ этотъ служилъ впрочемъ послѣднимъ напоминаніемъ Петербурга. На слѣдующее-же утро, сквозь рѣдѣвшую сѣть дождя, началъ открываться съ правой стороны зеленѣющій берегъ, усыпанный группами бѣлыхъ домиковъ, съ высокими черепичными кровлями; мѣстами возносились невиданныя еще мною бѣлыя каменныя вѣтряныя мельницы, живо махавшія крыльями. Берегъ на всемъ протяженіи, между группами домовъ, правильно былъ исполосованъ пашнями, садами, огородами; насколько позволяла различать зрительная труба,—все на этомъ берегу смотрѣло какъ-то чисто, уютно и казалось очень миловиднымъ.

Часовъ около девяти утра, показался новый парусъ; то былъ лоцманъ изъ Ниборга; онъ собственно долженъ уже былъ ввести и поставить „Ретвизанъ" на ниборгскій рейдъ.

Дождь прошелъ между тѣмъ; на небѣ начали даже кое-гдѣ проглядывать синіе просвѣты, или улыбки, какъ говоритъ пріятель мой П*. Часа черезъ полтора, передъ нами развернулась широкая бухта. Въ глубинѣ ея пестрѣло на первомъ планѣ нѣсколько мелкихъ купеческихъ судовъ: за ними бѣлѣли ряды домовъ съ красноватыми крышами, выставлялся сѣрый шпиль церкви, кое-гдѣ темнѣли верхушки пирамидальныхъ тополей; далѣе шли пологіе, воздѣланные, зеленые холмы, которые огибали бухту справа и слѣва.

— „Изъ бухты вонъ!.." командуетъ вахтенный. Въ ту-же секунду, якорь, разбрызгавъ вокругъ себя пѣну,—шлепается въ море; раздается по всему кораблю глухое рокотаніе якорной цѣпи, быстро убѣгающей въ воду,—и снова все утихаетъ. Мы на якорѣ!

Всѣмъ намъ нетерпѣливо хотѣлось на берегъ. Ниборгъ не представлялъ намъ ничего особенно привлекательнаго; мы смотрѣли на него ни больше, ни меньше, какъ смотришь обыкновенно на наши уѣздные города, т. е. не какъ на цѣль путешествія, а на средство отправиться дальше. На языкѣ, точно также какъ и въ мысляхъ каждаго,—былъ одинъ Гамбургъ. Большая часть нашихъ офицеровъ собирались туда, чтобы заказать себѣ статское платье; двое-трое, въ томъ числѣ и я, рвались въ Гамбургъ,—только для Гам-

бурга, представлявшагося воображенію чѣмъ-то въ родѣ Парижа Германіи.

Но такъ какъ всѣмъ вмѣстѣ ѣхать было невозможно, общество раздѣлилось на двѣ партіи: одна партія оставалась на кораблѣ и должна была ждать возвращенія другой, чтобы отправиться въ свою очередь.

Часовъ около двухъ мы сидѣли въ шлюпкѣ и подходили къ городу.

Когда очутишься на пристани,—Ниборгъ кажется еще менѣе, чѣмъ казался издали. Прямо отъ пристани идетъ главная, и въ то-же время. чуть-ли не единственная улица города. Первое. что удивило насъ—это газовые фонари, которые разставлены здѣсь чаще, чѣмъ даже на Невскомъ проспектѣ; послѣ первыхъ десяти шаговъ по мостовой, мы пришли къ рѣшительному убѣжденію, что наша мостовая невозможно плоха; (не знаю, что будетъ дальше, но такое убѣжденіе не оставляетъ меня до настоящей минуты;—вотъ уже скоро десять мѣсяцевъ, однакожъ, какъ я слоняюсь по мостовымъ разныхъ государствъ Европы).

Главная улица упирается въ двухъ-этажный длинный домъ; въ нижнемъ этажѣ гостинница и почтамтъ; во второмъ собирается городской совѣтъ, военный и гражданскій, даются митинги и публичныя празднества. При входѣ съ пристани на улицу стоитъ караулъ изъ какихъ-то ражихъ, румяныхъ дѣтинъ, точно толпа здоровыхъ деревенскихъ парней, на которыхъ нахлобучили каски и нарочно надѣли такіе широкіе и свободные мундиры, чтобы имъ было просторно, какъ у себя дома.

Нельзя сказать, чтобы прибытіе наше произвело большой эффектъ при самомъ началѣ; народъ скорѣе шелъ по собственнымъ дѣламъ, чѣмъ бѣжалъ смотрѣть на насъ; скорѣе—они произвели на насъ эффектъ своими здоровыми румяными щеками, плотными широкими куртками, жилетами и панталонами.

Пароходъ изъ Ниборга въ Корсёръ, откуда должны мы были отправиться въ Киль, чтобы попасть въ Гамбургъ—отваливалъ въ четыре часа.

Небо окончательно прочистилось и сдѣлалась отличная погода къ тому времени, какъ мы сѣли на пароходъ. Черезъ полтора часа мы входили въ гавань Корсера—маленькаго датскаго городка, который показался намъ еще чище и уютнѣе Ниборга. Городъ расположенъ на плоской мѣстности вокругъ гавани. Въ гавани стояло

нѣсколько пароходовъ и мелкихъ купеческихъ судовъ, которые доказывали довольно значительное, для такого городка, торговое движенье. На заднемъ планѣ, какъ-бы для контраста, сумрачно смотрѣли верхушки старой зубчатой башни; справа, тамъ гдѣ у выдающагося мыса кончается городъ, тянулась низенькая крѣпостная стѣна, перерѣзанная амбразурами. Слѣва, на самомъ берегу выставлялось огромное трехэтажное зданіе съ вычурными надстройками надъ окнами верхняго этажа.

Заходящее солнце, играя на стеклахъ домовъ и ярко освѣщая остроконечныя черепичныя кровли,—придавало всему веселый, улыбающійся видъ.

— Посмотрите, сказалъ одинъ изъ офицеровъ, указывая на двѣ плоскія лодки, надъ которыми вертѣлось колесо, навивавшее канатъ,—такая маленькая гавань, а между тѣмъ, двѣ машины для очистки ея отъ грязи.

— Превосходно! перебилъ другой, это доказываетъ вниманіе, почтенную заботливость въ отношеніи къ поддержкѣ того, что заведено и что существуетъ: гавань маленькая, но благодаря этимъ двумъ машинамъ, въ ней свободно двигаются вонъ эти большіе пароходы, ни мало не опасаясь засѣсть въ тинѣ...

Сходя на берегъ, мы твердо убѣждены были въ томъ только, что каждый изъ насъ звѣрски голоденъ; первымъ нашимъ вопросомъ было: „гдѣ гостинница“? Намъ указали на трехэтажное зданіе съ вычурными надстройками надъ окнами.

Можете представить себѣ восхищенье тридцати голодныхъ человѣкъ, когда при входѣ въ залъ гостинницы,—предсталъ длинный-длинный столъ, уставленный всѣмъ, чего только могло желать самое ненасытное гастрономическое воображеніе. Какъ-бы для полноты эффекта, солнце заходило прямо противъ оконъ; брюхастые графины налитые портвейномъ и хересомъ, длинногорлыя бутылки со своими раззолоченными ярлыками и свинцовыми шапочками, стаканы, рюмки,—все это превращалось во столько-же драгоцѣнныхъ камней; столъ былъ заставленъ блюдами, соусниками, салатниками: тамъ, съ величавою осанкою стараго вельможи,—красовался ростбифъ съ надрѣзаннымъ румянымъ бокомъ и воткнутою въ него вилкой; здѣсь, на блюдѣ, окруженныя только что поджаренныимъ и хрустѣвшимъ картофелемъ.—рядкомъ лежали бараньи котлеты; тутъ лѣзъ впередъ, какъ мѣщанинъ во дворянствѣ, тучный окорокъ; рядомъ съ нимъ стоялъ салатникъ, наполненный винегретомъ изъ ди-

чины, холоднаго картофеля и рыбы; а зелень! а соусы и подливки! а блюда съ абрикосами и грушами! Чего только,—чего тутъ не было! Надо вамъ сказать,—ужъ коли пошло на ѣду,—все это было отлично приготовлено; кухня датская нисколько не похожа на нѣмецкую; способъ сервировки англійскій: все ставится на столъ — кушай кто сколько хочетъ и чего хочетъ. Не забуду какъ поразило насъ также то, что всѣ ножи рѣзали какъ бритвы; мы вспомнили Россію,—которая, по преимуществу, можетъ назваться страною тупыхъ столовыхъ ножей; не мало удивила насъ также здѣшняя дешевизна; за весь этотъ обѣдъ съ насъ взяли только по два франка съ человѣка!

Всѣ были настроены отличнѣйшимъ образомъ; этому, надо сказать, не мало способствовала предстоящая перспектива поѣздки въ Гамбургъ. Всѣ дѣлали планы, предположенія, программы. Такъ какъ пароходъ изъ Корсёра въ Киль отходилъ только въ десять часовъ,—мы пошли бродить по городу. Но было уже около девяти часовъ и, надо думать, мирные жители датскаго городка укладывались спать; мы никого почти не встрѣтили на улицахъ.

Въ десять часовъ, общество располагалось по каютамъ парохода, долженствовавшаго доставить насъ въ Киль.—„И такъ мы заграницей!." Мысль эта, я увѣренъ, многимъ волновала кровь сильнѣе обыкновеннаго и долго не давала заснуть.

Въ четыре часа утра мы были въ Килѣ.

Гавань напоминаетъ нѣсколько гавань Корсёра; но кильская несравненно обширнѣе; говорятъ, въ нее свободно входятъ самые большіе корабли и становятся бортомъ къ самой пристани.

Городъ, при блескѣ румянаго восхода, показался намъ очень красивымъ со своими черепичными крышами, розовыми и голубыми домами и великолѣпной прогулкой обсаженной у самаго моря каштановой аллеей. Въ гавани стояло множество судовъ всякаго рода; но и гавань и городъ пока еще безмолствовали.

Не смотря на ранній часъ, мы не успѣли ступить на берегъ, какъ уже явились носильщики; они подхватили наши сàки и мы отправились на станцію желѣзной дороги. Поѣздъ отходитъ въ пять часовъ.

— Ну, какъ-же, господа, не вспомнить при этомъ случаѣ Петербурга, замѣтилъ С*,—вотъ и не великъ, кажется, городъ,—а какія удобства! Въ Петербургѣ, какъ пріѣдешь на пароходѣ къ Англійской пристани,—не только не найдешь носильщика, но ни-

когда почти извощика не докличешься; случается, до Исаакіевской площади дойдешь изнемогая подъ тяжестью своего чемодана!

Мы шли все время совершенно почти пустыми, но блистающими чистотою улицами и переулками.

Станція расположена въ самомъ центрѣ города.

Это обстоятельство опять-таки самымъ невольнымъ образомъ приводитъ на память Петербургъ и его станцію петергофской желѣзной дороги. Чтобы добраться до послѣдней, предстоитъ проколесить пять верстъ по адской дорогѣ и истратить на извощика болѣе чѣмъ стоитъ билетъ вагона. Впрочемъ надо быть справедливымъ, петергофская станція въ десять разъ великолѣпнѣе кильской; первая представляетъ даже въ нѣкоторомъ родѣ изящный образчикъ готической архитектуры; вагоны ея обиты бархатомъ и покрыты рѣзьбою. Ослѣпительная обстановка станцій составляетъ, какъ извѣстно всякому истинно просвѣщенному человѣку,—главный смыслъ, главную задачу при постройкѣ желѣзныхъ дорогъ, точно также какъ и во всякихъ другихъ общественныхъ предпріятіяхъ. При всемъ томъ,— я все-таки останусь при своемъ упрямомъ мнѣніи; я буду думать, что станція въ Килѣ,—лучше станціи петергофской; тамъ, сколько я замѣтилъ, удобство принято прежде всего въ разсчетъ и стоитъ на первомъ планѣ; въ извѣстныхъ случаяхъ, удобство есть настоящая роскошь, потому что, — удобствомъ пользуются всѣ, — тогда какъ роскошью,—только исключительные избранники фортуны.

Дорога отъ Киля до Альтоны представляетъ совершенный типъ видовъ какъ отъ Петербурга до Царскаго села; разница въ томъ, что одинокія живописныя избушки царскосельской дороги замѣняются здѣсь частыми и большими деревнями съ каменными выбѣленными домами. Коровы и лошади, которыя здѣсь пасутся, такъ сыты и здоровы, какъ я иногда еще не видывалъ: луга выполоты, трава по поясъ; мѣстами они отгорожены рѣшетками изъ толстой проволоки, выкрашенной масляной краской; рощи подчищены какъ парки; поля обработаны превосходно,—не въ укоръ будь сказано нѣмецкимъ колонистамъ, воздѣлывающимъ часть земель по дорогѣ въ Царское село.

Предупреждаю заранѣе: не вините меня въ сердечномъ или преднамѣренномъ пристрастіи къ чужеземному и пожалуйста не сердитесь, многоуважаемый читатель.

Отправляясь заграницу, я далъ себѣ слово вести подробный журналъ и въ наблюденіяхъ моихъ держаться постоянно такой ме-

тоды, чтобы все видѣнное ставить въ параллель съ тѣмъ, что у насъ заводится или учреждено въ томъ же родѣ. Такая точка зрѣнія была бы въ высшей степени неумѣстна, еслибъ Россія была страна совершенно дикая и первобытная. Но Россія, слава Богу, давно уже вышла изъ пеленокъ (не забудьте, заданы уже программы для монумента въ память ея тысячелѣтія!)—давно стала она на европейскіе рельсы и живетъ европейскою жизнію. Поэтому, не вижу причины отчего сравненіе между нею и нѣкоторыми европейскими государствами невозможно. Если сравненіе не всегда будетъ льстиваго свойства (истинное патріотическое чувство не оскорбляется мелочами),—если чужеземное будетъ иногда казаться совершеннѣе,—вина вовсе не моя. Читая мои путевыя записки, представьте себѣ, что вы перелистываете альбомъ фотографій, въ которомъ фотографіи такъ расположены, что рисунокъ снятый въ Европѣ наклеенъ рядомъ съ рисункомъ снятымъ въ Россіи. Такое расположеніе рисунковъ было положимъ капризомъ фотографа; виноватъ ли онъ, скажите, если на фотографіи изображающей, положимъ хоть крошечный городокъ Ниборгъ,—вы замѣтите, что газовые фонари чаще разставлены, чѣмъ на Невскомъ проспектѣ?..

Повѣрьте мнѣ, читатель, я нисколько не подкупленъ чужеземнымъ; ручаюсь вамъ, я люблю отечество мое ничуть не менѣе любого изъ васъ.

Я дѣйствую только изъ убѣжденія, что прошли времена, когда горячимъ патріотомъ считался уже тотъ, кто просыпая свой вѣкъ на лежанкѣ, умѣлъ убаюкивать и себя и другихъ грезами фантастическаго своего величія; кто, желая, напримѣръ, выставить на видъ все величіе Шекспира, добродушно увѣрялъ, что Шекспиръ, благодаря великому генію своему,—можетъ уже стать по плечо русскому человѣку, и т. д. Никто конечно этому не вѣритъ, ни тотъ кто говоритъ, ни тотъ кто это слушаетъ или читаетъ; зачѣмъ-же терять слова и попусту точить языкъ?

Главное мое убѣжденіе въ томъ, что пора наконецъ престать и даже подло,—да, подло,—расточать умышленно лицемѣрныя похвалы въ случаяхъ, когда всѣ очевидно пришли къ сознанію, что только въ правдѣ, высказанной смѣло и безъ обиняковъ,—кроется возможность пользы и дальнѣйшее преуспѣваніе въ дѣлахъ общественныхъ. Итакъ, пожалуйста не сердитесь; иначе невольно будетъ казаться, что вы врагъ правды и слѣдовательно,—плохой патрі-

отъ,—что было-бы очень жаль, потому что Россіи нужны хорошіе патріоты.

Послѣдній поѣздъ передъ Гамбургомъ останавливается въ Альтонѣ: она служитъ какъ бы предмѣстіемъ Гамбурга; ихъ только раздѣляютъ ворота. Альтона сама по себѣ, очень большой и значительный торговый городъ; я только не понимаю, какимъ образомъ, могло сдѣлаться, что онъ принадлежитъ Ганноверу? Альтона, очевидно, по прямой линіи должна принадлежать землѣ Израилевой, она кишитъ жидами.

Чтобъ попасть въ Гамбургъ, намъ слѣдовало проѣхать черезъ всю Альтону по главной улицѣ, которая носитъ названіе Пальмаль. Во всю длину улицы на право и на лѣво возвышаются высокіе, но узкіе дома, буквально завѣшанные сверху до низу тряпьемъ: старыми панталонами, сюртуками и жилетами;— совершенно тряпичная линія нашего Апраксина двора; но только по размѣрамъ своимъ, улица должна служить Апраксинымъ дворомъ всему бѣдному ганноверскому населенію.

Пальмаль полна народу; въ этой толпѣ, дѣтей надо считать на половину; бичъ нашего кучера не переставалъ предупредительно щелкать; того и смотри кого нибудь задавишь. Въ толпѣ только и видишь, что курчавыя черныя головы, тонкіе съ гербомъ носы на смуглыхъ продолговатыхъ лицахъ, черные быстрые глаза. Часто попадаются франты, одѣтые по модѣ и съ тросточкой, но и у тѣхъ слишкомъ рѣзокъ типъ, слишкомъ много блестящихъ запонокъ и колецъ, чтобы можно было усомниться въ ихъ восточномъ происхожденіи. Едва въѣзжаешь въ Альтону,—какъ васъ обхватываетъ запахъ чеснока; онъ провожаетъ васъ до самаго Гамбурга. Мѣстами, Пальмаль пересѣкается площадями; тутъ множество балагановъ разукрашенныхъ вывѣсками съ изображеніемъ звѣрей, уродовъ, акробатическихъ чудесъ и проч. Но площадь минула,—и снова пошли направо и налѣво старые панталоны, пальто и жилеты съ примѣсью чесноковаго запаха.

Мы ни мало однакожъ не сѣтовали на такое впечатлѣніе, не сѣтовали потому именно, что отправляясь въ Гамбургъ, не думали объ Альтонѣ. Альтона играла въ этомъ случаѣ роль плохого водевиля, который дается обыкновенно для съѣзда публики передъ великолѣпной пьесой; великолѣпной пьесой—былъ Гамбургъ. Мы съ жадностью высовывались изъ оконъ кареты, съ дѣтскимъ нетерпѣніемъ ждали, когда же наконецъ въѣдемъ въ Гамбургъ.

Никому, конечно, въ голову не приходило, что дня черезъ три, каждый также нетерпѣливо будетъ рваться вонъ изъ Гамбурга.

Городъ самъ по себѣ,—великолѣпенъ; многія улицы, особенно тѣ, которыя находятся по близости бассейна Амслера,—напоминаютъ своими домами и движеньемъ хорошіе кварталы Парижа; дома въ шесть и семь этажей идутъ здѣсь точно также—скорѣе въ вышину, чѣмъ въ ширину; зеленыя жалузи, пестрыя маркизы на окнахъ, балконы и свѣтлый цвѣтъ стѣнъ придаютъ всей массѣ домовъ комфортабельный, богатый видъ; этому много также способствуетъ и то, что всѣ нижніе этажи превращены въ одинъ сплошной рядъ роскошныхъ магазиновъ.

Въ отдаленныхъ кварталахъ, которымъ „пожаръ не способствовалъ къ украшенью", (въ 1842 году пожаръ истребилъ ту часть города, о которой мы говорили), гдѣ дома гораздо ниже, гдѣ старыя черепичныя крыши не успѣли еще замѣниться желѣзными,—видѣнъ тотъ же характеръ довольства и матеріальнаго благосостоянія. Мѣстами, въ самомъ городѣ открываются живописныя точки, манящія художника,—что, какъ извѣстно, рѣдкость въ городахъ, строенныхъ на плоскомъ мѣстѣ. Такъ напримѣръ, идя по улицѣ, вы неожиданно очутитесь на мосту перекинутомъ черезъ одинъ изъ рукавовъ Эльбы или Амслера; справа и слѣва открывается перспектива домовъ, большею частію старыхъ и не оштукатуренныхъ, которые, какъ на каналахъ Венеціи, упираются своими фундаментами въ воду; множество лодокъ и даже большія купеческія суда прямо подходятъ къ дверямъ зданій и тутъ же выгружаютъ свой товаръ. Паруса, перерѣзывающіе кое-гдѣ перспективу своими неправильными косяками, мачты, флаги,—придаютъ городу особенную оригинальную живописность.

Но самое красивое, привлекательное мѣсто города, — всетаки улица Юнгферштигъ, идущая вдоль бассейна Амслера; другія двѣ стороны бассейна обставлены богатѣйшими домами; чутьемъ чуешь, что здѣсь могутъ жить одни только разжирѣвшіе банкиры. Спуски къ водѣ обсажены въ нѣсколько рядовъ липами: это любимая прогулка праздныхъ гамбургцевъ; здѣсь, вокругъ кафе, выстроенныхъ на сваяхъ и надъ самой водою, — постоянно толпится множество гуляющихъ.

Прежде всего, стараешься конечно повѣрить, на сколько справедлива репутація, которой пользуется прекрасный полъ Гамбурга; такую повѣрку всего удобнѣе сдѣлать въ Юнгферштигъ; здѣсь, какъ

вообще во всемъ Гамбургѣ, — прекраснаго пола больше, чѣмъ мужчинъ.

Если вами управляетъ сколько-нибудь матеріальный вкусъ, если прежде всего вы требуете отъ красоты роскошныхъ формъ, румянца и бѣлизны (разумѣется не искуственныхъ), вы съ перваго взгляда придете въ восхищенье и тутъ же объявите Гамбургъ, — эльдорадомъ Европы. Гейне, который очень хорошо зналъ Гамбургъ, говоря о женщинахъ, увѣряетъ, будто онѣ мало выказываютъ энтузіазма въ романтической любви. —даже врядъ-ли подозрѣваютъ о существованіи сильныхъ страстей. „Нельзя впрочемъ обвинять ихъ въ этомъ, прибавляетъ саркастическій авторъ „Reisebilder“, —вина божка амура, который, направляя свои стрѣлы въ сердце другихъ женщинъ, стрѣляетъ всегда гамбургскимъ женщинамъ право въ животъ!“

Матеріализмъ не исключаетъ въ нихъ однакожъ, — мы имѣли случай лично въ этомъ убѣдиться, — не исключаетъ въ нихъ присутствія живости, предпріимчивости и даже удали, которой позавидовали-бы сами парижанки.

Фланируя, мы случайно зашли въ улицу Дамторвалъ, которую бы слѣдовало по настоящему назвать улицею амазонокъ: населеніе состоитъ исключительно изъ женщинъ. Нѣтъ такого окна, даже въ самыхъ верхнихъ этажахъ, — откуда-бы не выглядывало нѣсколько женскихъ головокъ самаго привлекательнаго и вмѣстѣ съ тѣмъ, самаго бойкаго, рѣшительнаго вида. Едва мы показались, — въ ту-же минуту, все населеніе подняло такой страшный грохотъ въ рамы и стекла оконъ, что двое изъ нашихъ самыхъ храбрыхъ офицеровъ вдругъ перемѣнились въ лицѣ, замахали пугливо руками и мгновенно пустились бѣжать безъ оглядки.

При всемъ томъ, въ Гамбургѣ нестерпимо скучно!

Когда осмотришь городъ, зайдешь въ два-три магазина, позавтракаешь или пообѣдаешь, —рѣшительно не знаешь, что̀ съ собою дѣлать. Съ перваго-же дня видишь, что матеріализмъ, который Гейне приписываетъ женщинамъ, распространенъ здѣсь на всемъ безъ исключенія; онъ васъ обхватываетъ и вы начинаете чувствовать тяжесть, какъ послѣ неумѣренно-сытнаго обѣда. Исторія Гамбурга не представляетъ ни одного животрепещущаго эпизода, который, пробуждая любопытство, приподымалъ-бы васъ умственно или нравственно. Не существуетъ также въ Гамбургѣ ни замѣчательныхъ архитектурныхъ зданій, ни церквей интересныхъ въ художественномъ отношеніи, ни картинныхъ галлерей, ни памятниковъ. Единственный

памятникъ,—статуя Блюхера, который былъ здѣсь нѣсколько лѣтъ первымъ президентомъ: онъ находится въ Альтонѣ,—да и тотъ не стоитъ впрочемъ двухъ зильбергрошей какъ произведеніе искусства. Въ ратушѣ показываютъ четыре каменныя статуи, вооруженныя скипетромъ и державой: это изображенія бывшихъ четырехъ главныхъ банкировъ города. Отчего сейчасъ-же, на самомъ видномъ мѣстѣ Юнгферштигъ не соорудить пьедестала съ изображеніемъ Мамона или золотого тельца? Главное зданіе архитектурнаго достоинства въ Гамбургѣ,—биржа.

Монументальность биржи, ея расположеніе на самомъ почетномъ, лучшемъ мѣстѣ, служитъ, вмѣстѣ со статуями четырехъ банкировъ, — какъ-бы аллегоріей, выражающей характеръ городского общества. Биржа здѣсь то-же, что сердце въ человѣкѣ; жизнь обывателей обусловливается жизнію биржи. Весь Гамбургъ въ суетѣ и движеніи; но проведите два дня, вы убѣдитесь, что суета и движеніе исключительно ограничиваются бѣготнею изъ биржи въ контору, изъ конторы въ складочный амбаръ, изъ амбара въ магазинъ или лавку, изъ лавки опять на биржу. Всей массой населенія движетъ, кажется, одинъ только интересъ,—торговля, барышъ, деньги. Если вы не торговый человѣкъ и сверхъ того, не имѣете чести быть гражданиномъ вольнаго города, — вы навѣрное въ немъ страхъ какъ соскучитесь.

Къ подвижности гамбургскаго населенія вѣроятно не мало способствуетъ присутствіе израилева племени. Здѣсь считается до восьми тысячъ жидовъ. Принимая однакожъ въ соображеніе преобладаніе черныхъ глазъ, ястребиныхъ носовъ и курчавыхъ головъ надъ извѣстнымъ типомъ германскаго племени,—невольно вкрадывается подозрѣніе касательно невѣрности такой малой цифры. Въ обществѣ, гдѣ положеніе и значеніе человѣка обусловливается его капиталомъ, богатые люди, къ какому-бы сословію и націи они ни принадлежали, невольно группируются въ одно цѣлое, связанное общими интересами. Общія дѣла, соединеніе капиталовъ, легко могли способствовать въ Гамбургѣ къ сліянію двухъ расъ; вѣроятно не одна Шарлота и Лотхенъ вышли и выходятъ еще замужъ за Шмуля или Ицку.

Меня по крайней мѣрѣ на каждомъ шагу поражала здѣсь эта смѣсь жида съ нѣмцемъ, и не только въ физическомъ отношеніи, но и въ нравственномъ. Нельзя сказать, что жидовскій элементъ, господствующій вообще въ торговлѣ цѣлаго міра,—не наноситъ здѣсь, въ Гамбургѣ сильный подрывъ провербіальной честно-

сти нѣмцевъ. Что ужъ эта за торговля, когда вы на каждомъ шагу рискуете быть надутымъ, точь въ точь какъ на щукиномъ или въ московскихъ рядахъ!

Вы здѣсь безпрерывно наталкиваетесь на джентльменовъ, которые фланируютъ точно также какъ вы, также скучаютъ, и жалуются на гамбургскую скуку. Джентльменъ подкупаетъ васъ любезностью своего обращенія; онъ предлагаетъ свои услуги, предлагаетъ быть вашимъ чичероне. „Вы иностранецъ, вы никого тутъ не знаете"; —этого слишкомъ уже достаточно, чтобы принять васъ подъ свое покровительство. Гамбургъ знакомъ джентльмену какъ собственная ладонь; онъ совѣтуетъ не ходить въ такую-то таверну, въ такой-то магазинъ; тамъ скверно кормятъ, здѣсь васъ обкрадутъ навѣрное. Тронутые чуть не до слезъ, вы добровольно слѣдуете за джентльменомъ и превращаете себя въ его обріеву собаку. Чтожъ открывается? Открывается въ послѣдствіи, что въ тѣхъ мѣстахъ куда водилъ джентльменъ, васъ именно только и могли обокрасть; онъ привелъ васъ въ лавку къ своему дядѣ, зятю, деверю или тетушкѣ.

Какъ ни бейся, —отъ такого рода жидковъ-промышленниковъ въ Гамбургѣ невозможно избавиться. Мы были предупреждены,—и все-таки исключительно дѣлали закупки у торговцевъ съ блестящими черными глазами и черными курчавыми волосами. Въ окнахъ магазиновъ не рѣдко показываются бѣлокурые волосы и меланхолическіе голубоватые глаза, похожіе на фіалки, вареныя въ молокѣ,— но добраться до нихъ можно развѣ только съ помощью уже не чичероне,—а кулака.

Въ Гамбургѣ пять театровъ; изъ нихъ одинъ оперный. Но въ наше время не было ни одного хоть сколько нибудь порядочнаго актера или пѣвицы. Гамбургцы невзыскательны, кажется, въ этомъ отношеніи. Мы зашли въ театръ Тиволи; давали какую-то паточную, разводенную на суслѣ драму; актеры были ниже всякой посредственности. Мужская часть публики пила пиво и курила; женская, сидѣвшая въ партерѣ, занималась вязаніемъ чулка и шепталась; всѣ казались очень довольными. Отъ театра гамбургцы требуютъ, кажется, только удобнаго кресла, въ которомъ бы можно было просидѣть три часа, предназначенные проводить каждый вечеръ внѣ дома.

Съ наступленіемъ вечера поневолѣ идешь въ такъ называемые: salons.

Въ десять часовъ васъ ведутъ въ темную улицу; вы останавливаетесь передъ дверью, надъ которой красуется цвѣтной фонарь съ надписями: Coloseum, Apollo-salon, или просто: Peter Ahrens, и т. д. Два жидка продаютъ билеты. Вы входите въ большую залу очень дурного вкуса, потому что на всемъ лежитъ печать той отвратительной претензіи на эффектъ, которая свойственна спекуляціи и должна служить приманкою. Направо и налѣво, внизу, идетъ галлерея съ колонками; между колонками помѣщается публика не танцующая, но пьющая и курящая; вся верхняя часть залы, отъ потолка до галлереи, расписана безобразнѣйшими фресками въ натуральную величину: Сусанна, застигнутая старцами, торжество Мардохея, арабы въ пустынѣ, охота за бѣлыми медвѣдями, Юдифь и Олофернъ и т. д. Фризъ со стороны входа изображаетъ толпу зрителей, которые также написаны въ натуральную величину. Посреди залы, фонтанъ, который бьетъ не выше аршина и тоньше соломенки. Публики много и она разнообразна, — чего нельзя сказать здѣсь о дамскомъ полѣ. Всѣ дамы принадлежатъ къ классу жрицъ изъ улицы амазонокъ. Вся эта толпа вальсируетъ и полькируетъ подпрыгивая, страшно упивается пивомъ и въ общей сложности, представляетъ оргію самаго грубаго свойства. Такихъ „салоновъ“ очень много и это одно уже доказываетъ, что въ Гамбургѣ мало порядочныхъ развлеченій.

Остается за Гамбургомъ развѣ то преимущество, что онъ вольный городъ. Имъ управляетъ сенатъ, состоящій изъ двадцати восьми членовъ. Сенату предоставляется исключительное право назначать новыхъ членовъ. Сенатъ назначаетъ также четырехъ синдиковъ, архивиста и пятерыхъ секретарей; послѣдніе, работая за всѣхъ сенаторовъ, играютъ все таки, тѣмъ не менѣе, роль совершеннѣйшихъ пѣшекъ въ глазахъ общества и своихъ собственныхъ: сенаторы воспрещаютъ имъ подавать голосъ и лишаютъ ихъ избирательнаго права. Гамбургскіе граждане рѣшительно дѣлаютъ все, что имъ вздумается; желанія ихъ очень ограничены: они желаютъ прежде всего, чтобы весь міръ раздѣлялъ ихъ благоговѣніе къ сенаторамъ, умилялся бы вмѣстѣ съ ними при встрѣчѣ съ сенаторомъ и называлъ бы сенатора не иначе какъ: „ваша высокая премудрость“!

Зашелъ я разъ утромъ въ таверну поѣсть устрицъ. Устрицы и сыръ были превосходные. Хозяинъ таверны, величавый бѣлокурый нѣмецъ, тотчасъ-же освѣдомился какой я націи и какое занимаю общественное положеніе; удовлетворенный съ этой стороны, вольный

гражданинъ Гамбурга, мгновенно приступилъ къ повѣствованію о томъ,—какіе ѣздятъ къ нему сенаторы и какъ неоднократно удостоивался онъ высокой чести служить за столомъ такимъ-то герцогамъ и принцамъ.

Короче, еслибъ пришлось мнѣ выразить въ двухъ словахъ характеристику Гамбурга,—я сказалъ бы, что онъ ничего больше, какъ расплывшійся отъ богатства и жиру лавочникъ, у котораго отецъ нѣмецъ, а мать жидовка.

На четвертый день, мы съ большимъ удовольствіемъ оставили Гамбургъ.

Къ невыгодѣ впечатлѣнія, легко могло также и то способствовать, что насъ отправилось двадцать человѣкъ и мы бродили почти неразлучно. Увеселительныя поѣздки на берегъ могутъ быть совершаемы только въ числѣ трехъ, много четырехъ человѣкъ; иначе, необходимо нарушается согласіе, — одна изъ главныхъ прелестей всякаго рода странствій.

Всѣ стѣсняютъ себя фальшивымъ чувствомъ деликатности: каждому кажется, что онъ необходимъ другому и если отстанетъ, то поступитъ какъ дурной товарищъ. Одно изъ обстоятельствъ, которое также не мало способствовало къ общему стѣсненію, — былъ костюмъ офицеровъ. Большая часть пріѣхала въ Гамбургъ, чтобы купить и надѣть статское платье. Къ великому прискорбію, нашимъ морскимъ офицерамъ не позволено носить другой одежды кромѣ мундира,—хотя они и проводятъ половину своей жизни за границей, гдѣ мундиръ принимается только какъ служебная, официальная форма. Не имѣя привычки одѣваться по европейски, даже тѣ изъ нашихъ офицеровъ, которые охотно тратятъ деньги на бѣлье и платье,—похожи всегда на десятидушныхъ помѣщиковъ, посѣщающихъ ярмарки или на протоколистовъ уѣзднаго города. Русскихъ офицеровъ узнаютъ вездѣ и съ перваго взгляда. Стоило показаться на улицѣ, чтобы за нами образовалась свита зѣвакъ; по мѣрѣ того какъ идешь дальше, — свита растетъ; она ждетъ когда входишь въ магазинъ и провожаетъ, когда возвращаешься въ отель.

Мы отправились назадъ въ Киль тою же дорогой.

Возвращеніе легко могло стоить намъ если не жизни, то контузій или шишекъ на головѣ. На одной изъ станцій мы вышли изъ вагоновъ, чтобы промять ноги. Едва сдѣлали мы нѣсколько шаговъ, какъ съ той стороны, откуда мы прикатили,—раздались неистовые крики; мы оглянулись: паровая машина летѣла во весь

BAYERISCHE STAATS-BIBLIOTHEK MUENCHEN

духъ, изрыгая дымъ и пламя; машинистъ дѣлалъ тщетныя усилія, чтобы затормозить колесо; не прошло секунды, машина налетѣла на наши вагоны, перебила въ дребезги всѣ стекла и понесла ихъ, оставивъ насъ посереди дороги. Все прошло однакожъ очень благополучно за исключеніемъ самыхъ легкихъ контузій и страха, доставшагося особенно на долю одному нѣмцу; онъ стоялъ на наружныхъ ступенькахъ вагона и любезно разговаривалъ съ дамой; когда произошелъ ударъ,—нѣмецъ взлетѣлъ къ верху какъ ракета, перевернулся нѣсколько разъ винтообразно въ воздухѣ какъ танцоръ,— и покатился на траву,—совершенно впрочемъ невредимый.

Минутъ черезъ десять все пришло въ порядокъ: мы накупили полныя фуражки плодовъ и поѣхали дальше. Эти были чуть-ли не первые дешевые плоды, которые намъ приводилось кушать; фуражки мигомъ опустѣли; но едва надѣли мы ихъ на голову, какъ схватились за животы и нами овладѣлъ страхъ.

— Господа, что мы сдѣлали? каждый съѣлъ по крайней мѣрѣ двадцать абрикосовъ!!... воскликнулъ С*.

Въ вагонѣ смиренно сидѣлъ какой-то нѣмецъ и всѣ къ нему обратились съ разспросами касательно того, въ какомъ градусѣ дѣйствуетъ въ Даніи холера.

— Kolera?.. сказалъ онъ,—Ich verstehe nicht...

— Холера! Холера... Хо-ле-ра! повторили всѣ въ одинъ голосъ и самымъ внушительнымъ тономъ.

— Kolera... verstehe nicht!..

Оказалось, что въ Даніи не только никогда не было холеры, но многіе не слыхали даже ея названія.

Ободренные этимъ, мы накупили еще плодовъ и такъ продолжали до самаго Ниборга.

Въ эти четыре дня нашего отсутствія, ниборгское общество по нѣскольку разъ перебывало на „Ретвизанѣ"; большая часть офицеровъ успѣли завести знакомства; нашлись даже влюбленные. Всѣ отзывались съ великою похвалою о добродушіи, привѣтливости и любезности датчанъ.

— Сегодня воскресенье и по этому случаю весь городъ на гуляньи; капитанъ послалъ туда нашу музыку,—поѣдемте туда! убѣждали насъ со всѣхъ сторонъ.

Тотчасъ-же составилась маленькая компанія, которая усѣлась въ шлюпки и поплыла къ знакомой пристани.

Въ городѣ, за исключеніемъ часовыхъ и караула, души живой

не было. Все устремлялось въ маленькую рощу, находящуюся въ полуверстѣ отъ вала. Издали слышались звуки музыки.

Роща расчищена въ видѣ парка; посреди ея площадка, гдѣ обыкновенно устанавливаются музыканты. Справа небольшой деревянный вокзалъ крытый, крыша стоитъ уже десять лѣтъ и все кажется плотною и чистою. На площадкѣ толпилось все общество Ниборга безъ различія званій и состояній.

Насъ тотчасъ-же представили ниборгскому коменданту,—старику семидесяти шести лѣтъ, но такому еще живому, румяному, здоровому и веселому, что, казалось, онъ даже изъ книгъ не зналъ о существованіи болѣзней, печали и огорченій. Пожимая намъ руки такъ, что пальцы хрустѣли, онъ объявилъ, что нетерпѣливо ждалъ нашего возвращенія, чтобы познакомиться; онъ всегда чувствовалъ особенную любовь и влеченіе къ русскимъ.

— Многіе изъ васъ, господа, удивляются, что мнѣ семьдесятъ шесть лѣтъ и не вѣрятъ этому, продолжалъ онъ самодовольно посмѣиваясь,—но у насъ въ Даніи хорошо живутъ и всѣ здѣсь здоровы! Вотъ я вамъ скажу какое у меня здоровье: я только прошлаго года сшилъ себѣ первое теплое пальто; да, первое пальто! Зимою и лѣтомъ не зналъ я другой одежды, кромѣ обыкновеннаго сюртука! А главное immer lustig, immer lustig! присовокупилъ онъ, заливаясь смѣхомъ какъ-бы въ подтвержденіе словъ своихъ.

Мы еще болѣе удивились, когда увидѣли какъ бѣгалъ этотъ старикашка, какъ онъ пилъ и—особенно ѣлъ!

Ниборгъ даетъ между прочимъ возможность повѣрить, какъ вообще природа старается все уравновѣшивать: если дала она Даніи климатъ, который позволяетъ въ семьдесятъ шесть лѣтъ быть бодрѣе и свѣжѣе, чѣмъ въ сорокъ и даже тридцать на Невскомъ проспектѣ,—взамѣнъ этого, она сильно обдѣлила Данію красотою типа. На этой площадкѣ толпилось по крайней мѣрѣ полторы тысячи мужчинъ и женщинъ,—и положительно, нельзя было указать ни на одно миловидное лицо. У всѣхъ отличные зубы, бѣлая кожа, блистающій румянецъ и при всемъ томъ,—ни одного лица, которое можно-бы назвать красивымъ; лица, не смотря на доброе, привѣтливое выраженіе, представляются какими-то скомканными, грубыми.

Я рѣшительно не понимаю, какъ могло случиться, что между нашими офицерами находились влюбленные. Надо искать причину въ любезности ниборгскихъ дамъ; но съ этой стороны,—вопросъ

дѣлался еще затруднительнѣе; датскія дамы не говорятъ по французски и даже плохо изъясняются по нѣмецки. Въ числѣ нашихъ офицеровъ едва-ли было пятеро говорящихъ по французски и по нѣмецки и ни одного по датски. Рѣшительно непостижимо!

— Танцуютъ здѣсь когда-нибудь въ вокзалѣ? разспрашивали мы новыхъ нашихъ знакомыхъ, въ числѣ которыхъ находился баталіонный командиръ полка, расположеннаго въ Ниборгѣ и окрестностяхъ.

— Какъ-же, очень часто, возразилъ баталіонный командиръ, но сегодня танцовать, къ сожалѣнію невозможно: общество слишкомъ смѣшано и наши дамы не согласятся войти въ вокзалъ.

— Не согласятся! съ запальчивостью воскликнулъ старый комендантъ,—вздоръ! вздоръ! я сейчасъ докажу вамъ противное!.. заключилъ онъ, пускаясь со всѣхъ ногъ къ эстрадѣ, гдѣ сидѣло человѣкъ восемь датскихъ музыкантовъ. Музыканты тотчасъ-же слѣзли съ подмостковъ и пошли въ вокзалъ. Комендантъ, между тѣмъ, просовывался въ толпѣ какъ ядро, убѣдительно приглашалъ всѣхъ танцовать, кричалъ, что самъ пустится въ первой парѣ. Общество дѣйствительно тронулось къ вокзалу.

Тамъ горѣли уже двѣ люстры, составленныя изъ обручей, обвитыхъ зеленью и уснащенныхъ тремя лампами; музыканты сидѣли уже на возвышеніи.

Не прошло десяти минутъ,—и зала вокзала была набита какъ торговая баня. Съ первымъ аккордомъ польки, офицеры подхватили дамъ,—и все запрыгало, къ великому восхищенью маленькаго коменданта, который суетился, кричалъ: geht wohl! и яростно пожималъ руки русскимъ, попадавшимся ему въ толпѣ.

Одинъ изъ нашихъ офицеровъ,—человѣкъ молодой, очень красивый и отличный танцоръ, съ самаго начала бала танцовалъ съ одною и тою-же дамой. Онъ не отставалъ отъ нея ни на шагъ,—и что всего удивительнѣе,—болталъ съ нею безъ умолку; офицеръ, какъ нарочно, ни слова не говорилъ ни по-французски, ни по-нѣмецки.

— „На какомъ-же языкѣ они изъясняются?“ думалъ я: любопытство сильно овладѣло мною; я протискался сквозь толпу и сталъ за ихъ стуломъ.

— Wie gefaellt-sie?.. Отличный корабль?.. nicht wahr! N'est ce pas? Oui! говорилъ офицеръ не умолкая ни на секунду,—Oh, ja, восемьдесятъ четыре пушки!.. Matelots; восемь-

сотъ!.. grand! J'aime danser... Et sie? auch;—n'est ce pas?.. и т. д.

— Ja, yes, повторяла дама ласково улыбаясь.

Оба, казалось, были въ восхищеньи одинъ отъ другого и другъ отъ друга.

Часамъ къ одиннадцати, нашъ добродушный комендантъ замѣтно началъ утихать; возгласы его и восторженныя обращенія къ гостямъ становились рѣже; въ изъявленіяхъ чувствъ прокрадывалось усиліе, натяжка; глаза его слипались; онъ очевидно смотался съ ногъ и шибко уходился.

Мы распрощались и поѣхали съ капитаномъ на корабль.

Дорогою капитанъ поразилъ меня слѣдующимъ извѣстіемъ: въ среду, двадцатаго, ниборгское общество приглашало на обѣдъ все общество „Ретвизана".

— А поѣздка наша въ Копенгагенъ? произнесъ я съ испугомъ,—мы вѣдь согласились воспользоваться этими днями и провести ихъ въ Копенгагенѣ...

— Отказаться отъ обѣда невозможно, возразилъ капитанъ, мы завтра ѣдемъ въ Копенгагенъ, проведемъ тамъ сутки, и вернемся прямо къ обѣду...

Это значило, что въ среду мы никакъ не могли сняться съ якоря; намъ предстояло сверхъ того провести еще нѣсколько лишнихъ дней въ Ниборгѣ: „Ретвизанъ" долженъ былъ отвѣтить обѣдомъ и отплатить ниборгцамъ за ихъ хлѣбъ-соль.

Въ слѣдующее утро, передъ отъѣздомъ въ Копенгагенъ, вышелъ я по обыкновенію прогуляться на палубу и зашелъ на бакъ,—любимое мое мѣсто; бакъ, какъ уже вамъ извѣстно, представляетъ, въ нѣкоторомъ родѣ, матросскій клубъ. Мнѣ хотѣлось узнать, какое впечатлѣніе сдѣлалъ Ниборгъ на нашихъ матросиковъ. Вороновъ сидѣлъ на пушечномъ станкѣ, покуривая изъ такой коротенькой трубочки, что, казалось, чубука совсѣмъ не было.

— Ну что, Вороновъ, какъ Ниборгъ, хорошъ-ли?

— Городишко ничего себѣ, в. б.; водка дешева, жить можно, проговорилъ онъ такимъ тономъ, какъ словно самъ потѣшался надъ своимъ замѣчаніемъ.

— Но какъ же вы здѣсь объясняетесь? ни вы ихъ, ни они васъ не понимаютъ?

— Понимаемъ другъ друга какъ гусь поросенка,—все единственно!

— То-то же и есть! а между тѣмъ, каждый день приходится купить что-нибудь или спросить о чемъ-нибудь... Ну вотъ теперь, хоть бы на счетъ денегъ; какъ сводите вы здѣсь счеты? наши монеты совсѣмъ не схожи съ датскими; мы — и то безпрестанно путаемся...

— Ничего, в. б., возразилъ боцманъ съ увѣренностью, коли что купить надо, или сдачу получить, напишемъ ему мѣломъ сколько взять или получить слѣдуетъ; коли не понимаетъ, возьмешь свою монетку и приставишь къ ихней: пришлось,—ну и ладно; вотъ только гривенниками больно обижаемся; величина одна, а въ цѣнѣ разница, ихній гривенникъ всего двѣ копѣйки мѣдью ходитъ, нашъ тридцать пять; главная причина—у нихъ гривенникъ-то мѣдный, только посеребренный... А въ другомъ,—ничего, в. б.,—народъ обходительный.

Я отправился сообщить свои наблюденія добрѣйшему Ш*, который стоялъ на ютѣ. Въ это время подошелъ къ нему боцманъ Абрамовъ,—типъ совершенно противоположный Воронову. Насколько Вороновъ бирюкъ и недоступны ему никакія чувства, кромѣ любви къ водкѣ и привязанности къ „Ретвизану",—настолько Абрамовъ человѣкъ мягкій, общительный и даже сердечный. Это типъ матроса новаго поколѣнія. Онъ, напримѣръ, страстно влюбленъ въ жену свою и при каждой возможности пишетъ ей длинныя письма, въ которыхъ особенно любитъ ей описывать въ цвѣтистыхъ выраженіяхъ величіе бушующей стихіи, чудеса чужеземныхъ морей и природы.

— Чего тебѣ? спросилъ Ш* тѣмъ строгимъ тономъ, который нѣкоторые начальники по убѣжденію употребляютъ всегда съ подчиненными.

— На берегъ позвольте съѣздить, робко проговорилъ Абрамовъ.

— Нельзя; капитанъ приказалъ отпускать только по пятидесяти человѣкъ въ день!

Абрамовъ отправился, покручивая фуражку между пальцами.

Я сталъ упрашивать Ш* согласиться на просьбу Абрамова и отпустить его.

— Ахъ, что вы за человѣкъ, право! воскликнулъ Ш* съ такимъ чувствомъ, какъ будто я предложилъ ему поджечь Ниборгъ,— вчера и третьяго дня, было отпущено по двѣсти человѣкъ на берегъ, и что-жъ?—изъ нихъ каждый день оставалось сто двадцать

на берегу замертво! должны были какъ барановъ накладывать ихъ въ шлюпки и просовывать въ нижніе борты какъ поросятъ! Нѣтъ, нѣтъ, нейдетъ, нейдетъ! внезапно подхватилъ онъ, принимаясь расхаживать и судорожно теребить несчастную свою фуражку,—такъ невозможно! Все пойдетъ прахомъ! Посмотрите,—я слягу съ такимъ порядкомъ; пріѣхавъ изъ Копенгагена, вы найдете меня въ постели; я слягу, непремѣнно слягу!..

Передъ отъѣздомъ за-границу, бывалые люди постоянно твердили мнѣ одно и то-же:—„Не увлекайтесь съ самаго начала; поберегите ваши восторги для того, что впереди ожидаетъ; въ противномъ случаѣ,—вы истратите весь запасъ энтузіазма и ничего не останется къ концу вояжа;—не останется можетъ быть на то именно, что̀ въ самомъ дѣлѣ заслуживать будетъ энтузіазма..!“

Отдавая полную справедливость разсудительности бывалыхъ людей, прислушиваясь къ ихъ рѣчамъ съ почтительнымъ вниманіемъ и даже,—сохраняя при этомъ на лицѣ своемъ знаки нѣкотораго умиленія,— я въ то-же время разсуждалъ самъ съ собою такимъ образомъ:—„стократъ блаженны разсудительные;—обрящутъ они всѣ блага земныя съ присовокупленіемъ спокойствія! Блаженны всѣ тѣ, которые по произволу могутъ владѣть своими чувствами, которымъ стоитъ сказать себѣ: „stop-машина!“ чтобы остановиться во время; которымъ стоитъ произнести внутренно:—„не увлекайся до болѣе удобнаго случая!“—чтобы привести все это въ исполненіе такъ-же легко, какъ еслибъ дѣло шло о томъ, чтобы сказать себѣ:—„не завтракай сегодня; тебя ждетъ хорошій обѣдъ; позавтракавъ,—ты аппетитъ испортишь!“

Боже, еслибъ я былъ человѣкомъ разсудительнымъ и постоянно управляло-бы мною благоразуміе!..

Украшенный знаками отличія,—даже животомъ по всей вѣроятности,—я засѣдалъ бы теперь въ какой нибудь канцеляріи или департаментѣ... Увы!.. Увы!.. Но не въ томъ дѣло; я хотѣлъ сказать только, что сдѣлавъ два три путешествія въ одну сторону и отправляясь туда же въ четвертый разъ,—можно конечно до нѣкоторой степени управлять собою; знаешь тогда, что̀ ждетъ впереди, заранѣе составляешь въ умѣ программу, ждешь знакомыхъ, особенно милыхъ мѣстъ и бережешь для нихъ свой энтузіазмъ. Но тотъ, кто путешествуя въ первый разъ, начинаетъ уже съ того, что бу-

детъ руководствоваться соображеніями въ отношеніи къ выгодному распредѣленію своихъ впечатлѣній,—тотъ слишкомъ уже старъ для путешествій и лучше было-бы ему оставаться въ своей Заманиловкѣ.

Не знаю, что будетъ дальше, что ждетъ меня въ Италіи, Испаніи, Греціи; я не видалъ ихъ. До сихъ поръ, по крайней мѣрѣ, я ничего не знаю лучше Копенгагена и рѣшительно не вижу причины приносить его въ жертву будущему.

Уже одна дорога изъ Корсёра въ Копенгагенъ,—прелесть! Прелесть здѣсь не столько въ ландшафтахъ, сколько въ общемъ впечатлѣніи, которое оставляетъ страна. Если хотите даже, пейзажъ очень обыкновенный; сѣрое небо показывало его намъ, въ добавокъ,—въ самомъ непривлекательномъ свѣтѣ. При всемъ томъ, нѣтъ возможности оторваться отъ оконъ вагона.

Что за поля, что за луга и что за жизнь на этихъ лугахъ и поляхъ, еслибъ вы только видѣли! Во многихъ мѣстахъ хлѣбъ былъ уже снятъ и убранъ; но и тутъ все смотритъ такъ-же чисто, какъ на пашняхъ, только что воздѣланныхъ подъ озимь. Жнивье, пройденное вездѣ граблями, уходило ровною, тучною пеленою; нигдѣ не было слѣда неряшливости, запустѣнія, каждая десятина обнесена кругомъ канавой, куда проведена вода; валъ густо обсаженъ кустарниками и деревьями,—преимущественно букомъ и рябиной, красныя гроздья которой весело пестрѣютъ въ потемнѣвшей осенней зелени; справа и слѣва, поминутно мелькали изъ-за садиковъ каменные крестьянскіе дома—бѣлые какъ молоко и крытые черепицей. Часто попадался рабочій народъ: всѣ были въ толстыхъ суконныхъ курткахъ, надѣтыхъ на теплые шерстяные камзолы; останавливаясь на станціяхъ, мы подходили къ нимъ ближе: всѣ смотрѣли бодро, весело, здорово какъ-то. И какъ не быть имъ довольными! Въ чужѣ забирала зависть глядя на ихъ лошадей, такихъ-же здоровыхъ, бодрыхъ и выхоленныхъ, какъ сами хозяева; на протяженіи трехъ часовъ, мы не встрѣтили ни одной заморенной коровы, ни одной клячи, ни одной веревочной постромки, ни одного земледѣльческаго орудія, которое бы не было хорошо, дѣльно сдѣлано. Поля по всѣмъ направленіямъ перерѣзываются проселками; не говоря уже о шоссе, которымъ соединены всѣ города и даже большія села Даніи,—самые эти проселки убиты вездѣ щебенкой и отличаются отъ большихъ дорогъ тѣмъ только, что послѣднія шире. Раза два-три мы проѣзжали лѣсомъ; мѣстами деревья рѣдѣли и яркій отблескъ

заходящаго солнца, которое глядѣло между тучами,—освѣщалъ внутренность лѣса.

— Да это парки! говорилъ я В. Ѳ. Т*, — посмотрите: нѣтъ нигдѣ валяющагося или подрубленнаго дерева, висящей вѣтви, не видать даже валежника и сухихъ вѣтвей на деревьяхъ; все расчищено какъ въ паркахъ!

— Здѣсь всѣ лѣса такъ содержатся; вы здѣсь другого лѣса не увидите, возразилъ В. Ѳ., который много разъ былъ въ Даніи и, какъ страстный охотникъ, отлично знакомъ былъ съ ея лѣсами.

А между-тѣмъ, ночь заслоняла пейзажъ и вскорѣ, сквозь совершенно уже сгустѣвшій сумракъ, сверкнули вдали огни Копенгагена.

На станціи, точно такъ-же какъ въ Гамбургѣ и даже въ Килѣ,— ожидаютъ толпа носильщиковъ и отличныя удобныя коляски, которыя нанимаются здѣсь по очень дешевой таксѣ; онѣ замѣняютъ наши калиберы. Мы проѣхали длинный форштадтъ, буквально залитый газомъ; при блескѣ освѣщенія, мостовая лоснилась как паркетъ; мы катили какъ по маслу, не смотря на то, что коляска была нагружена чемоданами, сидѣло въ ней четыре человѣка, считая кучера, и везла ее одна лошадь.

При въѣздѣ въ городъ, на площади, возвышается монументъ.

— Что это за памятникъ? спросили мы у кучера.

— Памятникъ, который поставилъ народъ по складчинѣ, въ память своего освобожденія.

Не удивляйтесь такимъ разсужденіямъ кучера. Нѣтъ страны въ цѣломъ свѣтѣ, гдѣ бы общее народное просвѣщеніе было такъ велико какъ въ Даніи; въ этомъ случаѣ, ей уступаютъ Саксонія и Англія. Въ Даніи девять грамотныхъ противъ одного безграмотнаго, такой пропорціи грамотности не существуетъ ни въ одномъ европейскомъ государствѣ.

Памятникъ воздвигнутъ въ 1788 году народомъ, въ благодарность за освобожденіе и права данныя ему королемъ. Мраморный пьедесталъ украшенъ обелискомъ, по угламъ, мраморныя аллегорическія статуи вѣрности, земледѣлія, храбрости и любви къ отечеству.

Мы согласились встать завтра чѣмъ свѣтъ, и потому прямо отправились на ночлегъ въ гостинницу.

Начну свое описаніе съ откровеннаго признанія, что чувствую большую слабость къ Копенгагену и вообще къ Даніи.

Слабость мою вы впрочемъ раздѣлите, я надѣюсь: она основы-

вается на нравственной силѣ этого маленькаго народа, который при самыхъ скудныхъ данныхъ,—умѣлъ сдѣлать такъ много и для себя лично, и для страны своей.

Вотъ вамъ факты:

До начала 12-го столѣтія мѣсто, гдѣ теперь Копенгагенъ, было неизвѣстно; тутъ находилась ничтожная рыбачья деревушка. Въ 1443 году деревушка успѣла разростись въ городъ и сдѣлалась резиденціею королей. Въ 1795 г. пожаръ истребилъ въ Копенгагенѣ болѣе 940 домовъ; въ 1807 г.—во время бомбардированія (2—5 сентября), — 400 другихъ домовъ сгорѣли совершенно и 2000 были почти разрушены; рѣдкій городъ былъ жертвою такихъ несчастій, какъ Копенгагенъ; между тѣмъ, — вотъ чѣмъ сталъ онъ теперь: изъ гавани его ежегодно выходитъ болѣе 10,000 судовъ, которыя отправляются во всѣ части свѣта; городъ имѣетъ 382 собственныхъ торговыхъ судна и множество пароходовъ, которые ведутъ постоянное сообщеніе съ Любекомъ, Килемъ, Мекленбургомъ и другими частями сѣверной Германіи. Городъ обстроился множествомъ превосходнѣйшихъ зданій серьезнаго архитектурнаго достоинства; тамъ существуютъ: академія наукъ, академія художествъ, институтъ иностранныхъ языковъ, академія для изученія исторіи сѣвера, морской институтъ, богатѣйшая публичная библіотека, университетъ, политехническая школа, четыре института для образованія дѣтей простого класса, замѣчательный пріютъ для старыхъ ремесленниковъ, воздвигнутый по національной подпискѣ. Великолѣпное газовое освѣщеніе Копенгагена, мостовая, набережная, благоустройство, порядокъ, торговля, богатство художественное,—все ставитъ его въ рядъ съ первокласными столицами Европы. Вѣнцомъ всему, что мы сказали, служитъ устройство администраціи какъ гражданской, такъ и военной во всей Даніи—и свободное книгопечатаніе.

Чтобы достичь такой высокой степени прогресса, какъ въ отношеніи государственнаго благоустройства, такъ и въ отношеніи личнаго права и богатства,—необходимо, согласитесь, чтобы въ націи было присутствіе большой нравственной силы. Впрочемъ и то сказать надо: тайна такихъ результатовъ и быстрота прогресса заключается въ тѣхъ живительныхъ сѣменахъ, которыя давно еще брошены были въ почву Даніи. Еще въ 1478 году въ Копенгагенѣ положено основаніе университета, въ 1788 году во всей Даніи произошло освобожденіе народа отъ крѣпостного состоянія и даны

ему особыя права; въ 1831 году, король Фридрихъ VI дозволилъ свободу книгопечатанія.

Конечно и такія сѣмена не принесли бы теперешняго плода, еслибъ почва не была плодородна.

Всѣ эти обстоятельства, при плодородіи почвы датской націи быстро просвѣтили страну, пробудили и въ народѣ чувство человѣческое, дали ему сознательное чувство національной гордости, которое всегда толкаетъ впередъ націю и творитъ вокругъ себя великое дѣло.

Съ перваго взгляда, Копенгагенъ представляетъ характеръ строгаго какого-то, протестантскаго города. Такой характеръ идетъ впрочемъ столицѣ сѣверной страны. Сѣрый цвѣтъ преобладаетъ надъ другими; дома узки, очень высоки, съ большими четырехугольными окнами, на манеръ голландскихъ, съ высокими, черепичными крышами; улицы тѣсны; нѣсколько сумрачный характеръ ихъ смягчается впрочемъ живописными панорамами, которыя часто открываются при поворотѣ изъ улицы на свѣтлую площадь, обставленную изящными архитектурными зданіями, съ площади—на каналъ, запруженный судами; смягчается также эта суровость пестротою толпы и общимъ движеніемъ города.

Копенгагенъ поражаетъ своимъ богатствомъ,—не тѣмъ внѣшнимъ богатствомъ, которое ослѣпляетъ глаза — но настоящимъ, заключающимся въ удобствахъ, благоустройствѣ и томъ разумномъ комфортѣ, который составляетъ необходимую потребность истинно просвѣщеннаго народа и служитъ выраженіемъ высокой степени его цивилизаціи.

Степень цивилизаціи выражается здѣсь также присутствіемъ повсюду художества. Служитъ ли здѣсь художество выраженіемъ внутренней потребности національнаго вкуса, или явилось оно здѣсь только какъ результатъ высокой степени просвѣщенія, — на это трудно отвѣтить. Дѣло въ томъ, что Копенгагенъ, по богатству заключающихся въ немъ изящныхъ произведеній, памятниковъ, архитектурныхъ замѣчательныхъ зданій,—можетъ опять таки стать на ряду съ первокласными столицами Европы.

Удивительнѣе всего, что художественное богатство Копенгагена создано почти однимъ лицомъ;—лицо это—Торвальдсенъ. Какъ ни великъ Торвальдсенъ, что могъ бы онъ однакожъ сдѣлать, еслибъ сама нація не раздѣляла его стремленій и постоянно не подавала бы ему руки! Нація создала академію; въ академіи этой образо-

вался скульпторъ; нація на свой счетъ отправила его въ Италію. Торвальдсенъ дѣлается первымъ скульпторомъ нашего времени. Онъ умираетъ; по завѣщанію, оставляетъ онъ городу своему все свое состояніе. Городъ объявляетъ подписку, и на деньги цѣлой націи,— воздвигается музей Торвальдсена; въ музеѣ помѣщены всѣ произведенія скульптора; онъ служитъ въ то-же время мавзолеемъ художнику. Не будь у датчанъ сильнаго національнаго чувства, не имѣй они любви къ искусству, они конечно не стали бы хлопотать и жертвовать огромныхъ суммъ на тѣ постройки и памятники, которые, при жизни своей, предлагалъ Торвальдсенъ, — имѣвшій постоянно въ виду украшеніе родного своего города.

Удивительно, какъ иногда одна геніальная частная личность можетъ наполнить собою цѣлый огромный городъ. Гуляя по Копенгагену, вы на всемъ чувствуете присутствіе Торвальдсена. Онъ сдѣлалъ для Копенгагена то-же, что дѣлаетъ великій мастеръ, прикасаясь къ недоконченной картинѣ любимаго ученика: тамъ выгнулъ онъ сухую линію, здѣсь срѣзалъ темный уголъ и положилъ вмѣсто него свѣтлый лучезарный блескъ, тутъ далъ легкій воздушный тонъ тяжелой массѣ, въ другомъ мѣстѣ бросилъ тѣнь, которая контрастомъ своимъ придала легкость всему окружающему.

Духъ Рафаэля въ теперешнемъ Римѣ далеко не такъ сильно чувствуется, какъ духъ Торвальдсена въ Копенгагенѣ; въ Римѣ отъ Рафаэля остались только: Мадона Фолиньо, Преображеніе и фрески Ватикана и Фарнезина; весь геній Торвальдсена почилъ на Копенгагенѣ; всѣ церкви, памятники, замѣчательныя частныя зданія, дворцы,—наполнены его произведеніями; посуда и даже самыя грубыя чашки и плошки, которыя продаются на улицахъ,—испещрены абрисами его композицій; дѣтскія игрушки напоминаютъ фигуры Торвальдсена; на всѣхъ площадяхъ продаются гипсовыя медали съ его портретомъ и слѣпками съ его барельефовъ. Вы покупаете глиняную трубку,—и на трубкѣ встрѣчаете копію съ головы которой нибудь изъ статуй національнаго скульптора. Во всемъ этомъ видна нѣжная любовь къ своему, проглядываетъ сильное національное чувство, что-то милое, трогательное.

Какъ я вамъ сказывалъ, мы условились наканунѣ подняться какъ можно раньше. Намъ можно было располагать только одними сутками. Прежде чѣмъ осматривать городъ, предстояло еще заняться дѣломъ совсѣмъ другого рода. Барону Т* и М. В. К* нужно было экипироваться съ головы до ногъ по европейски. Я сопровож-

далъ ихъ въ качествѣ товарища и совѣтчика. Все это сдѣлалось гораздо скорѣе, чѣмъ мы ожидали.

Часовъ въ десять, три джентльмена, изъ коихъ два были одѣты съ иголочки,—явились на копенгагенскомъ тротуарѣ съ сигарою въ зубахъ (въ Копенгагенѣ, само собою разумѣется, всѣ курятъ на улицахъ). Лон-лакей, взятый нами изъ гостинницы, отправился за коляской. Мы поспѣшили въ ближайшую таверну, потому что еще не завтракали.

Таверны здѣсь также хороши, какъ въ Гамбургѣ. Вы входите въ большую комнату, уставленную столами: въ углу возвышеніе уснащенное всѣмъ, что можетъ желать самый прихотливый желудокъ: кучи свѣжихъ омаровъ, ростбифъ, груды плодовъ и жареной дичи, салаты всѣхъ возможныхъ свойствъ, устрицы, сыры, и т. д. За первой комнатой нѣсколько другихъ меньшаго размѣра; тутъ вокругъ стѣнъ идутъ диваны, а передъ диванами бѣлые мраморные столики.

За отличный завтракъ мы заплатили что-то баснословно дешево.

Лон-лакей возвѣстилъ, что карета готова.

Мы заранѣе составили себѣ программу, въ какомъ порядкѣ что осматривать и вообще,— какъ провести день.

Церковь Богоматери была по пути и мы прежде всего туда поѣхали.

Отстроенная въ 1829 году датскимъ архитекторомъ Гансеномъ, церковь эта, по находящимся въ ней скульптурнымъ сокровищамъ, заслуживаетъ больше вниманія, чѣмъ многіе давно прославленные храмы Европы. Это та самая церковь, гдѣ помѣщены двѣнадцать апостоловъ Торвальдсена. Стиль зданія—римско-греческій; не выключая деталей и самыхъ мелкихъ орнаментовъ,—все выполнено изъ сѣро-желтаго камня, что придаетъ уже ей съ перваго взгляда серьезный, монументальный характеръ. На фронтонѣ поддержанномъ шестью дорическими колоннами,—изображена проповѣдь Іоанна. Композиція изъ шестнадцати фигуръ принадлежитъ Торвальдсену; исполнителями были: Бьенеме (Bienaimé), Германъ, Карлези, Пачетти, Марчетти и Танерани,—словомъ, первѣйшіе европейскіе скульпторы; всѣ они ученики Торвальдсена. Надъ главнымъ входомъ, во всю длину перистиля,—идетъ барельефъ: входъ Христа въ Іерусалимъ; онъ работы Торвальдсена; тутъ же ниши ожидающія пророковъ; при самомъ входѣ будутъ поставлены въ скоромъ времени статуи Лютера и Меланхтона.

Внутренность церкви имѣетъ видъ длиннаго параллелограма. Она въ два яруса. Нижняя часть состоитъ изъ гладкихъ стѣнъ, украшенныхъ апостолами, по шести съ каждой стороны. Свѣтъ падаетъ сверху изъ средняго свода и проходитъ также съ боковъ между колоннадой іоническаго ордена, которая украшаетъ обѣ стороны второго яруса и поддерживаетъ верхнія боковыя арки. Лучи свѣта, проходящіе между колоннами, соединяющіеся со свѣтомъ, падающимъ изъ свода, прекрасно освѣщаютъ статуи апостоловъ. Въ глубинѣ церкви нѣсколько мраморныхъ ступеней; онѣ ведутъ прямо къ изображенію Спасителя,—тоже работы Торвальдсена.

Мы пошли прямо къ ней и съ легкомысліемъ русскихъ въ дѣлѣ строгой художественной оцѣнки, принялись тотчасъ-же отыскивать ея недостатки, прежде чѣмъ успѣли хорошенько всмотрѣться въ достоинства. Фигура показалась намъ и тяжелою и матеріальною.

— Гг. что же мы дѣлаемъ? сказалъ баронъ Т*,—мы стали чуть-ли не лицомъ къ лицу со статуей,—отойдемте дальше!..

Т* никогда не изучалъ искусства,—но онъ глубоко, сильно его чувствуетъ; оказалось, что инстинктъ и внутреннее чувство судятъ иногда вѣрнѣе теоретическаго изученія.

Мы поняли свою ошибку какъ только послушали Т*. Торвальдсенъ очевидно не имѣлъ здѣсь цѣлью создать тонкую, щегольскую галлерейную фигуру; его Христосъ назначенъ именно для извѣстнаго мѣста; все въ этомъ замѣчательномъ произведеніи нарочно такъ разсчитано, чтобы оно вязалось съ окружающимъ и дополняло собою общее впечатлѣніе храма. По мѣрѣ того, какъ отходишь и приближаешься къ точкѣ зрѣнія, на которую разсчитывалъ художникъ,—линіи статуи умягчаются. рѣзкіе углы сглаживаются, матеріализмъ формъ пропадаетъ и вся фигура принимаетъ величавый, идеально-возвышенный характеръ. Христосъ представленъ какъ-бы кротко, нѣжно говорящій съ учениками; эта статуя, по впечатлѣнію своему,—лучшее изъ всѣхъ произведеній, находящихся въ церкви.

Грѣшно было-бы ничего не сказать о статуѣ: ангелъ крещенія, поставленной почти у ногъ Спасителя; ангелъ на колѣняхъ; въ рукахъ его раковина со святою водою. Трудно представить себѣ что-нибудь поэтичнѣе и граціознѣе; по изяществу отдѣлки и оконченности, я ничего не видалъ совершеннѣе; это не шлифованная, сладенькая,—хотя очень милая въ своемъ родѣ,—оконченность Кановы и многихъ другихъ современныхъ скульпторовъ. Въ мраморахъ Торвальдсена вы никогда не увидите той копотливости, той

суховатой мелочности, которыя такъ вообще свойственны произведеніямъ нѣмецкихъ школъ; у него всегда видѣнъ рѣзецъ; а между тѣмъ чувствуется и безконечная тонина кожи, и мягкость тѣла и даже самый легкій пушекъ, — какъ напримѣръ на крыльяхъ у ангела крещенія. Къ необыкновенной чистотѣ и благородству стиля, Торвальдсенъ всегда присоединяетъ еще внутреннее содержаніе, силу, индивидуальность,—придающія его произведеніямъ очарованіе невыразимое; мало того, что любуешься его статуями, но глядя на нихъ, внутренно и сладко таешь какъ-то.

Кромѣ этихъ четырнадцати большихъ мраморныхъ статуй, въ церкви находится еще фризъ: шествіе Христа на Голгофу, два мраморныхъ барельефа: тайна причащенія и крещенія и два барельефа надъ кружками для бѣдныхъ; одинъ представляетъ ангела-хранителя, ведущаго ребенка, другой: женщину съ младенцемъ на рукахъ.

Однихъ этихъ работъ уже слишкомъ достаточно, кажется, чтобы наполнить цѣлую жизнь дѣятельнаго художника. Но произведенія въ церкви составляютъ едва замѣтную часть всей массы произведеній Торвальдсена.

Надо идти въ музей, носящій его имя, чтобы вполнѣ обнять громадную силу этого титана современной скульптуры.

Музей недалеко отъ церкви.

Это огромное, нѣсколько продолговатое зданіе въ древнемъ архаическомъ греческомъ вкусѣ. Наружныя стѣны украшены фресками въ три цвѣта; онѣ представляютъ пріѣздъ Торвальдсена на родину, выгрузку его работъ изъ судовъ, перенесеніе ихъ на мѣсто, и т. д. Мы поднялись на широкое крыльцо съ пятью монументальными дверями; средняя ведетъ на главную парадную лѣстницу.

Внутреннее расположеніе комнатъ, украшеніе стѣнъ и плафоновъ почти то-же, что въ нашемъ эрмитажѣ. Потолки идутъ сводами и расписаны художниками датской академіи на манеръ помпейской и во вкусѣ титовыхъ бань. Внутри зданія дворикъ, обсаженый растеніями; посреди его возвышеніе, убранное цвѣтами:—это могила, въ которой хранятся бренные останки великаго скульптора.

Я думаю, болѣе грандіознаго, болѣе славнаго памятника,—не имѣлъ еще до сихъ поръ ни одинъ человѣкъ.

Торвальдсена окружаютъ болѣе трехсотъ произведеній имъ самимъ созданныхъ; большая часть этихъ произведеній заказана его соотечественниками и правительствомъ Даніи,—знакъ, какъ умѣли

цѣнить его еще при жизни, — и къ довершенію всего, -- зданіе, т. е. памятникъ, —сооруженъ на деньги, собранныя по подпискѣ цѣлой націей!

Но вѣроятно-ли, чтобы одинъ человѣкъ могъ исполнить болѣе трехсотъ произведеній?

Такой вопросъ очень основательно можетъ встрѣтиться со стороны тѣхъ изъ нашихъ соотечественниковъ, которые знакомы только съ дѣятельностію нашихъ современныхъ художниковъ. Причину огромной дѣятельности Торвальсена надо искать прежде всего въ его геніи; геній всегда плодовитъ; въ геніальномъ человѣкѣ всегда присутствуетъ страсть къ предмету его дѣятельности; въ немъ никогда, даже подъ старость, не угасаетъ священный огонь, никогда не слабѣетъ та внутренняя творческая сила, которая постоянно ведетъ его выше и выше на пути къ совершенствованію; такія личности не удовлетворяются первыми успѣхами, не успокоиваются послѣ первыхъ опытовъ, не засыпаютъ на первомъ ученическомъ лавровомъ листочкѣ.

Поощреніе соотечественниковъ и датскаго правительства, конечно, поддерживало скульптора, поддерживало его и нравственно и матеріально: но нельзя также приписывать одному этому поощренію неусыпную его дѣятельность; съ первыхъ-же произведеній въ Италіи,—Торвальдсенъ обратилъ на себя всеобщее вниманіе; онъ не имѣлъ бы свободнаго дня, еслибы даже не работалъ вовсе для Даніи. Нѣтъ значительной галлереи, гдѣ бы не было его произведенія: множество церквей, — даже Петръ въ Римѣ, — щеголяютъ его статуями.

Для людей, сколько нибудь знакомыхъ съ законами искусства, плодовитость Торвальдсена ни мало не удивительна. Если ни одинъ скульпторъ XV и XVI вѣка, въ самую дѣятельную и блистательную эпоху процвѣтанія искусства, не произвелъ столько статуй, сколько Торвальдсенъ, то это потому только, что тогда не существовало раздѣленія труда, въ той степени по крайней мѣрѣ, какъ теперь существуетъ. Художникъ не довольствовался вылѣпить статую изъ глины, въ чемъ собственно и заключается главное дѣло, потому что эта вылѣпка изъ глины,—и есть самое созданіе; на немъ лежалъ также весь матеріальный трудъ; онъ самъ лично высѣкалъ статую изъ мрамора. Въ наше время, трудъ художника значительно упростился; рѣзецъ и молотокъ для него вещи второстепенныя; ими управляютъ искусные работники; и если худож-

никъ, какъ напримѣръ Торвальдсенъ, беретъ рѣзецъ, такъ для того только, чтобы окончательно пройти статую, дать ей тѣльность, жизнь, и положить на нее печать своей индивидуальности,—безъ чего статуя, какъ бы ни была хорошо сочинена, останется все-таки холоднымъ фабричнымъ произведеніемъ,—какъ напримѣръ у Шлезингера.

Статуи Торвальдсена занимаютъ двадцать одну комнату; тѣ изъ нихъ, которыхъ оригиналы не находятся въ Копенгагенѣ, замѣнены превосходными гипсовыми слѣпками; онѣ расположены въ хронологическомъ порядкѣ, по времени какъ выходили изъ мастерской.

Въ первой комнатѣ меня прежде всего поразилъ надгробный памятникъ Пію VII (оригиналъ въ церкви Петра въ Римѣ). Папа сидитъ въ креслахъ; справа и слѣва двѣ аллегорическія фигуры: премудрость небесная и божественная сила; внизу два геніи поддерживаютъ знаки папскаго достоинства. Я такъ и ахнулъ отъ удивленія.

Такъ вотъ наконецъ, эти могущественныя, громадно-грандіозныя произведенія скульптуры, — которыми я до сихъ поръ любовался только по эстампамъ.

Баронъ Т* и М. В. К* ахали между тѣмъ съ своей стороны.

Одинъ стоялъ передъ оригиналомъ знаменитой Гебы. Воздушная, наивная, вся блистающая свѣжестью и невинностью, богиня юности поднялась на воздухъ и только ножкой одной прикасается еще къ олимпійскому облаку; сквозь легкія ткани, ее покрывающія и откинутыя назадъ движеніемъ полета,—какъ бы просвѣчиваютъ нѣжные ея члены; съ граціею невыразимою подняла она ручку съ кубкомъ. Здѣсь мраморъ исчезаетъ совершенно: передъ вами, легкое, едва уловимое видѣніе безбоязненно, смѣло отдающееся воздуху, который сейчасъ унесетъ ее...

Другой восхищался Венерой. Богиня изображена въ минуту торжества своего надъ Юноной и Минервой; она только что приняла отъ Париса яблоко.

Художникъ очевидно задалъ здѣсь себѣ новую задачу. Онъ не хотѣлъ ограничиться въ своей статуѣ красотою физической и представить типъ чувственности: страсть доступна его Венерѣ столько же ,сколько и любовь; она выражается какъ символъ тѣхъ нѣжныхъ сердечныхъ мечтаній, той пылкой, но затаенной душевной страсти, которыя могутъ только принадлежать женщинѣ современнаго развитія.

Но пора остановиться; продолжая такимъ образомъ, мы бы никогда не кончили. И наконецъ, грѣхъ говорить было бы на лету о произведеніяхъ Торвальдсена. Скажемъ только, что въ музеѣ его, — 59 статуй, 73 бюста, 144 берельефа и десять фризъ большого размѣра. Второй этажъ зданія вмѣщаетъ эскизы великаго скульптора, работы его юности, первые опыты, коллекцію камней, древнихъ мраморовъ, этрурскихъ вазъ, эстамповъ, книгъ, картинъ, — все, что собрано Торвальдсеномъ и завѣщано имъ Даніи. По завѣщанію оставилъ онъ также значительную сумму денегъ на поддержку художниковъ въ отечествѣ.

Не вправѣ ли Данія гордиться художникомъ своимъ столько же, сколько гордится она высокою личностью своего соотечественника! Въ исторіи Даніи нѣтъ лица, которое прославило ее столько, сколько прославилъ Торвальдсенъ. Произнесите въ какой угодно части свѣта имя Торвальдсена, —вамъ скажутъ: — „А, это знаменитый датчанинъ!“ —и при этомъ, вспомнятъ и Данію и Копенгагенъ. Скажите, что вы ѣдете въ Данію, —вамъ скажутъ: — „вы тамъ увидите произведенія славнаго Торвальдсена!“ Имя его неразрывно связано съ именемъ его отечества. Подобно тому какъ имена Гомера, Фидія, Апеллеса и другихъ знаменитыхъ художниковъ Греціи пережили имена вождей, пережили ученія, пережили узаконенія и самую исторію, — слава Торвальдсена переживетъ не только все существующее теперь въ Даніи, — но, по всей вѣроятности, и самое воспоминаніе о ней.

Этотъ Копенгагенъ такой впрочемъ городъ, въ которомъ, даже не любя искусства, — никакъ отъ него не отдѣлаешься. Если Мюнхенъ слыветъ Аѳинами Германіи, Копенгагенъ, по всей справедливости, долженъ быть названъ Аѳинами сѣвера. Ну какъ пропустить напримѣръ Христіансбургскій дворецъ, этотъ художественный пантеонъ, вмѣщающій въ себѣ произведенія почти всѣхъ художниковъ Даніи? Кромѣ того, тамъ отличная картинная галлерея, коллекціи памятниковъ древности, — особенно сѣверныхъ скандинавскихъ (числомъ болѣе десяти тысячъ), собраніе рѣдкостей всякаго рода, эстамповъ, книгъ, медалей. Какъ не сказать слова о церкви св. Петра, которая тоже для извѣстнаго скульптора Видевельта, что̀ церковь Богоматери для Торвальдсена. Академія художествъ съ ея національной картинной галлереей? а дворцы: Фредериксбургъ и Фреденсбургъ, — наполненные художественными сокровищами, — особенно послѣдній.

Но stop! stop! — Пора кончить! искусство и художества не

составляютъ въ настоящемъ случаѣ главной нашей цѣли; говорить о нихъ мы можемъ изрѣдка; и то въ углахъ между строчками. Цѣль нашихъ записокъ рисовать корабельную жизнь, схватывать общія черты странъ, мимо которыхъ проходимъ, наблюдать обычаи чужеземныхъ береговъ, и какъ я уже вамъ сказывалъ, стараться по возможности, вести параллель между этими обычаями и обычаями нашего родного берега. Основываясь на этомъ, не могу не обратить вашего вниманія на одно зданіе Копенгагена; зданіе само по себѣ очень красиво и архитектурно. Мы невольно остановились и спросили, что тутъ такое.

— Публичная паровая прачешная, отвѣчали намъ туземцы такъ же спокойно, какъ еслибъ дѣло шло о самой привычной, обыкновенной вещи.

Одинъ изъ извѣстныхъ политико-экономовъ сказалъ: мясная лавка въ деревнѣ служитъ высшимъ выраженіемъ благосостоянія и развитія ея жителей. Не справедливо ли замѣтить, что паровая публичная прачешная съ успѣхомъ можетъ также служить доказательствомъ благоустройства города и выражать стремленіе его обывателей къ полезнымъ учрежденіямъ. Такія прачешныя существуютъ впрочемъ во многихъ городахъ Европы, даже въ Гамбургѣ. Вотъ ихъ устройство: вы абонируетесь на мѣсяцъ, на годъ, и получаете билетъ за номеромъ; вашему номеру отвѣчаетъ номеръ надъ мѣстомъ, куда отправляете вы грязное бѣлье; по прошествіи самаго короткаго срока, бѣлье готово. Стирка посредствомъ пара дѣлаетъ бѣлье чище и не такъ портитъ его, какъ обыкновенная стирка руками; сверхъ того, бѣлье обходится несравненно дешевле какъ цѣною, такъ и тѣмъ еще, что тутъ никогда ничего не пропадаетъ. Публичныя прачешныя учреждены здѣсь обществомъ, какъ и все, что существуетъ хорошаго и полезнаго въ Копенгагенѣ. Акціи копенгагенской прачешной приносятъ, говорятъ, своимъ акціонерамъ очень хорошій дивидендъ.

Тотъ же благопріятный успѣхъ, безъ сомнѣнія, ожидаетъ въ Петербургѣ нашихъ акціонеровъ и учредителей великолѣпнаго зимняго сада, который, какъ говорили передъ отъѣздомъ нашимъ, въ скоромъ времени украситъ нашу столицу. Зимній публичный садъ! Этого только недоставало для полноты петербургскаго великолѣпія!

Не знаю почему, но стоя передъ этой публичной прачешной Копенгагена и переносясь въ то же время къ волшебному петербургскому зимнему саду, невольно приходили на умъ наши купчихи,

щеголяющія въ платьяхъ изъ moire antique, тогда какъ юбки у нихъ не мыты и башмаки стоптаны; приходили также, неизвѣстно почему, на умъ, тѣ милые типы нашего отечества, которые готовы каждую недѣлю тратить среднимъ числомъ 200 руб. на шампанское, и среднимъ же числомъ,—не истратятъ въ годъ пяти копѣекъ на зубной порошокъ и зубную щетку.

Намъ оставалось провести въ Копенгагенѣ одинъ вечеръ. Послѣ обѣда, который происходилъ въ девять часовъ (вы видите, мы не теряли время), рѣшено было съ общаго согласія, отправиться въ Тиволи. Тиволи—увеселительное мѣсто Копенгагена, то-же что минеральныя воды въ Петербургѣ. Тиволи находится между городомъ и форштатомъ. Страшно избалованные чародѣемъ Излеромъ и его минеральными водами, мы, признаться, ѣхали съ нѣкоторымъ предубѣжденіемъ; афиша не возвѣщала ни „Венеціянскаго карнавала съ плавающими гондолами“, ни „Индійско-Сирійскаго праздника, украшеннаго пагодами, искусственными кактусами, и слонами при бенгальскомъ освѣщеніи“.

Мы были сильно однакожъ обмануты въ нашихъ ожиданіяхъ.

Садъ Тиволи, по меньшей мѣрѣ, въ десять разъ больше сада минеральныхъ водъ. Уже съ перваго взгляда насъ поразили громадность деревъ, многочисленность толпы, блескъ газоваго освѣщенія; всѣ фонари отлиты изъ чугуна и имѣютъ монументальный видъ нашихъ фонарей на новомъ мосту черезъ Неву. Въ отдаленіи, сквозь зелень, сіяло сотнями огней какое-то фантастическое зданіе, откуда неслись пѣніе и музыка.

— Это концертная зала! подсказалъ баронъ Т*, который не въ первый разъ былъ въ Копенгагенѣ.

Концертная зала—цѣлое строеніе, легкое, совершенно прозрачное и выстроенное изъ одного стекла, скрѣпленнаго едва замѣтнымъ чугуннымъ каркасомъ, на манеръ кристальнаго дворца. Оно выстроено самымъ знаменитымъ датскимъ архитекторомъ Карстенсеномъ. Тамъ постоянно играетъ лучшій оркестръ и поютъ пріѣзжіе пѣвцы и пѣвицы.

Нѣтъ возможности исчислить всѣхъ затѣй и увеселеній Тиволи. Кончился концертъ,—раздается увертюра передъ театромъ и начинается пантомима, конецъ пантомимы возвѣщаетъ начало цирка, и т. д. Въ саду разсыпаны во множествѣ лотереи, базары, café-chantants и т. д. Несмотря на будничный день, публики было, говорятъ, до десяти тысячъ; и такъ бываетъ всякій день. Сюда при-

ходятъ гулять, безъ различія, всѣ сословія города; жены высшаго чиновничества ни мало здѣсь не оскорбляются присутствіемъ кухарокъ. Мы не встрѣтили ни одного полицейскаго; говорятъ, ихъ здѣсь и не надо; въ Тиволи, несмотря на многочисленность посѣтителей, никогда не бываетъ скандаловъ. За всѣ эти увеселенія вы платите, — отгадайте сколько?... Двѣнадцать копѣекъ серебромъ на наши деньги! Такая плата и здѣсь не мѣшаетъ точно также акціонерамъ (садъ содержится обществомъ на акціяхъ) получать отличные доходы.

Отчего-же у насъ не держится ни одно публичное гулянье? Отчего каждый годъ кто-нибудь да непремѣнно лопнетъ? Сколько перебывало у насъ всякаго рода Конкордій, Альгамбръ, виллъ Боргезе,—и все это не переживало даже петербургскаго короткаго лѣта! Гулянья наши точно дутый малиновый пирогъ, который очень привлекательно лоснится когда его подаютъ на столъ, но который падаетъ блиномъ какъ только воткнутъ въ него ложку и начнутъ имъ пользоваться.

Самъ знаменитый Излеръ, наполнявшій нѣкогда собою умы, фельетоны и журналы своихъ согражданъ,— самъ Излеръ, вызывавшій чародѣйской силой своей чудеса минеральныхъ водъ и даже удостоившійся слѣдующихъ печатныхъ стиховъ:

> Хвала тебѣ, нашъ Излеръ благородный,
> Несчастныхъ другъ и другъ честныхъ людей,
> Надолго будешь жить ты въ памяти народной!!

и т. д. самъ Излеръ, не могъ устоять, — и лопнулъ!

Увы! въ памяти народной сохранилось только названіе минеральныхъ водъ; въ памяти пріятелей Излера осталось только горькое воспоминаніе, что Излеръ проигралъ въ карты всѣ свои деньги, и кончилъ тѣмъ наконецъ, что убѣжалъ отъ долговъ!

Посыплемъ голову пепломъ и обратимся къ нашему путешествію.

На слѣдующій день, простившись съ Копенгагеномъ въ семь часовъ утра, въ два часа мы были уже на „Ретвизанѣ“, а въ половинѣ четвертаго подъѣзжали на шлюпкѣ къ ниборгской пристани. Распорядители обѣда, надо думать, разставили за ближайшими углами главной улицы людей, которыя обязаны были дать знать, какъ только наши шлюпки будутъ подъѣзжать къ берегу. Едва ступили мы на землю, изъ глубины главной улицы тронулись всѣ мужскіе представители ниборгскаго общества; ихъ было около тридцати, если считать нашего консульскаго агента, замѣчательнаго тѣмъ только, что онъ, говорятъ, съ большимъ успѣхомъ ведетъ

торговлю колпаками и шапками. Впереди всѣхъ, съ сіяющимъ и даже нѣсколько растроганнымъ отъ умиленнаго чувства лицомъ, выступалъ маленькій комендантъ; по обѣимъ сторонамъ улицы высыпала толпа любопытныхъ: я думаю, имъ первый разъ въ жизни приводилось видѣть такую ослѣпительно-торжественную картину; всѣ таращили глаза и, казалось, не знали на комъ остановить ихъ: на своихъ-ли соотечественникахъ, выступавшихъ въ полныхъ мундирахъ, или на русскихъ, шедшихъ также въ полномъ блескѣ и величіи морской формы. Туземцы и гости встрѣтились посрединѣ улицы; начались пожатія рукъ, привѣтствія; послѣ чего всѣ пошли къ дому, замыкавшему улицу.

Верхній этажъ этого дома вмѣщаетъ, какъ я уже говорилъ залу, предназначенную для торжественныхъ собраній. По случаю обѣда, на стѣнахъ залы красовались фестоны изъ зелени; зелень обвивала даже люстры, тѣ самыя, что были въ вокзалѣ въ прошлое воскресенье; на правой стѣнѣ перекрещивались русскій и датскій морскіе національные флаги. Въ сосѣдней комнатѣ помѣщалась музыка.

Вообще нѣтъ ничего натянутѣе, церемоннѣе и слѣдовательно скучнѣе офиціальныхъ обѣдовъ. Но здѣсь было совершенно другое: стѣсненіе и натяжка въ первую же минуту разстаяли отъ соприкосновенія датскаго добродушія. Лица сіяли впрочемъ слишкомъ большою радостію, чтобы къ чувству этому не примѣшивалось сколько-нибудь удовлетвореннаго самолюбія, свойственнаго въ иныхъ случаяхъ жителямъ крошечныхъ уѣздныхъ городковъ: — „вотъ, дескать, смотрите какіе мы задаемъ пиры и какъ угощаемъ!“

Тѣмъ не менѣе, обѣдъ начался довольно молчаливо; но датчане пьютъ много и крѣпко, т. е. по преимуществу любятъ портвейнъ, хересъ,—словомъ спиртуозныя вина. Со второго же блюда разговоръ оживился и вскорѣ сдѣлался общимъ или, вѣрнѣе сказать, смѣшался въ одинъ общій гамъ, значительно усиливаемый трубными звуками сосѣдней комнаты.

Я сидѣлъ между двумя совершенно незнакомыми господами, которые, къ счастію, ничего не пили и ограничивались только легкими и совершенно напрасными попытками подливать мнѣ; я воспользовался такими благопріятными обстоятельствами, что-бы пополнить мои путевыя наблюденія. Мѣстами бесѣда ихъ была очень занимательна; мѣстами, въ ней проходили мотивы, напоминавшіе мнѣ мотивы дружественныхъ бесѣдъ нашего края.

— Кто этотъ господинъ, который сидитъ направо отъ меня? шепнулъ я сосѣду, сидѣвшему съ лѣвой руки.

— Это губернаторъ одной изъ провинцій Даніи... Но вы должны знать, — это только почетное званіе... Такой губернаторъ, — ничего больше какъ кукла, которую поставили на полку: —кукла и ничего больше!..

— Позвольте выпить за ваше здоровье! произнесъ я, чокаясь съ моимъ собесѣдникомъ.

— Скажите пожалуйста, м. г., проговорилъ я, наклонясь немного погодя къ уху моего сосѣда, сидѣвшаго съ правой руки, — кто этотъ господинъ, который сидитъ у меня слѣва?

— Это камергеръ Р*; — у насъ впрочемъ, подхватилъ онъ съ едва примѣтной улыбкой, — камергеръ самъ по себѣ ровно ничего не значитъ... Камергеръ только почетное званіе; это, нѣкоторымъ образомъ, —кукла въ камергерскомъ мундирѣ...

Ни дать — ни взять, —какъ въ дружескихъ бесѣдахъ другого отдаленнаго края!

Кстати о камергерахъ, въ Даніи, при всей баснословной дешевизнѣ всѣхъ возможныхъ предметовъ, —самый дешевый предметъ, — все-таки камергеръ. Камергеры тамъ рѣшительно ни почемъ идутъ! На нихъ также мало тамъ обращаютъ вниманія, какъ на самыхъ обыкновенныхъ смертныхъ. Такая дешевизна происходитъ оттого, какъ мнѣ сказывали, что король, страстно любя разсыпать награды дворянству, но вмѣстѣ съ тѣмъ, не желая, чтобы награды стоили чего нибудь казнѣ, —принялъ разъ навсегда намѣреніе сыпать вмѣсто денегъ, — бронзовые камергерскіе ключи. Говоря о дворянствѣ Даніи, можно слѣдовательно сказать, что это камергеро-дворянское или дворянско-камергерское сословіе.

А между тѣмъ, въ разныхъ концахъ залы, посреди возраставшаго шума, начинали стучать ножами по тарелкамъ и требовали молчанія для выслушиванія спичей. Старый комендантъ кричалъ и стучалъ въ тарелку громче всѣхъ. Наконецъ, онъ всталъ, проговорилъ: — „За благоденствіе Россіи и за здоровье русскаго царя!“ поднялъ кверху бокалъ и прокричалъ ура!!! съ такимъ рвеніемъ, что казалось, стекла зазвенѣли въ рамахъ. Капитанъ „Ретвизана“ всталъ въ свою очередь и отвѣтилъ тѣмъ-же. Эти два спича были сигналомъ для всего общества. Каждый стучалъ ножомъ въ тарелку, вставалъ, говорилъ что-то; —иногда очень несвязно, —и давалъ мѣсто другому; случалось, что нѣсколько человѣкъ вставали и гово-

рили въ одно и то-же время. Изо всѣхъ спичей у меня остался въ памяти одинъ только:

„М. Г., мы пили здоровье правителей, войска, дружественнаго нашего союза. Позвольте предложить еще два тоста: во первыхъ, выпьемъ за здоровье тѣхъ честныхъ, знаменитыхъ людей Даніи, которые прославили ее еще больше, чѣмъ прославило оружіе, во вторыхъ, выпьемъ за здоровье одного чувства... Слово для выраженія этого чувства принадлежитъ Германіи; но съ тѣхъ поръ, какъ мы въ Даніи,—мы не хотимъ этому вѣрить... Намъ кажется, что какъ слово это, такъ и самое чувство,—принадлежитъ скорѣе Даніи и нѣмцы переняли ихъ только у датчанъ... Господа! я предлагаю здоровье Торвальдсена и здоровье датскаго *гемюта*!!..“

Спичъ покрытъ былъ рукоплесканіями.

— Hourrah! Hourrah!!“ кричалъ громче всѣхъ маленькій комендантъ.

Въ той же залѣ, вечеромъ долженъ былъ произойти балъ. Чтобы дать время убрать столы, подлить масла въ лампы на люстрахъ,—и покурить духами (въ чемъ, сказать мимоходомъ, чувствовалась большая потребность),—распорядители обѣда предложили гостямъ сдѣлать маленькую прогулку по окрестностямъ. Всѣ коляски, находившіяся въ городѣ, и даже кажется по окрестнымъ хуторамъ, были заранѣе приготовлены и ожидали насъ на улицѣ.

Во время усаживанія произошло маленькое смятеніе. Каждый датчанинъ хотѣлъ непремѣнно сѣсть съ русскимъ; русскіе раздѣляли то-же желаніе. Но такъ какъ въ глазахъ многихъ представителей той и другой націи, вслѣдствіе слишкомъ частаго повторенія тостовъ,—путались цвѣта мундировъ,—дѣло было нелегко уладить. Датчанинъ, сидя въ коляскѣ подлѣ русскаго и обнимая его одною рукою,—часто другой рукой держалъ кучера и кричалъ во все горло:—„Стой, не смѣть ѣхать! Я хочу ѣхать съ русскимъ!!..“ и т. д.

На мою долю пришлось ѣхать съ моими сосѣдями,—камергеромъ и губернаторомъ; съ нами усѣлись еще два датскіе офицера; но они не въ счетъ: съ самаго начала дороги, головы ихъ вывѣсились изъ коляски и ихъ не переставало *травить* жесточайшимъ образомъ (вы видите, я начинаю уже привыкать къ морскимъ терминамъ).

Выѣхавъ за городъ, мы предоставили кучеру возить насъ три часа куда ему угодно.

Вечеръ былъ чудесный. Запахъ скошенаго сѣна, носившійся въ чистомъ, свѣжемъ воздухѣ, необыкновенная тишина и кроткій, мирный видъ окрестности,—все это, послѣ тѣсной, душной залы, оглушительнаго гама и спиртуозныхъ испареній,—получало тройную прелесть: точно вдругъ въ рай попали! Эта часть датскаго ландшафта вся покрыта пологими холмами, мѣстами густо заросшими зеленью, изъ которой часто выбѣгають верхушки пирамидальныхъ тополей; куда ни обращается глазъ,—всюду встрѣчаешь или зелень или поля, усѣянныя тучными снопами. Часто, между полями, весело освѣщенными заходящимъ солнцемъ,—темнѣютъ какъ островки, группы деревъ; между стволами бѣлѣетъ домикъ; красноватая черепичная кровля просовывается кое-гдѣ между вѣтвями...

Проѣзжая мимо такого домика, я спросилъ у моихъ спутниковъ: можно ли войти. Такъ какъ это оказалось очень возможнымъ, я велѣлъ кучеру остановиться.

Оставивъ туловища нашихъ двухъ товарищей въ коляскѣ (головы ихъ все еще находились внѣ экипажа),—мы вошли въ домъ. Насъ радушно встрѣтила какая-то очень чисто одѣтая женщина. Въ хижинѣ всего три комнаты; но онѣ выштукатурены и выбѣлены, какъ словно вчера. По стѣнамъ висятъ въ рамахъ картинки, большею частію библейскаго содержанія; столы, стулья, полки, шкафы, тарелки, миски, горшки,—выставленные на полкахъ,—все это сіяетъ чистотою, полъ усыпанъ пескомъ; но что болѣе всего меня поразило,—такъ это постели хозяевъ; тюфякъ покрытъ чистыми простынями и одѣяломъ; на подушкахъ наволочки,—и онѣ также чисты, какъ и все остальное.

Хозяева между тѣмъ вовсе не фермеры; они не болѣе какъ простые хлѣбопашцы, нанимающіе нѣсколько десятинъ у сосѣдняго помѣщика.

Счастливая Данія!

Мы заѣхали однакожъ верстъ пять за городъ и надо было думать о возвращеніи.

Когда мы подъѣхали къ почтовому дому, музыка гремѣла во второмъ этажѣ и въ окнахъ ослѣпительно сіяли лампы на люстрахъ. Балъ былъ въ полномъ разгарѣ.

Общество было все то-же, что тогда въ вокзалѣ, за исключеніемъ одной хорошенькой камергерши (феноменъ между дамами Ниборга),—и еще нѣсколькихъ бабушекъ, матушекъ и тетушекъ, которыхъ никто прежде не видѣлъ.

Балъ былъ, какъ балъ; —все происходило самымъ обыкновеннымъ порядкомъ, кромѣ того только, что дамы были одѣты такъ просто, какъ никогда не одѣваются у насъ въ самыхъ глухихъ захолустьяхъ провинціи. Единственная роскошь и щегольство, которую позволяютъ себѣ датскія дамы, заключается въ бѣльѣ и обуви. Изъ числа сорока платьевъ на этомъ балѣ,—врядъ-ли было четыре шелковыхъ. Многія изъ этихъ дамъ, я увѣренъ,—были однакожъ несравненно богаче многихъ нашихъ сто-душныхъ помѣщицъ. Дѣло въ томъ, что у первыхъ нѣтъ крѣпостныхъ Филекъ и Фомокъ, которые приносили бы имъ оброкъ, обусловливаемый однимъ капризомъ, нѣтъ у нихъ также крѣпостныхъ Стешекъ и Матрешекъ, которыхъ отдаютъ въ модные магазины съ тѣмъ, чтобы онѣ потомъ всю жизнь даромъ шили и кроили платья барынѣ. Кромѣ того, сколько можно было замѣтить въ трехнедѣльное пребываніе въ Даніи,—датскія дамы вовсе не тщеславны; тѣ изъ нихъ, которыя бѣдны,—не понимаютъ даже повидимому, чтобы нужно было это скрывать, какъ постыдную семейную тайну.

— Скажите пожалуйста. спросилъ я у дамы, которой меня представили еще до поѣздки моей въ Копенгагенъ, и потому собственно представили, что она говорила по французски,—какъ объяснить себѣ фактъ, что всѣ наши мужчины болѣе или менѣе говорятъ по французски и по нѣмецки, тогда какъ дамы не знаютъ другого языка кромѣ датскаго?

— Фактъ объясняется, очень просто, сказала дама: — обязанности службы или домашнія дѣла заставляютъ нашихъ мужей ѣздить по всему королевству; они поминутно въ столкновеніи съ нѣмцами и безпрерывно почти живутъ въ обществѣ; мы проводимъ нашу жизнь безвыходно дома, никуда рѣшительно не ѣздимъ и никого не видимъ, кромѣ своего тѣснаго провинціальнаго кружка.

— Но кружокъ этотъ съ весны до глубокой осени разъѣзжается по деревнямъ...

— Остается тогда семейство; намъ никогда не скучно. Въ Даніи вообще ведутъ жизнь семейную,—особенно въ провинціи; скучать некогда; мы сами занимаемся нашимъ хозяйствомъ, нашимъ домомъ; но это послѣднія наши заботы; образованіемъ дѣтей, занимаются у насъ женщины... Нѣтъ, мы рѣшительно никогда не скучаемъ,— право некогда!..

Дальнѣйшая бесѣда дала бы мнѣ возможность пополнить мои замѣтки касательно нравовъ Даніи, еслибъ не прерывалъ ее поми-

нутно старый комендантъ; онъ рѣшительно никому не давалъ покоя: онъ въ одно и то-же время всѣхъ упрашивалъ танцовать, кушать мороженое; играть въ карты, пить оршадъ и проч. Не знаю, куда онъ дѣвалъ все, что ѣлъ и пилъ, желая подстрекать другихъ дѣлать тоже самое. День этотъ — былъ днемъ его торжества, его тріумфа! Въ каждой чертѣ добродушнаго лица его проступало выраженіе внутренняго упоенья. Онъ не только пожималъ намъ безпрестанно руки, — но прижималъ руку каждаго изъ насъ къ груди своей и дрожащимъ, растроганнымъ голосомъ произносилъ: „Hören Sie: dieses Tag!.. o!!.. es wird niemals vergessen!!..“

Тѣ изъ насъ, которые не танцовали, сдѣлали между собою маленькій заговоръ удрать съ бала при первой возможности; исполнить такое намѣреніе было не такъ-то легко: глаза старичка коменданта устремлялись, въ одно и то-же время, во всѣ стороны и онъ поспѣвалъ всюду на коротенькихъ своихъ ножкахъ. Побѣгъ нашъ тѣмъ не менѣе удался и лучше всего было то, что никто даже не замѣтилъ нашего отсутствія.

Пора впрочемъ было и отдохнуть. Завтра чуть-ли не весь Ниборгъ званъ на „Ретвизанъ“; завтра предстоятъ слѣдовательно тотъ-же обѣдъ, та-же суматоха, тотъ-же грохотъ.

И дѣйствительно. Грохотъ, который на „Ретвизанѣ“ начинается обыкновенно съ разсвѣтомъ, начался на другой день еще ранѣе, кажется. Едва успѣлъ я заснуть, какъ уже надъ головою моею послышались плескъ и журчаніе воды и скобленіе палубы, сопровождаемое невыносимымъ хрустѣньемъ того каменнаго гороха, который называютъ здѣсь пескомъ, и о которомъ я уже говорилъ вамъ. Насколько вчерашній день былъ днемъ торжества стараго коменданта, настолько нынѣшній, благодаря featherвознѣ, стиркѣ, мытью и скобленью, — долженъ былъ, кажется, быть днемъ торжества нашего добраго О. Р. Ш*.

Послѣ чая, возня еще болѣе усилилась; въ ней приняли участіе всѣ наши офицеры. Во всѣхъ движеніяхъ и на всѣхъ лицахъ написана была словно одна мысль, одна фраза: — „Гг., — сегодня наша очередь, не ударимъ лицомъ въ грязь, не посрамимъ чести „Ретвизана“ и русскаго флага“!!.. Глядя на всю эту озабоченность, можно было думать, что дѣло идетъ о приготовленіяхъ къ защитѣ „Ретвизана“ противъ соединенныхъ флотовъ цѣлаго свѣта.

Я и два-три офицера остались въ каютъ-компаніи: слѣдовало

нарисовать на бумагѣ и раскрасить нѣсколько датскихъ гербовъ, долженствовавшихъ украсить собою обѣденный столъ.

Войдя часовъ въ двѣнадцать во вторую палубу, я ахнулъ отъ удивленья: огромныя пушки съ ихъ станками, ядра и картечь, оружіе, развѣшанное по потолку,—все исчезло, борты направо и налѣво были завѣшаны пестрыми флагами. Верхній люкъ, покрытый краснымъ флагомъ,—разливалъ праздничный веселый свѣтъ на длинные столы, вокругъ которыхъ суетились наши офицеры, разставлявшіе корзины съ плодами, бокалы, посуду и бутылки. Боже мой, сколько тутъ было бутылокъ! Спиртового газа, закупореннаго въ этихъ бутылкахъ, безъ сомнѣнія, достаточно было, чтобы взорвать три „Ретвизана"; я въ жизнь не видалъ такого разнообразія ярлыковъ и печатей; въ этомъ безконечномъ строѣ бутылокъ, въ этихъ грудахъ плодовъ было дѣйствительно что-то фантастическое, сказочное: я ждалъ, что съ минуты на минуту послышится роговая музыка, войдетъ царь Салтанъ, держа одной рукою дочь свою Миритрису Салтановну, другой рукою ведя жениха, ея, прекраснаго рыцаря Францыля; за ними повалитъ многочисленная свита придворныхъ, рыцарей, нянюшекъ, шутовъ и карловъ, и все замкнется стражей съ алебардами и страшно щетинистыми усами...

Гости, къ неописанной радости офицеровъ, начали съѣзжаться къ началу четвертаго часа; это давало возможность показать дамамъ еще разъ „Ретвизанъ". Еслибъ морскимъ офицерамъ запрещено было водить прекрасный полъ по кораблю, мнѣ кажется, морская служба потеряла бы въ ихъ глазахъ бо̀льшую часть своей поэзіи. Каждая дама отъ семнадцати лѣтъ до сорока включительно, и каждая барышня, отъ четырнадцати до двадцати-лѣтняго возраста, явившись на корабль, должна неизбѣжно обойти съ офицеромъ всѣ палубы, заглянуть въ машину, бросить взглядъ въ лазаретъ, присѣсть на диванѣ въ каютъ-компаніи и съѣсть сухарь или конфетку въ капитанской каютѣ,—главномъ предметѣ хвастовства на каждомъораблѣ. Время убѣдило меня, что въ этомъ упорномъ вожденіи дамъ заключается не столько желанія удовлетворить чужой любознательности и собственному самолюбію, сколько желанія выказать свою любезность и ловкость и также,—полюбоваться дамскими ножками въ то время, какъ онѣ сходятъ по трапамъ. Не знаю насколько вѣрно такое замѣчаніе, но такъ покрайней мѣрѣ всегда мнѣ казалось.

Въ четыре часа общество было въ полномъ сборѣ, всѣ сѣли за столъ и грянула музыка.

Ѣли, пили, говорили спичи, точь въ точь какъ наканунѣ: разница состояла въ томъ, что на „Ретвизанѣ“, послѣ каждаго тоста, вмѣсто музыкальнаго туша, стрѣляли изъ пушекъ. Дамы, повидимому, предпочитали музыку; но старый комендантъ, при каждомъ салютѣ, преисполнялся все болѣе и болѣе воинственнымъ духомъ; онъ кричалъ Vivat! Hourrah! — и махалъ въ воздухѣ бокаломъ, часто не замѣчая, что бокалъ былъ полонъ вина. Датскіе офицеры слѣдовали его примѣру. Они подходили по очереди къ каждому изъ насъ, обнимались, цѣловались и говорили, что день этотъ будетъ для нихъ вѣчно памятнымъ.

Нѣтъ причины думать, чтобы они не были искренны; „что у трезваго на умѣ, то у пьянаго на языкѣ“, говоритъ пословица. Во все время, какъ мы стояли передъ Ниборгомъ, они доказывали намъ свое сочувствіе всѣмъ, чѣмъ только могли. Сочувствіе это имѣетъ свою причину: датчане не забыли кажется, что Россія, во время царствованія покойнаго императора Николая I, вступилась за нихъ противъ Голштиніи. Впрочемъ и тогда еще сами русскіе не разъ старались выразить датчанамъ, какъ много цѣнятъ ихъ добродушіе и какъ охотно за нихъ вступаются.

„Ретвизанъ“ долженъ былъ въ тотъ же день, въ семь часовъ, сняться съ якоря.

Послѣ обѣда, мужская половина гостей конечно запамятовала объ этомъ обстоятельствѣ; но дамы начали убѣдительно упрашивать своихъ мужей и нашихъ офицеровъ, что-бы ихъ скорѣе свели съ трапа и усадили въ шлюпки; ихъ натурально не столько пугала перспектива, что „Ретвизанъ“ сымется съ якоря и умчитъ ихъ во Францію, сколько перспектива новыхъ бутылокъ, которыя являлись на столѣ и также быстро исчезали.

Въ семь часовъ никого уже не оставалось изъ постороннихъ, кромѣ двухъ офицеровъ; они также отправились было съ остальными, но неожиданно вернулись, вошли въ каютъ-компанію, и объявили на отрѣзъ, что не могутъ уѣхать, не простившись еще разъ съ русскими и не опорожнивъ за ихъ здоровье все вино. оставшееся на кораблѣ.

Они оставались до той минуты, пока во второй палубѣ, подлѣ

самой каютъ-компаніи, не послышалось звяканья цѣпи и топота матросовъ, начинавшихъ ходить вокругъ шпиля. Только вздрагиваніе „Ретвизана“, возвѣщавшее, что онъ съ минуты на минуту освободится отъ якоря и уйдетъ въ море, могло привести ихъ къ дѣйствительности и заставило оставить корабль.

Въ десять часовъ мы вышли съ рейда и бросили послѣдній взглядъ на Ниборгъ, заслонявшійся густымъ вечернимъ туманомъ.

III.

Сѣрыя впечатлѣнія. — Констапельская и молюски. —Вѣтеръ, для перваго знакомства, рекомендуетъ себя очень дурно.—Рифы. — Удовольствія лавировки и хожденіе галсами.—Печальная сцена.—Отъ горя къ радости, отъ радости къ горю.—Машина нездорова.—Изложеніе со всѣми подробностями красотъ морской бури.—Выборы и замѣчанія по этому поводу.—Подкинутый ребенокъ.—Образчикъ матросскаго нарѣчія.—Капитанъ Кутль.—Англійскій каналъ и два берега.—Англійскій ботикъ.—Приготовленія, прерванныя разсказомъ.—Морская поговорка снова оправдывается.—Французскіе лоцмана.—Бретонскіе берега и Брестъ.

Въ дѣтствѣ, учась географіи, я всегда сбивался съ толку и страшно путался, какъ только дѣло доходило до Большого и Малаго Бельта, до Каттегата и Скагерака. Мѣста эти не занимали моего воображенія, не возбуждали сочувствія: они наводили на меня нестерпимую скуку и я тогда еще инстинктивно ихъ ненавидѣлъ. Инстинктамъ дѣтства суждено было вполнѣ оправдаться: сдѣлавъ переходъ изъ Ниборга въ Брестъ,—я получилъ сознательное и окончательное отвращеніе отъ Бельтовъ и Скагерака. Мы плыли осенью; осенняя пора года и вышепомянутыя водяныя пространства созданы какъ будто другъ для друга.

Стоитъ припомнить мнѣ этотъ переходъ, — я мгновенно впадаю въ хандру и нервы мои возбуждаются самымъ непріятнымъ образомъ.

Передо мною тотчасъ же развертывается сумрачная картина: тяжелое, сѣрое безъ просвѣту небо, темно-сѣрое море, сѣрыя, мутныя волны, увѣнчанныя хребтами шипящей пѣны, — и посреди всего этого, представляется мнѣ вымоченная дождемъ корабельная палуба, мокрое клеенчатое пальто матросовъ, мокрыя, почернѣвшія отъ копоти снасти, мокрые паруса, уныло хлопающіе въ сыромъ, холодномъ воздухѣ...

Не прошло двухъ часовъ послѣ того, какъ мы оставили ниборгскій рейдъ, тучи заволокли небо и ночь сдѣлалась такъ черна, что не было уже возможности различать корабль отъ моря, море отъ неба; въ то же время полилъ дождь, задулъ крѣпкій вѣтеръ и „Ретвизанъ" началъ скрипѣть и переваливаться съ боку на бокъ.

Слѣдующій день не принесъ никакихъ перемѣнъ; отъ зари до ночи „Ретвизанъ" продолжалъ скрипѣть и качаться, дождикъ лилъ, вѣтеръ свисталъ въ снастяхъ и море громко плескалось.

Деньщикъ мой Михайла, который, неизвѣстно почему, получилъ сначала отъ меня, а потомъ ото всѣхъ, названіе „Мишодьера",— дополнилъ впечатлѣніе этого дня.

Онъ вошелъ ко мнѣ, едва только задулъ я свѣчку и завернулся въ одѣяло.

— Кто тутъ?

— Іо, ваше благородіе!

— Ступай, братецъ, видишь я уже легъ и ничего мнѣ не надо.

Михайла не трогался съ мѣста.

— Чего тебѣ? спросилъ я.

— Вы велѣли сказывать, коли на кораблѣ что случится... плаксиво произнесъ Михайла.

— Чтожъ тамъ такое?

— За попомъ пошли... матросикъ умираетъ...

Михайла вышелъ. Я закутался съ головою въ одѣяло, какъ дѣлаютъ обыкновенно люди съ воображеніемъ, когда мысленно хочется имъ вырваться изъ среды, которая ихъ окружаетъ.

Двадцать четвертаго августа вѣтеръ утихъ совершенно и дождикъ прекратился; одно небо не перемѣнилось; оно по прежнему смотрѣло также сѣро и кисло. Море улеглось какъ бы по волшебству какому-то. Оно разстилалось какъ зеркало и, глядя на него, не вѣрилось, чтобы когда нибудь могло оно быть иначе.

Съ тѣхъ поръ какъ мы оставили Ниборгъ, я часто цѣлые часы проводилъ на кормовой части юта, откуда видно какъ руль разсѣкаетъ воду, оставляемую кораблемъ; вода клубится здѣсь очень сильно; тѣнь отъ корабля и освѣщеніе съ боку даютъ возможность судить о настоящемъ ея цвѣтѣ; какъ только вошли мы въ Скагеракъ, вода изъ зеленой сдѣлалась темносинею. Въ тоже время, на поверхности моря начали появляться рыжія пятна, которыя выплывали какъ словно изо дна моря; мѣстами они показывались въ такомъ мно-

жествѣ, что вся поверхность моря казалась покрытою веснушками:— то были медузы и молюски.

— Любопытно было бы взглянуть на нихъ поближе, сказалъ я стоявшему тутъ-же на ютѣ гардемарину.

— Ничего нѣтъ легче, возразилъ онъ; у насъ ихъ ловятъ въ констапельской, даже теперь, кажется, одна сидитъ въ тазу...

Я радъ былъ, что нашелъ хоть какое нибудь развлеченіе и поспѣшно направился въ констапельскую.

Надо однакожъ, чтобъ вы знали что такое констапельская,—мѣсто, гдѣ живутъ юнкера и гардемарины; ихъ было у насъ до тридцати человѣкъ. Констапельская расположена въ третьей палубѣ и находится непосредственно подъ каютъ-компаніей: она ниже и уже послѣдней: пространство значительно еще скрадывается колодцемъ, черезъ который опускается и подымается винтъ „Ретвизана", —помните, тотъ самый злосчастный винтъ, который не хотѣлъ входить въ предназначенное ему мѣсто. Въ констапельской помѣщается сверхъ того: столъ, на которомъ туземцы пьютъ чай и обѣдаютъ, тридцать большихъ и весьма неуклюжихъ сундуковъ, въ которые юнкера и гардемарины прячутъ свое платье, бѣлье и книги, два или кажется, даже четыре орудія большого калибра и койки всѣхъ тѣхъ, которые обречены здѣсь жить и проводить ночь;—а живутъ и ночуютъ здѣсь,—какъ я уже вамъ сказывалъ, —до тридцати человѣкъ. Два небольшія окна, прорубленныя надъ самымъ рулемъ, освѣщаютъ констапельскую, они такъ близки къ водѣ, что какъ только начинается волненіе,—ихъ тотчасъ же плотно закупориваютъ. Разъ зашелъ я въ констапельскую вечеромъ, когда окна были заперты; если вамъ случалось странствовать по Россіи зимою и зайти прямо съ морозу въ избу, гдѣ переночевалъ обозъ,—мнѣ ничего не остается сказать вамъ о воздухѣ констапельской: просто хоть ножомъ рѣжь,—съ ногъ сшибаетъ.

На этотъ разъ окна были отперты и въ ней было и свѣжѣе и не такъ душно.

Нѣсколько юнкеровъ и гардемаринъ, вооруженные бичевкой, къ концу которой былъ привязанъ крючокъ, — лежали на окнахъ и ловили молюсковъ.

— Мнѣ сказывали, господа, что вы одну медузу поймали, спросилъ я.

— Да, вчера; мы положили ее въ тазъ,—сегодня смотримъ,— она совершенно растаяла; на днѣ таза осталось только что-то мутное.

Я прилегъ къ окну, взялъ бичевку съ крючкомъ и предался этому новому въ своемъ родѣ уженью.

Но дѣло шло неуспѣшно. Крючокъ часто задѣвалъ молюскъ; но онъ или проходилъ насквозь его, или зацѣплялъ одну часть, которая тотчасъ-же отрывалась, тогда какъ другая поспѣшно уходила въ воду. Кто-то подалъ мысль бросить веревку съ привязаннымъ къ концу ведромъ. Мысль приведена была въ исполненіе и въ скоромъ времени принесла удачный результатъ: притягивая тихонько ведро къ тому мѣсту, гдѣ появилась медуза, — мы разомъ рванули впередъ и такимъ образомъ, къ общему удовольствію,—вытащили ее изъ воды.

Медуза,—та по крайней мѣрѣ, которую мы поймали,—имѣла видъ толстой буро-красной лепешки изъ студня; верхняя половина ея зазубрена по краямъ и совершенно гладкая; нижняя представляла раскислое желтоватое вещество, которое сжималось и разжималось,—словно дышало; какъ только мы вынули ее изъ воды, она потускнѣла и прекратила свое существованіе.

Въ такихъ занятіяхъ прошло цѣлое послѣ-обѣда.

Мы однакожъ едва двигались; корабль шелъ не болѣе полутора узла въ часъ.

— Отчего-же не разводимъ мы паровъ? Вѣдь уголь у насъ есть? спросилъ я.

— А вамъ-бы вотъ его сейчасъ и сжечь, чтобы потомъ проболтаться недѣль шесть въ морѣ!.. саркастически замѣтилъ Ш*.

— Шесть недѣль?! перебилъ я, чувствуя какъ ознобъ пробѣжалъ у меня по спинѣ.

— Ничего нѣтъ мудренаго! подхватилъ Ш*,—вы уже довольно, кажется, долго плаваете, чтобы знать, что въ морѣ никогда ни на что нельзя разсчитывать; слава Богу еще, что идемъ полтора узла, все-таки хоть впередъ двигаемся. Ну, а какъ задуетъ противный?.. Хуже будетъ, если мы теперь сожжемъ уголь и въ то самое время, какъ надо входить въ Брестъ, придется торчать передъ гаванью нѣсколько сутокъ, а то пожалуй,—опять въ море уйти...

— Зачѣмъ-же это?.. какъ-же такъ?.. проговорилъ я уже робко, боязливо поглядывая на Ш*.

— А такъ, что задуетъ противный вѣтеръ, — вотъ вамъ и Брестъ!..

Нигдѣ человѣкъ такъ не чувствуетъ свое ничтожество, какъ въ морѣ: нигдѣ природа не выказываетъ надъ нами такъ сильно свое

могущество. На землѣ, вѣтеръ, заворачивающій полу платья, засыпающій пылью глаза или срывающій съ головы шляпу, — возбуждаетъ только комическую досаду; здѣсь, поневолѣ проникаешься уваженіемъ къ нему, основаннымъ на страхѣ и полной отъ него зависимости. Я готовъ былъ, кажется, вылѣпить изъ хлѣбной мякоти маленькое изображеніе Эола, поставить его на комодъ моей каюты и каждое утро и вечеръ стараться умасливать его льстивыми рѣчами, — точь въ точь какъ дѣлаетъ это робкій чиновникъ передъ начальникомъ, который можетъ его по произволу казнить и жаловать.

На другой день, какъ только я одѣлся, первымъ дѣломъ было заглянуть въ каюту А. П. Т*, исправляющаго на „Ретвизанѣ“ должность старшаго штурмана (такую прогулку совершаю я безпрерывно; каюта его противъ моей).

— Сколько прошли мы въ ночь? спросилъ я.

— О! — отлично шли... сказалъ А. П.

Тонъ его голоса, по обыкновенію добродушный и правдивый, — показался мнѣ на этотъ разъ насквозь проникнутымъ сарказмомъ.

— Ну, однакожъ, сколько миль?

— Впередъ?

— Что за вопросъ? разумѣется впередъ...

А. П. покрутилъ головою и усмѣхнулся.

— Мы отошли 26 миль... назадъ — проговорилъ онъ.

— Не можетъ быть!

— Посмотрите.

Я взглянулъ на карту. Отъ Ниборга черезъ Категатъ и Скагеракъ протянута была карандашомъ линія, обозначающая нашъ курсъ; на концѣ линіи, сдѣланъ былъ маленькій кружокъ съ надписью: 24 августа; нѣсколько назадъ, ближе къ Ниборгу, по той же линіи находился другой кружокъ съ надписью: 25 августа. Штурманъ взялъ циркуль, промѣрилъ пространство между обоими кружками, прикинулъ циркуль къ масштабу карты, — вышло 26 миль.

— Но отчего же это? спросилъ я увядшимъ какимъ-то голосомъ.

— Насъ оттащило назадъ; здѣсь теченіе очень сильное; главная причина: вѣтеръ противный!

Передъ тѣмъ еще какъ выйти изъ каюты я зналъ, что было вѣтрено; корабль покачивался и переборки каюты жалобно скрипѣли; но я не могъ думать, чтобы вѣтеръ былъ такъ силенъ, чтобы могъ оттащить нашъ корабль на такое пространство.

*

Оставивъ А. П., я вышелъ на палубу.

Вѣтеръ, налетавшій порывами, глухо гудѣлъ въ снастяхъ: высокій бортъ корабля скрывалъ отъ меня море; я видѣлъ только темныя мачты и веревки, которыя казались неподвижными и надъ ними,—сѣрое, на клочки разорванное небо, которое ходило взадъ и впередъ и колыхалось какъ худо прикрѣпленная занавѣсь. На палубѣ стояло нѣсколько офицеровъ,—въ томъ числѣ и О. Р. Ш*; матросы, вытянутые въ одну линію, однообразно притопывали ногами и тянули какую-то веревку; кучка матросовъ, которые придерживали рукою фуражки, чернѣла на площадкѣ гротъ-мачты,—саженяхъ въ шести выше палубы. Раздался свистокъ, кучка разсѣялась, матросы быстро побѣжали по рею, легли на грудь и, уперевъ ноги въ веревку,—подняли ихъ кверху. Я видѣлъ какъ вѣтеръ надувалъ ихъ панталоны и рвалъ ихъ куртки; съ реи и прямо въ море полетѣли, кружась и вертясь, двѣ-три фуражки; я ждалъ съ минуты на минуту, что который нибудь изъ людей послѣдуетъ за фуражками и также упадетъ въ море; они все болѣе и болѣе наклонялись впередъ, такъ что подъ конецъ головы ихъ и туловища совсѣмъ скрылись; видно было только какъ работали ихъ руки, собиравшія парусъ, который рвался какъ бѣшеный.

— Что это они дѣлаютъ? спросилъ я, стискивая зубы и щуря глаза какъ человѣкъ, находящійся подъ непріятнымъ нервическимъ ощущеніемъ.

— Рифы берутъ, сказалъ Ш*, не спуская глазъ съ гротареи,—вы, кажется, не видали еще этого маневра?

— И видѣть не желаю... Вотъ эти матросы мнѣ гораздо больше нравятся...

— Которые?

— Да вотъ хоть-бы этотъ, напримѣръ: посмотрите какъ онъ проворно бѣгаетъ по палубѣ.

— Никуда не годится, плохой матросъ... суета,—больше ничего... Вотъ этотъ гораздо лучше и больше дѣла дѣлаетъ, примолвилъ Ш*, подмигивая на человѣка, который стоялъ недвижно подлѣ мачты и только хлопалъ глазами.

Рѣшительно ничего не понимаю!

Я поднялъ воротникъ пальто и, придерживая рукою фуражку, поднялся на ютъ.

Все, что происходило вокругъ меня, мнѣ крайне не нравилось. Неотвязчивый, унылый гулъ вѣтра, сумрачное небо, которое какъ

будто колышется и кружитъ голову, бушующее, вспѣненное море, — все это хорошо только въ описаніяхъ, на картинахъ, или когда смотришь на это съ берегу. При всемъ томъ, я долженъ сказать, — что ничего нѣтъ красивѣе корабля, который летитъ на парусахъ, когда вѣтеръ кладетъ его нѣсколько на бокъ. Въ этомъ наклонѣ корабля въ сторону, когда всѣ паруса, мачты и реи теряютъ свое сухое горизонтальное и перпендикулярное положеніе, когда всѣ снасти туго притянуты и, кажется, звенятъ какъ струны подъ напоромъ вѣтра, — есть дѣйствительно какая-то величавая грація; — точно красивая, рослая женщина, которая, слегка приподнявъ одежду, нагнулась къ водѣ, чтобы полюбоваться волнами.

— Что мы теперь станемъ дѣлать? спросилъ я у вахтеннаго офицера.

— Будемъ лавировать... отвѣчалъ онъ.

Я зналъ, что лавировать, значитъ идти зигзагами вмѣсто того, чтобы двигаться по прямой линіи; зналъ я также, что во время поворотовъ, всѣ паруса, стоявшіе нѣсколько времени на одномъ боку, разомъ поворачиваются въ противуположную сторону и увлекаютъ за собою весь корабль, который переваливается также на другой бокъ; не зналъ я только, какое дѣйствіе производятъ эти переваливанья съ боку на бокъ, когда находишься въ каютѣ.

Началось вотъ съ чего: я сѣлъ въ кресло; въ эту минуту повернули паруса; корабль перекачнулся, кресло рвануло впередъ и одной ножки какъ не бывало! (правда, кресло куплено было въ Гостиномъ дворѣ); вслѣдъ затѣмъ чернильница, книги, бумаги, повинуясь общему движенію, какъ все, что находилось на кораблѣ, побѣжало впередъ и посыпалось на окно. Я прилегъ на постель, переложивъ сначала подушки къ ногамъ, которымъ, безъ такой предосторожности, пришлось-бы быть выше головы: — я началъ уже засыпать, какъ вдругъ, ноги мои опрокинулись мнѣ на голову и вслѣдъ затѣмъ, книги, чернильница и бумаги опять посыпались со стола, но уже не на окно, а въ мою сторону. Такъ продолжалось всю ночь. Тутъ только осмыслилъ я вполнѣ значеніе лавировки, крена и галсовъ.

Двадцать седьмого числа, рано утромъ, привелось видѣть сцену, которая долго останется у меня въ памяти.

Матросъ, о которомъ говорилъ Михайла, скончался въ прошлую ночь. Тѣло покойника, до сегодняшняго утра стояло подъ образами, сегодня его хоронили. Человѣкъ шесть матросовъ, сопровождаемые

почтеннымъ нашимъ священникомъ, вынесли покойника на верхнюю палубу. Тѣло было плотно зашито въ саванъ: къ ногамъ прикрѣплена была чугунная баластина...

Деревянная рѣшетка, закрывающая главный среднiй бортъ „Ретвизана“, была снята; на бортъ положили длинную доску, конецъ которой далеко выдавался надъ водою: на доску опустили тѣло покойника; два унтеръ-офицера придерживали доску. Ванты усыпаны были народомъ; офицеры окружали бывшаго своего сослуживца. Въ то время какъ священникъ читалъ молитвы,—я невольно нагнулся впередъ и взглянулъ внизъ на море. Волны глухо шумѣли, то высоко подымаясь и всплескивая пѣну, то роя вокругъ себя мрачныя, глубокiя бездны...

— Помяни Господи во царствiи твоемъ раба твоего Андрея... тихо проговорилъ священникъ.

— Аминь! прошептали въ толпѣ.

— Спускай!.. сказалъ кто-то.

Доска наклонилась къ морю; тѣло медленно начало скатываться: еще секунда,—и оно пропало въ волнахъ...

Вы представить себѣ не можете, какое впечатлѣнiе грусти, даже страха, оставили на меня эти похороны. Что ни говори, человѣку свойственно только жить и умирать на землѣ; когда человѣка хоронятъ въ землѣ, разлука его съ людьми кажется все не такъ ощутительною; покойникъ ближе къ своимъ, какъ словно и свои къ нему ближе; ихъ раздѣляетъ слой почвы всего въ два аршина; но тутъ на морѣ, куда онъ дѣлся? Гдѣ онъ?.. Въ какую пустыню, въ какое страшное одиночество занесло его?.. Въ сущности, конечно, не все-ли равно? Но когда приходитъ самое дѣло, когда случается быть очевидцемъ такихъ похоронъ,—сердце и привычка всегда говорятъ громче философiи...

Вечеромъ я сидѣлъ въ каютѣ, когда позвали меня пить чай.

— Что, какъ вѣтеръ? спросилъ я у Михайлы.

— Попутный! ваше благородiе.

— Не можетъ быть! воскликнулъ я, вскакивая со стула.

Мишодьеръ, которому никогда не давалъ я повода меня пугаться, оторопѣлъ при этомъ и попятился къ двери.

— Попутный, повторилъ онъ торопливо, и—вдругъ юркнулъ въ дверь.

Я бѣгомъ пустился въ каютъ-компанiю, гдѣ все наше общество находилось въ полномъ сборѣ. Радость сiяла на всѣхъ лицахъ,—

даже на тѣхъ, которыя зеленѣли и перекашивались отъ дѣйствія качки. Лампы, привѣшанныя къ потолку, болтались изъ стороны въ сторону, чай расплескивался въ стаканахъ и текъ по столу, прислуживающіе матросы ходили странно какъ-то, растопыривая ноги.

— Поздравляю! поздравляю! говорили всѣ тѣмъ не менѣе,— наконецъ-то дождались попутнаго вѣтра! Вы слышали: попутный! Ахъ, еслибъ денька два такъ подулъ! Подуй, миленькій, подуй, голубчикъ!!..

— Господа! произнесъ встревоженнымъ голосомъ лейтенантъ Ф*, неожиданно вбѣгая въ каютъ-компанію,—господа, вѣтеръ вдругъ повернулъ, опять задулъ въ лобъ!

Невозможно передать дѣйствія, произведеннаго на все общество такимъ извѣстіемъ. Такіе эффекты можно было только видѣть въ драмахъ Полевого, которыя такъ блистательно разыгрывались въ свое время въ Александринскомъ театрѣ; улыбки исчезли, хохотъ умолкъ, лица вытянулись; изъ дальнихъ угловъ послышались возгласы, исполненные негодованія; нѣсколько кулаковъ ударило по столу; другіе тутъ же бросили чай и съ самымъ мрачнымъ видомъ улеглись ничкомъ на диваны.

— Господа! проговорилъ мичманъ С*, показывая въ дверяхъ каютъ-компаніи свое милое, добродушное лицо,—господа,—пріятная новость!!..

— Знаемъ! знаемъ! съ досадою отозвалось нѣсколько человѣкъ,—ужъ сказывали! Можете убираться съ вашей новостію!

— Пари, что не знаете.

— Что-же тамъ еще?

— Капитанъ сейчасъ отдалъ приказаніе разводить пары!

Эффектъ былъ снова удивительный, раздались крики восторга, аплодисменты.

— Браво! Слава Богу! Наконецъ-то! Ай-да капитанъ! послышалось отовсюду. Все разомъ воскресло и оживилось, даже тѣ, которые лежали на диванахъ, и которыхъ укачивало,—получили, казалось, облегченіе; они подошли къ столу и на радостяхъ потребовали себѣ еще чаю.

Надо долго плыть въ морѣ, проводить на кораблѣ нескончаемую вереницу убійственно-скучныхъ дней, надо испытывать качку, дождь, холодъ и сырость, надо пить утромъ и вечеромъ чай крѣпкій какъ пиво и подслащенный мелюсомъ, надо сверхъ всего, пи-

таться обѣдами Мишеля Цупо, и чтобы не умереть съ голоду жевать сухари и жесткую жилистую солонину,—надо испытать все это, чтобы понять радостное чувство людей, которымъ неожиданно улыбнется перспектива сократить переходъ и скорѣе достигнуть ожидаемой гавани.

Подъ парами „Ретвизанъ“ значительно прибавилъ ходу; вмѣсто полутора узловъ,—мы пошли пять; пять узловъ, конечно, немного, но и то было отлично при крѣпкомъ противномъ вѣтрѣ. Я радовался, какъ словно всею цѣлію моей жизни было достигнуть Бреста или Портсмута. Забывая морское правило, предписывающее никогда въ морѣ ни на что не разсчитывать,—я началъ соображать во сколько дней съ такимъ ходомъ, мы приблизительно придемъ въ одинъ изъ этихъ портовъ. До Портсмута оставалось восемьсотъ миль, до Бреста,—около тысячи. Дѣлая по пяти узловъ въ часъ, и слѣдовательно по сто двадцати въ сутки,—мы по меньшей мѣрѣ должны были придти въ Англію въ шестеро сутокъ. Узнавъ, что въ эту ночь мы сдѣлали шестьдесятъ миль, миновали ненавистный Скагеракъ и вошли въ Нѣмецкое море,—я сдѣлался еще смѣлѣе и не шутя приступилъ къ выкладкамъ, стараясь уже опредѣлить, въ какой именно часъ можемъ мы войти въ Портсмутъ.

Но увы! вооружаясь такъ часто противъ непостоянства морской стихіи и сѣтуя на непрочность основанныхъ на кораблѣ надеждъ,—мнѣ въ голову не приходило, чтобы на корабляхъ могли еще существовать непрочныя машины! Едва вошли мы въ Нѣмецкое море, пришло извѣстіе, что въ машинѣ лопнула какая-то шестерня; вслѣдъ затѣмъ,—машина остановилась.

Вороновъ, который до сихъ поръ недоброжелательствуетъ винту и пару, недаромъ, сидя вчера на бакѣ, саркастически улыбался и повторялъ намъ, прислушиваясь къ шуму поршней и вала:

— Что-то машина наша оченно кряхтитъ да охаетъ: должно быть у ней брюхо заболѣло... Не прилучилось бы чего!...

Снова поставили паруса, снова корабль повалился на бокъ и снова все пошло по прежнему. Полчаса спустя, мы опять сѣли на полтора узла въ часъ. Вскорѣ, къ довершенію пріятныхъ ощущеній, зарядилъ дождикъ и сдѣлалось нестерпимо холодно. Вѣтеръ, крѣпчая постепенно, разводилъ больше и больше волненія; только и слышно было:—„Рифы брать! Лѣво на бортъ! Право на бортъ! Свистать всѣхъ наверхъ!!“—и послѣ этого на палубѣ начиналась такая же почти возня и шумъ, какъ на самомъ морѣ.

Корабль скрипѣлъ во всѣхъ своихъ составахъ. Въ то-же время, я поневолѣ прислушивался къ разговорамъ, отъ которыхъ должно было скрипѣть мое собственное сердце; одни толковали, что въ эту пору года, и особенно здѣсь, въ Нѣмецкомъ морѣ, такой вѣтеръ можетъ продлиться недѣли двѣ и болѣе; другіе утвердительно говорили, что въ пенедѣльникъ, т. е. послѣ завтра, кончается провизія и останутся только сухари и солонина... Славная перспектива, нечего сказать!

Къ ночи, порывы стали повторяться чаще и сильнѣе; съ непривычки казалось иногда, какъ будто „Ретвизанъ“ опрокидывается; невольно дѣлаешь комическое движеніе въ противоположную сторону, думая этимъ уравновѣсить корабль; но въ ту-же секунду оставляешь такое намѣреніе и думаешь только о сохраненіи собственнаго равновѣсія, чтобы не шлепнуться на палубу. Двигаться впередъ можно не иначе, какъ придерживаясь за стѣнку; и то приходится поминутно дѣлать шагъ впередъ и три назадъ. Нѣсколько матросовъ приходятъ въ каютъ-компанію, чтобы осмотрѣть плотно ли привязаны пушки.

— Что, ребята, вѣтеръ силенъ? спрашиваю я, держась за столъ.

— Крѣпко, в. б., — на палубѣ насилу на ногахъ устоишь.

Я и самъ чувствую, что крѣпко, но спрашиваю объ этомъ единственно для собственнаго своего ободренія и подкрѣпленія.

Кой-какъ добрался я въ свою каюту; но тамъ было еще хуже: перегородка, которая находилась со стороны верхней палубы, такъ раскачалась, что черезъ нее дуло какъ сквозь рѣшето. Нечего было думать зажечь свѣчку, взять книгу и лечь въ постель: пламя задуло бы въ ту же минуту, подсвѣчникъ покатился бы на полъ и самъ я не преминулъ бы за нимъ послѣдовать; кромѣ того, меня пугала полка съ книгами, привинченная надъ самымъ моимъ изголовьемъ; раскачиваемая изъ стороны въ сторону, она такъ визжала, какъ будто на ней, вмѣсто книгъ, лежалъ рослый здоровый ребенокъ, съ котораго снимали кожу.

Я снова спустился въ каютъ-компанію; тамъ, по крайней мѣрѣ, было не такъ холодно.

Буря продолжалась всю ночь и весь слѣдуюшій день.

Въ этотъ день я окончательно убѣдился, какъ неправъ былъ Т*, увѣрявшій, что меня сразу укачаетъ, и что у меня не морскія ноги. Сколько мы можемъ судить по нѣкоторымъ опытамъ, — лите-

раторовъ вообще не укачиваетъ; такъ ужъ должно быть имъ на роду написано; а можетъ быть это происходитъ потому также, что большею частію, ихъ всегда сильно укачиваетъ на житейскомъ морѣ и они въ жизни застраховываются отъ морской качки. Съ другой стороны, я откровенно сознаюсь, что много бралъ на себя и по обыкновенію сильно увлекался, утверждая, что чувствую неодолимое влеченье къ морю; положительно—влеченья къ морю нѣтъ у меня никакого... Еслибъ меня укачивало, я не шутя, кажется, сталъ бы просить, чтобъ высадили меня на первый островъ, хотя бы даже необитаемый.

Во время качки, несноснѣе всего, для меня по крайней мѣрѣ,— это то, что рѣшительно не знаешь, что съ собою дѣлать, нигдѣ не находишь мѣста; куда ни приляжешь, куда не присядешь, всюду тебя сбрасываетъ. Бродишь изъ угла въ уголъ, изъ одной палубы въ другую, словно опоенный какимъ-то дурманомъ или зельемъ, которое подступаетъ къ сердцу. Подымешься на югъ, чтобы дохнуть свѣжимъ воздухомъ, оглянешься вокругъ:—все прыгаетъ,—и корабль, и море,—и самое небо! Всѣ линіи перекосились: реи стоятъ не горизонтально, а какъ-то поперегъ облаковъ; бортъ корабля спускается въ одну сторону, линія горизонта въ другую; носъ корабля то поднимется, то быстро опустится книзу и на секунду мелькнетъ передъ вами бушующее и какъ будто идущее въ гору море;—то снова передъ глазами однѣ мачты и реи, словно падающія на облака...

— Посмотрите, скажетъ кто нибудь, посмотрите, какъ все вдругъ перекосилось...

Взглянешь въ ту сторону и чувствуешь, какъ что-то кольнуло подъ ложечкой и все поднялось внутри васъ.

Спустишься въ каютъ-компанію, еще хуже: здѣсь вмѣсто косыхъ линій, всюду встрѣчаешь перекосившіяся зеленыя лица; ужъ кто нибудь да непремѣнно лежитъ на диванѣ и стонетъ; кругомъ все кряхтитъ, скрипитъ и также стонетъ.

Войдешь въ каюту,—тамъ окончательно нестерпимо: окна обдаетъ пѣной и вода журчитъ между пазами рамы; съ потолка также льетъ; вездѣ мокро, сыро; стѣны скрипятъ словно давятъ жернова другъ о дружку; перегородки и вмѣстѣ съ ними полка такъ расходились и воютъ, что кажется, вмѣсто одного ребенка на полкѣ, теперь уже стоятъ по три въ каждомъ углу каюты и всѣхъ ихъ рѣжутъ тупымъ ножемъ... Попробуешь крѣпко обнять постель и за-

крыть глаза,—еще несноснѣе: лежишь точно пьяный, у котораго остается настолько сознанія, чтобы понять, что его завели ночью въ штиглицовскую бумаго-прядильню и разомъ пустили въ ходъ всѣ машины...

Хотя, какъ я вамъ сказывалъ, меня и не укачиваетъ,—охотно соглашаюсь, что врядъ-ли можетъ быть что нибудь хуже качки: судя потому, что я видѣлъ, качку можно сравнить съ трудными родами. Какъ только начнетъ качать, тѣ, которые подвержены морской болѣзни, призываютъ Бога въ свидѣтели, что никогда больше не пойдутъ въ море; едва качка миновала, тѣ-же самые люди начинаютъ благословлять судьбу, что привелось ѣхать на кораблѣ и дѣлаютъ уже проекты на будущее плаваніе. Это напоминаетъ мнѣ анекдотъ съ одной испанской дамой; рожая съ большимъ трудомъ, она велѣла поставить свѣчку къ образу и клялась всѣми святыми, что никогда больше не будетъ имѣть дѣтей; едва кончились роды, она сказала горничной: „Розета, спрячь остатокъ свѣчи,—пригодится для другого раза!..“

Къ вечеру, тридцатаго августа, буря стала утихать. Утѣшаться этимъ могли особенно тѣ только, которые страдали морской болѣзнью. „Ретвизанъ“ едва двигался; дулъ все тотъ же противный вѣтеръ (какое придумано ему удачное названіе)! Корабль сильно сбивало съ настоящаго курса; вмѣсто того чтобы пробираться по прямой линіи къ Портсмуту, — мы шли чуть-ли не на сѣверъ Шотландіи.

Посреди убійственнаго однообразія и скуки на кораблѣ въ извѣстныхъ случаяхъ,—самое ничтожное событіе служитъ уже развлеченіемъ и способно возбудить вниманіе.

Можете же вообразить, какой эффектъ долженъ былъ произвести въ обществѣ нашихъ офицеровъ выборъ новаго содержателя. Содержателемъ называютъ офицера, который выбирается голосами и обязанность котораго состоитъ въ томъ, чтобы покупать провизію, беречь ее, наблюдать за порядкомъ кухни, за поварами, вести счетъ столовымъ деньгамъ.—словомъ, обязанъ онъ кормить и поить всю каютъ-компанію со включеніемъ юнкеровъ и гардемаринъ.

Мое дѣло было постороннее; я только смотрѣлъ и слушалъ. Тутъ впрочемъ мало было пищи для наблюденій; съ самаго начала преній и переговоровъ, меня точно перенесло на дворянскіе выборы; иначе даже быть не могло: какъ тутъ, такъ и тамъ были тѣ-же дворяне, и такъ какъ дѣло касалось общихъ интересовъ,—не могло

быть слѣдовательно никакого согласія. Одни предлагали мичмана Б*, другіе артиллерійскаго капитана, третьи лейтенанта В*. Но это куда бы еще ни шло; главное, общество (оно состояло всего изъ тридцати членовъ), сейчасъ же раздѣлилось на партіи и мнѣніе одной партіи было разумѣется діаметрально противоположно мнѣнію другой. Одни съ негодованіемъ говорили, что надо во что бы ни стало положить предѣлъ безпорядкамъ, что при управленіи С*, нельзя было взять куска въ ротъ и проч.; другіе таинственно перешептывались; третьи ограничивались тѣмъ, что высылали своихъ ораторовъ, которые утверждали, что дурного ничего не было, что С*, напротивъ, лѣзъ изъ кожи, чтобъ все шло блистательно, что дѣйствительно все шло блистательно; ораторы иронически сокрушались о растлѣніи современныхъ нравовъ, нѣжности и прихотливости современнаго желудка и проч.; въ защиту своего взгляда выставляли они въ примѣръ С* и Ф*, которые, проведя годъ на Амурѣ, питались однимъ только моржевымъ жиромъ съ примѣсью тертой брусники, — и при всемъ томъ, остались все таки въ живыхъ, и проч. и проч.;—короче сказать, начались страшныя пренія, наступила вторая буря, — и даже съ качкой, потому что многія лица были блѣдны и даже зелены...

Хотя дѣло шло вообще о всѣхъ желудкахъ, не выключая и моего собственнаго, я сохранялъ невозмутимое равнодушіе. Оно основывалось на многихъ причинахъ. Я зналъ, что всѣ пренія совершенно безполезны уже потому, что дѣло въ самомъ принципѣ никуда не годилось; принципъ въ этомъ случаѣ заключался въ негодности провизіи: всѣмъ извѣстно было, что знаменитый Мишель Пупо, при выходѣ изъ Ниборга, купилъ такую же точно дурную провизію, какъ при выходѣ изъ Ревеля. Потомъ, я сохранялъ твердую увѣренность, что на корабельныхъ выборахъ, точно такъ-же, какъ и на дворянскихъ,—если И* заступитъ мѣсто С*, перемѣны все таки не будетъ и въ сущности, порядокъ или безпорядокъ останется все тотъ же: какъ тамъ, такъ и здѣсь, бѣда выходитъ изъ одного начала: и С* и И* не могли ни въ какомъ случаѣ исполнить какъ слѣдуетъ того, что отъ нихъ требовали, вслѣдствіе совершенной неподготовки и незнанія дѣла.

Другое дѣло, еслибъ въ морскомъ корпусѣ читали курсъ „Опытной хозяйки“ или „Образцовой поварихи“ г-жи Авдѣевой; другое дѣло, еслибъ сами кадеты, зная что ожидаетъ ихъ на кораблѣ, брали бы приватные уроки по кухмистерской части; но такъ какъ

объ этомъ нѣтъ и помину, откуда же, позвольте спросить, молодому офицеру, только что выпущенному на корабль и выбранному въ содержатели,—откуда же знать ему толкъ въ говядинѣ, маслѣ, капустѣ, бобахъ и проч.; онъ не можетъ даже знать приблизительной цѣны всѣхъ этихъ предметовъ. Я слышалъ не одинъ разъ:—„содержательство пріучаетъ молодыхъ офицеровъ къ хозяйству!“ Какая заботливость! Прекрасно! Но пожалуйста не вѣрьте этому, точно такъ-же какъ и я не вѣрю; такое объясненіе ничего больше какъ фраза, служащая для замазки щели, которую не знаютъ чѣмъ замкнуть или просто, — не хотятъ объ этомъ подумать. А казалось бы ничего нѣтъ легче; стоитъ, какъ это заведено въ Англіи и другихъ морскихъ державахъ,—стоитъ учредить частную компанію, которая доставляла бы на всѣ суда, за извѣстную плату, поваровъ и метръ-д'отелей. Пожалуй, офицеръ могъ бы наблюдать за ними и вести денежные счеты. Такимъ образомъ, офицеръ избавился бы отъ пачкотни, каютъ-компанія отъ дрязгъ, а главное, цѣлое общество избавилось бы отъ стряпни матросовъ, которые, чѣмъ больше усердствуютъ, тѣмъ больше разводятъ на кораблѣ спазмовъ и коликъ.

Но вѣтеръ замѣтно тише, вотъ, — сквозь бортъ сверкнуло солнышко... Не лучше ли подняться на ютъ?..

Небо покрыто густыми, хмурыми облаками: только съ запада облака прорвались и пропускаютъ снопъ золотыхъ лучей; точно огненный, лучезарный мечъ пронзилъ небо и опустившись въ море, сверкаетъ въ волнахъ, которыя сквозятъ какъ голубое плавленное стекло.

Еще минута,—и все пропало; и небо, и море окутались снова сизымъ, густымъ мракомъ.

Во время вечерняго чая, подъ пушкой, въ каютъ-компаніи послышался крикъ ребенка.

— Что это такое?.. Съ сотворенія міра не было примѣра, чтобы на военномъ кораблѣ, и тѣмъ менѣе, посреди моря, подкидывали дѣтей. Все общество устремилось къ пушкѣ; черезъ всѣхъ, какъ аистъ, шагаетъ длинный Р*.

— Держу, вотъ онъ!! кричитъ Р*, неожиданно выпрямляясь и восторженно показывая товарищамъ маленькаго копчика или коршуна.

Длинный Р* въ совершенномъ упоеньи, онъ все забылъ и ему ничего не надо; онъ готовъ плыть десять лѣтъ не приставая къ

берегу, лишь бы ему давали птицъ, животныхъ, жуковъ и бабочекъ; появленіе коршуна и меня также отчасти приводитъ въ умиленное состояніе: онъ даетъ знать, что берегъ недалеко.

И точно: рано утромъ будитъ меня Михайла.

— Чего тебѣ? спрашиваю я, раскрывая глаза.

— Въ каналъ входимъ, в. б.

— Слава Богу!.. Сколько ходу?

— Десять узловъ; всю ночь такъ и шли...

— Слава Богу!!.. Которое число сегодня? спрашиваю я, чтобъ записать такое достопамятное событіе.

— Сегодня горохъ, в. б., возражаетъ Мишодьеръ.

— Горохъ?!.. Какой горохъ?

— Середа значитъ, в. б.

Какъ я уже сказывалъ вамъ, у матросовъ нашихъ во всемъ свои рѣзкія особенности; языкъ, какъ и все остальное, получилъ также свою печать оригинальности и надо много часовъ высидѣть на бакѣ, чтобы вполнѣ съ нимъ ознакомиться. Вы спрашиваете, напримѣръ, какой день сегодня, —вамъ говорятъ, щи съ солониной, — это значитъ, понедѣльникъ, потому что въ этотъ день, по установленному порядку, готовятъ щи съ солониной; на каждый вопросъ, не относящійся даже къ службѣ и морю, матросъ отвѣчаетъ: „есть!“. На дняхъ лейтенантъ Ф*, стоя на вахтѣ, закричалъ унтеръ-офицеру при перемѣнѣ какого-то паруса: „что вы какъ бѣшеные тамъ ломите; вы этакъ человѣка убьете!..“ — „Есть!..“ отвѣтили ему съ верху въ одинъ голосъ.

Успѣвъ уже нѣсколько свыкнуться съ кораблемъ и моремъ, мнѣ стоило только отворить дверь каюты, чтобы убѣдиться, что все шло превосходно и на кораблѣ и на морѣ. Всѣ паруса, освѣщенные солнцемъ, стояли бодро, какъ румяные красавцы, и молодецки выпучивали грудь. По голубому небу величаво ходили бѣлыя, словно изъ серебра выкованныя облака. Я взглянулъ съ юта на корабль и на море; сердце радовалось, видя какъ носъ „Ретвизана“ рѣзалъ поперегъ волны и какъ вдоль щекъ его шипѣла убѣгавшая назадъ пѣна. Быстрый ходъ корабля подымалъ за кормою крутой, высокій валъ, на макушкѣ котораго, какъ легонькая скорлупка, прыгалъ красивый ботикъ, привязанный къ „Ретвизану“ веревкой.

— Это ботикъ англійскаго лоцмана, котораго мы взяли на зарѣ, чтобъ войти въ каналъ, объяснилъ мнѣ гардемаринъ.

— Гдѣ же самъ лоцманъ?

— Онъ сейчасъ здѣсь былъ.... Вотъ онъ стоитъ теперь у компаса!..

Я быстро обернулся въ ту сторону; можете себѣ представить мое удивленье, когда я увидѣлъ совершеннѣйшій образецъ милѣйшаго капитана Кутля, описаннаго не менѣе милымъ Диккенсомъ; ему было точно также лѣтъ подъ-шестьдесятъ; онъ былъ точно также въ синей толстой курткѣ, въ толстыхъ синихъ панталонахъ и клеенчатой матросской шляпѣ, украшенной мѣднымъ якоремъ; для полноты сходства недоставало только желѣзнаго крючка вмѣсто правой руки и широкаго кармана на панталонахъ, оттопыреннаго серебряными сахарными щипчиками и чайными ложками. Закинувъ руки за спину, онъ методически, шагъ за шагомъ, расхаживалъ по палубѣ, скрипя своими сапогами съ толстыми подошвами; добродушное лицо его напомнило мнѣ лицо нашего ниборгскаго коменданта; но только въ лицѣ и движеніяхъ Кутля было меньше суетливости; онъ сохранялъ спокойствіе, словно прогуливался передъ комелькомъ своимъ послѣ сытной порціи ростбифа и доброй кружки пѣнистаго портера.

Къ полудню, съ правой руки открылась длинная полоса земли:— это былъ берегъ Англіи. Вода между тѣмъ замѣтно измѣняла свой цвѣтъ; изъ ярко-зеленой она сдѣлалась мутно-бѣловатой; точно подлили молока въ море; это значило, что мы проходили мимо того мѣста, гдѣ Темза вливается въ каналъ.

Въ шесть часовъ можно было различать дымъ надъ трубами Дувра и въ то-же время, справа, ясно обозначился берегъ Франціи, освѣщенный солнцемъ.

Мы плыли въ центрѣ просвѣщенія и цивилизаціи!

Не знаю, ѣздили-ли вы заграницу, читатель, и если ѣздили, то какого рода были ваши ощущенія, когда приближались вы къ цѣли поѣздки и что думали вы, когда въ ушахъ вашихъ начали раздаваться имена Франціи... Англіи... Темзы... На меня, по крайней мѣрѣ, все это дѣлало сильное впечатлѣніе; говоря откровенно и безъ лицемѣрія, когда я прислушивался къ этимъ именамъ и вглядывался въ эти два берега, грудь волновалась сильно и сердце билось скорѣе обыкновеннаго. Все наше общество стояло на ютѣ, — и надо думать,—раздѣляло болѣе или менѣе мои чувства; никакими мольбами нельзя было ни у кого выпросить бинокля или зрительной трубки. По всему юту шелъ веселый говоръ; одни передавали свои прежнія заграничныя впечатлѣнія и воодушевляемые близостію бе-

рега, дѣлали фантастическіе проекты на будущее; кто стоялъ за Лондонъ и Англію, кто за Парижъ и Францію; со всѣхъ сторонъ слышались толки, возгласы, пересуды и мнѣнія; даже тѣ, которые никогда не бывали въ чужихъ краяхъ, чувствовали теперь наплывъ радости, и вдругъ, сами не зная почему, дѣлались сообщительны противъ своего обыкновенія.

Каждый, жившій сколько нибудь умственною жизнію, не разъ, конечно, порывался къ этимъ берегамъ и мысленно по нимъ странствовалъ; — и вотъ берега эти всего теперь въ какихъ нибудь восьми миляхъ!

А между тѣмъ, просвѣщеніе давало уже себя чувствовать.

Капитану нужно было отправить письмо въ Англію. Такъ какъ старый лоцманъ кончилъ свое дѣло и долженъ былъ оставить насъ передъ Портсмутомъ, капитанъ просилъ его передать письмо и положилъ передъ нимъ золотой.

— Что же это за деньги? спросилъ Кутль.

— Вамъ... чтобы заплатить на почтѣ, поспѣшилъ прибавить капитанъ.

— Но тутъ цѣлый фунтъ; письмо стоитъ всего шиллингъ.

— Чтожъ дѣлать! у меня нѣтъ мелочи...

— Вотъ есть о чемъ хлопотать! сказалъ Кутль съ добродушной улыбкой; плата, которую я получилъ съ вашего корабля очень хороша; меня шиллингъ не раззоритъ... я отправлю письмо на свои деньги...

— Но все таки...

— Stop! перебилъ Кутль, безцеремонно взявъ капитана за руку, — если вы ужъ непремѣнно хотите поблагодарить меня за хлопоты, вотъ что сдѣлайте: у васъ вѣрно есть рисунокъ вашего корабля; дайте мнѣ его, — я буду очень благодаренъ!

Желаніе его было тотчасъ-же исполнено и онъ отправился совершенно довольный.

Вотъ вамъ еще другое доказательство, что мы проходимъ черезъ центръ просвѣщеннаго міра: отъ Гревзенда до Дувра, на пространствѣ четырнадцати миль, живутъ постоянно 1,200 человѣкъ; всѣ они члены общества Trinity, Троицы; цѣль общества подавать всякаго рода помощь судамъ и пассажирамъ, проходящимъ черезъ каналъ.

Въ четыре часа, послѣ обѣда, „Ретвизанъ“ прошелъ Гриничскій меридіанъ и вступилъ въ западную долготу. Всю ночь мель-

кали передъ нами огни на маякахъ Франціи и Англіи. Въ эту ночь рѣшено было не заходить въ Портсмутъ и прямо идти въ Брестъ. Такое рѣшеніе опрокидывало навзничь проекты каютъ-компаніи; но поступить иначе было-бы неблагоразумно: мы шли девять и десять узловъ въ часъ; вѣтеръ дулъ самый попутный и надо было имъ пользоваться, чтобы уйти дальше; намъ предстояло еще пройти океанъ; въ Брестѣ, передъ тѣмъ, чтобы снова пуститься въ путь, легче было узнать объ вѣтрѣ въ океанѣ, чѣмъ можно было это сдѣлать въ Портсмутѣ, который закрытъ съ этой стороны берегами Англіи и Франціи. Кромѣ того мы должны были спѣшить войти въ Средиземное море,—главную цѣль нашей экспедиціи.

На другое утро приказано было на „Ретвизанѣ“ поднять лоцманскій флагъ; мы должны были принять другого лоцмана, который вывелъ-бы насъ изъ канала.

Не прошло получаса,—въ отдаленьи забѣлѣлъ парусъ. Вскорѣ показался маленькій ботикъ съ сидѣвшими въ немъ двумя человѣками; одинъ правилъ рулемъ и парусами; другой, стоя у кормы на палубѣ, надѣвалъ куртку и прикрѣплялъ шляпу, такую-же точно, какъ носимъ мы на Невскомъ проспектѣ. Но „Ретвизанъ“ шелъ полнымъ ходомъ, волненіе было слишкомъ сильно и вѣтеръ былъ слишкомъ крѣпокъ (какъ могла держаться такая шляпа на головѣ лоцмана,—это останется для меня вѣчной загадкой), чтобы ботикъ могъ тотчасъ подойти къ кораблю.

Ботикъ началъ тогда маневрировать; надо было видѣть, что дѣлали на немъ эти два человѣка! Я тутъ только повѣрилъ, что во всемъ, что говорили мнѣ прежде о ловкости англійскихъ моряковъ,— не было капли преувеличенія. Уже однимъ ботикомъ и его оснасткой нельзя было довольно налюбоваться даже человѣку, не имѣющему понятія о мореходномъ дѣлѣ; все въ немъ, начиная съ мачты, веревокъ и блоковъ, и кончая крошечной шлюпкой, прикрѣпленной къ палубѣ,—смотрѣло ловко и мило,—словно на изящной игрушкѣ. Вѣтеръ, какъ говорилъ я, — былъ крѣпокъ и волна ходила большая; ботъ едва, казалось, касался воды; онъ летѣлъ какъ чайка; не смотря на десять узловъ ходу,—онъ нѣсколько разъ перегонялъ насъ, неожиданно рѣзалъ корабль подъ носомъ, и возвращался назадъ съ тѣмъ, чтобы снова обогнать его; все это дѣлалъ только одинъ человѣкъ; самъ лоцманъ недвижно стоялъ на палубѣ подлѣ шлюпки. Выждавъ минуту, когда ботъ выровнялся съ кораблемъ, лоцманъ толкнулъ шлюпку въ море, бросился въ нее и началъ

грести одной рукою. Черезъ минуту, одна нога его была уже на трапѣ, другая отталкивала шлюпку, которая начала прыгать какъ мячикъ и вскорѣ очутилась отъ насъ на далекомъ разстояніи.

— „Что-же будетъ съ этой несчастной шлюпкой! неужто хозяинъ бросилъ ее на произволъ судьбы"... думалъ я, слѣдя за нею во всѣ глаза.

Ботикъ между тѣмъ также, кажется, удалялся; но вотъ повернулъ онъ неожиданно парусъ, совсѣмъ почти легъ на воду и полетѣлъ стрѣлою за шлюпкой...

— „Все это очень хорошо, думалъ я, слѣдя съ захватывающимъ духъ любопытствомъ за маневрами бота,—но достать шлюпку изъ крутящихся волнъ и поставить ее на палубу, не такъ-то легко,—даже невозможно одному человѣку!.."

Ботъ нѣсколько разъ прошелъ мимо шлюпки; онъ заходилъ то съ одной стороны, то съ другой; наконецъ выбравъ секунду, когда шлюпку подняло на вершину волны, ботъ подлетѣлъ къ ней, парусъ перевернулся, нагнулъ ботъ въ ея сторону, и не успѣлъ я мигнуть, какъ уже шлюпка стояла на палубѣ на прежнемъ своемъ мѣстѣ; послѣ этого, парусъ снова перевернулся, сталъ прямо,—и ботъ быстро пошелъ къ берегу.

Я невольно обратилъ тогда все свое вниманіе на лоцмана, который расхаживалъ уже по юту, учтиво раскланиваясь съ нашими офицерами. Онъ имѣлъ видъ совершеннаго джентльмена. Его тотчасъ-же окружили и закидали вопросами. Онъ былъ хозяиномъ того бота, на которомъ пріѣхалъ. Въ отвѣтъ на удивленіе наше, какъ можетъ одинъ человѣкъ такъ ловко управляться съ ботомъ, онъ отвѣчалъ, что „тутъ нѣтъ ничего удивительнаго, если принять въ разсчетъ, что они всю свою жизнь проводятъ въ морѣ; ему случалось оставаться одному на ботѣ и не въ такую погоду; часто приводилось одному управляться съ ботомъ во время самыхъ страшныхъ осеннихъ бурь;—Богъ миловалъ! одинъ вернешься въ Англію; самъ закрѣпишь парусъ, самъ бросишь якорь и благополучно пристанешь къ берегу. Онъ уже сорокъ лѣтъ,—съ тринадцатилѣтняго возраста,—живетъ такимъ образомъ, выжидая на своемъ ботѣ корабли, проходящіе черезъ каналъ".

Нельзя смотрѣть безъ уваженія на такого человѣка не только моряку—но и постороннему.

Много слышалъ я прежде разсказовъ о томъ, что старые, истинные моряки безошибочно почти отгадываютъ по примѣтамъ погоду;

мнѣ хотѣлось повѣрить это на дѣлѣ и я попросилъ обратиться съ этимъ къ лоцману.

Онъ поднялъ голову кверху, внимательно посмотрѣлъ въ одну сторону горизонта, потомъ въ другую.

— Къ девяти часамъ, сказалъ онъ, надо ждать перемѣны... Сдается, будутъ тучи и пойдетъ дождикъ... Вѣтеръ также долженъ перемѣниться, но только не вдругъ; завтра, приблизительно часамъ къ шести вечера, задуетъ противный...

— Посмотримъ, такъ-ли будетъ! сказалъ я обращаясь къ стоявшимъ подлѣ офицерамъ.

Небо было совершенно чисто; вѣтеръ дулъ въ самую корму и мы бѣжали по десяти узловъ въ часъ.

Утромъ мы были уже въ сорока миляхъ отъ Бреста. Когда я узналъ объ этомъ, мною точно овладѣла какая-то лихорадка; помните, я говорилъ вамъ, что постоянно боюсь опоздать и не поспѣть къ сроку. Я потребовалъ Михайлу, велѣлъ ему вытащить чемоданы и началъ торопливо укладываться.

Кто-то постучалъ въ дверь, которая соединяетъ мою каюту съ кабинетомъ капитана.

— Войдите, сказалъ я, не будучи самъ въ состоянiи отпереть, потому что руки заняты были бѣльемъ.

Дверь отворилась и вошелъ В. Ѳ. Т*.

— Ба! да вы уже укладываетесь! произнесъ онъ улыбаясь.

— А то какже!.. вѣдь мы всего въ какихъ нибудь сорока миляхъ отъ Бреста! сказалъ я,—тогда ужъ поздно возиться, какъ войдемъ въ бухту...

— Ну, это еще Богъ знаетъ, войдемъ-ли мы въ нее такъ скоро... Развѣ вы не слыхали, что вчера предсказывалъ лоцманъ?

— Знаю; но послушайте, В. Ѳ., вѣдь мы всего въ сорока миляхъ! Если и задуетъ противный, мы разведемъ пары; далеко-ли тутъ?..

— Э! вы значитъ не знаете еще, какiя штуки выкидываются иногда на морѣ!.. Вотъ, возьмите-ка лучше сигару, да присядьте; я вамъ разскажу, какiе бываютъ случаи и какъ можно на что нибудь разсчитывать въ морѣ...

В. Ѳ. закурилъ сигару, я также.

— Разъ, этому не очень давно, началъ онъ,—одинъ изъ нашихъ контръ-адмираловъ, шелъ въ Камчатку на фрегатѣ Г*. Послѣ долгаго и благополучнаго плаванiя, открылся наконецъ камчатскiй

берегъ; вы теперь имѣете уже нѣкоторое понятіе о томъ, что̀ такое плаваніе и слѣдовательно, сами можете вообразить себѣ, какъ обрадовался контръ-адмиралъ, и особенно, въ какомъ восхищеніи было его семейство; я забылъ вамъ сказать, контръ-адмиралъ ѣхалъ съ женою и дѣтьми. Часа два-три спустя, онъ подходилъ къ берегу; ему оставалось, быть можетъ, пройти всего однимъ галсомъ, чтобы войти въ гавань... Откуда ни возьмись, налетѣлъ шквалъ; задулъ вдругъ такой вѣтеръ, что надо было тотчасъ же отойти скорѣе отъ берега, чтобы не разбиться. Какъ вы думаете, чѣмъ кончилась вся эта исторія? Фрегатъ, вмѣсто того, чтобы попасть въ Камчатку, берега которой уже видѣлъ, отправился за 1500 миль, къ Сандвичевымъ островамъ, —гдѣ и остался зимовать! Такъ вотъ и разсчитывайте послѣ этого!..

Уже нѣсколько разъ, какъ вы видѣли, имѣлъ я случай повѣрять на дѣлѣ справедливость морской поговорки; но этого видно мало было; надо было убѣдиться въ этомъ окончательно: въ полдень вѣтеръ неожиданно перемѣнилъ направленіе и задулъ прямо въ лобъ; небо покрылось тучами и пошелъ мелкій дождь; вмѣсто десяти узловъ ходу,—корабль поползъ едва замѣтно.

Ясно, что изо всѣхъ истинъ, изобрѣтенныхъ человѣкомъ и выведенныхъ имъ изъ опыта,—истина моряковъ самая непреложная! Оставалось утѣшаться только тѣмъ, что старые, опытные моряки дѣйствительно предугадываютъ за сутки погоду,—въ чемъ я также не совсѣмъ былъ прежде увѣренъ.

Я утѣшался гораздо больше тѣмъ однакожъ, что на „Ретвизанѣ“ разводили пары и опускали винтъ. Благодаря такому распоряженію, мы сдѣлали въ ночь все-таки тридцать узловъ, не смотря на противный вѣтеръ.

Къ утру 7 (19) сентября, „Ретвизанъ“ очутился недалеко отъ острова Уэссана и выкинулъ лоцманскій флагъ. Вдалекѣ, изъ за едва виднѣвшихся скалъ, мелькнулъ парусъ.

— Любопытно будетъ теперь сравнить лоцмановъ Франціи съ англійскими! сказалъ капитанъ.

Парусъ замѣтно приближался въ нашу сторону. Спустя нѣсколько времени, подошла большая неуклюжая лодка, —родъ одномачтоваго баркаса, вмѣщавшая въ себѣ нѣсколько человѣкъ; подойдя къ кораблю, они начали бѣгать, суетиться и кричать изо всей мочи; имъ кинули конецъ, но нѣсколько разъ надо было это повторить, прежде чѣмъ они изловчились поймать веревку. Немного погодя, къ

намъ на палубу вошелъ высокій, загорѣлый старикъ, покрытый заплатами съ головы до ногъ. У него, какъ водится, спросили лоцманскій видъ; вида никакого не было. Онъ говорилъ торопливо, какимъ-то страннымъ нарѣчіемъ, въ которомъ изрѣдка попадались французскія слова. Оказалось, что это былъ попросту бретонскій рыбакъ. Поручить корабль такому господину не было никакой возможности; напрасно увѣрялъ онъ, что мѣста знакомы ему, какъ собственная ладонь и онъ проведетъ корабль въ бухту лучше всякаго казеннаго лоцмана,—капитанъ приказалъ снова поднять лоцманскій флагъ.

Уже по первому сигналу съ „Ретвизана“ въ разныхъ концахъ горизонта показалось нѣсколько парусовъ. Большой корабль—находка для лоцмановъ; они часто по цѣлымъ недѣлямъ караулятъ въ морѣ и ждутъ такой добычи.

Явился другой лоцманъ. Стоя еще въ лодкѣ своей, такой же почти плохой, какъ и первая,—онъ выразительно указывалъ на обломокъ своей клеенчатой шляпы, украшенной якоремъ. Это былъ также сѣдой старикъ, но съ какою-то рыбьей физіономіей и весь укутанный кусками толстой клеенки.

— Pilote! Pilote impérial! кричалъ онъ благимъ матомъ, карабкаясь по трапу съ такою поспѣшностію, какъ будто его сзади подгоняли линьками.

Войдя на ютъ, онъ принялся бѣгать безъ толку во всѣ стороны, махалъ руками, давая знать,—чтобы поворачивали руль то вправо, то влѣво, наконецъ, вбѣжалъ на лѣсенку, ведущую къ компасу и снова засуетился пуще прежняго. Онъ говорилъ по французски чище перваго, но говорилъ такъ быстро, что понять его можно было еще менѣе.

Капитанъ, слѣдившій за нимъ съ любопытствомъ, убѣдился съ перваго взгляда, что лоцманъ дѣлаетъ все это для одного вида,—ибо понятія не имѣетъ о компасѣ; мы съ своей стороны, скоро убѣдились, что новый лоцманъ не только не знаетъ компаса, — но незнакомъ даже съ грамотой.

— Да, это не то что англичане! сказалъ В. Ѳ.,— принимая на себя поневолѣ лоцманскую обязанность.

Между тѣмъ, мы начали уже входить въ бухту. Справа и слѣва все выше и выше подымались сѣрые, скалистые берега, безобразно изрытые океаномъ, безъ признака растительности,—они сохраняли мрачный, унылый видъ даже при голубомъ небѣ и блескѣ солнца.

Мѣстами, по облупленнымъ, сѣрымъ, кремнистымъ скаламъ, лѣпились деревушки, которыя цвѣтомъ своимъ такъ слабо отдѣлялись отъ скалы, что надо было пройти довольно близко, чтобы ихъ примѣтить. Наконецъ, въ гористой глубинѣ бухты—показался городъ.

— „Нѣтъ, теперь ужъ дѣло кончено, теперь назадъ не отнесетъ—мы въ Брестѣ"! сказалъ я самъ себѣ и побѣжалъ укладываться въ каюту.

Когда я возвратился на ютъ—„Ретвизанъ" бросилъ уже якорь.

Кругомъ, на большое пространство, обступали насъ скаты горъ, покрытыя укрѣпленіями; впереди стояло множество кораблей и судовъ всякаго рода; надъ ними высоко подымался большой городъ, расположенный по обѣимъ сторонамъ узкой, глубокой долины. Крикъ и движенье окружили насъ прежде еще, чѣмъ успѣли мы укрѣпиться на мѣстѣ. Множество шлюпокъ, наполненныхъ женщинами, облѣпили бортъ; всѣ кричали въ одно и тоже время; однѣ предлагали фрукты, другія показывали виды свои, умоляя разрѣшить имъ подняться на корабль и перебивали другъ дружку, убѣждая отдать имъ бѣлье для стирки; третьи подымали на воздухъ адресы квартиръ, гостинницъ и общихъ столовъ.

— Живой народецъ! твердилъ нашъ старый А. П., покручивая головою и посмѣиваясь,—живая косточка!..

Мы не имѣли права сойти на берегъ прежде, чѣмъ не явится шлюпка отъ правительства и не выдастъ намъ разрѣшенія. Она не замедлила явиться. Въ ней сидѣли докторъ, адъютантъ, коменданта и нашъ консулъ; послѣдній явился собственно для поздравленія капитана съ счастливымъ прибытіемъ. Пошли разспросы: откуда? сколько больныхъ? какого рода болѣзни? и проч. Все это кончилось скоро. Кораблю дана была: la libre pratique, т. е. позволеніе сходить командѣ на берегъ, и поименованныя лица взошли на корабль; вслѣдъ затѣмъ, верхняя палуба мгновенно покрылась прачками, торговками и комисіонерами всякаго рода.

Съ пледомъ въ рукахъ и шляпою на головѣ, я стоялъ между тѣмъ у трапа съ моимъ чемоданомъ и кричалъ, чтобы скорѣе подошла къ кораблю вольная шлюпка.

Десять минутъ спустя, я высаживался на одну изъ пристаней Бреста.

Ничего не было бы легче сдѣлать здѣсь нѣсколько выписокъ касательно глубины рейда, вмѣстимости гавани, системы укрѣпленій, числа орудій, силы гарнизона и проч.; но я не сдѣлаю этого

потому собственно, что мои выписки не прибавятъ маковой росинки къ знанію людей, изучающихъ города съ цѣлію спеціальной; чтожъ касается до обыкновеннаго читателя, онъ пропуститъ мимо мое описаніе,—и прекрасно сдѣлаетъ. Нѣтъ ничего скучнѣе насиловать свое вниманіе въ отношеніи къ предмету, который не занимаетъ. И наконецъ, я далъ себѣ слово, передавать только личныя свои впечатлѣнія. Какое же впечатлѣніе можетъ сдѣлать приморская военная гавань на человѣка, который, до сихъ поръ, не отличаетъ каронады отъ бомбическаго орудія, и для котораго сложнѣйшая система укрѣпленій,—все тотъ же валъ болѣе или менѣе возвышенный и болѣе или менѣе уснащенный орудіями?..

Не имѣю права однакожъ выкинуть совершенно Бреста и не сказать о немъ нѣсколько словъ, какъ о городѣ вообще. Брестъ, какъ городъ,—сравнительно совсѣмъ не такъ ничтоженъ, какъ могутъ о немъ думать.

Начать съ того, что въ немъ 64 тысячи жителей. Городъ расположенъ на вершинѣ и по скатамъ двухъ высокихъ скалистыхъ возвышенностей, раздѣленныхъ пропастью: на днѣ изгибается рѣка Пенфельдъ, обшитая гранитною набережною. Внизу господствуетъ военный портовой элементъ; тамъ, по обѣимъ сторонамъ рѣки, размѣщены всѣ заводы, мастерскія и доки Бреста. Рѣка, буквально, запружена судами и шлюпками; набережная завалена якорями, веревками, блоками; тутъ проходу нѣтъ отъ матросовъ и народа; на каждомъ шагу путь преграждается лодкой, которую смолятъ, чинятъ или конопатятъ; изъ-за угловъ высовываются каркасы кораблей усѣянныхъ работниками, которые стучатъ молотками; грохотъ идетъ такой, что все дрожитъ, какъ будто десятки молотовъ падаютъ на желѣзо и потрясаютъ воздухъ; кузнечные мѣха гудятъ; тамъ визжатъ сотни подпилковъ, здѣсь съ крикомъ подымаются тяжести, тутъ грохочатъ паровыя машины; движеніе, говоръ и пестрота толпы кружитъ голову; моряки всѣхъ націй, арестанты въ зеленыхъ колпакахъ, красныхъ курткахъ и желтыхъ панталонахъ гремятъ цѣпями, бабы, солдаты, рабочіе всякаго рода; смѣхъ, жалобы, крики, пѣсни,—все это производитъ какое-то одуряющее дѣйствіе.

Широкія лѣстницы, высѣченныя въ скалѣ и обставленныя внизу харчевнями, кабаками и лавочками съ морскими и съѣстными принадлежностями,—ведутъ въ верхнюю часть города; по мѣрѣ того

какъ подымаешься и начинаютъ справа и слѣва показываться обывательскіе дома и магазины,—грохотъ умолкаетъ.

Верхній городъ очень красивъ, во всѣ стороны идутъ длинныя, отлично мощеныя улицы, обставленныя домами въ пять, шесть этажей. Нижній этажъ вездѣ почти превращенъ въ магазины, въ глубинѣ улицъ часто открывается океанъ. Почти посреди города широкая площадь, обсаженная деревьями, окруженная кафе и магазинами; толпы дѣтей, нянюшекъ, фланеровъ и гуляющихъ всякаго рода, покрываютъ площадь; группами сидятъ на скамьяхъ подъ тѣнью деревъ. Нѣсколько ниже, надъ отвѣснымъ обрывомъ, въ подошву котораго бьетъ океанскій валъ,—идетъ прелестная каштановая аллея; сюда вечеромъ собирается обыкновенно весь городъ слушать музыку и любоваться закатомъ. Въ Брестѣ театръ, гдѣ круглый годъ очень порядочно разыгрываются водевили, драмы и легкія комическія оперы; въ городѣ богатая публичная библіотека, множество частныхъ cabinets de lecture, отличныя гостинницы, кафе, магазины,—словомъ такой городъ, что можетъ удовлетворить капризамъ самаго прихотливаго человѣка.

Брестъ столица Бретани, которая, говорили мнѣ, и я читалъ объ этомъ,—такъ-же не похожа на остальную часть Франціи, какъ Малороссія не похожа на Россію. Но надо думать, такая разница давно существовала или существуетъ только въ нравахъ деревенскихъ. Брестъ отражаетъ какъ въ зеркалѣ общій французскій характеръ. Съ перваго шага на пристань, чувствуешь, что попалъ никуда больше, какъ во Францію; быстрота рѣчи, живость, веселость, мгновенно васъ обхватываютъ и словно вамъ самимъ сообщаются.

Первый человѣкъ, котораго я встрѣтилъ, былъ мальчикъ со спичками; я купилъ одну коробку; она была очень красива, покрыта рисунками и надписями; внутри находилась всего дюжина спичекъ; я попробовалъ зажечь,—не горѣли; рисунки, между тѣмъ представляли геену огненную и надпись съ одной стороны говорила:

On a vu de touts temps, l'envie au front livide
Distiller son venin sur la célebrité;
Mais malgré la fureur de sa rage perfide
Dinoux et moi vivrons dans la postérité!
Dinoux et compagnie
Charpentras.

Съ другой стороны были напечатаны только слѣдующія короткія, но энергическія строки:

„J'ai détroné le champignon!“—намекъ на то, что фосфоръ вытѣснилъ употребленіе трута.

Ну гдѣ-же, скажите на милость, по поводу коробки со спичками, можно встрѣтить столько комической торжественности, столько забавнаго, наивнаго преувеличенія!

Въ Брестѣ я провелъ одну только ночь. Между мною и К*, тѣмъ самымъ К*, который сопровождалъ насъ въ Копенгагенъ, заключено было давнишнее условіе взять тотчасъ-же послѣ пріѣзда въ Брестъ мѣста въ дилижансѣ, и на другое же утро отправиться въ Парижъ.

Было уже очень поздно, когда оба мы, насыщенные ужиномъ и страшно измученные ходьбою, возвратились въ номеръ своей гостиницы и улеглись въ постель. Постели были такъ хороши, что предстояла даже опасность проспать поѣздку въ Парижъ; когда я сообщимъ объ этомъ М. В.—онъ спалъ уже какъ убитый.

IV.

Парижскія впечатлѣнія.

Отъѣздъ изъ Бреста.—Многосложная біографія.—Виды Бретани.—Первое впечатлѣніе.—Бульвары при вечернемъ освѣщеніи.—Домъ Дюма-отца — Фланерство.—Тюльерійскій садъ и дворецъ.—Пале-Ройяль.—Богатство и мизерность въ образѣ café des aveugles et du sauvage.—Соотечественникъ.—Ambigu comique.—Гризетка.—Машинистъ и писатель.—Змѣя, выдержавшая 150 представленій сряду.—М. В. пропадаетъ.—Лувръ.—Соборъ Богоматери — Дюма-сынъ.—Картина съ натуры въ мрачномъ вкусѣ —M-lle Rosalba.—Мабиль и его нравы.—Роскошь—Заключеніе.

Насколько скученъ былъ переходъ изъ Ниборга до Англійскаго канала, настолько весело намъ было ѣхать черезъ Бретань до Парижа. Съ одной стороны,—несомнѣнная увѣренность, что пройдены наконецъ ненавистные Категатъ, Скагеракъ и Нѣмецкое море; съ другой стороны,—улыбающаяся перспектива быть завтра въ Парижѣ! Двухъ такихъ фактовъ уже довольно, чтобы оживить самыхъ апатическихъ смертныхъ и дать игривое направленіе самымъ нахмуреннымъ мыслямъ.

По обыкновенію своему, боясь опоздать къ часу отъѣзда, я разбудилъ ни свѣтъ, ни заря М. В*. Дилижансъ отходилъ въ семь. Въ половинѣ седьмого, мы явились передъ конторою, сопровождаемые малымъ исполинскаго роста, котораго взяли мы изъ гостинницы для переноски багажа.

Дилижансъ только что выкачивали изъ сарая и устанавливали.

Экипажъ принадлежалъ къ разряду тѣхъ старыхъ, давно заброшенныхъ coucou, которые такъ любитъ Поль-де-Кокъ; древность дилижанса придавала ему историческую занимательность; онъ былъ, вѣроятно, не только свидѣтелемъ многихъ переворотовъ, но очевидно принималъ въ нихъ даже личное участіе; облупленная желтая краска

наружныхъ стѣнъ его, искалѣченная, заржавленная оковка,—ясно говорили, что ему не разъ приводилось лежать поперегъ улицы и служить подкрѣпленіемъ баррикады; уцѣлѣвшій coucou попалъ тогда въ руки промышленности, которая совершенно измѣнила его наружность: къ переднимъ двумъ мѣстамъ прилѣпился сзади огромный ящикъ для укладки почты; надъ верхомъ ящика воздвиглась кожаная арка, долженствовавшая вмѣщать пассажирскіе чемоданы впереди, передъ сидѣньемъ кучера и входомъ подъ кожаную арку, открылись еще два мѣста, получившія названіе: place de l'impériale.

Мѣста эти намъ очень понравились; оттуда удобнѣе было разсматривать виды и вообще было тамъ свободнѣе. Но мѣста были заняты; пока мы объяснялись съ кондукторомъ, въ контору вошли два пассажира.

— Обратитесь къ этимъ двумъ господамъ, сказалъ кондукторъ: —я увѣренъ, они не сдѣлаютъ никакихъ препятствій; имъ, безъ сомнѣнія, пріятнѣе будетъ сидѣть въ coupé.

Два господина тотчасъ-же согласились. Мы поспѣшили взобраться наверхъ; но къ удивленію нашему, тамъ сидѣлъ уже какой-то молодой человѣкъ. Оказалось, что въ имперіалѣ было не два мѣста, какъ мы предполагали, а цѣлыхъ три. Спутникъ нашъ къ счастію не былъ толстъ и мы кое-какъ уладились.

Между тѣмъ запрягали лошадей и укладывали чемоданы.

Ровно въ семь часовъ кондукторъ и кучеръ,—оба въ синихъ блузахъ,—усѣлись на козлы, раздалось новое для нашего слуха: hue! allons, hue donc!—захлопалъ бичъ и дилижансъ покатился.

Дорога сама уже по себѣ располагаетъ къ болтливости,—особенно при началѣ, на первыхъ двухъ станціяхъ; но когда къ этому путешественники весело еще настроены, сообщительность превращается въ неодолимую потребность. По прошествіи пяти минутъ, всѣ, сидѣвшіе въ имперіалѣ, не выключая кучера и кондуктора, вели между собою оживленную бесѣду.

Особенною болтливостію отличался нашъ молодой спутникъ; у него, повидимому, чесался языкъ уже съ той минуты, какъ сѣли подлѣ него русскіе; онъ былъ въ Россіи и узналъ насъ по выговору; впрочемъ у французовъ удивительное чутье узнавать русскихъ. Онъ тотчасъ, безъ дальнихъ предисловій, приступилъ къ повѣствованію своей жизни. Въ юности отецъ отдалъ его въ семинарію; получивъ въ скоромъ времени отвращеніе отъ духовнаго званія, онъ бѣжалъ и опредѣлился юнгой на купеческое судно; морская

жизнь не замедлила точно также разочаровать его; онъ рѣшительно не зналъ, куда дѣвать себя, когда случайно встрѣтился съ господиномъ, устраивающимъ фонари для маяковъ; господинъ ѣхалъ въ Россію и предложилъ юношѣ ему сопутствовать. Ни господинъ не зналъ юноши, ни юноша господина; оба не имѣли понятія о Россіи; тѣмъ не менѣе оба однакожъ отправились; они не сомнѣвались вернуться оттуда съ состояніемъ. Но увы!—въ Россіи не встрѣтилось никакой надобности въ маякахъ; господинъ пропалъ безъ вѣсти; юный товарищъ его не упалъ духомъ: онъ принялся за выдѣлку застежекъ и замочковъ для портмоне. Такъ провелъ онъ годъ;— c'était, parbleu, une bien pénible année! Потомъ случай свелъ его съ помѣщикомъ, который уговорилъ его ѣхать съ нимъ въ Орелъ въ качествѣ гувернера; юноша, конечно, согласился; проведя три года въ деревнѣ, онъ возвращался теперь на родину, сгарая желаніемъ обнять престарѣлыхъ родителей.

— Что-жъ вы потомъ думаете дѣлать? спросилъ я.

— Ma foi, je n'en sais rien moi même! Думаю снова отправиться въ Россію; но уже поѣду теперь въ Сибирь или на Амуръ; мнѣ давно хотѣлось побывать въ тѣхъ мѣстахъ!...

Между тѣмъ мы выѣхали изъ воротъ Бреста.

Вплоть до Ландернó, маленькаго городка въ двадцати верстахъ отъ Бреста, не встрѣчается ничего, заслуживающаго особенно вниманія. Дорога постоянно идетъ въ гору; въ обѣ стороны, на необглядное пространство, убѣгаютъ неровные каменистые скаты, покрытые кой-гдѣ тощимъ, темнымъ кустарникомъ; иногда на поворотахъ покажется справа или слѣва синій горизонтъ океана; но не успѣешь обернуться въ ту сторону, какъ уже снова все заслонилось кустами и сѣрыми, каменистыми изгибами.

Подъѣзжая въ Ландернó, я былъ удивленъ страннымъ зрѣлищемъ: вправо, на большой глубинѣ, открылась между деревьями широкая долина, покрытая сплошною корою темной, глянцовитой грязи; по скатамъ долины и на самомъ днѣ лѣпилось множество судовъ всякаго рода: которое стояло прямо на килѣ, которое лежало на боку; всѣ были вполнѣ оснащены и даже на многихъ раздувались паруса.

Кондукторъ поспѣшилъ объяснить мнѣ, что всѣ эти суда пользовались отливомъ, чтобы поконопатиться и посмолиться; вечеромъ, вмѣстѣ съ приливомъ, они опять уйдутъ въ море. Меня поразила высота и быстрота океанскаго прилива, который каждый день, утромъ

и вечеромъ, пробѣгаетъ пространство въ двадцать верстъ и на такомъ разстояніи можетъ подымать большія суда. Впрочемъ въ Брестѣ приливъ достигаетъ иногда восемнадцати футовъ вышины.

По мѣрѣ того какъ удаляешься отъ океана, мѣстность принимаетъ характеръ болѣе оживленный и живописный. Причудливо нагроможденныя горы и скалы, покрывающія эту часть Бретани, изламываютъ дорогу на всѣвозможные лады. На каждомъ поворотѣ открываются новые виды.

То спускаешься въ дикую пропасть, кругомъ обставленную отвѣсными гранитными скалами, вырѣзывающими въ голубомъ небѣ чудовищно-фантастическую профиль; то дорога изгибается надъ бездною, и бѣдный нашъ coucou чуть не задѣваетъ однимъ бокомъ висящую надъ нимъ кремнистую стѣну, изрытую порохомъ. То взбирается дорога на вершину, и тогда во всѣ стороны открывается широкая панорама зеленѣющихъ долинъ и холмовъ,—отраслей Гименейскихъ горъ (Guiménée). Здѣсь замѣтно несравненно больше населенія, чѣмъ отъ Ландерно до Бреста. Часто проѣзжали мы мимо деревень и отдѣльныхъ фермъ, окруженныхъ садами и пашнями; но все это — и дома, и пашни казались мнѣ бѣднѣе, чѣмъ въ Даніи, надо признаться, все смотрѣло далеко не такъ привѣтливо, чисто и даже весело — даромъ-что освѣщалось яркимъ блескомъ полуденнаго солнца; сельскіе дома, выстроенные изъ плитняка, неоштукатуренные, крытые темною черепицей и чаще соломой, прорѣзанные маленькими окнами, имѣютъ видъ унылыхъ, подслѣповатыхъ старичковъ; почти подлѣ каждаго дома возвышается въ уровень съ крышей гора навоза; покривившіеся соломенные навѣсы, тонкій дворъ съ развѣшаннымъ поперегъ тряпьемъ на веревкѣ, сломанныя лѣстницы, валяющіяся кадки, куры, бѣгающія въ безпорядкѣ,—все это хорошо только въ картинахъ. Насколько прелесть датскаго ландшафта заключается въ общемъ впечатлѣніи чистоты, приволья и хозяйственности, настолько здѣсь все ограничивается одной красотой мѣстности. Не будь здѣсь горъ, тучной зелени вяза, мѣстами позолоченной осенью, яркихъ переливовъ свѣта и тѣни,—не захотѣлось бы выглянуть изъ окна кареты.

Но что чрезвычайно мило въ Бретани и дѣйствительно можетъ быть находкой для живописца, — это маленькіе города, которые встрѣчаются на днѣ долинъ. Всѣ дома, — сбитые обыкновенно въ одну кучку и выглядывающіе одинъ черезъ другой своими черепичными острыми крышами,—тѣсно обступаютъ берегъ рѣчки, облѣп-

ленный самыми живописными мельницами; все тонетъ въ зелени; внизу—сѣрыя, головастыя ветлы, выше— вязы, перепутанные плющемъ; еще выше надъ кровлями возвышаются, какъ минареты, темные, пирамидальные тополи; кой-гдѣ надъ водою деревянные навѣсы, прикрывающіе толпу женщинъ; высунувшись по-поясъ на солнце, онѣ моютъ бѣлье, наполняя весь городокъ своимъ смѣхомъ и пѣснями. Кругомъ, точно задняя декорація въ театрѣ, подымаются громадные, угрюмые утесы, которые контрастомъ своимъ придаютъ городку еще больше миловидности и веселости; часто, на самой макушкѣ вершины, чернѣютъ въ небѣ развалины стараго феодальнаго замка.

Отъ S-t Brieuc до Рéнна, проѣзжаешь собственно самой сердцевиной старой Бретани. Тутъ мѣстность и самая почва принимаютъ опять особый характеръ. Камня и скалъ какъ не бывало; шоссе стелется все время прямымъ полотномъ, слегка взволнованнымъ холмами, перерѣзывающими ландшафтъ холодными, строгими линіями. Вся страна принимаетъ мало-по-малу строгій, задумчивый характеръ; видъ рѣдко оживляется зеленью; нигдѣ не показываются маленькіе веселые города на берегу рѣчки; ихъ замѣнили длинныя селенія съ узкой, извилистой улицей, обставленной сплюснутыми домами изъ плитняка и крытыми темной черепицей. Особенно непріятно поражаютъ деревянные переплеты стѣнъ и ставни, выкрашенные черной краской; на всемъ вскрѣчаешь здѣсь печать чего-то траурнаго; края дороги усѣяны деревянными крестами, рабочій народъ является какъ словно для того только, чтобы дополнить впечатлѣніе печали: женщины въ черныхъ шерстяныхъ платьяхъ и бѣлыхъ высокихъ чепцахъ; мужчины въ длинныхъ колпакахъ, на подобіе тѣхъ, какіе носятъ лазарони, но только не красныхъ, а черныхъ; куртки ихъ и панталоны того же цвѣта; прибавьте къ этому темный грунтъ земли, исполосованный по всѣмъ направленіямъ рядами растрепаннаго, колючаго кустарника, сухость очертаній и скудность природы, вы получите вѣрный очеркъ страны.

При всемъ томъ, переѣздъ черезъ Бретань оставляетъ хорошее впечатлѣніе. Веселое настроеніе духа, овладѣвающее путешественникомъ при выѣздѣ изъ Бреста, скоро утомляетъ; радуешься случаю отдохнуть на время подъ вліяніемъ раздумья, которое невольно сообщаетъ страна. Ея угрюмый видъ вполнѣ гармонируетъ съ глубокой драмой, которую представляетъ исторія Бретани.

Вся красота ея въ прошедшемъ, въ ея минувшей жизни. При-

знаки этихъ воспоминаній разсыпаны на всемъ, куда ни обращаешь глазъ; нѣтъ, кажется, такого холмика, нѣтъ ручья и стараго дупла, о которыхъ бы до сихъ поръ любой крестьянинъ не разсказалъ преданья и легенды. Въ этомъ отношеніи, впрочемъ, вся Франція земля удивительная! Столько было въ ней пережито, что не найти такой квадратной мили на всемъ ея пространствѣ, которую могла бы обойти исторія.

Отчего же, думалъ я,—и думалъ объ этомъ, могу васъ увѣрить, съ сокрушеннымъ сердцемъ,—отчего же путешествіе по Россіи такъ мало оживляется воспоминаніями? Неужто мы не жили?.. (Тутъ невольно приходитъ на умъ монументъ, заказанный въ память тысячелѣтія). Если мы жили, отчего же у насъ такъ мало историческихъ памятниковъ? отчего все былое изгладилось изъ памяти народа? отчего здѣсь, въ любомъ крестьянскомъ семействѣ, изъ рода въ родъ передаются преданья, и до сихъ поръ такъ еще живы они въ народѣ; отчего у насъ не сохранилось въ народѣ ни одного почти разсказа о быломъ? Мнѣ больно было припоминать, какъ недавно одинъ мой знакомый, проѣзжая мимо Куликовскаго поля, спросилъ нарочно у ямщика, что здѣсь за мѣсто:—„а кто его знаетъ! съ французомъ что-ли-то война была!..“ отвѣчалъ ямщикъ.—Двѣнадцатый годъ—послѣднее историческое воспоминаніе русскаго народа. Слово: „татары“ произносится, но воспоминаніе о нихъ ограничивается только словомъ; все остальное окружено непроницаемымъ туманомъ. Проѣзжаете черезъ Новгородъ: много ли вамъ тамъ народъ поразскажетъ? Достаточно, что домъ Марѳы посадницы былъ превращенъ въ кузницу, чтобы всѣ кузницы шли за домъ Марѳы посадницы. Подъ Каширой и Коломной огромные курганы и крѣпостной валъ, каширцы и коломенцы роютъ въ нихъ бани, ни мало не любопытствуя узнать, откуда взялись такія насыпи. И такъ далѣе, вплоть до Малороссіи; тамъ опять пошли въ народѣ историческія воспоминанія, преданья и легенды одна другой поэтичнѣе.

Всему, говорятъ, татары виноваты!.. Такъ ли это?.. Главная причина всему закоснѣлая дикость, невѣжество, безграмотность и отупѣніе,—неизбѣжныя послѣдствія трехсотъ-лѣтняго крѣпостного состоянія.

Всѣ эти замѣчанія, вызванныя, повѣрьте, весьма горькимъ чувствомъ, безъ сомнѣнія разсердятъ патріотовъ и помѣщиковъ; помѣщикамъ, которые, въ настоящее время, стоятъ за крѣпостное право, не отвѣчаетъ уже ни одинъ человѣкъ, сколько-нибудь себя ува-

жающій; что же касается до патріотовъ, они раздраженіемъ своимъ докажутъ, что дѣйствительно люди русскіе... въ томъ смыслѣ, конечно, что потеряли привычку слушать правду и поражаются ею, какъ будто чѣмъ-то чудовищнымъ.

Проѣхавъ S-t Brieuc, на третьей или четвертой станціи, М. В., я и нашъ юный французъ были перепуганы самымъ неожиданнымъ образомъ. Начало уже смеркаться и насъ клонило къ дремотѣ, какъ вдругъ, непосредственно за нашими спинами, у входа подъ кожаную арку дилижанса, послышался шорохъ и вслѣдъ затѣмъ сиплый, надорванный голосъ прокричалъ:

— Ohé, cocher!.. Ohé? avons nous passé S-t Jouan?..

Откинувшись въ сторону, мы увидѣли солдата съ заспаннымъ лицомъ и дыбомъ всклоченными волосами.

— Нѣтъ, еще не проѣхали, отвѣчали ему кондукторъ и кучеръ:—мы вамъ скажемъ, когда придетъ время.

Успокоивъ такимъ образомъ солдата, который снова нырнулъ подъ арку и улегся, кучеръ сообщилъ намъ, что пассажиръ этотъ никто другой, какъ контрабандный товаръ; не имѣя чѣмъ заплатить за дорогу, солдатъ этотъ спрятался на имперіалѣ, когда дилижансъ стоялъ еще въ сараѣ; кучеръ и кондукторъ пожалѣли его и обѣщали даже довезти до мѣста назначенія.

— C'est un pauvre diable après tout; ça ne ruinera pas l'entreprise! промолвилъ кондукторъ.

Несмотря на свою инвалидную наружность, нашъ coucou подвигался однакожъ очень исправно. Всего удивительнѣе было, что кучеръ ни разу не ударилъ по лошадямъ и лошади ни разу не вышли изъ мѣрной рыси. Сначала мы не переставали волноваться и поминутно обращались къ кондуктору съ замѣчаніемъ, что, если такъ пойдетъ дѣло, мы всюду будемъ опаздывать и никогда не пріѣдемъ.

— Не безпокойтесь! весело возражалъ кучеръ, вынимая изъ кармана серебряную луковицу, вѣсомъ съ фунтъ по крайней мѣрѣ,— вотъ они, глазъ не спускаю; если мы гдѣ-нибудь хоть десятью минутами просрочимъ, вы получите назадъ ваши деньги! — „Allons, hue donc la Blanche! hue! присовокупилъ онъ, дружелюбно покрикивая на лошадей.

И дѣйствительно, мы нигдѣ не опаздывали. Дѣло въ томъ, что здѣсь, благодаря исправности и порядку, не пропадаетъ секунды времени. Едва показалась въ-далекѣ станія, смѣночныя лошади

уже выведены и дожидаются, безъ предувѣдомленія рожка; закладка продолжается не долѣе минуты; здѣсь не существуетъ жребія, который никогда не кончается, старостъ, которые никогда не являются и если являются, то для того только, чтобы просить на водку; будьте вы хоть десять разъ генераломъ, васъ не прождутъ лишней минуты противъ назначеннаго срока; кондукторъ, не смотря на скромную блузу свою, оставитъ васъ на дорогѣ безъ дальнѣйшихъ церемоній. Много времени выигрывается черезъ то еще, что никогда не случается, чтобы лопались постромки, соскакивали гайки и кучеръ ронялъ бы свой кнутъ, акуратно на каждой верстѣ.

Путешествуя впослѣдствіи по Нормандіи, Германіи и Англіи, я всюду встрѣчалъ тотъ же порядокъ. Ѣдешь, кажется, едва двигаешься; а пріѣдешь всегда во время, — минута въ минуту.

Съ зарею мы прибыли въ Rennes; мы простились съ дилижансомъ и пересѣли въ вагонъ.

Тутъ все перемѣнилось; насъ словно сразу перенесли изъ мирнаго уединенія въ шумное общество; оглушенные свистомъ машины, грохотомъ тачекъ, навьюченныхъ чемоданами, быстрымъ говоромъ съ рѣзкимъ удареніемъ на р, — мы въ первую минуту потеряли голову и сами начали суетиться безъ всякой надобности. На каждой станціи толпа прибывала, а вмѣстѣ съ нею и давка; вездѣ показывались тоненькія барышни съ черными глазами, черными волосами и неуловимо-скорыми движеніями, толстыя и худощавыя маменьки, съ сѣдыми буклями, трепещущими увядшими цвѣтами на шляпкахъ и пестрыми шерстяными cabats въ рукѣ; разжирѣвшіе буржуа, съ животами и оплывшими лицами; нянюшки съ дѣтьми, разодѣтыми какъ новыя куколки; вострыя и косыя физіономіи, увѣнчанныя chapeau claque или bonnet de police; франты, торопливо докуривающіе сигары и проч. и проч.; все это бросалось изъ стороны въ сторону, тискалось другъ на дружку, призывая кондукторовъ, и кидалось въ вагоны, которые уносили насъ далѣе.

Вотъ промелькнули Laval, Le Mans, Chartres, куда такъ давно мечталъ я доѣхать, чтобы взглянуть на знаменитый соборъ. Чѣмъ ближе придвигались мы къ Парижу, тѣмъ знакомѣе звучали въ ушахъ названія мѣстъ, городовъ, станцій, — и тѣмъ болѣе усиливалось лихорадочное нетерпѣніе. Несмотря на быструю ѣзду, дома мелькали непрерывными рядами; часто то тутъ, то тамъ показывались виноградники, усѣянные народомъ; къ сожалѣнію, картина сбора винограда исчезала такъ же быстро, какъ и все остальное.

— Versailles! прокричали кондукторы, пробѣгая мимо вагоновъ.

Я поспѣшно выглянулъ изъ окна; передо мною воздвигалась гладкая стѣна, оклеенная сверху до низу желтыми, красными и синими афишами, съ аршинными буквами. Опять свистокъ, опять поѣхали.

— Который часъ?

— Безъ четверти четыре!

— Черезъ четверть часа мы въ Парижѣ!

— Гдѣ онъ? Не видать ли?.. слышалось въ разныхъ концахъ вагона.

Вотъ наконецъ и Парижъ; паровозъ остановился;—пріѣхали!

Мы спустились по широкой каменной лѣстницѣ въ огромную залу, гдѣ пассажирамъ раздаются чемоданы; слѣва находятся большія настежъ раскрытыя ворота, откуда видна часть города, усѣянная куполами и башнями, исполосованная впадинами улицъ и убѣгающая въ глубину туманнаго горизонта; слѣва рисуется куполъ инвалидовъ, освѣщенный заходящимъ солнцемъ. Ворота эти нарочно, кажется, для того только и устроены, чтобы раздражать путешественника; раздача чемодановъ происходитъ неимовѣрно долго; они доставляются сверху и спускаются въ залу черезъ потолокъ на трапахъ, которые вдесятеро больше производятъ грома, чѣмъ дѣлаютъ дѣла. Мы ждали около часа, прежде чѣмъ получили багажъ и усѣлись въ карету.

— Où voulez vous aller? спросилъ кучеръ въ лакированной шляпѣ и красномъ жилетѣ.

— Rue d'Amsterdam, 77!..

Это былъ адресъ Дюма-отца, который просилъ меня остановиться у него въ домѣ, когда я буду въ Парижѣ. Самъ Дюма въ это время путешествовалъ.

Прежде еще, чѣмъ думалъ я когда нибудь быть въ Парижѣ, я зналъ его, какъ свои пять пальцевъ,—зналъ лучше даже Петербурга. Благодаря безчисленнымъ описаніямъ, гравюрамъ, политипажамъ и литографіямъ, которыми французы знакомятъ цѣлый свѣтъ со своею столицей, я могъ начертить на память главныя линіи огромнаго города; фасадъ каждаго замѣчательнаго зданія, памятника, площади встрѣчались, какъ давнишніе знакомые.

— Вотъ проѣхали мы отжившее Сен-Жерменское предмѣстье, пояснилъ я М. В., который зналъ Парижъ такъ же мало, какъ я

Пекинъ:—сейчасъ выѣдемъ на набережную... Вотъ и Сена! Видите, направо вдалекѣ эти двѣ башни,—это церковь Богоматери; а вотъ впереди, прямо противъ насъ, Лувръ и рядомъ съ нимъ, лѣвѣе, Тюльерійскій дворецъ. Еще лѣвѣе Тюльерійскій садъ... а вотъ и Елисейскія поля показались!..

Бесѣдуя такимъ образомъ, миновали мы Сену и въѣхали на площадь Согласія. Вотъ и улица Риволи направо. Она показалась мнѣ съ перваго взгляда однообразною; проѣхавъ еще нѣсколько времени по прямому направленію, я снова взглянулъ направо; мнѣ хотѣлось убѣдиться вѣрное ли понятіе составилъ я себѣ о бульварахъ:—ничего, хорошо! То, что я воображалъ, оправдывалось. Миновавъ церковь Магдалины, мы долго подымались по шумной, суетливой улицѣ; наконецъ фіакръ остановился передъ узенькимъ трехъэтажнымъ домомъ, съ широкими коричневыми воротами.

Почти въ то-же время, въ воротахъ отворилась маленькая дверь и на порогѣ показалась худощавая женщина, въ чепцѣ и сѣрыхъ пукляхъ.

Я разсказалъ ей, въ чемъ дѣло.

— Мы васъ давно ждемъ, сказала она. — Господинъ Дюма предупредилъ письмомъ, что вы будете; войдите, m-r Grégory, войдите... все для васъ давно приготовлено...

Она ввела насъ въ кухню, потомъ въ темную комнату и мы начали подыматься по витой лѣстницѣ въ третій этажъ. Было уже около семи часовъ; сумерки наводняли домъ такимъ мракомъ, что ничего нельзя было разсмотрѣть. При пламени свѣчки, которую зажгла женщина, введя насъ въ маленькую комнату, я могъ только различить зеленыя шерстяныя обои, громадный брюхастый умывальникъ и широкую постель, кругомъ простеганную ватой и обитую пестрой богатой матеріей.

Тереза (такъ звали кухарку, экономку и bonne Дюма) предложила сходить въ ближайшій трактиръ за обѣдомъ, предлагала ванну и потомъ постель для отдохновенія послѣ дороги; но до того ли было! Мы принялись одѣваться съ такою поспѣшностію, какъ будто завтра Парижъ долженъ былъ непремѣнно провалиться и намъ никогда уже больше не удастся его видѣть.

Взявъ у Терезы ключъ отъ наружной двери дома, мы чуть не бѣгомъ пустились прямо къ бульварамъ.

На улицахъ сіялъ уже газъ; возни и шуму было, казалось, еще больше, чѣмъ когда, часъ назадъ, мы проѣзжали.

*

У церкви Магдалины я остановился, чтобы перевести духъ.

— Послушайте, М. В., сказалъ я:—куда жемы такъ бѣжимъ?..

— Какъ? вѣдь все это надо успѣть осмотрѣть: —'посмотрите-ка, что за великолѣпіе! подхватилъ М. В., порываясь впередъ.

— Великолѣпіе останется, не убѣжитъ отъ насъ; вы совсѣмъ забыли, кажется, что мы сегодня почти ничего не ѣли...

— Забылъ, отвѣчалъ онъ, не слушая и снова порываясь впередъ.

— А я такъ не забылъ и умираю отъ голода... отчасти также и отъ усталости...

Въ отысканіи кафе не представлялось затрудненій; кругомъ было ихъ нѣсколько. Мы вошли въ первый попавшійся на глаза, отлично, хотя торопливо, пообѣдали и снова побѣжали.

Я едва поспѣвалъ за моимъ товарищемъ.

Первое наше знакомство съ Парижемъ было очень эффектно: по впечатлѣнію, дѣйствительно трудно найти что нибудь подобное парижскимъ бульварамъ, особенно при вечернемъ освѣщеніи. Непрерывный рядъ великолѣпныхъ магазиновъ, залитыхъ газомъ и ослѣпляющихъ страшнымъ разнообразіемъ и пестротою своихъ товаровъ, роскошные кафе, облѣпленные внутри зеркалами, повторяющими сотни огней, шумный говоръ толпы, крики продавцевъ, неумолкаемый гулъ каретъ и омнибусовъ, хлопанье бичей, движеніе взадъ и впередъ,—все это съ перваго раза производитъ дѣйствіе страшнаго утомленія и, вмѣстѣ съ тѣмъ, какого-то сладкаго опьяненія. Чувствуешь, что голова идетъ кругомъ, глаза ослѣпляются, ноги подкашиваются, а между тѣмъ оторваться нѣтъ силы и все идешь да идешь впередъ.

Такъ подвигались мы, то увлекаемые толпою, то сами за ней увлекаясь.

Дойдя почти до Porte S-t Martin, я почувствовалъ, что рѣшительно не могу идти далѣе; еще десять шаговъ, и я повалился бы на мостовую.

— Ну, можно ли быть такимъ слабымъ, можно ли? повторялъ М. В., бросая во всѣ стороны жадные взгляды:—можно ли!.. Я готовъ проходить такимъ образомъ четверо сутокъ не отдыхая,—ей-богу готовъ.

— Покорно васъ благодарю, отвѣчалъ я, едва имѣя силы, чтобы позвать кучера.

Мы взяли фіакръ и покатили въ улицу d'Amsterdam.

На другое утро первымъ нашимъ дѣломъ было осмотрѣть домъ, въ которомъ мы помѣстились.

Домъ Дюма-отца интересенъ въ томъ отношеніи, что онъ сразу знакомитъ васъ съ характеромъ своего владѣльца,—человѣка, одареннаго артистическимъ вкусомъ, и еще болѣе—самой непостоянной, самой капризной фантазіей. На всемъ слѣды роскоши, страшной неряшливости и всюду великолѣпныя затѣи, остановленныя при самомъ началѣ. Драгоцѣнный рѣзной шкафъ шестнадцатаго столѣтія стоитъ въ комнатѣ, обитой бархатной матеріей, которая мѣстами съѣдена сыростью, мѣстами виситъ лохмотьями; бѣлье, связки бумагъ, книги, покрытыя пылью, въ безпорядкѣ покрываютъ рѣдкую, очень дорогую мебель. Въ гостиной второго этажа потолокъ и стѣны отдѣланы въ китайскомъ вкусѣ и обтянуты удивительной китайской тканью, тутъ же старый, ободранный ситцевый диванъ, загроможденный разрозненными книгами, рамами, обломками разной мебели и всякимъ пыльнымъ хламомъ. Двѣ-три отличныя картины и между ними копѣечныя литографіи. Въ третьемъ этажѣ множество очень дорогого китайскаго фаянса и фарфора; но все это разставлено зря и покрыто паутиной. Тамъ же, изъ террасы, Дюма устроилъ маленькій зимній садъ: зеленый трельяжъ на стѣнахъ, вьющійся плющъ, тропическія растенія и посреди нихъ бронзовая статуя Аполлона,—все это очень мило; но полъ сгнилъ и во многихъ мѣстахъ обвалился; сверху въ крышѣ недостаетъ многихъ стеколъ и при каждомъ дождѣ здѣсь происходитъ наводненіе. Дюма отдѣлалъ этотъ домъ для какого-то праздника; съ тѣхъ поръ онъ больше о немъ не заботится, мало даже живетъ въ немъ; большею частію ведетъ онъ жизнь кочевую.

Изъ заднихъ двухъ комнатъ нижняго этажа выходъ въ маленькій садикъ, представляющій крайнюю степень запустѣнія; на днѣ его возвышается шале, очень красивое деревянное зданіе, которое выстроилъ самъ Дюма и которое, неизвѣстно почему, получило названіе „Нельской башни“. Большое итальянское окно открывается въ садъ; подъ окномъ груда мусора и сора за десять лѣтъ. Окно освѣщаетъ небольшую комнату, стѣны которой покрыты сверху до низу сосновыми полками, заваленными связками бумагъ и рукописей; въ этой комнатѣ постоянно сидятъ нѣсколько наемныхъ писцовъ; обязанность ихъ состоитъ въ томъ, чтобы каждый новый романъ переписывать въ числѣ нѣсколькихъ экземпляровъ для разсылки въ Мадридъ, Бельгію и Вѣну. Три крошечныя комнатки за-

нимаютъ верхній этажъ этой Нельской башни; по всему видно, Дюма хотѣлъ здѣсь устроить изящный, комфортабельный пріютъ; но тутъ же ему это надоѣло и онъ все бросилъ, чтобы увлечься другой фантазіей. Несмотря на свои шестьдесятъ лѣтъ, онъ не можетъ успокоиться; онъ вѣчно чего-то ищетъ, чего-то ждетъ, остановится на какомъ нибудь несбыточномъ, фантастическомъ проектѣ, говоритъ о немъ и радуется ему, какъ ребенокъ, — и вдругъ, совершенно неожиданно, перестаетъ о немъ думать и даже сердится, когда ему объ этомъ напоминаютъ. Такъ купилъ онъ мѣсто въ окрестностяхъ Парижа и выстроилъ тамъ свою виллу Монте-Кристо; домъ стоилъ болѣе восьмисотъ тысячъ франковъ; продали его за сорокъ; я нахожу и то дорого; чего стоило новому владѣльцу осушить одинъ искусственный прудъ и вытащить изъ середины его огромную искусственную скалу, которая должна была представлять островъ Монте-Кристо, созданный Дюма, - этимъ фантазистомъ и увлекательнымъ разсказчикомъ въ литературѣ и балованнымъ младенцемъ въ жизни.

Спустившись въ садикъ, мы встрѣтились и познакомились тутъ же съ тремя господами: одинъ былъ довѣренный по дѣламъ Дюма, другой секретарь Дюма, третій также секретарь, но только не Дюма, а другого, очень также извѣстнаго французскаго писателя. „Что за секретари такіе и въ чемъ можетъ состоять ихъ должность?“ думалъ я, стараясь понять какая надобность литератору или художнику въ секретарѣ или chargé d'affaires. Впослѣдствіи, познакомившись короче съ артистическимъ кругомъ Парижа, я открылъ, къ великому моему удивленью, что не было почти ни одного, сколько нибудь извѣстнаго литератора, живописца или скульптора, который не имѣлъ бы своего секретаря. Должность такого лица заключается въ томъ, чтобы исполнять мелкія порученія, относить письма на почту, дѣлать визиты заимодавцамъ, продавать книжки и театральные билеты, посылаемые автору, прислушиваться за дверью, какъ издатель высчитываетъ автору наполеондоры и получать изъ числа ихъ ровно столько, чтобы не умереть съ голоду. Такія порученія, конечно, могли бы исполнить лакей или la bonne; но тогда авторъ лишенъ былъ бы удовольствія припутывать къ своему разговору выраженіе: mon sécrétaire!

Чтобы дать вамъ полное понятіе объ этихъ секретаряхъ, стоитъ привести разговоръ мой съ однимъ изъ нихъ, тѣмъ самымъ, который жилъ въ домѣ извѣстнаго N. Онъ оказалъ мнѣ нѣсколько мел-

кихъ услугъ и наканунѣ моего отъѣзда пришелъ проститься. Въ это время я укладывался; придумывая, чѣмъ бы отблагодарить его, я въ ожиданіи предложилъ ему выбрать на память любой изъ моихъ новыхъ галстуковъ.

— Oh, m-r vous êtes vraiment trop magnifique! воскликнулъ секретарь такимъ тономъ, какъ будто я дѣлалъ счастіе его жизни.

— Помилуйте, это бездѣлица... это такъ, на память... бормоталъ я.

— Бездѣлица! подхватилъ онъ, дѣлая сильные жесты:—une bagatelle, fichtre! comme vous y allez! Une bagatelle! примолвилъ онъ, выбирая самый длинный, яркій галстукъ:—это бездѣлица! Обладать такимъ галстукомъ было любимѣйшею мечтою моей жизни! (секретарю было уже лѣтъ сорокъ и у него была дочь лѣтъ шестнадцати). Вотъ скоро двадцать лѣтъ, какъ я при N. и никогда, „au grand jamais", не подумалъ онъ предложить мнѣ что нибудь подобное... Но Бога ради, заключилъ онъ, понижая вдругъ голосъ и боязливо оглядываясь во всѣ стороны:—Бога ради, при встрѣчѣ съ N. не говорите, что вы мнѣ что-нибудь дали... Oh, il faut tout lui cacher,—tout, absolument tout!!

Если ужъ французъ началъ спускаться подъ гору рабства, онъ доходитъ до самой глубины пропасти; если французъ глупъ,—такого глупца не сыщешь уже въ цѣломъ свѣтѣ: у нихъ никогда, ни въ чемъ не бываетъ середины.

Раскланявшись съ новыми нашими знакомыми, мы снова пустились бродить по бульварамъ. Насилу могъ я убѣдить М. В. послѣдовать моему совѣту и съ перваго дня не бросаться осматривать памятники, зданія и достопримѣчательности. Пріѣзжая въ большіе города, я постоянно держался такого правила и никогда въ этомъ не раскаявался. Начавъ знакомство съ городомъ бѣготнею по музеямъ и церквямъ, выносишь только смутное, неполное впечатлѣніе, сумбуръ въ головѣ, мигрень, ломъ въ шеѣ и боль въ ногахъ. Необходимо прежде осмотрѣться хорошенько, усвоить себѣ общую физіономію города, успокоить въ себѣ то внутреннее волненіе и безпокойство, которое невольно овладѣваетъ человѣкомъ въ первые дни послѣ пріѣзда въ новую страну или новый городъ.

Въ Парижѣ такое успокоеніе болѣе, чѣмъ гдѣ-нибудь необходимо. Уличная, фланерская жизнь въ самомъ дѣлѣ здѣсь очень увлекательна; надо исчерпать ее до дна, чтобы она окончательно

утомила и надоѣла; въ противномъ случаѣ, она долго не дастъ покоя и постоянно будетъ отвлекать васъ. Во многихъ отношеніяхъ здѣсь нельзя даже считать фланерство празднымъ, пустымъ препровожденіемъ времени. Такъ какъ почти все населеніе Парижа живетъ на улицахъ, фланерство даетъ возможность знакомиться съ нравами, которые часто интереснѣе памятниковъ. Кромѣ того, историческій интересъ памятниковъ,—большею частію заказныхъ и оффиціальныхъ, — далеко не такъ говоритъ воображенію, какъ иногда самая обыкновенная улица, площадка, фасадъ какого-нибудь вовсе незамѣтнаго дома. Парижъ пережилъ такъ много, жилъ такою лихорадочною и часто трагическою жизнію, что стоитъ обратить глаза на любое мѣсто, чтобы передъ вами развернулись страницы, исполненныя самой захватывающей занимательности. Огромныя перестройки во многомъ, конечно, измѣнили физіономію прежняго Парижа, но все же не настолько, чтобы усыпить любопытство и заставить забыть прошлое.

Вотъ хоть-бы Тюльерійскій дворецъ и садъ, куда незамѣтно привело насъ фланерство. Передъ дворцомъ кипитъ работа; террасу со стороны Сены превращаютъ въ крѣпостной гласисъ, съ котораго, при надобности, свободно можно будетъ обстрѣливать всю окрестность дворца и сада; гласисъ обкладываютъ дерномъ, вездѣ устроиваютъ на немъ клумбы; уже на многихъ клумбахъ разводятъ цвѣты. Толпы дамъ, дѣтей и кавалеровъ восхищаются травою, цвѣтами и тѣмъ еще, что Наполеонъ неусыпно печется объ украшеніи столицы. Но развѣ терраса эта при своемъ теперешнемъ видѣ и самый фасадъ дворца не вызываютъ, все равно, другихъ воспоминаній...

Характеръ французовъ рѣшительно ставитъ въ тупикъ; не знаешь чему больше удивляться, силѣ или слабости, огню или быстротѣ охлажденія, или мелочности, соединенной со страшной непослѣдовательностію и легкомысліемъ; нравственная эта мозаика отражается во всемъ; въ исторіи народа и самой его жизни. Рождается-ли здѣсь великая мысль,—сосѣдній народъ принимаетъ ее только на половину и выходитъ изъ этого важный результатъ; у французовъ великая эта мысль часто оканчивается ничѣмъ, пшикомъ. Французъ кажется физически такимъ жиденькимъ, а между тѣмъ, какъ недавно еще, завоевываетъ онъ полъ-міра, производитъ работы подъ силу однимъ титанамъ; строитъ Тюльерійскій дворецъ, Лувръ, перебрасываетъ вездѣ колоссальные мосты, усыпаетъ всю страну рельсами въ какія-нибудь пятнадцать лѣтъ, ломаетъ весь

Парижъ и строитъ на его мѣстѣ совсѣмъ почти новый городъ. Онъ мелоченъ, легкомысленъ,—и это не мѣшаетъ ему писать отличныя книги, двигать впередъ науку, перехитрять въ политикѣ сосѣдей, вести торговлю такъ-же серьезно и въ такомъ-же масштабѣ, какъ въ Англіи.

Чтобы убѣдиться въ послѣднемъ, стоитъ бродить, какъ дѣлали мы съ М. В., по цѣлымъ днямъ на улицахъ. Весь нижній, часто даже второй этажъ парижскихъ домовъ, превращенъ въ одинъ сплошной магазинъ. Всѣ эти милліоны предметовъ, выставленные въ окнахъ и наполняющіе лавки, произведены самой Франціей безъ посторонней помощи: все сдѣлали Ліонъ, Бордо, Марсель, Руанъ, Туръ и проч. и проч. Нѣтъ въ цѣлой Франціи города, который не рвался-бы опередить другой мануфактурною своею дѣятельностью и не доставлялъ-бы Парижу своего промышленнаго образчика. Всѣ эти предметы вошли въ общее употребленіе, сдѣлались общею потребностью, покупаются цѣлымъ міромъ, который, въ обмѣнъ, отдаетъ французамъ свое золото.

Случалось намъ заходить въ большіе магазины: движеніе внутри ровно ничего не значитъ предъ тѣмъ, которое происходитъ въ заднихъ комнатахъ: тамъ толпы прикащиковъ исключительно заняты упаковкою товаровъ, предназначенныхъ для отправки во всѣ возможныя страны свѣта, за всѣ возможныя моря.

Только общая потребность этихъ издѣлій и можетъ объяснить громадное богатство Франціи и Парижа, который ежегодно тратитъ сотни милліоновъ на украшеніе своихъ улицъ и введеніе новыхъ удобствъ.

Въ тотъ же день зашли мы въ Пале-рояль; онъ такъ мнѣ понравился, что потомъ я часто туда заглядывалъ.

Назначеніе Пале-рояля то-же, что нашихъ гостиныхъ дворовъ, но что это за разница! Уже одно зданіе не можетъ идти въ сравненіе; оно поражаетъ своими размѣрами; оно свободно можетъ вмѣстить пять такихъ построекъ, какъ петербургскій гостиный дворъ. Подъ арками, идущими вокругъ сада, тянутся сплошною стеклянною стѣною самые роскошные магазины; здѣсь большею частію производится торговля золотыми издѣліями; голова кружится при видѣ этихъ горъ брилліантовъ, золотыхъ драгоцѣнныхъ вещей по части тонкой orfévrerie и bijouterie. При слабомъ характерѣ избави Боже отправиться сюда съ молоденькой женою или возлюбленной,—особенно парижанкой; человѣкъ пропалъ по прошествіи получаса!

Не знаю, искусство-ли, съ которымъ выставлены товары, блескъ-ли освѣщенія, суетливое-ли движеніе взадъ и впередъ,—но мнѣ казалось, что въ любомъ изъ этихъ пассажей больше торговли, чѣмъ на всемъ Невскомъ проспектѣ. Въ углахъ Пале-рояля дворы,—и снова магазины, снова шумъ и движеніе. Но это еще не все: внизу подъ сводами подвальнаго этажа мѣсто также не гуляетъ.

Проходя мимо одной лѣстницы, ведущей внизъ, услышали мы трескотню барабана и въ то-же время глазамъ предстала надпись на стѣнѣ схода. „Café des aveugles et du sauvage"; ну, какъ не зайти? При входѣ человѣкъ раздаетъ карточку, родъ афиши, вотъ она отъ слова до слова:

Tous les jours.

Scènes comiques et populaires.
Séance du Ventriloque
par l'homme à la poupée, connu en Europe sous le nom des Broudieu.
Exercices du sauvage.
chants, solos de violon et de flûte, éxécutés par un orchestre composé de musiciens Aveugles.

Мы поспѣшили сойти внизъ.

Къ великому удивленію нашему нашли мы тамъ тѣсную комнату съ закопчеными стѣнами и сводами; кругомъ лѣпились грязные столики такъ, что трудно было пройти между ними; задняя стѣна разгорожена пополамъ; слѣва сидятъ на возвышеніи пятеро слѣпыхъ стариковъ съ инструментами; справа на пространствѣ сажени открывается темная, грязная сцена. Въ этой клѣткѣ, крайне плохими актерами разыгрываются народныя сцены; тутъ является l'homme à la poupée, человѣкъ съ куклой, говорящій такимъ образомъ, что кажется, какъ будто говоритъ кукла, и наконецъ le sauvage. Дикій этотъ никто другой, какъ тощій французъ, одѣтый въ трико тѣльнаго цвѣта, съ перьями на головѣ и на поясѣ. Въ одномъ только афиша сказала правду и не преувеличила: представленія точно продолжаются круглый день; каждыя десять минутъ прислужникъ обходитъ посѣтителей и провозглашаетъ, что если имъ угодно остаться долѣе, слѣдуетъ спросить новую порцію чего-нибудь.

Снова мелкота и недостойное шарлатанство рядомъ съ истиннымъ великолѣпіемъ и громадностью.

Парижъ тѣмъ хорошъ для празднаго человѣка, что послѣдній можетъ составить себѣ программу увеселеній не только на день, но впередъ на цѣлую недѣлю. Пообѣдавъ въ Пале-роялѣ, мы спросили афишу, вмѣсто нея намъ подали газету, усыпанную названіями театровъ, пьесъ и актеровъ.

— Боже мой? Боже мой!.. повторялъ съ изумленіомъ М. В.— куда же идти?..

— Разумѣется, прежде всего въ Comédie Française; все намъ благопріятствуетъ: сегодня, какъ нарочно даютъ „Скупого" Мольера и самый театръ подъ бокомъ.

Мы отправились. Но подлѣ театра стояло уже такое множество народа, что надо было отложить надежду достать мѣсто.

— Если вы хотите взять ложу или stalle d'orchestre, сказалъ намъ обязательно сосѣдъ, замѣтившій, вѣроятно, наше неудовольствіе, обратитесь прямо въ кассу, тамъ, быть можетъ, еще достанете...

Мы обошли кругомъ театръ, вступили на дворъ и отыскали кассу, но къ кассѣ точно также нельзя было продраться.

— Мы, кажется, соотечественники... неожиданно пролепеталъ подлѣ меня господинъ.

— Вы русскій?..

— Да... я даже васъ знаю... мы встрѣчались...

— Извините, право не помню...

— Странно... проговорилъ соотечественникъ, перемѣняя вдругъ тонъ:—мы едва сошлись, какъ уже приходится васъ безпокоить... Я хочу взять ложу бель-этажа... и что-жъ? —оказывается, что у меня не достаетъ пяти франковъ... не можете-ли вы...

— Toutes les places sont prises! громовымъ голосомъ прокричалъ кассиръ, высовываясь изъ форточки.

Мы поспѣшили нырнуть въ толпу, которая хлынула въ двери, и такимъ образомъ потеряли изъ виду соотечественника.

Вечеръ проведенъ былъ однакожъ въ театрѣ. Но, Боже, что это за безобразіе! Мы попали въ Ambigu Comique, гдѣ давали пьесу: „Les fugitifs". Много приводилось видѣть на сценѣ всякой чепухи, оскорбляющей вкусъ, слухъ и зрѣніе, но подобной я еще никогда не видывалъ. Пьеса изъ пяти актовъ, представляетъ семейство добродѣтельнаго плантатора, которое скитается по первобытнымъ лѣсамъ, убѣгая отъ взбунтовавшихся дикихъ. Интересъ пьесы сосредоточивается на женѣ плантатора,—матери многочисленнаго семейства.

Никогда еще баснословный пеликанъ не рвалъ съ такимъ остервененіемъ баснословныхъ своихъ печенокъ, какъ разрывала себя на части эта несчастная, баснословная мать и супруга. Впрочемъ и было изъ чего: уже въ первомъ дѣйствіи дикіе въ ея глазахъ убиваютъ ея мужа; потомъ, послѣдовательно, одного за другимъ, убиваютъ дѣтей (по ребенку въ каждомъ дѣйствіи); наконецъ она остается одна, на скалѣ, окруженная моремъ; но и тутъ авторъ не даетъ ей отдыха; онъ вздуваетъ море, которое стремится на скалу и грозитъ залить героиню пьесы. Я предвидѣлъ минуту, когда несчастная актриса, не зная уже чѣмъ выразить скопленіе въ груди своей столькихъ бѣдствій, разорветъ на клочки свое платье, оторветъ себѣ сначала ноги, потомъ голову и броситъ все это въ публику. Отъ всей души жаль было не мать пьесы,—но бѣдную актрису; подъ конецъ четвертаго дѣйствія, она совсѣмъ потеряла голосъ. И такъ бѣснуется она каждый божій вечеръ, въ продолженіе многихъ мѣсяцевъ; пьеса „Les fugitifs“, выдержала болѣе полутораста представленій; при мнѣ давали ее по возобновленіи. Я ни мало не удивился, когда разсказали мнѣ, что молоденькая и очень даровитая актриса, создавшая роль матери въ этой пьесѣ, не выдержала пятидесяти представленій, слегла въ постель и умерла отъ горловой чахотки. Надо видѣть, съ какою жадностью рвутся смотрѣть такія гадости; трудно достать мѣсто. Во время этого представленія подлѣ меня сидѣла очень молоденькая, миленькая и бѣдно одѣтая гризетка; она поминутно закрывала лицо руками, пряталась за мое плечо и обливалась горькими слезами, при каждомъ новомъ несчастіи матери.

— Зачѣмъ же вы здѣсь остаетесь, если вамъ такъ тяжело видѣть все это? говорилъ я ей, — не лучше ли оставить театръ... Пойдемте, я васъ выведу отсюда.

— Non, m-r, je veux rester... Cela m'effraye, mais j'aime ça... Cela me fait plaisir d'avoir peur!

Зала Ambigu вполнѣ отвѣчаетъ своему репертуару: нестерпимо душно, грязно, тѣсно, неудобно; чтобы сѣсть, надо сначала опустить свое мѣсто, придѣланное къ пружинѣ, которая подымаетъ сидѣнье не только когда встаешь, но даже когда сидишь на немъ; локти и колѣни буквально дѣвать некуда; не постигаю какъ устраиваются парижанки, чтобы умѣститься здѣсь со своими кринолинами! А между тѣмъ, весь партеръ усѣянъ ими; за то, только и слышишь:

— „M-r, vous m'abimez!“

-- „M-me, ce n'est pas ma faute!“

Занавѣсъ падаетъ, начинается антрактъ: — „Ну, думаешь, отдохну отъ криковъ и раздражающихъ нервы впечатлѣній“; не тутъ-то было! едва спустили занавѣсъ, въ залу врывается несмѣтное множество торгашей обоего пола, которые взапуски начинаютъ бѣгать по скамьямъ и кричать во все горло и подъ самымъ ухомъ: „Journal du soir! Location des lorgnettes! Vert-Vert! Le programme de la pièce avec le nom des acteurs! L'Entracte! Eventails à un sou! и т. д.; словомъ, наступаетъ совершенный адъ и радуешься до смерти, когда выберешься на бульваръ и дохнешь свѣжимъ воздухомъ.

Сколько потомъ ни скитался я по парижскимъ театрамъ, повсюду выносилъ то-же раздраженное, недовольное чувство. Исключеніе составляютъ только: Comédie Française, Итальянская Опера, Gymnase, театръ Пале-рояля, Комическая Опера. Грохотъ въ антрактахъ и тѣснота почти та же; но здѣсь по крайней мѣрѣ все вознаграждается хорошимъ репертуаромъ и актерами.

Никогда не забыть мнѣ также театра Porte S. Martin и его пьесу Фаустъ, о который, за три недѣли до перваго представленія, кричали всѣ газеты Парижа. Авторъ, Денери, взялъ изъ Фауста Гете одно только названіе; не довольствуясь поэтическими сторонами первой и второй части гетевскаго произведенія, Денери наполнилъ свою пьесу такими эффектами, которые, конечно, никогда не снились Гете. Такъ напримѣръ, при поднятіи занавѣса вы видите греческихъ танцовщицъ, пляшущихъ вокругъ саркофага, съ возлежащею на немъ Еленой; внезапно сцена темнѣетъ; Елена и танцовщицы бѣгутъ за кулисы; тогда, посреди мрака, раздается адскій хохотъ Мефистофеля; хохотъ этотъ, сопровождаемый каждый разъ внезапнымъ мракомъ, повторяется по нѣскольку разъ въ каждомъ дѣйствіи. У танцовщицъ, для вящаго эффекта, юбки разрѣзаны съ боковъ до корсажа, такъ что, при каждомъ пируэтѣ, публикѣ доставляется удовольствіе видѣть почти обнаженныхъ женщинъ. „Foost! Foost!“ поминутно пищитъ Гретхенъ: — „Grétquène! Grétquène!“ отвѣчаетъ ей съ другого конца сцены Фаустъ; — словомъ, отвратительно! Столь хваленый Дюменъ (le beau Dumaine! какъ называютъ его парижане), игравшій Фауста, весьма плохой актеръ изъ школы неистовыхъ. На мѣстѣ директора Ambigu, я непремѣнно пригласилъ бы Дюмена играть роль матери въ пьесѣ Les fugitifs; это тѣмъ болѣе возможно, что у Дюмена есть что-то

женское въ лицѣ, и наконецъ, на бульварныхъ театрахъ повидимому больше значитъ эффектная наружность, чѣмъ дарованіе. У актрисы роскошные бѣлокурые волосы,—кончено, роль ея готова; она распуститъ волосы и будетъ играть Гретхенъ; по поводу роскошныхъ волосъ напишутъ даже спеціальную пьесу въ родѣ „красавицы съ золотыми волосами“; человѣкъ имѣетъ сходство съ Наполеономъ первымъ, довольно; пишется пьеса „Les pyramides d'Egypte“, въ которой актеръ играть будетъ Наполеона перваго, и т. д. Не произвели также на меня большого впечатлѣнія столь прославленныя декораціи парижскихъ театровъ; я ждалъ гораздо большаго; даже въ оперѣ и балетѣ не разъ вспомнишь декораціи: Дѣвы Дуная, Гитаны, Озера волшебницъ, Фенеллы и Жидовки, написанныя Роллеромъ.

Жалкое состояніе большинства театровъ и самаго репертуара,—есть неминуемое слѣдствіе того спекулятивнаго духа, который до крайней, невозможной степени овладѣлъ всѣмъ Парижемъ. Въ рукахъ теперешнихъ директоровъ, театры совершенно утратили свое назначеніе; театры ничего больше, какъ торговля, спекуляція. Какое дѣло спекулятору, что въ театрѣ его извращается вкусъ и даются въ ужасъ приводящія пошлости; онъ знаетъ, что парижане не могутъ жить безъ театра, какъ рыба безъ воды; что ни давай въ театрѣ, публика пойдетъ поневолѣ; онъ разсчитываетъ также на иностранцевъ, которыхъ ежедневно прибываетъ и убываетъ въ день по десяти тысячъ; защищенные эгидой наполеоновскаго порядка, воспрещающаго la licence въ залѣ театра, спекуляторы не боятся, чтобъ вытащили ихъ на сцену и забросали печеными яблоками. Licence та-же здѣсь, что прежде, не только она перешла теперь въ руки сильныхъ и капиталистовъ. Нельзя себѣ представить, какъ ею пользуются,—хоть бы эти самые директоры. Разъ вечеромъ, у одного театра, я встрѣтилъ знакомаго актера, который занималъ въ труппѣ одно изъ самыхъ видныхъ мѣстъ.

— Что вы здѣсь дѣлаете? играете сегодня? спросилъ я.

— Нѣтъ, пришелъ за другимъ дѣломъ! возразилъ онъ, явно сдерживая негодованіе,—какъ видите, я третій вечеръ прихожу съ тѣмъ, чтобы получить сорокъ франковъ, которые мнѣ здѣсь должны два мѣсяца; директоръ и кассиръ избѣгаютъ встрѣчи со мною; не будь у меня жены и дѣтей, не знаю чего-бы я тутъ не надѣлалъ! Не забудьте, они не отдаютъ денегъ, которыя давно уже заработаны, на которыя я имѣю полное право, словомъ, мою собственность! А между тѣмъ, я обязанъ по контракту играть каждый вечеръ, каж-

дое утро ходить на репетицію, и въ случаѣ малѣйшей неисправности съ моей стороны, съ меня берутъ огромные штрафы.

— Но неужели изъ-за такой бездѣлицы какъ сорокъ франковъ...

— Бездѣлицы! перебилъ онъ, —знаете ли сколько получаю я въ годъ всего-на-все жалованья?.. Играя здѣсь первыя роли, я получаю 2500 франковъ и по четыре франка за представленіе...

Это происходило подлѣ театра Bouffes-Parisiens, который каждый день биткомъ набитъ и директоръ котораго, Офенбахъ, безпрерывно задаетъ блистательные праздники, вечера и пиры! Но, что прикажете дѣлать актерамъ и публикѣ, и какъ послѣдней не рваться въ театры, когда всѣ почти газеты и фельетонисты куплены директорами; послушайте только, какія чудеса разсказываютъ каждое утро о пьесахъ, актерахъ, директорахъ и декораціяхъ! Многія газеты принадлежатъ даже директорамъ, какъ собственность: они печатаютъ на ихъ столбцахъ все, что заблагоразсудится. Драматическіе писатели, за рѣдкими исключеніями, относительно директоровъ, въ томъ же почти положеніи, какъ и актеры; директоръ полный хозяинъ; отъ него зависитъ принимать или не принимать на свой театръ произведенія писателя; онъ часто самъ даетъ ему тему пьесы, основанной большой частью на такихъ эффектахъ, которые, по соображеніямъ директора, могутъ давать выгодные сборы. Въ тотъ самый день, какъ заказана пьеса, заказывается также статья; купленный фельетонистъ говоритъ въ ней, что такой-то директоръ положительно раззоряется, что онъ истратилъ болѣе 200 тысячъ на постановку новой пьесы, успѣхъ которой долженъ затмить все, что до сихъ поръ было видано и т. д.

Драматическая литература дошла теперь во Франціи до послѣдняго упадка. Въ мое время начался процессъ между авторомъ пьесы „Cricri“ и театральнымъ машинистомъ; послѣдній доказывалъ, что ему слѣдуетъ выдѣлить изъ сбора равную часть съ авторомъ, потому что успѣхъ пьесы принадлежитъ ему собственно. Дѣйствительно, безъ превосходныхъ машинъ и превращеній пьесы бы не было; она очевидно сочинена такъ только, для проформы: нельзя же подымать занавѣсъ для однихъ превращеній! Машинистъ выигралъ процессъ. Другой машинистъ, на другомъ театрѣ сочинилъ большую змѣю, которая всползала на дерево. Этого было достаточно, чтобы, мѣсяцъ спустя, сотни газетъ призвали Парижъ смотрѣть драму „Les pirates de la savane“, въ которой le beau M. Dumaine убиваетъ эту змѣю; только слышно было: — „avez-vous vu le fameux

serpent?... Не знаю, какъ здѣсь поладилъ авторъ съ машинистомъ и кому пришлось получить больше изъ сбора.

Переходя отъ театра къ литературѣ, встрѣчаешь и здѣсь тотъ же духъ спекуляціи, то же пользованіе средствами слабаго и безденежнаго, то же личное угнетеніе и эксплуатацію; здѣсь мѣсто директоровъ занимаютъ редакторы большихъ газетъ и журналовъ и издатели, которыхъ расплодилось теперь въ Парижѣ больше, чѣмъ литераторовъ; они захватили послѣднихъ въ свои когти и деспотически управляютъ ими; но о литераторахъ будетъ еще время поговорить.

Пора было однакожъ оставить праздную жизнь. Парижъ тѣмъ хорошъ, что рядомъ съ грязью физической и нравственной, рядомъ съ дрянью и мелкотой, которымъ не пріищешь названія, безпрерывно встрѣчаются предметы, дѣйствительно заслуживающіе удивленіе; къ тому же, фланерская, праздная жизнь произвела на меня свое дѣйствіе: я страшно утомился и чувствовалъ, что въ настоящее время по крайней мѣрѣ (за будущее я не ручался) она не увлечетъ меня, не помѣшаетъ пожить другою жизнію.

Товарищъ мой былъ совсѣмъ другого мнѣнія. Эти два-три дня фланерства поглотили его совершенно. Онъ ничего уже не хотѣлъ слышать о достопримѣчательностяхъ и предметахъ, вызывающихъ на размышленіе; уличная жизнь произвела на него совсѣмъ другое дѣйствіе: она засасывала его все глубже, подобно тому, какъ засасывается крупичное зерно, попавшее въ мельничный кузовъ во время самаго быстраго порханья жернова. Каждый день пропадалъ онъ съ восьми часовъ утра и никогда не возвращался ранѣе полуночи. Всего удивительнѣе было, что М. В. ни слова не говорилъ по французски и не имѣлъ въ Парижѣ ни одного знакомаго. Гдѣ онъ скитался, какъ находилъ дорогу, съ кѣмъ бесѣдовалъ, все это оставалось неразгаданной тайной. Изъ разговора его я могъ узнать только, что онъ исходилъ верстъ тридцать, никуда рѣшительно не заходя, кромѣ кофейной, гдѣ завтракалъ, обѣдалъ и ужиналъ. Возвращался онъ обыкновенно страшно утомленный, падалъ на постель, подпиралъ голову ладонью и размахивая въ воздухѣ другою рукою, произносилъ умиленнымъ голосомъ:

— Боже мой, что это за ножки!.. Боже, что за ботинки!.. Боже! Боже!!.. послѣ чего онъ опускался на постель и мгновенно засыпалъ непробуднымъ сномъ праведника.

Я началъ свои похожденія съ Лувра.

Ничего не скажу вамъ о старомъ зданіи и новыхъ, изумительно громадныхъ и оконченныхъ постройкахъ, соединяющихъ старый Лувръ съ Тюльерійскимъ дворцомъ. Сотни разъ говорилось объ этомъ несравненно подробнѣе и лучше, чѣмъ я могу это сдѣлать.

Совершенно на томъ же основаніи не стану распространяться о картинахъ, статуяхъ и древностяхъ всякаго рода, наполняющихъ Лувръ. Для любителей искусства, легкій очеркъ обо всемъ этомъ будетъ только повтореніемъ; равнодушные, которымъ не любопытно было прежде познакомиться съ Лувромъ, обойдутся съ описаніемъ моимъ извѣстно какимъ образомъ: они перевернутъ страницу.

Наконецъ, я того убѣжденья, что каждое искусство имѣетъ свои предѣлы, переступать которые совсѣмъ не слѣдуетъ; сколько напримѣръ, ни описывай вамъ красоту музыкальнаго произведенія, вы поймете его и оцѣните тогда только, какъ сами услышите; тутъ литературѣ дѣлать нечего. Хорошая фотографія, хоть-бы, напримѣръ, съ Венеры Милосской дастъ вамъ во сто разъ больше понятія и удовольствія, чѣмъ самое блистательное описаніе внѣшнихъ красотъ статуи; въ пластическихъ искусствахъ особенно, все дѣло въ непосредственномъ, наглядномъ наслажденіи. Изученіе законовъ искусства и эстетики на научитъ любить и понимать художество, когда нѣтъ къ нему любви истинной, врожденной, внутренняго, сильнаго влеченія.

Лувръ удивилъ меня, но только совсѣмъ въ другомъ отношеніи, какъ вы, можетъ быть, ожидаете. Необыкновенное умѣнье французовъ придавать блестящій видъ самой ничтожной, пустой вещи, мастерство и вкусъ въ декоративномъ дѣлѣ, умѣнье выставить товаръ лицомъ и озадачить наружнымъ эффектомъ, заставили меня думать, что внутреннее расположеніе Лувра, постановка находящихся въ немъ сокровищъ опрокинетъ меня навзничь. Въ этомъ-то именно я и ошибся. Здѣсь на обстановку далеко не обращено той любви къ предмету, которая поразила меня, напримѣръ, въ Копенгагенѣ въ музеѣ Торвальдсена.

Нѣтъ возможности исчислить сокровищъ Лувра, по всѣмъ отраслямъ искусства и археологіи; но все это помѣщено и разставлено самымъ жалкимъ и недостойнымъ образомъ. Всѣ галлереи, за исключеніемъ музея древностей египетскихъ, ассирійскихъ и еще комнатъ, гдѣ находятся картины Вато, Буше, Греза и ихъ подражателей, освѣщены очень дурно, хотя во многихъ изъ нихъ свѣтъ падаетъ сверху.

Множество драгоцѣннѣйшихъ картинъ покрыты грязью и копотью; тѣ изъ нихъ, которыхъ коммисія реставраторовъ, учрежденная при Наполеонѣ I, не успѣла реставрировать,—такъ и остались неотчищенными. Знаменитая мадонна Рафаэля „La Vierge aux Anges", извѣстная у любителей эстамповъ подъ именемъ „„Vierge d'Edélink", такъ черна, что кажется завѣшенною чернымъ крепомъ; а между тѣмъ она одного почти времени съ мадонной „Фолиньо" въ Ватиканѣ, которая, благодаря теперешнему искусству реставрировать безъ нанесенія вреда картинѣ, свѣжа, какъ словно вчера только вышла изъ мастерской Рафаэля. Свадьба въ Канѣ, Веронеза, чтобы производить полное впечатлѣніе, требуетъ втрое больше простора и на столько же больше свѣта. Дивный Михаилъ Архангелъ Рафаэля также страшно запущенъ и виситъ слишкомъ высоко. Въ масляныхъ картинахъ письмо Рафаэля такъ нѣжно и тонко, что вполнѣ оцѣнить его можно только на близкомъ разстояніи.

Прогулка по галлереямъ Лувра, которая могла-бы быть высшимъ наслажденіемъ, оставляетъ неудовлетворенное чувство въ томъ еще отношеніи, что всѣ картины, особенно итальянскихъ, испанскихъ и фламандскихъ художниковъ, развѣшаны безъ всякой системы и хронологической послѣдовательности. Съ умысломъ, по заказу, на премію, нельзя размѣстить картины съ бо́льшимъ безпорядкомъ; въ Луврѣ восемь картинъ Рафаэля; изъ нихъ три первоклассныя; отчего-бы не собрать ихъ въ одно мѣсто? нѣтъ, вы проходите безконечный рядъ комнатъ и вдругъ, между произведеніями художниковъ конца XIV столѣтія, перемѣшанными съ Джіорджоне и Веласкесомъ, встрѣчаете портретъ Кастильоне, писанный Рафаэлемъ и другую картину ему же приписанную: „Портретъ Рафаэля и его фехтовальнаго учителя"; обѣ эти картины повѣшаны противъ огромныхъ холстовъ Рубенса, изображающихъ исторію Маріи Медичи и которыя, какъ нарочно, писаны самымъ декоративнымъ образомъ, недавно отчищены и поражаютъ своимъ блескомъ.

Въ мое время музей скульптуры передѣлывался; Венера Милосская и другія замѣчательныя статуи разставлены были въ нижней части зданія подъ какими-то мрачными сводами. Въ одной изъ комнатъ Лувра собрана коллекція драгоцѣнныхъ древнихъ кубковъ, эмалей, рѣзныхъ вещей изъ кости, образчиковъ фаянсовыхъ издѣлій времени возрожденія, блюдъ Бернара де-Палисси и проч. и проч.; комната эта чуть-ли не самая темная изъ всѣхъ комнатъ Лувра; всѣ эти драгоцѣнности собраны въ шкафахъ изъ чернаго

дерева и находятся въ полумракѣ: шкафы прислонены къ стѣнамъ и свѣтъ изъ окна, направо и налѣво, проходитъ только черезъ середину комнаты. Тотъ-же самый недостатокъ встрѣчается въ отдѣленіи рисунковъ; комнаты глубоки и освѣщены съ одной стороны; рисунки расположены въ стеклянныхъ конторкахъ, огибающихъ кругомъ стѣны; въ глубинѣ комнатъ нѣтъ уже возможности разсмотрѣть что нибудь, какъ слѣдуетъ; вмѣсто удовольствія чувствуешь только досаду.

Но, какъ я уже говорилъ вамъ,—и замѣтьте, такъ во всей Франціи,—рядомъ съ безпорядкомъ, неряшествомъ и чепухою, встрѣчаются удивительныя вещи, умнѣйшія учрежденія и постановленія.

Такъ напримѣръ, въ Луврѣ круглый годъ, кромѣ, кажется, понедѣльника, всѣ двери открыты настежъ;—входи кто хочетъ! Отъ посѣтителей требуется только, чтобы они ни къ чему не прикасались руками, не мѣшали другимъ смотрѣть и вели себя благопристойно; никому не воспрещается громко говорить, гулять и садиться на казенные диваны и кресла.

Въ томъ же зданіи, недалеко отъ галлерей устроено особое отдѣленіе подъ названіемъ: „Calcographie du Louvre“; цѣль этого отдѣленія прекрасна; сюда поступаютъ всѣ лишніе дублеты эстамповъ, гравюръ и снимковъ картинъ, статуй и рисунковъ, находящихся въ Луврѣ и гравированныхъ большею частью французскими художниками; всѣмъ этимъ предметамъ сдѣланъ каталогъ по разрядамъ и каждый можетъ пріобрѣтать ихъ за самую сходную цѣну, тутъ же означенную въ каталогѣ.

Я вышелъ изъ Лувра съ той стороны стариннаго фасада, который смотритъ на Сену. Жаль, что здѣсь мѣсто не возвышенное: видъ былъ бы чудесный на всю часть зарѣчнаго города, который усыпанъ древними зданіями и несравненно живописнѣе новаго Парижа.

Вообще вся зарѣчная часть Парижа имѣетъ ту живописность, которую даетъ только время, ломающее одно, воздвигающее другое, громоздящее новое подлѣ стараго, накладывающее такіе тоны и краски, создающее такіе изгибы и перспективы, которыхъ никогда не придумаютъ сотни соединенныхъ архитекторовъ и декораторовъ.

Башни „Notre-Dame“ особенно говорятъ воображенію; я прямо туда отправился, не покидая лѣвой набережной. Пройдя мимо всего фасада Лувра и невольно остановившись на минуту, чтобы взглянуть на окно, изъ котораго, говорятъ, Карлъ IX стрѣлялъ въ на-

*

родъ, я миновалъ башню св. Якова, заставленную тогда лѣсами, и вышелъ на площадь Ратуши (Hotel de Ville.)

Несмотря на то, что ратуша жестоко пострадала отъ революцій, она все-таки чуть ли не самое лучшее архитектурное зданіе Парижа; по крайней мѣрѣ больше, чѣмъ гдѣ нибудь сохранился во всей чистотѣ своей роскошный и вмѣстѣ съ тѣмъ изящный стиль возрожденія; только тѣ части Фонтенблосскаго дворца, которые выстроены при Францискѣ I, могутъ соперничать съ главнымъ фасадомъ ратуши. „Hotel de Ville“ не менѣе интересенъ и въ историческомъ смыслѣ; чего только не перебывало передъ этимъ фасадомъ, чего не видали и не слыхали внутреннія стѣны! Исторія этой парижской ратуши можетъ наполнить цѣлые томы. Но Наполеону третьему не нравится ея исторія; желая, вѣроятно, предупредить дальнѣйшее ея продолженіе, онъ выстроилъ непосредственно за ратушей казарму и написалъ такимъ образомъ: —fin.

Башни церкви Богоматери почти противъ ратуши; ихъ раздѣляетъ Сена и небольшой древній кварталъ, окружающій церковь.

Пройдя мостъ d'Arcole, я вступилъ въ узенькія, извилистыя улицы, полузаслоненныя отъ свѣта восьмиэтажными мрачными домами съ высокими черепичными кровлями; здѣсь также вездѣ кафе и лавочки; но все смотритъ какъ-то мутно, уныло; куда дѣвались шумъ и веселость, которая въ Парижѣ часто вырывается наперекоръ нищетѣ и даже голоду? Сюда, очевидно, слилось бѣдное населеніе, которому стыдно показываться на роскошныхъ улицахъ и бульварахъ. Движенія здѣсь такъ мало, что, кажется, попалъ неожиданно въ крошечный, заброшенный уѣздный городокъ; изрѣдка прогремитъ двухъ-колесная телѣга съ овощами или известью, перекликнутся торговки у двери лавочекъ, пройдетъ бѣдно одѣтая швейка или худощавый студентъ въ широкополой порыжѣвшей шляпѣ. Часто потомъ случалось проходить черезъ этотъ кварталъ; всегда встрѣчалъ я то-же самое; изрѣдка развѣ, вечеромъ, въ какомъ нибудь кафе услышишь щелкотню билліардныхъ шаровъ, говоръ или нестройную хоровую пѣснь подгулявшихъ студентовъ.

На самомъ неожиданномъ мѣстѣ поворачиваешь на небольшую свѣтлую площадку, и вдругъ передъ вами развертывается главный фасадъ готическаго собора со своимъ чуднымъ порталомъ, верхними галлереями и двумя башнями, которыя хотя сами по себѣ очень характерны, но далеко не отвѣчаютъ тонкому изяществу нижней части церкви.

Темная, мрачная, истертая и изъѣденная вѣками, она облечена поэзіей древности и тою еще, которую придаетъ ей воображеніе, настроенное воспоминаніями, сотнями описаній и романами Виктора-Гюго. При всемъ желаніи сдѣлаться внимательнымъ и сосредоточиться, Клодъ-Фролло, Эсмеральда, Квазимодо, Клопенъ-Трульфу и толпа, взбирающаяся по лѣстницамъ, приставленнымъ къ стѣнамъ собора, долго васъ не оставляютъ. Впослѣдствіи я много видѣлъ готическихъ зданій; нѣкоторыя, какъ напримѣръ, Кельнскій и Страсбургскій соборы, нравились мнѣ несравненно больше церкви Богоматери, но положительно нигдѣ нѣтъ такого великолѣпнаго главнаго входа или портала. Принимая въ соображеніе страшные перевороты, которыхъ зданіе было свидѣтелемъ, надо удивляться, какъ порталъ могъ сохраниться въ такой цѣлости; реставрація, наложившая свою медвѣжью лапу на всѣ остальныя части зданія, къ счастію не прикоснулась ко входу. Глядя на тщательную отдѣлку орнаментовъ, завитковъ и святыхъ, расположенныхъ одинъ надъ другимъ и рядами украшающихъ изгибы остроконечной арки, невольно стараешься дать себѣ отчетъ, откуда взялось это безконечное совершенство частей и вмѣстѣ съ тѣмъ, эта гармонія общаго, отличающая готическія зданія. Понятно, что все это могло создаваться и дѣлаться тогда только, когда глубокое, искреннее религіозное чувство увлекало общество, когда все, что ни приступало къ постройкѣ храма, начиная отъ архитекторовъ до послѣднихъ каменьщиковъ,—все вдохновлялось однимъ чувствомъ и проникнуто было одною общею мыслію.

Такъ ужъ слѣдуетъ, видно, что въ Парижѣ вездѣ должна господствовать внѣшность! Въ церкви Богоматери, точно такъ же, какъ и въ Луврѣ (здѣсь, конечно, говорится только о стѣнахъ и внутреннемъ устройствѣ),—наружный видъ обѣщаетъ больше, чѣмъ даетъ внутренность. Церковь, подъ руками тупоумныхъ распорядителей и реставраторовъ, совершенно утратила поэтическій колоритъ древности; впечатлѣніе такое, какъ будто разсматриваешь древнюю библію, пергаментные листы которой покрыли мѣломъ—для чистоты—и расписывали почеркомъ современной калиграфіи. Стѣны собора выбѣлили; колонны, идущія по обѣимъ сторонамъ, глупѣйшимъ образомъ размалеваны за-ново. Вообще видно, внутренность храма не успѣли окончить вдохновленные зодчіе, воздвигшіе порталъ. Послѣднюю руку наложило уже послѣдующее поколѣніе, утратившее великую тайну готической поэзіи. Внутри замѣчательны

только громадныя цвѣтныя окна верхняго яруса; многія изъ нихъ были вынуты и мѣста закрыты досками.

Не понимаю какой бѣсъ укусилъ парижанъ, но они приняли повидимому намѣреніе повалить весь старый Парижъ; половина города заставлена лѣсами; на многихъ площадяхъ и улицахъ заборы съ выглядывающими поверхъ ихъ обломанными стѣнами и трубами; путь поминутно преграждается рядами громадныхъ тѣлегъ съ тесаннымъ камнемъ, известью; со всѣхъ сторонъ сыплется мусоръ и раздаются стукъ лома и крики штукатуровъ; расположеніе къ перестройкамъ обнаружилось прежде всего у Наполеона третьяго; оно быстро привилось къ буржуазіи и мгновенно заразило всѣхъ до степени бѣлой горячки. Что Наполеонъ такъ усердствуетъ въ перестройкѣ Парижа,—дѣло понятное; ясно къ чему ведутъ эти широкія, прямыя улицы, перерѣзывающія городъ по всѣмъ направленіямъ и замкнутыя по концамъ казармами съ такими окнами, что страхъ беретъ идти мимо: такъ и ждешь, что высунется оттуда пушка и начнетъ стрѣлять картечью. Но вотъ что удивительно: изъ чего такъ хлопочутъ парижане? Не всѣхъ же до такой степени одурманиваетъ тщеславіе, чтобы вѣрить, что проекты Наполеона служатъ только къ украшенію Парижа! Можетъ быть и то также, что неугомонная дѣятельность парижанъ, тѣснимая со всѣхъ сторонъ, рада, faute de mieux, миролюбиво ломать дома, ворочать камни и разрушать улицы; можетъ быть и то также, что такая ужъ пришла мода на перестройку; прежде кричалъ Парижъ:—vive l'échafaud! теперь кричитъ:—vive l'échafaudage!..

Сказавъ вамъ нѣсколько словъ о Луврѣ, ратушѣ, старой Ситѐ и церкви Богоматери, я считаю, что далеко уже перешелъ за черту, которую предписалъ себѣ въ этомъ очеркѣ. До пріѣзда въ Парижъ, я далъ себѣ слово осмотрѣть всѣ достопримѣчательности города и его окрестностей, но вмѣстѣ съ тѣмъ произвелъ торжественный обѣтъ не упоминать о нихъ въ моихъ запискахъ. Фонтенебло, Версаль, Инвалиды, церкви, музей Клюни, Ботаническій садъ, частныя галлереи, музеи, не было ли все это тысячу разъ описано? Къ тому же впереди, въ Испаніи и Италіи, предстоятъ такія чудеса искусства, для которыхъ надо поберечь мѣсто.

Каждому путешественнику хочется сказать что-нибудь новое; въ этомъ отношеніи не лучше-ли всего обращаться къ нравамъ? Они даютъ несравненно больше пищи для наблюденій, чѣмъ церкви и зданія; описывать послѣднія, значитъ повторять уже сказанное; но

никто еще не исчерпалъ сторону нравовъ до такой степени, чтобы не было чего нибудь къ нимъ прибавить.—„Развѣ не все уже сказано объ Англіи?“ замѣтили англичанину, который готовился печатать книгу о нравахъ своего отечества.—„Конечно все, отвѣчалъ онъ,—но тѣмъ не менѣе обо всемъ еще остается сказать!“ Каждый, пріѣзжая въ любую страну или городъ, наталкивается на случаи, происшествія и на людей, которыхъ вчера не было и которые не встрѣтятся или не повторятся завтра; путешественникъ, передающій бумагѣ свои впечатлѣнія, непремѣнно внесетъ что-нибудь новое въ самую богатую массу наблюденій своего предшественника.

Парижъ особенно такой городъ, что каждый прожитой въ немъ день можетъ дать матеріалу на цѣлый томъ въ нравоописательномъ родѣ. Нигдѣ такъ человѣчество не движется, какъ здѣсь, и не можетъ быть такъ уподоблено морю, которое то приливаетъ, то отливаетъ, то неожиданно вздымаетъ свои волны, вскидывая ихъ подъ облака, то вдругъ плашмя падаетъ и лоснится, какъ щеки разжирѣвшаго, самодовольно-пошлаго и только что выбрившагося буржуа.

Рыская по городу и окрестностямъ, я совершенно забылъ, что у меня въ портфелѣ хранилось множество писемъ къ лицамъ болѣе или менѣе интереснымъ и совершенно разнороднымъ. Письма къ Дюма-сыну у меня не было; но все равно, я отправился къ нему прежде, чѣмъ подумалъ о другихъ; этого требовала учтивость; я жилъ въ домѣ его отца.

Прежде еще говорили мнѣ, что Дюма-отецъ и Дюма-сынъ совершеннѣйшіе антиподы по характеру. Я убѣдился въ этомъ, какъ только вошелъ въ комнаты сына. Все сразу говорило, что здѣсь живетъ человѣкъ, щедро надѣленный изящнымъ вкусомъ, но прежде всего,—человѣкъ положительный, бережливый, влюбленный въ порядокъ. Наружность сына напоминаетъ отца; но вмѣстѣ съ тѣмъ, съ перваго взгляда не остается сомнѣнія въ разницѣ характера того и другого. Насколько фигура отца постоянно вся въ движеніи, и лицо его носитъ отпечатокъ страстей и неугомонныхъ огненныхъ порывовъ,—настолько сынъ кажется спокойнымъ и даже холоднымъ. Не даромъ, видно, говоритъ онъ, когда рѣчь идетъ объ отцѣ: „Mon pére est un grand enfant, que Dieu m'a donné quand jai été jeune homme!“ Огонь и живость отца перешли въ глаза сына, которые блещутъ остроуміемъ. Дюма-сынъ совершенный джентльменъ. Когда я вошелъ къ нему, онъ занимался разсчетомъ то своимъ грумомъ или конюхомъ.

— Счеты, какъ сами вы, я думаю, знаете,—не послѣднее дѣло литераторовъ, сказалъ онъ.

Я выразилъ сожалѣніе, что до сихъ поръ не видалъ ни одной его комедіи. Въ Gymnase давали каждый вечеръ новую какую-то пьесу; онъ очень обязательно взялся устроить дѣло. Дѣйствительно, нѣсколько дней спустя, прислалъ онъ мнѣ билетъ на Demi-monde. Я прежде читалъ эту комедію; увидавъ ее на сценѣ, я лишній разъ повѣрилъ на дѣлѣ, что пьеса, увлекательная въ чтеніи, рѣдко достигаетъ такой цѣли на сценѣ. Demi-monde отличается полнѣйшимъ отсутствіемъ драматическаго движенія; все принесено въ жертву остроумію, обрисовкѣ характеровъ и современности. При встрѣчѣ съ авторомъ я, разумѣется, не могъ передать ему моихъ впечатлѣній; я ограничился только вопросомъ, почему бросилъ онъ совершенно повѣствовательный родъ и посвятилъ себя такъ исключительно театру. Смыслъ отвѣта его былъ таковъ, что романъ падаетъ, повѣствовательная форма видимо всѣмъ пріѣлась... Развѣ явится новый Бальзакъ... Но на это мало надежды! Публикѣ читать теперь некогда; она ударилась въ дѣла, спекуляціи и живмя-живетъ на биржѣ; свободное время свое отдаетъ она театру; надо, слѣдовательно, писать для театра, чтобы составить себѣ имя; къ тому-же оно и в ы г о д н ѣ е.

Дюма, можетъ быть, ие сказалъ послѣдняго слова; но я съ умысломъ подчеркнулъ его; дальнѣйшее знакомство съ литературнымъ кругомъ убѣдило меня, что слово: в ы г о д а вполнѣ выражаетъ точку зрѣнія современныхъ писателей Франціи на предметъ ихъ занятій. Литераторы, журналисты, драматическіе писатели, даже поэты,—voir Мери,—милаго, остроумнаго Мери, который нашелъ не безполезнымъ сочинить торжественный гимнъ Людовику Наполеону,—всѣ исписываютъ стопы бумаги, вдохновляясь одними банковыми билетаап,—и что̀ еще хуже,—надеждами на полученіе казеннаго мѣста или ордена почетнаго легіона. Словомъ, они потеряли всякое достоинство. Сколько я могу судить изъ разговоровъ, любой изъ нихъ готовъ промѣнять поприще свое на званіе смотрителя тюльерійскихъ фонтановъ. Меня поразили въ нихъ духъ раболѣпія и вмѣстѣ дъ тѣмъ безмѣрная напыщенность и невѣжественное чувство тщеславія, которое признаетъ только свое *я* и съ презрительнымъ равнодушіемъ относится ко всему, что выходитъ за предѣлы крѣпостного вала парижскихъ фортификацій. Сдѣлки, которыя въ другомъ кругу были-бы приняты за оскорбленіе, здѣсь вещь

самая обыкновенная. Позовите обѣдать въ café Anglais, или еще проще,—дайте денегъ,—и завтра-же самое ничтожное изобрѣтеніе, самую плохую книжонку десятки газетъ превознесутъ до небесъ, какъ у насъ превозносили когда-то Излера. Здѣсь только дѣлается понятнымъ выраженіе французскихъ газетъ: faire une danseuse, un acteur, un auteur и т. д. Подобно тому, какъ находишь у Иверскихъ воротъ въ Москвѣ толпу оборванцевъ, которые за гривенникъ свидѣтельствуютъ своею подписью что̀ угодно,—въ бульварныхъ кафе возсѣдаютъ за стаканомъ absinte маленькіе журналисты, которые за двадцать франковъ будутъ писать что̀ угодно и кому угодно.

Частная ихъ жизнь нисколько не лучше общественной. Одна объясняетъ другую. Въ Парижѣ существуетъ общество драматическихъ писателей и литературы, но собственно общество литераторовъ отъ этого нисколько не соединилось; всѣ живутъ между собою, какъ кошка съ собакой. Они избѣгаютъ другъ друга, боясь вѣрно дурного знакомства. Издатели, которыхъ въ Парижѣ столько-же теперь, сколько писателей, ловко пользуются такимъ несогласіемъ. Литераторъ, не защищенный обществомъ своего сословія, лишенный представителей и опоры,—является передъ издателемъ, какъ единица, которой тотъ не боится и душитъ ее въ когтяхъ своихъ до послѣдняго издыханія. Въ его власти пустить въ ходъ статью, книгу и даже человѣка, точно также, какъ можетъ онъ придавить и статью, и книгу, и человѣка.

Большая часть издателей,—хозяева журналовъ; попробуй-ка литераторъ выйдти изъ повиновенія; его, или книгу его,—что все-равно,—мигомъ прихлопнутъ. Въ большихъ журналахъ, на которые смотримъ мы издали съ такимъ уваженіемъ, повторяется, какъ въ зеркалѣ, та-же жалкая картина литературныхъ нравовъ. Пять-шесть извѣстныхъ писателей и фельетонистовъ сидятъ на плечахъ редакторовъ и сильно нажимаютъ имъ шею кулаками; редакторы, въ свою очередь, сидятъ на плечахъ остальныхъ сотрудниковъ и въ досадѣ еще сильнѣе надавливаютъ кулаками на ихъ шею,—взаимная эксплуатація и нажиманье.

Я познакомился съ Б*, который пишетъ повѣсти въ одну изъ первыхъ revue Франціи. Б* трудолюбивъ, какъ быкъ и во вкусахъ своихъ скроменъ, какъ овца. Б* живетъ между тѣмъ на чердакѣ и постоянно ходитъ во фракѣ, потому что ему, по собственному признанію, не на что купить сюртука. Редакторъ, печатающій восемь

тысячъ экземпляровъ своей revue, платитъ Б* пятьсотъ франковъ за повѣсть. Нечего и думать переходить въ другой журналъ; тамъ всѣ мѣста уже впередъ заняты по контракту; кромѣ того нѣтъ и разсчета; тамъ платятъ не больше.

— Отчего не прибѣгнуть-бы вамъ къ защитѣ Г. или Д.? (я назвалъ двухъ фельетонистовъ, сидящихъ на плечахъ редактора той revue, гдѣ работалъ Б*).—Они ваши товарищи, собраты; они вѣрно ничего не знаютъ о вашихъ отношеніяхъ къ редактору; иначе, конечно, они не допустили-бы его до такой гнусной эксплуатаціи.

— Г. и Д., возразилъ Б* съ горькой усмѣшкой:—Г. и Д., захвативъ такъ много денегъ, знаютъ очень хорошо, что редакторъ, который также хочетъ жить, не можетъ больше платить остальнымъ сотрудникамъ. Они не захотятъ испортить своихъ собственныхъ дѣлъ; Г. и Д. пробили себѣ дорогу, сдѣлались извѣстнымии пользуются своимъ положеніемъ; надо ждать своей очереди!..

Такая невеселая, но правдивая картина нравовъ объяснитъ вамъ отчасти причину того страшнаго, безпримѣрнаго упадка, въ которомъ находится современная литература во Франціи. Безпримѣрно, впрочемъ, и направленіе, которое приняло теперешнее парижское общество: спекуляція, алчность къ деньгамъ, жажда скорѣй нажиться—обуяли всѣхъ рѣшительно; молоденькіе мальчики, съ едва пробивающимся пушкомъ на подбородкѣ, молоденькія женщины, въ шипящей кринолинѣ,—нимало уже теперь не мечтаютъ другъ о другѣ; ихъ мысли заняты счетами, мечты витаютъ вокругъ дивидендовъ акцій, которыя продаются на биржѣ; циническій эгоизмъ такъ въ лицо и бросается; онъ овладѣлъ всѣми, сдѣлался достояніемъ всѣхъ слоевъ общества.

Съ легкой руки Дюма-сына, каждый день почти пошли у меня новыя знакомства.

Утромъ, на другой день послѣ представленія Demi-monde, кто-то постучался въ дверь.

— Entrez!

Входитъ длинная Тереза.

— Васъ, Grégory, желаетъ видѣть monsieur V. P.

— Кто это?

— C'est un monsienr qui fait des livres, отвѣчаетъ Тереза съ таинственнній улыбкой.

„Еще литераторъ!“ подумалъ я, и признаюсь, на этотъ разъ безъ всякаго уже удовольствія.

Судите о моемъ удивленіи, когда вмѣсто господина съ усами и бородою, въ дверяхъ явилась хорошенькая женщина, въ голубой шляпкѣ и цвѣтной мантильи.

— Извините мою безцеремонность, сказала она весело:—имя мое F., но я пишу подъ псевдонимомъ V. P.; какъ видите, я собратъ вашъ по литературѣ; зная, что вы здѣсь, я пришла поговорить съ вами о вашемъ отечествѣ и спросить у васъ нѣсколько совѣтовъ.

Проговоривъ все это безъ страха и такъ скоро, что я едва могъ слѣдить за ея мыслію, V. P. разсказала, что пишетъ романы и повѣсти, но получаетъ за нихъ такъ мало, что едва имѣетъ чѣмъ жить: она думала оставить Парижъ и ѣхать въ Россію, ей казалось, что въ Россіи она успѣшнѣе будетъ подвизаться на литературномъ поприщѣ. Она убѣдительно просила высказать откровенно мое мнѣніе по этому предмету.

Не успѣлъ я произнести двухъ словъ,—въ комнату влетѣла другая хорошенькая фея, это была подруга V. P., которая пришла за нею.

— Позвольте васъ познакомить, сказала V. P.—еще собратъ, bas-bleu, какъ и я, N*; вы не слыхали ея имени: она не подписываетъ.

N* занимается переводами съ англійскаго: между переводами, она, по собственному ея выраженію: fait de la copie, т. е. беретъ переписывать на-бѣло рукописи другихъ писателей; она получаетъ за это по пяти су съ листа. Переписка и переводы, занимая ее по двѣнадцати часовъ въ день, даютъ ей въ годъ полторы тысячи франковъ, иногда даже меньше.

— Ну такъ что же вы думаете о н а ш е м ъ проектѣ, сказала V. P.; я говорю: н а ш е м ъ, потому что N* тоже ѣдетъ со мною въ Россію.

Я поспѣшилъ исполнить желаніе обоихъ собратовъ; мнѣніэ мое навзничъ опрокидывало ихъ проекты. Но къ великому моему удивленью, ни V. P., ни N* не обнаруживали при этомъ и тѣни горести; обѣ, съ прежнею веселостью объявили, что если дѣло не можетъ клеиться въ Россіи съ литературой, онѣ готовы отказаться отъ служенія искусству и поступить въ гувернантки.

Я представилъ имъ тогда легкій, но весьма колоритный очеркъ положенія гувернантки въ Екатеринбургѣ или Арзамасѣ и убѣдительно просилъ ихъ не оставлять Парижа.

— Вы правы, ни мало не задумываясь сказала V. P.—Парижъ все-таки первый городъ съ свѣтѣ и тотъ, кто привыкъ къ нему, нигдѣ уже больше не можетъ ужиться!..

Вслѣдъ затѣмъ, бесѣда наша приняла совершенно другой оборотъ; о проектахъ не было и помину, проекты какъ словно никогда даже не существовали; говорилось съ увлеченіемъ о парижской жизни, увеселеніяхъ и развлеченіяхъ.

Едва разстался я съ V. P. и N*, которыя взяли съ меня слово заглянуть въ ихъ кіоскъ (онѣ жили на дачѣ въ полъ-мили отъ Парижа и занимали крошечную бесѣдку, въ которой съ трудомъ помѣщались двѣ кушетки и столикъ), какъ получилъ я записку такого содержанія:

„М. Г., прошу васъ удѣлить мнѣ полчаса времени; мнѣ нужно переговорить съ вами о вашемъ отечествѣ и посовѣтоваться съ вами о дѣлѣ большой важности".

Строки эти подписаны были женскимъ именемъ, которое не разъ случалось встрѣчать на оберткахъ французскихъ романовъ.

Я отправился, не медля ни минуты; но дамы не было дома; вскорѣ впрочемъ я встрѣтился съ нею у одного общаго знакомаго; на этотъ разъ я увидѣлъ женщину уже подъ шестьдесятъ, одѣтую очень небрежно, хотя съ фероньеркой на лбу. Она думала точно также ѣхать въ Россію съ цѣлью писать тамъ и печатать свои романы; рѣшимость ея повидимому была непреклонна; она просила меня объяснить ей нѣкоторыя детали.

— М.государыня, проговорилъ я самымъ почтительнымъ тономъ,— въ Петербургѣ шесть-семь книгопродавцевъ; вы поставите ихъ въ необходимость сдѣлаться издателями; они должны дать вамъ большія деньги за рукопись, должны будутъ покупать бумагу, хлопотать съ изданіемъ и взять на себя всю отвѣтственность распродажи вашего романа; предоставляю вамъ судить, пойдутъ ли они на это, когда дѣло ихъ ограничивается теперь только слѣдующимъ: имъ стоитъ черкнуть въ спискѣ выписываемыхъ книгъ число экземпляровъ вашего романа, чтобы получить его тотчасъ уже совсѣмъ готовымъ на свою конторку: дѣло, какъ видите, обходится имъ несравненно дешевле и безхлопотнѣе. Могу васъ увѣрить, ни одинъ изъ нихъ, при всемъ уваженіи къ вашему имени, не купитъ у васъ листа вашей рукописи!

— Autant alors rester à Paris, проговорила писательница полувопросительнымъ, полуувѣреннымъ голосомъ.

— Я самъ такъ думаю.

Не смотря на зрѣлыя лѣта, она отказалась отъ своего проекта, давно ее занимавшаго, такъ же легко и скоро, какъ молоденькія, вѣтренныя V. P. и N.

Такая переходчивость мыслей и непрочность убѣжденій поражаетъ здѣсь не только въ женщинахъ, но и въ мужчинахъ. Всѣ живутъ день за днемъ; не удалось одно, живо переходятъ къ другому; жизнь принимается, какъ шутка; призадумываются тогда только, какъ деньги приходятъ въ обрѣзъ и достать ихъ положительно нéоткуда; фортуна улыбнулась,—все забыто, парижанинъ снова счастливъ, веселъ, бѣгаетъ по театрамъ, баламъ, бульварамъ или беретъ деньги и играетъ ими на биржѣ. Здѣсь только встрѣтить можно эту игру жизнью, это существованіе на воздухѣ; подъ ногами у нихъ словно не земля, а воздушный шаръ, который носитъ ихъ куда ему вздумается. Все приносится въ жертву удовольствіямъ и временному наслажденію; — сама жизнь ничего не стоитъ. Если людьми не руководитъ разсчетъ, ими управляетъ, повидимому, не столько собственная воля, сколько случайность, капризъ, увлеченіе.

Немного спустя послѣ моего пріѣзда, входитъ ко мнѣ разъ Тереза: на ней, противъ обыкновенія, чепецъ и вообще во всей ея физіономіи что-то торжественное, необыденное.

— Mr. Grégory, я пришла съ вами посовѣтоваться, сказала она, потрясая чепцомъ и усаживаясь въ кресло.

— Сдѣлайте милость...

— Mr. Grégory, у меня дочь... Родители имѣютъ привычку хвалить дѣтей своихъ—это ужъ такъ водится; но я буду безпристрастна; дочь моя—личность замѣчательная во всѣхъ отношеніяхъ: она хороша собою, какъ ангелъ, имѣетъ кромѣ того всѣ таланты: она декламируетъ, поетъ, играетъ на фортепьяно. Она два года назадъ дебютировала на одномъ изъ здѣшнихъ театровъ... Elle a éffacé tout le monde! C'était étourdissant. Тутъ встрѣчается un monsieur hollandais; oh, mr. Grégory,—c'était pour le bon motif!.. Она уѣхала съ нимъ въ Голландію; son monsieur оказался негодяемъ; онъ убѣжалъ въ Индію и дочь моя возвратилась снова въ Парижъ; она не можетъ теперь поступить въ свой театръ, прежнія подруги ея,—des rien du tout, quoi!—заняли всѣ мѣста и страшно стали интриговать... Я собственно пришла васъ просить, не можете ли лично взглянуть на нее, убѣдиться въ необыкновенныхъ ея талан-

тахъ и отрекомендовать ее на французскій театръ въ Петербургѣ, или въ Москву, — все равно; она дивно поетъ и, сверхъ того, можетъ давать уроки на фортепьяно...

Но увы, я не успѣлъ убѣдиться въ талантахъ m-lle Rosalbà (такъ звали дочь Терезы); по прошествіи недѣли, ее увезъ какой-то офицеръ въ Африку, —также: pour le bon motif... Пріѣхавъ въ Парижъ годъ спустя, я узналъ, что офицеръ умеръ, и m-lle Rosalbà открыла сначала кофейный домъ въ Танжерѣ; но дѣло не пошло и она скоро уѣхала въ Бразилію, съ однимъ богатымъ плантаторомъ.

М. В. продолжалъ между тѣмъ исчезать акуратно съ восьми часовъ утра вплоть до полуночи. Онъ былъ въ упоеніи отъ Парижа. Прислушиваясь къ восторженнымъ рѣчамъ его, я охотно согласился снова посвятить цѣлый день фланерству и отдалъ себя въ полное его распоряженіе.

Онъ повелъ меня прямо въ Елисейскія поля. Проходя мимо площади Согласія, —бывшей площади Революціи, которую до сихъ поръ видалъ я мелькомъ, —я не могъ не остановиться. Это безспорно самая великолѣпная площадь въ мірѣ; не знаешь чему удивляться: громадности задуманнаго и приведеннаго къ окончанію плана, — или громадности воспоминаній, которыя осаждаютъ умъ и сердце, какъ только войдешь на площадь. Декорація ея поэтично хороша: слѣва тюльерійскій садъ, справа густая зелень шумныхъ Елисейскихъ полей; —противъ, законодательное собраніе, — прежняя assemblée nationale; по угламъ колоссальныя мраморныя группы, изображающія главные города Франціи; по срединѣ Луксорскій обелискъ и монументальный фонтанъ. Все это, вмѣстѣ съ грохотомъ и вѣчнымъ движеніемъ, оживляющимъ площадь, принимаетъ волшебный видъ, — особенно при закатѣ солнца или вечеромъ, когда вокругъ зажигаются тысячи газовыхъ фонарей и отдаленная музыка Елисейскихъ полей вторитъ шуму фонтана.

Елисейскія поля, по моему, —одно изъ самыхъ милыхъ мѣстъ Парижа; широкое пространство между домами и липами, которыми обсажено съ обѣихъ сторонъ шоссе, ведущее къ arc de l'étoile, а оттуда въ Булонскій лѣсъ покрыто тѣнью старинныхъ деревъ, однолѣтокъ съ деревьями тюльерійскаго сада. Нѣтъ возможности перечислить всѣхъ café-chantants, театровъ маріонетокъ, качелей, каруселей, выстроенныхъ между этими деревьями; тутъ находится также театръ Bouffes Parisiens и циркъ. Дѣти всѣхъ возможныхъ

возрастовъ, солдаты, нянюшки, старики и молодежь, денди, камеліи, почтенные буржуа съ семействами, гризетки и блузники,—все это смѣшивается здѣсь и производитъ самую разнообразную, живописную пестроту. Дѣти, особенно дѣвочки, удивительно здѣсь милы; ничего нѣтъ на свѣтѣ граціозоѣе, живѣе, непринужденнѣе.

Заплативъ су за стулъ, мы по цѣлымъ часамъ просиживали, любуясь, какъ онѣ катаютъ обручъ, играютъ толпами въ мячикъ, или воланы, прыгаютъ по двѣ и по три черезъ веревочку. Дѣвочки одѣты большею частію просто, но съ тѣмъ изяществомъ вкуса, которымъ такъ справедливо хвастаютъ французы.

Что еслибъ этихъ дѣвочекъ, до замужества не отдавали въ монастыри и болѣе еще безобразные пансіоны подъ ферулу хитраго католическаго попа и такихъ же сухихъ и хитрыхъ дамъ, зараженныхъ самою узкою, пошлою, рутинною нравственностью! Воспитаніе, которое ожидаетъ ихъ, превратитъ ихъ сначала въ идіотокъ и рабынь развращеннаго мужа, потомъ, по закону противодѣйствія,— въ самыхъ продувныхъ львицъ и кокетокъ.

Бѣдныя дѣвочки!

Елисейскія поля оживляются тѣмъ еще, что черезъ шоссе, перерѣзывающее ихъ во всю длину, проѣзжаетъ каждый день чуть ли не все фешенебельное и веселящееся населеніе Парижа. Булонскій лѣсъ теперь модная и слѣдовательно самая любимая прогулка не только парижанъ, но и иностранцевъ. Я зналъ одну русскую даму, которая говорила, что тотъ день для нея не существуетъ, когда она не могла faire son bois de Boulogne; уже одно это выраженіе ясно свидѣтельствуетъ, что вышепомянутая соотечественница въ совершенствѣ усвоила себѣ языкъ и привычки Паража. Вообще русскіе скоро усваиваютъ форму, языкъ и привычки тѣхъ странъ и городовъ, гдѣ бываютъ; я встрѣчалъ типическихъ господъ Ивановыхъ и госпожъ Сидоровыхъ, которые, проживъ два мѣсяца въ Парижѣ, начинали уже картавить, не могли лечь спать безъ стакана сахарной воды, дѣлались учтивыми съ людьми такъ называемаго низшаго класса (послѣднее, правда, оосталось имъ не дешево и пріобрѣлось не безъ уроковъ), — говорили: parbleu! и fichtre! съ такою интонаціею, что можно было побожиться, что они родились въ Парижѣ и никогда отсюда не выѣзжали. Родной нашъ языкъ часто звучитъ на улицахъ Парижа; но странно: тамъ, гдѣ скорѣй всего слѣдовало бы его слышать, какъ напримѣръ, въ русской церкви, тамъ-то именно никогда его и не услышишь; тамъ,

какъ нарочно, болѣе чѣмъ гдѣ нибудь, приходится удивляться чистотѣ парижскаго акцента въ устахъ соотечественниковъ; всѣ почти дамы являются даже съ молитвенными книжками, красиво переплетенными въ бархатѣ; — словомъ, Парижъ совершеннѣйшій!

Елисейскія поля объяснили мнѣ отчасти долгія исчезновенія М. В. Дѣйствительно, прійдя сюда въ десять часовъ утра, не видишь, какъ время промелькнетъ до вечера. На каждыхъ десяти шагахъ любопытство увлекаетъ или въ толпу или на наружный тротуаръ шоссе, по которому скачутъ верхомъ и катятся стремительно тысячи экипажей, уносящіе щеголихъ Сен-Жерменскаго предмѣстья, квартала Бреда̀ и лоретокъ и всякаго рода. Послѣднихъ, повидимому, несравненно однакожъ больше, чѣмъ первыхъ.

Останавливаясь такимъ образомъ, глазѣя по сторонамъ и просиживая по цѣлымъ часамъ, чтобы снова глазѣть, мы въ этотъ день не дошли до Булонскаго лѣса. Въ немъ нѣтъ впрочемъ ничего особенно замѣчательнаго, кромѣ pré Catelan; это огромное увеселительное мѣсто, устроенное со всѣмъ изяществомъ и декоративною роскошью, на которую такъ способны французы; хрустальные фонтаны съ золотыми рыбками, играющими подъ льющеюся водою, искусственный сталактитовый гротъ, озеро и гондолы, кафе и театры,—все это очень мило и въ самомъ дѣлѣ заслуживаетъ, чтобы видѣть; изъ увеселительныхъ мѣстъ pré Catelan, самое лучшее — театръ цвѣтовъ; въ мое время тамъ давала представленіе труппа испанскихъ танцовщицъ, которыя превосходно исполняли свои національныя пляски.

Изъ Елисейскихъ полей мы не могли урваться раньше семи часовъ; въ это время все облилось газомъ и со всѣхъ сторонъ послышались музыка и пѣніе café-chantants; ну есть-ли возможность уйти! Елисейскія поля еще лучше, еще оживленнѣе при вечернемъ освѣщеніи.

— Взгляните, сказалъ мнѣ послѣ обѣда М. В., указывая на газовый треугольникъ, внезапно вспыхнувшій съ лѣвой стороны, недалеко отъ двора промышленности,—знаете ли вы что тамъ такое?..

— Знаю,—входъ въ Мабиль.

— Что же вы на это скажете?

— Скажу. что намъ необходимо туда отправиться, чтобы достойнымъ образомъ окончить этотъ фланерскій день.

Пять минутъ спустя, мы подходили къ сіяющимъ воротамъ Мабиля, бросавшимъ яркій свѣтъ на толпу зѣвакъ, которая соби-

рается сюда каждый вечеръ, чтобы глазѣть на подъѣзжающихъ дамъ и кавалеровъ.

Только что поравнялись мы съ воротами, изъ-за ближайшаго дерева показалась молоденькая женщина въ шляпкѣ и мантильи; она прямо подошла къ намъ.

— Господа, торопливо заговорила она,—дайте мнѣ вашу руку, soyez si gentils; меня только что вывели изъ Мабиля... но я право не знаю за что, я танцовала какъ и всѣ... Если вы не дадите мнѣ вашей руки, меня одну ни за что уже туда не впустятъ.

— Что она говоритъ? что она говоритъ? суетливо спрашивалъ М. В.

Я объяснилъ ему въ чемъ дѣло; мы подхватили даму, вошли въ ворота и взяли билеты.

Эффектное устройство Мабиля вполнѣ заслуживаетъ ту репутацію, которую ему сдѣлали. Сначала идетъ густая аллея, на днѣ которой поставлена декорація, изображающая въ перспективѣ продолженіе деревъ и дороги; все это такъ искусно освѣщено, что аллеѣ, кажется, конца нѣтъ; слѣва, сквозь зелень, сверкаютъ сотни огней, тамъ гудитъ ускореннымъ тактомъ оркестръ, слышатся восклицанія, хохотъ, говоръ и тотъ глухой, переливчатый гулъ, который всегда носится надъ движущеюся толпою; туда ведутъ нѣсколько дорожекъ; онѣ изгибаются между насыпными клумбами, усѣянными цвѣтами и газовыми огнями, блистающими въ травѣ, въ цвѣтахъ и часто подъ водою, которая падаетъ съ уступа на уступъ стекляннымъ сводомъ; деревья и кусты усыпаны цвѣтными фонарями и газовыми рожками. Дорожки приводятъ къ широкой асфальтовой площадкѣ съ возвышающимся по серединѣ краснымъ павильономъ, освѣщеннымъ такъ ярко, что смотрѣть больно; здѣсь помѣщается оркестръ; площадка представляетъ картину такого оживленья, какое можно только видѣть въ одномъ Парижѣ. Со всѣхъ сторонъ, вокругъ оркестра, танцующія пары, перемѣшанныя съ толпами зрителей; на дорогѣ, окружающей площадку, съ трудомъ можно двигаться, — такъ велика давка. Дальше, какъ сказочные маленькіе дворцы волшебницъ, сверкаютъ кофейни, лавочки съ букетами и biblots, рѣзные навѣсы осѣняющіе билліарды, биксы, тиры для карабиновъ и пистолетовъ и не знаю что еще! Справа, большое длинное зданіе, вмѣщающее залъ, предназначенный укрывать танцоровъ во время дождя. Между строеніями, подъ высокими деревь-

ями, куча бесѣдокъ изъ зелени, столики и стулья, все это полно народомъ.

Но главный центръ возни и давки,—все таки вокругъ окрестра.

Публика Мабиля разнообразнѣе, чѣмъ гдѣ нибудь. Тутъ встрѣчаются львы всѣхъ странъ Европы и даже Бразиліи, прикащики магазиновъ, лица, изящно одѣтыя, но сомнительнаго существованія, дипломаты; часто любопытство завлекаетъ сюда знатныхъ леди и нашихъ русскихъ путешественницъ. Общество дамъ, т. е. собственно habituées Мабиля, состоитъ исключительно изъ камелій и лоретокъ второго разряда, ведущихъ неуловимо-воздушную жизнь, — живущихъ изо дня въ день. Но Боже, какъ все это разодѣто и обуто! Васъ ослѣпитъ шелкъ, бархатъ, кружева, шляпки, цвѣты, модныя мантильи, вѣера, бурнусы...

Все это скачетъ и неистово движется подъ тактъ оркестра, который играетъ съ такимъ увлеченіемъ, что, кажется, въ состояніи расшевелить мертваго; можете судить, какъ увлекаетъ онъ парижанокъ! Онѣ, то стелятся передъ бѣснующимися своими кавалерами, то выпрямляются и быстро вскидываются въ сторону, избивая при этомъ ногой кринолинъ и всегда стараясь показать шитый рубецъ своей юбки; едва успѣваешь слѣдить за ними; не знаешь чему удивляться: ловкимъ ли изгибамъ таліи, быстрой ли работѣ ногъ, огню ли во взглядахъ; понятно, что молодые новички иностранцы теряютъ здѣсь голову и въ первое время дѣлаютъ пропасть глупостей.

Опытъ, который не стоитъ впрочемъ пріобрѣтать,—опытъ можетъ научить только, что весь этотъ огонь, необузданное увлеченье,—искуственны, и средства для приманки жобаровъ.

Приходится выпить не одинъ стаканъ соды съ дамами Мабиля, прежде чѣмъ разгадаешь, сколько незримой, ужасающей нищеты скрывается подъ этими кружевами и беззаботными, веселыми улыбками, сколько загрубѣлой, нравственной порчи, притворства, хитрости скрываютъ эти лица, часто кажущіяся такими невинными и откровенными.

Стоитъ прислушаться, какъ мужчины, habitués, обращаются съ этими феями, чтобы стать на настоящую точку зрѣнія въ отношеніи къ послѣднимъ и получить къ нимъ полное отвращеніе.

Но новички не хотятъ прислушиваться; отуманенные ножками, взглядами улыбками, они слышатъ только шумъ въ собственной головѣ. Habitués говорятъ всѣмъ дамамъ — ты, и зовутъ ихъ не

иначе, какъ вымышленными именами: Souris, Carabine, Mirobolante, Boboche, Zizi и т. д. Дамы отвѣчаютъ тѣмъ же; выраженія: mon petit chien, imbécile, сказанныя кавалеру, считаются послѣдними лучшей наградой. — „Tiens comme vous ressemblez à mon proprіétaire"! неожиданно говоритъ дама, останавливаясь передъ незнакомымъ господиномъ. Новичокъ таращитъ глаза и глупо улыбается. Habitué безъ остановки отвѣчаетъ: Mademoiselle, on ne dit plus: propriétaire, — on dit: topinambour... Почему topinambour? Но кавалеръ и дама въ восхищеньи и оба заливаются смѣхомъ.

Въ Мабилѣ встрѣчается только самый ничтожный обращикъ того огромнаго женскаго сословія, которое наполняетъ всѣ театры, гулянья и увеселительныя мѣста Парижа. Какъ бы ни былъ поверхностенъ предлагаемый очеркъ современнаго Вавилона, нравы этого сословія не могутъ быть изъ него выпущены; темныя пятна такъ необходимы въ картинѣ, какъ и свѣтлыя части; безъ контрастовъ свѣта и тѣни, картины не существуетъ.

Вотъ для обращика разговоры и сцены, которыя въ Мабилѣ повторяются каждый вечеръ въ сотнѣ мѣстахъ.

Новичокъ, обвороженный танцами и наружностью дамы, подходитъ къ ней и дѣлаетъ ей комплиментъ.

— Je voudrais bien prendre quelque chose... возражаетъ дама безъ дальнѣйшихъ прелюдій.

— О, помилуйте, все, что вамъ угодно, говоритъ восхищенный кавалеръ, поспѣшно сгибая въ кольцо руку.

Пройдя десятокъ шаговъ, дама останавливается.

— Voulez vous me donner un bouquet? говоритъ она.

Съ послѣднимъ словомъ, какъ будто по волшебству какому-то, выскакиваетъ, Богъ вѣсть откуда, старуха съ лоткомъ букетовъ.

— M-r veut étrenner madame? Voilà le plus joli petit bouquet du monde... M-r, c'est trois francs...

— Нѣтъ, говоритъ дама, перемѣняя неожиданно намѣреніе: — я не хочу букета; дайте мнѣ лучше un biblot... букетъ такъ скоро увядаетъ... biblot я сохраню на память...

Новичокъ поспѣшно увлеченъ къ лавочкамъ, заставленнымъ фарфоровыми куклами, бездѣлушками всякаго рода, между которыми попадаются однакожъ жардиньерки въ сорокъ франковъ и другія довольно цѣнныя вещи.

При входѣ въ Мабиль, каждая дама обходитъ сначала всѣ

лавки и внимательно высматриваетъ, гдѣ лежитъ какая вещь; соколиный глазъ ея, умягченный бархатными рѣсницами, безошибочно падаетъ на сорокафранковую бездѣлушку.

— У меня нѣтъ жардиньерки, говоритъ она обворожительнымъ голосомъ, и прежде еще, чѣмъ кавалеръ успѣлъ предложить что нибудь: — vous seriez bien gentil, si vous m'en offriez une... вотъ здѣсь, какъ нарочно, такая хорошенькая... Oh Dieu, qu'elle est gentille! заключаетъ она, подпрыгивая, какъ милое, наивное дитя.

Новичку жмутъ руку; онъ вынимаетъ сорокъ франковъ; дама даетъ торговкѣ свой адресъ; сдѣлавъ еще пять шаговъ, дама выражаетъ странное желаніе пріобрѣсти букетъ. У всѣхъ букеты, у меня одной нѣтъ его.

Старуха снова выскакиваетъ какъ словно изъ земли.

— M-r veut etrenner madame и т. д.

Букетъ купленъ. Новичокъ и дама направляются къ столикамъ подъ деревьями.

— Чего вы хотите? спрашиваетъ новичокъ.

— Un petit soda.

— Garçon!

— Monsieur?

— Un soda! deux soda!.. des sodas!! восторженно кричитъ новичокъ.

Лакей ставитъ на столъ стаканы съ нѣсколькими каплями вишневаго соку и съ особеннымъ эффектомъ пускаетъ въ стаканы струю содовой воды, которая превращаетъ сокъ въ розовую пѣну.

Почти въ ту-же минуту оркестръ беретъ аккордъ; дама бросаетъ недопитую пѣну, схватываетъ руку кавалера и стремится къ танцовальной площадкѣ, снимая дорогой шляпку и мантилью; все это вмѣстѣ съ букетомъ поручается новичку; благодаря такому маневру, новичокъ оказывается застрахованнымъ своей дамой. Онъ можетъ вдругъ разочароваться, ему можетъ понравиться другая дама, онъ можетъ натолкнуться на пріятелей, которые увлекутъ его въ другую сторону; со шляпкой и мантильей онъ уже не убѣжитъ. Новичокъ, конечно, и самъ далекъ отъ подобной мысли; онъ упоенъ болѣе, чѣмъ когда нибудь; онъ глазъ не сводитъ съ дамы, которая при всякомъ удобномъ случаѣ, прыжкѣ и поворотѣ даритъ его то взглядомъ, то улыбкой. Она дѣлаетъ рѣшительно чудеса; едва отвернулся sergent, — полицейскій, — она выкидываетъ такія хореграфи-

ческія штуки, которыя, каждый разъ, вызываютъ громъ рукоплесканій. Аплодисменты окончательно кружатъ голову новичку. Накидывая мантилью на плечи своей дамы, онъ не пріискиваетъ словъ для выраженія своего восторга.

— Je voudrais bien prendre quelque chose... говоритъ она задыхающимся отъ усталости голосомъ.

— Quoi, un soda?

— Non, un vin chaud!

— Garçon!

— Monsieur?

— Un vin chaud!

— Voilà monsieur...

Горячее красное вино выпито.

— Хотите пройтись со мной по саду... предлагаетъ дама.

— Съ величайшимъ удовольствіемъ... можете-ли даже объ этомъ спрашивать?..

Новичокъ, у котораго при этомъ зарябило въ глазахъ отъ счастія, подаетъ руку и оба отправляются.

— Итакъ я вамъ нравлюсь... нѣжно говоритъ дама.

— Вы восхитительны!.. Я въ упоеньи, въ восторгѣ...

— И вы будете меня любить?..

— Еще-бы... всю жизнь... всегда... сколько угодно...

— Et moi aussi je t'aimerai bien!..

У новичка подкосились ноги: ему сказали ты; онъ готовъ упасть къ ногамъ; но дама вѣрно предугадываетъ его намѣреніе; она ловко подставляетъ ему щеку.

— Я хочу убѣдиться, точно-ли вы будете любить меня, говоритъ она, поправляя шляпку: — пойдемте къ колдуньѣ; это удивительная женщина, она всѣмъ здѣсь предсказываетъ и всегда говоритъ правду...

— Куда-же ѣхать? въ Marais? На конецъ города? спрашиваетъ новичокъ.

— О, нѣтъ, это подлѣ, въ Мабилѣ... Сюда, говоритъ, посмѣиваясь, дама, увлекая кавалера въ одинъ изъ отдаленныхъ угловъ сада, гдѣ между кустами устроенъ гротъ, завѣшенный ковромъ.

За ковромъ сидитъ старая француженка, съ тюрбаномъ на головѣ à la Lenormand и съ густо накрашенными бровями, придающими ей восточный видъ.

Передъ этимъ гротомъ происходятъ часто самыя забавныя сцены.

Разъ я былъ свидѣтелемъ, какъ одинъ англичанинъ, желая провести свою даму къ колдуньѣ, приподнялъ коверъ, но тотчасъ-же отошелъ, сказавъ:

— Погодите, il y a déjà quelqu'un, une femme...

— Милостивый государь! воскликнулъ стоявшій тутъ французъ: —я замѣчу вамъ: неучтиво говорить: quelqu'un...

— Я сказалъ, une femme, замѣтилъ англичанинъ.

— Еще хуже! еще невѣжливѣе! подхватилъ, разгорячаясь, французъ; —въ гротѣ жена моя, м. г.! Прошу васъ не осмѣливаться ставить здѣсь всѣхъ на одну доску...

— Я, кажется, ни мало не оскорбилъ вашу жену, назвавъ ее женщиной.

— Вы должны сказать: une dame! кричалъ французъ, все болѣе и болѣе харахорясь.

— Всякая дама женщина, сама королева Викторія женщина...

— Je me moque bien de votre reine Victoire!

— Comment? вскричалъ въ свою очередь британецъ, задѣтый за живое.

Сцена кончилась-бы, вѣроятно, трагическимъ образомъ, еслибъ въ ту-же минуту откуда ни возьмись не выскочили полицейскіе. Парижскіе sergents de police совершенные волшебники; они такъ славно предугадываютъ, когда въ нихъ нуждаются и являются всегда самымъ неожиданнымъ образомъ; впрочемъ это волшебники снисходительные и учтивые, —чуть-ли не самые учтивые люди Парижа, не въ укоръ будь сказано учтивѣйшей и просвѣщеннѣйшей націи міра, какъ говорятъ французы.

По прошествіи минуты, дама выходитъ отъ колдуньи, но уже безъ букета. Колдунья служитъ здѣсь, разумѣется, только предлогомъ; ей отдается трехфранковый букетъ и въ обмѣнъ получаются полтора франка, которые поступаютъ въ портмоне лоретки; букетъ переходитъ опять къ торговкѣ и часто покупается опять за три франка тѣмъ же кавалеромъ.

Новичокъ, конечно, ничего этого не подозрѣваетъ; до того ли ему! онъ весь поглощенъ своей дамой, которая при выходѣ изъ грота, кажется очень разстроенною.

— Что съ вами? пристаетъ онъ, нѣжно пожимая ручку, — не вѣрьте предсказаніямъ... они всѣ врутъ... Она вѣрно сказала вамъ что нибудь непріятное...

— Нѣтъ, не то... плаксиво возражаетъ дама, стараясь дер-

жаться какъ можно ближе къ глухимъ бесѣдкамъ, — совсѣмъ не то... я думаю о другомъ, Mon Dieu... Mon Dieu...

Тутъ она испускаетъ вздохъ и садится на скамью.

Новичокъ ничего не понимаетъ; онъ приходитъ окончательно въ тупикъ и теряется, когда дама вынимаетъ платокъ и закрываетъ имъ глаза. Долго не можетъ онъ добиться толку; наконецъ, съ неимовѣрнымъ усиліемъ она признается ему во всемъ: завтра, въ семь часовъ утра ее выгоняютъ изъ квартиры... (дама захлебывается), она должна... (тутъ она останавливается и давитъ себя платкомъ, чтобы заглушить рыданія), она должна... Вотъ смотрите! заключаетъ она наконецъ, вынимая изъ бокового кармана лоскутокъ бумажки, испещренный цифрами и словами: chandelle, charcuterie... blanchissage, loyer—итогъ: шестьдесятъ два франка.

Разъ, послѣ Мабиля, у одного изъ нашихъ соотечественниковъ собрались пятеро пріятелей; каждый изъ нихъ ходилъ къ прехорошенькой дамѣ, въ доказательство чего, каждый вынулъ лоскутокъ бумажки; на каждомъ лоскуткѣ оказались тотъ же счетъ и тотъ же итогъ въ шестьдесятъ два франка.

Само собою разумѣется новичокъ спѣшитъ успокоить даму и тутъ же отсчитываетъ деньги.

Съ первымъ звукомъ оркестра глаза дамы осушаются; она быстро вскакиваетъ; она дала слово танцовать и вѣрно теперь ищетъ ее кавалеръ. Шляпка и мантилья снова поступаютъ во владѣніе новичка и снова приковываютъ его на прежнее мѣсто. Кадриль очень оживлена; танцуетъ père Chicard, отвратительный шестидесятилѣтній старикъ въ жакеткѣ, съ выломанными назадъ руками, и сморщенной самодовольной физіономіей фарсера, увѣреннаго заранѣе въ своемъ торжествѣ; аплодисментамъ нѣтъ конца; bravo père Chicard! bravo la Mirobolante! bravo!! кричитъ толпа и вмѣстѣ съ нею новичокъ, который начинаетъ уже себя считать своимъ въ Мабилѣ.

Кадриль кончилась.

— Знаешь что, mon petit chien, нѣжно говоритъ дама въ то время, какъ новичокъ кутаетъ ее въ мантилью, не мѣшало бы тебѣ пригласить pour prende quelque chose Давида и Пети; это мои всегдашніе танцоры; ты этимъ польстилъ бы ихъ самолюбію...

Если новичокъ не совершенно глупъ, онъ напрямикъ отказывается отъ такого приглашенія: онъ начинаетъ уже каяться, что зашелъ далеко, далъ себѣ много воли и истратилъ порядочно де-

негъ. Имъ овладѣваетъ тогда что-то похожее на меланхолію. Маленькая ножка жмется къ его ногѣ и поощряетъ его къ откровенности.

— Послушай, говоритъ онъ со всей возможной нѣжностію,— ты позволяешь мнѣ говорить тебѣ: ты?

— Parbleu! восклицаетъ дама, устремляя на него безпокойный взглядъ.

— Послушай, шепчетъ онъ,—я говорю это не на счетъ тебя, нисколько; говорю, такъ, вообще... Что это здѣсь за дурная манера сразу накидываться на человѣка и выпрашивать у него то букетъ, то деньги, то... повторяю, я не на счетъ тебя это говорю, что до меня касается, я совершенно счастливъ, я говорю вообще... Этимъ способомъ женщины только пугаютъ человѣка; право такъ; другой посмотритъ да и отойдетъ; не лучше ли, ужь коли на то пошло, вести себя такимъ образомъ, чтобы внушить довѣріе и на долго привязать къ себѣ человѣка.

— Ты думаешь я не знаю этого! перебиваетъ дама, судорожно передвигая тоненькими, изящно выведенными бровями,—ты думаешь, мы ходимъ сюда для удовольствія; сюда приходятъ, и я первая pour s'étourdir!.. здѣсь всѣ потерянныя женщины,—и я первая!

— Перестань пожалуйста, говоритъ новичокъ, замѣтивъ слезы на глазахъ дамы и боязливо озираясь на стороны.

— Нѣтъ, не перестану! подхватываетъ она еще громче и при этомъ начинаетъ плакать,—я хочу высказать тебѣ всю правду; je suis la femme la plus misérable, la plus méprisable du monde... As tu été à Nîmes? неожиданно спрашиваетъ она.

— Нѣтъ...

— Тамъ въ Нимѣ одна изъ первыхъ гостинницъ: она принадлежитъ моему отцу и моей матери; родители мои, какъ ты видишь, почтенные и богатые люди... mois j'ai fui la maison paternelle...

— Ради самого неба! перестань, на насъ всѣ смотрятъ, убѣждаетъ новичокъ.

Къ великому его благополучію заигралъ оркестръ; дама его приглашена танцовать; ему снова поручаются шляпка и мантилья. Кадриль началась; онъ смотритъ на свою даму и въ головѣ его все поворачивается вверхъ дномъ; съ первымъ ударомъ смычка, дама его вся превращается въ одинъ прыжокъ, въ одну улыбку; куда дѣвались слезы, раскаяніе и нимскіе родители.

— Не смотря на твое раскаяніе и слезы, ты, однакожъ, весело танцовала, замѣчаетъ новичокъ, когда кончилась кадриль.

— Вы всѣ такъ легко судите! возражаетъ дама. — Ты, стало быть, мнѣ не вѣришь?

— Вѣрю, но...

— А я такъ вѣрю, что ты будешь любить меня... Уведи меня, уведи, Бога ради, поскорѣе отсюда! J'ai horreur de cet endroit! Ноги моей никогда здѣсь больше не будетъ... по крайней мѣрѣ до того времени, пока ты не оставишь меня и снова нужда не принудитъ меня сюда вернуться... Уйдемъ, уйдемъ отсюда!

Голосъ ея звучитъ такою искренностію, глаза смотрятъ такъ прямо, откровенно, на лицѣ столько душевной усталости,—какъ не повѣрить?

Новичокъ сажаетъ даму въ карету, она даетъ свой адресъ кучеру.

Новичокъ истратился, но онъ доволенъ; ему удалось, быть можетъ, вытащить изъ бездны бѣдную жертву парижскаго развращенія, онъ спасъ ее, быть можетъ, отъ вѣрной погибели,—на время конечно, — но все равно—autant de gagner. Углубленный въ такія мысли, онъ не замѣчаетъ, что едва дама сѣла въ карету, лицо ея ожило; расправивъ кринолинъ, закинувъ назадъ голову, она съ гордымъ самодовольствіемъ оглядываетъ толпу, мимо которой проѣзжаетъ.

— Mon chéri, говоритъ она при поворотѣ на площадь Согласія:—о чемъ ты задумался?

— Я думаю о тебѣ...

— И я о тебѣ думаю... и также... также о бѣдныхъ моихъ родителяхъ; я цѣлый день нынче ихъ вспоминала и плакала... такъ плакала, что представь,—ничего рѣшительно сегодня не ѣла...

— Хочешь ужинать?

— Да, только не хочу, чтобъ ты тратился; rien, qu'une toute petite cotelette... Куда же мы поѣдемъ?

— Куда хочешь...

— Cocher! повелительно кричитъ оживившаяся дама:—chez Deffieux, vous savez,—prés de la porte St. Denis...

Новичокъ можетъ еще благодарить Бога, что она не велѣла ѣхать въ Café Anglais или Maison d'or.

У Дефье la petite cotelette превращается въ нѣсколько дю-

жинъ устрицъ, въ бутылку стараго бордо, страсбургскій пирогъ и дессертъ.

Такой аппетитъ нисколько не удивителенъ, не всякій день попадаются новички; опытъ научилъ дамъ Мабиля предусмотрительности.

Послѣ ужина дама чувствуетъ большое утомленіе и проситъ отвезти ее домой: домъ этотъ состоитъ большею частію изъ страшной мансарды въ шестомъ или седьмомъ этажѣ дома, затеряннаго въ глухомъ, неосвѣщенномъ переулкѣ. Новичокъ не вѣритъ глазамъ своимъ: „какъ! неужели здѣсь обитаетъ эта хорошенькая фея, разодѣтая въ атласъ, бархатъ и кружева?“ При добротѣ сердца, сильномъ воображеніи и отсутствіи опыта, новичокъ сильно поражается картиною нищеты. Слезы и новые разсказы обитательницы разслабляютъ его окончательно; онъ отдаетъ остатокъ денегъ въ кошелькѣ, отдаетъ даже перстень, запонки и рубашечныя пуговки.

Послѣ уже узнаетъ онъ, что дама эта нанимаетъ во второмъ этажѣ того же дома три комнаты, очень мило устроенныя. Когда онъ при встрѣчѣ говоритъ ей объ этомъ, она обыкновенно смѣется и говоритъ, трепля его дружески по плечу:

— Bèta, c'était pour mieux t'attendrir!

Такое безконечное безстыдство и развращеніе овладѣло всѣмъ сословіемъ такъ-называемыхъ свободныхъ женщинъ. Совершенно тѣ же нравы встрѣчаются даже въ столь прославленномъ своимъ добродушіемъ и наивностію Qnartier Latin. Я долго жилъ подлѣ Люксембурга и не разъ имѣлъ случай въ этомъ убѣдиться. О прежнихъ гризеткахъ, ходившихъ въ чепчикѣ, скромномъ ситцевомъ платьѣ и дѣлившихъ все пополамъ съ бѣднымъ студентомъ,—тамъ нѣтъ уже и помину. Бернерета Альфреда де-Мюссе существовала, надо думать, очень давно. Въ Closerie des Lilas,—балѣ, куда преимущественно собираются бѣдные студенты и работницы, ничего не видишь, кромѣ шелковыхъ платьевъ, дорогихъ шляпокъ и кружевныхъ мантилій. Стоитъ сунуться къ любой, чтобы повторилась точь въ точь сцена, описанная нами, съ дамой Мабиля. Исключенія такъ рѣдки, что не идутъ въ счетъ общаго характера.

Въ одно время со мною жилъ въ Quartier Latin одинъ очень богатый молодой человѣкъ, выдававшій себя за студента медицинской академіи; онъ является въ Closerie и на улицахъ квартала не иначе, какъ въ старомъ сѣромъ пальто, широкополой шляпѣ и съ серебряными старомодными часами въ карманѣ. Цѣль его была

такая, чтобы встрѣтить любовь безкорыстную; но сколько ни старался онъ, цѣль его не была достигнута; онъ съ тѣмъ и уѣхалъ изъ Парижа.

Причина такого упадка нравственности — безумная роскошь, которая, какъ отрава какая-то, заразила всѣ сословія Парижа. Роскошь эта началась, разумѣется, въ верхнемъ сословіи и всѣми силами поддерживалась и поощрялась правительствомъ. Что же мудренаго, если она, бросаясь въ глаза и оскорбляя низшій классъ народа, развиваетъ въ немъ чувство зависти и такимъ образомъ развращаетъ его.

Роскошь, сколько мнѣ кажется, необходимое слѣдствіе общаго стремленія нижнихъ слоевъ общества стать въ уровень съ высшими; такое стремленіе замѣтно не только во Франціи, но и во всѣхъ европейскихъ государствахъ. Непросвѣщенный классъ, при пробужденіи своемъ, прежде всего ослѣпляется наружнымъ блескомъ, его окружающимъ, не разбирая причины чужого благосостоянія, онъ начинаетъ съ того обыкновенно, что сильно ему завидуетъ. Не подозрѣвая (и это очень понятно, потому что для нравственнаго воспитанія народа французское правительство ничего не дѣлаетъ)—не подозрѣвая, что сущность жизни образованнаго человѣка составляютъ высшія духовныя и умственныя наслажденія, — народъ завидуетъ только его внѣшней обстановкѣ. Подъ вліяніемъ зависти,—такого худого совѣтчика и чувства,—всѣ наперерывъ рвутся къ достиженію внѣшняго блеска, который кажется имъ верхомъ человѣческаго блаженства. Бѣдный народъ! въ Парижѣ не только среднее сословіе, но самые послѣдніе ремесленники, блузники, начинаютъ уже поневолѣ развращаться роскошью.

Во всемъ городѣ не существуетъ ничего, что-бы успокоивало духъ и давало уму простого человѣка трезвое, здоровое настроеніе. Здѣсь на каждомъ шагу вспоминаешь Англію, мудрыя ея распоряженія и заботливость въ отношеніи къ улучшенію нравственности и благосостоянію рабочаго класса. Въ Парижѣ напротивъ, все сдѣлано для того только, чтобы раздражать и еще сильнѣе развивать дурныя начала.

Стоитъ заглянуть въ тѣ части, куда народъ собирается обѣдать или проводить праздное время; вездѣ ослѣпительный блескъ сотенъ огней, повторяемыхъ зеркалами, вездѣ позолота на потолкахъ и стѣнахъ, вездѣ безнравственныя зрѣлища и пѣніе безнравственныхъ пѣсней. Большинство народа, и безъ того страхъ развращеннаго,

расположеннаго къ праздности и грубымъ удовольствіямъ, живмяживетъ въ этихъ заведеніяхъ, пропиваетъ и проѣдаетъ здѣсь всѣ свои деньги, забывая семью, которая между тѣмъ сгниваетъ въ нищетѣ и нуждается въ кускѣ хлѣба. О семейной жизни, объ очагѣ, который играетъ такую важную роль въ Англіи, даже въ самомъ бѣдномъ рабочемъ сословіи, — здѣсь нѣтъ и понятія.

Не существуютъ они точно также ни въ среднемъ сословіи, ни въ Сен-Жерменскомъ предмѣстьи. Лица, которыя долго жили въ Парижѣ, изучили его въ совершенствѣ и преимущественно жили въ кругу аристократіи, — лица, которыя вполнѣ заслуживаютъ довѣріе, передаютъ такіе факты, что право не знаешь, гдѣ больше гнѣздится безнравственности: внизу или вверху. Стоитъ припомнить послѣдніе процессы, которые ежедневно печатаются въ газетахъ, чтобы узнать, которому сословію отдать преимущество передъ другими, въ смыслѣ развращенія и моральнаго упадка.

Въ Парижѣ нѣтъ, стало быть, вовсе добродѣтелей? спроситъ читатель. Добродѣтель существуетъ, но только въ отдѣльныхъ представителяхъ или личностяхъ, которыя ничего не доказываютъ, кольскоро рѣчь идетъ о характерѣ цѣлаго огромнаго общества. И наконецъ, мораль французовъ совершенно особаго рода; она словно одна исключена была изъ общаго передвиженья нравовъ и мыслей; она осталась неподвижно на одной точкѣ и удержала форму, данную ей когда-то католическими іезуитскими монахами. Мораль эта состоитъ исключительно изъ сухихъ, пошлыхъ, давно изношенныхъ и ни къ чему не ведущихъ нравственныхъ сентенцій, рутинныхъ правилъ, воспрещающихъ, напримѣръ, восемнадцати-лѣтней дѣвушкѣ, ничего не читать кромѣ St. Augustin, тупоумнаго ханжества и поповскаго-католическаго притворства, благодаря которому восемнадцатилѣтняя дѣвушка научается скрывать отъ матери затаенную любовь въ сердцѣ и романъ Фейдо подъ подушкой. Не лучше-ли было бы, еслибъ такой морали вовсе не существовало? „Si elle n'existait pas, справедливо замѣчаетъ Бальзакъ, — il faudrait ne pas l'inventer!".

Что же остается послѣ этого въ Парижѣ? Чѣмъ же онъ всѣхъ привлекаетъ? Что же въ немъ хорошаго?...

Начать съ того, что нѣтъ человѣческой возможности исчерпать Парижъ до дна и разомъ показать его со всѣхъ сторонъ, такъ, чтобы въ одно и то-же время бросились въ глаза лицевая сторона и изнанка; отъ этого непремѣнно, одна сторона беретъ перевѣсъ

или другая. Этотъ лицевой фасъ существуетъ однакожъ; надо умѣть только стать къ нему лицомъ, чтобы онъ ослѣпилъ васъ; лицевую сторону Парижа представляютъ неисчислимые его способы къ просвѣщенію, его промышленность, усовершенствованія во всѣхъ возможныхъ родахъ, его удобства и внѣшняя, отшлифованная общимъ образованіемъ форма, которая дѣлаетъ здѣсь общественную жизнь чрезвычайно легкою и пріятною.

Многіе не хотятъ видѣть всего этого; озадаченные сразу уличными нравами, которые ошибочно принимаются за выраженіе нравовъ цѣлой Франціи, многіе приходятъ въ безотрадное отчаяніе касательно будущаго всей страны; они кричатъ, что при такомъ состояніи общества все кончено, нѣтъ возврата къ лучшему, что нація изжилась, сгнила, упала въ бездну, изъ которой никогда уже не выкарабкается.

Такая рѣзкость сужденій казалась мнѣ всегда преувеличенною и потому самому несправедливою. Нельзя не согласиться, что въ настоящее время нравы Парижа оставляютъ грустное впечатлѣніе. Не смоpя на тысячи его развлеченій и даже оцѣнку лицевой его стороны, постоянно находишься подъ вліяніемъ утомляющаго, неудовлетвореннаго чувства, нравственной духоты и гнета. Парижъ— не вся Франція, какъ многіе полагаютъ. Франція живетъ совсѣмъ другою жизнію. Дѣятельно работая, до пота лица,—она выказываетъ такую силу, что сама Англія, сильнѣйшая изъ всѣхъ державъ міра, боязливо на нее косится. Нѣтъ, нація стоитъ еще твердо и много въ ней задатковъ для будущаго!

Современное состояніе парижскихъ нравовъ — ничего больше, какъ переходное состояніе, родъ насморка, который неразъ уже повторялся, снова пройдетъ и снова жизнь приметъ свое правильное движеніе впередъ.

Я въѣзжалъ въ Парижъ съ самымъ веселымъ, пѣвучимъ настроеніемъ духа, уѣзжалъ я изъ него ощущая въ душѣ недовольное, разочарованное чувство. Тѣмъ не менѣе, при разставаньи, когда городъ началъ постепенно исчезать и теряться въ вечернемъ туманѣ,— я далъ себѣ слово непремѣнно туда вернуться при первомъ удобномъ случаѣ.

Сколько потомъ ни приводилось встрѣчать путешественниковъ,— всѣ по поводу Парижа испытывали то-же самое чувство: живешь,— бранишь не на животъ, а на смерть,—а уѣхать не хочется!

V.

Уголокъ океана.—Лоцманъ.—Кадиксъ.—Первыя впечатлѣнія.—Фонда Vista-Allegri.—Alameda.—Историческія замѣтки.—Какъ въ одно и тоже время, одни укрываются отъ зноя, другіе прячутся отъ холода.—Площадь S-Antonio.—Кадиксъ вечеромъ.—Женщины.—Puerto di tierra.—Кладбище.—Траги-комическое положеніе.—Кое-что о нравахъ.—Соборъ и рѣзная деревянная мадонна.—Общій видъ на Кадиксъ.

По всей вѣроятности, рѣдкій путешественникъ такъ охотно какъ я выѣзжалъ изъ Парижа и съ такимъ нетерпѣніемъ ждалъ возвращенія въ Брестъ. Дѣло, впрочемъ, объясняется само собою: изъ обыкновенныхъ туристовъ врядъ-ли кого нибудь манила въ Брестъ такая соблазнительная перспектива: корабль „Ретвизанъ“, на которомъ, какъ вамъ извѣстно, пустился я странствовать, готовился идти въ океанъ и, по пути въ Вилла-Франку, намѣревался остановиться на нѣсколько недѣль въ Кадиксѣ.

Плаваніе по океану, признаюсь, мало меня занимало. Благодаря „Ретвизану“, я слишкомъ хорошо успѣлъ познакомиться съ моремъ; мечтательный, поэтичный экстазъ, по поводу водяной стихіи, остылъ во мнѣ совершенно; его смѣнила хандра и скука, подкрѣпляемыя убѣжденіемъ, что море несравненно привлекательнѣе съ берега и на картинахъ, чѣмъ въ дѣйствительности.

Зная приблизительно, что̀ ожидало меня въ океанѣ, я тѣмъ не менѣе съ величайшей радостію садился на корабль. Новый переходъ открывалъ возможность побывать въ Испаніи, куда столько лѣтъ и всегда съ одинаковой силой устремлялось воображеніе.

5 (17) октября, часа въ два пополудни, „Ретвизанъ“ снялся съ якоря и вмѣстѣ съ отливомъ началъ уходить отъ Бреста. Было очень тихо: вѣтеръ, заслоняемый сѣрыми, мрачными скалами, обступающими бухту, едва шевелилъ парусами. Въ открытомъ морѣ па-

руса замѣтно надулись; но и здѣсь вѣтеръ слишкомъ еще былъ слабъ, чтобы разводить волненіе.

По океану ходила только зыбь. Зыбь эта такова впрочемъ, что уже ея одной достаточно, чтобы задерживать ходъ корабля. Стоя на ютѣ, я съ любопытствомъ смотрѣлъ, какъ въ глубинѣ безкрайнаго горизонта показывалась время отъ времени темная, чернильнаго цвѣта полоса, какъ она постепенно расширялась, выростала, превращалась въ длинный холмъ, увѣчанный пѣной, и стремительно къ намъ надвигалась. Въ первую секунду невольно замретъ сердце; думаешь: сейчасъ все кончено, сейчасъ ударитъ, задавитъ корабль и тяжестію своею пошлетъ его въ бездонную пропасть! Ничуть не бывало; „Ретвизанъ", со своими пятью-стами тысячами пудовъ вѣсу, представляетъ такое ничтожное сопротивленіе; онъ все-таки такъ малъ и легокъ, сравнительно съ объемомъ и тяжестью океанскаго вала, что послѣдній подбрасываетъ его также непринужденно, какъ яичную скорлупку или сухой листъ; чувствуешь только, что подымаешься кверху и также быстро скатываешься вмѣстѣ съ кораблемъ подъ гору, — словно на салазкахъ; валъ идетъ себѣ далѣе, какъ ни въ чемъ не бывало, между тѣмъ, съ другой стороны, снова показывается синяя полоса, снова растетъ и величественно, грозно надвигается... Нѣсколько правѣе отъ курса, по которому шелъ корабль, океанъ простирался мимо южной Америки; было, какъ видите, достаточно простору, чтобы разгуляться такой зыби.

Длинныя полосы сѣрыхъ, волокнистыхъ тучъ вскорѣ заслонили солнце; только передъ самой минутой, какъ готовилось оно скрыться за горизонтомъ, показался край темно малиноваго шара. Часамъ къ девяти наступила ночь. Между клочками разорванныхъ, быстро бѣжавшихъ облаковъ проглядывалъ полный мѣсяцъ. Еще въ началѣ мая, я любовался имъ, сидя на балконѣ въ пресловутомъ Каширскомъ уѣздѣ! И здѣсь онъ былъ все тотъ-же; свѣтъ его разливался такъ-же спокойно по широкой океанской зыби, какъ и надъ полями ржи передъ моими окнами; повидимому, не дѣлалъ онъ никакого отличія между океаномъ и Каширскимъ уѣздомъ; на то и другое смотрѣлъ онъ съ одинаковымъ безпристрастіемъ.

Утромъ внезапно пробудилъ меня шумъ книгъ, которые посыпались съ полки, прикрѣпленной надъ мою кроватью: такъ бывало только при сильной качкѣ; яснымъ дѣлалось, что мечты, касательно возможности проплыть спокойно по какому-бы то ни было морю, —

оказывались и на этотъ разъ несостоятельными. Съ первымъ шагомъ изъ каюты не осталось сомнѣнія, что океанъ не хочетъ выпустить насъ безъ того, чтобы не внушить къ себѣ должнаго уваженія.

— „Не стыдно ли ему? думалъ я съ досадой: — мы, со всѣмъ нашимъ кораблемъ, такіе передъ нимъ крошечные и жалкіе! Стоитъ-ли заниматься нами и удивлять насъ! Къ тому-же, кто изъ насъ сомнѣвался когда нибудь въ его силѣ и могуществѣ!?..“

Вѣтеръ налеталъ порывами; гулъ страшный ходилъ по всему кораблю; дождикъ хлесталъ по бортамъ и по палубѣ; небо слилось въ одинъ сплошной сѣрый сводъ. „Ретвизанъ“ хрипѣлъ какъ раздраженный слонъ. Глядя на его носъ, который, то отрывалъ пѣнящіяся волны, то круто лѣзъ подъ облака, можно было заключить, что море разыгралось не на шутку. Ко всему этому присоединился страшный холодъ; не было возможности оставаться въ пальто, не обвязавъ себя пледомъ. А я-то думалъ, возвращаясь въ Брестъ черезъ Бретань, гдѣ я зябъ какъ въ Коломенскомъ уѣздѣ,—что нынѣшній годъ, по крайней мѣрѣ, послѣдній разъ прощаюсь со стужей и сыростію, послѣдній разъ смотрю на печальную картину суровой сѣверной осени.

Часъ отъ часу становилось нелегче!

Вскорѣ услышалъ я команду: „рифы брать“!—и вслѣдъ затѣмъ, посреди глухого завыванья и плеска, раздалась надъ моей головой ускоренная бѣготня матросовъ.

— Вотъ тебѣ и счастливый переходъ! проговорилъ я, входя въ штурманскую каюту, которая находилась прямо противъ моей,—удовольствіе заглянуть въ Испанію не даромъ, кажется, намъ обойдется?

— Да, не совсѣмъ-то хорошо, возразилъ А. И. съ видомъ озабоченности.

— Что вы говорите?.. воскликнулъ я, отступая шагъ.

Я вовсе не ожидалъ такого отвѣта; напротивъ, мнѣ хотѣлось услышать что нибудь ободрительное, какую нибудь шутку, которая опрокинула-бы мои опасенія и возвратила спокойствіе сердцу; съ этою цѣлію собственно и отправился я въ штурманскую каюту.

— Что-жъ такое? развѣ въ самомъ дѣлѣ что нибудь нехорошо? повторилъ я.

— Барометръ упалъ на 0,24—былъ лаконическій отвѣтъ.

— Что-жъ это значитъ?

— Надо ждать:—будетъ штормъ!

Долженъ сознаться, это была одна изъ тѣхъ минутъ, когда я болѣе всего досадовалъ на себя за то, что согласился странствовать по морю.

Подвязавъ платкомъ фуражку, чтобы не сорвало ее вѣтромъ, я какъ можно скорѣе, на сколько позволяла качка, поднялся на ютъ. Особенной перемѣны не было ни на морѣ, ни въ небѣ, ни даже въ вѣтрѣ; разъ или два только, черезъ бортъ носовой части хватило пѣной, чего не случалось еще въ бурное время ни въ Балтійскомъ, ни въ Нѣмецкомъ морѣ. Качка была такъ велика, что едва можно было держаться; то палуба какъ будто исчезла подъ ногами, и приходилось бѣжать словно подъ крутую гору; то невольно откидываешься шаговъ за пять назадъ, чтобы съ усиліемъ сдѣлать шагъ впередъ.

Я подошелъ къ группѣ офицеровъ, которые глядѣли въ море, прислонившись къ борту.

— Говорятъ, штормъ будетъ! крикнулъ я.

Шумъ моря и вѣтра заглушалъ обыкновенный голосъ даже на самомъ близкомъ разстояніи.

— Да; барометръ упалъ на 0,24; вонъ и штормовки показались! весело крикнулъ одинъ изъ нихъ надъ самымъ моимъ ухомъ. Онъ указалъ черезъ бортъ.

Обративъ глаза въ ту сторону, я замѣтилъ, что въ пропастяхъ, которыя развѐрзались между волнами, сновало безчисленное множество сѣрыхъ птичекъ, такихъ-же почти мелкихъ какъ наши ласточки; ими управляла, казалось, сверхъестественная сила; не двигая крыльями, онѣ скользили надъ водою и съ изумительною ловкостію держались постоянно въ глубинѣ между волнами, какъ бы отыскивая тамъ защиту отъ вѣтра; хребты валовъ такъ быстро между тѣмъ смѣнялись и перекатывались, что едва успѣвалъ слѣдить глазъ; но птички опережали ихъ быстротою и подвижностію; онѣ постоянно летали на днѣ между волнами и ни разу не зацѣпила ихъ пѣна,—ни разу не прикоснулся къ нимъ вѣтеръ.

Мы находились въ то время отъ берега миляхъ въ семидесяти;—откуда взялись вдругъ эти птички? Что привлекло ихъ сюда? Должно же было чѣмъ нибудь осмысливаться ихъ внезапное появленіе!..

На все это никто не могъ дать отвѣта; повторяли только, что

птичку зовутъ штормовкой и появленіе ея всегда почти предвѣщаетъ штормъ или сильную бурю.

Но на этотъ разъ предсказаніе не оправдалось; не сбылось также предсказаніе барометра; послѣднее объяснили тѣмъ, что вѣроятно въ какой нибудь части океана, не очень отдаленной, происходила сильная буря. Мы не дождались шторма, и слава Богу!

Погода все-таки не перемѣнялась; дождь лилъ ручьями и холодъ былъ невыносимъ по прежнему. Снова наступили тѣ скучные дни, какъ бывало въ Балтійскомъ и Сѣверномъ моряхъ, когда изъ за качки и скрипу не находишь нигдѣ мѣста, когда бродишь какъ шальной изъ палубы въ палубу, изъ каюты въ каюту и въ комической досадѣ на самого себя повторяешь при каждомъ новомъ шквалѣ:

Que diable allais-je faire dans cette galère!

Дней черезъ пять вѣтеръ началъ утихать; вмѣстѣ съ тѣмъ, весьма натурально, уменьшилась и качка. Корабль, незадерживаемый волнами, пошелъ ходчѣе. Отъ прежняго оставался только холодъ, но съ этимъ легче было теперь помириться; вѣтеръ дѣлался попутнымъ; спустя самое короткое время, мы уже шли не менѣе восьми узловъ въ часъ.

13 (25) октября, на девятый день послѣ ухода изъ Бреста, рано утромъ отворяю дверь каюты; что за чудеса! На меня пахнуло вдругъ тепломъ, какъ изъ окна сырой комнаты, неожиданно отвореннаго на полдень въ іюлѣ мѣсяцѣ; палуба ярко освѣщена солнцемъ; матросы босикомъ и въ бѣлыхъ рубашкахъ. Торопливо взбѣгаю на ютъ, осматриваюсь во всѣ стороны, — глазамъ не вѣрю! Никогда еще не случалось видѣть надъ собою такого темно-голубого и вмѣстѣ съ тѣмъ, такого необъятно глубокаго небеснаго свода! Какъ словно волшебствомъ какимъ-то перенесло вдругъ изъ сѣраго узенькаго царства, въ царство простора, блеска и свѣта. Въ высотѣ бродили легкія серебристыя облака; онѣ не рѣзали, не кололи глазъ; сладко нѣжась на солнцѣ, онѣ, казались, видимо таяли въ мягкомъ сіяньи, проникавшемъ воздухъ; одинъ океанъ сохранялъ холодный, густой, какъ индиго, колеръ; волненіе совсѣмъ улеглось; во весь кругозоръ, плавно, величаво ходила зыбь, сквозившая противъ солнца, какъ плавленное синее стекло. Весело было глядѣть, съ какою быстротою мелькала пѣна мимо щекъ „Ретвизана“; корабль шелъ на всѣхъ парусахъ; онъ летѣлъ какъ чайка и съ каждой секундой приближалъ насъ къ такъ давно ожидаемому

испанскому берегу. На ютѣ происходилъ точно праздникъ, общество наше въ полномъ сборѣ; вездѣ встрѣчались веселыя лица; отвсюду раздавались радостныя восклицанія:

— „Что за благодать!“ „Въ раю не можетъ быть лучше!“ — „Сегодня 13 число октября по нашему стилю: воображаю, какъ должно быть мило сегодня въ Петербургѣ!“ и т. д. На всемъ кораблѣ не было возможности достать свободнаго бинокля или зрительной трубки; всѣ глаза жадно устремлялись къ золотистой туманной полосѣ на востокѣ, скрывавшей пока Испанію. Мы были отъ берега всего въ тридцати миляхъ.

Часамъ къ девяти, тяжело уже было оставаться на палубѣ иначе какъ въ лѣтнемъ пальто, надѣтомъ на рубашку; потъ обливалъ лица матросовъ; смола, которою залиты безчисленныя борозды корабля, размягчалась и свободно уступала самому легкому давленію ногтя; совсѣмъ тѣмъ, нельзя сказать, чтобы солнце жгло и палило, какъ у насъ, напримѣръ, въ іюлѣ; испаренія океана, охлаждая жгучесть лучей, сообщали воздуху мягкую, нѣжащую теплоту. Съ особеннымъ наслажденіемъ раскрываешь пальто, чтобы еще ощутительнѣе чувствовать на тѣлѣ прикосновеніе вѣтра, ласкающаго какъ бархатъ.

Туманъ на востокѣ замѣтно рѣдѣлъ; вскорѣ открылся берегъ, такой же крутой и скалистый какъ берегъ Бретани, но съ тою разницею, что послѣдній окрашивался сѣрой, однообразной краской, тогда какъ этотъ горѣлъ на солнцѣ; издали представлялся онъ сплошной янтарной глыбой, плавающей надъ густой лазурью океана. Воздухъ былъ до того прозраченъ, что явственно позволялъ различать очертаніе скалъ, откосовъ и бѣлыя крапины домовъ. Немного погодя, какъ словно изъ-за угла, потянулась въ море бѣлая полоса зданій; это былъ Кадиксъ! тотъ самый Кадиксъ, о которомъ слышали мы и читали такъ много чудеснаго. Сильнѣе билось сердце при одной мысли, что еще нѣсколько часовъ, —и будемъ гулять по его улицамъ; наконецъ, Кадиксъ, —это Испанія; Кадиксъ въ шести часахъ отъ Севильи; Севилья столица Андалузіи, —лучшей, интереснѣйшей части Испаніи.

Не помню, чтобы когда нибудь такъ нетерпѣливо рвался я къ берегу.

Подходя съ моря къ другимъ портовымъ городамъ, мы всегда издали, миль за пять, встрѣчали лоцмановъ; здѣсь лоцманъ явился когда корабль совсѣмъ готовился войти въ гавань. Къ сожалѣнію,

не удалось мнѣ видѣть, какъ подходила лодка; въ это время я укладывался и страшно суетился, приготовляясь съѣхать на берегъ, какъ только явится первая вольная шлюпка. Я увидѣлъ лоцмана въ ту минуту, какъ онъ взбирался на ютъ.

Это былъ статный парень лѣтъ тридцати, смуглый какъ старая гаванская сигара, съ толстыми африканскими губами и коричневыми зрачками, блиставшими въ желтыхъ, шафраннаго цвѣта бѣлкахъ; черныя синеватыя кудри вырывались изъ подъ низенькой шляпы съ загнутыми кверху полями; бѣлый воротъ рубашки падалъ на красный платокъ съ длинными концами; суконная коричневая куртка, шитая синимъ гарусомъ, открывала на груди складки рубашки; ее перехватывалъ у пояса широкій красный кушакъ; кожаныя штиблеты, доходившія до колѣнъ, и коричневыя панталоны съ металлическими пуговками по бокамъ, довершали одежду. Это былъ первый типическій національный костюмъ, который приводилось видѣть въ дѣйствительности; до сихъ поръ я встрѣчалъ его только въ театрѣ или на картинкахъ.

Лоцмана обступили со всѣхъ сторонъ.

— Parlate Francese? спросили его.

— No!

— Inglese?

— No!

— Italiano?

— No!

Недоумѣніе изобразилось на всѣхъ лицахъ. Какъ тутъ быть? Что дѣлать? Корабль подходилъ между тѣмъ все ближе и ближе къ гавани: надо же было знать, куда его ворочать, гдѣ удобнѣе остановиться и бросить якорь. Но нужда находчива; все обошлось какъ нельзя благополучнѣе; ставъ у компаса, лоцманъ энергически принялся махать руками, то вправо, то влѣво; управляясь этими знаками, офицеры передавали команду рулевымъ; лоцманъ поднялъ, наконецъ, кверху обѣ руки и живо опустилъ ихъ къ палубѣ. Раздалась команда: „изъ бухты вонъ!“ якорь шлепнулся въ воду, и лоцманъ, одобрительно кивая головою, спустился съ юта.

Съ той точки, гдѣ мы остановились, длинный плоскій полуостровъ, на которомъ расположенъ городъ, соединяющійся съ материкомъ узенькимъ перешейкомъ, открывался широкимъ своимъ фасомъ. Въ первую же минуту пришло мнѣ на мысль сравненіе Кадикса съ каменнымъ кораблемъ, стоящимъ на якорѣ посреди океана.

Странное расположеніе не довольствоваться настоящимъ впечатлѣніемъ и желать всегда, чтобы каждый предметъ не столько похожъ былъ на самаго себя, сколько на другой, часто во сто разъ менѣе красивый и достойный вниманія. Восхищены-ли вы цѣпью горъ, освѣщенныхъ мѣсяцемъ, или лѣсомъ въ минуту солнечнаго заката,—вамъ говорятъ:—„Чудесно, неправда-ли; точно декорація, точно картина!“ Вы любуетесь облаками:—„Прелесть! точно перламутръ, ни дать—ни взять кованное серебро или клочки ваты, разбросанные по голубому атласу!“ Такой-то господинъ играетъ съ замѣчательнымъ совершенствомъ на флейтѣ:—„Поразительно! слышится со всѣхъ сторонъ,—поразительно! инструментъ перестаетъ быть у него инструментомъ!—это голосъ, сладчайшій человѣческій голосъ!..“ и т. д.

Со стороны океана Кадиксъ представляетъ рядъ крѣпостныхъ стѣнъ красновато-бураго цвѣта; надъ ними, во всю ширину полуострова, возносится бѣлый, какъ снѣгъ, городъ; съ перваго взгляда поражаетъ онъ совершенно новымъ впечатлѣніемъ: вы точно перенесены на востокъ; плоскія крыши домовъ превращены въ террасы; надъ каждой почти террасой красуется mirador, каменная вышка, окруженная рѣшеткой; справа нѣсколько пальмъ показываютъ свои верхушки. Не знаю, новизна-ли впечатлѣній тому способствовала, но вообще, сколько ни припоминаю городовъ, виденныхъ потомъ въ Европѣ и на востокѣ,—ни одинъ до сихъ поръ не кажется мнѣ красивѣе Кадикса!

Мы подходили къ нему въ одну изъ самыхъ благопріятныхъ минутъ. Солнце, неуспѣвшее еще стать на полдень, освѣщало его съ боку; сверкающая масса бѣлыхъ зданій съ ихъ террасами и вышками, рисуясь на темноголубомъ небѣ, цѣликомъ повторялась въ синевѣ океана, который, съ этой стороны, заслонялся отъ вѣтра выступами крѣпостныхъ стѣнъ. Въ глубинѣ гавани стояли суда; изъ среды ихъ, прежде чѣмъ успѣли мы осмотрѣться, отдѣлилась лодка; она прямо направилась къ „Ретвизану“. Полосатый холщевой тентъ бросалъ тѣнь на ея палубу; надъ кормою развѣвался флагъ съ изображеніемъ льва на желтомъ полѣ, національный гербъ Испаніи; во всю длину чернаго борта написано было аршинными буквами: Sanitas. Въ лодкѣ сидѣло нѣсколько человѣкъ штатскихъ и военныхъ; послѣдніе были въ своихъ мундирахъ и треугольныхъ шляпахъ съ чернымъ плюмажемъ. Это были разнаго рода должностныя лица, посылаемыя обыкновенно командиромъ пор-

та и губернаторомъ для освидѣтельствованія каждаго судна, бросающаго якорь въ гавани. Прежде чѣмъ прибывшій корабль не выдастъ свидѣтельства о совершенномъ здоровьѣ своего экипажа, ему строго воспрещается сообщеніе съ берегомъ. Правило это соблюдается во всѣхъ портахъ Средиземнаго моря; оно вызвано необходимостію; этимъ только можно предохранить себя отъ чумы, которая заносилась бы сюда безпрестанно судами, идущими съ востока. Экипажу, не имѣющему карантиннаго свидѣтельства, вмѣняется въ обязанность тотчасъ-же вывѣсить желтый флагъ; съ этой минуты, все кончено! На кораблѣ лежитъ клеймо какого-то отверженья и проклятья; его обходятъ за полверсты; ни одинъ человѣкъ изъ его экипажа, подъ опасеніемъ быть застрѣленнымъ съ крѣпостного вала, не можетъ сойти на берегъ; это продолжается до тѣхъ поръ, пока Sanitas снова не вернется и не разрѣшитъ снять желтаго флага.

Намъ нечего было бояться остановки. Не смотря на то, что чиновники Sanitas и наши офицеры не могли понимать другъ друга (первые говорили только по испански, вторые слова не знали изъ этого языка, и всѣ переговоры происходили съ помощію болѣе или менѣе выразительной мимики), не смотря даже, что свидѣтельство о здоровьѣ „Ретвизана" писано было по французски и очевидно ставило въ тупикъ чиновниковъ,—затрудненія были тотчасъ-же сняты: мы получили разрѣшеніе ѣхать въ Кадиксъ.

Не успѣла лодка два раза взмахнуть веслами, корабль осажденъ былъ со всѣхъ сторонъ вольными шлюпками; словно на абордажъ полѣзли къ намъ содержатели гостинницъ и торговцы всякаго рода. Замѣчательно однакожъ, что тутъ не было ни одной женщины; совершенно противуположное тому, что происходитъ въ другихъ портахъ, гдѣ женщины играютъ въ этихъ случаяхъ главную роль; онѣ первыя являются обыкновенно на палубѣ.

Поспѣшая къ борту, гдѣ устроенъ главный спускъ съ корабля, я встрѣтилъ нѣсколькихъ офицеровъ, которые говорили по французски съ маленькимъ человѣкомъ весьма почтеннаго вида, одѣтымъ по европейски; это былъ содержатель фонды: Vista-Allegri; онъ объявилъ, что шлюпка его въ нашемъ распоряженіи и принялся переносить въ нее наши чемоданы; чрезъ минуту мы отталкивались отъ „Ретвизана".

Съ каждымъ ударомъ весла, приближавшимъ насъ къ пристани, сверкающая масса бѣлыхъ домовъ Кадикса постепенно понижалась,

заднiе дома прятались за переднiе, переднiе заслонялись зубчатымъ верхомъ крѣпостныхъ стѣнъ, которыя какъ будто выростали изъ океана. Немного погодя, мы очутились въ той части гавани, гдѣ останавливаются торговыя суда; ихъ было очень немного. Съ нѣкоторыхъ поръ, Малага беретъ надъ Кадиксомъ значительный перевѣсъ въ торговомъ отношенiи; сильно также вредитъ ему сосѣдство съ Гибралтаромъ; послѣднiй сдѣлался центромъ контрабанды и слѣдовательно чуть-ли не забралъ въ руки всю внѣшнюю торговлю южной Испанiи.

На пристани, расположенной между моремъ и крѣпостной стѣною, толкалась бездна народу; по пестротѣ и живописности только на востокѣ можно видѣть что нибудь подобное; но что за разница! Тамъ все за то и ограничивается пестротою и картинностiю; здѣсь жизненно звучитъ каждая интонацiя, одушевлено каждое движенiе, говоритъ каждая косточка! Что за красота и выразительность лицъ! Какая типичность въ очертанiи каждой почти фигуры! Было очень жарко; время подходило къ самому полудню; но и такая температура считается здѣсь, какъ видно, осеннею, холодною; по крайней мѣрѣ рѣдко попадался человѣкъ, незавернутый въ плащъ; еще рѣже, впрочемъ, попадались люди, не курившiе сигары или не крутившiе папироски.

Пока глазѣли мы по сторонамъ, вещи наши вытащили на берегъ.

— Вамъ, caballeros, нечего слишкомъ торопиться, обязательно сказалъ хозяинъ фонды,—я пойду впередъ съ людьми, которые понесутъ чемоданы, и похлопочу объ завтракѣ; вамъ, чтобы найти дорогу, дамъ провожатаго.

Мы конечно охотно согласились.

Попасть съ пристани въ городъ можно не иначе, какъ пройдя огромныя ворота, продѣланныя во всю толщину крѣпостной стѣны. Изъ воротъ прямо ступаешь на вымощенную плитами площадь; сюда выходятъ пять-шесть узенькихъ, темныхъ, но прямыхъ улицъ; нѣкоторыя изъ нихъ открываютъ въ глубинѣ синюю полосу океана. Террасы и вышки издали только придаютъ Кадиксу восточный характеръ; внутри онъ имѣетъ совершенно европейскiй видъ съ примѣсью, однакожъ, чего-то особеннаго, какой-то оригинальной, миловидной прелести; съ перваго взгляда васъ поражаютъ два цвѣта: бѣлый и темноголубой; бѣлый сверкаетъ на зданiяхъ, голубой разливается по небу. Стѣны домовъ, начиная со второго этажа (первый этажъ состоитъ обыкновенно изъ гладкой, выкрашенной масляной

краской, стѣны, гдѣ расположенъ главный входъ), буквально усѣяны окнами и балконами, рѣшетки балконовъ и жалузи оконъ выкрашены ярко-зеленой краской; я въ жизнь свою не видалъ столько балконовъ! Общій видъ чистоты составляетъ второй предметъ удивленья; городъ словно вчера только отстроился заново, выбѣлился и выкрасился. Невольно спрашиваешь себя: гдѣ-жъ эта испанская неряшливость и беззаботность, вошедшія чуть-ли не въ поговорку? Такой вопросъ чаще и чаще вертится на языкѣ, по мѣрѣ того какъ идешь далѣе. На площади, ближе къ воротамъ, рынокъ; здѣсь преимущественно происходитъ торговля съѣстными припасами. Подъ длинными холщевыми навѣсами, на конторкахъ изъ бѣлаго мрамора, устроенныхъ съ наклономъ для стока воды, которой то и дѣло окропляютъ товаръ, рядами наложена рыба, морскіе раки, шримсы; связки крупныхъ луковицъ, пунцовые стручья перцу, фиги, нанизанныя на нитки, висятъ пучками и гирляндами по краямъ навѣсовъ; мѣстами, на узорчатыхъ рогожахъ, плетеныхъ изъ цвѣтной соломы, возвышаются горы арбузовъ, гранатъ, апельсиновъ и бураго крупнаго винограда. Все это доставляется сюда каждое утро или на лодкахъ или привозится на мулахъ, которые тутъ-же стоятъ, покрытые самой фантастической, живописной сбруей; наружу выглядываютъ только ноги, хвостъ, уши и добродушная морда животнаго, большею частью впрочемъ окутанная красной или синей плетеной сѣткой; остальное все исчезаетъ подъ мѣдными бляхами, бубенчиками, шерстяными кистями и попонами самыхъ яркихъ цвѣтовъ; посреди всего этого движется оживленная толпа, сквозь которую продираются въ безпорядкѣ вереницы ословъ, навьюченныхъ овощами или длинными красноватыми кувшинами съ водою, которая составляетъ здѣсь предметъ выгодной торговли. На каждомъ шагу путь преграждается верховыми въ національномъ костюмѣ; это по большей части поселяне окрестныхъ деревень; ихъ отличаетъ черная широкополая шляпа, коричневый плащъ, высокіе кожаные штиблеты и trabuco—длинное ружье; оно неизбѣжно блеститъ за спиною каждаго изъ нихъ. Пестрота страшная! Красные и желтые кушаки, цвѣтныя шитыя куртки, шапочки, увѣшанныя кистями,—все это, облитое солнцемъ, переливается и путается въ глазахъ, какъ стекло калейдоскопа. На всемъ и здѣсь точно также лежитъ печать опрятности и щегольства, которыхъ нигдѣ прежде не случалось встрѣчать. Дивишься, откуда этотъ народъ, слывущій такимъ бѣднымъ, достаетъ денегъ, чтобы красоваться въ такихъ бѣлыхъ рубашкахъ,

чтобы покупать свои цвѣтныя шитыя куртки и панталоны, свои кожаные штиблеты, шелковые пояса и шляпы; шляпы эти, надѣваемыя всегда на бекрень, кажутся еще красивѣе, когда покрываютъ голову, обвязанную пестрымъ платкомъ съ концами, падающими на плечо или на шею. Въ толпѣ много было женщинъ; между ними то и дѣло попадались очень хорошенькія. Всѣ онѣ въ длинныхъ платьяхъ съ открытымъ лифомъ и короткими рукавами; плечи и голыя руки соблазнительно просвѣчиваютъ сквозь кружевную мантилью, которая набрасывается на голову и держится на высокомъ деревянномъ или черепаховомъ прорѣзномъ гребнѣ: платье, мантилья и даже вѣеръ—чернаго цвѣта; одежда до такой степени одинакова у всѣхъ, что съ перваго взгляда никакъ не отличишь бѣдную отъ богатой, торговку отъ покупщицы, швейку отъ дамы; здѣсь, впрочемъ, всѣ дамы, всѣ д о н н ы—безъ различія званій и состояній; но женщины, и въ Кадиксѣ особенно, слишкомъ важный предметъ, чтобы можно было говорить о нихъ мимоходомъ.

Можете представить, какое дѣйствіе произвелъ видъ этой площади на человѣка, который всего два мѣсяца оставилъ Петербургъ и никогда прежде не бывалъ на югѣ Европы!

Чтобы вполнѣ судить объ эффектѣ, надо знать, что̀ здѣсь за солнце; блескъ его придаетъ двойную яркость каждому лицу, каждому предмету; не забудьте также голубыхъ тѣней, бросаемыхъ навѣсами, группами людей и падающихъ колоннами на стѣны домовъ, сверкающихъ бѣлизною; не забудьте яснаго лазореваго неба, передъ которымъ небеса Тиціана и Веронеза кажутся писанными грязью!

Фонда Vista Allegri находилась на другомъ концѣ города; къ ней отъ площади вела улица, которая огибала почти третью часть полуострова; справа тянулась все время высокая крѣпостная стѣна, застроенная со стороны города массивными зданіями, вмѣщающими военный арсеналъ, гарнизонъ, таможню и проч. Слѣва шелъ рядъ домовъ, прерываемый время отъ времени узенькими улицами, вымощенными плитами. Онѣ были настолько же пусты, насколько оживлена была площадь. Кромѣ насъ и нашего проводника не попадалось живого лица; зеленыя рѣшетчатыя жалузи глухо заперты, двери закрыты; городъ казался точно вымершимъ. На всемъ протяженіи улицы только у двухъ или трехъ дверей коверъ былъ приподнятъ, и мы могли заглянуть во внутренность patio, —маленькаго дворика, покрытаго полотномъ, обставленнаго цвѣтами и зе-

ленью. Наружная дверь съ улицы, выложенная обыкновенно мраморомъ, приводитъ, нѣсколькими ступенями, сначала въ небольшую комнату; стѣны ея выбѣлены, полъ вымощенъ мелкими сѣрыми и бѣлыми камешками; грубая эта мозаика представляетъ узоры, кресты, горшки съ цвѣтами, иногда годъ постройки дома; patio непосредственно за этой комнатой и нѣсколькими ступенями ниже.

Изрѣдка, въ глубинѣ темныхъ перекрестныхъ улицъ, упирающихся въ синеву океана, исполосованную пѣной, мелькала женская фигура въ черномъ одѣяньи; мы останавливались,—но она исчезала какъ видѣнье.

— Machucha! (дѣвушка), повторялъ при этомъ случаѣ каждый разъ нашъ проводникъ, весело подмигивая и посмѣиваясь.

Въ этомъ подмигиваньи и улыбкахъ ничего, однакожъ, не было двусмысленнаго; еще менѣе проглядывало въ нихъ желаніе поддѣлаться къ намъ и задобрить насъ въ свою пользу,—желаніе, которое такъ отличаетъ всегда прислужниковъ и проводниковъ Италіи и Франціи. Онъ мигалъ и посмѣивался очевидно потому только, что на него самого пріятно дѣйствовалъ видъ хорошенькой женщины. Не знаю, что будетъ дальше, но пока здѣсь только, въ Испаніи, первый разъ приходится встрѣчать въ простомъ классѣ полнѣйшее отсутствіе холопства. Чувство достоинства является здѣсь не какъ результатъ цивилизаціи: въ Испаніи не было и помину о томъ постепенномъ распространеніи просвѣщенія на массы, которое, частію сознательно, частію благодаря историческимъ причинамъ и времени, дѣйствовало въ пользу народовъ западной Европы. Здѣсь чувство достоинства—врожденное свойство; народъ испанскій никогда не былъ рабомъ; нравственная его жизнь, въ той формѣ, какъ она теперь существуетъ, началась собственно съ изгнанія общаго врага—мавровъ; въ этомъ изгнаніи и совершенно по своей волѣ, движимый только религіознымъ фанатизмомъ,—главную роль игралъ народъ; народъ помнитъ это; онъ считаетъ себя освободителемъ національной независимости. Гордость каждаго испанца основывается на томъ, чтобы прежде всего быть старымъ христіаниномъ; по понятіямъ его, тотъ только низкаго происхожденія, къ чьей крови примѣшалась кровь арабовъ; увѣренность быть старымъ христіаниномъ до владычества арабовъ, переходя въ семействѣ изъ рода въ родъ, считается послѣднимъ представителемъ семейства—будь онъ хоть нищій—такимъ высокимъ отличіемъ, послѣ котораго ничего уже желать не остается; оно, въ нравственномъ его убѣжденіи, равняетъ его съ

важнѣйшими лицами отечества. Поэтому въ Испаніи не существуетъ общей всей Европѣ зависти простого класса къ дворянству. Различіе людей составляетъ только богатство; но и это не возбуждаетъ точно также большой зависти; почва такъ плодородна, что всегда съ избыткомъ вознаграждаетъ легчайшій трудъ; народъ къ тому-же безпеченъ до крайности; если онъ досталъ столько, чтобы одѣться по своему вкусу, если у него есть чѣмъ перекусить, на что купить табаку для своихъ papelitos—папиросъ,—онъ доволенъ и больше ничего не требуетъ, кромѣ свободы двигаться, кромѣ боя быковъ и солнца, въ которомъ, кажется, никогда не бываетъ у него недостатка.

Зданіемъ гостинницы Аллегри оканчивается улица; гостинница выдается угломъ и обращена бокомъ къ океану, фасадомъ на маленькую площадь, въ концѣ которой начинается Alameda,—городская прогулка; это чуть ли не самое лучшее мѣсто Кадикса; мы заранѣе поздравили себя, что не послушали печатныхъ гидовъ, предлагавшихъ гостинницу Біанки и другія.

Домъ, занимаемый теперь фондой Аллегри, очевидно былъ выстроенъ для жизни самого владѣльца; удивительно только въ немъ отсутствіе patio, того внутренняго дворика, который, увѣряли меня, составляетъ необходимую принадлежность каждаго дома южной Испаніи. Наружныя двери, украшенныя мраморными колоннами, вводятъ прямо въ выкокую прихожую со сводомъ; направо—столовая и кухня; прямо—широкая лѣстница; по стѣнамъ старые, почернѣвшіе фамильные портреты; жилыя комнаты занимаютъ второй этажъ. Видъ оттуда на Аламеду и океанъ восхитительный! Въ комнатахъ не существуетъ признака меркантильной роскоши, отличающей вообще европейскія гостинницы; здѣсь только необходимое; роскошь заключается въ чистотѣ; она удовлетворила-бы самаго педантическаго голландца. Гладкія стѣны выбѣлены известью; полъ, вымощенный кирпичемъ или мраморными плитами, устланъ ковромъ, плетенымъ изъ цвѣтной соломы; постели отличныя.

— Все это превосходно; лучшаго грѣхъ даже желать! замѣтилъ я хозяину, который сопровождалъ насъ и умиленно поглядывалъ на восторженное выраженіе, невольно проступавшее на нашихъ лицахъ;—но прежде, не мѣшало-бы знать, во что можетъ намъ обойтись такой рай,—хоть напримѣръ, въ сутки?..

— Это будетъ зависить отъ того, сколько возьмете вы комнатъ, скромно отвѣчалъ хозяинъ.

— Насъ трое, мы и беремъ три комнаты.

— Съ каждаго придется слѣдовательно по двадцать четыре реала въ сутки.

Мы обмерли и съ сожалѣніемъ обратили глаза къ океану и Аламедѣ, какъ бы прощаясь съ ними; сумма показалась намъ чудовищной; дѣло въ томъ, что ни одинъ изъ насъ не позаботился прежде посмотрѣть въ гидѣ цѣнность испанскихъ монетъ.

— Помилуйте, воскликнулъ я съ чувствомъ трогательнаго убѣжденія,—въ Парижѣ, гдѣ все такъ дорого, я платилъ за комнату всего восемь франковъ въ сутки; правда, комната была не въ примѣръ хуже вашихъ; изъ оконъ видны были не океанъ и Аламеда, а какая-то грязная стѣна, облѣпленная афишами; но все-таки, судите: восемь франковъ; въ Парижѣ—восемь франковъ!..

— Я считаю въ этой суммѣ завтракъ, обѣдъ, прислугу, бѣлье... перебилъ торопливо хозяинъ.

— Все таки дорого! Въ Парижѣ можно очень порядочно пообѣдать за шесть франковъ и завтракать за два.

— Конечно Кадиксъ не Парижъ, но право двадцать четыре реала недорого, убѣждалъ хозяинъ,—помилуйте: обѣдъ, завтракъ, прислуга, бѣлье,—и за все это выходитъ въ сутки съ человѣка по шести франковъ!

— Какъ по шести франковъ?

— Ну да: двадцать четыре реала, переведенные на французскія деньги, составляютъ ровно шесть франковъ...

Вообще весь этотъ день можно было бы назвать днемъ пріятныхъ изумленій.

Хозяинъ объявилъ, что затракъ готовъ, мы сошли въ столовую.

Завтракъ отличался изобиліемъ; онъ состоялъ изъ шести-семи блюдъ, и надо правду сказать, одно было хуже другого; за все впрочемъ вознаграждалъ шоколадъ и шримсы; послѣдніе были превосходны. Шримсовъ такого вкуса и величины (почти въ палецъ) привелось ѣсть только въ Смирнѣ; политые соусомъ изъ горчицы и масла, они на вкусъ несравненно тоньше самыхъ свѣжихъ омаровъ. Но какъ, спросите вы, могли соединиться въ нашемъ желудкѣ безъ вредныхъ послѣдствій, шримсы съ горчицей и шоколадъ? Признаюсь, для меня самого это загадка; чудо это, по всей вѣроятности, надо отнести къ дѣйствію климата или моціону, можетъ быть,—потому что, сколько помнится, никогда мы такъ много не ходили, какъ въ Кадиксѣ. Удивлю васъ еще болѣе, когда скажу, что, любопытства

ради, мы отвѣдали почти каждого блюда и съѣли баснословное количество винограда, который здѣсь превосходенъ; крупныя и совершенно круглыя его ягоды, темно-бураго цвѣта, до того сочны, что лопаются отъ легкаго прикосновенія и обсахариваютъ пальцы; одно бѣда—часто приходится его ѣсть чуть ли не пополамъ съ землею; виноградъ южной Испаніи растетъ такъ низко, что гроздья стелятся по грунту, и ягоды, по мѣрѣ созрѣванія, облипаютъ коркою земли и пыли, которую отмыть не достанетъ никакого терпѣнія. Намъ подавали также нѣсколько сортовъ мѣстныхъ винъ, отъ нихъ такъ било въ носъ запахомъ бурдюка, что ничего не могу сказать о настоящемъ ихъ вкусѣ.

Къ концу завтрака въ столовой сошлось почти все общество „Ретвизана"; обыкновенныхъ двухъ прислужниковъ Аллегри было уже недостаточно; донъ Антоніо (такъ звали хозяина гостинницы), хлопотавшій въ кухнѣ, принялся подсоблять имъ. Онъ сообщилъ, между прочимъ, что сезонъ corrida de toros (бѣга быковъ), со сожалѣнію, кончился; послѣдній бѣгъ происходитъ въ концѣ сентября; причиною тому, какъ говорилъ онъ, дожди, которые начинаютъ лить около этого времени; увлаженная арена теряетъ свою твердость, дѣлается скользкою и перестаетъ быть удобною для эволюцій chulos, тореадоровъ и матадоровъ. Онъ сообщилъ также, что театръ еще не открытъ.

— Можно-ли по крайней мѣрѣ увидать здѣсь гдѣ нибудь національные танцы?

— Теперь невозможно: въ Кадиксѣ вообще мало танцуютъ; впрочемъ, сюда ждутъ на дняхъ изъ Севильи труппу танцовщицъ.

— Гдѣ-жъ можно будетъ ихъ видѣть? спросили мы въ одинъ голосъ.

— Въ театрѣ; импрессаріо нарочно за ними поѣхалъ; потому собственно и театръ закрытъ; здѣсь пока происходятъ представленія въ циркѣ; онъ открытъ каждый вечеръ.

— Чтожъ будемъ здѣсь дѣлать? заговорили вокругъ стола,— Кадиксъ отъ насъ не уйдетъ; все равно, сюда же вернемся, когда придетъ время оставлять Испанію; не лучше ли воспользоваться свободой и отправиться въ Севилью? многіе уже справлялись: каждый день два парохода отходятъ въ Севилью.

Большинство рѣшило ѣхать въ Севилью. Нѣсколько человѣкъ, къ числу которыхъ и я принадлежалъ, были другого мнѣнія. Если не уйдетъ Кадиксъ, не уйдетъ и Севилья. Первое впечатлѣніе слиш-

комъ выгодно говорило въ пользу Кадикса; невольно тянуло пожить въ немъ нѣсколько дней. На всемъ здѣсь такая печать новизны и оригинальности, все дышетъ такою поэзіей, такъ обольстительно ласкаетъ воображеніе и манитъ любопытство, что самая возможность провести лишній день въ Севильѣ, слабо дѣйствовала; такъ хорошо и здѣсь пока; чего-жъ еще больше? Чувство полнѣйшаго внутренняго довольства, испытанное мною только въ Испаніи, благодаря вѣроятно разнообразію и силѣ новыхъ впечатлѣній, которыя давалъ мнѣ здѣсь каждый городъ, было, можно сказать, причиною, почему, пробывъ здѣсь около трехъ недѣль, я ничего не видалъ, кромѣ южной части Андалузіи. До пріѣзда съ Севилью, я разсчитывалъ взглянуть хоть мимоходомъ на Кордову, Гренаду, пробыть нѣсколько дней въ Мадридѣ; но пріѣхалъ въ Севилью, и не достало силы, недостало духа урваться изъ нея, ѣхать дальше. „Какъ хорошо, повторяешь себѣ каждую минуту,—Господи, какъ хорошо!“ Не вѣришь, чтобы могло быть что̀ нибудь лучше; чувствуешь себя вполнѣ счастливымъ и ничего больше не хочется, никуда не тянетъ, вѣкъ бы здѣсь остался!

Похожденія наши въ Кадиксѣ начались съ Аламеды.

Представьте себѣ бульваръ, шириною въ нѣсколько сажень, длиною съ версту, вымощенный плитами изъ бѣлаго мрамора; справа, во всемъ своемъ величіи растилается океанъ; гранитная набережная, въ упоръ локтю, окаймляетъ съ этой стороны прогулку; слѣва, непрерывный рядъ домовъ, усыпанныхъ балконами, выкрашенными такою же ярко-зеленой краской, какъ и жалузи оконъ; при каждомъ домѣ, сбоку или спереди, терраса, окруженная рѣшеткой и уставленная цвѣтами и зеленью; надъ вышками развѣваются флаги почти всѣхъ націй; здѣсь премущественно живутъ иностранные консулы. Между краемъ мраморнаго бульварнаго помоста и набережной, точно также какъ между другимъ его краемъ и домами, оставлено пространство, загороженное желѣзными рѣшетками съ промежутками для прохода къ домамъ или океану. За рѣшетками насажены деревья, цвѣты и растенія; мѣстами возносятся нѣсколько исполинскихъ пальмъ; еще издали, съ моря виднѣются онѣ надъ Кадиксомъ и придаютъ ему восточный характеръ. Роскошь растительности поражаетъ здѣсь на каждомъ шагу; олеандръ достигаетъ размѣра сильнаго дерева, вьющійся жасминъ и китайскія розы обвиваются вокругъ стволовъ пальмъ, всползаютъ къ верхушкамъ и ниспадаютъ оттуда тяжелыми гроздьями цвѣтовъ; во всю длину

прогулки справа и слѣва идутъ бѣлыя мраморныя скамьи со спинкой. Слѣва, при концѣ Аламеды, развертывается громадный фасадъ бывшаго іезуитскаго монастыря; зданіе это, украшенное нѣсколькими ярусами колоннъ, поддерживающихъ богатый порталъ во вкусѣ возрожденія, достойнымъ образомъ оканчиваетъ прогулку—безспорно самую великолѣпную въ мірѣ. Монастырь, послѣ того какъ разъ ночью жители Кадикса ворвались въ него и перерѣзали монаховъ, получилъ, кажется, назначеніе казармъ; по крайней мѣрѣ, въ воротахъ и окнахъ, вмѣсто стриженныхъ головъ и монашескихъ капоровъ, выглядывали головы въ каскахъ и синіе мундиры. Предположеніе это подтверждается тѣмъ еще, что сейчасъ за Аламедой расположена батарея и грозно воздвигаются на каменныхъ платформахъ груды бомбъ и ядеръ. Батарея и гарнизонъ всегда, говорятъ, на-готовѣ встрѣтить непріятеля. Такая предосторожность чуть-ли не лишняя въ настоящее время. Кому теперь нуженъ Кадиксъ? Какъ важный приморскій военный и торговый пунктъ, онъ потерялъ значеніе не только для Европы, но и для Испаніи. Портъ Кадикса, куда сходились когда-то всѣ суда, приходившія изъ Америки и колоній, стоитъ почти пустымъ съ того времени, какъ Испанія потеряла бо́льшую часть своихъ владѣній; остаткомъ заграничной торговли завладѣла Малага; въ военномъ отношеніи, Гибралтаръ несравненно сильнѣе; Кадиксъ сохранилъ только живописность своего положенія и красоту своихъ женщинъ; въ этомъ отношеніи онъ дорогъ и увлекателенъ для однихъ развѣ туристовъ.

Положеніе Кадикса обошлось ему недешево; оно съ незапамятныхъ временъ служило приманкою разнымъ народамъ и было, можно сказать, поводомъ неисчислимыхъ бѣдствій. Кадиксъ, по бѣдствіямъ, испытаннымъ имъ, заслуживаетъ такого же вниманія, какъ и по древности своего происхожденія. Основанный финикійцами, онъ началъ уже жить исторической жизнію за шестьсотъ лѣтъ до Рождества Христова. Съ тѣхъ поръ, не было такихъ переворотовъ и потрясеній, которымъ бы не служилъ онъ театромъ. Поперемѣнно осаждали его карѳагенцы, Анибалъ, Сципіонъ, Юлій Цезарь; потомъ, одинъ за другимъ, являлись готѳы, арабы, норманы, португальцы (1370), Барбарусса (1530), англичане (1587), вторично англичане при Нельсонѣ (въ 1797); разрушаемый нѣсколько разъ до основанія, онъ снова возникалъ и снова разрушался, если не силою оружія, то страшными землетрясеніями; чума нѣсколько разъ истребляла до половины его населенія. Съ 1649 г. чума продолжалась

три года сряду. Время отъ времени, Кадиксъ былъ жертвою ураклановъ, которые въ нѣсколько часовъ дѣлали то, чего въ годъ не могли сдѣлать враги и эпидемическія болѣзни; такимъ образомъ, ураганъ и землетрясеніе, дѣйствовавшіе въ одно и то-же время, въ 1755 году, чуть не погубили Кадиксъ окончательно. И то и другое продолжалось всего десять минутъ; первые удары разрушили только нѣсколько старыхъ домовъ; жители успоколись, думая, что этимъ все и кончится; даже небо прояснилось и вѣтеръ упалъ совершенно. Въ это самое время океанъ неожиданно заволновался и побѣжалъ назадъ, потомъ, словно собравшись съ силою, онъ вдругъ ударилъ на Кадиксъ, прорвалъ гранитныя стѣны, и покатилъ разъяренныя волны по городу, смывая все, что ни попадалось на пути — и людей и зданія; спаслись тѣ только, которые успѣли подняться въ верхніе этажи уцѣлѣвшихъ домовъ; толпы народа, искавшіе спасенія внѣ города и бѣжавшія къ материку по перешейку, унесены были моремъ,—живого человѣка не осталось.

Теперь въ Кадиксѣ не найдешь даже признака минувшаго. Гуляешь по городу, словно вчера только отпустившему послѣднихъ своихъ маляровъ и штукатуровъ. Видъ бѣлыхъ какъ сахаръ стѣнъ, покрытыхъ рядами зеленыхъ балконовъ, пестрыя маркизы оконъ, террасы, наполненныя цвѣтами и зеленью, прямыя улицы съ ярко голубою полосою неба между крышами, все дышетъ свѣжестью и располагаетъ къ веселости. Надо видѣть Кадиксъ, особенно вечеромъ, когда кончается siesta и весь людъ высыпаетъ на улицы. Прислушиваясь къ хохоту и говору толпы, которымъ вторитъ шелестъ вѣеровъ и бряцанье гитаръ изъ оконъ и patio, освѣщенныхъ цвѣтными и бумажными фонарями; глядя на majos въ щегольскомъ національномъ костюмѣ, на женщинъ съ страстными или задумчивыми глазами; встрѣчая всюду воодушевленныя лица, взгляды, движенія, невольно увлекаешься мыслью, что здѣсь исключительно все создано для одного только веселья, для любви и наслажденій; несчастія какъ будто никогда даже не заглядывали въ эти стѣны, подъ это голубое, лучезарное небо!

Я забылъ сказать, что на всей Аламедѣ не встрѣтили мы живой души. Мы объяснили это тѣмъ, что въ эти часы слишкомъ жарко и жители дѣлаютъ сіесту; сами мы начинали чувствовать потребность укрыться отъ зноя; одна только ненасытная жадность осмотрѣть скорѣе Кадиксъ, жадность, которая, надо признаться, возбуждалась надеждой увидѣть наконецъ столь прославленныхъ кади-

танокъ, могла заставить насъ переносить палящіе лучи солнца; но каково было наше удивленіе, когда узнали мы, что скоро уже три недѣли какъ на Аламедѣ никто не бываетъ, потому что она открыта со стороны моря и на ней слишкомъ холодно! Съ конца сентября гуляютъ почти исключительно на площади св. Антоніо; она находится въ срединѣ города; дома обступаютъ ее со всѣхъ сторонъ: здѣсь помѣщаются главные магазины и кофейни. Площадь вымощена наравнѣ съ улицей каменными плитами; отдѣляется она отъ послѣдней мраморными скамьями и тѣснымъ рядомъ апельсинныхъ и лимонныхъ деревьевъ. Недостаетъ только мраморнаго фонтана посрединѣ.

Недостатокъ прѣсной воды составляетъ чуть-ли не главную неудобную сторону Кадикса; большая часть террассъ устроены съ наклономъ, нарочно съ тою цѣлью, чтобы собирать дождевую воду; ее сливаютъ въ большіе глиняные кувшины и берегутъ въ подвальномъ этажѣ. Понятно, почему въ кофейняхъ и даже на вечерахъ стаканъ свѣжей чистой воды считается роскошнымъ угощеніемъ. Съ водою подаютъ обыкновенно zucarillos,—куски очищенной, отвердѣлой сахарной пѣны, весьма похожіе на наши кондитерскіе безе; ихъ распускаютъ въ водѣ, которая получаетъ вкусъ нѣжнаго лимонада.

Въ Кадиксѣ существуетъ еще другая прогулка; по моему она несравненно пріятнѣе plaza S. Antonio, — это обширный дворъ стараго монастыря, превращеннаго, послѣ уничтоженія монаховъ, въ домъ умалишенныхъ. Здѣсь Мурильо упалъ съ подмостковъ и чуть не убился; по заказу монаховъ онъ писалъ тогда мистическое обрученіе св. Екатерины; трудъ его такъ и остался неоконченнымъ, но въ замѣнъ этого природа совершила другое чудо; дворъ превратился въ густую пальмовую рощу. Сюда никто однакожъ не ходитъ; близость умалишенныхъ не можетъ быть тому причиной; они помѣщены въ отдаленной части зданія и имѣютъ совершенно особенное мѣсто для прогулки.

Переходя изъ улицы въ улицу, мы не замѣчали времени, не смотря на то даже, что городъ былъ почти пустъ; часамъ къ шести возвратились мы къ фонду Аллегри, отобѣдали и въ семь снова были на ногахъ.

Въ эту пору дня, особенно ночью, когда солнце начинаетъ уже приближаться къ горизонту, Кадиксъ является во всей поэтической красотѣ своей. Ослѣпительная для глазъ бѣлизна домовъ смѣняется

мягкимъ розово-золотистымъ колеромъ; густая голубоватая тѣнь наполняетъ улицы, впадины и живописными линіями пересѣкаетъ освѣщенныя стѣны зданій; террасы, съ ихъ цвѣтами и вышками, окруженными рѣшетками, еще отчетливѣе рисуются на постепенно сгущающейся лазури неба; въ этотъ часъ обыкновенно начинается приливъ; шумъ океана разносится глухимъ, мѣрнымъ рокотаньемъ по всему городу; точно шумитъ сосновый боръ, по которому пробѣгаетъ легкій вечерній вѣтеръ. Къ этому примѣшивается шумъ города, который пробудился; сіеста кончилась; полосатыя маркизы приподымаются; ковры у дверей открываютъ внутренніе дворики; здѣсь семейство, если только оно не гуляетъ, проводитъ вечеръ и часть ночи.

Часамъ къ восьми почти все населеніе высыпаетъ на улицу. Но тутъ,—кто-бы вы ни были читатель,—вы уже ни на что смотрѣть не станете, кромѣ какъ на женщинъ! Повидимому, привычка не могла сдѣлать къ нимъ равнодушными даже мужчинъ Кадикса; рѣдкое лицо не оживляется при встрѣчѣ съ хорошенькой muchacha или сенорой; рѣдкій не остановится, не поглядитъ въ слѣдъ, не улыбнется съ видимымъ удовольствіемъ. Обаятельная прелесть кадиксанокъ ни мало не преувеличена. Я былъ лѣтомъ долго въ Сициліи, объѣздилъ всю Италію, скитался по востоку, гулялъ цѣлыя двѣ недѣли по знаменитой улицѣ р о з ъ въ Смирнѣ,—и нигдѣ ничего не видалъ подобнаго женщинамъ Кадикса. Ихъ можно развѣ сравнить только съ севильянками; но потому-ли, что въ Севильѣ значительнѣе населеніе и слѣдовательно, на большее число красивыхъ женщинъ попадается также большее число некрасивыхъ; потому-ли, что пріѣзжаешь въ Севилью, успѣвъ уже присмотрѣться къ испанскому типу, — кадиксанки все-таки оставляютъ болѣе сильное впечатлѣніе. Еще издали, прежде чѣмъ можешь разсмотрѣть черты, пріятно поражаетъ особенность походки; большею частью высокаго роста, стройныя и граціозныя по природѣ, онѣ переступаютъ тихо, плавно, безо всякой суетливости, точно скользятъ по мраморнымъ плитамъ мостовой; черное платье, съ открытымъ лифомъ и короткими рукавами, даетъ возможность вполнѣ любоваться шеей, плечами и руками; ручки и ножки составляютъ здѣсь особенный предметъ щегольства; только кисть руки до половины закрыта черными вязаными митенами; все это, осязательно просвѣчивая сквозь глазки кружевной мантильи, которая ниспадаетъ съ затылка и обхватываетъ станъ, получаетъ еще лишній процентъ соблазна и прелести. Сколько я замѣтилъ, у всѣхъ почти маленькая головка съ

необыкновенно чистымъ оваломъ лица; тонкая шея гнется отъ тяжести пышныхъ черныхъ волосъ, по которымъ переливается синяя глянцовитая волна; женщины Кадикса вообще бѣлѣе остальныхъ южныхъ испанокъ; рѣдко, впрочемъ, гуляя по улицамъ, удастся вамъ уловить разомъ черты лица; тонкій носъ съ горбочкомъ по срединѣ, ротъ и подбородокъ, большею частью заслоняются распущеннымъ вѣеромъ, который непремѣнно въ рукахъ каждой женщины; надъ вѣеромъ показывается только маленькій лобъ, полузаслоненный краемъ кружевной мантильи, красиво изогнутыя брови и пара огненныхъ сверкающихъ глазъ, когда они случайно на васъ взглядываютъ; черныя рѣсницы, плотно окружающія вѣки, придаютъ зрачкамъ еще больше черноты и глубины. Живость, быстрота, блескъ этихъ глазъ невообразимы; отъ взгляда ихъ съ непривычки, вздрагиваетъ сердце; вмѣстѣ со взглядомъ, въ глаза какъ будто мгновенно переносится весь пылкій духъ страстной, смѣлой природы, которая не привыкла къ долгой борьбѣ со страстями. Съ непривычки, такой взглядъ можетъ даже показаться дерзкимъ, заманивающимъ; нѣтъ однакожъ ничего простодушнѣе, безъискуственнѣе этихъ женщинъ; такъ смотритъ на васъ самая наивная, невинная дѣвушка; увлекательная нѣга движеній, сладострастная походка здѣсь точно также въ самой природѣ; если такимъ взглядомъ встрѣчаетъ васъ равнодушная женщина, движимая любопытствомъ или кокетствомъ, можете судить, какимъ огнемъ должны горѣть эти глаза, когда ихъ оживляетъ страсть.

Вамъ уже извѣстно, что ручки и ножки составляютъ у андалузянокъ главный предметъ щегольства; здѣсь первыя деньги идутъ на обувь; башмачное дѣло едва-ли не единственное ремесло, которое съ успѣхомъ процвѣтаетъ въ южной Испаніи; въ Кадиксѣ носятъ ботинки, но преимущественно башмачки, едва обхватывающіе кончики пальцевъ; къ сожалѣнію, приходится любоваться этимъ въ окнахъ магазиновъ; коротенькая національная баскина, открывающая ножку и икру, обтянутую чулкомъ à jour, исчезла: ее замѣнило длинное платье; ножку можно видѣть только случайно, украдкой, когда женщина усаживается на мраморную скамью plaza St. Antonio.

Я говорилъ вамъ объ общемъ впечатлѣніи, которое производятъ кадиксанки; въ общемъ этомъ впечатлѣніи поражаетъ значительное преобладаніе хорошенькихъ лицъ передъ дурными и посредственными; это рѣшительно городъ красавицъ! Проживши два-три дня, когда

глазъ понемногу привыкнетъ, начинаешь мало по малу отличать въ красотѣ разные оттѣнки. Такъ, напримѣръ, здѣсь часто встрѣчается типъ смуглыхъ женщинъ—morenas, какъ называютъ ихъ въ Испаніи. Въ жилахъ morenas очевидно течетъ еще арабская кровь,—та самая кровь, примѣсь которой считается каждымъ испанцемъ униженіемъ и позоромъ; но природа морены носитъ въ себѣ положительно такую прелесть соблазна, что испанецъ, чувствительный къ женской красотѣ, дѣлаетъ для нея исключеніе; морена составляетъ здѣсь даже какъ бы аристократію красоты. Въ романахъ и народныхъ пѣсняхъ, когда дѣло идетъ о хорошенькой женщинѣ, всегда воспѣвается la morena. Онѣ по большей части высоки ростомъ, тонки и стройны какъ молодая пальма; изящная порода выказывается во всей чистотѣ своей; у кисти руки кость тонкая какъ у ребенка, между тѣмъ, самая рука круглится какъ у античной статуи; онѣ кажутся худощавыми и вмѣстѣ съ тѣмъ останавливаютъ вниманіе дивнымъ очертаніемъ своихъ формъ: нѣжныя черты андалузскаго лица, при темномъ бронзовомъ цвѣтѣ кожи, пріобрѣтаютъ еще больше нѣжности; подъ матовой, смуглой кожей, тонкой какъ китайская бумага, полированной какъ мраморъ и совершенно лишенной румянца,—словно просвѣчиваетъ червонное золото; ноздри нервически движутся и пурпуромъ сквозятъ на солнцѣ; темные зрачки сверкаютъ въ длинныхъ глазахъ, разсѣченныхъ въ видѣ миндалины и оттѣненныхъ густою бахрамою черныхъ какъ смоль рѣсницъ. Въ этихъ зрачкахъ есть что-то дикое, хищное, они должны сверкать посреди мрака какъ зрачки тигра; при встрѣчѣ съ мореной, когда неожиданно броситъ она взглядъ изъ за вѣера, невольно овладѣваетъ чувство смущенія; тутъ только приходитъ на мысль возможность значенія глаза, надъ дѣйствіемъ котораго такъ смѣешься обыкновенно, живя на сѣверѣ. Иногда сверканіе зрачка смягчено задумчивою грустью; онъ смотритъ какъ будто не на ближніе предметы, но устремляется куда-то въ даль... Глаза отъ этого дѣлаются еще прелестнѣе, пріобрѣтаютъ новую невыразимо-поэтическую красоту выраженія.

Вообще нѣтъ ничего нелѣпѣе того условнаго понятія, которое составилось у насъ о типѣ испанскихъ женщинъ; оно основано на рутинѣ и доказываетъ, какими бѣдными красками располагаетъ сѣверное воображеніе. Трудно представить что нибудь разнообразнѣе испанскаго типа, хотя общія черты рѣзко его отличаютъ отъ другихъ народовъ; такъ напримѣръ, бѣлокурыя и даже рыжія женщины

вовсе не диковинка въ Кадиксѣ. Каждый день по нѣскольку разъ,—и всякій разъ недалеко отъ vista Allegri,—попадалась намъ блондинка съ голубыми глазами, представлявшая такое разительное сходство съ императрицей Евгеніей, что можно было думать, она жила здѣсь инкогнито, скрываясь подъ именемъ донны Incarnacion, Dolores, Angeles и т. д.

Въ заключеніе о женщинахъ Кадикса могу утвердительно сказать, что случай доставилъ мнѣ возможность видѣть ихъ всѣхъ почти безъ исключенія. Вотъ какъ это было: въ бытность мою здѣсь, происходилъ какой-то праздникъ; не помню какъ онъ называется; въ этотъ день всѣ жители города отправляются на кладбище поминать усопшихъ родителей. Кладбище расположено на перешейкѣ, соединяющемъ городъ съ материкомъ, почти на томъ самомъ тѣстѣ, гдѣ океанскія волны смыли во время землетрясенія спасающихся жителей.

Чтобы попасть на перешеекъ, необходимо прежде пройти подъ темными сводами крѣпостныхъ воротъ, которыя съ наружной стороны защищены бастіонами, исполосованными амбразурами; это самая сильная часть крѣпости; миновавъ нѣсколько подъемныхъ мостовъ, выходишь на шоссе, которое все время идетъ подлѣ моря; слѣва возвышаются ряды серебристыхъ тополей съ вѣтвями, странно какъ-то изогнутыми и спутанными отъ постояннаго дѣйствія морского вѣтра; между ними, изъ за бѣлыхъ стѣнъ, тѣсно рвется яркая, роскошная зелень садовъ; надъ нею показывается иногда бокъ дома съ балконами, полосатыми маркизами и террасой, уставленной цвѣтами; это загородныя дачи зажиточныхъ негоціантовъ Кадикса; мѣстами изъ гущи садовъ, открывающихъ то тутъ, то тамъ, синюю полосу океана, стройно выбѣгаетъ пальма, которая вдругъ, неожиданно, придаетъ пейзажу восточный, африканскій характеръ.

Шоссе приводитъ сначала къ маленькому предмѣстью San-Jose и потомъ къ кладбищу; далѣе, нѣсколько вправо, величественно рисуется профиль круглаго зданія, гдѣ происходятъ бои быковъ; еще правѣе, но ниже, уже по берегу залива, бѣлѣетъ городокъ Ciclana,—родина Монтеса, Редондо и Чикланеро—знаменитѣйшихъ матадоровъ Андалузіи.

Но возвратимся къ Puerto de tierra, воротамъ, чрезъ которыя должно пройти все народонаселеніе, отправляющееся на кладбище. Siesta въ это время года оканчивается обыкновенно между шестью и семью часами; въ шесть мы сидѣли съ закуренными сигарами на

каменной скамьѣ у самаго шоссе; рѣшено было вести строжайшій счетъ по пальцамъ всѣмъ красавицамъ, которыя пройдутъ мимо. Вотъ, наконецъ, показались первыя группы. Выраженіе глубочайшаго любопытства, когда-либо изображавшагося на человѣческихъ лицахъ, не замедлило смѣниться у насъ еще болѣе глупымъ выраженіемъ удивленья и недоумѣнья; въ первыя же десять минутъ мы потеряли счетъ и тупоумно вращали глазами, разбѣгавшимися во всѣ стороны. Толпа съ каждой минутой прибывала на шоссе.

Въ толпѣ попадались кое-гдѣ красные извощичьи двухколесные кабріолеты; они очень похожи на неаполитанскіе coricolos, также расписаны цвѣтами и фантастическими орнаментами; разница только въ упряжи: въ кориколо впрягается обыкновенно костлявая, ободранная кляча; здѣсь везетъ мулъ, у котораго задняя половина гладко выбрита до спинѣ,—передняя исчезаетъ вмѣстѣ съ головою подъ кистями, попонами, султанами и букетами изъ цвѣтной шерсти, но calesso ѣдутъ большею частію пустыя; испанцы, несмотря на свою восточную лѣнь, народъ въ высшей степени подвижной, нервный, нетерпѣливый; они отличнѣйшіе ходоки и преимущественно гуляютъ пѣшкомъ.

Нельзя себѣ представить, какія очаровательныя, живыя картины проходили мимо нашей скамейки; чего стоили однѣ эти женщины, завернутыя въ мантильи, съ живыми цвѣтами жасмина и олеандра въ густыхъ волосахъ, низко лежащихъ на шеѣ, съ кружевами вокругъ чуднаго овала лица, оживленнаго бестящими, выразительными глазами; вѣеръ шуршитъ въ рукахъ каждой; онъ переливается то въ одну сторону, то въ другую, распущенный прикладывается на маковку головы въ видѣ зонтика и снова складывается и раскладывается, чтобы показать или скрыть лицо, за которымъ вы слѣдите. Женщины ходятъ отдѣльными группами; мужчины слѣдуютъ подлѣ; здѣсь не въ обычаѣ давать руку дамамъ; благодаря простотѣ нравовъ, благодаря свободѣ отношеній, здѣсь и безъ того сколько случаевъ къ сближенію. Эта привычка быть предоставленнымъ самимъ себѣ, идти по своей волѣ, безъ поддержки мужской руки, даетъ, быть можетъ, испанскимъ женщинамъ ту щегольскую, изящно-свободную, смѣлую походку, которая такъ увлекательна.

Такъ какъ счетъ красавицамъ потерянъ былъ въ первыя десять минутъ, рѣшено было слѣдовать за толпою. Вскорѣ она привела насъ на кладбище; вѣрнѣе слѣдуетъ назвать его очаровательной загородной прогулкой. Представьте себѣ большое пространство, раз-

гороженное на нѣсколько квадратовъ высокими стѣнами; стѣны снутри обложены бѣлымъ мраморомъ; покойниковъ не хоронятъ въ землю,— по крайней мѣрѣ на этомъ кладбищѣ; ихъ укладываютъ горизонтальными рядами въ ниши, оставленныя въ стѣнахъ; мраморная доска съ именемь покойника, эпитафіей и молитвами, закрываетъ нишу; спереди теплется лампада, привѣшанная къ желѣзному крючку; съ боковъ красуются букеты живыхъ цвѣтовъ, которые круглый годъ обновляются. Иногда, къ doскѣ прислонена маленькая часовня, покрытая рѣзьбою, пестро расписанная, съ изображеніемъ Богородицы или святого изъ камня или дерева. Вдоль этихъ внутреннихъ стѣнъ насаженъ бульваръ; остальная часть квадрата обращена въ цвѣтникъ; двери, продѣланныя въ стѣнахъ, служатъ сообщеніемъ одному квадрату съ другимъ.

Поминаніе родителей заключается, кажется, въ томъ только, чтобы передъ нишами, скрывающими тѣла, перемѣнять букеты и подновлять свѣтильни лампадокъ; помнится, во всей этой толпѣ привелось видѣть только два-три лица, которыя напоминали, что здѣсь мѣсто печали; стоя на колѣняхъ, устремивъ заплаканные глаза на надпись или изображеніе святого, они благоговѣйно крестились и шептали молитвы. Остальныя лица повидимому явились для веселья. Южный человѣкъ уже по природѣ своей слишкомъ безпеченъ и пылокъ, чтобы долго поддаваться одному чувству; у него одинъ порывъ смѣняется другимъ; выплакавъ всѣ свои слезы подъ первымъ впечатлѣніемъ горя, онъ быстро успокоивается; чувственная природа, пылкость воображенія, самая обстановка, его окружающая, заставляютъ его дорожить матеріальною жизнью. Ничего нѣтъ удивительнаго, что на кладбищѣ Кадикса,—даже въ день поминокъ,—жизненное беретъ такой перевѣсъ надъ прошедшимъ: темно-голубое небо, проникнутое золотымъ свѣтомъ, цвѣты, покрывающіе почву, цвѣты на стѣнахъ, охваченныхъ заходящимъ солнцемъ, воздухъ, напитанный ароматомъ цвѣтовъ и растеній, блескъ выразительныхъ взглядовъ, обнаженныя плечи женщинъ, присутствіе во всей окружающей природѣ чего-то страстнаго, огненнаго, жизненнаго, не только заставляетъ забывать печаль, но напротивъ, пробуждаетъ горячее желаніе жить,—жить и наслаждаться жизнью всѣми нервами и чувствами.

Мы оставили кладбище, когда замѣтили, что толпа стала рѣдѣть. Солнце сѣло. Не успѣли мы придти къ воротамъ, какъ ночь обняла небо; переходъ отъ дня къ ночи происходитъ всего въ какіе нибудь

четверть часа. Небо, не смотря на сгущающуюся синеву дѣлается словно еще прозрачнѣе и глубже; ровный голубоватый свѣтъ разливается на всю природу; голубой день смѣнилъ блестящій, ослѣпительный дневной свѣтъ,—и только.

N. N. и я отдѣлились отъ нашихъ товарищей и вдвоемъ пошли бродить по городу. На улицахъ, къ отдаленному, мѣрному плеску океана, примѣшивалось кое-гдѣ бряцанье гитары; оно выходило изъ оконъ или раздавалось на самыхъ улицахъ; мы приближались,—звуки умолкали; изъ за угла показывалась фигура, завернутая въ плащъ и только поровнявшись съ нами открывала верхнюю часть лица. На иныхъ улицахъ, неизвѣстно по какому случаю, толпилось множество народу; съ одного конца до другого шелъ неумолкаемый говоръ, къ которому примѣшивались смѣхъ, звукъ гитаръ и пѣніе. Веселье составляетъ, какъ будто, единственное занятіе испанцевъ; они предаются увеселеніямъ отъ всей души, со всѣмъ огнемъ и откровенностью, свойственными ихъ характеру. Повидимому, нѣтъ народа счастливѣе; поневолѣ опять спрашиваешь себя: это ли страна, разрываемая на клочки внутренними несогласіями? здѣсь-ли точно, не далѣе шестидесяти лѣтъ, жгла, рѣзала, душила инквизиція? здѣсь-ли существуетъ безумное государственное управленіе и та страшная бѣдность, о которой съ ужасомъ говорятъ въ Европѣ?..

Площадь S. Antonio была наполнена гуляющими. Мы присѣли на скамью и стали прислушиваться къ таинственному лепету, раздававшемуся вокругъ насъ; къ шарканью маленькихъ ножекъ и шелесту вѣеровъ.

Тутъ произошла съ нами комическая сцена; впрочемъ, было вовсе не до смѣху. На скамьѣ, гдѣ мы расположились, сидѣло нѣсколько молоденькихъ женщинъ. Какъ мы говорили между собою по русски, вниманіе сосѣдокъ весьма натурально обратилось въ нашу сторону; поощренные этимъ, мы поспѣшили перемѣнить отечественный языкъ на французскій, въ надеждѣ, что онъ, вѣроятно, доступнѣе будетъ сосѣдкамъ; онѣ ни мало насъ не дичились и даже, казалось, не прочь были заговорить. Увы, французскій языкъ оказался для нихъ столько-же непонятнымъ, сколько и русскій. Мы прибѣгнули тогда къ мимикѣ и только окончательно насмѣшили хорошенькихъ нашихъ сосѣдокъ. Наконецъ онѣ какъ будто сжалились и сами заговорили. „Хоть убей, ни слова не понимаю!“ произнесъ N. N., досадливо потрясая головою.

— Ни слова! и я также ни слова!.. повторилъ я съ видомъ отчаянья.

Бесѣда тѣмъ и кончилась; она ограничилась улыбками, которымъ старались мы придать какъ можно больше пріятности, и которыя, вѣроятно, показались нашимъ сосѣдкамъ крайне глупыми.

Вы будете далеко несправедливы, если по поводу этого желанія вступить въ объясненіе съ незнакомыми мужчинами, станете судить о нашихъ сосѣдкахъ съ точки зрѣнія петербургской или даже парижской. Обычаи и нравы Испаніи такъ мало имѣютъ общаго съ нравами остальной Европы, что невозможно судить о нихъ сравнительно; надо брать ихъ такими, каковы они есть. По здѣшнимъ понятіямъ нѣтъ, напримѣръ, ничего предосудительнаго заговорить съ незнакомымъ мужчиной въ томъ случаѣ, какой я привелъ вамъ. Это объясняется свободой, которой пользуются женщины; объясняется также простотою нравовъ и непринужденностью, существующею въ отношеніяхъ между обоими полами. Общество женщинъ живетъ нераздѣльно и тѣсно слито съ обществомъ мужчинъ. Приторная стыдливость, мѣшающая называть вещи и чувства настоящимъ именемъ, жеманство и кривлянье, прикрытое громкимъ словомъ: воздержанность, —la retenue,—короче сказать, вся искусственная мелкота, составляющая soi-disant нравственность, и которую почему-то ставятъ въ добродѣтель нашимъ женщинамъ,—замѣняется здѣсь самою простодушною, естественною откровенностью. Какъ только рѣчь коснется южныхъ женщинъ, вы слышите обыкновенно обвиненіе въ невѣжествѣ—„съ ними говорить не о чемъ!“ восклицаютъ многія сѣверныя дамы—„онѣ только красивы: въ умственномъ отношеніи—страхъ неразвиты и большею частію тупоумны!“ Совершенно несправедливо. Въ южной Испаніи и Сициліи, женщины, не только средняго сословія, но и высшаго круга, дѣйствительно ничего почти не читаютъ; наши барышни любую изъ нихъ заткнутъ за поясъ знаніемъ европейской литературы, исторіи и даже современной политики; это нисколько не доказываетъ, однакожъ, чтобы общество послѣднихъ было пріятнѣе общества первыхъ. Дѣло въ томъ, что природа южныхъ женщинъ такъ уже сама по себѣ богата, инстинкты ея такъ чутки и вѣрны, что все, кромѣ отвлеченнаго и скучнаго, дѣлается ей доступнымъ безъ большихъ усилій и подготовленій. Умъ ея, не извращенный прививными понятіями и сужденіями, отличается естественностью; мысль, часто наивная, дѣтская, облечена всегда почти въ такую живую, оригинальную или

поэтическую форму, которой могли бы позавидовать поэты и литераторы, приводящіе въ такой восторгъ нашихъ развитыхъ барышень. Существованіе ихъ, скажете вы, пожалуй, проходитъ совершенно безполезно: оно ограничивается праздностью, сіестой, прогулкой, зрѣлищами, танцами; пусть такъ, если видите вы въ немъ большую разницу между существованіемъ нашихъ женщинъ. Дѣло въ томъ, что здѣсь вся нація живетъ такою же жизнью; общество не вправѣ да и не заботится требовать отъ своихъ женщинъ другого образа жизни. Обычаи Испаніи тѣмъ менѣе можно сравнивать съ обычаями общими въ Европѣ, что здѣсь, да еще въ Сициліи, нравы, болѣе чѣмъ въ другихъ странахъ, обусловливаются природнымъ темпераментомъ и климатомъ.

Много также слышалъ я прежде о недоступной гордости испанцевъ; еще болѣе говорили мнѣ о легкости нравовъ въ Кадиксѣ. Перваго я рѣшительно не замѣтилъ; я встрѣтилъ здѣсь, напротивъ, радушіе необыкновенное. Нѣтъ любезности, нѣтъ услуги, которыхъ бы не оказали здѣсь иностранцу. Достаточно просидѣть рядомъ за table d'hôte, въ театрѣ, или проѣхать вмѣстѣ въ дилижансѣ, чтобы свести знакомство съ сосѣдомъ; васъ приглашаютъ въ домъ, въ семейство, едва убѣдятся, что вы человѣкъ благовоспитанный. Простота и добродушіе обращенія ставятъ васъ сразу въ прямое, дружеское отношеніе къ хозяевамъ. Въ первый же день нашего пріѣзда узнали въ vista Allegri, что мы иностранцы: насъ тотчасъ же пригласили въ коммерческій клубъ и записали членами на все время нашего пребыванія. Въ Кадиксѣ, говорятъ, вообще больше европеизма, больше цивилизаціи, чѣмъ въ остальной Испаніи; причиною этого значительное стеченіе иностранцевъ, смѣшеніе разныхъ національностей, можетъ быть то еще, что городъ, несмотря на соперничество съ Малагой и упадокъ торговли, все еще важный торговый пунктъ, гдѣ происходитъ больше сообщенія, больше общественной жизни.

Чтожъ касается до второго обстоятельства, т. е. легкости нравовъ Кадикса,—ничего не могу сказать утвердительно; надо думать, обвиненіе справедливо и основывается на тѣхъ же причинахъ, которыя предполагаютъ въ Кадиксѣ больше европеизма, чѣмъ въ другихъ городахъ Испаніи. Бѣготня за женщинами, снисходительная уступчивость послѣднихъ въ отношеніи къ ухаживателямъ и воздыхателямъ, ночныя свиданья у балконовъ,—все это, какъ я уже сказалъ, находитъ оправданіе въ самой природѣ южнаго темпера-

мента; все это, кромѣ того, освящено обычаемъ и, слѣдовательно, не можетъ служить строгимъ обвиненіемъ противъ нравственности. Не помню, чтобы меня поразилъ здѣсь тотъ открытый, наглый развратъ, который толпой, свободно разгуливаетъ по нѣкоторымъ улицамъ Лондона, Парижа и Петербурга.

По части изящныхъ искусствъ въ Кадиксѣ нечего почти смотрѣть, кромѣ собора. Подобно большей части храмовъ, воздвигнутыхъ въ старинныхъ городахъ, гдѣ строились тѣсно и гдѣ пришлось-бы ломать слишкомъ много, чтобы очистить больше мѣста для новой постройки,—соборъ тѣсно окруженъ со всѣхъ сторонъ домами. Нѣтъ возможности обнять взглядомъ наружнаго вида зданія,—внутри оно великолѣпно. Изъ всѣхъ церквей въ этомъ родѣ, видѣнныхъ мною до сихъ поръ,—церквей, въ которыхъ планъ состоитъ изъ креста, соединеннаго посрединѣ барабаномъ съ четырьмя арками и куполомъ на манеръ Петра въ Римѣ,—соборъ Кадикса болѣе другихъ поражаетъ легкостью. Онъ въ стилѣ возрожденія и весь изъ бѣлаго мрамора; со всѣхъ сторонъ льется ровный, гармоническій свѣтъ; пропорція купола, очертаніе арокъ, линіи карнизовъ и колоннъ, неотягощенныя излишнимъ богатствомъ украшеній,—даютъ ему смѣлый, свободный, воздушный характеръ; сразу оставляетъ онъ самое пріятное, счастливое настроеніе духа. Художественный интересъ собора ограничивается архитектурой; произведенія искусства, какъ-то: статуй, картинъ, разсыпанныхъ съ такою щедростью въ другихъ болѣе древнихъ храмахъ Испаніи,—здѣсь очень мало. Замѣчу только мимоходомъ въ одномъ изъ алтарей мраморную статую Богородицы; она заслуживаетъ особенное вниманіе. Проводникъ, водившій насъ по церкви, увѣрялъ, что будто француженка, при взглядѣ на эту статую, упала навзничь и ее подняли уже сумасшедшею; какъ ни хороша мадонна,—надо думать мозгъ француженки заранѣе былъ подготовленъ къ такому потрясенію; по моему, самая замѣчательная вещь собора,—это придѣлъ или даже цѣлая часовня, которая прислонена къ зданію со стороны правой арки. Стѣны и потолокъ покрыты сплошною рѣзьбою изъ дерева; искусство рѣзчика и скульптора соперничаетъ здѣсь съ фантазіей рисовальщика; не знаешь, удивляться-ли ловкости рѣзца или воображенію, создавшему весь этотъ міръ орнаментовъ, завитковъ, химеръ, листьевъ, цвѣтовъ, херувимчиковъ и т. д. Рѣзьба служитъ какъ-бы рамой безчисленнымъ нишамъ съ изображеніями святыхъ и барельефамъ изъ священнаго писанія, также исполненнымъ изъ дерева.

Первый разъ, какъ я вошелъ въ соборъ, часовню эту исправляли; человѣкъ двадцать столяровъ и лѣпщиковъ возились, подклеивая и подновляя тѣ части, которыя отъ времени потрескались и даже мѣстами обвалились. Въ углу, между досками и пыльными обломками всякаго рода, бросилась мнѣ въ глаза рѣзная деревянная мадонна; она стояла на полумѣсяцѣ со сложенными на-крестъ руками; ее окружали группы херувимчиковъ; вокругъ клубились деревянныя облака. Такъ все это было тонко, художественно выполнено, время придало дереву такой гармоническій тонъ и лоскъ, такъ сгладило и смягчило удары рѣзца,—что у меня потекли слюнки.

— „Какъ было бы хорошо вернуться домой съ такимъ пріобрѣтеніемъ!“ думалъ я,—и тутъ же передалъ свою мысль старому попу, изъявившему желаніе быть моимъ проводникомъ. Можете судить о моемъ восторгѣ, когда онъ не только не выразилъ удивленья, но нашелъ очень возможнымъ осуществить мое желаніе.

— Когда? Какимъ образомъ? заговорилъ я, съ горячностью хватая его руку.

— Приходите завтра, я сегодня переговорю съ главнымъ смотрителемъ собора, промолвилъ онъ, отводя меня въ сторону и понижая голосъ.

Такъ какъ ладонь говорившаго прикасалась къ моему колѣну и была открыта въ видѣ чашки,—я сунулъ въ нее крупную монету и вышелъ, не сомнѣваясь въ успѣхѣ.

На другое утро попъ объявилъ съ перваго же слова, что дѣло пропало.

— Я былъ у смотрителя, сказалъ онъ,—смотритель совсѣмъ было согласился продать мадонну, но спросилъ только не было-ли постороннихъ при нашемъ разговорѣ? Я назвалъ рѣзчиковъ, которые слышали, какъ вы дѣлали предложеніе; смотритель отказалъ тогда на отрѣзъ. Оно дѣйствительно было-бы опасно.

Соборъ служилъ доказательствомъ, какъ недавно еще былъ богатъ Кадиксъ; постройка началась въ 1772 году; онъ воздвигнутъ на сумму, которая составилась изъ сбора по реалу (25 коп. ассигнаціями) съ каждаго піастра, приходившаго сюда изъ Америки и колоній; можете судить, сколькимъ піастрамъ нужно было пройти черезъ Кадиксъ! Видъ съ колокольни на океанъ и на городъ восхитительный. Съ высоты, при которой исчезаютъ мелкія детали и пестрота,—масса тѣсно сжатыхъ домовъ съ ихъ террасами и мирадорами кажется еще бѣлѣе; точно глыба бѣлоснѣжныхъ кристал-

ловъ, всплывшая надъ темно-синей лазурью моря; перешеекъ, соединявшій Кадиксъ съ землею, кажется, сейчасъ перервется отъ перваго набѣжавшаго вала; Puerto Santa Maria, S. Lucaz и другіе города и деревни, окружающіе заливъ, обозначаются въ отдаленіи бѣлыми пятнами. Съ другой части колокольни открывается необъятный просторъ океана; большія суда, идущія на парусахъ, принимаютъ оттуда видъ пушистыхъ перышекъ, летящихъ въ пространствѣ; далѣе за кораблями еще больше пространства воды, чѣмъ между кораблями и берегомъ; глазъ долго еще скользитъ по глади водъ, пока не остановится наконецъ на линіи горизонта, едва замѣтно отдѣляющейся серебристой полоской отъ яснаго, голубого неба.

Но мы зажились въ Кадиксѣ, товарищи наши давнымъ-давно были въ Севильѣ; пора было и намъ послѣдовать ихъ примѣру.

VI

Уголокъ Андалузіи.

Разлука съ Кадиксомъ.—Пароходъ—Tortillas per herbas.—Пассажиры.—Берега Гвадалквивира. — Пріѣздъ въ Севилью. — Первое впечатлѣніе — Фонда de Paris.—Разсказы.—Севилья ночью.—Нѣсколько словъ о нравахъ.—Утро.—Севилья днемъ.—Хиральда.—Соборъ. La Caridad.—Легенда о Донъ-Хуанѣ.—Натурализмъ.—Св. Феликсъ de contalicio.—Драгоцѣнное фланерство.—Періана. — Торговая площадь. — Церковная процессія. — Религіозность.—Поѣздка въ Alcala.—Дороги.—Происшествіе. - Въ театрѣ.—Зала національныхъ танцевъ. — Бонанца — Дорога и страна. — Разочарованіе. — Хересъ—Puerto St.-Maria.—Возвращеніе въ гавань Кадикса.

Кадиксъ рѣшительно околдовалъ насъ. Съ каждымъ днемъ мы болѣе и болѣе къ нему привыкали, съ каждымъ днемъ труднѣе было изъ него вырваться. Возвращаясь поздно ночью въ фонду Vista Allegri, мы всякій разъ давали себѣ слово непремѣнно уѣхать завтра; но наступитъ утро, выйдешь на балконъ, заглянешь на синій океанъ, на бѣлый городъ, который начинаетъ пробуждаться,— и тутъ же исчезнетъ вчерашняя рѣшимость, тутъ же начнешь хитрить съ самимъ собою и примешься обдумывать, какъ бы склонить товарищей остаться здѣсь еще лишній день. Такъ дѣйствовалъ каждый изъ насъ, но дѣйствовалъ втайнѣ, потому что съ наступленіемъ вечера каждый въ свою очередь краснорѣчиво начиналъ доказывать, что лишній этотъ день былъ нѣкоторымъ образомъ жертвой, принесенной въ видахъ дружбы и товарищества.

Какъ ни трогателенъ такого рода combat de genérosité, но время, повидимому, нимало имъ не умилялось: оно шло-себѣ своимъ чередомъ, и съ каждой секундой сокращало срокъ, назначенный намъ для путешествія по Испаніи. Подъ-конецъ мы даже испугались.

— Господа! повторяли мы чаще одинъ другому, и каждый разъ съ большею энергіей и убѣжденіемъ:—господа! шутки въ сторону; продолжая такимъ образомъ, мы право рискуемъ не видать Севильи...

Наконецъ рѣшено было выѣхать изъ Кадикса 15 октября.

Каждое утро отправлялись изъ Кадикса два парохода: одинъ отходилъ въ одиннадцать часовъ, другой въ двѣнадцать; между Кадиксомъ и Севильей всего семь часовъ разстоянія по Гвадалквивиру. Предположите, что въ концѣ плаванія по Гвадалквивиру находится не Севилья, но Коломна или Серпуховъ,—и тогда бы, кажется, съ удовольствіемъ можно было предпринять такое путешествіе; а между тѣмъ (судите по этому, какой городъ Кадиксъ), намъ все-таки трудно было съ нимъ проститься.

Въ условный день, часу въ одиннадцатомъ мы стояли однакожъ на пристани.

Накупивъ свѣжихъ, только что сорванныхъ съ дерева гранатъ, сѣли мы въ шлюпку и отправились на пароходъ. На черныхъ крыльяхъ его колесъ большими золотыми буквами написано было: „Севилья". Мы пріѣхали почти цѣлымъ часомъ раньше; палуба была совершенно пуста.

— Господа! вспомните, что мы еще не завтракали, произнесъ С*, между тѣмъ какъ мы смотрѣли на бѣлый Кадиксъ, пестрѣвшій своими зелеными балконами, полосатыми маркизами и террасами, наполненными цвѣтами и зеленью; все это мѣстами повторялось на гладкой, густой лазури океана.—Господа! мы такъ боялись не сдержать слова, продолжалъ С*,—такъ боялись не ослабѣть духомъ и снова не остаться въ Кадиксѣ, что совершенно забыли о желудкѣ. Нечего ждать пріѣзда пассажировъ; надо напротивъ, спѣшить избавить себя отъ такой опасной конкуренціи: начнутъ ѣсть—намъ меньше останется. Пойдемте-ка въ буфетъ и распорядимся заблаговременно...

Рѣчь С* не могла не встрѣтить сочувствія: дѣйствительно всѣ были очень голодны. Общество поспѣшило сойти во вторую палубу, гдѣ разставлены были два стола, покрытые скатертью.

— La lista! carta! закричали всѣ въ одинъ голосъ, обращаясь къ буфетчику, котораго, даже безъ большихъ усилій воображенія, легко было принять за бандита, перерядившагося въ черную куртку и такіе же панталоны.

Въ дѣлѣ насыщенія себя „lista“ оказалась однакожъ совершенно лишнею вещью.

Изъ двадцати блюдъ, означенныхъ на ней, мы ни въ одномъ не могли дать себѣ даже приблизительнаго отчета; не было названія, котораго каждый изъ насъ не толковалъ бы по своему. Каждый день въ Vista-Allegri мы находили готовыми завтракъ, обѣдъ и никому тогда въ голову не пришло—хоть разъ спросить названіе блюдъ, записать ихъ или запомнить, чтобы при случаѣ не стать втупикъ, какъ это теперь съ нами дѣлалось.

— Господа, вотъ тутъ, подъ номеромъ восьмымъ, написано: Tortillas per herbas, замѣтилъ Б. Т*: —это безъ всякаго сомнѣнія значитъ: супъ tortue, черепаховый супъ. Дѣлать нечего, спросимъ хоть супъ tortue; онъ очень питателенъ; авось достаточно будетъ, чтобы заморить голодъ до Севильи.

— Tortillas per herbas! уже говорили мы буфетчику, подымая кверху четыре пальца правой руки, что̀ обозначало четыре порціи.

Въ ожиданіи принесены были сверху купленыя гранаты; мы принялись завтракать, заѣдая ихъ маленькими бѣлыми хлѣбцами, которые тутъ же лежали на столѣ, въ плетеной соломенной корзинкѣ.

Хлѣбъ былъ изъ рукъ вонъ плохъ: киселъ, тяжелъ, отзывался чѣмъ то затхлымъ; другого хлѣба мы впрочемъ не пробовали еще въ Испаніи; даже въ милой нашей фондѣ Vista-Allegri онъ не былъ лучше. Его пекутъ здѣсь изъ кукурузной муки и безъ дрожжей. Гранаты за то оказались превосходными. Между здѣшними гранатами и тѣми, которыя продаются у насъ въ милютиныхъ лавкахъ, сходство то же, что между свѣженькой семнадцатилѣтней дѣвушкой и сорокалѣтней старой дѣвой, умирающей отъ сухотки. Здѣсь розовая оболочка зеренъ наполнена прохлождающимъ сладкимъ сокомъ, который льется струйками и обсахариваетъ пальцы, какъ только начнешь снимать шкуру.

Полчаса послѣ ухода буфетчика, онъ снова явился съ подносомъ, уснащеннымъ четырьмя тарелками.

— Вотъ наконецъ и tortillas! раздалось радостное восклицаніе.

Но радость смѣнилась изумленьемъ, какъ только заглянули мы въ тарелки: вмѣсто четырехъ порцій черепаховаго супа, передъ нами красовались четыре яичницы! Tortillas per herbas!—по испански яичница. Наши гастрономическія свѣдѣнія пополнились сверхъ того

тѣмъ еще, что испанская яичница невозможна даже для голоднаго человѣка: она приправляется зеленоватымъ оливковымъ масломъ, пересыпается рубленымъ чеснокомъ и кусочками прогорьклаго свиного сала.

Бѣда да и только! приходилось почти умирать съ голоду, на порогѣ буфета и кухни, наполненныхъ по всей вѣроятности съѣстными припасами всякаго рода. Къ счастію, вскорѣ подошелъ на выручку одинъ пассажиръ: онъ намъ знакомъ былъ по Кадиксу.

Это былъ молодой человѣкъ лѣтъ тридцати, весельчакъ, умный малый, родомъ берлинецъ; онъ уже девятый разъ совершалъ путешествіе по Испаніи, живалъ здѣсь по нѣскольку мѣсяцевъ сряду, зналъ языкъ отлично, а страну какъ свои пять пальцевъ. Его посылали сюда въ качествѣ своего повѣреннаго, хозяева одной изъ самыхъ значительныхъ полотняныхъ фабрикъ сѣверной Пруссіи. Такихъ комисіонеровъ по части полотняныхъ издѣлій Германіи здѣсь очень много.

Бѣлыя рубашки, которыми любуешься на груди majos, юбки, изъ-подъ которыхъ выглядываютъ маленькія ножки андалузянокъ— все это, не мѣшаетъ замѣтить, произрастаетъ и обработывается на нѣмецкой почвѣ. Пораженный щегольствомъ кадиксановъ и кадиксанокъ, я, признаюсь, сначала начиналъ сомнѣваться въ истинѣ того, что читалъ о жалкомъ состояніи промышленности въ Испаніи; но бесѣды съ нашимъ знакомымъ нѣмцемъ и потомъ время убѣдили меня, что читанное и слышанное нимало не преувеличено. На всемъ пространствѣ пиренейскаго полуострова нѣтъ ни одной фабрики, ни одного завода, за исключеніемъ одной только Каталоніи и преимущественно Барселоны. Самая промышленность Каталоніи и Барселоны важна только сравнительно; произведенія ихъ какъ капля въ морѣ въ отношеніи къ общей потребности; къ тому же, такъ какъ удобныхъ дорогъ не существуетъ, и произведенія эти доставляются на мулахъ, они, весьма естественно, обходятся покупателю втридорога. Всевозможные товары приходятъ сюда изъ Германіи, Франціи и Англіи; они достигаютъ своей цѣли частью правильнымъ торговымъ путемъ, и тогда, благодаря огромной таможенной пошлинѣ, обходятся еще дороже мѣстныхъ произведеній; частью заграничный товаръ распространяется контрабандой; послѣдній несравненно больше въ ходу, потому что, сравнительно, все-таки продается дешевле. Говорятъ, правительство начинаетъ принимать

мѣры касательно поощренія національной промышленности. Давно бы пора! Слушая разсказы о томъ, какъ оно до сихъ поръ дѣйствовало, кажется, словно переходишь изъ міра дѣйствительности въ міръ фантастическихъ кошмаровъ.

Правительство, еще въ концѣ семнадцатаго столѣтія, преслѣдовало купцовъ хуже очумленныхъ: оно отводило имъ въ городахъ самыя отдаленныя, глухія улицы, оставляло безнаказанными и даже поощряло всевозможныя оскорбленія, которыя умышленно наносились купцамъ какъ „низкимъ людямъ"; правительство позволяло грабить купца и само ловило случай, чтобы конфисковать его имущество. Правительство, которое и тогда вѣроятно состояло изъ людей сравнительно болѣе просвѣщенныхъ, тѣмъ не менѣе раздѣляло дикую, невѣжественную точку зрѣнія народа въ отношеніи къ торговлѣ и вообще промышленнымъ людямъ; нелѣпое, безумное чувство ненависти и презрѣнія къ послѣднимъ, какъ ни вредило успѣхамъ и процвѣтанію страны, было однакожъ сильнѣе чувства національной, государственной пользы.

Причина презрѣнія къ промышленности объясняется отчасти исторіей, а также характеромъ испанскаго народа. Въ глазахъ старыхъ испанцевъ, тотъ, кто занимался ремесломъ, клалъ на себя клеймо вѣчнаго безчестія; онъ словно отдѣлялъ себя отъ испанцевъ и шелъ по стопамъ ненавистныхъ арабовъ, которые первые внесли ремесло въ отечество, и до изгнанія ихъ одни занимались промыслами. Тотъ, кто доставалъ себѣ пропитаніе ручной работой, презирался потому еще, что никто не мѣшалъ ему промѣнять низкое орудіе промысла на благородное оружіе; никто не мѣшалъ ему бѣжать съ оружіемъ на защиту отечества и тѣмъ самымъ облагородить свое положеніе званіемъ гидальго; если онъ не дѣлалъ этого, онъ стало быть былъ трусъ, слабодушенъ, не имѣлъ чувства достоинства, не имѣлъ понятія о чести. Такъ думалъ народъ въ то время; отчасти онъ и теперь еще не совсѣмъ отрезвился отъ такихъ понятій. Духъ рыцарства, хотя значительно уже выдохся, но и понынѣ еще живетъ въ испанскомъ народѣ. Несмотря на это, по мѣрѣ того, какъ время смягчало ненависть къ давно изгнаннымъ арабамъ, промышленность конечно взяла бы свое и мало-по-малу необходимость дала бы ей право гражданства; но тутъ задержало ее еще другое обстоятельство, именно страшный наплывъ золота изъ Америки; возможность доставать себѣ все необходимое, не производя ничего своими руками, немилосердно облѣнила и избаловала

испанца. Баловство и лѣность съ успѣхомъ также поддерживались безчисленными монастырями, которые покрывали почву Испаніи; въ нихъ прокармливали даромъ всякаго, кто ни являлся. Такъ было въ старой Испаніи; но не забудьте, давно ли напримѣръ уничтожены здѣсь эти монастыри, пріучавшіе народъ къ лѣности и дармоѣдству.

Причины эти все-таки не имѣли бы, кажется, тѣхъ горькихъ послѣдствій для промышленности, еслибъ, какъ я замѣтилъ, духъ рыцарства, лихости, удальства, героизма своего рода, не жилъ еще до сихъ поръ въ душѣ почти каждаго испанца, еслибъ народъ сильно ему не сочувствовалъ. Духъ этотъ натурально противится жизни осѣдлой, замкнутой, тихо-трудолюбивой. Удаль, ловкость, опасность, рѣшимость, сила,—имѣющія вѣсъ въ мнѣніи каждаго полудикаго народа, конечно должны казаться особенно соблазнительными испанцу, существу натуры огненной, страшно впечатлительной, склонной къ чудесному, къ приключеніямъ, быстро увлекающейся воображеніемъ. Здѣсь имена великихъ дѣятелей на поприщѣ мануфактурномъ,—имена, которыми готовы были бы гордиться Англія, Бельгія и Франція,—долго не встрѣтятъ еще сочувствія народа. Вотъ напримѣръ матадоръ Монтесъ, или Хозе-Марія, удалой разбойникъ, прославившійся грабежами на большихъ дорогахъ,—это другое дѣло! Хозе-Марія увлечетъ кого угодно; недаромъ имя его такъ популярно, недаромъ народъ любитъ говорить о немъ, съ жаромъ разсказываетъ о его похожденіяхъ и называетъ его храбрымъ caballero и честнымъ, удалымъ, добрымъ малымъ. Такіе отзывы слышишь здѣсь даже отъ людей дѣйствительно почтенныхъ, вполнѣ заслуживающихъ уваженья, честность которыхъ неприкосновенна.

Но возвратимся къ нашему пароходу, который пущенъ уже въ ходъ и бьетъ колесами воду.

На палубѣ, кромѣ насъ и еще знакомаго нѣмца, прибыло пять пассажировъ. Несмотря на то, что общество наше состояло всего навсе изъ десяти человѣкъ, оно, надо сказать, странно было составлено: тутъ было трое русскихъ, два курляндца, одинъ пруссакъ, два испанца, одинъ американецъ; единственная особа женскаго пола, ѣхавшая съ нами (особа очень хорошенькая, съ черными блестящими глазами, черными прекрасными волосами и веселымъ вздернутымъ носикомъ), оказалась впослѣдствіи француженкой.

Говорю „впослѣдствіи“, потому что въ первое время мнѣнія по этому предмету были слишкомъ различны; они служили поводомъ

къ долгимъ, даже весьма серьезнымъ преніямъ. Одни, ссылаясь на кавалера юной путешественницы,—молодого рыжаго американца, съ выдавшейся нижней челюстью и одѣтаго въ сѣрый дорожный костюмъ,—хотѣли непремѣнно видѣть въ ней южную смуглую американку, или ирландку по крайней мѣрѣ; другіе навзничь опрокидывали такое предположенье: они стояли на томъ, что дама—испанка чистѣйшей крови; послѣднее мнѣніе особенно горячо защищалъ Ф*. Напрасно надрывался нашъ нѣмецъ, стараясь убѣдить всѣхъ и каждаго, что пассажирка—француженка, что самъ онъ слышалъ, какъ изъяснялась она на чистѣйшемъ парижскомъ нарѣчіи, что если хотятъ знать,—она даже не жена американца, какъ предполагали многіе, но возлюбленная его, захваченная имъ по дорогѣ изъ Парижа,—Ф* стоялъ все-таки на своемъ; онъ предлагалъ пари, и въ силу своего мнѣнья, приводилъ, какъ несомнѣнное доказательство андалузской породы, маленькую ножку, быстроту глазъ, цвѣтъ кожи и наконецъ черное атласное платье путешественницы.

— Ручаюсь чѣмъ угодно, что она не соотечественница! неожиданно заговорилъ одинъ изъ испанцевъ, высокій молодой человѣкъ, котораго, Богъ-вѣсть почему также, приняли мы сначала за доктора. Онъ попросту былъ empleado, чиновникъ, мы познакомились съ нимъ еще въ буфетѣ и нашли въ немъ, какъ вообще во всѣхъ испанцахъ, съ которыми приводилъ случай сталкиваться, очень любезнаго, привѣтливаго и добродушнаго человѣка.

— Не могу утвердительно рѣшить, какой она націи, продолжалъ онъ, косясь на нее: — но только она не испанка; за это вамъ ручаюсь. Впрочемъ въ этомъ легко убѣдиться: сядемъ рядомъ съ нею, вы съ одной стороны, я съ другой,—заключилъ онъ, обращаясь ко мнѣ, такъ какъ я стоялъ къ нему поближе.

Предложенье было мгновенно приведено въ дѣйствіе. Хорошенькая дама углубилась въ чтеніе какой-то книжки и повидимому не обратила на насъ ни малѣйшаго вниманія.

Испанецъ, говорившій довольно хорошо по французски, началъ разспрашивать меня о Парижѣ.

Съ первыхъ же словъ глаза дамы оторвались отъ книжки и украдкою взглянули въ нашу сторону.

Не медля минуты, я приступилъ къ самому одушевленному описанію парижской жизни и увеселеній; хорошенькое личико сосѣдки замѣтно оживилось; наконецъ, когда я заговорилъ о публичныхъ балахъ и коснулся Мабиля, сосѣдка очевидно не могла уже

владѣть собою; она засмѣялась, но желая вѣроятно сохранить на время инкогнито, поспѣшила нагнуться черезъ бортъ и сдѣлала видъ, какъ-будто смотритъ на воду.

Французская живость и собщительность скоро однакожъ взяли свое: не прошло минуты, дама обернулась и первая съ нами заговорила. Минутъ десять спустя, мы бесѣдовали такъ же непринужденно и весело, какъ-будто вѣкъ были знакомы.

Общество наше, вполнѣ теперь примиренное и согласное, поспѣшило къ намъ присоединиться. Разговоръ сдѣлался общимъ; американецъ, спутникъ француженки, принялъ въ немъ не послѣднее участіе. Вниманіе, оказанное его дамѣ, очевидно ему польстило; онъ началъ съ того, что предложилъ всѣмъ сигары и выказалъ при этомъ развязность, которую никакъ нельзя было ожидать отъ господина, созданнаго повидимому изъ флегмы и несообщительности.

Мы не замедлили узнать въ немъ одного изъ тѣхъ эксцентриковъ-туристовъ, которые служатъ всегда французамъ неистощимою темой для остроумія. Это дѣйствительно былъ чудакъ перваго номера. Онъ ѣхалъ въ Севилью не столько изъ любопытства и по собственному побужденію, сколько потому, что тамъ въ началѣ нынѣшняго столѣтія былъ его отецъ, потомъ старшій братъ и наконецъ пять лѣтъ назадъ, второй братъ. Каждый изъ нихъ имѣлъ при этомъ спеціальную цѣль: собрать библіотеку изъ трехъ тысячъ томовъ старыхъ испанскихъ изданій; нельзя же было третьему брату, который вмѣстѣ съ милліонами наслѣдовалъ фамильную страсть къ библіоманіи, нельзя же было ему не послѣдовать примѣру родителя и братьевъ! Такъ какъ отецъ и братья пробыли въ Севильѣ ровно годъ, третій братъ рѣшилъ пробыть въ Севильѣ до пятнадцатаго октября слѣдующаго года, что, считая съ нынѣшняго числа, составляло ровно триста шестьдесятъ пять дней.

Француженка между тѣмъ, нимало не стѣсняясь, явно выказывала, что всѣ эти объясненія ея спутника, и даже самъ онъ, жестоко ей надоѣли; она поминутно вмѣшивалась въ разговоръ и перебивала его.

— Edouard! повторяла она, приправляя слова свои милыми улыбками и взглядами, которые очевидно скорѣе намъ предназначались: —je veux aller en Russie! Nous irons en Russie... N'est-ce pas, que tu me prends en Russie?..

— Peut-être, возражалъ ломанымъ языкомъ и всякій разъ съ

той-же невозмутимой флегмою ея спутникъ:—peut-être! Cela existe dans mon dictionnaire!

Онъ носилъ съ собою книжку, въ которой трехгодичное его путешествіе по Европѣ расписано было день въ день; на третій годъ положено было пробыть шесть недѣль въ Москвѣ и Петербургѣ.

Между тѣмъ какъ мы такимъ образомъ болтали и смѣялись, пароходъ продолжалъ дѣлать свое дѣло.

Въ глубинѣ темносиняго залива, по которому клубился сѣдой слѣдъ парохода, Кадиксъ обозначался уже бѣлой полоской; надъ нею, двумя темными крапинами выступали куполъ и колокольня собора. Мы начинали приближаться къ противоположному берегу, плоскому, песчаному, и съ каждой минутой явственнѣе обрисовывались на немъ бѣлыя деревни и города. Прямо противъ насъ постепенно выросталъ и расширялся городъ Puerto Santa-Maria. Здѣсь пароходъ круто поворачиваетъ влѣво, такъ что носъ его прямо приходится противъ устья Гвадалквивира; но въ этомъ мѣстѣ устье такъ еще широко, что нельзя опредѣлить глазомъ береговъ рѣки; присутствіе ея обозначается пока тѣмъ только, что темноголубой цвѣтъ воды теряетъ свою прозрачность и превращается въ мутножелтоватый. Немного погодя, на помутившейся поверхности залива глазъ явственно начинаетъ отличать широкую кайму грязи; пароходъ входитъ въ нее и слѣдуетъ ея изгибамъ, потому что она служитъ вѣрнѣйшимъ фарватеромъ для входа въ рѣку. Эта грязь— ни что другое, какъ вода поэтическаго Гвадалквира.

Мало-по-малу начинаютъ выясняться оба берега; слѣва выставляется низменная болотистая равнина, убѣгающая въ неизмѣримую даль; ее замыкаютъ горы, которыя по отдаленности приняли мы сначала за облака на горизонтѣ; кое-гдѣ у самой воды подымаются группы тощихъ тополей, и тутъ-же чернѣютъ шалаши изъ вѣтвей и листьевъ, жилища рыбаковъ. Остальное пространство покрыто иломъ и заросло камышомъ; надъ нимъ безпокойно носились большія бѣлыя морскія чайки, испуганныя шумомъ парохода. Съ каждымъ поворотомъ колесъ рѣка дѣлается уже и все менѣе оправдываетъ свое арабское прозвище Гвадалквивира, то-есть большой рѣки. Часа полтора послѣ ухода изъ Кадикса, Гвадалквивиръ представляетъ желтую грязную рѣку шириною сажень въ пять. Словомъ, разочарованіе было бы самое полное, еслибъ не берегъ правой стороны, который нарочно какъ будто для того и созданъ, чтобы путешественникъ не забылъ, что онъ въ милой Испаніи. Онъ не перестаетъ

тѣшить глазъ красивыми деревушками и городками, выбѣленными словно заново. Часто встрѣчаются одинокія фермы; онѣ точно также сверкаютъ бѣлизною; по большей части онѣ выбѣгаютъ съ своей плоской террасой и красной черепичной кровлей изъ гущи зелени, которая если ужъ привилась къ почвѣ, то является здѣсь во всей силѣ тропической растительности. По всему этому берегу, вплоть до Бонанцы, города смѣняются фермами, фермы виноградниками или оливковыми плантаціями; на песчаныхъ желтыхъ откосахъ, спускающихся въ водѣ, то и дѣло встрѣчаются стада барановъ, которыхъ пригнали на водопой; мѣстами живописно лѣпятся рыбацкія слободки съ длинными, опрокинутыми кверху дномъ лодками и красноватыми сѣтями, которыя развѣшаны фестонами на кольяхъ и сушатся на солнцѣ. Все это, благодаря яркому освѣщенію, необыкновенной прозрачности воздуха и густому бархатному колеру неба, который сообщаетъ тѣнямъ нѣжный голубой цвѣтъ,—превращается въ столько-же милыхъ картинъ самаго веселаго праздничнаго характера. Глядя на все это, не перестаешь себя спрашивать: гдѣ-жъ эта запущенность и бѣдность, сдѣлавшіяся провербіальными въ отношеніи къ Испаніи? вѣрить-ли имъ или нѣтъ.

Вотъ наконецъ вправо показалась Бонанца или вѣрнѣе San-Lucar de Barromedo; Бонанцой называется собственно мѣсто, гдѣ расположена пристань Сан-Лукара. Городъ, окруженный зеленью, бѣлѣетъ надъ крутымъ, золотистымъ, песчанымъ обрывомъ, который замѣтенъ еще издали; надо миновать его, чтобы достигнуть пристани. Тутъ пароходъ останавливается минутъ на пять, чтобы взять новыхъ пассажировъ и высадить старыхъ. Пароходъ нашъ никого не выпустилъ и принялъ только нѣсколько тюковъ и боченковъ, предназначенныхъ въ Севилью.

Мы поѣхали далѣе.

За Сан-Лукаромъ тянется лѣсъ изъ зонтикообразныхъ, раскидистыхъ сосенъ, который на минуту переноситъ васъ мысленно въ Италію; далѣе, берегъ неожиданно понижается; еще два-три поворота рѣки—онъ обращается въ такую-же безжизненную пустыню, какъ его vis-à-vis. Куда ни глянешь, повсюду желтоватые, обожженные солнцемъ луга; справа—плоскія, постепенно суживающіяся и убѣгающія въ даль линіи сливаются съ горизонтомъ; слѣва пустыню замыкаетъ хребетъ Сіеры Морены, который по отдаленности принимаетъ видъ фантастическаго миража: точно гряда перламутровыхъ облаковъ, которыя просвѣчиваютъ сквозь туманъ.

Говоря такъ неуважительно о Гвадалквивирѣ, я забылъ передать вамъ объ одномъ его свойствѣ, которое по всей вѣроятности и заслужило ему въ древности названіе большой рѣки. Грязная и повидимому ничтожная эта рѣченка подвержена страшнымъ разливамъ; они бываютъ иногда такъ сильны, что опустошаютъ всю страну отъ Кадикса до Севильи.

Разливы происходятъ обыкновенно осенью или зимою, въ дождливую пору года, но не вода дождей этому виною, хотя они льютъ здѣсь какъ изъ ведра и часто продолжаются по нѣскольку сутокъ сряду. Главной причиной служатъ потоки, которые образуются отъ талаго снѣгу, растворяемаго дождемъ; въ нѣсколько часовъ они страшно раздуваются и яростно устремляются съ горъ на Гвадалквивиръ; если къ этому задуетъ югозападный вѣтеръ и море запретъ устье рѣки,—вода стремительно выбѣгаетъ изъ береговъ и затопляетъ всю долину. Въ зиму 1626 года наводненіе продолжалось сорокъ дней, вода поднялась до Севильи, и такъ высоко, что третья часть города была потоплена. Въ нѣкоторыхъ кварталахъ вода достигла третьяго этажа. Три тысячи домовъ были разрушены; народу погибло бездна, и столько-же отъ потопленія, сколько отъ голода; потеря разнаго рода имущества въ городѣ и по окрестностямъ превышала сумму въ двадцать милліоновъ.

Такъ бывало встарину, такъ и теперь нерѣдко повторяется.

Ко всему этому надо присовокупить еще то обстоятельство, что вода, долго оставаясь послѣ разлива въ низменныхъ мѣстахъ, превращаетъ почву въ болото; съ наступленіемъ жаровъ воздухъ заражается и повсемѣстно распространяетъ перемежающіяся лихорадки и эпидемическія болѣзни. Говорятъ, герцогъ Монпансье, котораго супружество сдѣлало постояннымъ жителемъ южной Испаніи, давно и сильно хлопочетъ, убѣждая правительство предпринять работы для канализаціи береговъ и долины Гвадалквивира; неизвѣстно, насколько успѣлъ онъ въ этомъ, фактъ тотъ однакожъ, что до сихъ поръ ничего еще не сдѣлано. Гвадалквивиръ продолжаетъ разливаться и кромѣ того, годъ отъ году сильнѣе затягивается иломъ: онъ теперь судоходенъ только до Севильи.

Отъ Бонанцы, часа на три по крайней мѣрѣ, правый и лѣвый берегъ остаются тѣми же, безо всякой перемѣны: тѣ-же неоглядныя луговыя равнины, покрытыя чахлой, желтоватой травой, сожженной солнцемъ. Гвадалквивиръ дѣлаетъ время отъ времени такіе крутые, частые повороты, что рулевой едва успѣваетъ править пароходомъ;

колеса съ трудомъ кажется ворочаются въ густой, бурой грязи; на поверхности ея появляются струйки чистой воды, когда по близости вливается въ рѣку родникъ или ручей. Одинъ этомъ шумъ колесъ да свистъ пара пробуждаютъ мертвую тишину окрестности; не пролетитъ даже птица. Точно перенесло васъ вдругъ въ пустыню новаго свѣта; точно плывешь по одной изъ тѣхъ иловатыхъ, рыжихъ рѣчекъ, которыя орошаютъ луга сѣверной Америки и которыя такъ превосходно описываетъ Куперъ. Нельзя себѣ представить, что еще полтора-два часа—и вдругъ очутишься... гдѣ же?—въ шумной, многолюдной Севильѣ!

Единственнымъ развлеченіемъ этихъ унылыхъ пустынь служатъ стада полудикихъ быковъ. Они пасутся здѣсь круглый годъ; это тѣ самые быки, которыхъ готовятъ для corrido di torros не только Севильи, но и другихъ городовъ Андалузіи. Иногда пароходъ заставалъ врасплохъ цѣлое стадо на водопоѣ; испуганныя животныя однимъ махомъ выскакивали изъ воды на берегъ и стремительно неслись въ глубину луговъ; случалось, бывали смѣльчаки, которые не слѣдовали за своими товарищами; утопая по брюхо въ тинѣ, они не трогались съ мѣста и только поворачивали голову, всматриваясь притупленно-удивленными глазами вслѣдъ удалявшемуся пароходу. На плоскихъ, убѣгающихъ въ даль линіяхъ пустыни вырѣзывался иногда характерный силуетъ погонщика, человѣка верхомъ, вооруженнаго длинной пикой, съ ружьемъ, сверкающимъ за спиною, въ высокой, черной широкополой шляпѣ, изъ-подъ которой краснѣлъ край платка, которымъ здѣсь народъ обвязываетъ голову; ноги его, обернутыя до колѣнъ кожей, исчезали до половины икры въ желѣзныхъ стременахъ, имѣвшихъ видъ заостренныхъ лодокъ; изъ-подъ шляпы обрисовывалась пара бакеновъ, обстриженныхъ въ видѣ котлетки, и между ними смотрѣло смуглое бедуинское лицо, оживленное бѣлками глазъ; красный кушакъ, коричневая куртка, коротенькіе штаны, плащъ, брошенный на одно плечо,—дополняли костюмъ. Иногда такая фигура, припавъ грудью къ лукѣ высокаго арабскаго сѣдла, проносилась по степи во весь духъ лошади, крутя надъ головою петлю аркана, которымъ ловятъ непокорныхъ, строптивыхъ быковъ. Все это, оживляя пустыню, усиливало вмѣстѣ съ тѣмъ впечатлѣніе дикости, отдаляло мысль отъ близости цивилизаціи.

Время отъ времени поворотъ рѣки словно приближалъ насъ къ линіи горъ, которыя продолжали замыкать горизонтъ лѣваго

берега: хребетъ Сіеры-Морены былъ очень далекъ; но необыкновенная чистота и прозрачность воздуха давали возможность явственно различать зубчатую профиль снѣжныхъ вершинъ, очертаніе пропастей и уступовъ, которые въ безпорядкѣ громоздились другъ на дружку. Солнце садилось прямо противъ насъ; невозможно передать словами тѣхъ эффектовъ свѣта и тѣни, какими одѣвались горы: цвѣта радуги, чистѣйшій кобальтъ, перламутръ, грудь голубя, золото и розовое серебро слабо передадутъ дивную фантасмагорію яркихъ и вмѣстѣ съ тѣмъ неуловимо-нѣжныхъ воздушныхъ красокъ, которыя переливались по скатамъ Сіеры-Морены. Свѣтъ отъ нея разливался какъ-будто по всей окрестности; онъ словно сообщался даже грязному Гвадалквивиру, изгибы котораго ярко теперь сверкали въ потемнѣвшихъ берегахъ.

Съ приближеніемъ къ Севильѣ, Сіера-Морена снова уходитъ въ глубину и постепенно затушевывается отдаленіемъ. Какъ бы взамѣнъ этого, оба берега, особенно правый, опять начинаютъ оживляться. Все замѣтно говоритъ о близости большого города. Снова однѣ за другими и постепенно чаще и чаще показываются отдѣльныя фермы и бѣлыя какъ молоко деревни, потопленныя зеленью. Растительность здѣсь еще роскошнѣе, чѣмъ даже въ окрестностяхъ Сан-Лукара. Виноградникамъ нѣтъ конца; оливковыя плантаціи и серебристые тополи смѣнились апельсинными рощами и гранатовыми деревьями; мѣстами, надъ бѣлымъ каменнымъ куполомъ мирадора (вышки, пристроенной къ верхней части зданія), сохранившимъ свою арабскую форму, стройно выбѣгаетъ пальма; мѣстами, надъ песчанымъ обрывомъ берега, синѣютъ исполинскіе алоэ или фантастически путаются и лѣзутъ впередъ яркозеленыя лопатки колючаго кактуса. Самый Гвадалквивиръ какъ-будто стыдится своей грязи и старается себя украсить; на поверхности его, кромѣ мелкихъ рыбацкихъ лодокъ, появляются время отъ времени барки съ треугольными латинскими парусами, поставленными въ видѣ раскрытыхъ ножницъ. Все это—барки, скаты береговъ, зелень, деревни, словомъ весь передній планъ картины, которая развертывалась передъ глазами, постепенно погружалось въ густую синеватую тѣнь; надъ ней все ярче и ярче разгорался между тѣмъ закатъ, исполосованный пурпуровыми, волокнистыми линіями. Въ воздухѣ замѣтно посвѣжѣло.

Немного погодя на верхушкѣ отдаленной башни сверкнула золотая точка.

— Это статуя вѣры надъ Хиральдой! подсказалъ знакомый

нашъ нѣмецъ:—а подлѣ нея открылась теперь верхняя часть собора,—добавилъ онъ, указывая на темную, зубчатую массу, которую издали можно было принять за возвышенную часть города.

Крутой поворотъ Гвадалквивира неожиданно открылъ глубокую золотистую перспективу, въ которой фіолетовыми пятнами обозначались арки какого-то моста, церкви, зданія и множество лодокъ, наполненныхъ народомъ; говоръ и восклицанія неслись оттуда; съ каждой минутой городской шумъ усиливался; вмѣстѣ съ тѣмъ сгущались тѣни и холодѣлъ воздухъ. Слѣва, въ темнотѣ, потянулся наконецъ рядъ зданій, которыя казалось выростали изъ воды: здѣсь начинался (такъ объяснилъ намъ нѣмецъ) кварталъ Тріаны. Справа между тѣмъ вдругъ потянулъ запахъ лимонныхъ и апельсинныхъ деревъ; минуту спустя, мы огибали густую стѣну зелени, которая въ этомъ мѣстѣ превращаетъ берегъ въ роскошнѣйшую прогулку: это Alameda Cristiana, любимый загородный садъ жителей Севильи; между совершенно черными стволами кипарисовъ, олеандровъ, гранатовыхъ, лимонныхъ и апельсинныхъ деревъ, мелькали въ голубоватомъ полусвѣтѣ бѣлыя, движущіяся пятна и раздавались голоса гуляющихъ.

Пароходъ прямо шелъ къ низенькой башнѣ, которая выставлялась надъ водою.

— Это такъ называемая Toro del Oro—башня, куда, говорятъ, складывалось въ былое время все золото, привозимое изъ Америки, пояснилъ намъ нѣмецъ.

Toro del Oro превращена теперь, кажется, въ таможенный сторожевой пунктъ. Саженяхъ въ десяти до нея находится пристань.

Когда пароходъ остановился, заря успѣла окончательно угаснуть; вмѣстѣ съ зарею исчезли также какъ-будто черныя, мрачныя пятна, мѣстами затемнявшія перспективу города; они расходились, начинали сквозить и постепенно сливались въ общій голубоватый тонъ, который сообщался всему густымъ синимъ цвѣтомъ звѣзднаго неба.

Всѣ эти впечатлѣнія промелькнули для насъ почти безсознательно; страшная суета происходила на палубѣ парохода. Каждый спѣшилъ скорѣе выбѣжать на пристань; оживился даже нашъ американецъ, по крайней мѣрѣ, голосъ его не переставалъ раздаваться посреди общаго гама.

Съ первымъ шагомъ на берегъ, насъ обступила толпа носильщиковъ; поднялась кутерьма невообразимая; всѣ кричали разомъ и каждый немилосердно тащилъ въ свою сторону. Напрасно надсажи-

вались мы, повторяя: Fonda de Paris,—куда насъ рекомендовали, напрасно цѣплялись мы отчаянно за наши дорожные мѣшки: ничего не помогало. Богъ-вѣсть, чѣмъ бы все это кончилось, еслибъ не подоспѣлъ на выручку знакомый испанецъ и потомъ нѣмецъ; оба хотѣли остановиться въ одной гостинницѣ съ нами; вскорѣ на крикъ испанца: Джіовани! Джіовани!—выскочилъ весь въ попыхахъ изъ толпы маленькій человѣкъ, сопровождаемый бѣлымъ пуделемъ; это былъ итальянецъ, служившій въ качествѣ проводника или гида при гостинницѣ Fonda de Paris. Онъ тотчасъ же распорядился наймомъ носильщиковъ, нагрузилъ нашъ багажъ, и мы вошли въ Севилью черезъ темныя ворота, продѣланныя въ высокой зубчатой стѣнѣ.

Не знаю болѣе мучительнаго состоянія, какъ то, которое испытываешь вступая ночью въ новый городъ; особенно когда городъ этотъ давно возбуждалъ любопытство; перечтешь заранѣе всевозможныя описанія, ловишь каждый живой разсказъ, чтобы короче съ нимъ познакомиться, строишь обольстительные планы, жадно ждешь минуты, чтобы провѣрить, насколько воображеніе украсило или не дошло до дѣйствительности, — и видишь между тѣмъ, что все это надо отложить на завтра... да, на завтра, даромъ, что идешь самымъ городомъ и даже ко всему можешь, такъ сказать, прикоснуться рукою. Безполезность усилій, чтобы разсмотрѣть тотъ или другой предметъ, который вдругъ живо напомнитъ прочитанное или слышанное, еще сильнѣе раздражаетъ любопытство и усиливаетъ сердечное волненіе. Проходя мимо собора я не могъ утерпѣть, чтобы не взбѣжать на ступеньки одного изъ входовъ; еще минута — и я приподнялъ бы кожаный фартукъ, которымъ заслоняются здѣсь двери храмовъ,—но Б. Т. удержалъ меня.—Что за ребячество? сказалъ онъ:—вы только портите себѣ первое впечатлѣніе; поберегите его. Что теперь увидите? мракъ только одинъ и ничего больше! То ли дѣло завтра будетъ!..

Улицы, по которымъ мы проходили, были темны и узки; множество народа толкалось взадъ и впередъ; кое-гдѣ раздавался свистъ, хохотъ и бряцанье гитары. Совершенный мракъ, посреди котораго все это совершалось, усиливалъ впечатлѣніе. Два-три раза изъ темной впадины протянулась къ намъ рука и сиплый голосъ произнесъ: una limosina por l'amor de Dios! Мы вышли наконецъ на небольшую площадь, обсаженную вокругъ деревьями, фонтанъ

шумѣлъ посерединѣ; между деревьями блеснуло нѣсколько освѣщенныхъ оконъ.

Это были окна Fonda de Paris.

Наружная дверь прямо вводитъ въ patio, — довольно просторную комнату, гдѣ вмѣсто потолка натянутъ холстъ; полъ вымощенъ квадратами изъ сѣраго и бѣлаго мрамора; по стѣнамъ, выбѣленнымъ мѣломъ, стелятся вьющіяся растенія; въ углахъ горшки съ олеандрами, обсыпанными цвѣтами; мраморныя скамьи съ высокой спинкой окружаютъ patio; посерединѣ бассейнъ, обложенный мраморомъ, цвѣтами и раковинами; надъ нимъ узорчатая мраморная чаша, изъ которой бьетъ фонтанъ. Все это освѣщается мягкимъ полусвѣтомъ нѣсколькихъ цвѣтныхъ бумажныхъ фонарей, привѣшанныхъ къ веревкамъ, идущимъ поперегъ patio, отъ карниза къ карнизу.

Номера расположены во второмъ этажѣ; онъ весь состоитъ изъ какихъ-то длинныхъ, низенькихъ корридоровъ, напоминающихъ старинные католическіе монастыри. Комнаты здѣсь такъ же чисты, какъ въ Vista-Allegri Кадикса; во весь полъ разостланы пестрые плетеные ковры изъ цвѣтной соломы; надъ постелями кисейные пологи отъ мускитовъ; цѣну взяли съ насъ почти ту-же, что и въ Кадиксѣ, не смотря на то, что приняли насъ здѣсь за путешествующихъ англичанъ.

Разобравъ свой багажъ по номерамъ, мы спустились въ столовую, — длинную залу, которая непосредственно находится за patio. Общество фонды давно уже отобѣдало; но такъ какъ вмѣстѣ съ пароходомъ изъ Кадикса всегда ждутъ новыхъ гостей, одна половина стола оставалась накрытою.

На дальнемъ концѣ стола сидѣли человѣкъ восемь испанцевъ и французовъ; по всей вѣроятности то были привычные посѣтители, habitués гостинницы; они громко разговаривали, покуривая сигары и папиросы, которыя тутъ же свертывали.

Не помню рѣшительно, какія подавались блюда; не помню даже, были ли они приправлены оливковымъ масломъ, были ли подогрѣты, или состояли изъ свѣжихъ припасовъ. Кадиксъ пріучилъ насъ быть невзыскательными. Вообще, въ Испаніи ѣда не составляетъ удовольствія: здѣсь пьютъ и ѣдятъ ровно настолько, чтобы поддержать существованіе. Помню только, что во время этого обѣда поглощено было неимовѣрное количество винограда, свѣжихъ фигъ и апельсиновъ. Равнодушіе къ блюдамъ происходило можетъ-статься

оттого также, что съ первой минуты какъ сѣли мы обѣдать, вниманіе наше сильно было заинтересовано разговоромъ, происходившимъ на другомъ концѣ стола. Предметомъ бесѣды были разбойники. Мы только-что начинали знакомство съ Испаніей; была ли возможность не прислушиваться?

Говорилось между прочимъ о происшествіи, которое случилось на дняхъ съ почтовой каретой, перевозившей путешественниковъ изъ Кордовы въ Мадридъ. На нее напали разбойники: связавши кучера, начальникъ шайки объявилъ, чтобы никто не боялся за свою жизнь, что онъ никого не тронетъ; онъ требовалъ только немедленной выдачи казенныхъ денегъ. „Я былъ на службѣ государства, сказалъ онъ:—правительство у насъ неблагодарно, оно не платило мнѣ жалованья нѣсколько лѣтъ сряду; я слѣдовательно считаю себя вправѣ взять то, въ чемъ мнѣ такъ несправедливо отказали за мои заслуги. Отымая эти деньги, я беру только то можетъ-быть даже менѣе того, чтó задолжало мнѣ правительство!..“ Взявъ деньги, онъ развязалъ кучера, велѣлъ распречь лошадей и потребовалъ, чтобы путешественники не трогались съ мѣста по крайней мѣрѣ два часа; это было необходимо, чтобы дать время ему и его товарищамъ уйти въ горы; въ случаѣ неисполненія такого уговора, онъ грозилъ снова напасть и уже на этотъ разъ обѣщалъ всѣхъ перерѣзать какъ цыплятъ. Мы тутъ же узнали, что въ настоящее время въ госпиталѣ Севильи находится до шестидесяти человѣкъ раненыхъ ножомъ; но въ этомъ обстоятельствѣ разбойники не принимали никакого участія. Раненые были по большей части жертвы manoa irada,—„раздраженной руки“: такъ говорятъ здѣсь, желая выразить увлеченье, минутную вспышку, досаду, которыя въ Испаніи оканчиваются обыкновенно ударомъ ножа.

Ножъ, navaja—любимѣйшее оружіе андалузцевъ; у нихъ онъ такой же точно предметъ щегольства и необходимости, какъ шашка у черкесовъ. Лезвее navaja имѣетъ форму рыбы и конецъ заостренъ съ обѣихъ сторонъ; оно покрыто узорами и надписями, выведенными грубой эмалью краснаго и чернаго цвѣта: ножъ носятъ за поясомъ, но не сбоку, а за спиною. Не считая majos, щеголей и удальцевъ, каждый почти андалузецъ умѣетъ биться на ножахъ; умѣнье это обусловливается столько же необходимостью, сколько составляетъ особое искусство, усовершенствованіе въ немъ не послѣдній предметъ хвастовства; говорятъ даже, опытнымъ людямъ

довольно взглянуть на разрѣзы раны, чтобы тотчасъ узнать молодца, который нанесъ ее.

Всѣ эти разсказы являлись какъ нельзя болѣе кстати при дебютѣ въ столицѣ Андалузіи; они открывали передъ нами одинъ уголокъ мѣстныхъ нравовъ въ ихъ настоящемъ свѣтѣ.

Было уже около девяти часовъ, когда мы встали изъ-за стола; насъ давно подмывало пройтись по городу.

Повернувъ съ площади налѣво, мы прямо вышли на главную улицу; она называется кажется Cale de Toledo, это Невскій проспектъ Севильи. Улица освѣщалась одними только окнами и дверями богато убранныхъ магазиновъ и лавокъ; впрочемъ она была такъ узка и невысока (рѣдкій домъ имѣлъ болѣе двухъ этажей), что и при этомъ даровомъ освѣщеніи можно было превосходно разсматривать гуляющихъ; лучи свѣта, вырывавшіеся изъ оконъ и дверей, придавали толпѣ еще болѣе пестроты и живописности.

Съ первыхъ же шаговъ насъ поразило множество женщинъ; онѣ составляли двѣ трети толпы по крайней мѣрѣ. Вторымъ предметомъ удивленья,—но на этотъ разъ не радостнымъ, а досадливымъ,—были кринолины, шали и шляпки,—пошлыя современныя французскія шляпки, которыя попадались на каждомъ шагу. Не странно ли, что именно то, чего не слѣдовало никакъ перенимать у Европы, что было здѣсь такъ красиво, то скорѣй всего и передѣлалось на европейскій ладъ! Баскина, мантилья, граціозная прическа изъ волосъ и живыхъ цвѣтовъ, которая такъ идетъ къ андалузскому типу, видимо исчезаютъ, чтобы дать мѣсто изобрѣтеніямъ парижской моды. Отъ прежняго сохранился только вѣеръ; онъ шумитъ и переливается въ рукахъ каждой женщины, сверкая въ полумракѣ своими блестками. Множество мужчинъ одѣваются также по европейски; безпрестанно попадались франты, которые сдѣлали бы честь итальянскому бульвару въ Парижѣ. Но какъ эффектно зато выставлялись посреди всего этого маленькая, надѣтая на бекрень войлочная шапочка съ затянутыми кверху полями; цвѣтная куртка, шитая шнурками, убранная по швамъ серебряными пуговками и открывающая на груди бѣлую рубашку, перехваченную у тальи широкимъ краснымъ или желтымъ кушакомъ; съ какою жадностью слѣдишь въ толпѣ за мантильей и головкой, убранной волосами съ двумя пучками жасмина на вискахъ! Здѣсь точно также, какъ въ Кадиксѣ, мужчины не даютъ руки дамамъ; женщины ходятъ отдѣльными группами.

Севильянки, сколько я могъ замѣтить, живѣе кадиксанокъ, меньше ихъ ростомъ и смуглѣе. Походка ихъ и пріемы проникнуты чѣмъ-то неуловимо-быстрымъ, смѣлымъ, игривымъ, кокетливымъ; невообразимая миловидность и грація движенія, съ какимъ нѣсколько разъ въ секунду женщина раскроетъ и сложитъ вѣеръ, увѣренность во взглядѣ и поступи,—все это, въ соединеніи съ красотою типа и выраженіемъ чего-то страстнаго въ каждой чертѣ лица и каждомъ движеніи, дѣлаетъ ихъ обольстительными выше всякаго описанія: при встрѣчѣ съ ними часто удерживаешься, чтобы не ахнуть; сердце невольно вздрагиваетъ. И стыдно, и досадно дѣлается, когда вспомнишь, что прежде могъ восхищаться парижанками. Выраженія: зажигательные взгляды, молніеносные взгляды здѣсь только имѣютъ мѣсто; понятно, отчего кажутся они у насъ такою натяжкой. Какъ вообще во всѣхъ породахъ чистой крови, типъ севильянокъ не отличается большимъ разнообразіемъ; всѣ словно напоминаютъ одна другую; у всѣхъ большіе черные глаза съ красивымъ арабскимъ разрѣзомъ, идущимъ къ вискамъ; вѣки окружены густою бахрамою темныхъ, какъ уголь, рѣсницъ: сверканіе бѣлка на смугломъ лицѣ, усиливаетъ блескъ и безъ того огненнаго взгляда; никогда прежде не видалъ я такихъ прелестныхъ, яркихъ губокъ; всевозможныя поэтическія сравненія будутъ блѣдны предъ дѣйствительностью.

Ничего не скажу вамъ о маленькихъ ножкахъ и ручкахъ, о красотѣ волосъ, стана и плечъ (здѣсь, замѣтьте, носятъ на улицахъ, какъ и въ Кадиксѣ, платья съ открытымъ лифомъ и короткими рукавами); все это такъ хорошо, такъ въ самомъ дѣлѣ соблазнительно, такъ способно сладко одурманить человѣка, что духу не достаетъ описывать; портишь только впечатлѣніе.

Обворожительныя улыбки и страстные взгляды здѣсь впрочемъ, очень дешевая монета; обращаясь къ равнодушному, они служатъ только знакомъ веселости и бойкости, отличающихъ андалузскій характеръ; не только взглядъ и улыбка, но самый непринужденный разговоръ, не даетъ еще повода уноситься мечтаніями касательно успѣха. Не думайте однакожъ, чтобы страшная эта свобода рѣчей и обращенія, дѣйствовала во вредъ такъ называемой нравственности: ничуть не бывало; между ними нѣтъ ничего общаго. Чистота нравовъ нисколько здѣсь не хуже той, которую встрѣчаешь въ нашихъ сѣверныхъ обществахъ, гдѣ внѣшняя воздержность, la retenue и ханжеская мораль (говорю ханжеская, потому что никто ей не вѣ-

ритъ: ни тѣ, которые ее проповѣдуютъ, ни тѣ, которые ей слѣдуютъ) часто скрываютъ грубѣйшую растлѣнность воображенія и самаго сердца. Въ Испаніи никто не оскорбляется видомъ влюбленнаго молодого человѣка, который настойчиво ухаживаетъ за дѣвушкой; влюбленный или novio,—женихъ, какъ его здѣсь неправильно называютъ, потому что ухаживанье ни къ чему еще не обязываетъ,—видится съ предметомъ своего сердца по нѣскольку разъ въ день, говоритъ съ дѣвушкой безъ свидѣтелей, проводитъ на пролетъ ночи, бесѣдуя съ нею у рѣшетки окна или балкона: не менѣе ли это опасно и предосудительно, въ смыслѣ строгой морали, чѣмъ затаенныя пылкія желанія, тайныя переписки или ухаживанье и волокитство, которыя ничѣмъ не оправдываются, ни страстью, ни даже влеченіемъ? Эта свобода, которой точно также пользуются дѣвушки Англіи, даетъ самостоятельность, дѣлаетъ женщинъ существами вполнѣ сознательными; раннее сближеніе съ обществомъ мужчинъ развиваетъ опытъ, который столько же служитъ потомъ защитой собственной нравственности, сколько даетъ умѣнья отличить пустого волокиту отъ человѣка въ самомъ дѣлѣ привязаннаго сердцемъ. При страстности темперамента и пылкости воображенія, здѣсь, сколько слышно, очень мало однакожъ несчастныхъ случаевъ, какъ у насъ говорится; ухаживатели за замужними женщинами здѣсь точно также рѣдкое исключеніе: ужъ одно это не довольно ли говоритъ въ пользу морали? При короткости женскаго обращенія, которое у насъ тотчасъ же даетъ мужчинѣ право быть смѣлымъ и самоувѣреннымъ, въ Испаніи ненарушимо сохранилась утонченная рыцарская вѣжливость; женщинѣ, даже между простонародьемъ, уступаютъ всегда первый шагъ, даютъ первое мѣсто. Учтивость бросается въ глаза даже въ обращеніи мужчинъ простого класса между собою; впрочемъ и то надо сказать: бранное слово, оскорбительное названіе, толчокъ—встрѣтили бы здѣсь короткій отвѣтъ: ножъ въ бокъ безъ дальнихъ церемоній.

Въ Толедской улицѣ нѣтъ ровно ничего особенно замѣчательнаго, а между тѣмъ не было возможности урваться отсюда раньше поздней ночи: такъ обаятельно дѣйствуютъ страшное оживленіе и веселость севильской толпы.

Черные атласные и бѣлые вѣера, усыпанные блестками или расписанныя изображеніями боя быковъ, шуршатъ и движутся со всѣхъ сторонъ, какъ миріады большихъ пестрыхъ ночныхъ бабочекъ; веселыя восклицанія и затаенный шопотъ, пѣніе фанданго, раздаю-

щееся то тутъ, то тамъ; взгляды, отъ которыхъ захватываетъ дыханіе, милое, полное граціи движеніе головкой, какимъ привѣтствуютъ знакомыхъ на улицѣ, изъ оконъ и балконовъ; акорды гитаръ и смѣхъ въ окнахъ, потопленныхъ мракомъ; языкъ, лица, огненная, полная выраженія мимика,—все это носитъ такую печать оригинальности, дышетъ такъ воодушевленно, такъ полно нѣги, страсти, жизни, что, поневолѣ себя ощупываешь: точно ли живешь посреди всего этого, или такъ только, во снѣ все это видишь?

Возвращаясь домой темными, узенькими, извилистыми переулками, освѣщенными только сверху синей полосой звѣзднаго неба, мы встрѣтили нѣсколько novios съ шляпой, надвинутой на глаза, въ плащѣ и съ гитарой; гитара умолкала, какъ только раздавались наши шаги; насъ предупредили, что лишнее любопытство въ этихъ случаяхъ считается верхомъ невѣжества; зная сверхъ того, что оно не всегда обходится даромъ и не имѣя желанія получить на сонъ грядущій ударъ navaja между ребрами, мы спѣшили пройти мимо.

Здѣсь любовь, кажется, главная цѣль и самое серьезное занятіе въ жизни. Въ Испаніи точно также, какъ въ Сициліи, случалось мнѣ встрѣчать людей, надѣленныхъ природой всѣми возможными дарами; до знакомства съ ними спрашиваешь:

— Кто этотъ господинъ? что онъ дѣлаетъ? служитъ гдѣ-нибудь?

— Нѣтъ.

— Художникъ онъ?

— Нѣтъ.

— Пѣвецъ?

— Нѣтъ.

— Литераторъ?

— Нѣтъ.

— Негоціантъ?

— Нисколько.

— Что же онъ наконецъ?

— Были вы вчера въ театрѣ? спрашиваютъ васъ вмѣсто отвѣта.

— Да.

— Не замѣтили ли вы во второмъ бенуарѣ съ лѣвой стороны хорошенькую женщину въ бѣломъ платьѣ?

— Да.

— Господинъ, о которомъ вы спрашиваете, любитъ ее вотъ скоро уже пять лѣтъ! отвѣчаютъ вамъ также спокойно, какъ еслибъ

дѣло шло объ опредѣленіи самаго серьезнаго занятія, самой блистательной, дѣятельной карьеры.

Онъ любитъ: что же вы еще хотите чтобъ онъ дѣлалъ! Жизнь его достаточно кажется наполнена.

Климатъ, темпераментъ, національный характеръ обусловливаютъ жизнь народа; естественно, что жизнь въ Испаніи должна управляться другими условіями, чѣмъ у насъ. Романтикъ, восторженный мечтатель—у насъ напримѣръ комическіе типы, чуть ли не синонимы школярства, сумасбродства, тупоумія; романтическое направленіе не только осмѣивается въ личностяхъ, его преслѣдуютъ даже въ произведеніяхъ литературы. Теперь только въ Испаніи да еще можетъ быть въ Сициліи романтизмъ и поэзія сохранились не только въ старыхъ романсахъ, но и въ самой жизни. Вы ихъ встрѣчаете здѣсь гуляющихъ по улицамъ такъ же дѣйствительно и свободно, какъ у насъ чиновниковъ, офицеровъ и такъ-называемыхъ дѣловыхъ людей.

Ступайте ночью по Севильѣ, загляните въ любой переулокъ, не въ ту часть его, которая посеребрена луною, но въ другую, гдѣ черная тѣнь домовъ обрисовывается на синемъ небѣ,—вы непремѣнно различите мужскую фигуру, завернутую въ плащъ; широкая шляпа низко надвинута на глаза, правая нога упирается въ ступень или камень, пальцы слегка перебираютъ струны гитары... Идите дальше: подъ сѣнью душистыхъ лимонныхъ деревъ или розовыхъ акацій, окружающихъ площадь, на мраморной скамьѣ, ближайшій уголъ которой охваченъ голубымъ лучемъ мѣсяца, сидятъ мужчина и женщина; затаенный ли любовный лепетъ, вздохи ли несутся оттуда, или то слышится неровный шелестъ фонтана, который какъ призракъ бѣлѣетъ посреди темной площади... Далѣе, изъ кромѣшнаго мрака неожиданно выступитъ patio, освѣщенный цвѣтными бумажными фонарями и алебастровыми лампами, обставленный цвѣтами и зеленью, зеркалами и картинами, съ мраморнымъ фонтаномъ и столами, покрытыми хрусталемъ съ сорбетами и студеной водою; нѣсколько паръ мужчинъ и женщинъ танцуютъ болеро; живой грохотъ кастаньетъ, восклицанія, веселый смѣхъ, бряцаніе гитаръ шумно вырываются на улицу; какимъ огнемъ дышетъ здѣсь каждый взглядъ, каждое движенье! какая простодушная, откровенная веселость, сколько страсти и простой, естественой граціи! Еще далѣе—и снова все окуталось мракомъ, снова окружаетъ васъ мертвая тишина. Но даже и въ тишинѣ здѣсь слышится что-то жиз-

ненное, точно глухо стучитъ чье-то сердце, точно пульсъ бьется ускореннымъ тактомъ. Дѣло въ томъ, что Севилья, даже въ самый поздній часъ ночи, только притворяется спящею; она засыпаетъ только съ зарею. Какъ бы поздно ни было, въ самыхъ глухихъ, отдаленныхъ переулкахъ не перестаетъ бродить таинственный шелестъ, въ которомъ чудятся вамъ то отдаленный лепетъ и вздохи, то мелодическіе акорды гитары... Въ самомъ воздухѣ, напитанномъ запахомъ лимонныхъ и апельсинныхъ деревъ, проносятся словно какія-то жаркія струи, чье-то страстное дыханіе, которое наполняетъ сердце невѣдомыми до того волненіемъ, желаніями, страстью...

И все это, повѣрьте не мечты, не выдумки, а дѣйствительность; каждый кому приводилось быть на югѣ Испаніи, подтвердитъ вамъ, что самъ, лично испытывалъ обаяніе поэтичной жизни, той жизни, которую здѣсь только можно еще встрѣтить.

На другой день меня ни свѣтъ ни заря пробудилъ звонъ колоколовъ: онъ очевидно раздавался не съ колокольни, потому что дребезжалъ подъ самыми моими окнами, къ тому же колоколовъ было слишкомъ много и звукъ ихъ слишкомъ былъ тонокъ и мелокъ. Я поспѣшилъ вскочить съ постели, отдернулъ занавѣску, отворилъ дверь балкона и выглянулъ на площадь.

Заря только-что занималась, разливая по небу нѣжно-розовый свѣтъ, тотъ же свѣтъ наполнялъ площадь, проходилъ по деревьямъ, обрызганнымъ росою, окрашивалъ фонтанъ и мраморныя скамьи. По мостовой, между деревьями и зданіемъ фонды, выступала длинная вереница муловъ, навьюченныхъ глиняными красными кувшинами, въ которыхъ по ночамъ привозятъ снѣгъ съ горъ для дневного потребленья Севильи; подъ шеей каждаго мула болтался длинный мѣдный колоколъ, имѣвшій видъ опрокинутаго бокала. Звяканье колоколовъ, сухой стукъ подковъ по мостовой, возгласы погонщиковъ далеко раздавались по пустыннымъ улицамъ; городъ еще не пробуждался. На мраморныхъ скамьяхъ подъ деревьями лежали въ растяжку и завернувшись въ плащъ какіе-то молодцы, курившіе папиросы; они быть можетъ провели здѣсь ночь, не имѣя другого пріюта, быть можетъ нарочно пришли сюда съ тѣмъ, чтобы встрѣтить первые лучи и погрѣться, tomar el sol, — наслаждаться солнцомъ,—какъ выражаются испанцы.

Какъ бы сильно ни было впечатлѣніе, которое оставляетъ Севилья, — справедливость требуетъ сказать, что городъ собственно играетъ тутъ послѣднюю роль. Испанская поговорка:

Quien no ha visto Sevilla,
No ha visto maravilla,

т. е. кто не видалъ Севильи, тотъ не видалъ чуда, справедлива ровно настолько, насколько относится къ собору, къ національному музею, наполненному драгоцѣннѣйшими картинами севильской школы, къ Алькасару — старому мавританскому дворцу, къ церкви la Caridad, но главное къ собору. Это зданіе не только чудо Испаніи, но чудо Европы. Городъ собственно,—я разумѣю общій видъ домовъ и улицъ, общественныя увеселенья, удобства, окрестности,—не представляетъ ничего особенно поразительнаго. Севилья пересѣчена по всѣмъ направленіямъ тѣсными, извилистыми, узенькими и очень дурно вымощенными улицами. По нимъ круглый день, поминутно скользя и спотыкаясь, проходятъ только вереницы муловъ; рѣдкая изъ нихъ такъ широка, чтобы свободно могла проѣхать карета; поэтому ли, или по другой причинѣ, экипажей здѣсь почти невидно; ѣздятъ только за городъ. По большей части всѣ ходятъ пѣшкомъ; шумная, живая толпа постоянно толкается посреди мостовой. Дома рѣдко превышаютъ два этажа, ихъ акуратно бѣлятъ два или три раза въ годъ; городъ, какъ вообще всѣ испанскіе города, гдѣ мы были,—смотритъ очень чисто. Но известь и штукатурка, проходя одинаково по всѣмъ зданіямъ, отымаетъ у физіономіи города ту живописность, которую вправѣ ожидать каждый, особенно отъ старой Севильи: штукатурка и мѣлъ, кромѣ того что нестерпимо ослѣпляютъ глаза, окончательно затерли и замазали лѣпные мавританскіе узоры, слѣды которыхъ и теперь еще кое-гдѣ выступаютъ надъ старыми воротами и по стѣнамъ домовъ частныхъ обывателей; благодаря штукатуркѣ, окончательно сгладилась скульптурная рѣзьба изъ камня и дерева, исчезла живопись, которой такъ недавно еще украшались фасады богатыхъ домовъ.

Съ Хиральды, на которую мы поднялись (съ этого начали мы первыя наши похожденія въ Севильѣ), городъ открывается какъ на ладони: онъ лежитъ посреди совершенно плоской, обожженной солнцемъ равнины, которая уходитъ съ одной стороны къ подножію Сіеры-Морены, съ другой пропадаетъ въ золотистомъ, знойномъ просторѣ, кой-гдѣ оживленномъ прихотливыми изгибами Гвадалквивира. Панорама Севильи и ея окрестностей,—даже при всей готовности моей повергнуться въ прахъ передъ нею, — не произвела на меня ожидаемаго эффекта; въ грандіозномъ отношеніи, я ничего не знаю лучше вида Кадикса съ высоты его соборной колокольни.

Не знаю также, что̀ сказать вамъ о столь прославленной Хиральдѣ. Издали, на меня по крайней мѣрѣ, сдѣлала она гораздо больше впечатлѣнія; кромѣ того, что воображеніе настроено было столько лѣтъ въ ея пользу, она дѣйствительно очень граціозно рисуется надъ общей массою города и невольно привлекаетъ глазъ розовымъ своимъ колеромъ. Вблизи это ничего больше какъ огромная четырехугольная кирпичная башня, сохранившая блѣдные слѣды арабскихъ лѣпныхъ украшеній вокругъ крошечныхъ рѣдкихъ оконъ, имѣвшихъ видъ бойницъ. Свѣдѣнія о томъ, что выстроена она около 1000 года мавританскимъ архитекторомъ аль-Геберомъ, изобрѣтателемъ будто бы алгебры; что верхніе три яруса, окруженные мраморными галлереями, съ крышей, увѣнчанной колоссальной бронзовой статуей вѣры,—воздвигнуты гораздо позже, испанскимъ архитекторомъ Францискомъ Руисъ,—интересны для археолога, для историка; художественному чувству до нихъ все равно; оно нимало этимъ не подкупается, потому что понимаетъ и чувствуетъ только наглядныя, непосредственныя наслажденья.

Самое замѣчательное, по моему, въ Хиральдѣ, это ея лѣстница; она винтообразно обходитъ снизу вверхъ всю внутренность башни; ступенекъ нѣтъ, она идетъ en pente douce и такъ широка, что два человѣка верхомъ свободно могутъ взобраться до перваго надстроеннаго яруса, гдѣ привѣшены колокола; освѣщается она тѣми маленькими окнами, которыя видны снаружи.

Впрочемъ, при входѣ на Хиральду, послѣ перваго бѣглаго взгляда, все вниманіе исключительно отдаешь собору; онъ почти примыкаетъ къ Хиральдѣ, которая служитъ ему колокольней.

Сверху онъ представляется цѣлымъ кварталомъ сѣрыхъ каменныхъ зданій, соединенныхъ въ одно цѣлое. Сначала глазамъ не вѣришь, что всѣ эти террасы, окруженныя каменными балясинами и идущія одна за другою, что это безчисленное множество верхушекъ, сводовъ и каменныхъ куполовъ, что весь этотъ лѣсъ башенъ, готическихъ стрѣлокъ, контрфорсовъ—принадлежитъ одному строенію.

Размѣры собора еще болѣе увеличиваются, когда сойдешь внизъ и начнешь оглядывать его у основанія. Въ наружности его нѣтъ и не могло быть одинаковаго обще-характернаго стиля. Онъ начатъ еще арабами; главная часть мечети и теперь совершенно цѣла; она выходитъ на дворъ de los Naranjeros, сохранившій прежнее свое назначеніе сада; цѣлъ даже фонтанъ, гдѣ мусульмане совершали омовеніе; дворъ обсаженъ громадными апельсинными деревьями; они,

говорятъ, посажены еще арабами. Въ четырнадцатомъ столѣтіи къ мечети, обращенной въ церковь, начали пристраивать новый храмъ. Соборный причетъ, владѣвшій тогда несмѣтными сокровищами, принесъ въ жертву на постройку его всѣ свои доходы, оставя для себя только необходимое. Такъ опредѣлено было по обѣщанію. Основаніемъ плану служила такая мысль: „построить храмъ, какого еще не было на землѣ христіанской, которому бы міръ удивился!“ Надо сказать,—цѣль была вполнѣ достигнута. Для выполненія ея конечно много способствовали громадныя средства; но сравнительно съ тѣмъ, что осуществилось, средствъ однихъ было мало; къ такому результату могло только привести религіозное, фанатическое увлеченіе, которое тогда вдохновляло каждое отдѣльное лицо и управляло всѣмъ обществомъ. Съ постепеннымъ ослабленіемъ религіознаго чувства въ Испаніи, постройка собора замедлялась и наконецъ вовсе остановилась; теперь, по всей вѣроятности, онъ уже никогда не кончится.

Приподнявъ кожаный фартукъ, которымъ завѣшиваются здѣсь церковныя двери, и войдя во внутренность собора, человѣкъ, кто бы онъ ни былъ, чувствуетъ себя приплюснутымъ, уничтоженнымъ, превращеннымъ въ муху.

Пять длинныхъ стрѣльчатыхъ сводовъ чистѣйшаго стиля первой эпохи готики, скрещиваясь между собою, составляютъ потолокъ; его поддерживаютъ ряды колоннъ, которыя у капителей кажутся тоненькими, между тѣмъ какъ у основанія онѣ толщиною съ башню; средній сводъ высоты необъятной: подъ нимъ свободно могла бы умѣститься Ивановская колокольня; по всей окружности собора, вдоль внутреннихъ стѣнъ, идутъ счетомъ восемьдесятъ придѣловъ и отдѣльныхъ часовенъ; многіе изъ нихъ могутъ служить большими церквями; въ общей громадѣ размѣровъ ихъ почти не замѣчаешь. Все это строилось отдѣльными лицами или семействами изъ поколѣнія въ поколѣніе и строилось со времени основанія собора до конца прошлаго столѣтія. Тутъ можете вы прослѣдить всевозможные стили архитектуры, отъ строгаго готическаго до напыщеннаго рококо, который, попавъ подъ руку испанскимъ художникамъ, превзошелъ богатствомъ орнаментаціи и фантазіей всѣ границы самаго необузданнаго воображенія. Скульптурныя изображенія сценъ изъ ветхаго и новаго завѣта и святыхъ изъ бронзы, кости, серебра, мрамора и дерева; рѣзьба изъ всевозможныхъ камней и деревъ; колонны, карнизы и фронтоны изъ порфира, яшмы, хрусталя, мрамора и обожженной росписной глины; мозаика и рѣдкія картины,—украшаютъ

безчисленныя ниши и выступы этихъ придѣловъ; престолы ихъ уставлены кромѣ того распятіями, маленькими статуйками, драгоцѣнными подсвѣчниками, складнями, дарохранильницами, цвѣтами въ вазахъ самой тонкой, художественной работы. Стѣны между этими отдѣльными часовнями украшены статуями, барельефами и картинами первокласнѣйшихъ живописцевъ и скульпторовъ Испаніи; тутъ между прочимъ и знаменитый св. Антоній Падуанскій Мурильо,— картина, которую многіе считаютъ лучшимъ его произведеніемъ.

Но желаніе дать объ всемъ этомъ хотя даже приблизительное понятіе, было бы безуміемъ. Бывая здѣсь каждый день впродолженіе круглаго года, все таки невозможно все высмотрѣть. Умъ теряется, голова идетъ кругомъ при одномъ воспоминаніи такого страшнаго изобилія чудесъ искусства; они разсыпаны здѣсь съ тою невѣроятною щедростью, о которой могутъ дать понятіе однѣ развѣ церкви Италіи и Сициліи.

Соборъ освѣщается восьмидесятью тремя окнами, расписанными сюжетами изъ священнаго писанія; живопись принадлежитъ лучшей эпохѣ процвѣтанія живописи на стеклѣ; оригиналами служили рисунки первыхъ итальянскихъ, нѣмецкихъ и испанскихъ мастеровъ времени возрожденія. Такъ какъ окна расположены на значительной высотѣ и обходятъ вокругъ внутреннія стѣны,—солнце освѣщаетъ ихъ попеременно, проходя свой дневной кругъ. Въ какое время ни войдешь въ соборъ, лучи солнца, пронизывая съ той или другой стороны окна и окрашиваясь яркими цвѣтами, спускаются радужными полосами въ сумрачный полусвѣтъ величаваго зданія; изламываясь на прихотливыхъ, мелкихъ граняхъ колоннъ, проходя сквозь облака ладона, закрадываясь въ глубокіе, смуглые барельефы и завитки изъ дерева, захватывая мѣстами мозаику и позолоту,—бросая пестрыя пятна на каменныя плиты пола съ изображеніемъ гербовъ и надписей, на живописныя группы преклоненныхъ молельщиковъ,— лучи эти дополняютъ магическій эффектъ собора, невольно приводятъ самаго равнодушнаго зрителя къ ощущенію чего-то близкаго экстазу.

На мои глаза, главное чудо этого общаго чуда—это иконостасъ (retablo) и хоръ, — мѣсто, гдѣ органъ и куда во время службы собирается причетъ для пѣнія псалмовъ и молитвъ. Они расположены другъ противъ друга и занимаютъ середину главнаго свода.

Retablo отгороженъ высокой бронзовой рѣшоткой во вкусѣ богатѣйшаго renaissance: за нею, во всю ширину свода, отъ колоннъ

до колоннъ идутъ мраморныя ступени, оканчивающіяся площадкой; тутъ главный престолъ. Глаза ослѣпляются звѣздами изъ драгоцѣнныхъ камней, мерцаніемъ огней сотенъ паникадилъ, блескомъ налоевъ, шитыхъ жемчугомъ и золотомъ, богатствомъ утвари, столько же драгоцѣнной по работѣ, сколько по цѣнности. За престоломъ, все пространство между колонами замыкается иконостасомъ, который въ вышину равняется высотѣ свода. Онъ весь изъ дерева; ряды барельефовъ идутъ одинъ за другимъ; о числѣ ихъ можете судить уже потому, что на retablo изображенъ весь ветхій и новый завѣтъ; каждый барельефъ обрамленъ широкой—деревянной рѣзной каймою, изрытой какъ медовый сотъ, покрытый херувимчиками, фигурами, ангелами, святыми; все это путается съ листьями, плодами, орнаментами, фантастическими химерами; страшное богатство воображенія озадачиваетъ не менѣе, чѣмъ самое выполненіе: каждый узоръ рѣзца показываетъ сознательнаго, сильнаго мастера; ничтожнѣйшая мелочь пройдена съ любовью, а между тѣмъ все бойко, смѣло, свободно отъ рутины, дышетъ чѣмъ-то индивидуальнымъ, проникнуто огнемъ истиннаго вдохновенья. Барельефы, въ которыхъ фигуры вышиною около аршина, выполнены чуть ли еще не съ бо̀льшимъ мастерствомъ.

Хоръ точно также весь деревянный. Вы входите въ замкнутое пространство, открытое только сверху; оно вокругъ исполосовано высокими монументальными сѣдалищами, усыпанными изящнѣйшей рѣзьбою; все, что только могла придумать готика, все что присоединило къ ней потомъ пламенное воображеніе испанскихъ художниковъ, является здѣсь въ самомъ полномъ, самомъ пышномъ видѣ. Толстые томы гравюръ, десятки тысячъ фотографій, цѣлыя коллекціи гипсовыхъ слѣпковъ конечно не передадутъ вполнѣ невѣроятное изобиліе этихъ деталей, которыя при безконечномъ разнообразіи формъ сливаются все-таки въ одно гармоническое, очаровательное цѣлое.

Глядя на такія работы, невольно падаешь духомъ, когда мысленно перенесешься къ тому, что теперь производится въ томъ же родѣ...

Искусство рѣзьбы изъ дерева, не мѣшаетъ замѣтить, неотъемлемо принадлежитъ Испаніи; оно процвѣтало здѣсь съ незапамятныхъ временъ и вѣроятно перешло съ испанцами во Фландрію. Въ рѣдкой деревенской церкви не встрѣчаются здѣсь хорошіе образчики скульптуры изъ дерева. Лучшіе художники, Берругуетъ, ученикъ Микель-Анжело и основатель мадридской школы Бехѐра, Алонзо-Кано и дру-

гіе не пренебрегали деревомъ; изъ такого рода произведеній нерѣдко встрѣчаются здѣсь истинные chefs-d'œuvre.

Надъ хорами возвышается одинъ изъ самыхъ большихъ католическихъ органовъ; трубы его, толстыя какъ колонны, украшены также деревянной рѣзьбою. Въ хорѣ участвують болѣе ста-пятидесяти человѣкъ, не считая сотни дѣтей, которыя подтягиваютъ дискантомъ, занимаясь въ то же время перелистываньемъ пудовыхъ нотныхъ книгъ, воздвигнутыхъ на вертящихся скульптурныхъ налояхъ.

Случалось, въ это самое время войдешь въ соборъ: человѣческіе голоса и звуки органа теряются въ отдаленьи; прислушиваешься— точно поютъ нѣсколько серафимовъ, которые спрятались гдѣ-нибудь подъ завиткомъ или гранью, въ неизмѣримой вышинѣ главнаго свода.

Между хоромъ и retablo возвышается бронзовый подсвѣчникъ; его примешь сначала за памятникъ, поставленный надъ могилой какого-нибудь важнаго прелата; онъ служитъ поддержкою восковой свѣчки, въ которой двѣ тысячи пятьдесятъ фунтовъ вѣсу: это цѣлая мачта! Въ годъ сожигается въ соборѣ двадцать тысячъ фунтовъ воску и столько же фунтовъ масла; краснаго вина на совершеніе тайны причащенія выходитъ до восемнадцати тысячъ литровъ: всякій день въ восьмидесяти придѣлахъ происходитъ до пятисотъ службъ. Поэтому предоставляю вамъ сдѣлать окончательный выводъ о размѣрахъ севильскаго собора. Размѣрамъ этимъ, надо замѣтить, отвѣчаетъ богатство сокровищъ, которыя намъ показывали въ ризницѣ: здѣсь буквально нагромождены горы золота, серебра, жемчуга и драгоцѣнныхъ камней; мы видѣли между прочимъ огромныя часовни и модели храмовъ, изъ золота и серебра; ихъ выносятъ иногда во время церковныхъ процессій; одна изъ нихъ помѣщается на особыхъ парадныхъ носилкахъ, которыя могутъ поднять не менѣе сорока человѣкъ. Рѣзные шкафы, обступающіе кругомъ стѣны ризницы, биткомъ набиты драгоцѣнною утварью и ризами, которымъ цѣны нѣтъ. Словомъ, описать соборъ и все, что въ немъ заключается, невозможно; повторяю вамъ: при одномъ воспоминаніи голова идетъ кругомъ и мысли путаются!

Чтобы разомъ кончить съ архитектурой и художествами, попрошу васъ на минуту въ бывшую монастырскую церковь de la Caridad; монастырь превращенъ теперь въ городскую больницу. Уже причина, которой церковь обязана своимъ существованіемъ, сама по себѣ интересна: ее выстроилъ—кто бы вы думали?—выстро-

илъ ее донъ-Хуанъ де-Марана,—тотъ самый донъ-Хуанъ, который справедливо или нѣтъ пользуется нѣсколько столѣтій извѣстностью перваго волокиты, гуляки, развратника и безбожника. Вотъ что разсказываетъ о немъ легенда по поводу церкви la Caridad: разъ ночью донъ-Хуанъ возвращался съ пирушки въ самомъ веселомъ настроеніи духа; на поворотѣ въ темную улицу, слухъ его былъ пораженъ унылымъ, протяжнымъ пѣніемъ; онъ остановился, голоса приближались. Вскорѣ изъ-за угла показалась погребальная процессія; впереди шли въ два ряда монахи съ зажженными свѣчами, освѣщавшими ихъ коричневые капоры, съ дырами прорѣзанными для глазъ; позади несли покойника — „Кого хоронятъ?“ спросилъ донъ-Хуанъ.—„Донъ-Хуана де-Марана!“ гробовымъ голосомъ отозвались монахи. Такой отвѣтъ нѣсколько озадачилъ гуляку, онъ подошелъ еще ближе и повторилъ свой вопросъ.—„Хоронимъ донъ-Хуана, повторили въ свою очередь монахи:—послѣдуйте за нами, почтенный caballero, помолитесь за упокой грѣшной души его!...“ Донъ-Хуанъ взглянулъ въ лицо покойника; такъ какъ въ Испаніи покойниковъ носятъ съ открытымъ лицомъ, донъ-Хуану легко было убѣдиться, что покойникъ дѣйствительно былъ никто другой, какъ его собственная особа. „Странно!“ подумалъ отрезвившійся волокита. Не произнеся ни слова, онъ присоединился къ шествію и пошелъ въ церковь; тутъ присутствовалъ онъ при отпѣваніи и погребеніи самого себя. На другой день его нашли лежащаго въ обморокѣ на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ происходила погребальная церемонія. Это обстоятельство такъ сильно подѣйствовало на донъ-Хуана, что онъ вполнѣ раскаялся, постригся въ монахи и пожертвовалъ все свое состояніе на постройку церкви, теперешней de la Caridad.

Церковь великолѣпна; тутъ во всей своей ослѣпительной роскоши является соединеніе всѣхъ возможныхъ мотивовъ итальянскаго renaissance съ французскимъ рококо,—стиля, который особенно часто украшаетъ храмы Испаніи; его зовутъ здѣсь plateresco; бѣлыя стѣны храма на половину исчезаютъ подъ позолотою орнаментовъ. Здѣсь находятся двѣ знаменитыя картины Мурильо: умноженіе хлѣбовъ и Моисей, исторгающій воду изъ скалы. Хотя картины эти по величинѣ чуть ли не самыя большія произведенія художника (во второй восемнадцать фигуръ въ натуру), но обѣ повѣшены такъ высоко, что вполнѣ насладиться ими можно только съ помощью бинокля. Въ той-же церкви у входа видѣлъ я странную картину Хуана-Вальдеса: изъ темнаго фона выступаютъ на

первый планъ два трупа, лежащіе одинъ противъ другого; они въ состояніи полнаго гніенія; кожа мѣстами раздулась и позеленѣла, мѣстами треснула, сползла и пропускаетъ миріады бѣлыхъ червей съ красными головками; одинъ трупъ въ порфирѣ и коронѣ; другой въ тіарѣ и парадномъ папскомъ облаченіи; у ногъ ихъ навалены въ безпорядкѣ скипетръ, регаліи, короны, груды золота; знаки земного отличія поставлены здѣсь въ контрастъ неизбѣжному отвратительному жизненному концу, который всѣхъ уравниваетъ.

Нельзя кажется придумать менѣе симпатическаго сюжета; прибавьте еще къ тому страшную пластическую правду выполненія. Но живопись такое многостороннее искусство, что даетъ долю эстетическаго наслажденья уже тогда, когда хотя одно изъ его условій превосходно выполнено; письмо Хуана Вальдеса такъ великолѣпно, исполнено такого вкуса, такой жизненности, что независимо отъ сюжета, противъ воли все-таки не отрываешься отъ картины.

Не могу утерпѣть, чтобы не упомянуть о колоссальномъ деревянномъ барельефѣ, который поставленъ здѣсь вмѣсто запрестольнаго образа. Девять фигуръ въ ростъ окружаютъ Спасителя, только-что снятаго съ креста. Вы представить собѣ не можете, какая поражающая сила въ выраженіи лицъ: слѣды страданій, начертанные не только въ лицѣ Христа, но въ сжатыхъ мускулахъ его тѣла, даже на самой кожѣ, мѣстами висящей лохмотьями: все это однакожъ, по мнѣнію художника, было слишкомъ еще слабо для полноты впечатлѣнія; онъ расписалъ барельефъ красками, и такъ натурально, что, готовъ побожиться, видишь передъ собою живыхъ людей. Такихъ скульптурныхъ произведеній много въ церкви la Caridad. Намъ показывали деревянную статую Спасителя, изображеннаго въ ту минуту, какъ онъ привязанъ къ позорному столбу; глядя на эту статую, также расписанную, невольно замираетъ сердце и духъ захватываетъ; Христосъ стоитъ совершенно какъ живой; кожа виситъ клочьями, обнажая мѣстами кости колѣнъ и ребра; кровь льется ручьями по лицу и одеждѣ; стекла рубиноваго цвѣта вставлены тамъ, гдѣ кровь запеклась или остановилась въ видѣ капли; помутившіеся глаза, которымъ художникъ далъ выраженье страданья, какого ввѣкъ не забудешь, — сдѣланы для большей вѣрности изъ цвѣтной эмали; они смотрятъ изъ-подъ темныхъ впадинъ, осыпанныхъ прядями натуральныхъ волосъ: волоса въ свою очередь вырываются изъ-подъ настоящаго терноваго вѣнца...

Такія изображенія на каждомъ шагу попадаются въ Испаніи.

Здѣсь реализмъ въ искусствѣ дошелъ до крайнихъ своихъ предѣловъ. Стремленіе къ натуральному, все равно въ какомъ бы отвратительномъ видѣ оно ни представлялось, составляетъ одну изъ самыхъ характерныхъ чертъ испанскаго художества. Кроткій идеалъ, вдохновлявшій итальянскихъ живописцевъ и скульпторовъ XV, XVI вѣка, проникалъ сюда, но повидимому въ то время никого не увлекъ, никого не тронулъ; не того искало пламенное, необузданное воображеніе испанца; разжигаемое безуміемъ религіознаго фанатизма, оно могло находить удовлетвореніе только въ потрясающихъ эффектахъ, въ такихъ произведеніяхъ искусства, которыя не только льстили, но, если можно, усиливали бы въ немъ фанатическое настроеніе духа. Художникамъ легко было достигнуть такой цѣли; они стремились къ ней столько же по собственному чувству, сколько вслѣдствіе направленія, даннаго искусству духовной инквизиціей; она находила свою выгоду поддерживать фанатизмъ: это было удобнѣйшее средство управлять народомъ по своему произволу.

Послѣ картинъ, имѣющихъ предметомъ пытки, истязанія монаховъ, забивающихъ себя до смерти камнемъ въ грудь и т. д., съ бо́льшимъ еще умиленіемъ останавливаешься и отдыхаешь сердцемъ передъ головками мадоннъ и ангеловъ Мурильо. Глядя на нихъ, не ощущаешь того тяжелаго гнета, который невольно ложится на душу передъ мрачными картинами большей части его соотечественниковъ. Въ религіозныхъ произведеніяхъ Мурильо грозная, ужасающая сторона религіи замѣнена сердечной, человѣческой, любящей, которая собственно составляетъ главный смыслъ христіанскаго ученія. Доброта, кротость, милосердіе были идеалами Мурильо; такими чувствами, по крайней мѣрѣ, проникнуты всѣ лица его картинъ священнаго содержанія; не потому ли онѣ такъ намъ и симпатичны, что самый идеалъ художника всѣмъ доступнѣе?..

Бѣда да и только! Эта Севилья заключаетъ въ себѣ такое изобиліе художественныхъ сокровищъ, что право не знаешь, на что рѣшиться: упомянуть ли только о самомъ значительномъ, или ужъ лучше сряду пропустить все художественное, такъ какъ дѣло здѣсь собственно въ бѣгломъ очеркѣ путевыхъ впечатлѣній? Послѣднее по-моему благоразумнѣе. Съ другой стороны на каждомъ шагу встрѣчаются здѣсь такія рѣдкости, что право совѣстно какъ-то пройти ихъ молчаніемъ. Можно ли напримѣръ слова не сказать объ Алькасарѣ, мавританскомъ дворцѣ, недавно еще возобновленномъ стараніями герцога Монпансье?.. Рѣшаюсь однакожъ умолчать о немъ, хотя

бы даже изъ чувства уваженія къ нему же самому. Тутъ цѣлыми страницами ничего не скажешь, не передашь даже приблизительнаго понятія читателю, незнакомому напримѣръ вовсе съ архитектурою арабовъ. Читатель, не бывшій въ Испаніи, но интересовавшійся когда-нибудь ея арабскими памятниками, по всей вѣроятности давно уже перечелъ все, что говорится о нихъ въ книгахъ Віардо, Боткина, Готье и другихъ, болѣе спеціальныхъ сочиненіяхъ. Къ тѣмъ же источникамъ пусть обратятся всѣ тѣ, кого особенно занимаетъ національный музей Севильи (el museo provincial, какъ сказано въ каталогѣ). Исторію испанской живописи, точно также какъ біографію художниковъ, найдете вы у Рачинскаго и Віардо; Боткинъ такъ прекрасно опредѣлилъ поэзію мурильевской живописи, такъ вѣрно и тонко объясняетъ его стиль и манеру, что пришлось бы только повторять его слова, говоря о великомъ живописцѣ.

Музей самъ по себѣ какъ архитектурное зданіе, а также и въ отношеніи внутренняго декоративнаго устройства, не заслуживаетъ особеннаго вниманія. Снаружи мрачныя, старинныя стѣны. Здѣсь весь интересъ и роскошь сосредоточиваются въ картинахъ. Такъ напримѣръ вы входите въ длинную, большую залу съ темнымъ, закоптѣлымъ потолкомъ и паутинами во всѣхъ углахъ; стекла огромнаго итальянскаго окна въ глубинѣ очевидно немыты съ того дня, какъ зданіе перестало быть монастыремъ; полъ выстланъ кирпичемъ, весь потрескался и покрытъ пылью; но въ этой залѣ счетомъ девятнадцать запрестольныхъ картинъ Мурильо *). Можете судить, что могло бы ожидать здѣсь зрителя, еслибъ картины эти были хорошо освѣщены и обставлены болѣе достойнымъ образомъ! По-моему перлъ этого драгоцѣннаго собранія—св. Феликсъ, подносящій Христа-младенца Богородицѣ. Не знаю, чтобы кисть Мурильо произвела что-нибудь совершеннѣе; здѣсь полотно, краски, словомъ матеріальныя части живописнаго искусства окончательно какъ бы

*) 1. Богородица и преклоненный передъ нею св. Августинъ.
2. Зачатіе пресвятой Дѣвы (въ томъ же родѣ какъ у насъ въ эрмитажѣ).
3. Св. Леандръ и Бонавентура
4. Рождество Спасителя.
5. Св. Филиппъ (de Cantalicio), подносящій Христа-младенца Богородицѣ.
6 Св. Ѳома (de Villanueva), раздающій милостыню нищимъ.
7 Св. Юста и св. Руфина, поддерживающія модель Хиральды.
8. Св. Антоній падуанскій и Христосъ-младенецъ, являющійся на библіи.

исчезли; передъ вами открывается воздушное, квадратное пространство, въ которомъ клубятся легкія облака, насквозь проникнутыя свѣтомъ; слѣва, въ бѣлой, развѣвающейся одеждѣ тихо спускается Богородица; прелестное, кроткое лицо ея освѣщается невидимыми небесными лучами; справа, внизу, на едва примѣтномъ клочкѣ земли, стоитъ на колѣняхъ святой; лицо его, опрокинутое назадъ, исполнено восторженнаго умиленья; вся душа перешла кажется въ полные сладкихъ слезъ глаза, устремленные къ дивному видѣнію; руки его, простертыя впередъ, покрыты бѣлымъ покровомъ; на немъ спящій Христосъ младенецъ. Картина особенно тѣмъ еще замѣчательна, что въ ней кромѣ поэзіи и прелести выраженья, еще менѣе выказывается условнаго, чѣмъ въ другихъ произведеніяхъ Мурильо; она очевидно написана въ минуты самаго горячаго вдохновенья. Сюжетъ, взятый вѣроятно изъ мѣстной легенды и нимало не трогающій современнаго зрителя подтверждаетъ только то, что мы сказали по поводу картины Хуана-Вальдеса; въ живописи, болѣе чѣмъ въ другомъ пластическомъ искусствѣ, главное дѣло не столько въ содержаніи, сколько въ поэтическомъ чувствѣ художника и потомъ въ совершенствѣ техническихъ условій.

Но чудеса искусства сами по себѣ; какъ бы велика ни была жадность къ картинамъ, статуямъ и вообще предметамъ художества, является наконецъ минута пресыщенья; нервы утомляются, падаютъ и требуютъ отдохновенія. Но даже и мимо искусствъ нѣтъ города, гдѣ бы время проходило такъ пріятно, какъ въ Севильѣ. Не знаю, въ какой степени развита въ ней общественная жизнь и насколько удовлетворяется ею постоянный житель; но путешественникъ, который пріѣзжаетъ сюда на три-четыре недѣли, который радъ уже если можетъ познакомиться съ внѣшней обстановкой, у котораго нѣтъ времени подсмотрѣть изнанку и тѣмъ самымъ, можетъ быть, испортить свѣжесть первыхъ впечатлѣній, — такой путешественникъ

9. Зачатіе пресв. Дѣвы; надъ нею Богъ-отецъ и сонмъ ангеловъ
10. Тотъ же сюжетъ.
11. Благовѣщеніе.
12. Христосъ на крестѣ и св. Францискъ.
13. Св. Феликсъ (de Cantalicio); поясная фигура съ Христомъ-младенцемъ на рукахъ.
14. Св. Іоаннъ-креститель.
15. Богородица съ Христомъ-младенцемъ.
16. Тотъ же сюжетъ.
17. Ангелъ. поддерживающій тѣло Христове.
18. Богородица съ Христомъ младенцемъ на рукахъ.
19. Іосифъ съ Христомъ-младенцемъ на рукахъ.

ни въ какомъ случаѣ не соскучится въ Севильѣ. Мы прожили тамъ по крайней мѣрѣ такъ пріятно, какъ ни въ какомъ другомъ городѣ Европы.

Утро начиналось всегда съ того, что отправишься бродить по городу безъ цѣли, куда глаза глядятъ; зайдешь обыкновенно въ соборъ, Алькасаръ, музей la Caridad или другую церковь; часто, сюда привлечетъ не столько чувство изящнаго, сколько попросту желаніе отдохнуть. Я уже сказалъ, что Севилья, какъ городъ, не представляетъ ничего особенно великолѣпнаго, а между тѣмъ нигдѣ не фланируешь съ такимъ наслажденіемъ. Любопытство постоянно на-сторожѣ, ни на секунду не усыпляется; на всемъ здѣсь такая печать своеобразности, такъ все непохоже на Европу, и вмѣстѣ съ тѣмъ, благодаря солнцу и небу, благодаря инстинктивному чувству изящнаго, свойственному южнымъ народамъ,—все является здѣсь въ такомъ картинномъ, живописномъ видѣ, что самое фланерство получаетъ свой процентъ эстетическаго наслажденія.

По цѣлымъ часамъ засматриваешься иногда въ голубую тѣнь, падающую отъ старой стѣны, гдѣ толпа смуглыхъ, кудрявыхъ, черномазыхъ muchachos (мальчишекъ) скачутъ и возятся какъ чертенята, играя въ toros. Взявшій на себя роль быка подражаетъ съ необыкновеннымъ искусствомъ всѣмъ пріемамъ и движеніямъ разъяреннаго животнаго; другіе, кто сидя верхомъ на палочкѣ, кто съ клочкомъ бумаги или листомъ лопуха въ рукѣ, прыгаютъ вокругъ, представляя пикадоровъ и banderillos. Наконецъ, подбоченясь съ комическою важностью, выступаетъ матадоръ; бычокъ бросается впередъ, и въ ту же секунду падаетъ къ ногамъ матадора при громкихъ возгласахъ всѣхъ остальныхъ ребятишекъ; нерѣдко къ тоненькому голоску дѣтей присоединяется богатырскій басъ взрослаго человѣка: проходя мимо, онъ не могъ не остановиться, а подконецъ и самъ увлекся. Мѣстами поднятый коверъ наружной двери позволяетъ любоваться patio съ его милой, граціозной обстановкой: цвѣтами, фонтаномъ и женщинами, играющими вѣеромъ. Мѣстами вниманіе останавливается на группѣ нищихъ; выразительность лицъ, позы, живописность лохмотьевъ, охваченныхъ яркими переливами солнца и тѣни, объясняютъ, отчего даже идеальный Мурильо не могъ противиться обольщенію и бралъ иногда нищихъ оригиналомъ для своихъ картинъ.

Иногда отправлялись мы въ отдаленнѣйшія части города, заходили въ Тріану,—кварталъ, слывшій когда-то самымъ опаснымъ

угломъ чуть ли не всей Андалузіи. Населеніе Тріаны, состоявшее преимущественно изъ цыганъ (gitanos), наполнялось еще людьми самаго сомнительнаго промысла. Теперь Тріана интересна только по воспоминаніямъ; на улицахъ ея, лишенныхъ мостовой, взбудораженныхъ точно послѣ землетрясенія и обставленныхъ жалкими низенькими мазанками, поросшими репейникомъ и алоэ, изрѣдка развѣ встрѣтишь оборванное цыганское семейство, которое варитъ что-то въ котелкѣ у входа въ жилище. Къ уничтоженію опаснаго населенія Тріаны, нимало однакожъ не содѣйствовало правительство; оно здѣсь не настолько заботливо и предусмотрительно. Какъ мы ни разспрашивали, никто не могъ сказать, отчего Тріана годъ отъ году пустѣетъ.

Гвадалквивиръ отдѣляетъ предмѣстье отъ города; чтобы снова попасть въ Севилью, надо перейти каменный мостъ и миновать большую площадь; ее замыкаютъ справа набережная и городская стѣна; слѣва площадь открывается на Кампанію, въ которой величаво рисуются арки римскаго водопровода. Площадь эта съ утра до вечера, не выключая часовъ сіесты, постоянно полна народомъ; здѣсь торгуютъ съѣстными припасами и тѣми мелкими обиходными предметами, которые составляютъ потребность простого класса; здѣсь также продаютъ и пробуютъ лошадей, ословъ и муловъ; посреди шумнаго, непонятнаго говора, не разъ приходилось слышать знакомыя слова цыганскаго языка, которыя удавалось прежде слышать въ Зарайскѣ или Серпуховѣ. Громадныя досчатыя телѣги съ сѣномъ и запряженныя парою воловъ, длинныя цѣпи разукрашенныхъ муловъ съ перекидными плетеными корзинами, наполненными овощами, арбузами, виноградомъ, гранатами и кувшинами; гурты гусей и синихъ свиней, собаки и лошади,—все это снуетъ и движется въ страшномъ безпорядкѣ посреди толпы, которая, повидимому, нимало этимъ не стѣсняется. Тутъ можно увидѣть костюмы всѣхъ провинцій Андалузіи и Каталоніи. Не знаешь куда дѣваться отъ суеты и гаму, отъ оборванныхъ muchachos, которые кричатъ надъ самымъ ухомъ: „Fuego! fuego!“ предлагая огонь въ мѣдныхъ тазахъ съ угольями; отъ продавцовъ воды, которые тутъ же голосятъ во всю силу легкихъ: „Agua! agua gelato! Quien quiere agua fresquita!“

При всей своей безпорядочной суетѣ, толпа эта, надо замѣтить, ведетъ себя необыкновенно прилично; причина того трезвость и еще та вынужденная осторожность и учтивость въ обращеніи другъ съ другомъ, о которой я говорилъ выше. О кабакахъ здѣсь нѣтъ по-

мину; ихъ замѣняютъ такъ называемые refrescos, лавочки, гдѣ за самую ничтожную плату можно получить порцію снѣга съ лимоннымъ сокомъ или стаканъ холодной воды, въ которой для вкуса опускается кусокъ отвердѣлой сахарной пѣны, весьма схожей съ нашими кондитерскими безе. Во всю мою бытность въ Испаніи разъ только случилось видѣть пьянаго; толпа muchachos, взрослыхъ мужчинъ и женщинъ, шла за нимъ, сопровождая каждый его шагъ свистомъ и насмѣшками, изъ оконъ высовывались головы любопытныхъ; при видѣ пьянаго, мужчины начинали свистать и лаять по собачьему.

Фланерство наше, надо правду сказать, не всегда однакожъ было безъ цѣли; мы только почему-то тщательно иногда скрывали ее другъ отъ друга. Случалось напримѣръ, что каждый изъ насъ выразитъ желаніе отдѣлиться отъ общества и идти самъ по себѣ; прекрасно, всѣ соглашаются, разойдутся въ разныя стороны и потомъ, часъ спустя, смотришь—всѣ сошлись пожалуй хоть бы въ дверяхъ сигарной фабрики. Сигарныя фабрики чаще другихъ мѣстъ Севильи служили пунктомъ такихъ неожиданныхъ столкновеній. Дѣло въ томъ, что здѣсь, въ одной залѣ, работаетъ до пятисотъ молоденькихъ дѣвушекъ; изъ нихъ бездна хорошенькихъ; все это поетъ, болтаетъ, смѣется и куритъ; онѣ курятъ сколько хотятъ, съ тѣмъ, чтобы не уносить табаку изъ фабрики. Cigarera совершенно особенный типъ; онъ соотвѣтствуетъ прежнему типу парижской гризетки; въ многочисленномъ классѣ женскаго населенія Севильи только сигареры сохранили національный костюмъ: онѣ являются по праздникамъ въ коротенькой баскинѣ, корсажѣ, обнажающемъ плечи и съ широкими рукавами, усыпанными блестками; вечеромъ, на всѣхъ площадяхъ и прогулкахъ вы ихъ встрѣтите съ сигарою во рту и вѣеромъ, который быстро переходитъ изъ одной руки въ другую; онѣ гуляютъ небольшими группами; въ нѣсколькихъ шагахъ непремѣнно слѣдуютъ лихіе, щегольски одѣтые majos; случалось, впрочемъ, встрѣчать и русскихъ.

Нѣтъ, кажется, города въ мірѣ, гдѣ бы встрѣчалось на каждомъ шагу столько случайностей, такое разнообразіе ощущеній и такіе контрасты, какъ въ Севильѣ; оттого-то именно она такъ и дорога фланеру. Не успѣешь отвести глазъ отъ группы веселыхъ, хорошенькихъ cigareros,—и вдругъ наталкиваешься на зрѣлище, отъ котораго замираетъ сердце отъ ужаса и въ волосахъ пробѣгаетъ ознобъ: мимо васъ проносятъ окровавленнаго человѣка, который

бьется въ предсмертныхъ судорогахъ; сейчасъ за сосѣднимъ домомъ онъ сдѣлался жертвой „раздраженной руки", то-есть попросту его хватили ножомъ; крикъ, шумъ, смятенье мгновенно наполняютъ улицу. Нѣсколько шаговъ далѣе, снова мертвая тишина; и вдругъ изъ-за угла, на поворотѣ, васъ неожиданно оглушаютъ веселые звуки военной музыки.—Что это? спрашиваешь.—Церковная процессія!...

Первый разъ какъ застигнулъ меня на улицѣ такой неожиданный музыкальный концертъ,—я поспѣшилъ прижаться къ стѣнѣ, нимало не сомнѣваясь, что навстрѣчу идетъ батальонъ или полкъ солдатъ. Ничуть не бывало! Музыканты, игравшіе какой-то вальсъ, служили авангардомъ церковной процессіи. За музыкантами, въ нѣсколько рядовъ и въ полномъ облаченіи, выступало духовенство; подъ фіолетовымъ бархатнымъ балдахиномъ, украшеннымъ кистями, золотымъ шитьемъ и страусовыми перьями, тяжело пыхтѣлъ и переваливался старый жирный попъ, съ глазами, неподвижно, насильственно какъ-то опущенными къ землѣ; вокругъ суетились мальчики въ бѣлой одеждѣ, державшіе зажженныя свѣчи, или махавшіе во всѣ стороны курившимися кадилами; далѣе, ярко пестрѣли и сверкали на солнцѣ хоругви, серебрянные рѣзные фонари, воздвигнутые на цвѣтныхъ шестахъ, изображенія церквей и башень, или возвышалась на богатыхъ носилкахъ деревянная крашеная мадонна съ вѣнкомъ розъ на головѣ и одѣтая въ пышное бальное платье съ безчисленнымъ множествомъ кружевныхъ волановъ; за ними гнусливо, но во весь голосъ и совершенно въ разладъ пѣли пѣвчіе; шествіе замыкалось новыми, нескончаемыми рядами духовныхъ лицъ въ полной парадной одеждѣ. Все это было очень живописно и даже эффектно, если хотите, но ради чего это дѣлалось, рѣшительно не могу объяснить себѣ.

Сколько я могъ замѣтить при встрѣчѣ съ такими процессіями, испанцы не только не умиляются ими, но остаются къ нимъ совершенно равнодушными; мало того, не обращаютъ даже на нихъ никакого вниманія. Процессія состоитъ иногда болѣе чѣмъ изъ двухсотъ лицъ духовенства, а между тѣмъ ее сопровождаютъ нѣсколько нищихъ старухъ и толпа muchachos; послѣднихъ очевидно привлекаетъ только музыка.

Впослѣдствіи, разговоры, а также и то, что приводилось самому видѣть, окончательно убѣдили меня, что Испанія, слывшая когда-то

самой религіозной страной католическаго міра,—теперь наоборотъ, едва ли не самая равнодушная къ религіи.

Причина этого очевидна: она вся въ дѣйствіяхъ самого духовенства, которое въ свое время перешло здѣсь всевозможные предѣлы власти злоупотребленій. Впадая въ крайности, свойственныя пылкимъ народамъ, испанцы перерѣзали монаховъ своихъ, какъ только перестали ихъ бояться. Бѣлое духовенство уцѣлѣло какимъ-то чудомъ; не потому ли можетъ-быть, что слишкомъ уже презиралось народомъ? Надо видѣть, съ какимъ восторгомъ встрѣчаются въ театрѣ сцены, гдѣ смѣются надъ духовенствомъ, пародируютъ духовныхъ лицъ и комически распѣваютъ „de profundis“. И все это происходитъ какихъ нибудь сорокъ лѣтъ спустя послѣ уничтоженія инквизиціи, которая въ ханжескомъ усердіи своемъ поддержать вѣру, пережгла, перерѣзала и передушила болѣе десяти милліоновъ человѣкъ испанскаго народа. Нечего сказать, цѣль славно достигнута!

Иногда уговорившись наканунѣ, мы вставали часовъ въ шесть-семь утра и дѣлали поѣздки за городъ. Разъ даже заѣхали мы очень далеко. Не знаю кто-то сообщилъ Б. Т., что верстахъ въ пятнадцати отъ Севильи, въ мѣстечкѣ Alcala, превосходная охота съ ружьемъ; тамъ, увѣряли, въ такомъ страшномъ изобиліи водились въ это время куропатки, что можно было стрѣлять ихъ дюжинами почти не сходя съ мѣста. Б. Т. страстный охотникъ; судите, что съ нимъ сдѣлалось послѣ такого извѣстія. Мы пробовали было его успокоить, совѣтовали справиться, такъ ли дѣйствительно было, какъ разсказывали, выставляли ему на видъ всѣмъ извѣстное свойство андалузцевъ,—свойство, которое вѣроятно недаромъ заслужило имъ названіе испанскихъ гасконцевъ,—ничего не помогало; мы все равно что толкли воду. Ясно слѣдовательно приходилось сдѣлать уступку въ его пользу. Что прикажете дѣлать съ человѣкомъ, который нешутя видѣлъ высочайшую степень земного блаженства въ томъ, чтобы подстрѣлить куропатку въ Андалузіи! Мы согласились ему сопутствовать и рѣшили завтра же чѣмъ-свѣтъ съѣздить въ Алкалу.

Въ тотъ же вечеръ Джіованни (гидъ фонды de Paris), сопровождаемый своимъ неизбѣжнымъ бѣлымъ пуделемъ, отправился заказывать лошадей и экипажъ; послѣдній предназначался тѣмъ изъ насъ, которые наотрѣзъ объявили, что скорѣе согласятся пронести лошадь подъ мышкою до Алкала, чѣмъ просидѣть на ней пятнадцать верстъ верхомъ.

Часовъ въ шесть мы были на ногахъ и выходили изъ дверей нашей фонды. Джіованни и еще три человѣка въ коричневыхъ плащахъ и съ такого же цвѣта лицами, держали подъ уздцы лошадей.

— Гдѣ же карета? спросили мы.

— Готова.

— Чтожъ она не является.

— Невозможно проѣхать: она слишкомъ широка и не пролѣзла бы въ улицу, спокойно возразилъ Джіованни:—пусть господа, которые ѣдутъ верхомъ, садятся; остальныхъ я провожу до экипажа...

— Далеко ли идти?..

— Почти на край города, къ puerto de Carmona...

Puerto de Carmona выходитъ на большую торговую площадь, о которой я уже говорилъ.

Дѣлать нечего, тронулись въ путь.

Почти у выхода на площадь, подъ черепичными навѣсами съ толстыми каменными столбами, увидѣли мы длинный крытый фургонъ, запряженный шестью мулами по два въ рядъ. Фургонъ, напоминавшій наружной своей формой старые омнибусы, срамившіе когда-то Невскій проспектъ, былъ по внутреннему своему устройству еще неудобнѣе послѣднихъ: двѣ голыя скамьи во всю длину, и только доски пола просвѣчивали и перегибались подъ ногами. За то мулы, выбритые отъ заднихъ ногъ до половины спины, исчезали почти подъ кистями, буфами и помпонами изъ цвѣтной шерсти; mayoral—кучеръ и вмѣстѣ съ тѣмъ владѣлецъ экипажа и муловъ, представлялъ изъ себя одну изъ тѣхъ пышныхъ, великолѣпныхъ фигуръ, которыми нельзя довольно налюбоваться, даромъ-что ихъ на каждомъ шагу встрѣчаешь въ Севильѣ. Не смотря на свои шестьдесятъ лѣтъ, онъ былъ одѣтъ совершеннымъ щеголемъ: красный широкій кушакъ, коротенькіе голубые панталоны съ серебрянными пуговками по швамъ, кожаные штиблеты до колѣнъ, открывающіе съ боковъ голую икру, голубая шитая куртка, яркій платокъ вокругъ шеи съ длинными концами, падающими на бѣлую рубашку; голова его съ сѣдыми висками, рѣзко выступавшими на смуглой какъ корица кожѣ, повязана была желтымъ, яркимъ фуляромъ; ее прикрывала сверхъ этого маленькая, надѣтая на-бекрень шапочка съ круто-загнутыми полями и украшенная кисточками; лицо кучера, гладко выбритое, съ парою черныхъ бакеновъ въ видѣ котлетъ по бокамъ, исполнено было выраженія веселости, лихости, удали, — словомъ, лицо вполнѣ андалузское.

Подлѣ муловъ хлопотало еще нѣсколько человѣкъ, напоминавшихъ лицомъ и одеждой тѣхъ бандитовъ, которые неожиданно выскакиваютъ изъ бочекъ въ пьесѣ Фрадьяволо.

Увидавъ насъ, mayoral послалъ намъ знакъ привѣтствія, исполненный достоинства, подобралъ возжи и сѣлъ на козлы, приглашая насъ скорѣе занять наши мѣста.

Прошло однакожъ болѣе десяти минутъ прежде чѣмъ мы тронулись съ мѣста; мулы ни за что не хотѣли выйти изъ-подъ навѣса: крики людей и хлопанье бичей усиливали только повидимому ихъ упрямство; они бились, рвались, лягали, и чѣмъ болѣе стоявшіе вокругъ люди кричали и дергали, тѣмъ менѣе подвигалось дѣло. Наконецъ раздался ужасный крикъ, мулы рванулись впередъ какъ бѣшеные, во весь духъ понесли насъ по мостовой; до сихъ поръ не понимаю, какимъ чудомъ выскочилъ нашъ фургонъ и мы вмѣстѣ съ нимъ цѣлы и невредимы изъ лабаринта столбовъ, окружавшихъ дворъ и навѣсъ. Въ первую минуту у насъ рѣшительно отшибло память; помню только, какъ мы скакали по мостовой, держась другъ за дружку и стукаясь головами въ кузовъ и досчатыя стѣны.

— Ауа! ауа! кричалъ во весь голосъ mayoral, яростно между тѣмъ размахивая въ воздухѣ сигарой.

— Ауа! ауа! вторили ему еще громче изъ толпы, которая не знаю какъ успѣвала раздаваться, чтобы дать намъ дорогу и не быть раздавленной.

На концѣ площади, уже при самомъ въѣздѣ на мостъ, всѣ эти крики, грохотъ экипажа и топотъ подковъ, слилися вдругъ въ одинъ неистовый гамъ, и фургонъ получилъ неожиданно такой толчокъ, отъ котораго едва не разсыпался въ щепки. Мы поспѣшили выскочить вонъ. Мулы наши цѣликомъ вломились въ обозъ, спускавшійся гуськомъ съ мѣста.

Пока распутывались постромки, разводили муловъ, мы лишній разъ имѣли случай замѣтить ту учтивость въ обращеніи, которая отличаетъ испанскій народъ отъ всякаго другого; такой случай, не говорю у насъ, но во Франціи и даже Англіи, не обошелся бы безъ обмѣна бранныхъ словъ, пожалуй, даже драки; здѣсь все ограничилось только выразительными жестами и взглядами; послѣ этого всѣ сообща принялись подсоблять другъ дружкѣ; минутъ пять спустя mayoral закурилъ свою сигару, учтиво предложилъ огня товарищамъ, усѣлся на козлы и мы снова поскакали, продолжая стукаться головами.

Въ Alcala надо ѣхать по той же дорогѣ, какъ въ Мадридъ. Миновавъ мостъ Гвадалквивира, оставя влѣвѣ Тріану, мы вскорѣ очутились на совершенно пустынной дорогѣ; странно даже было видѣть, что въ такомъ близкомъ разстояніи отъ города не было и признака жилья. Въ обѣ стороны развертывалась песчаная, однообразная равнина, усѣянная грудами камней, насквозь прожженныхъ солнцемъ; кое-гдѣ на краю дороги лѣпилась развалина мазанки, обросшая репейникомъ или громадными синеватыми алоэ, которые высоко выбѣгали своими колючими остряками надъ плоской, знойной линіей горизонта. Время отъ времени попадались длинныя цѣпи муловъ, перегибавшихся подъ тяжестью мѣшковъ съ мукою; встрѣчались также верховые въ коричневыхъ плащахъ, закрывавшихъ нижнюю половину лица, съ ружьемъ за плечами, въ широкихъ надвинутыхъ на глаза шляпахъ.

Жаръ между тѣмъ замѣтно начиналъ донимать насъ; дребезжавшій досчатый потолокъ фургона чувствительно накаливался. Къ этому вскорѣ присоединилась тонкая песчаная пыль, которая клубами врывалась въ окна въ щели и нестерпимо жгла и саднила лицо. Кто-то предложилъ закрыть окна; но въ ту-же минуту принуждены были снова опустить ихъ, потому что чуть не задохлись отъ духоты.

На шестой или седьмой верстѣ одинъ изъ нашихъ обратилъ вниманіе на человѣка, который бѣжалъ подлѣ фургона; онъ былъ безъ шляпы, въ оборванной синей рубашкѣ и такихъ же панталонахъ, которые придерживалъ рукою, изъ боязни вѣроятно потерять ихъ на дорогѣ. Заподозривъ его тотчасъ же въ злостныхъ намѣреніяхъ стащить что нибудь, мы стали украдкою наблюдать всѣ его движенія; по прошествіи минуты мы узнали въ немъ одного изъ тѣхъ подгоняльщиковъ (zagal), которыхъ берутъ здѣсь кучера, чтобы подгонять путемъ-дорогой капризныхъ, упрямыхъ муловъ. Zagal появлялся то съ одной стороны фургона, то съ другой, то забѣгалъ къ передовымъ муламъ; носясь такимъ образомъ во весь духъ и придерживая свои панталоны, онъ успѣвалъ то-же время подбирать камушки, которыми со всего маху пускалъ въ муловъ, заставляя ихъ скакать еще шибче; потъ лилъ съ него ручьями; набравъ горсть камней, онъ иногда ловко вскакивалъ на козлы и передавалъ камни кучеру, который въ свою очередь принимался пускать ими и въ хвостъ, и въ голову. Нашъ zagal могъ еще по всей справедливости считать себя счастливѣйшимъ человѣкомъ:

ему представлялась еще возможность садиться на козлы; по большей части козлы бывают также заняты пассажирами; въ такихъ случаяхъ бѣдняга пробѣгаетъ отъ станціи до станціи, не имѣя возможности перевести духъ; замѣтьте, станціи здѣсь огромныя, не менѣе двадцати пяти верстъ.

Но здѣсь впрочемъ этому никто не удивляется: андалузцы недаромъ слывутъ людьми самыми легкими на подъемъ, лучшими ходоками и скороходами.

Часамъ къ десяти жаръ сдѣлался рѣшительно невыносимъ; къ счастію, около этого времени прибыли мы въ Alcala de los Panaderos.

Несмотря на такое трескучее названіе, въ Алкалѣ всего одна улица; она обставлена жалкими, низенькими домами, выбѣленными мѣломъ; ихъ до того накаляло солнце, что подлѣ нихъ чувствовался жаръ какъ отъ плавильнаго жерла чугуннаго завода. Алкала расположена между голыми, кремнистыми холмами и однимъ концомъ своимъ примыкаетъ къ маленькой мутной рѣкѣ съ двумя водяными мельницами; здѣсь печется часть хлѣба, доставляемая каждую ночь на мулахъ въ Севилью. На одномъ изъ холмовъ вырѣзывается въ сверкающемъ до ослѣпленія небѣ профиль римскихъ развалившихся укрѣпленій. Кругомъ ни одной былинки, ни одного деревца; отовсюду сверкаетъ одинъ камень, накаляющій воздухъ; у мельницы торчатъ двѣ-три чахлыя ветлы, но и тѣ отъ корня до маковки засыпаны жгучею пылью и мукою.

Possada (постоялый дворъ), гдѣ мы остановились, ничѣмъ не отличалась отъ остальныхъ домовъ; съ улицы входишь въ мрачную закоптѣлую кухню съ пучками луковицъ, развѣшанныхъ по потолку; на стѣнахъ бросаются въ глаза ружья и мушкетоны, и ни одной кострюли; прямо — рядъ столбовъ, а за ними непосредственно конюшня, такъ что, заказывая завтракъ, мы вдоволь наблюдали, какъ нашъ mayoral устанавливалъ муловъ; запахъ кухни конечно не такъ щекоталъ наши ноздри, какъ запахъ навоза. Слѣва, низенькая дверь приводитъ въ обширную комнату со сводами и поломъ, вымощеннымъ плитами: вокругъ стѣнъ каменныя скамьи и длинные сосновые столы, пропитанные насквозь запахомъ масла.

Несмотря на зной, Б. Т. настоятельно требовалъ, чтобы мы немедленно отправились съ нимъ на охоту.

— Завтракъ будетъ скуденъ, это ужъ по всему видно, сказалъ

онъ въ видѣ убѣжденья: — не лучше ли походить часокъ-другой и прибавить къ нему дюжинки двѣ жирныхъ куропатокъ!

Джіованни, котораго мы взяли съ собою, передалъ намъ, что по словамъ кучера, загаля и содержателя посады, лучшимъ мѣстомъ для охоты былъ холмъ, гдѣ возвышались развалины.

Б. Т. схватилъ ружье, оглянулъ насъ торжествующимъ взглядомъ и ринулся къ двери.

Мы невольно за нимъ послѣдовали.

На половинѣ холма, покрытаго колючимъ кустарникомъ и глыбами обвалившихся стѣнъ, мы едва уже могли переводить духъ; солнце, кромѣ того что ослѣпляло глаза, разслабляло насъ до того, что мы едва передвигали ноги; нечего было думать идти далѣе, прежде чѣмъ не спадетъ зной. Б. Т. очевидно самъ начиналъ это чувствовать, но страсть брала верхъ надъ всѣмъ; онъ все-таки лѣзъ выше и, казалось, употреблялъ еще больше стараній, чтобы насъ ободрить. Призвавъ на помощь послѣднія силы, мы съ отчаяньемъ пошли за нимъ. Наконецъ, когда, полчаса спустя, покрытые царапинами, пылью и потомъ, взобрались мы къ развалинамъ, — Б. Т. вдругъ сѣлъ на камень и уныло свѣсилъ голову.

— Чтожъ это значитъ? спрашивали мы: — отчего вы не идете дальше? Мы исполнили ваше желаніе; видите, мы здѣсь! Ступайте же за вашими куропатками...

— Дальше идти незачѣмъ! возразилъ онъ, мрачно озираясь вокругъ.

— Какъ?

— Не стоитъ!

— Стало-быть нѣтъ куропатокъ? спросили мы, тщетно стараясь отыскать клочокъ тѣни, куда бы можно было укрыть хоть голову; — но этого быть не можетъ! съ чего же всѣ они увѣряли, что здѣсь куропатки водятся въ такомъ изобиліи?..

— А чортъ же ихъ знаетъ, съ чего они это взяли! досадливо разразился Б. Т.: — здѣсь дичь вотъ какая: одна только и можетъ быть! добавилъ онъ, указывая на миріады ящерицъ, которыя быстро сновали по сверкавшимъ на солнцѣ обломкамъ.

Отдохнувъ немного, мы поспѣшили спуститься. Но въ посадѣ насъ ожидало новое разочарованіе: хозяинъ, обѣщавшій прежде пустить для насъ въ ходъ всю свою провизію, объявилъ теперь, что въ его распоряженіи только луковицы, чеснокъ, шоколадъ, виноградъ и хлѣбъ. Дѣлать нечего, надо было покориться горькой

судьбѣ; мы тутъ же принялись за хлѣбъ, который даромъ что здѣсь изготовляется, оказался почему-то еще жостче и прѣснѣе, чѣмъ въ Севильѣ.

Но этимъ еще не кончилось.

Едвали сѣли мы въ большой комнатѣ со сводами и пропустили въ ротъ первую виноградинку, изъ кухни послышались такіе неистовые крики, поднялся такой грохотъ, что мы разомъ, какъ бы по командѣ, вскочили на ноги. Въ ту же секунду въ комнату стремительно влетѣли два человѣка верхомъ на лошадяхъ; одинъ былъ молодой, другой уже старикъ; оба неистово гикали и вращали надъ головою нагайками. Не успѣли мы откинуться назадъ, какъ лошадь молодого поскользнулась и шарахнулась объ полъ; сѣдокъ вывернулся изъ-подъ нея съ неимовѣрною ловкостью, поставилъ ее на ноги, ударилъ нагайкой, вскочилъ въ сѣдло, пригнулся къ лукѣ, гикнулъ и пропалъ въ дверяхъ въ сопровожденіи стараго своего товарища. Все это было дѣломъ нѣсколькихъ секундъ.

На крикъ хозяина и хозяйки мы выбѣжали въ кухню въ ту самую минуту, какъ верховые во весь духъ проскакали по улицѣ. Въ жизнь не забуду того яростнаго отчаянья, которому предавались владѣтели посады; они рвали на себѣ волосы, метались по угламъ, били себя въ грудь кулаками, крестились, испускали то глубокіе вздохи, то потоки угрозъ и проклятій. Даже увѣщанія кучера, загаля и Джіованни, которые сюда же выбѣжали, долго не могли привести ихъ въ болѣе спокойное состоянье.

Наконецъ дѣло объяснилось: молодцы, надѣлавшіе всю эту суматоху, были гидальги,—отецъ и сынъ, два мелкихъ владѣльца землею, которые давно острили зубы на хозяевъ посады и выжидали только случая насолить имъ. Чтобы вѣрнѣе достигнуть цѣли, они выбрали минуту, когда собрались гости; врываясь верхомъ, они имѣли въ виду надѣлать больше скандала и тѣмъ усилить оскорбленіе хозяевамъ. Какъ могли они изловчиться, чтобы проскочить на лошади въ низенькую, узкую дверь кухни и потомъ нашей комнаты, это для меня до сихъ поръ остается загадкой.

Переждавъ зной, мы къ обѣду тѣмъ же путемъ вернулись въ Севилью.

Разъѣзжая такимъ образомъ по окрестностямъ (но съ большею однакожъ удачей), или фланируя по улицамъ, не видѣли мы какъ проходилъ день. А между тѣмъ главный запасъ силъ надо было всегда приберегать къ вечеру; потому что только отъ семи часовъ

до поздней ночи, Севилья начинаетъ жить полною своею жизнью; она тогда только является во всемъ своемъ блескѣ. Въ эту пору впечатлѣній еще больше, и они еще разнообразнѣе. О весельи и говорить нечего. Веселость андалузскаго характера сообщаетъ всему городу оживленье, о которомъ одни развѣ Палермо или Неаполь во время карнавала могутъ дать понятіе.

За часъ до солнечнаго заката, когда улицы начинаютъ потопляться прохладною тѣнью, и только крыши домовъ и колокольни горятъ еще золотомъ и пурпуромъ, ярко вырѣзываясь въ густой синевѣ неба, идешь обыкновенно на площадь del Duque или на Alameda christiana: послѣдняя — садъ на берегу Гвадалквивира; сюда по вечерамъ собирается весь beau-monde Севильи. Такъ бывало впрочемъ тогда только, когда узнаешь за обѣдомъ, что афишки не возвѣщаютъ bayle nacional, т. е. балетъ или національные танцы. Въ такомъ случаѣ christiana и фланерство по улицамъ, безъ размышленія приносились въ жертву театру. Въ Севильи ихъ нѣсколько. Одинъ особенно (не помню его названія) отличается великолѣпіемъ; зала блѣдно-лиловаго цвѣта съ позолотой; вмѣсто стульевъ вольтеровскія кресла, обитыя краснымъ сафьяномъ. Но зала, превосходныя декораціи, игра актеровъ и самая прелесть танцовщицъ,—все забывается передъ рядами красавицъ, которыми унизаны ложи. Обнаженныя руки, играющія вѣеромъ, взгляды, которыми обмѣниваются изъ ложи въ ложу, милое движеніе головъ при встрѣчѣ съ знакомыми, мантильи, откинутыя назадъ и открывающія матовыя, чудныя плечи, пряди черныхъ волосъ съ магноліей или камеліей на вискахъ,—все это поминутно отрываетъ отъ сцены.

Первый разъ какъ случилось мнѣ быть въ театрѣ, я лишній разъ убѣдился въ присутствіи граціи, которая проникаетъ природу южнаго человѣка и высказывается въ самыхъ даже мелочныхъ его привычкахъ и обычаяхъ.

На сцену вышла молоденькая, хорошенькая актриса; она спѣла сайнетъ, національную пѣсню, и спѣла ее превосходно; съ окончаніемъ второго куплета, зала, къ великому моему удивленію, вдругъ наполнилась неистовымъ шипѣньемъ, смѣшаннымъ съ особеннымъ какимъ-то звукомъ, похожимъ на чмоканье. Я взглянулъ на бѣдную актрису; она обводила публику глазами, и приложивъ руку къ сердцу, кланялась, во всѣ стороны; она, — такъ по крайней мѣрѣ показалось мнѣ въ эту минуту, — вымаливала снисхожденіе. Въ

негодованіи на публику, я обратился къ сидѣвшему рядомъ со мною бельгійскому консулу.

— Это ни начто не похоже, сказалъ я; она прелестно поетъ: зачто же всѣ на нее вдругъ напустились?

— Какъ напустились? проговорилъ онъ съ удивленіемъ:—напротивъ, слышите, публика въ восхищеньи и благодаритъ ее...

— Странный способъ выражать благодарность; всѣ шипятъ и чмокаютъ!

— Ну да, чмокаютъ: этимъ-то именно публика и хочетъ сказать ей, что находитъ ее очень милою и потому посылаетъ ей поцѣлуи!

Здѣшнія театральныя танцовщицы очаровательны. Онѣ могутъ только не нравиться нашимъ балетмейстерамъ, танцорамъ и танцовщицамъ, у которыхъ нелѣпѣйшая рутина и такъ называемая „школа" окончательно извратила вкусъ, которымъ противоестественные труды выломали кости, безобразно вывернули носки и колѣни и вдобавокъ заморили ихъ до чахотки; вмѣсто граціи вы видите только искусственную, приторную афектацію; вмѣсто хорошенькой женщины передъ вами болѣе или менѣе разогнутый циркуль.

Испанская танцовщица—просто прежде всего хорошенькая женщина; въ ней увлекательно именно то, что нѣтъ ничего заученаго, условнаго; каждое ея движеніе отмѣчено свободой и природой, натуральной граціей; она танцуетъ не по заказу, но страстно, съ увлеченіемъ. Поэтому самому любитель танцевъ (а ктожъ не сдѣлается имъ въ Испаніи!), чтобы вполнѣ усладить себя, никакъ не долженъ идти въ театръ; сценическая обстановка рѣшительно отымаетъ здѣсь половину удовольствія; вы видите живой танецъ, исполненный страстными воодушевленными женщинами, вамъ не сидится на мѣстѣ, васъ невольно тянетъ впередъ, вы увлечены, а тутъ сиди, не трогайся съ мѣста и смотри издали!

Андалузцы, большіе охотники до танцевъ, предупредили такое неудобство. Въ Севильѣ существуетъ особое мѣсто, куда сходятся по вечерамъ танцоры и любители національныхъ танцевъ. Тамъ только, съ полной непринужденностью, во всемъ великолѣпіи исполняется настоящій типическій болеро, jota aragonesa, олѐ, фанданго и сегидилья.

Мы конечно не пропускали ни одного такого вечера.

Еще заранѣе, во время обѣда, ни о чемъ больше никто не говорилъ, какъ о предстоящемъ удовольствіи. Слушая наши разсказы, изо всего нашего общества одинъ молодой американецъ (тотъ самый,

что ѣхалъ на пароходѣ) сохранялъ невозмутимое равнодушіе. Впродолженіи этихъ двухъ недѣль, какъ мы пріѣхали въ Севилью, онъ буквально ниразу не ступилъ за порогъ фонды.

— Торопиться мнѣ незачѣмъ, говорилъ онъ, когда мы выражали ему наше удивленье:—я пробуду здѣсь до слѣдующаго октября; въ годъ все успѣю увидѣть; къ тому же ходить мнѣ теперь некогда: я занятъ составленіемъ каталога тѣхъ книгъ, которыя намѣренъ отыскивать.

Онъ точно также не выпускалъ однакожъ изъ фонды и свою спутницу-парижанку. Можете судить, что̀ происходило съ этой особой, созданной изъ одного нетерпѣнія, любопытства и подвижности. Прислушиваясь къ нашимъ разсказамъ, она выходила изъ себя; сидя въ своемъ нумерѣ, она положительно съ ума сходила и лѣзла на стѣны; подъ-конецъ самъ американецъ сталъ намъ на нее жаловаться.

Тронутый ея положеньемъ, я началъ разъ его упрашивать пойти съ нами послѣ обѣда посмотрѣть національные танцы. Онъ долго упрямился, наконецъ всѣ приступили къ нему съ той же просьбой; онъ согласился, но съ тѣмъ условіемъ однакожъ, чтобы придти на мѣсто не раньше той минуты, какъ начнутся танцы. Таковъ ужъ былъ капризъ его; иначе онъ не соглашался; онъ говорилъ, что сейчасъ же уйдетъ назадъ, если придется дожидаться.

Было около восьми часовъ; танцы начинаются ровно въ восемь: я поскорѣе отправился; я обѣщалъ дождаться условной минуты и возвѣстить о ней всему нашему обществу.

Мѣсто, гдѣ происходятъ танцы, находилось въ сосѣдней улицѣ; оно занимало второй этажъ стариннаго, мрачнаго дома; витая каменная лѣстница съ потертыми ступенями приводитъ прямо къ двери большой залы съ бревенчатымъ потолкомъ и голыми стѣнами, освѣщенными нѣсколькими лампами; вмѣсто мебели, вокругъ деревянныя скамьи. Толпа привычныхъ посѣтителей была уже въ полномъ сборѣ; человѣкъ до ста испанокъ и испанцевъ, кто одѣтый по европейски, кто въ національномъ костюмѣ, нѣсколько пріѣзжихъ иностранцевъ—стояли группами, расхаживали взадъ и впередъ, шумно разговаривали, играли вѣерами и курили. Посерединѣ залы прогуливался самъ хозяинъ и вмѣстѣ съ тѣмъ учитель танцевъ, человѣкъ лѣтъ пятидесяти, въ сѣрой курткѣ, коротенькихъ панталонахъ и бѣлыхъ чулкахъ à jour. На полу, кой гдѣ по угламъ живописными группами сидѣли цыгане, мужчины и женщины, старые и молодые;

всѣ они были въ лохмотьяхъ, случайно подобранныхъ на улицѣ; кой-гдѣ на полинявшихъ цвѣточныхъ лоскутьяхъ сверкала уцѣлѣвшая блестка или выдавалась яркая новенькая заплата; но даже и подъ такой одеждой, многія изъ молоденькихъ бросались въ глаза дикой своей красотою. Танцовщицы еще не являлись; онѣ выходятъ по знаку изъ сосѣдней комнаты, которая доступна только учителю: но танцоры, большею частію изъ цыганъ, были уже на лицо и настраивали гитары. То, что я говорилъ о танцовщицахъ, относится точно также и къ танцорамъ: это такіе лихіе, красивые и полные одушевленья молодцы, которые такъ вотъ и просятся въ картину; андалузскій костюмъ, самъ уже по себѣ щеголеватый, придаетъ ихъ движеніямъ какую-то особенную мужественную красоту и грацію; густые свои волосы прячутъ они въ пунцовую или синюю сѣтку, она концомъ спускается на затылокъ и потомъ свѣшивается на плечо.

— Скоро начнутся танцы? спросилъ я у двухъ-трехъ знакомыхъ мужчинъ, которые неизмѣнно приходили сюда каждый вечеръ.

— Минутъ черезъ пять... можетъ быть даже ранѣе. Ужъ почти восемь часовъ.

Я побѣжалъ предупредить общество, но не успѣлъ сойти десятокъ ступеней, какъ неожиданно до слуха долетѣли трескотня кастаньетъ и живое бряцанье гитаръ, возвѣстившія появленье танцовщицъ. Много уже разъ приводилось мнѣ бывать въ этой залѣ; я зналъ, что̀ меня тамъ ожидало; но при всемъ томъ, въ эту минуту, — признаюсь чистосердечно, — забылъ француженку, американца, забылъ ожидавшее меня общество, и стремительно, сломя голову, полетѣлъ вверхъ по лѣстницѣ въ залу. Никто впрочемъ не былъ изъ нихъ потомъ въ претензіи; каждый соглашался, что на моемъ мѣстѣ сдѣлалъ бы тоже самое. Сама француженка и ея спутникъ, явившіеся четверть часа спустя, объявили напрямикъ послѣ перваго же танца, что находятъ мое увлеченіе совершенно натуральнымъ и вполнѣ его оправдываютъ.

Не смѣйтесь, читатель; вамъ, можетъ-быть, не случалось заглядывать въ эту танцовальную залу Севильи; когда вы тамъ побываете, тогда скажете свое мнѣніе.

Мнѣ, по крайней мѣрѣ, не случалось еще видѣть болѣе увлекательнаго зрѣлища.

Начать съ того, что всѣ танцовщицы прелесть какъ хороши собою; костюмъ ихъ очень живописенъ; онъ состоитъ изъ цвѣтного,

очень низенькаго корсажа и коротенькой баскины; все это обшито блестками, яркими пучками лентъ и живыми цвѣтами; ножки такъ хороши, обуты съ такимъ изяществомъ, что такъ и тянетъ перецѣловать ихъ отъ первой до послѣдней. Наконецъ, неподдѣльная страстность взглядовъ и движенiй, необыкновенная живость самаго танца, исполненнаго сладострастной нѣги и грацiи, мотивъ пѣсни, которая сопровождаетъ танецъ, бряцанье гитаръ, лихорадочный трепетъ кастаньетъ, воодушевленiе, которое постепенно овладѣваетъ зрителями,—все это дѣлаетъ изъ этой залы чуть ли не самое соблазнительное мѣсто Севильи и легко можетъ вскружить голову самому апатическому смертному.

Самый обворожительный танецъ для меня, это Ola: въ немъ танцоръ и особенно танцовщица переходятъ всѣ оттѣнки постепенно разгорающейся страсти. Въ мое время, танецъ этотъ исполнялся неизмѣнно одною и тою же парой.

По данному знаку, на середину залы выходила молоденькая цыганка; рубашка, низко обнажавшая плечи, и пестрая юбка были всей ея одеждой; маленькая ея головка и тонкая, грацiозно выгнутая шея съ трудомъ казалось выносили тяжесть смоляныхъ косъ, изъ которыхъ на правый високъ выбѣгалъ живой пунцовый цвѣтокъ. Трудно представить себѣ что нибудь изящнѣе овала ея лица, золотисто бронзоваго и вмѣстѣ съ тѣмъ покрытаго матовою блѣдностью,—не тою блѣдностью, которая на сѣверѣ служитъ признакомъ болѣзни, но южною блѣдностью, которая еще болѣе возвышаетъ красоту женщины; ни на одной камеѣ не встрѣчалъ я болѣе тонкой профили; въ линiяхъ плечъ, рукъ и ногъ этой дѣвушки сохранилась во всей чистотѣ своей высочайшая тонкость породы; онѣ дышали тою женственною прелестью и строгою законченностью, которой любуемся мы на древнихъ греческихъ изваянiяхъ; вся она почему-то представлялась (и не мнѣ одному) типомъ Клеопатры въ молодости. Къ такому сходству способствовала также величавость и строгость выраженiя, которыя рѣзко отличали эту дѣвушку отъ остальныхъ ея подругъ.

Танецъ начинался съ того обыкновенно, что она слегка наклоняла голову и опускала глаза, такъ что рѣсницы ея бросали тѣнь на щеки; она, казалось, задумывалась о чемъ то, не замѣчала ни толпы, ее обступавшей, ни своего танцора, который между тѣмъ впивался въ нее огненными глазами и слегка побрякивалъ гитарой; при второмъ и третьемъ акордѣ хоръ цыганъ, сидѣвшихъ тутъ же, испускалъ вздохъ: этимъ вздохомъ начинаются многiе припѣвы, пою-

щіеся во время танцевъ. Вздохъ незамѣтно переходилъ въ мотивъ; онъ постепенно подхватывался всѣмъ хоромъ; къ нему мало-по-малу присоединялись звуки костаньетъ и гитаръ. Первыя движенія танцовщицы были медленны; стоя на мѣстѣ и продолжая смотрѣть въ землю, она лѣниво, какъ бы послѣ сна, перегибала станъ и плавно разводила руками; танцоръ тѣмъ временемъ оживлялся съ каждой секундой; по мѣрѣ того какъ учащался темпъ мотива, звуки гитаръ и кастаньетъ усиливались,—энергическое лицо танцора наполнялось выраженіемъ какой-то сатанинской страсти; глаза его сверкали какъ у тигра, пальцы судорожно дергали по всѣмъ струнамъ гитары, онъ нетерпѣливо топалъ ногами. Наконецъ танцовщица подняла голову и бросила на него взглядъ; глаза ихъ встрѣтились.

— Ауа! ауа! раздалось кой-гдѣ изъ толпы. Зрители плотнѣе обступили танцоровъ; увлекаясь заодно съ ними, они начинали также притопывать ногами и трещать кастаньетами, потому что каждый приходящій сюда приноситъ непремѣнно кастаньеты въ карманѣ.

— Ауа! ауа! подхватывали десятки голосовъ.

— Ауа! ауа! дико покрикивалъ въ свою очередь танцоръ, разжигая все болѣе и болѣе танцовщицу.

Глаза ея уже сверкали огнемъ; увлекаемая какъ будто магнетической силой взглядовъ, она тянулась къ танцору, который ускорялъ шагъ, заходилъ къ ней то съ одной стороны, то съ другой, манилъ ее глазами и все болѣе и болѣе старался разжечь ее. Но дѣло уже было сдѣлано: огненная, неукротимая страсть говорила въ каждомъ ея движеніи; плечи ея вздрагивали, щеки горѣли, руки жадно ловили танцора, тонкій станъ изгибался и сладострастно опрокидывался назадъ; черные зрачки блистали огнемъ ненасытныхъ желаній.

Изъ всѣхъ присутствующихъ не было человѣка, у котораго при этомъ не вздрагивало бы сердце; толпа рѣшительно выходила изъ себя; все вокругъ стучало ногами, трещало кастаньетами, судорожно вскрикивало, вторя крикамъ цыганъ и цыганокъ, которые изступленно били въ ладоши, звенѣли гитарами и постепенно ускоряли темпъ пѣсни; энтузіазмъ толпы очевидно все болѣе и болѣе воодушевлялъ танцоровъ. Подъ конецъ танецъ принимаетъ характеръ такой бѣшеной и откровенной страсти, которая сдѣлала бы его невозможнымъ ни на какой европейской сценѣ; онъ оканчивается тѣмъ, что танцовщица въ страстномъ изнеможеніи падаетъ на грудь тан-

цора, который быстро обхватываетъ ей талію, приподымаетъ ее на воздухѣ, цѣлуетъ и торжественно выноситъ изъ толпы.

Сколько кажется, во всѣхъ танцахъ Испаніи, танцоры и танцовщицы дѣйствуютъ не столько ногами, сколько всѣмъ корпусомъ; глаза и выраженіе лица, на которомъ проходятъ всѣ гаммы страсти, играютъ также не послѣднюю роль. Здѣсь хорошенькія ножки, необезображенныя сверхъестественными трудами, служатъ какъ бы для того только, чтобы бить тактъ, между тѣмъ какъ станъ, руки, бюстъ и головка, повинуясь быстротѣ или медленности темпа, производятъ граціозные перегибы. Во многихъ танцахъ существуютъ позы, гдѣ станъ опрокидывается назадъ до такой степени, что плечи танцовшицы почти касаются пола; руки слѣдуютъ тому же движенію и трещатъ кастаньетами, между тѣмъ какъ ножка, вытянутая впередъ, бьетъ тактъ, но въ самую ту минуту, когда вамъ кажется, что танцовщица изнемогаетъ отъ усталости и едва имѣетъ силы играть кастаньетами, она вдругъ быстро вскакиваетъ, снова осыпаетъ васъ искрами своихъ взглядовъ,—и вся превращается въ одинъ неуловимый вихрь, въ одну подвижность.

Многіе танцы тѣмъ оканчиваются, что танцовщица, выбравъ глазами кого-нибудь изъ зрителей,—исполняетъ для него собственно самыя соблазнительныя свои позы; по окончаніи танца, она неожиданно подбѣгаетъ къ избранному и бросаетъ ему на лицо свой платокъ... Передъ возвращеніемъ платка, въ него завертываютъ обыкновенно деньги. Не совѣтую однакожъ быть слишкомъ щедрымъ: платки полетятъ на васъ со всѣхъ сторонъ; и тогда, если у васъ хоть сколько-нибудь слабъ характеръ, вы погибли,—это неизбѣжно: такъ было по крайней мѣрѣ со многими изъ нашихъ товарищей; сердце ихъ чуть ли не до сихъ поръ еще въ Севильѣ!

Когда выйдешь на улицу послѣ такихъ впечатлѣній, можете судить, какъ обаятельно должна дѣйствовать жаркая, голубая севильская ночь! Самые старые и холодные изъ насъ, даромъ что сознавали весь комизмъ своего положенія, выказывали тѣмъ не менѣе въ эти минуты самые явные знаки восторженности и страстнаго настроенія. Да, такъ случалось; о молодыхъ и говорить нечего. Для всѣхъ насъ впрочемъ пребываніе въ Севильѣ врядъ ли когда-нибудь изгладится изъ памяти.

Прощаясь съ нею съ палубы парохода, мы отвернулись тогда только, когда блестящая маковка фигуры надъ Хиральдой

окончательно скрылась въ золотомъ парѣ, потоплявшемъ равнину Гвадалквивира.

Намъ оставалось еще два дня до срока, когда нашъ корабль долженъ былъ оставить рейдъ Кадикса, съ тѣмъ, чтобы войти въ Средиземное море. Надо было воспользоваться этимъ временемъ, чтобы увидѣть еще что-нибудь, кромѣ Севильи. Мы остановились на такомъ планѣ: спускаясь по Гвадалквивиру въ Кадиксъ, остановиться на пристани Бонанца; оттуда хотѣлось намъ проѣхать сухимъ путемъ до Puerto Santa-Maria, потомъ сѣсть въ вагонъ желѣзной дороги, осмотрѣть Xересъ, и на другой день снова вернуться въ Puerto. Капитанъ парохода обѣщалъ между тѣмъ, по пріѣздѣ въ Кадиксъ, выслать съ корабля катеръ, который долженъ былъ ждать нашего возвращенія въ Puerto.

Въ Бонанцѣ произошла съ нами довольно забавная сцена. Едва сошли мы съ парохода и ступили на пристань, насъ плотно обступила ватага кучеровъ, ихъ было до пятидесяти. Сверкая глазами, производя неистовые жесты, всѣ принялись кричать въ одно время и каждый порывался впередъ, усиливаясь захватить скорѣе наши дорожные мѣшки; напрасно надсаживали мы горло, повторяя заранѣе приготовленныя фразы и стараясь вразумить ихъ, стараясь объяснить по крайней мѣрѣ, куда хотимъ ѣхать,—ничего не дѣйствовало; напротивъ, чѣмъ отчаяннѣе защищали мы мѣшки свои, тѣмъ крѣпче они ихъ держали; чѣмъ громче мы кричали, тѣмъ настойчивѣе они наступали, тѣмъ яростнѣе на насъ лѣзли. Словомъ, мы положительно не знали, какъ выпутаться и не шутя начинали падать духомъ. Даже Б. Т., никогда въ жизни не терявшій терпѣнія, сохранявшій невозмутимое равнодушіе въ минуты самыхъ жестокихъ штормовъ и сильной опасности,—и тотъ наконецъ вышелъ изъ себя. Рванувшись отчаянно впередъ, онъ вдругъ замахалъ руками и прокричалъ громовымъ голосомъ, который на секунду покрылъ всѣ голоса:

— Sacha diavolo!—Russia batimento! Imperatore batimento de la Russia!

Но такъ какъ и это не произвело никакого дѣйствія, напротивъ, къ крикамъ присоединился еще громкій смѣхъ, Б. Т. разсудилъ за лучшее засмѣяться въ свою очередь, чему и всѣ мы невольно послѣдовали. Мы рѣшились отдаться въ руки этимъ разбойникамъ и слѣдовать за тѣми изъ нихъ, изъ рукъ которыхъ труднѣе было вырвать мѣшокъ. Каждый кучеръ завладѣлъ такимъ образомъ двумя изъ

насъ и порядокъ мгновенно возстановился. Шагахъ въ двадцати стояло множество двуколесныхъ красныхъ одноколокъ въ родѣ неаполитанскихъ coricolos; разница въ томъ, что маленькій кузовъ испанской calessa приложенъ непосредственно къ оглоблямъ такъ, что каждое движеніе мула передается сѣдоку; кучеръ усаживается точно также, какъ и въ Неаполѣ—частію на оглоблю, частію на досчечку, куда упираются ноги путешественниковъ. Съ великимъ трудомъ мы помѣстились вдвоемъ въ каждой calessa. Кучеръ въ національной андалузской шапочкѣ, бѣлой рубашкѣ, шитой курткѣ, красномъ кушакѣ и кожаныхъ штиблетахъ, прыгнулъ съ неимовѣрною легкостью на свое сѣдалище, но тѣмъ не менѣе отдавилъ намъ ноги; улыбнувшись въ видѣ извиненія, онъ свернулъ papelitos (папироску), взялъ лихую, молодецкую позу, весело подмигнулъ намъ—и мы понеслись, подпрыгивая какъ мячики. Мулъ вообще неохотно двигается съ мѣста; но если ужъ пришло ему желаніе скакать, онъ летитъ безъ удержу; его тогда ничѣмъ не остановишь. Не могу сказать, чтобы намъ было покойно и мягко сидѣть.

Нельзя сказать также, чтобы мы были совершенно покойны нравственно.

Мы прежде еще слышали, что вообще вся страна между Санъ-Лукаромъ, Хересомъ и Puerto, была далеко не безопасна. На наше счастье, какъ насъ увѣряли, конечно могъ попасться кучеръ, связанный тѣсною дружбой съ разбойниками,—дружбой, которая застраховывала насъ отъ опасности; такая дружба скрѣпляется тѣмъ обыкновенно, что кучеръ платитъ разбойнику условленную контрибуцію и такимъ образомъ на извѣстное время покупаетъ базопасность себѣ и сѣдокамъ своимъ. Очень могло быть, что кучеръ нашъ находился въ самыхъ братскихъ отношеніяхъ съ разбойниками и былъ однимъ изъ самыхъ акуратныхъ плательщиковъ контрибуціи; но даже и при такомъ обстоятельствѣ, мы все-таки чувствовали себя несовсѣмъ спокойно.

Кромѣ разбойниковъ, на глухихъ перепутьяхъ Испаніи встрѣчаются еще такъ называемые rateros—люди, занимающіеся мирнымъ хлѣбопашествомъ, но которые вмѣстѣ съ тѣмъ непрочь воспользоваться первымъ удобнымъ случаемъ, чтобы напасть на путешественника и пустить его нагишомъ продолжать путешествіе. Эти rateros опаснѣе разбойниковъ: противъ послѣднихъ защищаться не станешь; ограничишься тѣмъ, что отдашь кошелекъ и поѣдешь далѣе, напутствуемый: „Vayan ustedes con Dios!“—фразой, которой

почти каждый встрѣчающійся на дорогѣ провожаетъ здѣсь путешественника; противъ ratero, нападающаго часто въ одиночку, непремѣнно начнешь отбиваться, и ничего нѣтъ мудренаго, если почувствуешь въ боку navaja, прежде чѣмъ успѣешь взвести курокъ пистолета. Кромѣ того, въ первую мунуту не придетъ даже въ голову взять предосторожность. Ratero не отличишь отъ обыкновеннаго простолюдина; кто знаетъ, это можетъ быть тотъ нищій, который робко подходитъ къ вамъ, протягиваетъ руку и жалобно говоритъ: „una limosina por l'amor de Dios!" или „buona camino, cabaleros!" и т. д.

Мѣстность, которая открылась передъ нами послѣ San-Lucar, имѣла впрочемъ такой характеръ, что мысль объ опасности невольно рождалась сама собою. Какъ только за нами скрылся городъ, въ обѣ стороны пошла такая дичь и глушь, какой я отъ роду еще не видывалъ. Справа и слѣва возвышались ряды каменистыхъ небольшихъ холмовъ, которые прятались другъ за дружку; на всемъ этомъ но было признака какой бы то ни было жизни; вокругъ ни былинки; повсюду одинъ голый, рыжеватый грунтъ и камень съ хрящемъ. Солнце раскаляя круглый годъ почву, превращало здѣсь въ золу и пепелъ самый зародышъ растительности; самый этотъ пепелъ уносило вѣтромъ; оставались только голые, рыжіе кряжи холмовъ, такихъ сухихъ, какъ пемза. Небо сверкало надъ нами какъ плавленная мѣдь; скаты холмовъ, къ которымъ мѣстами приближалась дорога, отражали такой сильный жаръ и такъ нестерпимо блистали, что каждый разъ приходилось закрывать ладонью глаза, чтобы не ослѣпнуть. Несмотря на конецъ октября и пятый часъ пополудни, пекло такъ невыносимо, что мы при выѣздѣ изъ Санъ-Лукара принуждены были снять сюртукъ, жилетъ и галстукъ; но даже и въ одной рубашкѣ было жарко.

Кой-гдѣ по окраинѣ дороги, надъ грудой камней торчалъ деревянный крестъ, выкрашенный краснобурой или черной краской. Иногда, въ отдаленьи, по обнаженному холму лѣпилось нѣсколько мазанокъ, которыхъ въ первую минуту невозможно даже было отличить отъ почвы; но и тамъ точно также все казалось выжженнымъ и вымершимъ; звука не слышалось; не видѣлось живой, движущейся точки. Изрѣдка случалось перегонять и встрѣчать вереницы бѣлыхъ ословъ, навьюченныхъ тростникомъ, кувшинами или соломой; за ними, верхомъ на бритомъ мулѣ, слѣдовалъ человѣкъ, завернутый въ коричневый плащъ, съ ружьемъ за плечами, въ широкополой шляпѣ,

изъ подъ которой выглядывало сумрачное оливковое лицо, оживленное бѣлками глазъ; иногда въ такомъ же точно костюмѣ неожиданно показывался у поворота одинокій всадникъ.

— Вотъ ratero! шептали мы, ободряя другъ друга локтемъ и поспѣшая предложить кучеру новую сигару.

Кучеръ, свиставшій и напѣвавшій всю дорогу, бралъ сигару, обязательно улыбался, закуривалъ ее и мы проносились мимо также благополучно, какъ еслибъ ѣхали по Каменноостровскому проспекту.

Несмотря на то, что намъ и прежде и послѣ неразъ приводилось странствовать безъ провожатыхъ по дорогамъ Испаніи,—съ нами не случилось ни одного изъ тѣхъ происшествій, о которыхъ разсказываютъ путешественники; разбойники и rateros до сихъ поръ остались для насъ совершеннымъ миѳомъ, такъ что подъ-конецъ стало даже досадно.

Часамъ къ семи, когда холмы и дорога начали окрашиваться пурпуромъ заката, увидѣли мы передъ собою Puerto Santa-Maria; справа, между бѣлѣющими массами домовъ, открылась синяя полоса океана. Станція желѣзной дороги расположена въ верстѣ отъ города. Кучеръ показалъ знаками, что въ городъ ѣхать незачѣмъ, что можно прямѣе проѣхать къ станціи, что тамъ будетъ несравненно ближе. Дѣйствительно, зданіе станціи, несмотря на сгущавшіеся сумерки, явственно обозначалось слѣва. Мы дали ему знакъ ѣхать скорѣе, потому что, не зная навѣрное времени отправленія поѣзда, хотѣли лучше прибыть раньше.

Вскорѣ однакожъ раскаялись мы въ нашей поспѣшности; но поздно было думать поправлять дѣло. На этой полуверстѣ, отдѣлявшей насъ отъ станціи, мы чуть двадцать разъ не сломали себѣ шеи; съ каждымъ поворотомъ колесъ мы схватывались другъ за дружку, ожидая, что вотъ сію секунду вышвырнетъ насъ на дорогу. Вся мѣстность была взрыта точно послѣ землетрясенія; колеса уходили то въ глубокія ращелины, то въѣзжали на камни, то съ визгомъ скользили по корнямъ исполинскихъ алоэ, которые мрачно высовывались со всѣхъ сторонъ. На половинѣ этого адскаго пути, солнце сѣло и, какъ это здѣсь обыкновенно бываетъ, наступила вдругъ тьма кромѣшная; разъ или два раздался свистъ паровоза: онъ возвѣщалъ, что паровозъ уже готовъ, можетъ даже быть сейчасъ отходитъ.

Къ счастію все ограничилось одними опасеніями и безпокой-

ствомъ; мы благополучно подъѣхали къ станціи и даже прибыли туда минутъ за десять до отправки поѣзда.

На станціи, устроенной по образцу французскихъ станцій, но только съ меньшею роскошью, было такъ мало пассажировъ, что вчужѣ пришлось пожалѣть акціонеровъ; тутъ между прочимъ успѣли мы прочесть объявленіе, которое привѣшено было на всѣхъ стѣнахъ; въ немъ говорилось, что компанія „не отвѣчаетъ за все, что можетъ случиться на дорогѣ съ пассажирами"...

У насъ не было рекомендательныхъ писемъ въ Хересъ. Мы не заботились объ этомъ, потому что до сихъ поръ отлично безъ нихъ обходились. Письма—совсѣмъ даже лишняя вещь въ Испаніи, когда пріѣзжаешь, какъ мы напримѣръ, на самое короткое время. Здѣсь такое изобиліе предметовъ, останавливающихъ любопытство, и все это такъ доступно каждому, что дай Богъ успѣть осмотрѣть все, что хочется; нравы и вся внѣшняя обстановка жизни исполнены въ Испаніи высочайшаго интереса; чтобы хоть сколько нибудь познакомиться съ послѣдними, нужны только желаніе и крѣпкія ноги, способныя выдерживать нѣсколько часовъ въ день фланерства.

При всемъ томъ, надо сказать, мы поступили не совсѣмъ основательно, предпринимая на авось путешествіе въ Хересъ. Единственную занимательность этого города составляютъ, какъ извѣстно, погреба или bodegas, какъ ихъ здѣсь называютъ; такъ какъ эти bodegas принадлежатъ частнымъ лицамъ,—легко могло случиться, что насъ бы туда не пустили безъ особой рекомендаціи. Къ сожалѣнію, все это пришло намъ въ голову уже на пути въ Хересъ.

Мы ѣхали не одни: въ одномъ вагонѣ съ нами сидѣло нѣсколько человѣкъ испанцевъ; желая получить какое-нибудь объясненіе касательно нашего затруднительнаго положенія, мы приступили къ нимъ съ разспросами; съ первыхъ словъ открылось, что ни одинъ слова не зналъ по французски; мимика, спасавшая насъ сколько разъ въ Испаніи, оказалась на этотъ разъ также безполезною: въ вагонѣ было темно, хоть глазъ выколи.

Съ пріѣздомъ въ Хересъ положеніе наше окончательно усложнилось. Выйдя изъ вагона, мы очутились на длинной платформѣ подъ аркой; передъ нами открывалась темная и совершенно почти пустынная площадь. Нѣсколько человѣкъ, завернутыхъ въ плащъ, съ шляпами, надвинутыми на глаза и сигарою во рту, расхаживали по одиночкѣ взадъ и впередъ по платформѣ.

Подобравъ дорожные мѣшки, мы подошли къ ближайшему изъ нихъ.

— Fonda, fonda! possada! заговорили мы, стараясь пояснить жестами, чего добивались; кто тыкалъ пальцемъ въ ротъ и выразительно, аппетитно чмокалъ; кто, приложивъ обѣ ладони къ щекѣ и наклонивъ голову съ видомъ засыпающаго человѣка, принимался даже храпѣть; кто энергически простиралъ руку впередъ, какъ бы желая сказать, чтобы его только скорѣе отсюда вывели.

Незнакомецъ остановился, сверкнулъ въ темнотѣ своими бѣлками, пустилъ клубъ дыму, тряхнулъ шляпой, отвернулся и пошелъ далѣе.

Мы приступили ко второму незнакомцу, повторивъ передъ нимъ ту же сцену; но и здѣсь старанія наши были одинаково безуспѣшны: выслушавъ насъ, повидимому очень внимательно, онъ точно также отвернулся и пошелъ далѣе.

— Господа, чтожъ теперь дѣлать? воскликнулъ С*, который обыкновенно скорѣе всѣхъ падалъ духомъ въ критическихъ случаяхъ; — куда дѣваться? куда идти — прямо, направо или налѣво? Надо же чѣмъ-нибудь кончить. Какое, право, глупое положенье!

— Самое естественное, самое заслуженное положеніе для тѣхъ, которые, являясь въ какую-нибудь страну, не заботятся прежде познакомиться сколько-нибудь съ языкомъ! замѣтилъ П*.

— Сколько разъ говорилъ я, господа, вмѣшался Б. Т., — что отправляясь куда бы то ни было необходимо составлять по крайней мѣрѣ маленькій списокъ самонужнѣйшихъ фразъ и словъ...

— Всѣ твердили объ этомъ, всѣ постоянно объ этомъ заботились, — и между тѣмъ никто до сихъ поръ ни разу этого не исполнилъ! досадливо перебилъ С*. — Всѣ эти размышленія ни кчему однакожъ намъ теперь не послужатъ; надо на что-нибудь рѣшиться. Не ночевать же здѣсь въ самомъ дѣлѣ!

Кто-то подалъ мысль собраться всѣмъ въ одну кучу и кричать fonda и possada до тѣхъ поръ, пока не придутъ къ намъ на выручку. Мысль показалась всѣмъ очень практической.

Секунду спустя, арка и часть площади огласилась такимъ хоромъ, который, по всей вѣроятности, не отличался еще ни на одномъ театрѣ; согласіе голосовъ и слова, произносимыя хоромъ, были въ равной степени замѣчательны.

Тѣмъ не менѣе, все это привело къ желанному результату; не

прошло минуты, къ намъ суетливо подбѣжалъ маленькій человѣкъ въ курткѣ и низенькой шляпѣ.

— Fonda! Possada! закричали мы еще громче, обступая незнакомца. Б. Т., видя, что незнакомецъ отступаетъ, поспѣшилъ протянуть ему ладонь, побрякивая мелкой монетой.

Послѣдній этотъ маневръ оказалъ замѣчательный успѣхъ: маленькій человѣкъ успокоился, одобрительно кивнулъ головой и далъ знакъ, чтобы за нимъ слѣдовали.

Мы прошли нѣсколько темныхъ, узенькихъ улицъ, никого почти не встрѣтивъ; въ рѣдкомъ окнѣ мерцалъ огонекъ. Нельзя однакожъ сказать, чтобы было поздно; припоминая Кадиксъ и Севилью, которые въ это время именно только и кипятъ жизнью, мы не могли объяснить себѣ тишины Хереса. Уже одного этого обстоятельства довольно было, чтобы дать о немъ не очень выгодное понятіе.

— Possada! сказалъ маленькій человѣкъ, останавливаясь передъ дверью угловаго двухъ-этажнаго дома.

Сунувъ ему нѣсколько монетъ, мы пустились вверхъ по лѣстницѣ; поспѣшность наша ясно доказывала, что всѣ мы одинаково были голодны.

Комната, куда мы вошли, освѣщалась единственной жестяной лампадкой, привѣшанной къ мрачной стѣнѣ. Свѣтъ ея позволялъ различать бревенчатый потолокъ, рядъ бутылокъ за прилавкомъ, устроенный въ видѣ алькова, и наконецъ длинный столъ, занимавшій середину комнаты. Съ перваго взгляда поражала здѣсь та же особенность, которая такъ часто встрѣчается въ городахъ Испаніи; особенность состоитъ въ томъ, что заботливость домохозяевъ исключительно, кажется, обращена на внѣшнюю чистоту домовъ; сверкающая бѣлизна наружныхъ стѣнъ, особенно въ фондахъ и посадахъ второго разряда, служитъ самымъ рѣзкимъ контрастомъ съ внутреннею обстановкой; ее составляютъ обыкновенно голыя, закопченныя стѣны, такой же потолокъ, кирпичный, неровный полъ, жирныя скамейки и столъ, покрытый толстой скатертью весьма сомнительной свѣжести.

Шумъ, произведенный нами, разбудилъ хозяина, который лежалъ въ растяжку подлѣ прилавка. При видѣ многочисленнаго общества, которое обѣщало ему явную выгоду, онъ нимало однакожъ не обрадовался; напротивъ онъ досадливо отвернулъ голову, потирая ладонью сонные глаза, и даже произнеся нѣсколько проклятій.

Нимало не обезкураженные такой выходкой, мы побросали на

подъ дорожные мѣшки, шумно разсѣлись вокругъ стола и приступили къ той пантомимѣ, какую пускаютъ въ ходъ балетные пейзаны и разбойники, когда, остановившись передъ оторопѣвшимъ трактирщикомъ, настоятельно показываютъ, что желаютъ добраться до его погреба и кухни.

Мрачное настроенiе владѣльца посады, повидимому, только усилилось; пробудившись окончательно и сверкая глазами, онъ ринулся впередъ, простеръ руки и прокричалъ громкимъ голосомъ:

— Chicolata!

— No, no chicolata! Не хотимъ шоколада! отозвались всѣ хоромъ, дергая отрицательно головою: — вотъ еще что выдумалъ! No, no chicolata! No...

— Можетъ статься у него ничего нѣтъ кромѣ шоколада...

— Не можетъ быть! чтоже это за посада послѣ этого! Наконецъ, что до меня касается, я положительно не могу пить шоколада: я такъ голоденъ, что выпью семь чашекъ и къ завтраму навѣрное буду боленъ...

— Знаете-ли что, господа, проморвилъ Б. Т.: —не обратиться ли намъ къ нашей любезной tortillas per herbas? На этотъ разъ она была бы вовсе нелишнею...

— Превосходно! Tortillas per herbas! закричали всѣ въ одинъ голосъ.

— Chicolata отозвался трактирщикъ еще упрямѣе и досадливѣе прежняго.

— Tortillas! tortillas! прокричали мы, стуча кулаками по столу.

При этомъ трактирщикъ вышелъ уже окончательно изъ себя; онъ началъ было что-то говорить, но вдругъ остановился, ухватилъ себя за волосы и яростно затопалъ ногами...

Не знаю чѣмъ бы все это кончилось, еслибъ въ эту самую минуту не вошелъ въ комнату новый гость; то былъ высокiй, толстый господинъ съ широкимъ, улыбающимся лицомъ. Трактирщикъ бросился къ нему и началъ говорить очень скоро, сопровождая каждое слово самыми отчаянными жестами.

Можете судить о нашей радости, когда незнакомецъ, обратясь къ намъ, заговорилъ вдругъ пофранцузски; радость удвоилась, когда онъ объявилъ, что говоритъ поиспански такъ же хорошо, какъ на родномъ языкѣ. Это былъ купецъ изъ Бордо, прiѣзжающiй сюда ежегодно для закупки винъ, которыми торговалъ съ Бельгiей,

онъ завернулъ въ посаду, чтобы посмотрѣть, не было ли тутъ его товарищей. Но увы! радость наша не была продолжительна; онъ сказалъ, что въ посадѣ, несмотря на то, что она единственная въ Хересѣ, ничего нельзя было достать кромѣ шоколада и кукурузнаго хлѣба.

— Утромъ, во время рынка, другое дѣло, но теперь придется голодать, если вы не охотники до шоколада, сказалъ онъ.—Хересъ въ этомъ отношеніи жалкій городишка; здѣсь пріѣзжающіе останавливаются или у знакомыхъ, или на квартирахъ отъ жильцовъ; впрочемъ, постойте, межетъ-быть что-нибудь еще и найдется! примолвилъ онъ, весело подмигивая;—здѣсь даже за деньги нерѣдко приходится выманивать услуги трактирщика, какъ милость какую-нибудь.

Переговоривъ съ хозяиномъ, который упрямо и горячо о чемъ-то спорилъ, французъ радостно объявилъ намъ, что нашлась утка.

Пока жарили утку, мы воспользовались случаемъ и начали разспрашивать новаго знакомца, какъ сдѣлать, чтобы осмотрѣть погреба.

— Очень легко, сказалъ онъ: — какой погребъ желаете вы осмотрѣть?

— Намъ говорили въ Севильѣ, что здѣсь самый знаменитый погребъ принадлежитъ Домеку.

— Превосходно! это мой соотечественникъ; онъ будетъ очень радъ вашему посѣщенію; самого Домека нѣтъ въ Хересѣ, но это все равно: здѣсь его племянникъ, очень обязательный и милый человѣкъ; вы прямо къ нему адресуйтесь. Къ сожалѣнію, я завтра ѣду, а то бы самъ васъ туда свелъ; но это все равно, имя Домека такъ популярно въ Хересѣ, что стоитъ сказать его первому muchacho—онъ прямо приведетъ васъ на мѣсто.

Наконецъ явилась столь ожидаемая утка.

— Ma foi, je ne m'attendais pas à un c a n a r d pareil! Il est fort celui-là—воскликнулъ французъ, заглядывая въ блюдо и заливаясь дребезжащимъ смѣхомъ.

Но хорошо было ему смѣяться на сытый желудокъ; каково намъ приходилось при видѣ этой утки, состоявшей буквально изъ одного каркаса, обтянутаго кожей, пережженнаго въ оливковомъ маслѣ! Непостижимымъ дѣлалось, какъ могла существовать такая птица: хоть бы одинъ живой мускулъ, хоть бы одинъ тонкій ломтикъ мяса! Дѣлать нечего, пришлось обратиться къ шоколаду.

— Да, забавная страна! говорилъ французъ, не умолкавшій ни на минуту:—почва плодородна болѣе чѣмъ гдѣ-нибудь; народъ одаренъ всѣми способностями, и между тѣмъ все, къ чему ни при-

тропешься, — въ самомъ дикомъ, младенческомъ состояніи!.. Не желаю вамъ, господа, доброй ночи, довершилъ онъ, прощаясь съ нами:—это невозможно въ гостинницѣ Хереса; такое желаніе имѣло бы даже видъ насмѣшки,—впрочемъ сами увидите.

Онъ нисколько не преувеличивалъ. Мнѣ и Б. Т. отвели маленькую комнату съ кирпичнымъ, голымъ поломъ и двумя низенькими диванами, покрытыми вмѣсто подушки какими-то жесткими валунами, которые врѣзывались въ ребра; въ окнѣ, доходившемъ до полу, недоставало двухъ нижнихъ стеколъ; одно изъ нихъ завѣшивалось тряпкой; раздуваясь по волѣ вѣтра, она только напускала еще больше воздуха. Но это были еще цвѣточки; едва улеглись мы на диваны и задули свѣчку, тѣло наше почувствовало такой зудъ, какъ-будто насъ заживо поджаривали; минутъ черезъ пять мы начали даже стонать: такъ облѣпили насъ насѣкомыя. Комната эта давно, я думаю, не слыхала такихъ ожесточенныхъ проклятій. Пособить этому не было никакой возможности; не ночевать же въ самомъ дѣлѣ на улицѣ! Ворочаясь чуть не до зари, мы однакожъ заснули.

Немало удивились мы, когда утромъ, взглянувъ на часы, увидѣли, что уже девять.

Подкрѣпивъ силы свои неизбѣжнымъ шоколадомъ, общество наше, спавшее не лучше нашего, отправилось прямо къ Домеку. Французъ сказалъ правду: первый muchacho, къ которому обратились мы съ именемъ Домека и которому показали мелкую монету, тотчасъ же понялъ, чего мы отъ него хотѣли.

Проходя городомъ, мы немало удивились, увидя улицы запруженными народомъ. Куда дѣвалась вчерашняя тишина! Все суетилось, двигалось и страшно кричало. Здѣсь, узнали мы потомъ, происходили въ этотъ день какіе то важные выборы. Внѣшняя физіономія Хереса, кромѣ общихъ чертъ, свойственныхъ всѣмъ городамъ Андалузіи, то-есть узенькихъ, извилистыхъ улицъ, затемненныхъ выступающими крышками низкихъ выбѣленныхъ домовъ, усѣянныхъ зелеными жалюзи,—не представляетъ ничего особенно характернаго; мы все это видѣли уже сотни разъ. Спускаясь по одной изъ улицъ, замкнутой слѣва огромнымъ сѣрымъ и совершенно голымъ зданіемъ собора (внутри онъ такъ же мало замѣчателенъ, какъ и снаружи)—мы увидѣли рядъ бѣлыхъ стѣнъ; онѣ окружали множество высокихъ строеній, столпившихся въ одну кучку; это были владѣнія Домеки.

Они занимаютъ большое пространство и состоятъ изъ множества отдѣльныхъ дворовъ; каждый дворъ имѣетъ свое спеціальное назначеніе. Здѣсь каждый день, впродолженіе круглаго года, употребляется до двухсотъ работниковъ; во время сбора винограда число это возрастаетъ до полуторы тысячи. Но самое замѣчательное здѣсь, это самые погреба. Девять каменныхъ корпусовъ въ родѣ нашихъ манежей, но только выше, и освѣщенныхъ сверху, установлены снизу до верху рядами бочекъ; каждый рядъ отмѣченъ ярлыкомъ и представляетъ особое отдѣленіе; здѣсь отдѣленіе винъ, отличающихся другъ отъ друга сортомъ винограда: пахерете, амонтильядо,—такое, которое совершило кругосвѣтное плаваніе, такое, которое собирается его сдѣлать и такъ далѣе; тутъ отличіе состоитъ въ большемъ или меньшемъ времени, которое вино стоитъ въ бочкахъ. Время, какъ извѣстно, удобряетъ хересъ; улучается онъ также и дѣлается мягче черезъ сообщеніе съ воздухомъ. Хересъ, какъ большая часть крѣпкихъ южныхъ винъ, содержитъ въ себѣ много спирту; извѣстная часть алькоголя должна улетучиваться, и потому большая часть бочекъ стоитъ съ открытыми отверстіями.

Намъ давали пробовать, между прочимъ, вино, которому сто тридцать лѣтъ; его всего двѣ бочки; оно не продается, но время отъ времени хозяева дарятъ по нѣсколько бутылокъ значительнымъ лицамъ. На мой вкусъ, вино это имѣетъ свойство всего знаменитаго, авторитетнаго: издали подходишь съ благоговѣніемъ; попробуешь—ничего нѣтъ особеннаго такъ что даже выбранишь себя за преждевременное поклоненіе. Вино это попеременно носило названіе всѣхъ великихъ людей своего времени: до четырнадцатаго года на бочкѣ начертано было мѣломъ: Наполеонъ I; послѣ того, первый путешествующій англичанинъ стеръ это имя и написалъ на его мѣстѣ: Велингтонъ; послѣднее имя и теперь еще красуется на бочкахъ. Изъ виноградниковъ Домека ежегодно добывается тысяча пятьсотъ тоннъ вина, по тридцати аробовъ въ каждомъ тоннѣ (ароба равняется шестнадцати литрамъ). Годичный запасъ состоитъ изъ пятнадцати тысячъ боченковъ вина всѣхъ возможныхъ сортовъ и достоинствъ.

Насъ, весьма натурально, интересовало узнать, въ какой силѣ существуетъ торговля между Хересомъ и Россіей. Племянникъ Домека, вызвавшійся быть нашимъ чичероне, зналъ очень хорошо имена главныхъ нашихъ виноторговцевъ; онъ сообщилъ, что вотъ уже скоро девять лѣтъ, какъ домъ ихъ прекратилъ съ Россіей всякія сношенія.

— Это почему? спросили мы.

— Ваши виноторговцы требовали слишкомъ низкіе сорта; для насъ выгоднѣе оставлять такое вино у себя дома; мѣста у насъ много; простоявъ у насъ нѣсколько лѣтъ, оно получитъ доброту, которая потомъ при продажѣ удвоиваетъ цѣнность вина; кромѣ того та еще выгода, что выпуская только хорошее вино, мы поддерживаемъ репутацію дома. Но другіе погреба торгуютъ съ Россіей; у васъ также пьютъ настоящій, хорошій хересъ, но только, сколько мнѣ извѣстно, онъ выписывается изъ Англіи; въ Англію хересъ привозится не иначе какъ разбавленный водкой: онъ иначе не выдерживаетъ перевозку моремъ.

Боченокъ въ шестьсотъ бутылокъ хорошаго вина стоитъ въ Хересѣ около трехсотъ пятидесяти рублей серебромъ; есть сорта несравненно дороже. Объ обширной дѣятельности завода Домеки можете судить по башнѣ, которая сложена на одномъ изъ дворовъ изъ дубовыхъ брусьевъ, предназначающихся для ежегоднаго изготовленія бочекъ; насъ было восемь человѣкъ и всѣ мы свободно взбирались по ея лѣстницѣ, сложенной изъ тѣхъ же брусьевъ; съ высоты этой башни открываются не только владѣнія завода, но часть города и ближайшая окрестность.

Насъ пригласили въ домъ владѣльца, — очень роскошный домъ, въ которомъ между прочимъ находится интересное собраніе картинъ старыхъ испанскихъ мастеровъ. Но намъ было не до картинъ, тѣмъ менѣе, что, сколько помнится, ни одной не было особенно знаменитой.

Несмотря на невыгодное впечатлѣніе, произведенное Хересомъ, каждый изъ насъ невольно начиналъ чувствовать тоску, предшествующую разлукѣ: этотъ день былъ послѣднимъ, который проводили мы въ Испаніи. Мы поспѣшили проститься съ обязательнымъ племянникомъ Домека, чтобы поспѣть во время на желѣзную дорогу къ трехчасовому поѣзду.

Хересъ, сколько можно судить изъ оконъ вагона, раскинутъ посреди холмистыхъ полей. Это тѣ самыя поля, на которыхъ въ началѣ восьмого столѣтія арабы одной битвой завоевали у готѳовъ Испанію; но историческій интересъ не придаетъ имъ никакой красоты; самые виноградники, которыми покрыты скаты холмовъ, представляли теперь самый жалкій видъ; плоды были собраны; внаружу вмѣсто густой кудрявой зелени, высовывались миріады голыхъ тычинокъ; подъ ними лежали взбудораженными грудами рыжіе, блеклые листья. Тотъ же рыжеватый тонъ распространялся

на лугахъ, которые, чѣмъ дальше отъѣзжаешь отъ Хереса, тѣмъ больше овладѣваютъ мѣстностью; однообразіе прерывается большими стоячими лужами. Вы представить себѣ не можете, до чего, мѣстами, поражаетъ здѣсь страшная запущенность. Безпечность ли народа тому виною, или малое населеніе — не знаю; на каждомъ шагу встрѣчается мѣстность, которая для землевладѣльца была бы кладомъ; она отвѣчаетъ на всѣ условія выгодной разработки; сила растительности высказывается исполинскими алоэ, достигающими иногда до двухъ съ половиной саженей; ко всему этому между тѣмъ, со времени арабовъ, рука человѣческая не прикоснулась. Въ странѣ, гдѣ вода такая рѣдкость, — послѣ каждаго дождя стекаются въ низменныя мѣста, какъ здѣсь напримѣръ, огромныя лужи, — стоитъ только нѣсколькимъ рукамъ притронуться, чтобы разлить эту воду по канавкамъ и тѣмъ оплодотворить почву. Но руки не являются, лужи пересыхаютъ, а до того времени распространяютъ въ воздухѣ заразу.

Въ пятомъ часу прибыли мы въ Puerto Santa-Maria, небольшой, но очень оживленный и живописный городокъ на песчаномъ берегу голубого залива, который отдѣляетъ его отъ Кадикса. Насъ привели въ отличную посаду. Столовая — чистая, свѣжая комната, обставленная горшками съ зеленью и удобною мебелью — расположена въ нижнемъ этажѣ. Изъ оконъ открывается видъ на море, усѣянное какъ пухомъ бѣлыми мелкими парусами.

Давно не имѣли мы въ Испаніи такого славнаго обѣда; онъ состоялъ изъ превосходныхъ, только-что вынутыхъ изъ воды устрицъ, свѣжихъ жареныхъ бараньихъ котлетъ съ бобами, хорошаго вина и плодовъ.

Puerto — любимая лѣтняя прогулка жителей Кадикса и другихъ ближайшихъ городовъ; окрестности Puerto усѣяны садами и дачами богатыхъ мѣстныхъ негоціантовъ и землевладѣльцевъ. Онъ славится также своими родниками, изъ которыхъ многіе имѣютъ цѣлебное свойство. Обернитесь спиною къ морю, а лицомъ станьте къ городу, и передъ вами, за первымъ планомъ бѣлыхъ домовъ, насаженныхъ другъ на дружку, съ ихъ террасами и зелеными жалюзи оконъ, — развертываются отлогіе холмы исполосованные бѣлыми линіями стѣнъ, изъ-за которыхъ вырывается самая роскошная растительность; мѣстами надъ нею выбѣгаютъ длинные чешуйчатые стволы пальмъ съ ихъ раскидистою, граціозною верхушкой. На всемъ этомъ, при обыкновенной прозрачности здѣшняго воздуха, яркости освѣщенія и голубизнѣ неба, лежитъ печать чего-то веселаго, милаго и въ высшей степени живописнаго. Puerto славится

также по всей Андалузіи своими боями быковъ; здѣшняя арена одна изъ лучшихъ. Но, какъ я уже сказалъ, говоря о Кадиксѣ, намъ не удалось видѣть этого зрѣлища; бои быковъ оканчиваются съ исходомъ сентября; причина этого, какъ сказали намъ—дожди, которые появляются около этого времени; почва арены размягчается и дѣлается неспособною для эволюцій матадоровъ, chulos, бандерильосовъ и проч.

Какъ здѣсь обыкновенно бываетъ,—все населеніе съ наступленіемъ вечера, высыпало изъ домовъ, и улицы ярко запестрѣли. Въ Puerto любимое мѣсто прогулки — Victoria, апельсинная роща, раскинувшаяся по берегу моря. Здѣсь, точно также какъ въ Севильѣ и Кадиксѣ, съ перваго взгляда бросается въ глаза значительное преобладаніе женскаго пола надъ мужскимъ. Большинство женщинъ вмѣсто черной кружевной мантильи, покрываетъ голову яркимъ краснымъ платкомъ, который ниспадаетъ складками ниже колѣнъ; такой нарядъ идетъ какъ нельзя лучше къ смуглому цвѣту лица, чернымъ волосамъ съ голубоватой волной и блестящимъ андалузскимъ глазамъ; типъ женщинъ не такъ строгъ, какъ у кадиксанокъ; онъ скорѣе приближается къ живому типу женщинъ Севильи. Чѣмъ не далѣе заходили мы впередъ, тѣмъ болѣе попадалось хорошенькихъ; успѣешь остановить глаза на одной, смотришь—идетъ еще красивѣе.

Но увы! въ то самое время, когда подъ тѣнью апельсинныхъ деревъ Victoria прибывало съ каждой минутой больше гуляющихъ, когда сквозь веселый шумъ толпы, смѣхъ и шелестъ вѣеровъ, стали мѣстами раздаваться акорды гитаръ, когда съ послѣдними вспышками огненнаго заката, Puerto явился передъ нами во всей красѣ своей,—намъ слѣдовало съ нимъ разстаться!

Катеръ давно уже ожидалъ насъ у пристани. Отъ Puerto до Кадикса одиннадцать верстъ. Нашъ корабль стоялъ отъ Кадикса въ полуверстѣ; приходилось слѣдовательно плыть болѣе десяти верстъ, а вдобавокъ плыть въ греблю, потому что тишина воздуха не позволяла поставить парусъ.

Расположившись въ катерѣ лицомъ къ берегу, такъ чтобы по крайней мѣрѣ не выпускать его изъ виду какъ можно долѣе, мы любовались городомъ до тѣхъ поръ, пока быстро набѣжавшія сумерки и наконецъ отдаленье не скрыли его изъ виду. Разъ или два вѣтерокъ принесъ намъ какіе-то неясные звуки, и наконецъ все смолкло и затушевалось ночью. Тогда вниманіе наше обратилось въ другую сторону залива, къ Кадиксу... Мы всѣ любили его;

каждый вынесъ оттуда столько милыхъ, незабвенныхъ впечатлѣній! Но Кадиксъ былъ слишкомъ еще далекъ.

Вокругъ насъ разстилалась во всѣ стороны и уходила въ темноту незыблемая гладь залива. Небесный сводъ, который здѣсь, несмотря на густоту синяго цвѣта, кажется несравненно глубже и еще необъятнѣе, чѣмъ на сѣверѣ, усыпанъ былъ звѣздами; онѣ отражались въ морѣ во всей чистотѣ своего алмазнаго блеска; слѣдъ нашего катера сверкалъ такимъ фосфорическимъ блескомъ, что позволялъ различать лица; съ каждымъ ударомъ веселъ, вода закипала вокругъ милліонами огненныхъ искръ и стекала потомъ съ веселъ серебристыми, блистающими струями.

Нѣсколько недѣль назадъ, эта самая прогулка вырвала бы у насъ крики восторга. Теперь мы плыли молча. Прелесть настоящаго впечатлѣнія усиливала только тягостное чувство разлуки. — „Въ послѣдній разъ! въ послѣдній!.. Прощай! Долго не увидимся. Можетъ быть даже никогда больше!..“ повторялъ поочередно то тотъ, то другой. Легко было замѣтить, что въ душѣ каждаго скрывалась одна и та-же мысль; ее можно было перевести такими словами: — „Ничего, что Испанія такъ далеко отстала во многомъ отъ Европы: несмотря на всѣ ея неудобства, безпорядки, безобразіе управленія, дикость и запущенность; несмотря на голодъ, который часто приходится испытывать, на жосткія постели, на tortillas съ оливковымъ масломъ и несвѣжими яйцами; несмотря даже на клоповъ и блохъ, живо напоминающихъ родное отечество, — Испанія все-таки самая увлекательная, поэтическая часть Европы, и разставаться съ нею куда какъ не хочется!“

Уже поздно ночью увидѣли мы передъ собою огромную, черную глыбу нашего корабля; онъ тихо поскрипывалъ, очерчивая въ звѣздномъ небѣ свои веревки и мачты. За нимъ, неподалеку и ниже къ горизонту, сверкалъ знакомый рядъ огней на Аламедѣ Кадикса, гдѣ мы провели чуть ли не лучшіе часы изо всего нашего путешествія.

Съ зарею мы снова увидѣли бѣлый, милый Кадиксъ съ его террасами, цвѣтами, вышками и безчисленными зелеными балконами; но любовались мы имъ уже недолго; притомъ любовались съ палубы корабля, который летѣлъ на всѣхъ парусахъ и съ каждой минутой все дальше уносилъ насъ въ открытое море...

VII.

Ницца и Генуя.

Сѣверъ на югѣ.—Черта изъ корабельныхъ нравовъ.—Вилла-франка.—Интересная соотечественница.—Мишель Пупо снова выступаетъ на сцену.—Ницца à vol d'oiseau.—Цвѣточная лавка.—Прогулка англичанъ.—Table d'hôte.—M-r Sotumier.—Ущелье Маньяно.—Генуя.—Общее впечатлѣніе.—Снова въ Ниццѣ.—Несостоявшійся клубъ.—Неудобства.—Пріятная встрѣча съ соотечественникомъ.—Закладка русской церкви.—Прогулка въ S-t Jean.

Средиземное море встрѣтило насъ очень непривѣтливо. Впрочемъ, по настоящему, такъ и слѣдовало ожидать: съ одной стороны, наступило уже то время года, когда стоитъ отправиться въ любое море, чтобы неизбѣжно испытать качку, холодъ, вѣтеръ, шквалы, дождь,—словомъ, всякую гадость; съ другой стороны, мы пользовались въ Испаніи слишкомъ уже долгимъ періодомъ райскихъ дней, чтобы это могло пройти намъ даромъ. Законъ равновѣсія, который такъ справедливо развѣшиваетъ въ жизни человѣческой порціи радости съ порціями горечи, спѣшилъ, однакожъ, надо сказать, съ особеннымъ усердіемъ исполнить надъ нами свой приговоръ.

24 октября (нашего стиля), т. е. въ тотъ самый день, какъ „Ретвизанъ" оставилъ Кадиксъ, небо, воздухъ и море, такъ перемѣнились, что можно было думать, насъ чудомъ какимъ-то перенесло вдругъ на сѣверъ. Куда дѣвалась эта глубокая, густая лазурь, насквозь проникнутая золотымъ сіяніемъ! Куда дѣвалась величавая океанская зыбь, сквозившая противъ солнца, какъ плавленое синее стекло!.. Каждый изъ насъ, обогрѣваемый столько дней жаркими лучами испанскаго солнца, и утромъ еще гулявшій въ лѣтней одеждѣ, съ явнымъ неудовольствіемъ укутывалъ теперь шею въ cache-nez, пряталъ руки въ карманы теплаго пальто и притаптывалъ ногами, засунутыми въ резиновыя калоши.

Не прошли мы десятка два узловъ, какъ все вокругъ насъ и подъ нами окуталось однообразнымъ, тусклымъ сѣрымъ цвѣтомъ;

пронзительный вѣтеръ, летѣвшій словно прямо изъ Петербурга, усиливался съ каждымъ часомъ. Къ этому вскорѣ присоединился частый, мелкій дождикъ. Такъ какъ общество „Ретвизана“ состояло, большею частію, изъ обывателей Петербурга и Кронштадта, и слѣдовательно всѣ, больше или меньше, могли считаться знатоками всего, что касалось признаковъ скверной, ненастной погоды,— стоило оглянуться вокругъ, чтобы рѣшить навѣрное, что дождику конца не будетъ. Все это, конечно, съ успѣхомъ напоминало намъ отечество; но не могу сказать, однакожъ, чтобы такое воспоминаніе кого-нибудь особенно радовало въ настоящую минуту. Всѣ, по большей части, хмурились, ворчали и, скользя по палубѣ въ своихъ резиновыхъ калошахъ, спѣшили укрыться въ каюты.

На другое утро, часу въ седьмомъ будитъ меня Михайло.

— Вставайте, в. б., берегъ видать!

Узнавъ еще наканунѣ, что около этого часа „Ретвизанъ“ долженъ приблизиться къ Гибралтару, я поспѣшилъ одѣться и выбѣжалъ на ютъ.

Дождь пересталъ, но суровый, холодный вѣтеръ, налетавшій порывами, безпокойно крутилъ гряды облаковъ и рвалъ пѣну съ верхушки валовъ. Влѣво отъ носа корабля, сквозь сѣрый, тусклый свѣтъ, начинала выступать громадная гора, съ отливомъ чернильнаго цвѣта; отвѣсно и какъ бы одиноко стоя надъ моремъ, она постепенно затушевывалась туманомъ и наконецъ пропадала въ облакахъ. Въ то же время справа, но нѣсколько далѣе, обозначилась другая гора; она казалась еще сумрачнѣе первой и точно также исчезала верхушкой въ облакахъ.

Тутъ, можетъ быть, вовсе не слѣдовало бы обращать вниманія на то, что мы не были въ Гибралтарѣ, и приступить къ описанію этого достопримѣчательнаго мѣста, или, по крайней мѣрѣ, сказать нѣсколько словъ о его значеніи въ политическомъ и военномъ отношеніи; это было бы очень легко; стоило бы только сдѣлать нѣсколько выписокъ изъ тѣхъ книгъ, которыя, благодаря качкѣ, поминутно сваливаются съ моей полки; но бѣда въ томъ, что мы дали себѣ слово при началѣ плаванія, строго держаться правила описывать только то, что видѣли, или что приводилось лично испытывать. Основываясь на этомъ, всѣ наши впечатлѣнія касательно Гибралтара и мрачнаго его сосѣда, Обезьяновой горы, поневолѣ должны ограничиться едва уловимыми образами двухъ гигантскихъ скалъ, на половину задернутыхъ тучами. Мы ничего не видали

больше, не смотря на то, что имѣли ихъ передъ глазами часовъ семь. Теченіе изъ Средиземнаго моря было такъ сильно, что мы двигались узла по полтора въ часъ. Къ вечеру, когда обѣ горы остались за нами, мы встрѣтили цѣлую флотилію рыбацкихъ лодокъ; поставивъ всѣ свои паруса, которые „круглились и бѣлѣли, какъ полныя груди нереидъ, играющихъ на волнахъ“, они стремительно неслись къ берегу; нельзя было имъ не позавидовать, даромъ что столько мѣсяцевъ ждали мы минуты, когда войдемъ въ Средиземное море. При качкѣ, дождѣ, вѣтрѣ и холодѣ, оно ничѣмъ не лучше другихъ прозаическихъ морей; совершенно тотъ же однообразный сѣрый видъ и тѣ же неудобства. По крайней мѣрѣ вплоть до Виллафранки, т. е. въ продолженіе одиннадцати дней, мы ничего не испытывали, кромѣ дурного запаха каютъ, ничего не слыхали, кромѣ скрипа перегородокъ, плеска волнъ и свиста вѣтра въ снастяхъ, ничего не видали новаго, кромѣ сѣрыхъ, дождевыхъ тучъ, сѣраго моря, пропадавшаго въ туманѣ, и, время отъ времени, давно знакомыхъ лицъ, зеленѣвшихъ отъ качки. Словомъ, скука была смертная.

Оставалось еще благодарить судьбу, что она помѣстила на военный корабль; тутъ, по крайней мѣрѣ, бытъ и нравы, благодаря своему разнообразію и своей оригинальности, не даютъ заснуть наблюдательности и, такимъ образомъ, доставляютъ постоянное развлеченіе.

Не помню, гдѣ-то, по поводу выборовъ въ содержатели каютъ-компаніи, я сравнилъ ихъ съ выборами дворянства въ губернскомъ городѣ. Несмотря, что общество каютъ-компаніи и общество губерскаго съѣзда,—состоятъ изъ однихъ и тѣхъ же россійско-дворянскихъ элементовъ, надо сказать, они разнятся взглядами на предметы. Справедливость требуетъ прибавить, что взглядъ дворянскихъ съѣздовъ, въ прогрессивномъ отношеніи, далеко ушелъ противъ взгляда каютъ-компаніи.

Такъ, напримѣръ, лица, входящія въ залу дворянскаго собранія, составляютъ одно общество, связанное однимъ знаніемъ, однимъ интересомъ; здѣсь всѣхъ уравниваетъ общій принципъ; здѣсь не принимается также въ разсчетъ родословная; главную роль играетъ личность. На кораблѣ не такъ; въ обществѣ каютъ-компаніи, рѣдко превышающемъ тридцать человѣкъ, недостаточно носить званіе офицера, чтобы васъ считали равнымъ со всѣми. Въ морской службѣ, сколько я замѣтилъ, вопросъ о равенствѣ званія далеко еще не

рѣшенъ; вы можете приводить какіе угодно доказательства, что люди разнятся другъ отъ друга только степенью ума, способностями, образованіемъ, личными заслугами и пользою, какую приносятъ,— вамъ рѣшительно не повѣрятъ. Я неоднократно слышалъ самые убѣдительные доводы, что офицеръ, какой бы онъ ни былъ, но родившійся отъ помѣщика, словомъ дворянскаго рода, все-таки дворянинъ, а офицеръ, отецъ котораго не былъ дворяниномъ, будь онъ хоть во сто разъ умнѣе, полезнѣе и благовоспитаннѣе перваго, все-таки не можетъ равняться сыну помѣщика.

При внимательномъ наблюденіи, васъ поражаетъ здѣсь слѣдующее: вы видите благороднаго (въ настоящемъ смыслѣ слова), милаго, вполнѣ достойнаго офицера, который работаетъ круглый день, несетъ дѣйствительную службу, и родъ его занятій таковъ, что онъ подлежитъ самой строгой отвѣтственности; положимъ, онъ штурманъ или механикъ. Вы видите другого офицера, который на кораблѣ ровно ничего не дѣлаетъ (онъ такъ плохъ, что ему ничего не довѣряютъ); въ каютъ-компаніи онъ ограничиваетъ свою дѣятельность тѣмъ только, что бранится и ссорится съ своими товарищами; положимъ, онъ просто морской офицеръ. Послѣдній считаетъ себя, однакожъ, и другими также считается, выше перваго; и какъ бы вы думали, почему такъ? Потому что родитель его былъ помѣщикъ, или такой же офицеръ, извѣстный тѣмъ только, что, въ свое время, больно сѣкъ мужиковъ или матросовъ! Есть чѣмъ гордиться, нечего сказать...

Но погода далается уже до такой степени скверною, качка такъ усиливается, что отнимаетъ даже охоту дѣлать наблюденія.

Перейдемъ прямо къ той минутѣ, когда „Ретвизанъ" 'обдаваемый ливнемъ съ головы до ногъ, началъ входить въ гавань Виллафранки, извѣстную у древнихъ географовъ подъ именемъ Portus Herculis. Не знаю, насколько заслуживаетъ вѣроятія и сколько можетъ казаться интереснымъ преданіе, будто бы гавань эта вырыта товарищами Геркулеса, въ память побѣдъ, одержанныхъ ими надъ лигурійцами; знаю только, что древность ея происхожденія ровно ничего не стоитъ передъ ея живописностію.

Представьте себѣ круглый бассейнъ, окруженный со всѣхъ сторонъ высокими скалами и каменистыми, громадными уступами, которые какъ бы скатываются по бокамъ конусообразной горы, увѣнчанной облаками; послѣдняя замыкаетъ дно гавани, какъ задняя декорація въ театрѣ. По ней, прямо противъ насъ, на значительной

высотѣ, проходитъ знаменитая дорога corniche, которая ведетъ изъ Ниццы въ Геную. Уступы ея, точно также какъ вершины примыкающихъ къ ней скалъ, покрыты оливками, фиговыми и лимонными деревьями; мѣстами зелень свѣшивается надъ обрывомъ; мѣстами оливковыя и лимонныя плантаціи сбѣгаютъ волнами по отлогимъ холмамъ и почти обмываютъ свои корни въ голубыхъ волнахъ бассейна. Общій эффектъ этой панорамы такъ великолѣненъ, что въ первую минуту не замѣтишь даже самаго города Вилла-франки. Онъ бѣлѣетъ слѣва и подобно всѣмъ древнимъ приморскимъ городамъ расположенъ на крутой скалѣ; каменные дома его съ плоскими крышами и террасами такъ тѣсно группированы, что съ какой точки ни смотришь, нѣтъ возможности замѣтить улицъ; все представляется одною сплошною бѣлою массою, кой-гдѣ открывающей бурую, черепичную кровлю, верхушки лимоннаго дерева или синеватый пучокъ алоэ. Городъ защищенъ зубчатымъ, порыжѣвшимъ и позеленѣвшимъ отъ времени, фортомъ; онъ выстроенъ нѣсколько ниже, на отдѣльной скалѣ, которая выступаетъ въ море... Это собственно старый городъ. По мѣрѣ того, какъ проходило время неожиданныхъ нападеній,—время Доріевъ, Барбарусъ, восточныхъ пиратовъ и проч.—обыватели стали мало по малу распространять свои владѣнія внѣ условной черты; начали строиться по скату скалы, пробили въ ней ступени, такъ что теперь городъ подходитъ почти къ самому морю. Въ этой нижней части находится арсеналъ, лазаретъ, кузницы и нѣсколько каменныхъ пакгаузовъ; изъ нихъ одинъ, ближайшій ко входу въ гавань, надѣлалъ въ свое время довольно много шуму; это тотъ самый, который уступили намъ съ правомъ складывать въ немъ запасъ угля, такелажъ и держать, для охраненія ихъ, трехъ матросовъ. Тутъ же неподалеку находится пристань. За исключеніемъ мелкихъ рыбацкихъ и лоцманскихъ лодокъ и еще нашего фрегата „Полканъ", недавно прибывшаго сюда изъ Греціи, во всей гавани не было другихъ судовъ.

Пока мы все это разсматривали, и „Ретвизанъ" становился на якорь,—дождь какъ рукой сняло; хребты сизыхъ тучъ потянулись въ одну сторону; мѣстами стало даже просвѣчивать, что замѣтно было не столько въ небѣ, сколько на верхнихъ скалахъ горъ, которыя то и дѣло открывали новыя перспективы и подробности.

Не знаю навѣрное, способствовало-ли тому улучшеніе погоды или личное усердіе, подкрѣпляемое соображеніями дипломатическаго свойства, только къ намъ не замедлилъ явиться секретарь нашего

консула въ Ниццѣ. Самъ консулъ былъ нездоровъ или въ отсутствіи,—не помню хорошенько.

— Господа,—сказалъ секретарь, послѣ обычныхъ поздравленій и привѣтствій, и послѣ того какъ предложены были имъ всевозможныя услуги, въ числѣ которыхъ первую роль играли провизія и уголь, которыми онъ же торговалъ, какъ открылось впослѣдствіи,— господа, я долженъ объявить вамъ—не смотря на все счастіе васъ видѣть, вы, надо сказать, прибыли сюда въ самую неблагопріятную минуту!

— Что же случилось?

— Случилось... случилось... не знаю право какъ бы выразиться поделикатнѣе...

— Вы насъ пугаете...

— Нѣтъ, это до васъ не касается, т. е. лично не касается, хотя... вообще говоря...

— Но что такое, говорите ради Бога...

— Случилось, что не далѣе какъ два дня назадъ, одну изъ нашихъ соотечественницъ посадили въ тюрьму!

— Какъ такъ?

— Очень просто,—за долги!

— За долги?

— Да; она задолжала въ Ниццѣ болѣе шестидесяти тысячъ франковъ; по всей вѣроятности, у нея прежде было довольно своихъ денегъ; иначе, согласитесь, ей не было бы возможности пустить пыль въ глаза. Она появлялась на всѣхъ прогулкахъ въ блистательнѣйшихъ экипажахъ, разъ по пяти въ день мѣняла великолѣпные туалеты; словомъ, съ первыхъ же дней убила роскошью богатѣйшихъ англійскихъ леди; все это открыло ей огромный кредитъ въ Ниццѣ; она имъ воспользовалась и, такимъ образомъ, задолжала шестьдесятъ тысячъ франковъ, которыхъ заплатить не въ состояніи; теперь только открылось, что у нея собственно нѣтъ никакого состоянія; ее взяли и посадили въ тюрьму безъ дальнѣйшихъ церемоній... Просто срамъ! Повѣрите-ли, совѣстно показаться на глаза иностранцамъ... Въ настоящую минуту, въ Ниццѣ болѣе двухъ тысячъ иностранныхъ семействъ...

— Сколько же русскихъ?

— Двѣсти съ чѣмъ-то.

— Ого! Мы, стало быть, чуть-ли не въ родномъ отечествѣ, если не считать этихъ великолѣпныхъ горъ и лимонныхъ деревьевъ.

— Русскіе совсѣмъ почти здѣсь незамѣтны; они по большей части живутъ здѣсь очень скромно. Одна эта дама, можно сказать, обратила на себя общее вниманіе и притомъ съ такой невыгодной стороны...

Но происшествіе съ интересной соотечественницей встрѣчено было съ большимъ равнодушіемъ; это происходило оттого, вѣроятно, что присутствующіе исключительно заняты были мыслью, какъ бы поскорѣе сѣсть въ шлюпку и отправиться на берегъ; минуту спустя, г-жа Н. была совершенно забыта. Надо признаться, этому отчасти способствовало также появленіе новаго лица, которое, хотя и не принадлежало къ лучшей половинѣ рода человѣческаго, —но было тѣмъ не менѣе очень интересно.

Изъ толпы матросовъ, окружавшихъ ту часть борта, гдѣ спускаются въ море, неожиданно выступилъ... кто бы вы думали? Выступилъ бывшій нашъ maître d'hôtel, бывшій поваръ турецкаго султана и содержатель гостинницы въ Иркутскѣ, — словомъ, выступилъ знаменитый Мишель Пупо!

Надо вамъ сказать, онъ разстался съ нами, или вѣрнѣе, изгнанъ былъ самымъ постыднымъ образомъ съ „Ретвизана" еще въ Брестѣ, два мѣсяца назадъ. Поваръ турецкаго султана очевидно намѣревался сдѣлать въ четвертый разъ запасъ гнилой провизіи съ тѣмъ, чтобы потомъ, какъ это не разъ уже случалось, —свалить всю вину на купцовъ, которые будто бы воспользовались его довѣріемъ и честностію, или на матросовъ, которые, будто бы какъ нарочно съѣли изящнѣйшіе гастрономическіе припасы, приготовленные для нашего услажденія. Узнавъ о рѣшеніи судьбы своей, Пупо, обливаясь слезами, билъ себя кулакомъ въ грудь, называлъ себя жалкой жертвой людской несправедливости, пробовалъ потомъ раза два разсмѣшить общество, вынималъ изъ кармана дагеротипъ жены и сына, имѣя въ виду умилить общество; — все было напрасно; всѣ эти способы, пускаемые въ ходъ съ начала плаванья, были слишкомъ уже извѣстны, чтобы могли дѣйствовать.

— Господа! воскликнулъ наконецъ Пупо въ порывѣ глубокаго отчаянія, —вы меня выгоняете, я стою этого! Положимъ такъ! Но знайте, вы будете отвѣчать Богу за смерть мою! Мнѣ, это неизбѣжно, — остается теперь умереть съ голоду!

— Вы получите только то, что заслуживаете! отвѣчали ему: — вы морили съ голоду два мѣсяца сряду столькихъ людей, что

сами теперь, по всей справедливости, должны испытать ту-же участь!...

Зная въ совершенствѣ плутоватую натуру Пупо,—давно рѣшили съ общаго голоса, что онъ кончитъ земное свое поприще гдѣ нибудь на висѣлицѣ. На дняхъ еще говорили объ этомъ; и вотъ онъ снова передъ нами, снова, какъ фениксъ, возникшій изъ пепла, цвѣтетъ болѣе чѣмъ когда-нибудь здоровьемъ, свѣжестью и даже веселостью.

— Пупо, вы здѣсь! Какимъ образомъ?... посыпались на него вопросы.

— Господа, я зналъ, что вы сюда прибудете; я ждалъ васъ съ нетерпѣніемъ! возразилъ Пупо съ чувствомъ и прикладывая руку къ груди.—Ницца прекрасный городъ; вамъ будетъ весело... что до меня касается, я поселился здѣсь, въ Вилла-франкѣ, открылъ здѣсь заведеніе, которое, надѣюсь удостоится чести вашего посѣщенія.

— Какъ! вѣдь вы говорили, оставляя насъ, что у васъ нѣтъ гроша денегъ, что вы должны умереть съ голоду?..

— Это правда!—я былъ уничтоженъ! возразилъ безъ малѣйшей запинки поваръ турецкаго султана, — но, благодаря Бога, маменька моя...

— Какая маменька? вы намъ никогда о ней не говорили...

— Маменька моя, которая живетъ въ Генуѣ, продолжалъ Пупо, ни мало не смутившись, — прислала мнѣ денегъ, и я теперь устроился...

Первый предметъ, который бросился намъ въ глаза, при входѣ на берегъ,—было колоссальное изображеніе русскаго матроса, написанное масляными красками на стѣнѣ ближайшаго углового дома; надъ матросомъ крупными буквами написано было: „Кронштадтъ“; а ниже слѣдующее изрѣченіе: „Друзья, войдите въ источникъ лучшаго рому!!!“

— Господа, воля ваша, сказалъ Б. Т., разводя руками отъ удивленья,—но этотъ человѣкъ, если онъ не умретъ на висѣлицѣ,—пойдетъ очень далеко!

Промышленная дѣятельность Пупо не ограничивалась трактиромъ; онъ тутъ же объявилъ, что открылъ торговлю мраморными столами, которыми обѣщалъ снабжать насъ за половинную цѣну противъ того, какъ продавались они у мраморщиковъ.

— Какъ видите, господа, я устроился очень изрядно, добавилъ

Пупо:—мнѣ оставалось-бы только благодарить судьбу, еслибъ не явился здѣсь одинъ подлый человѣкъ, un gredino de prima qualita, который воспользовался моей мыслію и хочетъ вредить мнѣ; но я уже шепнулъ два слова нашимъ матросикамъ; они обѣщаютъ держать мою руку, и надѣюсь, по старой дружбѣ,—не измѣнятъ своему слову; взгляните, вотъ мой врагъ!

Съ этими словами Пупо простеръ руку къ дому насупротивъ, гдѣ во всю стѣну выведена была русскими буквами лаконическая надпись: „Выпивка!!“

Такъ какъ городъ Вилла-франка самъ по себѣ не представляетъ ничего особенно интереснаго (онъ исключительно почти населенъ рыбаками и лоцманами), мы остались въ немъ ровно на столько, чтобы нанять коляску, которая должна была везти насъ въ Ниццу. Отсюда въ Ниццу одна только колесная дорога; она круто идетъ въ гору отъ самой пристани и постепенно удаляется влѣво отъ Вилла-франки. Достигнувъ высокой платформы, гдѣ расположенъ старый городъ, дорога продолжаетъ идти въ гору, изламываясь прихотливыми зигзагами между насыпными террасами, обсаженными оливами; мѣстами, деревья такъ тѣсны по обѣимъ сторонамъ, что ѣдешь подъ сводомъ зелени; мѣстами, они расходятся, открывая пройденные уже изгибы дороги и подъ ними, въ глубинѣ, бѣлые дома Вилла-франки, бухту съ кораблями, которые кажутся мухами; вскорѣ открывается вся панорама горъ съ ихъ голубыми заливами у подошвы, оливковыми и лимонными плантаціями, покрывающими скаты, и бѣлыми городами, которые постепенно уменьшаясь, пропадаютъ, наконецъ, въ легкомъ лиловомъ туманѣ. Вся эта часть горъ противоположна той, которая окружаетъ Ниццу. Ницца отдѣляется отъ Вилла-франки высокимъ хребтомъ; между городами всего пять верстъ разстоянья: приходится взбираться около часа; достигнувъ вершины, спускаешься въ Ниццу въ четверть часа.

Мы были предупреждены касательно вида, который открывается неожиданно на Ниццу при спускѣ съ горы, и потому очень обрадовались, замѣтивъ, что погода все больше и больше разгуливается.

Кое-гдѣ лучъ солнца, пронизывая зелень оливъ, ярко освѣщалъ почву, которая краснѣла, какъ толченый кирпичъ; мѣстами поперегъ дороги ложились вмѣстѣ съ пятнами свѣта, густыя голубыя тѣни, напоминавшія акварели Корроди; неожиданно на томъ или другомъ поворотѣ, встрѣчался оселъ съ плетеными перекидными

корзинами, наполненными овощами, и сидѣвшей между ними женщиной въ красномъ корсажѣ или мужчиной въ синей курткѣ, пестромъ фулярѣ на шеѣ и широкополой шляпѣ.

Когда мы достигли верхушки хребта, голубое небо раскидывалось надъ нами, и солнце ярко обливало обрывы скалъ и зелень. Слѣва, подъ утесомъ, у самой дороги выставлялась картинка чисто въ итальянскомъ вкусѣ; впереди грубые каменные столбы поддерживаютъ трельяжъ изъ винограда: онъ осѣняетъ входъ въ бѣлый домъ съ плоской крышей; подъ трельяжемъ столы; нѣсколько человѣкъ пьютъ вино изъ тонкогорлыхъ фіаскъ, оплетенныхъ соломой; подлѣ ослы группируются у каменнаго водоема; по всему этому проходятъ огненныя пятна свѣта и голубыя тѣни. Словомъ, мечты наши увидѣть Италію, кажется, осуществляются. Коляска начала спускаться; еще поворотъ, и мы очутились прямо противъ Ниццы, на точкѣ, гдѣ останавливается каждый путешественникъ и невольно всплескиваетъ руками отъ восхищенья.

Отъ края дороги, версты на полторы въ глубину, сбѣгаетъ во всѣ стороны сплошная, волнующаяся масса зелени; изъ нея выглядываютъ черепичныя кровли, бѣлыя террасы, уставленныя красными глиняными горшками съ алоэ, или покрытыя трельяжемъ изъ винограда; въ глубинѣ, тамъ, гдѣ послѣдніе планы этой зеленой перспективы смягчаются отдаленьемъ, вырѣзывается роскошный заливъ такого же нѣжно-голубого цвѣта, какъ и все остальное пространство Средиземнаго моря, которое открывается отсюда во всей красотѣ своей. Воздухъ такъ чистъ и прозраченъ, что позволяетъ даже различать отсюда берега Корсики. Ницца подходитъ къ самому краю залива и опоясавъ его бѣлою, серебристою каймою, разсыпаетъ бѣлые дома свои дальше, по долинѣ, потопленной зеленью. Скаты горъ, которые замыкаютъ долину и вмѣстѣ съ тѣмъ огибаютъ заливъ, усыпаны отъ подошвы до маковки садами и бѣлыми крапинами загородныхъ домовъ и виллъ. Горами этими заканчивается обширная, свѣтлая панорама.

Приморскіе Альпы, которые поражаютъ своимъ строгимъ, величавымъ характеромъ отъ Вилла-франки и далѣе до Монако, совершенно измѣняютъ свой видъ, по мѣрѣ того, какъ приближаешься къ Ниццѣ. Отвѣсныя голыя скалы, узкія темныя ущелья, кремнистые кряжи, исполосованные трещинами, все постепенно сглаживается и уступаетъ мѣсто почвѣ, покрытой роскошной растительностію. Отъ этого, самые цвѣта скатовъ, окружающихъ Ниццу, по-

лучаютъ особенную какую-то, бархатную нѣжность; глаза не перестаютъ тѣшиться разнообразною гаммою красокъ, которыхъ не въ силахъ была бы передать даже живопись. Стоитъ перевалиться черезъ гору, отдѣляющую Вилла-франку отъ Ниццы, чтобы замѣтить какую страшную силу получаетъ здѣсь растительность. Оливы, подъ сводомъ которыхъ приходится спускаться до первыхъ домовъ города, достигаютъ здѣсь тѣхъ размѣровъ, какъ на востокѣ; между ними безпрестанно путаются фиговыя деревья; одна дама, путешествовшая съ нами, весьма остроумно замѣтила, что дерево это,— принимая въ соображеніе страшную путаницу его вѣтвей,—должно непремѣнно имѣть дурной, капризный характеръ. По дорогѣ, справа и слѣва, попадаются виллы и дома, опутанные одною виноградною лозою, толщиною въ руку дюжаго работника; не смотря на то, что время года было самое невыгодное для Ниццы, дѣвочки и мальчики, встрѣчавшіеся на пути, бросали намъ въ коляску букеты фіялокъ. Фіялки являются во всей своей силѣ только въ серединѣ декабря; ими покрываются тогда всѣ скаты долинъ, и бѣдная часть населенія извлекаетъ изъ этого новый источникъ дохода.

Можно сказать, не отступая на волосъ отъ правды, что вся прелесть Ниццы заключаетси въ ея природѣ и климатѣ. Городъ самъ по себѣ не заслуживаетъ, сравнительно, никакого вниманія. Въѣзжая въ старую часть города, которая стелется у подошвы горы, путешественникъ съ удивленіемъ встрѣчаетъ ряды законченныхъ, однообразныхъ домовъ; не только здѣсь нѣтъ признака чего нибудь архитектурнаго, но даже живописнаго, вообще свойственнаго всякой старинѣ; все носитъ печать чего-то мелкаго, крайне мѣщанскаго. Старая часть города защищена крѣпостью; она показываетъ свои бастіоны и зубчатыя башни съ высоты одинокой скалы, выступающей въ море. Старый городъ раздѣляется отъ новаго рѣкою или, вѣрнѣе, потокомъ Пальонъ; это ничего больше, какъ широкое русло, усыпанное крупнымъ сѣрымъ булыжникомъ и безъ малѣйшаго признака воды; весною, когда съ горъ устремляются потоки талаго снѣга, русло до краевъ наполняется водою; въ настоящее время Пальонъ служитъ убѣжищемъ прачекъ, которыя устилаютъ его дно простынями и наволочками нѣсколькихъ тысячъ иностранцевъ. Впрочемъ, и то сказать надо: шагахъ въ пятидесяти отъ каменнаго моста, соединяющаго старый городъ съ новымъ, тамъ, гдѣ Пальонъ поворачиваетъ къ морю, булыжникъ его звонко гремитъ отъ напора валовъ, а дальше, во всю ширину залива, красивыми линіями

бѣгутъ на берегъ волны, закручиваясь голубыми, прозрачными волютами.

Новый городъ ничуть не лучше стараго; разница вся въ томъ, что здѣсь дома выбѣлены какъ за-ново, выше, иногда достигаютъ восьми этажей; единственнымъ ихъ украшеніемъ служатъ зеленыя жалузи оконъ, которые напоминаютъ нѣсколько Испанію. Каждый изъ этихъ домовъ превращенъ почти въ гостинницу для пріѣзжающихъ; многіе нарочно выстроены съ тою цѣлію, чтобы вмѣщать цѣлые караваны туристовъ.

Еще при въѣздѣ въ старый городъ, легко было замѣтить, по разнообразію типовъ и костюмовъ, что населеніе Ниццы сильно переполнено иностранцами; новый городъ исключительно уже служитъ сборнымъ пунктомъ всѣхъ возможныхъ національностей; это обстоятельство сразу бросается въ глаза. Тутъ, едва вступили мы на мостъ, и въ первый разъ на чужеземной почвѣ, услышали звуки родного языка.

Изъ множества гостинницъ, мы выбрали Pension Suisse; она плѣнила насъ своей дешевизной и тѣмъ еще, что тутъ позволяли курить, — что, какъ увѣряли насъ, не дозволяется въ другихъ, болѣе аристократическихъ отеляхъ.

Pension Suisse находится въ улицѣ Массена, скучной и мрачной улицѣ; къ счастію, домъ, въ которомъ помѣщенъ отель, несравненно выше противоположныхъ домовъ, такъ, что взявъ нумеръ въ верхнемъ этажѣ, мы вдоволь могли любоваться видомъ на долину Carabucel, усѣянную загородными домами и лимонными садами.

Такъ какъ оставалось еще часа два до обѣда, я и товарищъ мой N* отправились бродить куда глаза глядятъ.

Изъ улицы Massena вышли мы на большую площадь; при началѣ ея находится родъ жалкаго сквера: дюжины три жалкихъ, тощихъ деревъ; принимая въ соображеніе сильную растительность Ниццы, можно было думать, что деревья эти привезены сюда изъ-за-границы для излеченія отъ чахотки. Ихъ окружаетъ рѣшетка; по дорожкамъ бѣгаютъ дѣти; на скамьяхъ, разставленныхъ кой-гдѣ, виднѣются группы разряженныхъ дамъ и мужчинъ.

Не предупрежденные гидомъ или пояснительными замѣтками туземцевъ и не зная, слѣдовательно, что чахлый этотъ скверъ носитъ громкое названіе публичнаго сада и служитъ любимымъ мѣстопребываніемъ русскаго общества, мы прошли мимо, не отдавъ ему

должнаго вниманія. Взамѣнъ этого, любопытство наше сильно было возбуждено вывѣской; она украшала третій домъ отъ улицы Массена, непосредственно противъ сада; вывѣска гласила: Alphonse Karr,—fleuriste.

Была ли возможность не заглянуть въ стеклянную дверь, которая вдобавокъ была полураскрыта! Мы вошли въ небольшую комнату, уставленную растеніями; за прилавкомъ, уснащеннымъ цвѣтами, сидѣла женщина, вязавшая букетъ; на окнѣ стояли двѣ тоненькія бутылочки съ какою-то желтоватою жидкостью.

— Скажите пожалуйста, что это такое? спросили мы, указывая на флаконы.

— Это ликеръ, который приготовляетъ г. Альфонсъ Карръ.

— Какой маленькій запасъ; вѣроятно у васъ все уже раскупили?

— Нѣтъ; это только такъ, для образчика... Не прикажете-ли букетъ?

— Покорно благодаримъ; мы зашли, думая найти здѣсь знакомыхъ...

Съ этими словами вышли мы на улицу.

Изъ того, что узналъ я впослѣдствіи, оказывается яснымъ, какъ день, что Карръ занимается продажею цвѣтовъ не столько изъ выгодъ, сколько, чтобы казаться еще интереснѣе въ глазахъ прекраснаго пола. Я готовъ думать, что у него не было даже другой цѣли, когда въ продолженіе двадцати лѣтъ и чуть-ли не въ каждой своей книгѣ, разсказывалъ онъ, какъ страстно любитъ цвѣты, какъ способенъ цѣлые сутки не отрываться отъ бирюзовыхъ лепестковъ Vergiss-mein-nicht; иначе, согласитесь, зачѣмъ было бы объ этомъ такъ долго, такъ настойчиво распространяться? Нѣтъ возможности предположить, чтобы разсуждалъ онъ такимъ образомъ предъ открытіемъ лавочки: „Вотъ двадцать лѣтъ, какъ я всѣмъ прожужжалъ уши, что безъ памяти люблю цвѣты; репутація моя, какъ отличнаго садовника, готова; открою лавочку цвѣтовъ,—и нѣтъ сомнѣнія, ко мнѣ преимущественно побѣгутъ покупатели!“ Очевидно, такой разсчетъ не входилъ въ соображеніе почтеннаго романиста. Ему нечего прибѣгать къ торговлѣ, когда его Осы, издаваемыя въ Ниццѣ, повсюду раскупаются; когда, что ни годъ, пишетъ онъ новый романъ, за который платятъ ему очень хорошо. Нѣтъ, открывая лавочку, онъ, по всей вѣроятности, думалъ такимъ образомъ: „Давно разсказываю я о любви своей къ цвѣтамъ; этимъ

способомъ успѣлъ я затронуть особенно моихъ читательницъ; человѣкъ, который такъ любитъ цвѣты, конечно долженъ имѣть нѣжныя чувства и чувствительное сердце; женщины, безъ сомнѣнія, страшно заинтересованы мною; что же будетъ, если я открою цвѣточную лавочку въ Ниццѣ,—городѣ, куда собираются дамы всѣхъ странъ свѣта!" И дѣйствительно, стоитъ поговорить минуту съ любой обитательницей Ниццы, чтобы услышать объ Альфонсѣ Каррѣ и его цвѣточной лавочкѣ. Для достиженія полнаго эффекта, недостаетъ только, чтобы Карръ постоянно находился за своимъ прилавкомъ, окруженный цвѣтами и даже въ костюмѣ пастушка. Предположеніе наше тѣмъ еще оправдывается, что Карръ тщательно избѣгаетъ общества мужчинъ и постоянно вращается въ кругу дамъ, преимущественно русскихъ.

Человѣкъ свободы, онъ, сказывали намъ, непрочь надѣть ярмо невольничества, когда оно возлагается нѣжной ручкой особы прекраснаго пола. Въ то время, какъ мы были въ Ниццѣ, ярмо это возложено было на него одною изъ нашихъ богатыхъ соотечественницъ. Оборони меня Боже дѣлать на его счетъ какія-нибудь двусмысленныя предположенія. Я готовъ согласиться, что самая мысль открыть лавочку, не имѣетъ другого намѣренія, какъ то, чтобы сблизиться съ дамскимъ обществомъ и этимъ способомъ расширить кругъ своей наблюдательности касательно изученія женщинъ. (Не можетъ же онъ остановиться на двухъ послѣднихъ своихъ сочиненіяхъ: „Les femmes" и Encore les femmes"; вѣроятно онъ замышляетъ еще третью книгу въ томъ же родѣ и ищетъ для нея матеріаловъ.

Разсуждая такимъ образомъ, продолжали мы подвигаться, слѣдуя по направленію домовъ отъ улицы Массена; минутъ черезъ пять мы вышли почти къ тому мѣсту, гдѣ потокъ Пальонъ спускается въ море. Вправо, по берегу того самаго залива, который виднѣется съ горы Вилла-франки, тянется непрерывный рядъ отелей, частныхъ домовъ и виллъ. Ихъ отдѣляетъ отъ моря широкая, гладко-убитая дорога и еще естественный береговой откосъ, усыпанный бѣлыми и сѣрыми камешками, которые безпрерывно шлифуетъ и перетираетъ волна; звукъ этихъ камешковъ, которые то быстро катятся внизъ, увлекаемые волною, то взбѣгаютъ вмѣстѣ съ нею на берегъ, наполняютъ эту часть города вѣчнымъ шумомъ и жужжаньемъ. Ночью, безъ привычки, не разъ проснешься, невольно помышляя въ просоньѣ объ опасности землетрясенія. По всему протяженію этого берега шумъ

моря никогда не умолкаетъ; волна, задержанная въ своемъ движенiи подводнымъ кряжемъ камней, неожиданно становится на дыбы, величественно закручивается и съ такою силой бьетъ въ берегъ, что въ воздухѣ постоянно носится влажная, серебристая пыль. Въ этой влагѣ, проникнутой тепломъ и солнцемъ, особенно какъ-то легко дышется; не потому ли и мѣсто это преимущественно предписываютъ всѣмъ слабогрудымъ; въ этомъ можно убѣдиться, не справляясь въ гидахъ; едва вышли мы на дорогу, намъ начали попадаться молодые люди и женщины съ блѣдными, впалыми лицами; они едва передвигали ноги или ѣхали въ колясках, обложенные подушками. Безъ постороннихъ указанiй легко также было убѣдиться, что Promenade des anglais (такъ зовутъ эту часть берега), служитъ главнымъ моднымъ гуляньемъ для жителей Ниццы; это, очевидно, ея Longchamps, ея Via-Reale, ея Невскiй проспектъ; какъ здѣсь, такъ и тамъ катятъ непрерывные ряды самыхъ щегольскихъ экипажей, тянутся вереницы гуляющихъ, выставляются напоказъ лица и туалеты, идетъ непрерывный говоръ и любезничанье, занимаются разборкою ближняго, часто не выключая тѣхъ, которые нынче въ послѣднiй разъ, можетъ быть, кашляютъ и прислушиваются къ мѣрному шуму набѣгающаго вала.

Promenade des anglais, сводя на одну точку столько разныхъ нацiональностей, весьма естественно, должна возбуждать соревнованiе гуляющихъ во всемъ, что касается наружнаго блеска. Отсюда эта страшная роскошь туалетовъ, лошадей, экипажей. Леди M* была вчера въ такомъ-то платьѣ, — давай и мнѣ сегодня точно такое-же! Вчера дѣти лорда N* гуляли въ шотландскомъ костюмѣ, — давай Петрушѣ и Катѣ шотландскiй костюмъ, во что бы ни стало! и т. д. Не будь этой Прогулки англичанъ, я увѣренъ, наша соотечественница N не попала бы въ тюрьму за долги; нѣтъ сомнѣнiя, Promenade des anglais сильно способствовала къ тому, чтобы погубить ее окончательно.

Этой прогулкой оканчивается Ницца со стороны залива; дорога круто поворачиваетъ вправо; послѣ моста, переброшеннаго чрезъ каменистый потокъ, изгибающiйся по дну живописнаго ущелья, — она соединяется съ дорогою Францiи. Послѣдняя тутъ же исчезаетъ въ складкахъ горъ, покрытыхъ оливами и усыпанныхъ бѣлыми загородными виллами, обращенными окнами къ морю.

Ущелье передъ мостомъ было безспорно самое живописное мѣсто, какое только приводилось до сихъ поръ видѣть. Невольно манило

бросить дорогу, сойти на дно потока, углубиться въ эти прихотливые изгибы, затемненные оливами, изъ которыхъ, то сверху, то снизу, выглядывали сельскіе домики. Но увы! въ нетерпѣніи нашемъ осмотрѣть Ниццу, мы не подумали о завтракѣ; голодъ, возбужденный моціономъ и воздухомъ, началъ завывать такимъ отчаяннымъ голосомъ, что опасно было его не послушать. Помнится, мы поглотили обѣдъ съ такимъ остервенѣніемъ, что когда нѣкоторые изъ нашихъ товарищей, сидѣвшіе съ нами за однимъ table d'hote, объявили, что обѣдъ изъ рукъ вонъ плохъ,—мы напали на нихъ съ яростью, обвиняя ихъ въ привередничествѣ и нетерпимости. Къ концу обѣда, по мѣрѣ насыщенія, возвратясь къ болѣе мирнымъ чувствамъ,—мы мало по малу приняли участіе въ томъ, что̀ совершалось вокругъ насъ. Общество table d'hôte осуществляло въ миніатюрѣ космополитическій характеръ населенія Ниццы; тутъ были и представители чуть-ли не всѣхъ націй въ мірѣ, что можно было заключать только по наружнымъ типамъ, потому что общество, не смотря на свою многочисленность, хранило упорное молчаніе; можно сказать, оставя въ сторонѣ всякое пристрастіе,—не будь здѣсь нашихъ соотечественницъ,—легко было подумать, что сидишь въ сборищѣ глухо-нѣмыхъ. Чувство національной гордости плавало какъ въ маслѣ при видѣ тѣхъ усилій, которыя дѣлали наши дамы, чтобы завязать общій разговоръ. Такъ напримѣръ, одна дама разъ до десяти принималась разсказывать свои путевыя впечатлѣнія; онѣ заключались въ томъ, что не было еще города, гдѣ бы она, по разсѣянности, не потеряла или не забыла въ отелѣ, гдѣ драгоцѣнный браслетъ, гдѣ une colerette en dentelles цѣною въ двѣсти франковъ, гдѣ перстень съ рубиномъ, un cabochon magnifique!—гдѣ une broche en turquoise, и т. д. Другая, болѣе пожилая, старалась обратить бесѣду къ литературѣ; съ этою цѣлью увѣряла она, что читаетъ одни только самые пустые романы, потому что теперь въ Европѣ рѣшительно ничего не печатаютъ дѣльнаго. Но увы, всѣ эти попытки ни къ чему не вели; сколько можно было замѣтить,—онѣ особенно слабо дѣйствовали на апатическихъ англичанъ, которые, въ отвѣтъ на любезность, изрѣдка развѣ переглядывались между собою и холодно улыбались.

Послѣ обѣда, часть общества отправилась въ театръ; давали Линду, въ которой пѣла извѣстная въ Италіи пѣвица Бокабадати. Театръ Ниццы не представляетъ ничего особеннаго, если не считать,

что кромѣ денегъ за билетъ, надо еще платить особо какіе-то двадцать четыре су для того, чтобы имѣть право занять свое мѣсто.

На другой день, часовъ въ девять утра, товарищъ мой уѣхалъ въ Вилла-франку на корабль; проводивъ его за pont Neuf, я одинъ отправился бродить по старому городу. Переходя изъ улицы въ улицу, глазѣя по сторонамъ, я случайно прочелъ надпись: coiffeur, надъ окномъ, заставленнымъ париками; это обстоятельство напомнило мнѣ, что я давно собирался остричь волосы. Не смотря на раннюю пору, въ парикмахерской не было уже недостатка въ посѣтителяхъ; кромѣ четырехъ мужчинъ, сидѣвшихъ въ креслахъ съ намыленными до ушей лицами, тутъ находилось еще нѣсколько человѣкъ, ожидавшихъ своей очереди; изъ числа послѣднихъ особенно выдавался плотный, высокій господинъ съ сѣдыми волосами, но необыкновенно еще свѣжими щеками. Онъ изъяснялся на чистѣйшемъ парижскомъ нарѣчіи, поминутно пересыпая рѣчь свою возгласами: ah diantre! parbleu! fichtre, ah bah! и проч. Ненужно было и этого, впрочемъ, чтобы сразу убѣдиться, что это французъ чистѣйшей крови.

— Мы съ нимъ школьные товарищи, сидѣли на одной скамьѣ, говорилъ онъ въ то время, какъ я вошелъ,—только насъ постигла разная судьба: революція сорокъ восьмого года лишила меня всего состоянія; я остался не при чемъ; долженъ былъ даже выселиться изъ отечества; товарищъ той Emile-Marco de Saint Hilaire, остался между тѣмъ во Франціи; но это еще ничего: онъ успѣлъ подъѣхать къ новому правительству и получилъ мѣсто хранителя библіотеки въ Страсбургѣ; работы немного; тамъ всего одна только книга: два тома трактата объ артилеріи, сочиненіе Monsieur Луи Наполеона. Но это въ сторону, господа! Перейдемъ снова къ главному нашему вопросу касательно прибытія сюда русской эскадры; не касаясь политическаго значенія, съ которымъ, конечно, связано это прибытіе,—оно благодѣтельно для Ниццы; оно оживитъ ея торговлю; желательно бы только знать, сколько времени пробудетъ здѣсь корабль, прибывшій вчера...

— Около мѣсяца; можетъ быть даже больше! сказалъ я, овладѣвая свободнымъ мѣстомъ и отдавая себя въ руки парикмахеру.

— Почемъ вы это знаете? спросилъ румяный собесѣдникъ.

— Я имѣю честь принадлежать къ экипажу.

— Позвольте узнать съ кѣмъ имѣю удовольствіе говорить?

Я назвалъ себя.

— Позвольте и мнѣ, съ моей стороны... я здѣшній обыватель... фамилія моя: Sotumier! довершилъ онъ, выговаривая каждую букву такъ старательно, какъ бы желая врѣзать имя свое въ моей памяти до скончанія вѣка.

Затѣмъ, г. Сотюмье началъ выгружать передо мною свои политическія убѣжденія, изъ которыхъ оказалось, что онъ самый ярый легитимистъ.

Мы были готовы почти въ одно время, такъ что вмѣстѣ вышли изъ парикмахерской.

— М. г., заговорилъ Сотюмье, предупреждаю васъ: Ницца знакома мнѣ какъ мои пять пальцевъ; если вамъ нужно что нибудь, располагайте мною; я буду особенно радъ служить вамъ чичероне...

Я поблагодарилъ и попросилъ указать ближайшій кафе.

— Кафе! воскликнулъ онъ, оживляясь съ головы до ногъ, — нѣтъ, ужъ если на то пошло, — извините! Я ни за что не допущу васъ идти въ кафе! Вы хотите чашку кофе, бифштексъ, котлеты, устрицъ? — все это у меня есть въ изобиліи; смѣло скажу: вы нигдѣ такъ не позавтракаете, какъ у меня!..

— Но какъ же такъ?.. я не имѣю чести...

— Ничего не значитъ! перебилъ Сотюмье. — Вотъ мой домъ; онъ третій отъ парикмахерской; идти, какъ видите, недалеко... Вы навѣрно мнѣ не откажете!..

Побѣжденный отчасти добродушіемъ, написаннымъ во всѣхъ чертахъ новаго знакомца, отчасти увлеченный страстью къ неожиданностямъ всякаго рода, я принялъ предложеніе. Сотюмье ввелъ меня въ домъ, суетливо взбѣжалъ по лѣстницѣ и мы вступили въ небольшую комнату, выходившую окномъ на улицу; вокругъ стѣнъ шли столы, уставленные рядами банокъ съ пикулями и соленьемъ всякаго рода; тутъ же возвышались пучки спаржи и рѣдисокъ, артишоки, омары, лимоны, виноградъ, свѣжія фиги; на полу, изъ ящиковъ съ пескомъ, выглядывали горлышки бутылокъ и флягъ, запечатанныхъ смолою и свинцовыми шапочками всѣхъ цвѣтовъ: изъ плетеныхъ корзинъ и боченковъ выглядывали плоды и устрицы; стѣны увѣшаны были связками мелкаго луку и фестонами томатовъ, которые такъ лоснились и отдували свою красную кожу, что, казалось, — сейчасъ лопнутъ. Все это распространяло вокругъ такой свѣжій запахъ, такъ было вкусно разставлено и въ такомъ изобиліи, что способно было пробудить аппетитъ даже послѣ сытнаго обѣда.

Сотюмье былъ ни болѣе ни менѣе какъ комиссіонеръ, доставлявшій гастрономическіе припасы тѣмъ изъ жителей Ниццы, которые охотники были тонко покушать. Онъ избралъ торговлю такого рода очевидно столько же въ виду барыша, сколько чтобы имѣть возможность дешевле удовлетворять потребностямъ собственнаго своего желудка; надо было видѣть, съ какимъ страстнымъ увлеченіемъ говорилъ онъ о съѣстныхъ припасахъ, какъ сладко чмокалъ губами, проводя рукою по свѣжимъ фигамъ или поглядывая на омара. Сотюмье,—я убѣдился въ этомъ послѣ,—не имѣлъ гроша денегъ; онъ не могъ утерпѣть, чтобы не выбирать для себя собственно самые тонкіе кусочки.

— Тонкій кусокъ,—le fin morceau, говорилъ онъ,—осуществляетъ для меня, м. г.,—всѣ блаженства земного существованія! Я поваръ по призванію! Такого повара, какъ я,—скажу безъ хвастовства,—вы не скоро сыщете; я занимаюсь моимъ дѣломъ con-amore; сейчасъ дамъ вамъ возможность судить о моемъ искусствѣ!..

Съ послѣдними словами онъ побѣжалъ въ сосѣднюю комнату, развелъ огонь и застучалъ ножемъ.

Завтракъ дѣйствительно былъ превосходенъ. Онъ стоилъ такъ мало, что совѣстно даже было.

— Къ сожалѣнію, я не гастрономъ, сказалъ я; не могу вполнѣ оцѣнить ваше искусство; но позвольте привести къ вамъ одного моего знакомаго...

— Онъ любитъ хорошо покушать?

— Очень!

— Давайте его сюда! Гдѣ онъ? Я почту за особое счастіе для него что нибудь состряпать! воскликнулъ Сотюмье, у котораго запрыгали глаза отъ восхищенья. Главное: любитъ-ли онъ супы? Въ супахъ я особенно силенъ! C'est mon fort! Онъ будетъ доволенъ; la bouillabesse, monsieur,—la bouillabesse!!—je ne connais que ça!!...

Если я такъ долго распространяюсь о Сотюмье, который, надо правду сказать, является здѣсь чѣмъ-то въ родѣ hors-d'oeuvre,—это потому, что мнѣ нѣтъ никакой возможности поступить иначе. Ницца представляется моему воображенію не иначе, какъ съ приправою Сотюмье! для меня, по крайней мѣрѣ, первая безъ послѣдняго не существуетъ. Стоитъ сказать при мнѣ: „Ницца!"—стоитъ мнѣ самому о ней вспомнить,—и уже фигура Сотюмье является передо мною, какъ тѣ пружинныя монахини, которыя нео-

жиданно выскакиваютъ изъ ящика, когда пожмешь пружину. Личность его, надо сказать, играетъ во всемъ этомъ послѣднюю роль, точно также, какъ его обѣды и завтраки. Все дѣло въ тѣхъ счастливыхъ часахъ, которые случалось проводить въ его комнатѣ, смежной съ той, гдѣ сохранялась провизія. Въ продолженіе мѣсяца, и чуть-ли не каждый день, въ этой комнатѣ, въ условный часъ, сходилось нѣсколько человѣкъ, принадлежавшихъ тогда одному обществу, связанныхъ общимъ интересомъ. Здѣсь разсказывались впечатлѣнія дня, собираемыя каждымъ по одиночкѣ, шелъ непрерывный обмѣнъ мыслей и наблюденій; въ этой откровенной бесѣдѣ царствовало постоянно столько непринужденной веселости, что каждый запасался ею на весь слѣдующій день; подъ вліяніемъ ея самыя впечатлѣнія освѣщались какъ будто радостнымъ свѣтомъ; не будь этихъ счастливыхъ часовъ, Ницца, въ глазахъ каждаго изъ насъ, потеряла бы половину своей прелести. Но зачѣмъ вспоминать о томъ, что прошло, чего нѣтъ, чего уже не воротишь, какъ не воротишь молодости и другихъ, еще болѣе драгоцѣнныхъ воспоминаній, освѣщавшихъ жизнь...

Отъ одиннадцати часовъ до двухъ я бродилъ по старому городу и такъ успѣлъ въ это время съ нимъ познакомиться, что въ случаѣ надобности могъ служить проводникомъ любому вновь пріѣхавшему туристу. Изъ этого слѣдуетъ, что городъ не представляетъ ничего такого, на чемъ бы долго можно было приковать вниманіе; въ нижней части домовъ магазины и лавки; верхняя представляетъ гладкія стѣны и ряды оконъ съ зелеными жалузи,—и только.

Возвращаясь домой, я встрѣтилъ извощичью коляску съ сидѣвшимъ въ ней господиномъ въ сѣрой войлочной пастушеской шляпѣ. Это былъ б. Т., — одна изъ самыхъ милѣйшихъ, умнѣйшихъ и симпатичнѣйшихъ личностей не только нашей эскадры, но даже изъ тѣхъ, которыхъ приводилось мнѣ встрѣчать въ жизни. Онъ, наканунѣ, часъ только провелъ въ Ниццѣ и ѣхалъ теперь изъ Вилла-франки.

— Stop! Stop! закричалъ я, махая черной калабрійской шляпой, которую всѣ носятъ въ Ниццѣ.

Коляска остановилась.

— Васъ то именно я и ждалъ! сказалъ я, подбѣгая къ дверцамъ.

— А что?

— Вы завтракали?

— Куска во рту не было: голоденъ какъ собака!

— Тѣмъ лучше!

— Какъ?

— Вы слышали о Сотюмье!

— Не имѣю никакого понятія...

— Превосходно; отпустите коляску и пойдемте со мною...

Мы направились въ Корсо,—улицу, гдѣ жилъ комиссіонеръ-легитимистъ.

Нечего говорить о завтракѣ; б. Т., какъ и слѣдовало ожидать отъ гастронома, пришелъ въ совершенный восторгъ отъ знакомства съ Сотюмье; Сотюмье, съ своей стороны, видя какъ ѣлъ б. Т., приходилъ въ трогательное умиленье; онъ клялся, что никогда еще не стряпалъ и впредь не будетъ стряпать съ такимъ наслажденіемъ, какъ для б. Т.

Часовъ около трехъ снова были мы на улицѣ Корсо.

— Чтожъ мы теперь станемъ дѣлать? спросилъ б. Т.

— Что хотите...

— Нельзя ли пойти посмотрѣть что нибудь?

— Можно; только вотъ бѣда: въ городѣ рѣшительно нечего смотрѣть...

— Что-жъ дѣлать?

— Подемте куда глаза глядятъ; повѣрьте, это лучшая метода для прогулокъ по незнакомымъ мѣстамъ.

Мы незамѣтно очутились на Promenade des anglais. Былъ именно тотъ часъ, когда здѣсь особенно много гуляющихъ; многочисленное стеченіе публики оправдывалось тѣмъ еще, что погода, если только возможно, была еще лучше, теплѣе и лучезарнѣе вчерашней. Тутъ было, кажется, чуть ли не все чужеземное населеніе Ниццы; цѣлыя кавалькады хорошенькихъ миссъ и леди проносились мимо въ сопровожденіи своихъ кавалеровъ; все остальное прогуливалось пѣшкомъ или ѣхало въ экипажахъ. Одно изъ удовольствій этой прогулки состоитъ также въ томъ, чтобы спуститься по камешкамъ къ морю, выждать волну и взбѣжать наверхъ прежде, чѣмъ она разольется по берегу; многимъ, однакожъ, это не всегда удается, какъ мы имѣли случай замѣтить; особенно часто попадаются дамы: захваченныя на дорогѣ волною, онѣ испускаютъ пронзительные крики, подпрыгивая въ пѣнѣ, которая обдаетъ ихъ до колѣнъ.

Шагъ за шагомъ прошли мы къ тому мѣсту, гдѣ оканчиваются послѣдніе дома набережной и гдѣ дорога, сдѣлавъ крутой поворотъ

отъ моря, приводитъ почти къ подножію горъ; до настоящей минуты онѣ показываютъ надъ городомъ только свои верхушки. Трудно представить себѣ что нибудь живописнѣе этихъ скатовъ, сбѣгающихъ уступами къ морю и перерѣзанныхъ поперегъ глубокимъ, извилистымъ ущельемъ, о которомъ я уже поминалъ нѣсколько страницъ выше. Нѣсколько шаговъ, и вы перенесены какъ будто за десятки миль отъ города; даже виллы, разсыпанныя въ изобиліи по откосамъ, нисколько не вредятъ эффекту такого превращенія; напротивъ, онѣ не имѣютъ ничего общаго съ казенной, плоской архитектурой городскихъ зданій; отдѣленныя другъ отъ дружки отвѣсами скалъ или глубокими разсѣлинами, полузаслоненныя зеленью, онѣ еще болѣе настроиваютъ мысль къ уединенію.

— Вотъ это такъ! радостно воскликнулъ б. Т., который, какъ всѣ страстные охотники съ ружьемъ, горячій любитель природы,— ну не лучше ли это вашей Promenade des anglais: тотъ же Невскій проспектъ! Досадно только, не сказали вы мнѣ прежде, что сюда отправимся; я взялъ бы ружье съ собою; въ этомъ ущельи и на всѣхъ этихъ скатахъ, я увѣренъ, пришлось бы не разъ выстрѣлить... Какая досада, что я не взялъ ружья!

Я выразилъ тоже сожалѣнье, хотя въ душѣ не могъ не обрадоваться такому обстоятельству. Путешествіе въ Alcala въ пятнадцати верстахъ отъ Севильи, восхожденье на кремнистую гору за мнимыми куропатками, было мнѣ еще памятно; я зналъ, что попадись только ружье въ руки б. Т., онъ изъ кроткаго, впечатлительнаго и веселаго собесѣдника, мигомъ превратится въ нетерпѣливаго и разсѣяннаго; отсутствіе ружья въ его рукахъ ручалось, слѣдовательно, за нѣсколько часовъ мирной, созерцательной прогулки.

Мы спустились на каменистое дно пересохнувшаго потока и вошли въ ущелье. Онъ еще при самомъ началѣ дѣлалъ такіе прихотливые изгибы, что пройдя нѣсколько шаговъ и обернувшись назадъ мы увидѣли себя окруженными со всѣхъ сторонъ исполинскими стѣнами скалъ, верхушки которыхъ затушевывались пространствомъ; мертвая тишина окружала насъ; даже шумъ моря не долеталъ сюда. Ущелье продолжало изгибаться, все глубже врѣзываясь въ гору. Природа, не смотря на строгую свою величавость, не смотря на то даже, что сюда развѣ только въ полдень заглядывало солнце, не представляла, однакожъ, ничего суроваго и мрачнаго; совсѣмъ напротивъ: щеки ущелья отъ камней потока до верхняго края, путавшагося съ облаками, покрыты были сплошною зеленью

оливъ, принимавшею въ высотѣ голубоватые оттѣнки и наконецъ сѣрые; мѣстами крутой поворотъ открывалъ въ глубинѣ далекія вершины горъ, покрытыхъ кой-гдѣ снѣгомъ и освѣщенныхъ солнцемъ. Мѣстами, по окраинамъ потока, въ естественномъ углубленіи скалы, то справа, то слѣва, показывались живописные сельскіе домики и мельницы, опутанные кудрявыми фестонами плюща и дикаго винограда. Въ потокѣ, какъ я говорилъ, не было капли воды; онъ наполняется только весною; при всемъ томъ, съ каждымъ шагомъ впередъ, сырость и даже холодъ проникали насъ; здѣсь время года давало себя чувствовать сильнѣе, чѣмъ на открытыхъ мѣстахъ Ниццы, обогрѣваемыхъ круглый годъ солнцемъ, какъ у насъ въ іюнѣ. Зимняя пора высказывалась отсутствіемъ цвѣтовъ, которые между тѣмъ въ изобиліи продавались въ Ниццѣ, блѣдною зеленью оливъ, къ которой не примѣшивалась теперь разнообразная зелень другихъ деревъ и растеній, стоявшихъ пока обнаженными; красными листьями винограда, которые пестрили бѣлыя стѣны домовъ и шуршали подъ ногами. Но все это шло даже какъ-то къ мѣстности, насъ окружавшей, и вполнѣ гармонировало съ величавымъ, задумчивымъ характеромъ.

Мы подвигались впередъ уже около часа, какъ вдругъ заслышали гдѣ-то выстрѣлъ.

Б. Т. вздрогнулъ, выпрямился и насторожилъ слухъ.

— Не говорилъ ли я вамъ, что здѣсь должна быть охота? произнесъ онъ, безпокойно озираясь во всѣ стороны,—надо пойти хоть взглянуть...

— Стоитъ ли того... другое дѣло, еслибъ ружье было.. сказалъ я лицемѣрно.

Въ самую эту минуту раздался другой выстрѣлъ.

На этотъ разъ не было уже никакой возможности удержать б. Т. Напрасно говорилъ я, что изъ этого ничего путнаго не выйдетъ, что выстрѣлы, разбѣгаясь перекатами по ущелью, собьютъ насъ только съ толку и мы никакъ не попадемъ на слѣдъ охотниковъ; ничто не помогло; онъ ринулся въ оливы и началъ взбираться по кряжамъ, то останавливаясь и прислушиваясь, то съ новымъ, удвоеннымъ усердіемъ продолжая карабкаться въ гору. Такъ пробирались мы часъ по крайней мѣрѣ. Изъ этого, какъ я говорилъ, ничего не вышло, кромѣ того развѣ, что мы изъ силъ выбились.

Полоса неба въ вышинѣ замѣтно начинала блѣднѣть; пора было думать возвратиться домой.

— Намъ рѣшительно незачѣмъ спускаться на дно ущелья, сказалъ б. Т., — скатъ, на которомъ мы находимся, противуположенъ тому, который спускается къ Ниццѣ, это очевидно; стоитъ только, стало быть, подняться до вершины, и перевалиться черезъ этотъ скатъ, чтобы очутиться лицомъ къ городу... Вотъ кстати домикъ какой-то бѣлѣетъ; спросимъ какъ пройти ближе въ Ниццу.

Минутъ пять спустя, мы подходили къ дому, запрятанному въ зелени какъ гнѣздо; крыша его покрыта была какъ шапкой, плющемъ, который свѣшивался массой на каменный столбъ, подпиравшій родъ балкона; изъ чердака торчалъ шестъ съ сушившимся бѣльемъ; на встрѣчу намъ вышла дѣвочка лѣтъ двѣнадцати, очень бѣдно одѣтая, но съ такими хорошенькими, умными глазами, которые я до сихъ поръ еще помню.

Прибирая вкривь и вкось итальянскія слова, мы просили ее указать намъ дорогу; робко какъ-то, взявъ серебряную монету, она улыбнулась, кивнула головою и повела насъ горной тропинкой, изгибавшейся прямо за ея домомъ.

— Я думаю, не къ чему больше утруждать эту бѣдную дѣвочку, сказалъ б. Т. — тропинка сама собою приведетъ насъ къ цѣли... addio la piccolina!..

— Addio! проговорила дѣвочка звонкимъ серебристымъ голосомъ.

Тропинка мало-по-малу начинала сглаживаться; приведя насъ къ каменному откосу, она совсѣмъ исчезла.

— Ничего, сказалъ б. Т., — скоро конецъ горы!

Прошло добрыхъ полчаса; чѣмъ выше мы лѣзли, тѣмъ больше, казалось, оставалось лѣзть. Сумерки, между тѣмъ, замѣтно сгущались. Свѣжесть становилась также ощутительна, что было несовсѣмъ пріятно, если принять въ сображеніе, что оба мы съ головы до ногъ были въ испаринѣ.

— Главное дѣло, не надо теперь останавливаться, говорилъ б. Т., стараясь ободрить меня, — наконецъ теперь мѣсячныя ночи, и мы ни въ какомъ случаѣ не рискуемъ потеряться...

Кончилось тѣмъ, однакожъ, что мы совершенно сбились съ пути. Темнота, сгущаемая оливами, подъ которыми мы бродили, не позволила разсматривать предметы въ десяти шагахъ. Немного погодя, мы очутились на небольшой возвышенной каменистой площадкѣ, откуда открылось вдругъ море; но это ни къ чему не повело; вокругъ все таки громоздились горы, покрытыя сплошнымъ лѣсомъ оливъ. Мы рѣшительно не знали уже что дѣлать съ со-

бою, когда неожиданно въ сторонѣ послышался лай, изъ кустовъ выпрыгнула бѣлая собаченка, и въ то же время увидѣли мы надъ обрывомъ къ морю двѣ мужскія фигуры.

Насъ окликнули по итальянски, мы отозвались по французски; намъ возразили на этомъ языкѣ, и мы такъ обрадовались этому обстоятельству, что разсказали нашу исторію прежде еще, чѣмъ успѣли подойти къ незнакомцамъ. Успокоенные на счетъ дороги самымъ привѣтливымъ, радушнымъ образомъ (оба тотчасъ же вызвались проводить насъ до Ниццы), мы весьма естественно выразили желаніе узнать, кому обязаны такой услугой.

То были владѣльцы нѣсколькихъ десятинъ оливковыхъ плантацій и дома, который находился шахъ во ста; они, сверхъ того, торговали каменнымъ углемъ и вышли именно сюда въ этотъ вечеръ, чтобы посмотрѣть, не увидятъ ли своего корабля, котораго давно ждали изъ Англіи; каждому было лѣтъ подъ сорокъ; оба довольно изрядно говорили по французски.

Они пригласили насъ войти въ домъ, чтобы отдохнуть, обогрѣться и подождать восхода мѣсяца; черезъ полчаса онъ долженъ былъ показаться.

Вскорѣ увидѣли мы передъ собою бѣлыя стѣны дома, полузаслоненнаго деревьями; насъ ввели въ темныя сѣни, оттуда въ просторную комнату, выбѣленную мѣломъ, и съ поломъ, выстланнымъ кирпичемъ; комната, очень просто, но чисто меблированная, ярко освѣщалась широкимъ пламенемъ камина съ навѣсомъ, упиравшимся въ потолокъ; передъ огнемъ, на низенькой скамейкѣ сидѣла дѣвушка лѣтъ шестнадцати, державшая въ рукахъ совершенно голенькаго годового ребенка, который весело вскрикивалъ, подпрыгивая на ея колѣняхъ; дѣвушка такъ была хороша собою и вообще вся эта группа такъ поражала неожиданно своею граціей, что мы, первую минуту, остановились какъ бы пригвожденные къ порогу.

— Позвольте вамъ рекомендовать мою дочь! сказалъ одинъ изъ мужчинъ, который показался намъ помоложе; впрочемъ оба такъ были похожи другъ на друга, что мы приняли ихъ за родныхъ братьевъ.

Мы не могли утерпѣть, чтобы не выразить ему нашего удивленія, возбужденнаго красотою его дочери.

— Это до меня теперь почти уже не касается, — возразилъ смѣясь отецъ, — такія похвалы должны быть пріятны моему зятю, — добавилъ онъ, указывая на сосѣда.

— Какъ? но вы оба почти однихъ лѣтъ! воскликнули мы въ одинъ голосъ,—мы приняли васъ за двухъ братьевъ...

— Нѣтъ, это мой тесть, это моя жена, а bambino — сынишка!—сказалъ второй господинъ, поглядывая на хорошенькую женщину, которая весело намъ улыбалась, играя съ ребенкомъ.

— Сколько же лѣтъ вашей женѣ?

— Зимою минуло шестнадцать.

— Какъ?

— Вы вѣрно удивитесь еще больше, когда узнаете, что этотъ bambino мой третій ребенокъ.

— Сколько же лѣтъ было вашей супругѣ, когда вы на ней женились?

— Двѣнадцать лѣтъ; мы уже четыре года какъ женаты.

Я зналъ, что въ Сициліи и Испаніи, гдѣ женщины созрѣваютъ нѣсколькими годами раньше, чѣмъ на сѣверѣ, такіе браки не диковинка, особенно въ простомъ классѣ; но никакъ не думалъ я встрѣтить въ Піемонтѣ тѣ же случаи преждевременнаго развитія, физическаго только конечно; потомъ узнали мы, что такіе браки и здѣсь очень обыкновенны.

Къ сожалѣнію, милая наша хозяйка слова не говорила по французски; любезность ея ограничивалась добрыми улыбками и приготовленіемъ для насъ лимонада.

Снабдивъ амфитріоновъ нашими адресами, мы оставили домъ и вскорѣ выведены были на широкую дорогу, спускавшуюся подъ гору. Мы теперь ни въ какомъ случаѣ уже не могли сбиться съ пути; несмотря на то, что обязательные хозяева не хотѣли разстаться съ нами прежде, чѣмъ въ глубинѣ открылась Ницца, изгибавшаяся бѣлымъ полукругомъ по берегу залива, высеребреннаго полнымъ мѣсяцемъ.

До Ниццы осталось добрыхъ полчаса ходьбы.

Передать вамъ не могу то сладостное впечатлѣніе, подъ вліяніемъ котораго совершили мы окончаніе нашей прогулки.

Къ ночи стало какъ будто опять теплѣе; можетъ быть, это было отъ того, что насъ теперь защищалъ отъ сѣвера хребетъ горъ, обращенныхъ къ югу. Воздухъ не трогалъ ни однимъ листикомъ; было такъ тихо, что даже съ этой высоты, можно было явственно различать мѣрный плескъ волнъ, ударявшихъ въ берегъ „англійской прогулки“; подлѣ слышно было какъ капли росы ниспадали съ листьевъ; блѣдная зелень оливъ, освѣщенная полнымъ

мѣсяцемъ, придавала всей массѣ горъ, обступавшихъ заливъ, видъ фантастическихъ, серебристыхъ облаковъ, спускавшихся къ морю; сквозь паръ, носившійся кой-гдѣ надъ долиной, мигали огоньки Ниццы...

По прошествіи нѣсколькихъ минутъ забыты были всѣ неудачи долгой, утомительной прогулки; мы весело говорили о ней и съ увлеченіемъ дѣлали проекты на завтрашній день, предполагая снова отправиться въ горы.

Но на другой день произошло слѣдующее:

Рано утромъ входитъ въ мою комнату С*.

— Новости! говоритъ онъ — большія новости!

— Что случилось?

— Мы уходимъ изъ Ниццы!

— Куда?

— Въ Геную; пришелъ приказъ немедленно присоединиться намъ къ „Громобою" и „Рюрику", которые, по всей вѣроятности, уже въ Генуѣ.

— Долго мы тамъ пробудемъ?

— Нѣтъ; всего нѣсколько дней...

— Потомъ?

— Снова въ Ниццу на мѣсяцъ; потомъ на три мѣсяца въ Палермо...

— Стой! довольно и этого! воскликнулъ я и началъ радостно одѣваться.

Въ тотъ же вечеръ, часовъ около шести, корабль нашъ поднялъ якорь и вышелъ изъ гавани Вилла-франка.

Но такъ уже видно опредѣлено было судьбою, чтобъ дурная погода сопровождала насъ каждый разъ, какъ приводилось намъ входить въ гавань или снова пускаться въ море. Дождикъ казалось только и ждалъ минуты нашего выхода. Онъ вдругъ полилъ какъ изъ ведра, лилъ всю ночь и не переставалъ лить во все время, какъ мы бросали якорь въ гавани Генуи.

Изъ этого слѣдуетъ, что общая панорама Генуи, которая, говорятъ, по красотѣ своей не уступаетъ со стороны моря видамъ Неаполя и Константинополя, пропала для меня совершенно. Придерживаясь правдѣ, долженъ сказать, меня постигла та-же участь, когда я возвращался назадъ изъ Генуи, и потомъ, когда вторично посѣтилъ этотъ городъ. Туманъ, мелкая изморозь и дождикъ преслѣдовали меня неотступно. Впечатлѣніе ограничивалось всякій разъ бѣ-

лою массою домовъ, которые по серединѣ лѣзли въ гору, а по бокамъ постепенно съуживались и огибали амфитеатромъ широкую гавань, замкнутую послѣдними хребтами Альповъ. Какъ ни досадно было, но тѣмъ неменѣе я съ какимъ то лихорадочнымъ нетерпѣніемъ порывался къ борту корабля, стараясь занять первую вольную шлюпку. Такъ какъ корабль не вошелъ въ самую гавань, но бросилъ якорь въ полумили отъ города, пришлось сдѣлать порядочный конецъ въ шлюпкѣ, что не совсѣмъ было пріятно; сверху сыпало дождемъ, сбоку обдавало пѣной, а снизу такъ подбрасывало, что надо было крѣпко держаться за скамьи, чтобы не грохнуться на дно шлюпки. Наконецъ вошли мы въ такъ-называемую купеческую гавань. Она уставлена была такимъ множествомъ судовъ, что между ними приходилось пробираться, какъ въ лабиринтѣ улицъ. На пристани и подъ темными массивными арками старыхъ зданій, окружавшихъ набережную, толкалось и шумѣло множество народа; тутъ нагружали и выгружали суда, перекатывали бочки, тянули блоки, стучали топорами, таскали тяжести, тюки и товары всякаго рода.

Недалеко отъ набережной, по узенькой улицѣ, имѣвшей видъ какого-то мрачнаго ущелья, находилась гостинница, которую намъ рекомендовали въ Ниццѣ; насъ ввели въ громадную прихожую со сводами и мраморными колоннами; широкая лѣстница изъ бѣлаго мрамора, перехваченная арками и колоннами, вела въ верхніе этажи. Прихожая эта служила когда-то главнымъ входомъ въ palazzo адмиралтейства, который время и еще болѣе обстоятельства владѣльцевъ, превратили въ скромный albergo. Такого рода превращенія на каждомъ шагу встрѣчаются въ Италіи. Признаюсь, не могу видѣть въ этомъ повода возносить скорбныя жалобы и сѣтованія противъ распоряженій судьбы; обѣднѣвшая аристократія Италіи не въ состояніи поддерживать безчисленную массу своихъ дворцовъ; не лучше ли слѣдовательно этимъ дворцамъ переходить въ руки людей промышленныхъ, которые, изъ тщеславія или выгоды, не станутъ ихъ поддерживать и такимъ образомъ спасутъ отъ конечнаго разрушенія. Что за важность, если мраморные полы и лѣстницы, попираемые когда-то Доріями, попираются теперь подошвами какого-нибудь торгаша: еслибъ отмѣчать и оставлять неприкосновенными всѣ мѣста, гдѣ жили когда-то не только магнаты, но даже великіе люди, пришлось бы остальному человѣчеству за неимѣніемъ мѣста переселяться на другую планету.

Одна изъ отличительныхъ чертъ Генуи—это неимовѣрная высота ея домовъ. Каждый домъ хочетъ имѣть видъ на море; стѣсненные пространствомъ, дома лѣзутъ одинъ выше другого и какъ бы приподымаются на цыпочки, чтобы заглянуть черезъ крышу своего сосѣда. Благодаря такому соревнованію, я потерялъ счетъ ступенямъ прежде, чѣмъ достигъ своего номера; перейдешь два-три поворота лѣстницы „Здѣсь?“ — „Нѣтъ, выше!“ еще три-четыре поворота. „Здѣсь?“ спрашиваешь, едва переводя духъ.— „Еще выше“. Лѣзешь, лѣзешь—конца нѣтъ. Между тѣмъ стѣны сосѣдняго дома, до котораго я могъ коснуться рукою изъ окна моей комнаты, были еще выше; у подошвы ихъ словно на днѣ колодца открывалась площадка, буквально запруженная народомъ; пространство, отдѣлявшее ее отъ меня, такъ было велико, что говоръ и шумъ долетали до меня, какъ жужжаніе пчелъ.

Первымъ дѣломъ, разумѣется, было сойти скорѣе внизъ и пуститься осматривать городъ.

Какъ я уже сказывалъ, городъ расположенъ по скату горы; внизу у моря тѣснится такъ-называемый нижній городъ; съ основанія его, что произошло, говорятъ, за 700 лѣтъ до Р. Х., городъ конечно перестроивался сотни разъ, но первоначальное его расположеніе и виды остались по всей вѣроятности неизмѣнно тѣ-же. Физіономія этой нижней части Генуи носитъ особенный, типическій отпечатокъ; подобное этому встрѣтили мы потомъ въ одной только Италіи. Все это представляетъ совершеннѣйшій лабиринтъ узенькихъ, извилистыхъ улицъ, затемненныхъ высочайшими домами, которые какъ бы валятся на голову, оставляя въ вышинѣ тонкую, неровную полоску синяго неба; все свидѣтельствуетъ, что во время постройки ихъ не предвидѣлось даже въ будущемъ возможности существованія экипажей; на ста шагахъ нерѣдко приходится нѣсколько разъ подыматься или спускаться по ступенькамъ, чтобы продолжать путь. Потинутно вправо и влѣво открываются мрачные переулочки, темные своды или углубленія, гдѣ посреди мрака мелькаетъ крошечное изображеніе святого или образъ мадонны съ мигающей передъ нимъ лампадкой. О тротуарахъ конечно нѣтъ и помину. Иное зданіе выступаетъ такимъ рѣзкимъ угломъ, что обогнуть его можно только развѣ пѣшеходу; изъ-за угла неожиданно выходишь на тѣсную площадку, замкнутую мраморнымъ порталомъ церкви, почернѣвшимъ отъ времени, или заставленную рядами переносныхъ лотковъ и лавченокъ съ овощами, пирогами, хлѣбомъ и проч.; тутъ же

на воздухѣ поджариваютъ рыбу, варятъ rizotto и пекутъ кукурузныя лепешки. Толпы матросовъ всѣхъ націй, поселяне, торговки въ своихъ національныхъ костюмахъ, мѣстные обыватели: все это шушитъ, покупаетъ, продаетъ, снуетъ и движется между группами ословъ, которые несутъ на рынокъ припасы въ плетеныхъ корзинкахъ. Крѣпкій запахъ оливковаго пережженнаго масла, который бросается въ носъ при первомъ шагѣ, ясно говоритъ, что вы нигдѣ больше, какъ въ итальянскомъ городѣ.

Мнѣ особенно памятна въ этой части Генуи одна улица.

Она находится непосредственно за площадкой, которая подлѣ гостинницы. Представьте себѣ длинный, узкій корридоръ, освѣщенный только сверху узкою полосою неба; въ обѣ стороны внизу идутъ непрерывные ряды магазиновъ и лавокъ, которые не закрыты со стороны улицы, какъ у насъ въ Европѣ, но выставляютъ свой товаръ наружу, подобно тому, какъ это дѣлается на востокѣ. Товаръ исключительно состоитъ здѣсь изъ кораллов, филиграновыхъ вещей, раковинъ, церковной утвари, оружія, кубковъ всякаго рода, ожерелій и безчисленнаго множества дорогихъ металлическихъ издѣлій. Все это навалено грудами и плашмя освѣщенное сверху, рѣзко выдѣляется на сумрачномъ, смолистомъ фонѣ стѣнъ и еще ярче выступаетъ изъ темнаго дна магазиновъ, въ которыхъ на рембрантовскій манеръ рисуются старыя и молодыя фигуры торговцевъ. Живописныя группы покупателей, которые тѣснятся съ обѣихъ сторонъ, пестрая толпа, разукрашенные цвѣтными кистями ослы, которые жмутся посрединѣ, группы курильщиковъ подъ сумрачными входами въ кофейные дома, и наконецъ самый характеръ товара, облитаго свѣтомъ или растушеваннаго густою тѣнью, все это на каждомъ шагу представляетъ великолѣпные, картинные мотивы, которые сами собою просятся на полотно.

Достигнувъ конца улицы, я зашелъ въ кафе, чтобы закурить сигару. Народу было много; шелъ общій, оживленный разговоръ о Ристори; главнымъ ораторомъ былъ самъ хозяинъ кафе. Ристори давала въ этотъ вечеръ послѣднее свое представленіе въ роли Федры.

— Есть ли еще недежда достать билетъ? спросилъ я, обращаясь къ хозяину.

— Сколько угодно! отвѣчалъ онъ довольно свободно по французски: —Ристори у насъ не очень любятъ; ей даже мало стали хлопать въ послѣднее время!

— За что такъ?

— Она играетъ преимущественно въ чужихъ краяхъ...

— Чтожъ изъ этого? тѣмъ лучше для васъ: она этимъ способомъ увеличиваетъ артистическую славу своего отечества...

— Этого намъ не нужно, мы за этимъ не гонимся! Вотъ актеръ Модена, тотъ совсѣмъ другое дѣло. Il travaille aussi bien que la Ristori, а между тѣмъ не гонится за чужеземной славой; чего же лучше: Людовикъ Наполеонъ предлагалъ ему большія деньги, чтобы играть въ Парижѣ,—онъ не согласился; онъ хочетъ играть только для своихъ соотечественниковъ; за это мы его и любимъ!..

Все это могло быть совершенно справедливымъ, но я поспѣшилъ однакожъ отправиться въ театръ, чтобы заблаговременно запастись билетомъ. Улица, о которой я говорилъ, приводитъ въ верхнюю и вмѣстѣ съ тѣмъ аристократическую часть города. Попасть туда впрочемъ не совсѣмъ удобно: улица замыкается отвѣсною стѣною: справа только подъ острымъ угломъ оставленъ проходъ, въ которомъ устроена каменная лѣстница. Съ этой стороны это единственное сообщеніе между верхней и нижней частями Генуи: тутъ постоянно происходитъ давка; не помню, чтобы когда-нибудь приходилось проходить по этому мѣсту безъ того, чтобы не встрѣтить, кромѣ толпы, людей съ тюкомъ за спиною, бочкой или корзиной на головѣ; одни быстро сбѣгаютъ по ступенькамъ, другіе также быстро подымаются; сколько замѣтно, генуэзецъ не такой суета и крикунъ, какъ неаполитанецъ и сициліецъ, которые дерутъ горло и бѣснуются безъ всякой видимой причины, но онъ вообще дѣятеленъ, промышленъ и всегда въ постоянномъ движеніи.

Переходъ изъ нижняго города въ аристократическій кварталъ очень рѣзокъ; съ перваго взгляда бросается въ глаза просторъ и свѣтъ, прежде всего открывается широкая площадь; за исключеніемъ немногихъ частныхъ построекъ, она вокругъ обставлена великолѣпными мраморными дворцами; лучшіе изъ нихъ впрочемъ стоятъ съ накрытыми жалузи и наглухо заколоченными воротами. За ними гора подымается такъ круто, что дворцы, построенные выше на откосахъ или искусственныхъ террасахъ, рисуются цѣликомъ отъ самаго своего основанія до верхушки. Шуму и движенія здѣсь также очень много; къ нему присоединяется еще трескъ экипажей, щелканье бичей и крикъ кучеровъ, одѣтыхъ какъ въ Парижѣ, въ клеенчатую шляпу и красный жилетъ. Въ этой толпѣ особенное

вниманіе обращаютъ на себя женщины: типъ, сколько я замѣтилъ, здѣсь очень смѣшанный, но въ общей массѣ онѣ очень красивы; особенно хороши блондинки съ черными, блестящими глазами и длинными, темными рѣсницами. Большая часть, вмѣсто нелѣпыхъ шляпокъ, покрываютъ голову бѣлымъ кисейнымъ pezotto, родъ вуаля, который прикрѣпляется къ гребню и ниспадая по обѣимъ сторонамъ лица, окутываетъ плечи; лица, и безъ того красивыя, получаютъ отъ этого особенную какую-то привлекательную нѣжность; я встрѣтилъ здѣсь также въ первый разъ хорошенькихъ, румяныхъ и молодыхъ абатовъ въ треуголкѣ, черныхъ шелковыхъ чулкахъ и башмакахъ съ блестящими пряжками.

Въ этой части города находится между прочимъ улица, Strada Nuova, которая съ первыхъ шаговъ прямо переноситъ васъ въ шестнадцатый вѣкъ: въ обѣ стороны тянется непрерывный рядъ дворцовъ; къ сожалѣнію улица такъ узка, что глазъ не въ состояніи обнять любое зданіе выше второго этажа. Лишенные свѣта и пространства, затемненные еще сверхъ того временемъ, дворцы эти сохраняютъ тотъ мрачный, суровый характеръ, которымъ отличались ихъ прежніе владѣльцы; окна нижняго этажа защищены желѣзными рѣшетками; ржавчина, размываемая столько лѣтъ дождями, избороздила рыжими полосами мраморныя стѣны; окна верхнихъ этажей часто заколочены наглухо; иногда вмѣсто замкнутыхъ, тяжелыхъ дверей, обитыхъ желѣзомъ, неожиданно открывается парадный входъ со сводами; штучный, цвѣтной, мраморный полъ его на одномъ горизонтѣ съ улицей, чтобы безпрепятственно могли въѣзжать экипажи; съ потолка виситъ на цѣпи зажженный фонарь самаго причудливаго рисунка: вправо и влѣво подымаются зигзагами широкія лѣстницы и галлереи, перехваченныя арками, колоннами и консолями, украшенными мраморными шарами, львами, гербами и статуями, большею частью безъ носа, безъ пальцевъ, съ черными пятнами копоти въ изгибахъ драпировокъ; точно декораціи въ театрѣ, или картины извѣстнаго Робера, любителя такихъ перспективъ.

Дворцы эти принадлежали когда-то (нѣкоторые и теперь еще принадлежатъ) лицамъ, прадѣды которыхъ играли блестящую роль въ исторіи средневѣковой Италіи. Многіе изъ потомковъ дожей, сенаторовъ и вельможъ, несмотря на то, что раззорены до тла, и теперь еще живутъ во дворцахъ своихъ; но теперь уже собственно въ этомъ заключается только вопросъ экономическій—вопросъ, чтобы избавить себя отъ необходимости платить за квартиру; они обыкно-

венно занимаютъ нѣсколько комнатъ вверху или на заднемъ дворѣ и отдаютъ парадныя залы и входы, расписанные фресками, подъ гостинницу или въ наемъ частнымъ лицамъ. Ведутъ они большею частью жизнь замкнутую, какъ бы стыдясь выставить на свѣтъ рѣзкій контрастъ громкаго историческаго имени съ протертымъ пальто, прикрывающимъ ихъ плечи. Жизнь ограничивается чашкой кофе утромъ, блюдомъ брокколи въ полдень, и вечеромъ — креслами въ театрѣ, потому что безъ музыки здѣсь не живутъ, точно также какъ безъ хлѣба. Нѣкоторые, но такихъ немного, владѣютъ еще огромнымъ состояньемъ своихъ предковъ; но время и на нихъ произвело свое дѣйствіе: они большею частью занимаются разнаго рода предпріятіями и спекуляціями, стараясь увеличить свои капиталы.

Возвращаясь изъ кассы театра, гдѣ посчастливилось мнѣ достать билетъ, я встрѣтилъ С., одного изъ товарищей по путешествію; С. былъ уже нѣсколько разъ въ Генуѣ и зналъ ее въ совершенствѣ. Такъ-какъ время было обѣдать, онъ повелъ меня въ café Concordia, лучшій ресторанъ города. Онъ занимаетъ великолѣпный дворецъ; входъ изъ бѣлаго мрамора превращенъ въ цвѣточную лавку; мраморная лѣстница приводитъ на широкую террассу, уставленную апельсинными деревьями; посерединѣ фонтанъ, вокругъ идутъ залы; можно обѣдать на самой террассѣ, можно обѣдать и въ залахъ, имѣя передъ глазами цѣлую апельсинную рощу.

Въ Конкордіи С. познакомилъ меня съ Д., польскимъ эмигрантомъ, который уже пятнадцать лѣтъ находился въ сардинской службѣ; Д. въ свою очередь свелъ меня съ нѣсколькими молодыми людьми, принадлежащими высшему генуэзскому обществу; благодаря такому обстоятельству, я получилъ возможность осмотрѣть всѣ частные дома и дворцы, гдѣ только находилось что-нибудь замѣчательное по части искусствъ.

Генуя не имѣла своей оригинальной школы живописи, скульптуры и архитектуры; бывъ родиной цѣлой фаланги художниковъ, она тѣмъ не менѣе не можетъ выставить ни одной изъ тѣхъ знаменитостей, которыми такъ справедливо гордятся Римъ, Флоренція, Миланъ, Венеція, Сіенна и другіе города и городки остальной Италіи. Въ числѣ художниковъ Генуи являются однакожъ замѣчательные таланты: братья Кальви, Лука Камбіазо, Кастелло, Тавароне, Піола, Карлоне и другіе; всѣ они развивались внѣ отечества и каждый подчинялся вліянію той школы, гдѣ учился. Если всѣ роды генуэзскаго искусства отличаются отсутствіемъ самобытнаго, націо-

нальнаго, типическаго стиля, взамѣнъ этого, они поражаютъ страшнымъ своимъ разнообразіемъ и въ общей сложности даютъ дворцамъ Генуи такой роскошный характеръ. Этому много также способствовали художники, которыхъ вельможи и богачи Генуи вызывали изо всѣхъ частей Италіи для украшенія своего города. Такъ напримѣръ знаменитый въ то время римскій архитекторъ Галеаццо Алесси прожилъ здѣсь пятнадцать лѣтъ; Генуя обязана ему лучшими своими зданіями.

Великолѣпная наружность этихъ palazzo не обманывала въ свое время ожиданій: внутри они были еще великолѣпнѣе. Эти фасады изъ цвѣтного мрамора, почернѣвшіе отъ времени и страшно теперь запущенные, служатъ какъ бы предисловіемъ тому, что встрѣтишь въ самомъ зданіи, когда отворится дубовая дверь, обитая желѣзомъ. Громадныя прихожія сверху до-низу расписаны фресками; потолки и стѣны другихъ залъ и комнатъ тоже покрыты живописью; но все это исчезаетъ мѣстами подъ копотью, мѣстами изъѣдено сыростью или исполосовано паутинами. Спускаясь или подымаясь по мраморнымъ лѣстницамъ, украшеннымъ колоннами, статуями, нишами, вычурными пилястрами, вы чувствуете какъ подъ ногами хруститъ пыль, которую не сметали болѣе столѣтія; кучи сору чернѣютъ во всѣхъ углахъ. Если въ palazzo находится картинная галлерея, gallerio dei quadri, васъ проведетъ туда старый оборванный слуга,—единственный смотритель дома, замѣнившій прежнія толпы раззолоченныхъ лакеевъ, тѣснившихся на этихъ самыхъ лѣстницахъ. Многіе дворцы сохранили еще мебель временъ патриціевъ республики; стертая позолота на рѣзныхъ орнаментахъ, украшающихъ разнаго рода мебель, обнажаетъ бурый грунтъ или дерево; цвѣтной штофъ съ широкими разводами виситъ клочьями передъ окнами или исчезаетъ подъ густымъ слоемъ пыли. Нѣкоторые изъ этихъ дворцовъ, какъ напримѣръ: Паллавичини, Адорно, Бальби, Джіорджіо Доріа, Бриньоле-Сале, поддерживаются достойнымъ образомъ, благодаря сохранившемуся или вновь нажитому состоянію своихъ владѣльцевъ.

Картинная галлерея послѣднихъ двухъ особенно замѣчательна.

Теперешній Доріа, маркизъ Джіорджіо, какой-то чудакъ, эксцентрикъ, который всѣхъ боится, ото всѣхъ прячется, такъ что его по цѣлымъ годамъ никто не видитъ; но къ счастію домомъ завѣдуетъ жена, маркиза Тереза, женщина умная, энергическая и притомъ страстная любительница искусствъ; она сама занимается живописью и пишетъ отличные пейзажи: ей уже подъ шестьдесятъ;

но въ ней столько еще воодушевленія, она такъ любезна и привѣтлива, что съ перваго визита дѣлается яснымъ, отчего ея гостиная, не взирая на дикость самого маркиза, который впрочемъ никогда и не показывался, считается самою пріятною въ городѣ. Пріемныя комнаты отличаются необыкновенною простотою; всю роскошь составляютъ картины и очень хорошо сохранившіяся фрески на потолкахъ.

Картинъ немного; маркиза выбрала только лучшія изъ многочисленныхъ галлерей мужа и своихъ предковъ: они родомъ Гримальди.

Первое мѣсто въ этомъ драгоцѣнномъ собраніи принадлежитъ портрету герцогини Сфорца, писанному Винчи; это дѣйствительно такое сокровище, которое можетъ считаться въ числѣ совершеннѣйшихъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, самыхъ сохранившихся произведеній геніальнаго живописца; онъ повѣшенъ отдѣльно, въ крошечной уютной гостиной надъ диваномъ, любимымъ мѣстомъ хозяйки дома. Въ другихъ комнатахъ находится между прочимъ обрученіе Іакова съ Рахилью, Гверчино,—картина красоты и граціи необыкновенной. Я видѣлъ и прежде и послѣ множество произведеній этого художника, видѣлъ наконецъ въ Римѣ знаменитую его Петрониллу, но картина маркизы Доріа затмила въ моей памяти всѣ остальныя; она бросаетъ совсѣмъ новый свѣтъ на художника, о которомъ нѣтъ возможности сдѣлать напримѣръ конечнаго приговора въ Луврѣ и Эрмитажѣ.

Почти тоже можно сказать въ отношеніи къ Вандику, произведенія котораго встрѣчаются въ такомъ изобиліи въ Генуѣ, — особливо во дворцѣ Бриньоле-Сале; все, что написано здѣсь Вандикомъ, служитъ самымъ полнымъ выраженіемъ зрѣлости и силы его таланта.

До отъѣзда своего въ Италію, Вандикъ, хотя и проявляетъ уже самобытность, но все еще очевидно находится подъ вліяніемъ Рубенса. Въ послѣднюю поѣздку въ Англію, гдѣ писалъ онъ такъ много и гдѣ кончилъ свое поприще, въ манерѣ его проявляется легкость, быстрота исполненія, вынужденная отчасти безчисленными заказами, отчасти выгодою, и сильно вредящая сочному, искусному письму, составляющему не послѣднее достоинство въ его произведеніяхъ; картины его этой эпохи, при всей своей поэтической щеголеватости, отличаются блѣдностію, бѣлесоватымъ, линялымъ какимъ-то тономъ. Въ Италію отправился онъ въ полномъ цвѣтѣ лѣтъ. Созрѣвъ уже настолько, чтобы выразить свою индивидуальность, онъ тѣмъ не

менѣе прибавляетъ здѣсь къ своимъ достоинствамъ чистоту рисунка, необыкновенное благородство стиля и блестящій колоритъ венеціанцевъ; онъ изучалъ ихъ съ особенною любовью. Всѣ же качества соединяются въ картинахъ, писанныхъ имъ въ Генуѣ; странствуя по Италіи, онъ два раза былъ въ Генуѣ, жилъ здѣсь довольно долго и здѣсь только работалъ усидчиво и много. Онъ неожиданно вошелъ тогда въ моду, какъ и теперь это случается иногда съ тѣмъ или съ другимъ художникомъ; вельможи и богатые люди наперевывъ заказывали ему портреты и картины. Самое богатое собраніе находится, какъ я уже сказалъ, въ palazzo Rotto, принадлежащемъ герцогу Бриньоле-Сале; отецъ теперешняго герцога, горячій любитель искусствъ, не довольствуясь вандиками, которые доставались ему по наслѣдству отъ предковъ, современниковъ живописца,—скупилъ еще тѣ картины Вандика, которыя продавались раззорившимися старинными фамиліями. Въ одномъ этомъ palazzo Rotto я насчиталъ девять вандиковъ самой блесящей, самой лучшей его манеры *).

Вообще говоря, въ художественномъ отношеніи Генуя весьма замѣчательный городъ; меньше говорятъ объ ней, потому что сюда рѣже заглядываютъ путешественники. Она лежитъ въ сторонѣ отъ обычныхъ, давно принятыхъ сообщеній между Европой и Италіей: путешественники, отправляющіеся сухимъ путемъ, ѣдутъ обыкновенно прямо на Францію и оттуда въ Римъ; пароходы также минуютъ ее; Ливорно и Чивита-веккія служатъ главными пристанями, а если иногда и заходятъ въ Геную, такъ развѣ на нѣсколько часовъ, едва достаточныхъ, чтобы составить себѣ даже общее понятіе о физіономіи города.

Говоря о художественныхъ достопримѣчательностяхъ, невозможно не сказать хотя нѣсколько словъ о старомъ palazzo Дорія; въ архитектурномъ отношеніи онъ чуть ли не первое зданіе города. При выходѣ изъ улицы Balbi или Alberto, онъ невольно останавливаетъ вниманіе грандіознымъ фасадомъ изъ бѣлаго мрамора, боковыми своими аркадами самаго изящнаго очертанія и террасами, которыя спускаются къ заливу. Мимо задняго фасада дворца проходитъ улица. Подъ нею, вправо, по скаламъ разбросанъ великолѣпный садъ; онъ

*) 1) Несеніе креста; 2) Маркизъ А. Ж. Бриньоле верхомъ на бѣлой лошади; 3) Маркиза Адорно; 4) Притча о сребряникѣ; 5) Портретъ; 6) Портретъ дамы изъ семейства Бриньоле и ея дочери; 7) Портретъ; 8) Портретъ мужчины въ богатой испанской одеждѣ; 9) Женскій портретъ въ ростъ.

соединяется съ дворцомъ высокими арками, которыя проходятъ надъ улицей; все это, соединенное вмѣстѣ, представляетъ волшебную архитектурную декорацію. Съ переднихъ террасъ открывается видъ на заливъ и городъ, подымающійся амфитеатромъ у подножія горъ, усѣянныхъ красивыми виллами и садами; впереди, на одной изъ безчисленныхъ платформъ, выложенныхъ мозаикой изъ бѣлыхъ и сѣрыхъ камешковъ, возвышается монументальный фонтанъ съ изображеніемъ Нептуна. Говорятъ, голова Нептуна представляетъ вѣрнѣйшій снимокъ съ головы знаменитаго морехода Андрея Доріа, родоначальника теперешней фамиліи.

Въ художественномъ отношеніи, внутренность дворца еще интереснѣе; лѣпные и писанные орнаменты портала и главнаго входа, большія фрески по стѣнамъ лѣстницы, сочинены и писаны Перино-дель-Вага, однимъ изъ лучшихъ учениковъ Рафаэля. Фреска его Горацій Коклесъ и Муцій Сцевола, большой плафонъ, изображающій битву титановъ и группы дѣтей въ видѣ медальоновъ и барельефовъ, уцѣлѣли какимъ-то чудомъ посреди всеобщаго разрушенія; онѣ такъ еще свѣжи, какъ будто написаны въ нынѣшнемъ столѣтіи. По близости къ стилю Рафаэля и его манерѣ писать фрески, онѣ, по мнѣнію аббата Ланчи, стоятъ гораздо выше работъ Джуліо-Романо въ Мантуѣ. Повторяемъ, цѣлость этихъ драгоцѣнныхъ образчиковъ рѣшительно надо приписать чуду, потому что, рядомъ съ ними, сосѣднія комнаты представляютъ самую жалкую картину запущенности и разрушенія; стѣны изъѣдены сыростію, живопись или осыпалась, или едва проглядываетъ сквозь пластъ селитрянной накипи; мозаическіе полы такъ растрескались, что во многихъ залахъ ихъ замѣняетъ грубая, досчатая настилка.

Впрочемъ, какъ уже выше было замѣчено, характеръ заброса, запустѣнія и чего-то отжившаго бросается въ глаза даже въ тѣхъ дворцахъ, гдѣ и теперь еще живутъ настоящіе ихъ владѣльцы. Чтобы привести все это въ такое плачевное состояніе, потребовалось однакожъ менѣе полутораста лѣтъ времени! Кавалеръ де-Бросъ, путешествовавшій въ 1740 году, застаетъ еще Геную въ самомъ цвѣтущемъ видѣ; въ Ивановъ день, онъ принимаетъ участіе въ процессіи, сопровождавшей дожа, облаченнаго въ мантію изъ малиноваго дамà, окруженнаго сенаторами, вельможами и пажами въ самыхъ дорогихъ, блестящихъ одеждахъ; толпа пестрѣетъ цвѣтными токами съ страусовыми перьями; вездѣ атлàсъ, бархатъ, драгоцѣнные каменья, безчисленныя и самыя разнообразныя ливреи, обшитыя

гербами, серебромъ и золотомъ. Де-Бросъ встрѣчаетъ на углахъ нѣкоторыхъ улицъ и площадяхъ сборища вельможъ перваго класса; возсѣдая на рѣзныхъ креслахъ, поставленныхъ на самой улицѣ, они толкуютъ съ напыщенной важностью о дѣлахъ республики. Де-Бросъ, которому хорошо знакомо великолѣпіе французскаго двора, удивляется тѣмъ не менѣе страшному богатству внутри дворцовъ Генуи: его поражаетъ наружный видъ этого города, расписаннаго сверху до низу фресками. „Генуя вся покрыта фресками, говоритъ онъ, улицы ея ничто иное, какъ восхитительныя, волшебныя декораціи!“

Отъ всего этого, какъ видѣли мы, теперь слѣдовъ даже не осталось!

Грустное впечатлѣніе сглаживается развѣ только послѣ солнечнаго заката. Мракъ, потопляющій дворцы и улицы, скрывая ихъ обветшалость, возвращаетъ имъ какъ-будто прежнее ихъ величіе. Мѣстами, громадный, полукруглый порталъ открываетъ въ глубинѣ пространный дворъ, обставленный рядами арокъ; смутно обозначаются галлереи и лѣстницы, идущія перехватами; одинокій фонарь вычурнаго очертанія виситъ на цѣпи надъ темнымъ входомъ; блѣдный свѣтъ его, едва скользя по ближайшимъ колонамъ, ветхому мозаическому полу и зацѣпляя кой-гдѣ часть ступеней, обманываетъ глазъ и воображеніе; все кажется тогда великолѣпнымъ! Къ этому обману способствуетъ также многолюдіе и шумъ толпы; къ сумеркамъ весь городъ начинаетъ обыкновенно высыпать на улицу. Въ общемъ сумрачномъ тонѣ мелькаютъ сотни цвѣтныхъ бумажныхъ фонарей, которые берутъ съ собою гуляющіе; повсюду мелькаютъ бѣлыя покрывала или пестрые pezotto на головахъ и плечахъ женщинъ. Почти всѣ женщины средняго сословія сохранили еще, за рѣдкими исключеніями, свой національный костюмъ; стоитъ минуту простоять передъ фонаремъ, чтобы увидѣть нѣсколько хорошенькихъ личикъ, обвернутыхъ въ эти покрывала, испещренныя бабочками, цвѣтами, плодами и фантастическими орнаментами. То тутъ, то тамъ, посреди роя цвѣтныхъ фонарей, выступаетъ раззолоченный, украшенный гербами и рѣзными украшеніями аристократическій портшезъ, несомый ливрейными лакеями. Говоръ идетъ неумолкаемый; на каждомъ шагу, въ звукахъ языка, въ восклицаніяхъ, хохотѣ и самомъ говорѣ уловляешь новые, невѣдомые до того оттѣнки; такъ напримѣръ безпрестанно слышишь слово: adieu! которое употребляютъ здѣсь не при разставаньи, но при встрѣчѣ съ знакомыми. Въ эти часы Генуя

совершенно перерождается. Человѣкъ, которому бы случилось провести здѣсь только нѣсколько часовъ ночи, могъ бы вѣрнѣе сказать, что видѣлъ старую, великолѣпную Генуя, чѣмъ тотъ, который прожилъ здѣсь нѣсколько сутокъ.

Физіономія города перемѣнилась, надо думать, столько же, сколько нравы и даже самая природа. Старинная поговорка: Mare senza pesci, monti senza legno, uomini senza fede, donne senza vergogna., т.-е. море безъ рыбы, горы безъ лѣсу, мужчины безъ совѣсти, женщины безъ стыда, не имѣетъ теперь никакого смысла, по крайней мѣрѣ насколько могли мы судить въ короткое время нашего пребыванія. Каждый день, за обѣдомъ и завтракомъ намъ подавали превосходную рыбу, пойманную утромъ въ самомъ заливѣ; нижняя часть горъ, окружающихъ Генуя, покрыта самою роскошной растительностью: изъ-за рѣшетокъ садовъ, надъ террасами дворцовъ и надъ стѣнами виллъ тѣсно группируются лимонныя, апельсинныя, оливковыя и фиговыя деревья; къ нимъ припутываются розовые лавры и южная акація. Мѣстами подымаются темныя пирамиды кипарисовъ; все это обвито тучными фестонами винограда и разныхъ южныхъ плющей. Часто, въ этой роскошной лиственной чащѣ, или одиноко на стѣнахъ, или въ глиняныхъ огромныхъ вазахъ, рисуются синеватые неподвижные листья алоэ. Чтожъ касается нравовъ, мы встрѣтили самую радушную привѣтливость, соединенную съ необыкновенною простотою обращенія; въ гостинницахъ съ насъ брали немного и конечно меньше обсчитывали, чѣмъ въ другихъ городахъ Италіи. Еще менѣе причинъ думать, чтобы старая поговорка нашла свое оправданіе въ нравахъ женщинъ! Основываясь на всемъ этомъ, можно вывести заключеніе, что восклицаніе Данта:

> Ahi genovesi, uomini diversi
> Dogni costume e pieni d'ogni magogne,
> Perche non siete voi del mondo spersi!

т.-е. О генуезцы, люди, лишенные всякаго приличія и полные хитрости, отчего, до сихъ поръ васъ не разнесло по свѣту!—находитъ только объясненіе въ той ненависти, которая, въ средніе вѣка, раздѣляла другъ отъ друга города Италіи, и которая, къ сожалѣнію, быть-можетъ, и теперь еще не совсѣмъ прекратилась!

Окрестности Генуи очаровательны; но городъ самъ по себѣ такъ любопытенъ, беретъ такъ много времени и притомъ мы пробыли въ немъ такъ мало, что не удалось почти сдѣлать шагу за его стѣны. Въ день нашего отъѣзда условились мы однакожъ подняться

на самую высокую точку города съ тѣмъ, чтобы хоть сколько-нибудь получить понятіе объ общей панорамѣ. Съ такою цѣлью пустились мы въ дорогу; но на пути попалась намъ церковь Santa Maria de Carignano, и мы не пошли далѣе; это одна изъ изящнѣйшихъ церквей Генуи. Исторія ея постройки рисуетъ нравы того времени и не лишена занимательности: двѣ враждующія фамиліи, Фіески и Кариньянъ Саули, дворцы которыхъ, стоявшіе рядомъ, и теперь еще существуютъ, были прихожане въ одну и ту же церковь; разъ Кариньянъ является къ обѣдни съ своимъ семействомъ; ему говорятъ, что обѣдни сегодня не будетъ, потому что наканунѣ семейство Фіески заказало особенную службу. Этого довольно было Кариньяну; онъ немедленно заложилъ подлѣ своего дворца великолѣпный храмъ; чтобы поддерживать его достойнымъ образомъ, онъ ассигновалъ причту ежегоднаго доходу триста тысячъ франковъ на теперешнія деньги. Дворецъ весь изъ карарскаго мрамора; онъ также запущенъ, какъ большая часть дворцовъ Генуи; внутри, во многихъ комнатахъ сохранилась массивная мебель съ позолотой, штофные занавѣсы и ковры: но все это имѣетъ видъ обветшалыхъ декорацій, сложенныхъ послѣ какого-то блестящаго, затѣйливаго представленія. Одна изъ боковыхъ дверей открывается въ садъ, или вѣрнѣе на террасу, устроенную на платформѣ скалы, высоко планирующей надъ городомъ.

Трудно представить себѣ что-нибудь поэтичнѣе этого мѣста! Природа Италіи выразилась здѣсь во всей своей пышности; померанцовыя и лимонныя деревья смѣшиваются съ миртами, лаврами и олеандрами; громадные кипарисы бросаютъ длинныя голубыя тѣни черезъ массы зелени. Въ концѣ темной алеи возвышаются, какъ колоны разрушеннаго храма, двѣ пальмы, первыя пальмы, которыя мнѣ случилось видѣть на вольномъ воздухѣ.

Хотя точка эта не слишкомъ высока, — отсюда открывается однакожъ отличный видъ; подъ ногами дугообразно развертывается часть города съ живописными массами своихъ пестрыхъ мраморныхъ зданій, съ своими куполами, зеленѣющими террасами и бѣлыми воздушными аркадами, установленными вазами съ алоэ и окруженными сквозными балюстрадами; далѣе, внизу, темнѣетъ лѣсъ мачтъ, оживленныхъ пестрыми флагами всѣхъ націй; еще далѣе, развертывается великолѣпный голубой заливъ, окаймленный горами, которыя постепенно пропадаютъ и затушевываются голубоватой, сіяющей далью...

Къ вечеру того же дня мы прощались съ Генуей, стоя на палубѣ корабля и снова, можно сказать, не видали общей панорамы, потому что снова пошелъ дождь. На другой день рано утромъ увидѣли мы знакомые горы Вилла-франки, и нѣсколько часовъ спустя ѣхали по улицамъ Ниццы.

Здѣсь между тѣмъ ожидала насъ новость.

Въ короткое время нашего отсутствія успѣлъ здѣсь созрѣть и образоваться клубъ, имѣвшій цѣлью соединять каждый вечеръ русское общество. Уже по городу изъ рукъ въ руки переходила печатная программа съ именами учредителей, въ главѣ которыхъ находились двѣ дамы; каждому лицу ввѣрена была особая спеціальная часть; въ программѣ, представлявшей между прочимъ замѣчательный образчикъ изящнѣйшаго французскаго слога, излагалась цѣль асоціаціи, правила и увеселенія, которыми предполагалось услаждать соотечественниковъ. Подъ рубрикою увеселеній напечатано было въ скобкахъ и курсивными буквами: „Monsieur Alphonse Karr,— ministre des menus plaisirs!“ Лица, желавшія записаться въ члены, вносили ежемѣсячно шестьдесятъ франковъ. Открытіе клуба назначено было вечеромъ того дня, какъ прибыла въ Ниццу русская эскадра.

— Что вы объ этомъ думаете? спросилъ я у С.

— Думаю, что все это можетъ быть очень хорошо; только помоему—логики нѣтъ.

— Какъ такъ?

— Очень просто: люди лѣзутъ изъ кожи и платятъ большія деньги, чтобы вырваться какъ-нибудь изъ Морской и Малой Конюшенной, и достигнувъ такой цѣли, т. е. пріѣхавъ сюда напримѣръ, снова хлопочутъ и даютъ деньги, чтобы вновь осуществить Морскую и Малую Конюшенную...

Соглашаясь отчасти съ мыслью С., я тѣмъ не менѣе поспѣшилъ записаться въ члены. Сколько помнится, я никогда не чувствовалъ особенной антипатіи къ вышеупомянутымъ улицамъ Петербурга; я даже съ любопытствомъ, не лишеннымъ нѣкотораго сладостнаго положенія, ожидалъ увидѣть ихъ перенесенными въ Ниццу.

Часу въ десятомъ отправился я по адресу. Квартира клуба помѣщалась рядомъ съ извѣстной цвѣточной лавочкой Альфонса Карра. Издали еще бросались въ глаза плошки, украшавшія верхній косякъ двора; окна ярко были освѣщены. Лѣстница, устланная ковромъ и установленная цвѣтами, показывала, что учредители,

какъ и слѣдовало ожидать каждому знающему широкую натуру нашихъ соотечественниковъ, не пожалѣли денегъ на внѣшній блескъ. Убранство комнатъ отвѣчало великолѣпію лѣстницы. Одно только показалось мнѣ страннымъ: несмотря на то, что уже не было такъ рано, въ этихъ великолѣпно-освѣщенныхъ комнатахъ находилось всего на всего пять человѣкъ: главная учредительница клуба (dame partonesse, какъ называлась она въ программѣ), ея мужъ и три ея родственницы. Было правда еще шестое лицо, молодой грекъ въ національномъ костюмѣ, фустанеллѣ, красныхъ штиблетахъ, шитой курткѣ и фескѣ, котораго я принялъ было за почетнаго члена, но который вскорѣ явился съ подносомъ и оказался крѣпостнымъ человѣкомъ учредительницы: греческій костюмъ являлся здѣсь только какъ образчикъ будущей ливреи, въ которую предполагалось одѣть всю прислугу клуба.

Въ первыя же десять минутъ ясно можно было замѣтить, что пятеро лицъ, составлявшихъ пока общество, испытывали сильное волненіе: они тревожно ходили по комнатамъ, прислушивались къ малѣйшему шуму извнѣ, безпокойно глядѣли на часы, время отъ времени сходилились вмѣстѣ и съ видомъ крайней озабоченности шептались между собою. Впродолженіи часа они два раза ринулись къ лѣстницѣ, чтобы встрѣтить еще двухъ соотечественниковъ, но послѣдніе повидимому усилили только чувство тревоги и безпокойства; только и слышались отрывчатыя восклицанія: „Не можетъ быть!“ „Это ни на что не похоже!“ „Ну, нечего сказать!..“ и тому подобное. Прошелъ между тѣмъ часъ, другой—никто не показывался; не показывался даже ministre des menus plaisirs, г. Карръ; увеселенія ограничивались только чаемъ, который разносилъ грекъ въ фустанеллѣ.

Не оставалось никакого сомнѣнія, что тутъ что-то не ладно, что происходитъ что-то особенное. Неловко между тѣмъ было спросить, въ чѣмъ дѣло: такой вопросъ былъ бы крайне неумѣстенъ со стороны совершенно незнакомаго человѣка.

Любопытство прослѣдить до конца, чѣмъ кончится вечеръ, уступило однакожъ во мнѣ мѣсто страшной скуки; къ тому же ночь была такъ хороша, невольно манило выйти на воздухъ изъ душныхъ освѣщенныхъ комнатъ. Часу въ двѣнадцатомъ, улучшивъ удобную минуту, я вышелъ изъ клуба никѣмъ незамѣченный.

— Чтоже все это значитъ однакожъ? думалъ я, направляясь къ морскому берегу,—очевидно первый вечеръ не состоялся; но

можетъ быть немногія лица знали объ этомъ?.. Нѣтъ, программа, сколько сказывали, разослана была по всѣмъ домамъ..? Чтожъ бы это значило въ самомъ дѣлѣ?.. Ужъ не мистификація ли какая?...

На другое утро все объяснилось.

Въ главѣ учредителей, какъ я говорилъ вамъ, находились двѣ дамы. Когда программа была составлена и все было готово для открытія клуба, между ними возникъ вопросъ о томъ, кому быть предсѣдательницей? Предсѣдательница должна была быть: роль ея значилась въ программѣ. Дамы были одинаково самолюбивы и каждой въ одинаковой степени хотѣлось занять почетную роль. Каждая принялась разумѣется выставлять права свои передъ другой, но такъ какъ это ничего не рѣшило, дамы начали высчитывать одна передъ другой заслуги мужей своихъ. Вопросъ, коснувшись такого щекотливаго предмета, потребовалъ вмѣшательства постороннихъ лицъ; послѣднія окончательно только затуманили и перепутали дѣло. Кончилось тѣмъ, что дамы учредительницы, наговоривъ другъ другу бездну колкостей, разстались непримиримыми врагами; г-жа N объявила, что если г-жа М. будетъ предсѣдательницей, — ни одинъ человѣкъ, ни одна дама изъ ея знакомыхъ, не переступитъ порогъ клуба; г-жа М, съ своей стороны, объявила тоже самое, прибавивъ, что бѣда не велика, что ея общества достаточно, чтобы клубъ процвѣталъ и состоялся.

— Посмотримъ! замѣтила, говорятъ, г-жа N., лукаво улыбаясь.

Два дна сряду до открытія клуба, г жа N. ѣздила по всей Ниццѣ и брала слово нетолько съ своихъ знакомыхъ, но брала слово даже съ знакомыхъ ея знакомыхъ не принимать никакого участія въ новомъ клубѣ.

Успѣхъ ея, какъ мы видѣли, превзошелъ всякія ожиданія. Три дня сряду во вновь устроенномъ клубѣ зажигались свѣчи и появлялся грекъ въ фустанеллѣ, посѣтители однакожъ не увеличивались. Недѣлю спустя, двери клуба были заперты, а на второй недѣли квартиру отдали въ наемъ англійскому семейству.

Тѣмъ все и кончилось.

Русское общество, состоявшее болѣе чѣмъ изъ двухсотъ семействъ, по прежнему въ извѣстный часъ и всякій день продолжало сходиться въ jardin des plantes, тотъ самый скверъ съ чахлыми деревьями, о которомъ я упоминалъ въ началѣ этихъ записокъ.

Общество впрочемъ скорѣе приходило сюда, чѣмъ сходилось. Сходились только кружки, между которыми ничего не было общаго; каждый кружокъ гордо, съ чувствомъ невыразимаго достоинства, держался въ отдаленіи одинъ отъ другого; такихъ кружковъ было три; аристократическій, — gentry, — состоявшій преимущественно изъ семействъ, глава которыхъ достигъ генеральскаго чина или директорства надъ департаментомъ, и наконецъ кружокъ чиновныхъ лицъ и дворянъ разныхъ губерній съ именами, совершенно никому неизвѣстными.

Тѣснота садика, гдѣ каждый почти поневолѣ прикасался локтемъ къ локтю сосѣда, еще рѣзче выказывала такія отличія. Стоило выйти бывало, чтобы услышать: Venez par ici; notre société est là!... Слова эти сопровождались обыкновенно выразительными взглядами, обращаемыми къ сосѣдямъ другого кружка. При всемъ томъ, сколько можно было замѣтить единственная работа каждаго лица, точно также какъ и каждаго кружка, состояла въ томъ, чтобы выставлять себя другъ передъ другомъ съ возможно лучшей и выгодной стороны; всѣ какъ словно обмѣривали себя взглядами и каждый взглядъ какъ будто хотѣлъ сказать: „не думайте, чтобъ я или мы были *кто нибудь*; мы хоть и сами по себѣ, но нисколько не хуже васъ, быть-можетъ даже лучше!“

Не постигаю, какъ это дѣлается, но встрѣчая иностранцевъ, скажешь только: вотъ это французъ, это англичанинъ и т. д.; наружность ихъ не даетъ ни малѣйшаго понятія о ихъ званіи или общественномъ положеніи; она часто даже приведетъ въ заблужденіе: важную особу примешь за куафера, торгаша за члена парламента; имъ самимъ даже какъ будто совершенно все равно, за кого бы ихъ ни приняли. Съ русскими же происходитъ совершенно другое: они какъ будто недовольствуются казаться русскими или просто людьми, ихъ явно безпокоитъ, чтобъ знали сверхъ того, кто они такіе и съ кѣмъ именно имѣешь дѣло: съ дворяниномъ ли, секретаремъ ли палаты, генераломъ, лицомъ высокаго общественнаго положенія, дѣйствительнымъ ли статскимъ совѣтникомъ и т. д. Такое стремленіе къ выраженію своего официальнаго значенія такъ сильно въ русскихъ джентльменахъ и даже леди, такъ неразлучно присутствуетъ въ ихъ душѣ, мысляхъ, такъ часто приводится въ дѣйствіе, что способъ выраженія входитъ уже наконецъ въ привычку, а впослѣдствіи высказывается самъ собою, безъ малѣйшаго напряженія со стороны лица. Вы иногда можете забыть,

кто вы такой, но уже самая ваша фигура такъ слилась съ формою вашего общественнаго положенія, что даже заграницей, несмотря на штатское платье, безошибочно скажешь, вотъ русскій генералъ, вотъ управляющій департаментомъ, вотъ купецъ или просто степнякъ-помѣщикъ.

Опасеніе заговорить Богъ знаетъ съ кѣмъ, сѣсть Богъ знаетъ подлѣ кого, выражается явно и на каждомъ шагу; не успѣешь просидѣть двухъ минутъ подлѣ незнакомой дамы и сказать, не безпокоитъ ли ее солнце, сѣверный вѣтеръ или дымъ, она не утерпитъ, чтобы не спросить: Pardon, monsieur, sans être indiscrète, à qui ai-je lhonneur de parler?.. Сколько разъ случалось мнѣ видѣть въ этомъ саду Ниццы, какъ дамы (большею частію такія исторіи бываютъ съ дамами) выходили изъ своего кружка и занимали свободное мѣсто въ сосѣднемъ кружкѣ; если только послѣдній считалъ себя болѣе аристократическимъ, вновь пришедшая неизбѣжно оставалась въ положеніи одинокой скалы вокругъ равнодушно плещущаго моря кринолинъ и шитыхъ юбокъ.

Впрочемъ, такая осторожность въ отношеніи къ скорому сближенію имѣетъ можетъ быть свои основательныя причины. Одна изъ прелестей заграничной жизни заключается въ совершенной свободѣ, свобода эта очевидно нарушается знакомствомъ; знакомство съ иностранцами имѣетъ по крайней мѣрѣ интересъ новизны, и видно вознаграждаетъ за время, употребленное на визиты. Вы знаете, что если лишаетесь интересной прогулки, то съ другой стороны получаете въ обмѣнъ возможность наблюдать чужеземные нравы; но пріѣхать заграницу съ тѣмъ, чтобы заводить новыя знакомства между соотечественниками, заводить свои кружки и оставаться въ нихъ безвыходно, это рѣшительно значитъ только, какъ говоритъ С., покидать Малую-Конюшенную и платить деньги съ тѣмъ, чтобы заграницей снова попадать въ Малую-Конюшенную.

Другая причина осторожности въ сближеніяхъ быть можетъ еще основательнѣе; она объясняется отсутствіемъ общаго уровня образованія и воспитанія даже въ томъ обществѣ русскихъ людей, которые отправляются въ чужіе края. Дѣйствительно надо быть осторожнымъ, потому что неровенъ часъ и не знаешь на кого наткнешься.

Я могъ бы привести здѣсь сотни случаевъ, самыхъ назидательныхъ, и ограничусь однимъ, потому именно, что онъ происходилъ въ Ниццѣ, въ самый день нашего пріѣзда.

Нѣсколько человѣкъ изъ моихъ знакомыхъ отправились обѣдать въ скромный ресторанъ. Они взяли особую комнату. Неожиданно посреди самаго обѣда въ дверяхъ появляется молодой гардемаринъ изъ русской эскадры.

— Извините меня, господа! говоритъ онъ въ смущеніи:—крайность одна заставила меня васъ безпокоить. Я и двое моихъ товарищей обѣдали въ сосѣдней комнатѣ; тутъ же, только за другимъ столомъ, сидѣлъ незнакомый господинъ, котораго мы приняли сначала за иностранца. Услышавъ, что мы говоримъ по русски, онъ вдругъ сѣлъ къ намъ, потребовалъ шампанскаго, налилъ въ стаканы и сказалъ, чтобы мы выпили; никто изъ насъ не пьетъ, мы учтиво отказались. „Вы меня не знаете!“ заговорилъ онъ неожиданно:—„пейте, не то худо будетъ!..“ Мы рѣшительно отказались, хотя, даю вамъ слово, все это сдѣлано было самымъ учтивымъ образомъ; тогда онъ ударилъ кулакомъ по столу и началъ бранить насъ самыми скверными словами; онъ теперь еще тамъ и грозитъ надѣлать скандалъ. Ради Бога придите къ намъ на помощь, урезоньте какъ-нибудь... Мы рѣшительно не знаемъ, что дѣлать!..

Обѣдавшіе встали изъ-за стола и войдя въ сосѣднюю комнату, встрѣтили бѣлокураго, плотнаго господина, который рѣшительно бѣсновался, билъ кулакомъ по столу и изрыгалъ брань и проклятія; увидя вошедшихъ, онъ схватилъ графинъ и принялъ оборонительную позу.

При первомъ словѣ увѣщанія, сказанномъ самымъ деликатнымъ образомъ, онъ бросился къ выходной двери, заслонилъ ее спиною и объявилъ, что никто не выйдетъ отсюда, пока всѣ вмѣстѣ и каждый порознь не попроситъ у него извиненія.

— Кто же васъ обидѣлъ? спросилъ одинъ изъ присутствующихъ.

— Тотъ изъ васъ, кто осмѣлился читать мнѣ наставленія! вскричалъ господинъ, потрясая графиномъ:—кто вы, милостивый государь? Кто вы такой? Votre carte, monsieur, votre carte! подхватилъ онъ, коверкая французскія слова:—всѣ вы должны отвѣчать за дерзость вашего товарища! Повторяю, никто не выйдетъ отсюда, не попросивъ у меня извиненія!..

Въ противномъ случаѣ онъ грозилъ разбить всѣмъ головы графиномъ.

По всей вѣроятности онъ частію привелъ бы въ исполненіе свои угрозы, еслибъ на крикъ не вбѣжали хозяинъ и люди.

— Боже, это онъ! Опять! онъ! вскричалъ хозяинъ ресторана:—

мы не знаемъ, что съ нимъ дѣлать! Онъ рѣшительно отобьетъ у насъ всѣхъ посѣтителей!

По справкамъ открылось, что это былъ русскій дворянинъ, пріѣхавшій въ Ниццу лечиться со своимъ семействомъ. Настоящая болѣзнь его, отъ которой могла вылечить его одна развѣ смерть, состояла въ томъ, что онъ пилъ запоемъ и во время пароксизмовъ напивался до бѣлой горячки.

Не зная напримѣръ такого господина, извольте-ка заговорить съ нимъ и завести знакомство! Извольте также умягчаться патріотическимъ чувствомъ и подъ вліяніемъ его простирать объятья безъ разбору, чтобы попасть на соотечественника, который послѣ первыхъ двухъ словъ скажетъ вамъ: Ma position est atroce! и попроситъ у васъ взаймы денегъ.

Впрочемъ, надо быть справедливымъ: послѣдніе рѣдко встрѣчаются въ Ниццѣ; они избрали своимъ мѣстопребываніемъ преимущественно Парижъ.

Вообще, что бы тамъ ни говорили, далеко нельзя безусловно восхищаться Ниццей. Природа ея и виды восхитительны; климатъ очаровательный; все это такъ. Да вотъ, чего-же лучше: теперь декабрь на дворѣ; припомните, что у насъ дѣлается въ эту пору: зима, закутанная въ безобразную овчину, дуетъ въ раскраснѣвшіе пальцы, топаетъ по льду ногами, обутыми въ валенки, прячетъ носъ, обвѣшанный ледяными сосульками, въ мѣховой воротникъ, глухо перетянутый вокругъ шеи гаруснымъ шарфомъ; вьюги, мятели, снѣгъ до колѣна, морозъ такой, что страшно даже подумать!.. Здѣсь, въ то же время, солнце разливаетъ повсюду теплые лучи, вся природа кротко улыбается, все зелено, вездѣ тепло и наступаетъ время сбора фіалокъ!

Метеорологическія наблюденія, которыя дѣлались впродолженіи послѣднихъ десяти лѣтъ каждый день въ два часа пополудни, вечеромъ въ десять часовъ и утромъ до восхода солнца, доказываютъ, что каждый годъ, среднимъ числомъ, термометръ опускался только два раза ниже нуля; средняя температура года 15 градусовъ. Снѣгу здѣсь почти не знаютъ; два или три раза въ зиму онъ появляется только кое-гдѣ на вершинѣ Лысой горы. Лѣтомъ, благодаря постояннымъ теченіямъ вѣтра съ горъ и съ моря, большихъ жаровъ не бываетъ. Словомъ, рай совершеннѣйшій! Между тѣмъ въ этомъ раю рѣшительно нечего дѣлать человѣку, у котораго здорова печень и нервы въ порядкѣ. Туристъ, одаренный здоровьемъ, положительно

долженъ заболѣть здѣсь отъ скуки. Городъ отличается полнѣйшимъ отсутствіемъ интереса историческаго и художественнаго; смотрѣть рѣшительно нечего. Ницца ничего больше, какъ огромная гостинница для пріѣзжихъ, съ вѣчнымъ Невскимъ проспектомъ, гдѣ съ утра до вечера происходитъ выставка туалетовъ и экипажей, и гдѣ тщеславіе ходитъ подъ руку со скукой невыразимой.

Есть конечно средства устроиться отлично, лучше можетъ быть даже, чѣмъ въ другой части Европы, именно: занять особую виллу въ горахъ или въ одной изъ долинъ; но для этого нужно имѣть или славное расположеніе къ одиночеству, или спеціальную какую-нибудь цѣль, занятіе, или наконецъ надо быть окруженнымъ семействомъ. Во всякомъ случаѣ для этого потребуются средства, которыми не каждый можетъ располагать.

Тѣ же средства нужны каждому больному, чтобы независимо отъ райскаго климата Ниццы, не заболѣть еще хуже. Главное дѣло состоитъ здѣсь въ пріисканіи квартиры, которая выходила бы окнами на югъ. Въ противномъ случаѣ, если пройдетъ у васъ боль въ печени, вы получаете ревматизмъ; вылечатся нервы, откроется простуда въ горлѣ и т. д. Не принявъ такой предосторожности, даже здоровый человѣкъ не будетъ знать куда дѣваться отъ стужи!.. Насколько тепло здѣсь на воздухѣ, настолько же, если еще не больше, холодно въ домахъ; кажется, какъ-будто весь холодъ и сырость, назначенные природою для зимы, оставили воздухъ Ниццы, чтобы сосредоточиться между стѣнами ея отелей. Всѣ окна объ одной рамѣ и вообще плохо запираются, неизбѣжное свойство всѣхъ рамъ на югѣ; полы вымощены каменными плитками; камины существуютъ для того повидимому, чтобы усиливать струи сквозного вѣтра; просто бѣда! Къ этому слѣдуетъ присоединить также сосѣдство. Благодаря страшному наплыву путешественниковъ, врядъ ли найдется счастливецъ, которому приведется жить безъ сосѣдей; сосѣдство часто не послѣднее бѣдствіе...

Такъ напримѣръ, влѣво отъ меня помѣщалось семейство англійскаго пастора,—столько-же набожное, сколько любознательное семейство. Дочери пастора (ихъ было множество, какъ всегда по большей части у лицъ духовнаго сословія) проводили утро, громко читая или декламируя съ учителемъ итальянскіе стихи; вечеромъ, каждая по очереди садилась за рояль и наигрывала мотивы духовныхъ псалмовъ, акомпанируя сестеръ, которыя подтягивали хоромъ; къ голосамъ ихъ часто присоединялся козлиный голосъ самого па-

стора! Такъ продолжалось по нѣсколько часовъ каждый день. Вправо отъ меня помѣщался старый французъ, какой-то кавалеръ св. Людовика, едва державшійся на ногахъ, перегибавшихся какъ мочалки, но наблюдавшій еще изящество туалета. Все-бы еще ничего; но на бѣду мою, у француза была собаченка, которую онъ такъ любилъ, что казалось только для ея здоровья и пріѣхалъ въ Ниццу; это тѣмъ болѣе основательно, что собачка была совершенно паршива и также едва волочила ноги. День-деньской французъ болталъ безъ умолку со своей собачкой. Было-ли это удовлетвореніе врожденное потребности болтать, или влекло его къ тому желаніе разсѣять собачку отъ скуки,—не знаю; только съ утра до вечера раздавался дрожащій голосъ, старавшійся казаться еще пискливѣе и произносившій слова съ умышленнымъ пришоптываньемъ: „Oh, ce petit chien! Voyez donc cette petite bête qui veut faire la tête!.. Mimi! Voulez vous écouter votre maitre! Oh, Mimi, Mimi!.. и т. д.

Едва съ одной стороны умолкали псалмы,—съ другой начиналась бесѣда съ собачкой. Иногда французъ возвращался домой въ особенно хорошемъ, веселомъ настроеніи духа: тогда онъ выпадалъ правой ногою, стучалъ подошвой въ полъ, бойко покрикивалъ на мнимаго какого-то врага и словно выбивался изъ силъ, чтобы пронзить насквозь воображаемой рапирой; или же страшно хорохорясь и горячась, запѣвалъ пѣсню:

«Je suis le roi de la montagne...
Le roi, le roi, le roi!.. ah! ah!..»

Все это до такой степени бывало иногда несносно, что проклинаешь часъ, когда надо возвращаться въ номеръ.

Короче сказать, Ницца, взамѣнъ своего превосходнаго климата и природы, представляетъ также изрядную долю своихъ неудобствъ; не будь у нея ея очаровательныхъ окрестностей, многіе изъ насъ съ первой-же недѣли не знали-бы рѣшительно куда дѣться и что съ собою дѣлать. Единственною отрадой были загородныя прогулки. Одна изъ нихъ, въ мѣстечко St.-Jean, мнѣ особенно памятна. Изъ Ниццы въ S.-Jean двѣ дороги: одна моремъ, мимо гавани Вилла-франка; другая верхомъ, по корнишѣ. Мы были въ этотъ день на кораблѣ и пошли прямо черезъ Вилла-франку горами.

День былъ восхитительный.

Выйдя изъ воротъ верхняго города, мы очутились на узкой

тропинкѣ, проложенной между старинными стѣнами; съ этой стороны нѣтъ хода для экипажей: колесная дорога проходитъ выше и еще выше соединяется съ корнишей. Слѣва, надъ стѣною, охваченной солнцемъ, свѣшивались вѣтви лимонныхъ и оливковыхъ деревъ; мѣстами выставлялись неподвижные громадные листья агавы или алоэ, зазубренные какъ пила. Крутой поворотъ открылъ подъ ногами, на глубинѣ нѣсколькихъ десятковъ сажень, голубой бассейнъ, гдѣ стояли наши корабли, и всю зеленѣющую панораму скатовъ, которые огибали гавань; надъ нами слѣва громоздились на неизмѣримую высоту скалы, сквозившія на солнцѣ между оливковыми плантаціями, расположенными террасами.

Тропинка, повинуясь самымъ мелкимъ неровностямъ почвы, изгибаясь какъ змѣя, то выводила насъ къ самому краю обрыва надъ моремъ, то удалялась въ ущелье, то скрывалась въ чащѣ оливъ и фиговыхъ деревъ, стволы которыхъ, сверкая мѣстами на солнцѣ какъ червонное золото, разливали вокругъ горячій полусвѣтъ. Изламываясь подъ самыми острыми, неожиданными углами, тропинка замѣтно однакожъ лѣзла въ гору и забирала влѣво; четверть часа спустя мы окончательнно потеряли изъ виду заливъ и Вилла-франку. Мы положительно пробирались какъ-будто похолмистому дну темно-зеленаго моря. Мѣстами путь нашъ преграждался обвалившейся скалою, мѣстами остатками древнихъ стѣнъ или римскихъ водоемовъ; это именно та часть приморскихъ Альпъ, гдѣ августовскіе легіоны стояли лагеремъ и которая называется Турбіэй. Мѣстами путь совсѣмъ пропадалъ или путался съ другими дорогами, что было совершенно одно и тоже. Больше всего сбивалъ насъ съ толку обманъ для глаза, который приходится испытывать каждому, кто не привыкъ странствовать по горамъ; вотъ думаешь, глядя вверхъ, вонъ куда ведетъ дорога; ее видно ясно отсюда; не зачѣмъ идти по ней и слѣдовать ея капризнымъ изгибамъ; не проще ли бросить дорогу и пройти вверхъ цѣлиной; отсюда туда всего какихъ нибудь пять сажень. Бросаешь дорогу и начинаешь лѣзть; но лѣзешь, лѣзешь, и кажется все дальше остается лѣзть. Вотъ кажется сейчасъ достигъ мѣста:—не тутъ-то было! очутишься только у подошвы другого, вовсе незнакомаго кряжа; мѣсто, куда направлялся, дѣйствительно надъ вами, но только куда еще какъ высоко!

Потеряться въ этомъ лабиринтѣ нѣтъ однакожъ никакой возможности: начать съ того, что то и дѣло между зеленью просвѣчи-

ваютъ бѣлые дома и черепичныя кровли; правда, доступъ къ нимъ довольно труденъ; они ограждены высокими стѣнами и надо хорошо знать мѣстность, чтобы найти къ нимъ тропинку. Наконецъ чуть ли не на каждыхъ двадцати шагахъ попадаются поселяне; они не только укажутъ дорогу, но проведутъ васъ охотно къ самому мѣсту вашего назначенія. Что за добрый и милый народъ эти піемонтцы! Каждый, я думаю, кто хоть сколько-нибудь прожилъ въ Ниццѣ и ея окрестностяхъ, съ трудомъ удержится отъ такого восклицанія. Часто они не слишкомъ образованы, а тѣ, которые принадлежатъ къ низшимъ классамъ общества, не получили ни малѣйшаго, даже первоначальнаго образованія; а между-тѣмъ натуральнныя способности, и чаще болѣе врожденная кротость нрава, развили въ простолюдинѣ чувство какого-то приличія, учтивости, такта, которые дѣлаютъ отношенія съ нимъ чрезвычайно пріятными; какая разница съ Франціей; какое уваженіе къ закону, какое здравое понятіе о правахъ! Въ обхожденіи ихъ замѣтно совершенное равенство безъ малѣйшей зависти и безъ малѣйшей наглости. Въ самихъ солдатахъ не замѣтно ничего солдафонскаго, высокомѣрнаго и отталкивающаго, что не мѣшаетъ имъ однакожъ быть отличными солдатами. О трудолюбіи этого народа и говорить нечего; оно доказывается тѣмъ, что вся страна, несмотря на частыя препятствія со стороны каменистаго грунта, скалъ и горъ, такъ воздѣлана, что подобное встрѣчается только въ Бельгіи и Саксоніи.

Итакъ, частію справляясь у пѣшеходовъ, частію отыскивая дорогу наавось, мы весело подвигались впередъ. Часа два спустя послѣ выхода мзъ Вилла-франки, передъ нами открылась глубокая долина, покрытая густою растительностью; она спускалась прямо къ морю, окаймленному слѣва живописными горами; онѣ переливались на солнцѣ какъ перламутръ или грудь голубя; бѣлыя крапины на отдаленной отвѣсной скалѣ обозначали городъ Монако. Спускъ по этой долинѣ рождалъ на каждомъ шагу желаніе быть художникомъ. Кромѣ замѣчательныхъ мотивовъ, которые представляютъ здѣсь группы разнообразнѣйшихъ деревьевъ, вся долина усѣяна виллами и живописными домиками поселянъ, стѣнами, обвитыми плющемъ и виноградомъ и служащими оградой дворикамъ съ группами дѣтей, земледѣльческими орудіями, осликами, бѣльемъ, перекинутымъ на веревкахъ, словомъ, всѣмъ тѣмъ, что такъ жадно ищетъ художникъ.

Немного нужно времени, чтобы съ этого мѣста выйти къ морю и очутиться въ St.-Jean, крошечномъ городкѣ, загражденномъ со

стороны Вилла-франки горнымъ кряжемъ; нѣсколько далѣе онъ выдается въ море острымъ клиномъ.

Тутъ, у самой пристани, находится небольшая гостинница, гдѣ во всякое время можно достать отличную рыбу и устрицы; они тутъ же при васъ и вынимаются изъ воды; лимоны вы рвете прямо съ деревьевъ, которыя толпятся со всѣхъ сторонъ.

Изъ оконъ второго этажа открывается одинъ изъ живописныхъ видовъ на море и горы; съ этой точки горы обрисовываютъ у подошвы своей нѣсколько заливовъ. Надо имѣть большую долю равнодушія и холодности, чтобы вечеромъ къ солнечному закату, оторваться хоть на минуту отъ этихъ оконъ.

Горы отсюда довольно далеки; но воздухъ такъ чистъ и прозраченъ, что даетъ возможность явственно уловлять мельчайшія очертанія уступовъ, пропастей и зеленыхъ скатовъ, которые усыпаны красными кровлями и бѣлыми домами. Солнце садится, освѣщая горы нѣсколько сбоку; передать невозможно словами тѣхъ эффектовъ свѣта и тѣни, какими одѣваются горы. Чѣмъ сильнѣе сгущаются тѣни у подошвы, въ глубинѣ заливовъ, тѣмъ ярче или нѣжнѣе окрашиваются вершины; тонко-розовые золотистые тоны постепенно смѣняются пурпуромъ, горятъ какъ въ огнѣ, багровѣютъ, путаются съ фіолетовыми отливами, наконецъ обливаются тѣнью и величественно рисуютъ свой профиль въ сгущенной лазури южной ночи.

Прибавьте къ этому цѣлыя флотиліи рыбацкихъ лодокъ, которыя покидаютъ обыкновенно въ это время берегъ, бороздятъ серебряными нитями заливъ и обозначаютъ на немъ пятна косыхъ парусовъ своихъ; прибавьте еще мѣрное всплескиванье моря и пѣсни рыбаковъ, и вы охотно согласитесь, я думаю, что хорошо провести здѣсь вечеръ.

Такъ хорошо, я вамъ скажу, что не будь здѣсь St.-Jean, не будь еще другихъ окрестностей, которыя нисколько нехуже, и оставайся только Ницца съ ея promenade des anglais и обществомъ туристовъ,—трудно было бы прожить въ ней болѣе недѣли, не умеревъ со скуки!

ГУТТАПЕРЧЕВЫЙ МАЛЬЧИКЪ.

ПОВѢСТЬ.

...„Когда я родился,—я заплакалъ; въ послѣдствіи, каждый прожитой день объяснялъ мнѣ почему я заплакалъ когда родился..“

I.

Мятель! Мятель!.. И какъ это вдругъ! Какъ неожиданно!.. А до того времени стояла прекрасная погода. Въ полдень слегка морозило; солнце, ослѣпительно сверкая по снѣгу и заставляя всѣхъ щуриться, прибавляло къ веселости и пестротѣ уличнаго петербургскаго населенія, праздновавшаго пятый день масляницы. Такъ продолжалось почти до трехъ часовъ, до начала сумерекъ, и вдругъ налетѣла туча, поднялся вѣтеръ и снѣгъ повалилъ съ такою густотою, что въ первыя минуты ничего нельзя было разобрать на улицѣ.

Суета и давка особенно чувствовалась на площади противъ цирка. Публика, выходившая послѣ утренняго представленія, едва

могла пробираться въ толпѣ, валившей съ Царицына луга, гдѣ были балаганы. Люди, лошади, сани, кареты,—все смѣшалось. Посреди шума раздавались со всѣхъ концовъ нетерпѣливые возгласы, слышались недовольныя, ворчливыя замѣчанія лицъ, застигнутыхъ врасплохъ мятелью. Нашлись даже такіе, которые тутъ же не на шутку разсердились и хорошенько ее выбранили.

Къ числу послѣднихъ слѣдуетъ, прежде всего, причислить распорядителей цирка. И въ самомъ дѣлѣ, если принять въ разсчетъ предстоящее вечернее представленіе и ожидаемую на него публику, мятель легко могла повредить дѣлу. Масляница безспорно владѣетъ таинственной силой пробуждать въ душѣ человѣка чувство долга къ употребленію блиновъ, услажденію себя увеселеніями и зрѣлищами всякаго рода; но съ другой стороны, извѣстно также изъ опыта, что чувство долга можетъ иногда пасовать и слабѣть отъ причинъ, несравненно менѣе достойныхъ, чѣмъ перемѣна погоды. Какъ бы тамъ ни было, мятель колебала успѣхъ вечерняго представленія; рождались даже нѣкоторыя опасенія, что если погода къ восьми часамъ не улучшится,—касса цирка существенно пострадаетъ.

Такъ, или почти такъ, разсуждалъ режиссеръ цирка, провожая глазами публику, тѣснившуюся у выхода. Когда двери на площадь были заперты, онъ направился черезъ залу къ конюшнямъ.

Въ залѣ цирка успѣли уже потушить газъ. Проходя между барьеромъ и первымъ рядомъ креселъ, режиссеръ могъ различать сквозь мракъ только арену цирка, обозначавшуюся круглымъ, мутно-желтоватымъ пятномъ; остальное все: опустѣвшіе ряды креселъ, амфитеатръ, верхнія галлереи,—уходили въ темноту, мѣстами неопредѣленно чернѣя, мѣстами пропадая въ туманной мглѣ, крѣпко пропитанной кисло-сладкимъ запахомъ конюшни, аміака, сырого песку и опилокъ. Подъ куполомъ воздухъ такъ уже сгущался, что

трудно было различать очертаніе верхнихъ оконъ; затемнѣнныя снаружи пасмурнымъ небомъ, залѣпленныя наполовину снѣгомъ, они проглядывали во внутрь какъ сквозь кисель, сообщая настолько свѣта, чтобы нижней части цирка придать еще больше сумрака. Во всемъ этомъ обширномъ, темномъ пространствѣ свѣтъ рѣзко проходилъ только золотистой продольной полоской между половинками драпировки, ниспадавшей надъ оркестромъ; онъ лучемъ врѣзывался въ тучный воздухъ, пропадалъ и снова появлялся на противоположномъ концѣ у выхода, играя на позолотѣ и малиновомъ бархатѣ средней ложи.

За драпировкой, пропускавшей свѣтъ, раздавались голоса, слышался лошадиный топотъ; къ нимъ время отъ времени присоединялся нетерпѣливый лай ученыхъ собакъ, которыхъ запирали, какъ только оканчивалось представленіе. Тамъ теперь сосредоточивалась жизнь шумнаго персонала, одушевлявшаго полчаса тому назадъ арену цирка во время утренняго представленія. Тамъ только горѣлъ теперь газъ, освѣщая кирпичныя стѣны, наскоро забѣленныя известью. У основанія ихъ, вдоль закругленныхъ корридоровъ, громоздились сложенныя декораціи, расписные барьеры и табуреты, лѣстницы, носилки съ тюфяками и коврами, свертки цвѣтныхъ флаговъ; при свѣтѣ газа четко обрисовывались висѣвшіе на стѣнахъ обручи, перевитые яркими бумажными цвѣтами или заклеенные тонкой китайской бумагой; подлѣ сверкалъ длинный золоченый шестъ и выдѣлялась голубая, шитая блестками, занавѣска, украшавшая подпорку во время танцованія на канатѣ. Словомъ тутъ находились всѣ тѣ предметы и приспособленія, которыя мгновенно переносятъ воображеніе къ людямъ, перелетающимъ въ пространствѣ, женщинамъ, усиленно прыгающимъ въ обручъ съ тѣмъ, чтобы снова попасть ногами на спину скачущей лошади, дѣтямъ, кувыркающимся въ воздухѣ или висящимъ на однихъ носкахъ подъ куполомъ.

Несмотря, однакожъ, что все здѣсь напоминало частые и страшные случаи ушибовъ, перелома реберъ и ногъ, паденій, сопряженныхъ со смертью, что жизнь человѣческая постоянно висѣла здѣсь на волоскѣ и съ нею играли какъ съ мячикомъ,—въ этомъ свѣтломъ корридорѣ и расположенныхъ въ немъ уборныхъ, встрѣчались больше лица веселыя, слышались по преимуществу шутки, хохотъ и посвистыванье.

Такъ и теперь было.

Въ главномъ проходѣ, соединявшемъ внутренній корридоръ съ конюшнями, можно было видѣть почти всѣхъ лицъ труппы. Одни успѣли уже перемѣнить костюмъ и стояли въ мантильяхъ, модныхъ шляпкахъ, пальто и пиджакахъ; другимъ удалось только смыть румяна и бѣлила и наскоро набросить пальто, изъ-подъ котораго выглядывали ноги, обтянутыя въ цвѣтное трико и обутыя въ башмаки, шитые блестками, третьи не торопились и красовались въ полномъ костюмѣ, какъ были во время представленія.

Между послѣдними особенное вниманіе обращалъ на себя небольшого роста человѣкъ, обтянутый отъ груди до ногъ въ полосатое трико съ двумя большими бабочками, нашитыми на груди и на спинѣ. По лицу его, густо замазанному бѣлилами, съ бровями, перпендикулярно выведенными поперекъ лба и красными кружками на щекахъ; невозможно было бы сказать, сколько ему лѣтъ, еслибы онъ не снялъ съ себя парика, какъ только окончилось представленье и не обнаружилъ этимъ широкой лысины, проходившей черезъ всю голову.

Онъ замѣтно обходилъ товарищей, не вмѣшивался въ ихъ разговоры. Онъ не замѣчалъ, какъ многіе изъ нихъ подталкивали другъ друга локтемъ и шутливо подмигивали, когда онъ проходилъ мимо.

При видѣ вошедшаго режиссера онъ попятился, быстро отвер-

нулся и сдѣлалъ нѣсколько шаговъ къ уборнымъ; но режиссеръ поспѣшилъ остановить его.

— Эдвардсъ, погодите минутку; успѣете еще раздѣться! сказалъ режиссеръ, внимательно поглядывая на клоуна, который остановился, но, повидимому, неохотно это сдѣлалъ: — подождите, прошу васъ; мнѣ надо только переговорить съ фрау Браунъ... Гдѣ мадамъ Браунъ! Позовите ее сюда... А, фрау Браунъ! воскликнулъ режиссеръ, обратясь къ маленькой хромой, уже не молодой женщинѣ въ салопѣ также не молодыхъ лѣтъ, и шляпкѣ, еще старше салопа.

Фрау Браунъ подошла не одна; ее сопровождала дѣвочка лѣтъ пятнадцати, худенькая, съ тонкими чертами лица и прекрасными, выразительными глазами.

Она также была бѣдно одѣта.

— Фрау Браунъ, торопливо заговорилъ режиссеръ, бросая снова испытующій взглядъ на клоуна Эдвардса: — господинъ директоръ не доволенъ сегодня вами, — или все равно, вашей дочерью; — очень недоволенъ!.. Ваша дочь сегодня три раза упала и третій разъ такъ неловко, что перепугала публику!..

— Я сама испугалась, тихимъ голосомъ произнесла фрау Браунъ: — мнѣ показалось, Мальхенъ упала на бокъ...

— А, па-па-ли-па! Надо больше репетировать, вотъ что! Дѣло въ томъ, что такъ невозможно; получая за вашу дочь сто двадцать рублей въ мѣсяцъ жалованья...

— Но, господинъ режиссеръ, Богъ свидѣтель, во всемъ виновата лошадь; она постоянно сбивается съ такта; когда Мальхенъ прыгнула въ обручъ, — лошадь опять перемѣнила ногу и Мальхенъ упала... вотъ всѣ видѣли, всѣ то же скажутъ...

Всѣ видѣли, — это правда: но всѣ молчали. Молчала также виновница этого объясненія; она ловила случай, когда режиссеръ не смотрѣлъ на нее и робко на него поглядывала.

— Дѣло извѣстное, всегда въ такихъ случаяхъ лошадь виновата, сказалъ режиссеръ. — Ваша дочь будетъ однакожъ на ней ѣздить сегодня вечеромъ.

— Но она вечеромъ не работаетъ...

— Будетъ работать, сударыня! Должна работать!... раздраженно проговорилъ режиссеръ. — Васъ нѣтъ въ росписаніи, это правда, подхватилъ онъ, указывая на писанный листъ бумаги, привѣшенный къ стѣнѣ надъ доскою, усыпанной мѣломъ и служащей артистамъ для обтиранья подошвъ передъ выходомъ на арену: — но это все равно; жонглеръ Линдъ внезапно захворалъ, ваша дочь займетъ его номеръ.

— Я думала дать ей отдохнуть сегодня вечеромъ, проговорила фрау Браунъ, окончательно понижая голосъ, теперь масляница; играютъ по два раза въ день; дѣвочка очень устала...

— На это есть первая недѣля поста, сударыня; и наконецъ въ контрактѣ ясно, кажется, сказано: „артисты обязаны играть ежедневно и замѣнять другъ друга въ случаѣ болѣзни“... Кажется, ясно; и наконецъ, фрау Браунъ: получая за вашу дочь ежемѣсячно сто двадцать рублей, стыдно, кажется, говорить объ этомъ,—именно стыдно!...

Отрѣзавъ такимъ образомъ, режиссеръ повернулся къ ней спиною. Но прежде чѣмъ подойти къ Эдвардсу, онъ снова обвелъ его испытующимъ взглядомъ.

Притупленный видъ и вообще вся фигура клоуна, съ его бабочками на спинѣ и на груди, не предвѣщали на опытный глазъ ничего хорошаго; они явно указывали режиссеру, что Эдвардсъ вступилъ въ періодъ тоски, послѣ чего онъ онъ вдругъ начиналъ пить мертвую; и тогда уже прощай всѣ разсчеты на клоуна, — разсчеты самые основательные, если принять во вниманіе, что Эдвардсъ былъ въ труппѣ первымъ сюжетомъ, первымъ любимцемъ

публики, первымъ потѣшникомъ, изобрѣтавшимъ чуть ли не каждое представленіе что-нибудь новое, заставлявшеее зрителей смѣяться до упаду и хлопать до неистовства. Словомъ, онъ былъ душою цирка, главнымъ его украшеніемъ, главной приманкой.

Боже мой, что могъ бы сказать Эдвардсъ въ отвѣтъ товарищамъ, часто хваставшимъ передъ нимъ тѣмъ, что ихъ знала публика и что они бывали въ столицахъ Европы! Не было цирка въ любомъ большомъ городѣ отъ Парижа до Константинополя, отъ Копенгагена до Палермо, гдѣ бы не хлопали Эдвардсу, гдѣ бы не печатали на афишахъ его изображеніе въ костюмѣ съ бабочками! Онъ одинъ могъ замѣнить цѣлую труппу, бывъ отличнымъ наѣздникомъ, эквилибристомъ, гимнастомъ, жонглеромъ, мастеромъ дрессировать ученыхъ лошадей, собакъ, обезьянъ, голубей, — а какъ клоунъ, какъ потѣшникъ, — не зналъ себѣ соперника... Но припадки тоски въ связи съ запоемъ преслѣдовали его повсюду.

Все тогда пропадало. Онъ всегда предчувствовалъ приближеніе болѣзни; тоска, овладѣвавшая имъ, была ничего больше, какъ внутреннее сознаніе безполезности борьбы; онъ дѣлался угрюмымъ, несообщительнымъ. Гибкій, какъ сталь, человѣкъ превращался въ тряпку,—чему втайнѣ радовались его завистники и что пробуждало состраданье между тѣми изъ главныхъ артистовъ, которые признавали его авторитетъ и любили его; послѣднихъ, надо сказать, было немного. Самолюбіе большинства было всегда болѣе или менѣе задѣто обращеніемъ Эдвардса, никогда не соблюдавшаго степеней и отличій; первый ли сюжетъ, являвшійся въ труппу съ извѣстнымъ именемъ, простой ли смертный темнаго происхожденія,—для него было безразлично. Онъ явно даже предпочиталъ послѣднихъ.

Когда онъ былъ здоровъ, его постоянно можно было видѣть съ какимъ-нибудь ребенкомъ изъ труппы; за неимѣніемъ такого, онъ возился съ собакой, обезьяной, птицей и т. д.; привязанность его

рождалась всегда какъ-то вдругъ, но чрезвычайно сильно. Онъ всегда отдавался ей тѣмъ упорнѣе, чѣмъ дѣлался молчаливѣе съ товарищами, начиналъ избѣгать съ ними встрѣчь и становился все болѣе и болѣе сумрачнымъ.

Въ этотъ первый періодъ болѣзни, управленіе цирка могло еще на него разсчитывать. Представленья не успѣвали еще утрачивать надъ нимъ своего дѣйствія. Выходя изъ уборной въ трико съ бабочками, въ рыжемъ парикѣ, набѣленный и нарумяненный, съ перпендикулярно наведенными бровями, онъ видимо еще бодрился, присоединяясь къ товарищамъ и приготовляясь къ выходу на арену.

Прислушиваясь къ первымъ взрывамъ аплодисментовъ, крикамъ: браво! звукамъ оркестра, — онъ постепенно какъ-бы оживалъ, воодушевлялся, и стоило режиссеру крикнуть: клоуны впередъ!... — онъ стремительно вылеталъ на арену, опережая товарищей; и уже съ этой минуты, посреди взрывовъ хохота и восторженныхъ браво!—неумолкаемо раздавались его пискливые возгласы и быстро, до ослѣпленія, кувыркалось его тѣло, сливаясь при свѣтѣ газа въ одно круговое непрерывное сверканье...

Но кончалось представленье, тушили газъ—и все какъ рукой сымало! Безъ костюма, безъ бѣлилъ и румянъ, Эдвардсъ представлялся только скучающимъ человѣкомъ, старательно избѣгавшимъ разговоровъ и столкновеній. Такъ продолжалось нѣсколько дней, послѣ чего наступала самая болѣзнь; тогда ничего уже не помогало; онъ все тогда забывалъ; забывалъ свои привязанности, забывалъ свой циркъ, который, съ его освѣщенной ареной и хлопающей публикой, заключалъ въ себѣ всѣ интересы его жизни. Онъ исчезалъ даже совсѣмъ изъ цирка; все пропивалось; пропивалось накопленное жалованье, пропивалось не только трико съ бабочками, но даже парикъ и башмаки, шитые блестками.

Понятно теперь, отчего режиссеръ, слѣдившій еще съ начала

масляницы за возраставшимъ уныніемъ клоуна, поглядывалъ на него съ такимъ безпокойствомъ. Подойдя къ нему и бережно взявъ его подъ руку, онъ отвелъ его въ сторону.

— Эдвардсъ, произнесъ онъ, понижая голосъ и совершенно дружественнымъ тономъ: — сегодня у насъ пятница; остались суббота и воскресенье, — всего два дня! Что стоитъ переждать, а?... Прошу васъ объ этомъ; директоръ также проситъ... Подумайте наконецъ о публикѣ! Вы знаете, какъ они васъ любятъ!.. Два дня всего! прибавилъ онъ, схватывая его руку и принимаясь раскачивать ее изъ стороны въ сторону: — кстати, вы что-то хотѣли сказать мнѣ о гуттаперчевомъ мальчикѣ, подхватилъ онъ, очевидно болѣе съ цѣлью развлечь Эдвардса, такъ какъ ему было извѣстно, что клоунъ въ послѣднее время выражалъ особенную заботливость къ мальчику, что служило также знакомъ приближавшейся болѣзни: — вы говорили, онъ сталъ какъ-будто слабѣе работать... Мудренаго нѣтъ: мальчикъ въ рукахъ такого болвана, такого олуха, который можетъ только его испортить! Что же съ нимъ?

Эдвардсъ, не говоря ни слова, тронулъ себя ладонью по крестцу, потомъ похлопалъ по груди.

— И тамъ, и здѣсь не хорошо у мальчика, сказалъ онъ, отводя глаза въ сторону.

— Намъ невозможно, однакожъ, отъ него теперь отказаться; онъ на афишкѣ; не кѣмъ замѣнить до воскресенья; два дня пускай еще поработаетъ, — тамъ можетъ отдохнуть, сказалъ режиссеръ.

— Можетъ также не выдержать, глухо замѣтилъ клоунъ.

— Вы бы только выдержали, Эдвардсъ! Вы бы только насъ не оставили! живо и даже съ нѣжностью въ голосѣ подхватилъ режиссеръ, принимаясь снова раскачивать руку Эдвардса.

Но клоунъ отвѣтилъ сухимъ пожатіемъ, отвернулся и медленно пошелъ раздѣваться.

Онъ остановился, однакожъ, проходя мимо уборной гуттаперчеваго мальчика или, вѣрнѣе, уборной акробата Беккера, такъ какъ мальчикъ былъ только его воспитанникомъ. Отворивъ дверь, Эдвардсъ вошелъ въ крошечную низкую комнату, расположенную подъ первой галлереей для зрителей; нестерпимо было въ ней отъ духоты и жары; къ конюшенному воздуху, разогрѣтому газомъ, присоединялся запахъ табачнаго дыма, помады и пива; съ одной стороны красовалось зеркальце въ деревянной рамѣ, обсыпанной пудрой; подлѣ, на стѣнѣ, оклеенной обоими, лопнувшими по всѣмъ щелямъ, висѣло трико, имѣвшее видъ содранной человѣческой кожи; дальше, на деревянномъ гвоздѣ, торчала остроконечная войлочная шапка съ павлиньимъ перомъ на боку; нѣсколько цвѣтныхъ камзоловъ, шитыхъ блестками, и часть мужской обыденной одежды громоздились въ углу на столѣ. Мебель дополнялась еще столомъ и двумя деревянными стульями. На одномъ сидѣлъ Беккеръ,—совершенное подобіе Голіаѳа. Физическая сила сказывалась въ каждомъ его мускулѣ, толстой перевязкѣ костей, коротенькой шеѣ съ надутыми венами, маленькой круглой головѣ, завитой въ крутую и густо напомаженной. Онъ казался не столько отлитымъ въ форму, сколько вырубленнымъ изъ грубаго матерьяла и притомъ грубымъ инструментомъ; хотя ему было на видъ лѣтъ подъ сорокъ,—онъ казался тяжеловѣснымъ и неповоротливымъ,—обстоятельство, нисколько не мѣшавшее ему считать себя первымъ красавцемъ въ труппѣ и думать, что при появленіи его на аренѣ, въ трико тѣлеснаго цвѣта, онъ приводитъ въ сокрушеніе женскія сердца. Беккеръ снялъ уже костюмъ, но былъ еще въ рубашкѣ и, сидя на стулѣ, прохлаждалъ себя кружкою пива.

На другомъ стулѣ помѣщался тоже завитой, но совершенно голый бѣлокурый и худощавый мальчикъ лѣтъ восьми. Онъ не успѣлъ еще простыть послѣ представленія; на тоненькихъ его

членахъ и впадинѣ посреди груди, мѣстами, виднѣлся еще лоскъ отъ испарины; голубая ленточка, перевязывавшая ему лобъ и державшая его волосы, была совершенно мокрая; большія, влажныя пятна пота покрывали трико, лежавшее у него на колѣняхъ. Мальчикъ сидѣлъ неподвижно, робко, точно наказанный или ожидающій наказанія.

Онъ поднялъ глаза тогда только, какъ Эдвардсъ вошелъ въ уборную.

— Чего надо? непривѣтливо произнесъ Беккеръ, поглядывая не то сердито, не то насмѣшливо на клоуна.

— Полно, Карлъ, — возразилъ Эдвардсъ задобривающимъ голосомъ, и видно было, что требовалось на это съ его стороны нѣкоторое усиліе: — ты лучше вотъ что: дай-ка мнѣ до семи часовъ мальчика; я бы погулялъ съ нимъ до представленія... Повелъ бы его на площадь поглядѣть на балаганы...

Лицо мальчика замѣтно оживилось, но онъ не смѣлъ этого явно выказать.

— Не надо, сказалъ Беккеръ: — не пущу; онъ сегодня худо работалъ.

Въ глазахъ мальчика блеснули слезы; взглянувъ украдкой на Беккера, онъ поспѣшилъ раскрыть ихъ, употребляя всѣ свои силы, чтобы тотъ ничего не примѣтилъ.

— Онъ вечеромъ лучше будетъ работать, продолжалъ задобривать Эдвардсъ: — послушай-ка, я вотъ что скажу: пока мальчикъ будетъ простывать и одѣваться, — я велю принести изъ буфета пива...

— И безъ того есть! грубо перебилъ Беккеръ.

— Ну, какъ хочешь; а только мальчику было бы веселѣе; при нашей работѣ скучать не годится; самъ знаешь: веселость придаетъ силу и бодрость...

— Это ужь мое дѣло! отрѣзалъ Беккеръ, очевидно, бывшій не въ духѣ.

Эдвардсъ больше не возражалъ. Онъ взглянулъ еще разъ на мальчика, продолжавшаго дѣлать усилія, чтобы не заплакать, покачалъ головою и вышелъ изъ уборной.

Карлъ Беккеръ допилъ остатокъ пива и приказалъ мальчику одѣваться. Когда оба были готовы, акробатъ взялъ со стола хлыстъ, свистнулъ имъ по воздуху, крикнулъ: маршъ! и, пропустивъ впередъ воспитанника, зашагалъ по корридору.

Глядя, какъ они выходили на улицу, воображенію невольно представлялся тщедушный, неоперившійся цыпленокъ, сопровождаемый огромнымъ откормленнымъ боровомъ...

Минуту спустя циркъ совсѣмъ опустѣлъ: оставались только конюхи, начинавшіе чистить лошадей для вечерняго представленія.

II.

Воспитанникъ акробата Беккера назывался „гуттаперчевымъ мальчикомъ" только въ афишкахъ; настоящее имя его было Петя; всего вѣрнѣе, впрочемъ, было бы назвать его несчастнымъ мальчикомъ.

Исторія его очень коротка; да и гдѣ-жъ ей быть длинной и сложной, когда ему минулъ всего восьмой годъ!

Лишившись матери на пятомъ году возраста, онъ хорошо однакожъ ее помнилъ. Какъ теперь видѣлъ онъ передъ собою тощую женщину со свѣтлыми, жиденькими и всегда растрепанными волосами, которая то ласкала его, наполняя ему ротъ всѣмъ, что подвертывалось подъ руку: лукомъ, кускомъ пирога, селедкой, хлѣбомъ,—то вдругъ, ни съ того, ни съ сего, накидывалась, начинала кричать и въ то же время принималась шлепать его чѣмъ ни попало и куда ни попало. Петя тѣмъ не менѣе часто вспоминалъ мать.

Онъ, конечно, не зналъ подробностей домашней обстановки. Не зналъ онъ, что мама его была, ни больше, ни меньше, какъ крайне взбалмошная, хотя и добрая, чухонка, переходившая изъ дома въ домъ въ качествѣ кухарки и отовсюду гонимая, отчасти за излишнюю слабость сердца и постоянныя романтическія приключенія,—

отчасти за неряшливое обращенье съ посудой, бившейся у нея въ рукахъ какъ-бы по собственному капризу.

Разъ какъ-то удалось ей попасть на хорошее мѣсто; — она и тутъ не выдержала. Не прошло двухъ недѣль, она неожиданно объявила, что выходитъ замужъ за временно-отпускного солдата, Никакія увѣщанія не могли поколебать ея рѣшимости. Чухонцы, говорятъ, вообще упрямы. Но не меньшимъ упрямствомъ отличался должно быть также и женихъ, — даромъ что былъ изъ русскихъ. Побужденія съ его стороны были впрочемъ гораздо основательнѣе. Состоя швейцаромъ при большомъ домѣ, онъ могъ уже считать себя нѣкоторымъ образомъ человѣкомъ осѣдлымъ, опредѣленнымъ. Помѣщеніе подъ лѣстницей не отличалось, правда, большимъ удобствомъ: потолокъ срѣзывался угломъ, такъ что подъ возвышенной его частью съ трудомъ могъ выпрямиться человѣкъ рослый; —но люди живутъ и не въ такой тѣснотѣ; наконецъ, квартира даровая, нельзя быть взыскательнымъ.

Размышляя такимъ образомъ, швейцаръ все еще какъ бы не рѣшался, пока не удалось ему случайно купить за очень дешевую цѣну самовара на Апраксиномъ дворѣ. Колебанія его при этомъ начали устанавливаться на болѣе твердую почву. Возиться съ самоваромъ дѣйствительно было какъ-то не мужскимъ дѣломъ; машина очевидно требовала другого двигателя; хозяйка какъ-бы сама собою напрашивалась.

Анна (такъ звали кухарку) имѣла въ глазахъ швейцара то особенное преимущество, что, во-первыхъ, была ему уже нѣсколько знакома; во-вторыхъ, живя по сосѣдству черезъ домъ, — она въ значительной степени облегчала переговоры и сокращала слѣдовательно время, дорогое каждому служащему.

Предложеніе было сдѣлано, радостно принято, свадьба сыграна, и Анна переселилась къ мужу подъ лѣстницу.

Первые два мѣсяца жилось припѣваючи. Самоваръ кипѣлъ съ утра до вечера и паръ, проходя подъ косякомъ двери, клубами валилъ къ потолку. Потомъ стало какъ-то ни то, ни се; наконецъ дѣло совсѣмъ испортилось, когда наступило время родовъ и затѣмъ —хочешь не хочешь — пришлось справлять крестины. Швейцару какъ-бы въ первый разъ пришла мысль, что онъ поторопился нѣсколько, связавъ себя брачными узами. Бывъ человѣкомъ откровеннымъ, онъ прямо высказывалъ свои чувства. Пошли попреки, брань, завязались ссоры. Кончилось тѣмъ, что швейцару отказали отъ мѣста, ссылаясь на постоянный шумъ подъ лѣстницей и крики новорожденнаго, безпокоившіе жильцовъ.

Послѣднее, безъ сомнѣнія, было несправедливо. Новорожденный явился на свѣтъ такимъ тщедушнымъ, такимъ изнуреннымъ, что мало даже подавалъ надеждъ прожить до слѣдующаго дня: еслибъ не соотечественница Анны, прачка Варвара, которая, какъ только родился ребенокъ, поспѣшила поднять его на руки и трясла его до тѣхъ поръ, пока онъ не крикнулъ и не заплакалъ, — новорожденный дѣйствительно могъ бы оправдать предсказанье. Къ этому надо прибавить, что воздухъ подъ лѣстницей не имѣлъ въ самомъ дѣлѣ настолько цѣлебныхъ свойствъ, чтобы въ одинъ день возстановить силы ребенка и развить его легкія до такой уже степени, что крикъ его могъ кого-нибудь обезпокоить. Вѣрнѣе всего, дѣло заключалось въ желаніи удалить безпокойныхъ родителей.

Мѣсяцъ спустя швейцара потребовали въ казармы; въ тотъ же вечеръ всѣмъ стало извѣстно, что его вмѣстѣ съ полкомъ отправляютъ въ походъ.

Передъ разлукой супруги снова сблизились; на проводахъ много было пролито слезъ и еще больше пива.

Но ушелъ мужъ, — и снова начались мытарства по отысканію мѣста. Теперь только труднѣе было; съ ребенкомъ Анну никто

почти не хотѣлъ брать. Такъ съ горемъ пополамъ протянулся годъ.

Анну вызвали однажды въ казармы, объявили, что мужъ убитъ и выдали ей вдовій паспортъ.

Обстоятельства ея, какъ каждый легко себѣ представить, нисколько отъ этого не улучшились. Выпадали дни, когда не на что было купить селедки и куска хлѣба для себя и для мальчика; еслибъ не добрые люди, совавшіе иногда ломоть или картошку, мальчикъ навѣрное-бы зачахъ и преждевременно умеръ отъ истощенія. Судьба наконецъ сжалилась надъ Анной. Благодаря участію соотечественницы Варвары, она поступила прачкой къ хозяевамъ пробочной фабрики, помѣщавшейся на Черной рѣчкѣ.

Здѣсь дѣйствительно можно было вздохнуть свободнѣе. Здѣсь мальчикъ никому не мѣшалъ; онъ могъ всюду слѣдовать за матерью и цѣпляться за ея подолъ, сколько было душѣ угодно.

Особенно хорошо было лѣтомъ, когда подъ вечеръ дѣятельность фабрики останавливалась, шумъ умолкалъ, рабочій людъ расходился, оставались только женщины, служившія у хозяевъ. Утомленныя работой и дневнымъ жаромъ, женщины спускались на плотъ, усаживались по скамейкамъ, и начиналась на досугѣ нескончаемая болтовня, приправляемая прибаутками и смѣхомъ.

Въ увлеченьи бесѣды, рѣдкая изъ присутствующихъ замѣчала, какъ прибрежныя ветлы постепенно окутывались тѣнью и въ то же время все ярче и ярче разгорался закатъ; какъ нежданно вырывался изъ-за угла сосѣдней дачи косой лучъ солнца; какъ внезапно охваченныя имъ макушки ветелъ и края заборовъ отражались вмѣстѣ съ облакомъ въ уснувшей водѣ, и какъ, одновременно съ этимъ, надъ водою и въ тепломъ воздухѣ появились безпокойно движущіяся сверху внизъ полчища комаровъ, обѣщавшія такую же хорошую погоду и на завтрашній день.

Время это было безпорно лучшимъ въ жизни мальчика, — тогда еще не гуттаперчеваго, но обыкновеннаго, какими бываютъ всѣ мальчики. Сколько разъ потомъ разсказывалъ онъ о Черной рѣчкѣ клоуну Эдвардсу. Но Петя говорилъ скоро и съ увлеченіемъ; Эдвардсъ едва понималъ по-русски; отсюда выходилъ всегда цѣлый рядъ недоразумѣній. Думая, что мальчикъ разсказываетъ ему о какомъ-то волшебномъ снѣ, и не зная, что отвѣчать ему, — Эдвардсъ ограничивался тѣмъ обыкновенно, что ласково проводилъ ему ладонью по волосамъ снизу вверхъ и добродушно посмѣивался.

И такъ Аннѣ жилось изрядно; но прошелъ годъ, другой, и вдругъ, совершенно опять неожиданно, объявила она, что выходитъ замужъ. — „Какъ? Что? — За кого?..“ послышалось съ разныхъ сторонъ. На этотъ разъ женихъ оказался подмастерьемъ изъ портныхъ. Какимъ образомъ, гдѣ сдѣлано было знакомство — никто не зналъ. Всѣ окончательно только ахнули, увидѣвъ жениха, — человѣка ростомъ съ наперстокъ, съеженнаго, съ лицомъ желтымъ, какъ испеченая луковица, притомъ еще прихрамывающаго на лѣвую ногу, — ну, словомъ, какъ говорится, совершеннаго михрютку.

Никто рѣшительно ничего не понималъ. Всѣхъ меньше, конечно, могъ понять Петя. Онъ горько плакалъ, когда его уводили съ Черной рѣчки, и еще громче зарыдалъ на свадьбѣ матери, когда, въ концѣ пирушки, одинъ изъ гостей ухватилъ вотчима за галстухъ и началъ душить его, между тѣмъ какъ мать съ крикомъ бросилась разнимать ихъ.

Не прошло нѣсколькихъ дней и наступила уже очередь Анны пожалѣть о торопливости связать себя брачными узами. Но дѣло было сдѣлано; каяться было поздно. Портной проводилъ день въ мастерской; къ вечеру только возвращался онъ въ свою коморку, сопровождаемый всегда пріятелями, въ числѣ которыхъ лучшимъ другомъ былъ тотъ, который собирался его задушить на

свадьбѣ. Каждый приносилъ поочередно водки, и начиналась попойка, оканчивавшаяся обыкновенно свалкой. Тутъ доставалось всегда Аннѣ, попадало также мимоходомъ на долю мальчика. Сущая была каторга! Худшимъ для Анны было то, что мужъ почему-то не взлюбилъ Петю; онъ косился на него съ перваго дня; при каждомъ случаѣ онъ изловчался зацѣпить его, и какъ только напивался, грозилъ утопить его въ проруби.

Такъ какъ портной пропадалъ по нѣскольку дней сряду, деньги всѣ пропивались и не на что было купить хлѣба, Анна, для прокормленія себя и ребенка, ходила на поденную работу. На это время поручала онъ мальчика старушкѣ, жившей въ одномъ съ нею домѣ; лѣтомъ старуха продавала яблоки, зимою торговала на Сѣнной вареным картофелемъ, тщательно прикрывая чугунный горшокъ тряпкой и усаживаясь на немъ съ большимъ удобствомъ, когда на дворѣ было слишкомъ холодно. Она всюду таскала Петю, который полюбилъ ее и называлъ „бабушкой“.

По прошествіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ, мужъ Анны совсѣмъ пропалъ; одни говорили,—видѣли его въ Кронштадтѣ; другіе увѣряли, что онъ тайно обмѣнялъ паспортъ и переселился на жительство въ Шлиссельбургъ или „Шлюшино“, какъ чаще выражались.

Вмѣсто того, чтобы свободнѣе вздохнуть, Анна окончательно тогда замоталась. Она сдѣлалась какою-то шальною, лицо ея осунулось, въ глазахъ явилось безпокойство, грудь впала, сама она страшно исхудала; къ жалкому ея виду надо еще то прибавить, что вся она обносилась; нечего было ни надѣвать, ни закладывать; ее покрывали одни лохмотья. Наконецъ, однажды, и она вдругъ исчезла. Случайно дознались, что полиція подняла ее на улицѣ въ обезсиленномъ отъ голода состояньи. Ее свезли въ больницу. Соотечественница ея, прачка Варвара, навѣстивъ ее разъ, сообщила знакомымъ, что Анна перестала узнавать знакомыхъ и не сегодня – завтра отдастъ Богу душу.

Такъ и случилось.

Въ числѣ воспоминаній Пети остался также день похоронъ матери. Въ послѣднее время онъ мало съ ней видѣлся и потому отвыкъ нѣсколько; онъ жалѣлъ ее однакожъ и плакалъ,—хотя, надо сказать, больше плакалъ отъ холода. Было суровое январское утро; съ низменнаго пасмурнаго неба сыпался мелкій сухой снѣгъ; подгоняемый порывами вѣтра, онъ кололъ лицо какъ иголками и волнами убѣгалъ по мерзлой дорогѣ.

Петя, слѣдуя за гробомъ между бабушкой и прачкой Варварой, чувствовалъ, какъ нестерпимо щемятъ пальцы на рукахъ и на ногахъ; ему, между прочимъ, и безъ того было трудно поспѣвать за спутницами; одежда на немъ случайно была подобрана: случайны были сапоги, въ которыхъ ноги его болтались свободно, какъ въ лодкахъ; случайнымъ былъ кафтанишко, котораго нельзя было бы надѣть, еслибъ не подняли ему фалды и не приткнули ихъ за поясъ; случайной была шапка, выпрошенная у дворника; она поминутно сползала на глаза и мѣшала Петѣ видѣть дорогу. Ознакомясь потомъ близко съ усталостью ногъ и спины, онъ все-таки помнилъ, какъ уходился тогда, провожая покойницу.

На обратномъ пути съ кладбища, бабушка и Варвара долго толковали о томъ, куда дѣть теперь мальчика. Онъ конечно, солдатскій сынъ и надо сдѣлать ему опредѣленье по закону, куда слѣдуетъ: но какъ это сдѣлать? Къ кому надо обратиться? Кто, наконецъ, станетъ бѣгать и хлопотать? На это могли утвердительно отвѣтить только досужіе и притомъ практическіе люди. Мальчикъ продолжалъ жить, треплясь по разнымъ угламъ и старухамъ. И неизвѣстно, чѣмъ бы разрѣшилась судьба мальчика, еслибъ снова не вступилась прачка Варвара.

III.

Заглядывая къ „бабушкѣ“ и встрѣчая у нея мальчика, Варвара брала его иногда на нѣсколько дней къ себѣ.

Жила она на Моховой улицѣ въ подвальномъ этажѣ, на второмъ дворѣ большого дома. На томъ же дворѣ, только выше, помѣщалось нѣсколько человѣкъ изъ труппы сосѣдняго цирка; они занимали рядъ комнатъ, соединявшихся темнымъ боковымъ корридоромъ. Варвара знала всѣхъ очень хорошо, такъ какъ постоянно стирала у нихъ бѣлье. Подымаясь къ нимъ, она часто таскала съ собою Петю. Всѣмъ была извѣстна его исторія; всѣ знали, что онъ круглый сирота, безъ роду и племени. Въ разговорахъ, Варвара не разъ выражала мысль, что вотъ бы хорошо было, кабы кто-нибудь изъ господъ сжалился и взялъ сироту въ обученье. Никто однако не рѣшался; всѣмъ, повидимому, довольно было своихъ заботъ. Одно только лицо не говорило ни да, ни нѣтъ. По временамъ, лицо это пристально даже посматривало на мальчика. Это былъ акробатъ Беккеръ.

Надо полагать, между нимъ и Варварой велись одновременно какіе-нибудь тайные и болѣе ясные переговоры по этому предмету,

потому что, однажды, подкараулив, когда всѣ господа ушли на репетицію и въ квартирѣ остался только Беккеръ, Варвара спѣшно повела Петю наверхъ и прямо вошла съ нимъ въ комнату акробата.

Беккеръ точно поджидалъ кого-то. Онъ сидѣлъ на стулѣ, покуривая изъ фарфоровой трубки съ выгнутымъ чубукомъ, увѣшаннымъ кисточками; на головѣ его красовалась плоская, шитая бисеромъ шапочка, сдвинутая на бокъ; на столѣ передъ нимъ стояли три бутылки пива—двѣ пустыя, одна только-что начатая.

Раздутое лицо акробата и его шея, толстая какъ у быка, были красны; самоувѣренный видъ и осанка не оставляли сомнѣнія, что Беккеръ, даже здѣсь, у себя дома, былъ весь исполненъ сознаніемъ своей красоты. Товарищи, очевидно, трунили надъ нимъ только изъ зависти!

По привычкѣ охорашиваться передъ публикой, онъ принялъ позу даже при видѣ прачки.

— Ну вотъ, Карлъ Богдановичъ... вотъ мальчикъ... проговорила Варвара, выдвигая впередъ Петю.

Надо замѣтить, весь разговоръ происходилъ на странномъ какомъ-то языкѣ; Варвара коверкала слова, произнося ихъ на чухонскій ладъ; Беккеръ скорѣе мычалъ, чѣмъ говорилъ, отыскивая русскія слова, выходившія у него не то нѣмецкими, не то совершенно неизвѣстнаго происхожденія.

Тѣмъ не менѣе, они понимали другъ друга.

— Хорошо, произнесъ акробатъ:—но я такъ не можно; надо раздѣвать малшикъ...

Петя до-сихъ-поръ стоялъ неподвижно, робко поглядывая на Беккера; съ послѣднимъ словомъ онъ откинулся назадъ и крѣпко ухватился за юбку прачки. Но когда Беккеръ повторилъ свое требованіе, и Варвара, повернувъ мальчика къ себѣ лицомъ,

принялась раздѣвать его, Петя судорожно ухватился за нее руками, началъ кричать и биться, какъ цыпленокъ подъ ножомъ повара.

— Чего ты? Эко право глупенькій! Чего испугался?... Раздѣнься, батюшка, раздѣнься... ничего... смотри ты глупый какой!.. повторяла прачка, стараясь раскрыть пальцы мальчика и въ то же время спѣшно разстегивая пуговицы на его панталонахъ.

Но мальчикъ рѣшительно не давался: объятый почему-то страхомъ, онъ вертѣлся какъ вьюнъ, корчился, тянулся къ полу, наполняя всю квартиру криками.

Карлъ Богдановичъ потерялъ терпѣнье. Положивъ на столъ трубку, онъ подошелъ къ мальчику и, не обращая вниманія на то, что тотъ сталъ еще сильнѣе барахтаться, быстро обхватилъ его руками. Петя не успѣлъ очнуться, какъ уже почувствовалъ себя крѣпко сжатымъ между толстыми колѣнами акробата. Послѣдній въ одинъ мигъ снялъ съ него рубашку и панталоны; послѣ этого онъ поднялъ его какъ соломенку и, уложивъ голаго поперекъ колѣнъ, принялся ощупывать ему грудь и бока, нажимая большимъ пальцемъ на тѣ мѣста, которыя казались ему не сразу удовлетворительными, посылая шлепокъ всякій разъ, какъ мальчикъ корчился, мѣшая ему продолжать операцію.

Прачкѣ было жаль Петю; Карлъ Богдановичъ очень ужь что-то сильно нажималъ и тискалъ; но съ другой стороны, она боялась вступиться, такъ какъ сама привела мальчика и акробатъ обѣщалъ взять его на воспитанье, въ случаѣ когда онъ окажется пригоднымъ. Стоя передъ мальчикомъ, она торопливо утирала ему слезы, уговаривая не бояться, убѣждая, что Карлъ Богдановичъ ничего худого не сдѣлаетъ,—только посмотритъ!...

Но когда акробатъ неожиданно поставилъ мальчика на колѣна, повернулъ его къ себѣ спиною и началъ выгибать ему назадъ плечи,

снова надавливая пальцами между лопатками, когда голая худенькая грудь ребенка вдругъ выпучилась ребромъ впередъ, голова его опрокинулась назадъ, и весь онъ какъ-бы замеръ отъ боли и ужаса, — Варвара не могла уже выдержать; она бросилась отнимать его. Прежде однакожъ, чѣмъ успѣла она это сдѣлать, Беккеръ передалъ ей Петю, который тотчасъ же очнулся и только продолжалъ дрожать, захлебываясь отъ слезъ.

— Полно, батюшка, полно! Видишь: ничего съ тобою не сдѣлали!... Карлъ Богдановичъ хотѣлъ только поглядѣть тебя... повторяла прачка, стараясь всячески обласкать ребенка.

Она взглянула украдкой на Беккера; тотъ кивнулъ головою и налилъ новый стаканъ пива.

Два дня спустя, прачкѣ надо уже было пустить въ дѣло хитрость, когда пришлось окончательно передавать мальчика Беккеру. Тутъ не подѣйствовали ни новыя ситцевыя рубашки, купленныя Варварой на собственныя деньги, ни мятные пряники, ни убѣжденія, ни ласки. Петя боялся кричать, такъ какъ передача происходила въ знакомой намъ комнатѣ; онъ крѣпко припадалъ заплаканнымъ лицомъ къ подолу прачки и отчаянно, какъ потерянный, цѣплялся за ея руки каждый разъ, когда она дѣлала шагъ къ дверямъ, съ тѣмъ чтобы оставить его одного съ Карломъ Богдановичемъ.

Наконецъ все это надоѣло акробату. Онъ ухватилъ мальчика за воротъ, оторвалъ его отъ юбки Варвары, и какъ только дверь за нею захлопнулась, поставилъ его передъ собою и велѣлъ ему смотрѣть себѣ прямо въ глаза.

Петя продолжалъ трястись какъ въ лихорадкѣ; черты его худенькаго, болѣзненнаго лица какъ-то съеживались; въ нихъ проступало что-то жалобное, хилое, какъ у старика.

Беккеръ взялъ его за подбородокъ, повернулъ къ себѣ лицомъ и повторилъ приказаніе.

— Ну, малшикъ, слушъ, сказалъ онъ, грозя указательнымъ пальцемъ передъ носомъ Пети:—когда ты хочу тамъ... (онъ указалъ на дверь,—то будетъ тутъ!!.. (онъ указалъ нѣсколько ниже спины),—*und fest! und fest!*.. добавилъ онъ, выпуская его изъ рукъ и допивая оставшееся пиво.

Въ то же утро онъ повелъ его въ циркъ. Тамъ все суетилось и торопливо укладывалось. На другой день труппа со всѣмъ своимъ багажемъ, людьми и лошадьми перекочевала на лѣтній сезонъ въ Ригу.

Въ первую минуту, новость и разнообразіе впечатлѣній скорѣе пугали Петю, чѣмъ пробуждали въ немъ любопытство. Онъ забился въ уголъ и какъ дикій звѣрекъ глядѣлъ оттуда, какъ мимо него бѣгали, перетаскивая невѣдомые ему предметы. Кое-кому бросилась въ глаза бѣлокурая головка незнакомаго мальчика; но до того ли было! И всѣ проходили мимо.

Послѣднее это обстоятельство нѣсколько ободрило Петю; намѣтивъ глазами тотъ или другой уголъ, онъ уловлялъ минуту, когда подлѣ никого не было, и скоро-скоро перебѣгалъ къ намѣченному мѣсту. Такъ постепенно достигъ онъ конюшень. Батюшки, сколько было тамъ лошадей! Спины ихъ, лоснясь при свѣтѣ газа, вытягивались рядами, терявшимися въ сгущенной мглѣ, наполнявшей глубину конюшенныхъ сводовъ; Петю особенно поразилъ видъ нѣсколькихъ лошадокъ, такихъ же почти маленькихъ, какъ онъ самъ.

Всѣ эти впечатлѣнія были такъ сильны, что ночью онъ нѣсколько разъ вскрикивалъ и просыпался; но не слыша подлѣ себя ничего, кромѣ густого храпѣнья своего хозяина,—онъ снова засыпалъ.

Въ теченіе десяти дней, какъ труппа переѣзжала въ Ригу, Петя былъ предоставленъ самому себѣ. Въ вагонѣ его окружали теперь несовсѣмъ уже чужіе люди; ко многимъ изъ нихъ онъ успѣлъ присмотрѣться; многіе были веселы, шутили, пѣли пѣсни и не вну-

шали ему страха. Нашлись даже такіе, какъ клоунъ Эдвардсъ, который мимоходомъ всегда трепалъ его по щекѣ; разъ даже одна изъ женщинъ дала ему ломтикъ апельсина. Словомъ, онъ началъ понемногу привыкать, и было бы ему даже хорошо, еслибъ взялъ его къ себѣ кто-нибудь другой, только не Карлъ Богдановичъ. Къ нему никакъ не могъ привыкнуть; при немъ Петя мгновенно умолкалъ, весь какъ-то съеживался и думалъ о томъ только, какъ бы не заплакать...

Особенно тяжело стало ему, когда началось ученье. Послѣ первыхъ опытовъ, Беккеръ убѣдился, что не ошибся въ мальчикѣ; Петя былъ легокъ какъ пухъ и гибокъ въ суставахъ; недоставало, конечно, силы въ мускулахъ, чтобы управлять этими природными качествами; но бѣды въ этомъ еще не было. Беккеръ не сомнѣвался, что сила пріобрѣтается отъ упражненій. Онъ могъ отчасти даже теперь убѣдиться въ этомъ на питомцѣ. Мѣсяцъ спустя послѣ того, какъ онъ каждое утро и вечеръ, посадивъ мальчика на полъ, заставлялъ его пригибаться головою къ ногамъ, Петя могъ исполнять такой маневръ уже самъ по себѣ, безъ помощи наставника. Несравненно труднѣе было ему перегибаться назадъ и касаться пятками затылка; мало-по-малу онъ, однакожъ, и къ этому сталъ привыкать. Онъ ловко также начиналъ прыгать съ разбѣга черезъ стулъ; но только, когда послѣ прыжка, Беккеръ требовалъ, чтобы воспитанникъ перескочивъ на другую сторону стула, падалъ не на ноги, а на руки, оставляя ноги на воздухѣ,—послѣднее рѣдко удавалось; Петя летѣлъ кувыркомъ, падалъ на лицо или на голову, рискуя свихнуть себѣ шею.

Неудача или ушибъ составляли, впрочемъ, половину горя; другая половина, болѣе вѣская, заключалась въ тузахъ, которыми всякій разъ надѣлялъ его Беккеръ, забывавшій, что упражненіями такого рода онъ скорѣе могъ содѣйствовать къ развитію собствен-

ныхъ мускуловъ, которые и безъ того были у него въ надежномъ порядкѣ.

Мускулы мальчика оставались по-прежнему тощими. Они очевидно требовали усиленнаго подкрѣпленія.

Въ комнату, занимаемую Беккеромъ, принесена была двойная раздвижная лѣстница; поперекъ ея перекладинъ, на нѣкоторой высотѣ отъ полу, укладывалась горизонтально палка. По командѣ Беккера, Петя долженъ былъ съ разбѣгу ухватиться руками за палку и затѣмъ оставаться такимъ образомъ на вѣсу, сначала пять минутъ, потомъ десять, — и такъ каждый день по нѣскольку пріемовъ. Разнообразіе состояло въ томъ, что иногда приходилось просто держать себя на вѣсу, а иногда, придерживаясь руками къ палкѣ, слѣдовало опрокидываться назадъ всѣмъ туловищемъ и пропускать ноги между палкой и головою. Цѣль упражненія состояла въ томъ, чтобы прицѣпиться концами носковъ къ палкѣ, неожиданно выпустить руки и оставаться висящимъ на однихъноcкахъ. Трудность, главнымъ образомъ, заключалась въ томъ, чтобы въ то время, какъ ноги были наверху, а голова внизу, — лицо должно было сохранять самое пріятное, смѣющееся выраженіе; послѣднее дѣлалось въ видахъ хорошаго впечатлѣнія на публику, которая ни подъ какимъ видомъ не должна была подозрѣвать трудности при напряженіи мускуловъ, боли въ суставахъ плечъ и судорожнаго сжиманія въ груди.

Достиженіе такихъ результатовъ сопровождалось часто такимъ раздирающимъ дѣтскимъ визгомъ, такими криками, что товарищи Беккера врывались въ его комнату и отнимали изъ рукъ его мальчика.

Начиналась брань и ссора, — послѣ чего Петѣ приходилось иногда еще хуже. Иногда, впрочемъ, такое постороннее вмѣшательство оканчивалось болѣе миролюбивымъ образомъ.

Такъ было, когда приходилъ клоунъ Эдвардсъ. Онъ обыкновенно улаживалъ дѣло закуской и пивомъ. Въ слѣдовавшей затѣмъ товарищеской бесѣдѣ, Эдвардсъ старался всякій разъ доказать, что методъ обученія Беккера никуда не годится, что страхомъ и побоями ничего не возьмешь не только съ дѣтьми, но даже при обученіи собакъ и обезьянъ; что страхъ внушаетъ несомнѣнно робость, а робость первый врагъ гимнаста, потому что отымаетъ у него увѣренность и удаль; безъ нихъ можно только вытянуть себѣ сухія жилы, сломать шею или перебить позвонки на спинѣ.

Въ примѣръ приводился часто акробатъ Ризлей, который такъ напугалъ собственныхъ дѣтей передъ представленьемъ, что когда пришлось подбросить ихъ ногами на воздухъ,—дѣти раза два перекувырнулись въ пространствѣ да тутъ же прямехонько и шлепнулись на полъ...

— Бросились подымать, подхватывалъ Эдвардсъ, дѣлая выразительные жесты: — подняли, глядь: оба fertig! готовы! У обоихъ духъ вонъ! Дуракъ Ризлей потомъ застрѣлился съ горя,— да что жъ изъ этого? Дѣтей своихъ всетаки не воскресилъ: fertig! fertig!...

И странное дѣло: каждый разъ, какъ Эдвардсъ, разгоряченный бесѣдой и пивомъ, принимался тутъ же показывать, какъ надо дѣлать ту или другую штуку, Петя исполнялъ упражненіе съ бо̀льшей ловкостью и охотой.

Въ труппѣ всѣ уже знали воспитанника Беккера. Въ послѣднее время онъ добылъ ему изъ гардероба костюмъ клоуна и, набѣливая ему лицо, нашлепывая румянами два клякса на щекахъ, выводилъ его во время представленья на арену; иногда, для пробы, Беккеръ неожиданно подымалъ ему ноги, заставляя его пробѣжать на рукахъ по песку. Петя напрягалъ тогда всѣ свои

силы; но часто онѣ измѣняли ему; пробѣжавъ на рукахъ нѣкоторое пространство, онъ вдругъ ослабѣвалъ въ плечахъ и тыкался головою въ песокъ,—чѣмъ пробуждалъ всегда веселый смѣхъ въ зрителяхъ.

Подъ руководствомъ Эдвардса онъ сдѣлалъ бы, безъ сомнѣнья, больше успѣховъ; въ рукахъ Беккера дальнѣйшее развитіе очевидно замедлялось. Петя продолжалъ бояться своего наставника какъ въ первый день. Къ этому начинало примѣшиваться другое чувство, котораго не могъ онъ истолковать, но которое постепенно росло въ немъ, стѣсняло ему мысли и чувства, заставляя горько плакать по ночамъ, когда, лежа на тюфячкѣ, прислушивался онъ къ храпѣнью акробата.

И ничего, ничего Беккеръ не дѣлалъ, чтобы сколько-нибудь привязать къ себѣ мальчика. Даже въ тѣхъ случаяхъ, когда мальчику удавалась какая-нибудь штука, Беккеръ никогда не обращался къ нему съ ласковымъ словомъ; онъ ограничивался тѣмъ, что снисходительно поглядывалъ на него съ высоты своего громаднаго туловища.

Проживъ съ Петей нѣсколько мѣсяцевъ, онъ точно взялъ его наканунѣ. Завиваясь тщательно каждый день у парикмахера цирка, Беккеру, повидимому, все равно было, что изъ двухъ рубашекъ, подаренныхъ мальчику прачкой Варварой,—остались лохмотья, что бѣлье на тѣлѣ мальчика носилось иногда безъ перемѣны по двѣ недѣли, что шея его и уши были не вымыты, а сапожишки просили каши и черпали уличную грязь и воду. Товарищи акробата, и болѣе другихъ Эдвардсъ, часто укоряли его въ томъ; въ отвѣтъ Беккеръ нетерпѣливо посвистывалъ и щелкалъ хлыстикомъ по панталонамъ.

Онъ не переставалъ учить Петю, продолжая наказывать каждый разъ, какъ выходило что-нибудь не ладно. Онъ хуже этого дѣлалъ.

Разъ, по возвращеніи труппы уже въ Петербургъ, Эдвардсъ подарилъ Петѣ щенка. Мальчикъ былъ въ восторгѣ; онъ носился съ подаркомъ по конюшнѣ и корридорамъ, всѣмъ его показывалъ и то и дѣло учащенно цѣловалъ его въ мокрую розовою мордочку.

Беккеръ, раздосадованный во время представленья тѣмъ, что его публика не вызвала, возвращался во внутренній корридоръ; увидѣвъ щенка въ рукахъ Пети, онъ вырвалъ его и носкомъ башмака бросилъ въ сторону; щенокъ ударился головкой въ сосѣднюю стѣну и тутъ же упалъ, вытянувъ лапки.

Петя зарыдалъ и бросился къ Эдвардсу, выходившему въ эту минуту изъ уборной.

Беккеръ, раздраженный окончательно тѣмъ, что вокругъ послышалась брань,—однимъ движеньемъ оттолкнулъ Петю отъ Эдвардса и далъ ему съ размаху пощечину.

— *Schwein*!—Швынья!.. тьфу!.. сказалъ Эдвардсъ, отплевываясь съ негодованьемъ.

Но что ужь дальше разсказывать!

Не смотря на легкость и гибкость, Петя былъ, какъ мы сказали выше, не столько гуттаперчевымъ, сколько несчастнымъ мальчикомъ.

IV.

Дѣтскія комнаты въ домѣ графа Листомирова располагались на южную сторону и выходили въ садъ. Чудное было помѣщеніе! Каждый разъ, какъ солнце было на небѣ, лучи его съ утра до заката проходили въ окна; въ нижней только части окна завѣшивались голубыми тафтяными занавѣсками для предохраненія дѣтскаго зрѣнія отъ излишняго свѣта. Съ тою же цѣлью по всѣмъ комнатамъ разостланъ былъ коверъ также голубого цвѣта и стѣны оклеены были не слишкомъ свѣтлыми обоями.

Въ одной изъ комнатъ вся нижняя часть стѣнъ была буквально заставлена игрушками; онѣ группировались тѣмъ разнообразнѣе и живописнѣе, что у каждаго изъ дѣтей было свое особое отдѣленье.

Пестрыя англійскія раскрашенныя тетрадки и книжки, кроватки съ куклами, картинки, комоды, маленькія кухни, фарфоровые сервизы, овечки и собачки на катушкахъ, — обозначали владѣнія дѣвочекъ; столы съ оловянными солдатами, картонная тройка сѣрыхъ коней, съ глазами страшно выпученными, увѣшанная бубенчиками и запряженная въ коляску, большой бѣлый козелъ, казакъ верхомъ, барабанъ и мѣдная труба, звуки которой

приводили всегда въ отчаянье англичанку миссъ Бликсъ, обозначали владѣнія мужского пола. Комната эта такъ и называлась „игральной“.

Рядомъ была учебная; дальше спальня, окна которой всегда были закрыты занавѣсами, приподымавшимися тамъ только, гдѣ вертѣлась вентиляціонная звѣзда, очищавшая воздухъ. Изъ нея, не подвергая себя рѣзкой перемѣнѣ воздуха, можно было прямо пройти въ уборную, выстланную также ковромъ, но обшитую, въ нижней ея части, клеенкой; съ одной стороны находился большой умывальный мраморный столъ, уставленный крупнымъ англійскимъ фаянсомъ; дальше, блистали бѣлизною двѣ ванны съ мѣдными кранами, изображавшими лебединыя головки; подлѣ возвышалась голландская печь съ изразцовымъ шкафомъ, постоянно наполненнымъ согрѣвающимися полотенцами. Ближе, по клеенчатой стѣнѣ, висѣлъ на тесемкахъ цѣлый рядъ маленькихъ и крупныхъ губокъ, которыми миссъ Бликсъ каждое утро и вечеръ обмывала съ головы до ногъ дѣтей, наводя красноту на ихъ нѣжное тѣло.

Въ среду, на маляницѣ, въ игральной комнатѣ было особенно весело. Ее наполняли восторженные дѣтскіе крики. Мудренаго нѣтъ; вотъ что было здѣсь между прочимъ сказано: — „Дѣточки, вы съ самаго начала масляницы были послушны и милы; сегодня у насъ среда; если вы будете такъ продолжать, — васъ въ пятницу вечеромъ возьмутъ въ циркъ!..“

Слова эти были произнесены тетей Соней, — сестрой графини Листомировой, — дѣвушкой лѣтъ тридцати-пяти, сильной брюнеткой, съ пробивающимися усиками, но прекрасными восточными глазами необыкновенной доброты и мягкости; она постоянно носила черное платье, думая этимъ хоть сколько-нибудь скрыть полноту, начинавшую ей надоѣдать. Тетя Соня жила у сестры и посвятила жизнь ея дѣтямъ, которыхъ любила всѣмъ запасомъ чувствъ,

не имѣвшихъ случая израсходоваться и накопившихся съ избыткомъ въ ея сердцѣ.

Не успѣла она проговорить свое обѣщанье, какъ дѣти, слушавшія сначала очень внимательно, бросились со всѣхъ ногъ осаждать ее; кто цѣплялся за ея платье, кто усиливался взлѣзть на ея колѣна, кто успѣлъ обхватить ея шею и осыпалъ лицо поцѣлуями; осада сопровождалась такими шумными оваціями, такими криками радости, что миссъ Бликсъ вошла въ одну дверь, въ другую вбѣжала молодая швейцарка, приглашенная въ домъ какъ учительница музыки для старшей дочери; за ними показалась кормилица, державшая новорожденнаго, укутаннаго въ одѣяло съ ниспадавшими до полу кружевными обшивками.

— *What is going on here?*... удивленно освѣдомилась миссъ Бликсъ.

Она представляла изъ себя чопорную высокую даму съ непомѣрно выдающеюся грудью, красными щеками, какъ-бы закапанными сургучомъ, и красною шеей свекловичнаго оттѣнка.

Тетя Соня объяснила вошедшимъ причину радости.

Раздались опять возгласы, опять крики, сопровождаемые прыжками, пируэтами и другими болѣе или менѣе выразительными изъявленіями радости. Въ этомъ порывѣ дѣтской веселости всѣхъ больше удивилъ Пафъ,—пятилѣтній мальчикъ, единственная мужская отрасль фамиліи Листомировыхъ: мальчикъ былъ всегда такимъ тяжелымъ и апатическимъ, но тутъ, подъ впечатлѣніемъ разсказовъ и того, что его ожидало въ циркѣ, — онъ вдругъ бросился на четвереньки, поднялъ лѣвую ногу, и страшно закручивая языкъ на щеку, поглядывая на присутствующихъ своими киргизскими глазками,—принялся изображать клоуна.

— Миссъ Бликсъ! подымите его, подымите скорѣе,—ему кровь бросится въ голову! проговорила тётя Соня.

Новые крики, новое скаканье вокругъ Пафа, который ни за что не хотѣлъ встать и упорно подымалъ то одну ногу, то другую.

— Дѣти, дѣти… довольно! Вы, кажется, не хотите больше быть умными… Не хотите слушать… говорила тётя Соня, досадовавшая главнымъ образомъ за то, что не умѣла сердится. Ну не могла она этого сдѣлать,—не могла,—не могла рѣшительно!

Она обожала „своихъ дѣтей“, какъ сама выражалась. Дѣйствительно, надо сказать, дѣти были очень милы.

Старшей дѣвочкѣ, Вѣрочкѣ, было уже восемь лѣтъ; за нею шла шестилѣтняя Зизи; мальчику было, какъ сказано, — пять лѣтъ. Его окрестили Павломъ; но мальчикъ получалъ одно за другимъ различныя прозвища: Бёби, Пузырь, Бутузъ, Булка и наконецъ Пафъ,—имя, которое такъ и осталось. Мальчикъ былъ пухлый, коротенькій, съ рыхлымъ бѣлымъ тѣломъ, какъ сметана, крайне флегматическаго, невозмутимаго нрава, съ шарообразною головою и круглымъ лицомъ, на которомъ единственною замѣтною чертою были маленькіе киргизскіе глазки, раскрывавшіеся вполнѣ, когда подавалось кушанье или говорилось о ѣдѣ. Глазки, смотрѣвшіе вообще сонливо, проявляли также оживленье и безпокойство по утрамъ и вечерамъ, когда миссъ Бликсъ брала Пафа за руку, уводила его въ уборную, раздѣвала его до нага и, поставивъ на клеенку, принималась энергически его мыть огромной губкой, обильно напитанной водою; когда миссъ Бликсъ, при окончаніи такой операціи, возлагала губку на голову мальчика и, крѣпко нажавъ губку, пускала струи воды по тѣлу, превращавшемуся тотчасъ же изъ бѣлаго въ розовое, — глазки Пафа не только съуживались, но пропускали потоки слезъ и вмѣстѣ съ тѣмъ раздавался изъ груди его тоненькій-тоненькій пискъ, не имѣвшій ничего раздраженнаго, но походившій скорѣе на пискъ

куколъ, которыхъ заставляютъ кричать, нажимая имъ животъ. Этимъ невиннымъ пискомъ впрочемъ все и оканчивалось. Съ исчезновенiемъ губки, Пафъ умолкалъ мгновенно, и уже потомъ миссъ Бликсъ могла обтирать его сколько угодно согрѣтымъ шаршавымъ полотенцемъ, могла завертывать ему голову, могла мять и теребить его,—Пафъ выказывалъ такъ же мало сопротивленiя, какъ кусокъ сдобнаго тѣста въ рукахъ пекаря. Онъ часто даже засыпалъ между теплыми шаршавыми полотенцами прежде, чѣмъ миссъ Бликсъ успѣвала уложить его въ постель, обтянутую вокругъ сѣткой и завѣшанную кисейнымъ пологомъ съ голубымъ бантомъ на маковкѣ.

Нельзя сказать, чтобы мальчикъ этотъ былъ особенно интересенъ; но нельзя было не остановиться на немъ, такъ какъ онъ представлялъ теперь единственную мужскую отрасль фамилiи графовъ Листомировыхъ и, какъ справедливо иногда замѣчалъ его отецъ, задумчиво глядя въ даль и меланхолически свѣшивая голову на бокъ: „Могъ, — кто знаетъ? могъ играть въ будущемъ видную роль въ отечествѣ!...“

Предрѣшать будущее вообще трудно; —но какъ бы тамъ ни было, съ той минуты, какъ обѣщано было представленье въ циркѣ, — старшая дочь, Вѣрочка, вся превратилась во вниманье и зорко слѣдила за поведенiемъ сестры и брата.

Едва-едва начинался между ними признакъ разлада, — она быстро къ нимъ подбѣгала, оглядываясь въ то же время на величавую миссъ Бликсъ, принималась скоро-скоро шептать что-то Зизи и Пафу и, поочередно цѣлуя то того, то другую, успѣвала всегда водворить между ними миръ и согласiе.

Эта Вѣрочка была во всѣхъ отношенiяхъ прелестная дѣвочка: тоненькая, нѣжная и вмѣстѣ съ тѣмъ свѣжая какъ только-что снесенное яичко, съ голубыми жилками на вискахъ и шеѣ, съ

легкимъ румянцемъ на щекахъ и большими сѣро-голубыми глазами, смотрѣвшими изъ-подъ длинныхъ рѣсницъ какъ-то всегда прямо, не по лѣтамъ внимательно; но лучшимъ украшеніемъ Вѣрочки были ея волосы пепельнаго цвѣта, мягкіе какъ тончайшій шелкъ и такіе густые, что миссъ Бликсъ долго билась по утрамъ, прежде чѣмъ могла привести ихъ въ должный порядокъ. Пафъ могъ, конечно, быть любимцемъ отца и матери, какъ будущій единственный представитель именитаго рода, — но Вѣрочка, можно сказать, была любимицей всѣхъ родныхъ, знакомыхъ и даже прислуги; помимо ея миловидности, ее любили за необыкновенную кротость нрава, рѣдкое отсутствіе капризовъ, привѣтливость, доброту и какую-то особенную чуткость и понятливость. Еще четырехъ лѣтъ, она съ самымъ серьезнымъ видомъ входила въ гостиную и, сколько бы ни было постороннихъ лицъ, прямо и весело шла къ каждому, давала руку и подставляла щеку. Къ ней даже особенно какъ-то относились, чѣмъ къ другимъ дѣтямъ. Вопреки давно принятому обычаю въ семьѣ графовъ Листомировыхъ, давать различныя сокращенныя и болѣе или менѣе фантастическія прозвища дѣтямъ, Вѣрочку иначе не называли, какъ ея настоящимъ именемъ. Вѣрочка была, — Вѣрочкой и осталась.

Чтò говорить, у нея, какъ и у всякаго смертнаго, были свои слабости, вѣрнѣе была одна слабость; но и она какъ бы скорѣе служила гармоническимъ дополненіемъ ея характера и наружности. Слабость Вѣрочки, заключавшаяся въ сочиненіи басенъ и сказокъ, проявилась первый разъ, какъ ей минулъ шестой годъ. Войдя однажды въ гостиную, она при всѣхъ неожиданно объявила, что сочинила маленькую басню и тутъ же, ни мало не смущаясь, съ самымъ убѣжденнымъ видомъ, принялась разсказывать исторію про волка и мальчика, дѣлая очевидныя усилія, чтобы нѣкоторыя слова выходили въ риѳму. Съ тѣхъ поръ, одна

басня смѣняла другую и, не смотря на запрещеніе графа и графини возбуждать разсказами сказокъ воображеніе и безъ того уже впечатлительной и нервной дѣвочки,—Вѣрочка продолжала дѣлать свои импровизаціи. Миссъ Бликсъ не разъ должна была ночью приподыматься съ постели, заслышавъ какой-то странный шопотъ, исходившій изъ-подъ кисейнаго полога надъ постелью Вѣрочки. Убѣдившись, что дѣвочка, вмѣсто того, чтобы спать, произноситъ какія-то непонятныя слова, англичанка дѣлала ей строгій выговоръ, приказывая заснуть немедленно, — приказаніе, которое Вѣрочка тотчасъ-же исполняла со свойственной ей кротостью.

Словомъ, это была та самая Вѣрочка, которая, вбѣжавъ какъ-то въ гостиную и заставъ тамъ сидѣвшаго съ матерью извѣстнаго нашего поэта Тютчева, ни за что не хотѣла согласиться, что сѣдой этотъ старичокъ могъ сочинять стихи; напрасно увѣряли ее мать и самъ Тютчевъ, — Вѣрочка стояла на своемъ; поглядывая недовѣрчиво на старика своими большими, голубыми глазами, она повторяла:

— Нѣтъ, мама, этого не можетъ быть!...

Замѣтивъ наконецъ, что мать начинаетъ сердиться, Вѣрочка взглянула ей робко въ лицо и проговорила сквозь слезы:

— Я думала, мама, что стихи сочиняютъ только ангелы...

Съ самой среды, когда обѣщано было представленье въ циркѣ, до четверга,—благодаря нѣжной заботливости Вѣрочки, ея умѣнью развлекать сестру и брата, они вели себя самымъ примѣрнымъ образомъ. Особенно трудно было управиться съ Зизи,—дѣвочкой болѣзненной, заморенной лекарствами, въ числѣ которыхъ тресковый жиръ игралъ видную роль и служилъ всегда поводомъ къ истерическимъ рыданьямъ и капризамъ.

Въ четвергъ на масляницѣ тётя Соня вошла въ игральную ком-

нату. Она объявила, что такъ какъ дѣти были умны, она, проѣздомъ въ городъ, желаетъ купить имъ игрушекъ.

Радостныя восклицанія и звонкіе поцѣлуи опять наполнили комнату. Пафъ также оживился и заморгалъ своими киргизскими глазками.

— Ну, хорошо, хорошо, сказала тётя Соня: — все будетъ по вашему: тебѣ, Вѣрочка, рабочій ящикъ,—ты знаешь, папà и мамà не позволяютъ тебѣ читать книгъ;—тебѣ, Зизи, куклу...

— Которая бы кричала!.. воскликнула Зизи.

— Которая бы кричала! повторила тётя Соня: — ну, а тебѣ, Пафъ, тебѣ что? Что ты хочешь?...

Пафъ задумался.

— Ну, говори же, чтò тебѣ купить?...

— Купи... купи собачку, — только безъ блохъ!... добавилъ неожиданно Пафъ.

Единодушный хохотъ былъ отвѣтомъ на такое желанье. Смѣялась тётя Соня, смѣялась кормилица, смѣялась даже чопорная миссъ Бликсъ, обратившаяся впрочемъ тотчасъ же къ Зизи и Вѣрочкѣ, которыя начали прыгать вокругъ брата и, заливаясь смѣхомъ, принялись тормошить будущаго представителя фамиліи.

Послѣ этого, всѣ снова повисли на шеѣ доброй тети и докрасна зацѣловали ея шею и щеки.

— Ну, довольно, довольно, съ ласковой улыбкой произнесла тётя:—хорошо; я знаю, что вы меня любите; и я люблю васъ очень... очень... очень!... Итакъ, Пафъ, я куплю тебѣ собачку: будь только уменъ и послушенъ; она будетъ безъ блохъ!...

V.

Наступила, наконецъ, такъ нетерпѣливо ожидаемая пятница.

За четверть часа до завтрака, тетя Соня вошла въ „маленькую“ столовую, такъ называемую для отличія ея отъ большой, гдѣ давались иногда званые обѣды. Ей сказали, что графъ и графиня уже прошли туда изъ своихъ уборныхъ.

Графиня сидѣла въ большихъ креслахъ, придвинутыхъ къ столу, заставленному на одномъ концѣ серебрянымъ чайнымъ сервизомъ съ шипѣвшимъ самоваромъ. Старый буфетчикъ, важный какъ разжирѣвшій банкиръ, но съ кошачьими пріемами утонченнаго дипломата, тихо похаживалъ вокругъ стола, поглядывая, все ли на немъ въ порядкѣ. Два другіе лакея, похожіе на членовъ англійскаго парламента, вносили блюда, прикрытыя серебряными крышками.

Графъ задумчиво прогуливался въ отдаленьи, подлѣ оконъ.

— Хорошо ли мы однако дѣлаемъ, что посылаемъ дѣтей въ циркъ?.. произнесла графиня, обращаясь послѣ первыхъ привѣтствій къ тетѣ Сонѣ и въ то же время украдкою поглядывая на мужа.

— Отчего же? весело возразила тетя, усаживаясь подлѣ само-

вара:—я смотрѣла афишку: сегодня не будетъ выстрѣловъ, ничего такого, что бы могло испугать дѣтей,—наши дѣтки были право такъ милы... Нельзя же ихъ не побаловать! Къ тому же удовольствіе это было имъ обѣщано.

— Все это такъ, замѣтила графиня, снова поглядывая на мужа, который подошелъ въ эту минуту къ столу и занялъ обычное свое мѣсто:—но я всегда боюсь этихъ зрѣлищъ... Наши дѣти особенно такъ нервны, такъ впечатлительны...

Послѣднее замѣчаніе сопровождалось новымъ взглядомъ, направленнымъ на графа. Графинѣ очевидно хотѣлось знать мнѣніе мужа, чтобы потомъ не вышло привычнаго заключенія, что все въ домѣ творится безъ его совѣта и вѣдома.

Но графъ и тутъ ничего не сказалъ.

Онъ вообще не любилъ терять праздныхъ словъ. Онъ принадлежалъ скорѣе къ числу лицъ думающихъ, мыслящихъ,—хотя, надо сказать, трудно было сдѣлать заключеніе о точномъ характерѣ его мыслей, такъ какъ онъ больше ограничивался намеками на различныя идеи, чѣмъ на ихъ развитіе. При малѣйшемъ противорѣчіи, графъ чаще всего останавливался даже на полумысли и какъ-бы говорилъ самому себѣ: „не стоитъ!“ Онъ обыкновенно отходилъ въ сторону, нервно пощипывая жиденькіе усы и погружаясь въ грустную задумчивость.

Задумчивое настроеніе графа согласовалось впрочемъ какъ нельзя больше съ его внѣшнимъ видомъ, замѣчательно длиннымъ-длиннымъ, какъ-бы всегда разслабленнымъ и чѣмъ-то недовольнымъ. Онъ нарочно носилъ всегда панталоны изъ самаго толстаго трико, чтобы хоть сколько-нибудь скрыть худобу ногъ,—и напрасно это дѣлалъ; по справедливости, ему слѣдовало бы даже гордиться худобою ногъ, такъ какъ она составляла одно изъ самыхъ харак-

терныхъ, типическихъ, родовыхъ отличій всѣхъ графовъ Листомировыхъ.

Наружность графа дополнялась чертами его худощаваго, блѣднаго лица, съ носомъ, нѣсколько сдвинутымъ на сторону и большими дугообразными бровями, усиленно какъ-то подымавшимися на лбу, странно уходившемъ между сплюснутыми боками головы, большею частью склоненной на бокъ.

Совершенно несправедливо говорили, будто графъ тоскуетъ отъ бездѣйствія, отъ недостатка случая выказать свои способности. Случаи эти представлялись чуть ли еще не въ то время, когда ему минуло девятнадцать лѣтъ и дядя-посланникъ открылъ передъ нимъ дипломатическую карьеру. Въ жизни графа случаи блестящей карьеры искусно были разставлены, какъ версты по шоссейной дорогѣ;—ничего только изъ этого не вышло.

На первыхъ порахъ графъ принимался какъ-бы дѣйствовать и даже много говорилъ; но тутъ же нежданно умолкалъ и удалялся, очевидно чѣмъ-то неудовлетворенный. Мысли ли его были не поняты какъ слѣдуетъ, или дѣйствія не оцѣнены по справедливости,— только онъ переходилъ отъ одного счастливаго случая къ другому, не сдѣлавъ себѣ въ концѣ концовъ, что называется, карьеры,— если не считать, конечно, нѣсколькихъ звѣздъ на груди и виднаго придворнаго чина.

Несправедливо было также мнѣніе, что графъ, всегда тоскующій и молчаливый въ свѣтѣ, былъ дома крайне взыскательный и даже деспотъ.

Графъ былъ только акуратенъ. Прирожденное это свойство доходило, правда, до педантизма, но въ сущности было самаго невиннаго характера. Графъ требовалъ, чтобы каждая вещь въ домѣ оставалась неприкосновенною на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ была однажды положена; каждый мельчайшій предметъ имѣлъ свой опре-

дѣленный пунктъ. Если, напримѣръ, мундштучекъ для пахитосъ, уложенный на столѣ параллельно съ карандашомъ, отодвигался въ сторону, графъ тотчасъ же замѣчалъ это, и начинались разспросы: кто переставилъ? зачѣмъ? почему? и т. д.

Цѣлый день ходилъ онъ по дому, задумчиво убирая то одинъ, предметъ, то другой; время отъ времени прикасался онъ къ электрическому звонку и, подозвавъ камердинера, молча указывалъ ему на тѣ мѣста, гдѣ, казалось ему, встрѣчался безпорядокъ. Деспотомъ графъ также не могъ быть по той простой причинѣ, что дома молчалъ столько же, сколько въ свѣтѣ. Даже въ дѣловыхъ семейныхъ разговорахъ съ женою онъ чаще всего ограничивался тремя словами: —„*Tu penses? Tu crois? Quelle idée*!..“—и только.

Съ высоты своихъ длинныхъ ногъ и тощаго длиннаго туловища, графъ постоянно смотрѣлъ тусклыми глазами въ какой-то далекій, туманный горизонтъ и время отъ времени вздыхалъ, усиленно подымая на лбу то одну бровь, то другую. Меланхолія не покидала графа даже въ тѣхъ случаяхъ, когда главный управляющій надъ конторой вручалъ ему въ концѣ каждаго мѣсяца значительныя денежныя суммы. Графъ внимательно сосчитывалъ деньги, нетерпѣливо всегда переворачивая бумажку, когда номеръ былъ кверху или книзу и не подходилъ съ другими, запиралъ пачку въ ящикъ, пряталъ ключъ въ карманъ и, приблизившись къ окну, пощипывая усики, произносилъ всегда съ грустью:—„Охо-хо-хо-хо!..“—послѣ чего начиналъ снова расхаживать по дому, задумчиво убирая все, что казалось ему лежащимъ неправильно.

Графъ рѣдко высказывался даже въ тѣхъ случаяхъ, когда дѣло касалось важныхъ принциповъ и убѣжденій, всосанныхъ, такъ сказать съ молокомъ. Не допуская, напримѣръ, возможности быть

за обѣдомъ не иначе, какъ во фракѣ и бѣломъ галстукѣ, даже когда оставался вдвоемъ съ женою,—и находя это необходимымъ потому, что это... это всегда поддерживаетъ,—именно поддерживаетъ...—но что поддерживаетъ,—этого графъ никогда не досказывалъ.

— *Tu crois? Tu penses! Quelle idée?..* Этими словами, произносимыми не то вопросительно, не то съ пренебреженіемъ, оканчивались обыкновенно всѣ объясненія съ женой и тетей Соней. Послѣ этого онъ отходилъ къ окну, глядѣлъ въ туманную даль и выпускалъ изъ груди нѣсколько вздоховъ,—изъ чего жена и тетя Соня, съ огорченнымъ чувствомъ, заключали всегда, что графъ не былъ согласенъ съ ихъ мнѣніемъ.

Тогда обыкновенно наступала очередь тети Сони утѣшать сестру,—когда-то весьма красивую, веселую женщину, но теперь убитую горемъ послѣ потери четверыхъ дѣтей и страшно истощенную частыми родами, какъ вообще бываетъ съ женами меланхоликовъ.

На большихъ булевскихъ часахъ столовой пробило двѣнадцать.

Съ послѣднимъ ударомъ, графъ придвинулся къ столу, хотѣлъ какъ будто что-то сказать, но остановился, вздохнулъ и тоскливо приподнялъ сначала одну бровь, потомъ другую.

— Отчего же дѣтей нѣтъ? торопливо спросила графиня, поглядывая на мужа, потомъ на тетю Соню:—миссъ Бликсъ знаетъ, что графъ любитъ, чтобы дѣти всегда завтракали ровно въ двѣнадцать часовъ;—скажите миссъ Бликсъ, что завтракъ давно готовъ... обтилась она къ буфетчику.

Но въ эту самую минуту одинъ изъ лакеевъ растворилъ настежь двери, и дѣти, сопровождаемыя англичанкой и швейцаркой, вошли въ столовую.

Завтракъ прошелъ, по обыкновенію, очень чинно.

Разслабленные нервы графини не выносили шума. Графъ вообще не любилъ, чтобы дѣти бросались на шею, громко играли и говорили; сильныя изъявленія какихъ бы то ни было чувствъ пробуждали въ немъ всегда непріятное ощущеніе внутренняго стѣсненія и неловкости.

На этотъ разъ, по крайней мѣрѣ, графъ могъ быть довольнымъ. Зизи и Пафъ, предупрежденные Вѣрочкой, не произнесли слова; Вѣрочка не спускала глазъ съ сестры и брата; она заботливо предупреждала каждое ихъ движенье.

Съ окончаніемъ завтрака миссъ Бликсъ сочла своею обязанностью заявить графинѣ, что никогда еще не видала она, чтобы дѣти вели себя такъ примѣрно, какъ въ эти послѣдніе дни. Графиня возразила, что она уже слышала объ этомъ отъ сестры и потому распорядилась, приказавъ взять къ вечеру ложу въ циркѣ.

При этомъ извѣстіи, Вѣрочка, такъ долго крѣпившаяся, не могла больше владѣть собою. Соскочивъ со стула, она принялась обнимать графиню съ такою силой, что на секунду совершенно заслонила ея лицо своими пушистыми волосами; такимъ же порядкомъ подбѣжала она къ отцу, который тотчасъ же выпрямился и изъ предосторожности поспѣшилъ отвести лѣвую руку, державшую мундштукъ съ пахитоской. Отъ отца Вѣрочка перебѣжала къ тетѣ Сонѣ и тутъ уже пошли поцѣлуи безъ разбору, и въ глаза, въ щеки, въ подбородокъ, въ носъ,—словомъ, всюду, гдѣ только губы дѣвочки могли встрѣтиться съ лицомъ тети. Зизи и Пафъ буквально продѣлали тотъ же маневръ, но только, надо сказать, далеко не съ такимъ воодушевленіемъ.

Вѣрочка между тѣмъ подошла къ роялю, на которомъ лежали афишки; положивъ руку на одну изъ нихъ, она обратила къ матери

голубые глаза свои и, вся замирая отъ нетерпѣнія, проговорила нѣжно вопрошающимъ голосомъ:

— Мама́... можно?.. Можно взять эту афишку?..

— Можно.

— Зизи! Пафъ! восторженно крикнула Вѣрочка, потрясая афишкой,—пойдемте скорѣе!.. Я разскажу вамъ все, что мы сегодня увидимъ въ циркѣ;—все разскажу вамъ!.. Пойдемте въ наши комнаты!..

— Вѣрочка!.. Вѣрочка!.. слабо, съ укоромъ, проговорила графиня.

Но Вѣрочка уже не слышала; она неслась, преслѣдуемая сестрою и братомъ, за которыми, пыхтя и отдуваясь, едва поспѣвала миссъ Бликсъ.

Въ игральной комнатѣ, освѣщенной полнымъ солнцемъ, стало еще оживленнѣе.

На низенькомъ столѣ, освобожденномъ отъ игрушекъ, разложена была афишка.

Вѣрочка настоятельно потребовала, чтобы всѣ присутствующія: и тетя Соня, и миссъ Бликсъ, и учительница музыки, и кормилица, вошедшая съ младенцемъ,—всѣ рѣшительно усѣлись вокругъ стола. Несравненно труднѣе было усадить Зизи и Пафа, которые, толкая другъ друга, нетерпѣливо осаждали Вѣрочку то съ одного бока, то съ другого, взбирались на табуреты, ложились на столъ и влѣзали локтями чуть не на середину афишки. Наконецъ, съ помощью тети и это уладилось.

Откинувъ назадъ пепельные свои волосы, вытянувъ шею и положивъ ладони на края афишки, Вѣрочка торжественно приступила къ чтенію.

— Милая моя, тихо произнесла тетя Соня,—зачѣмъ же ты читаешь намъ, въ какомъ циркѣ, въ какой день, какого числа; все

это мы уже знаемъ; читай лучше дальше: въ чемъ будетъ заключаться представленье...

— Нѣтъ ужь, душечка тетя; нѣтъ ужь, ты только не мѣшай мнѣ, убѣдительно и съ необыкновенною живостью перебила Вѣрочка:—ангельчикъ тетя, не мѣшай!.. Ужь я все прочту... все, все... что тутъ напечатано... Ну, слушайте...

— „*Парфорсное упражненіе на неосѣдланной лошади. Исполнитъ дѣвица...*“ —Тетя, что такое парфорсное?..

— Это... это... Вѣроятно что-нибудь очень интересное... Сегодня сами увидите! сказала тетя, стараясь выйти изъ затрудненья.

— Ну, хорошо, хорошо... Теперь всѣ слушайте; дальше вотъ что: „*Эквилибристическія упражненія на воздушной трапеціи...*“ Это, тетя, что же такое трапеція?.. Какъ это будетъ? спросила Вѣрочка, отрываясь отъ афишки.

— Какъ будетъ? нетерпѣливо подхватила Зизи.

— Какъ?.. произнесъ въ свою очередь Пафъ, посматривая на тетю киргизскими глазками.

— Зачѣмъ же я буду все это вамъ разсказывать! Не лучше ли будетъ, когда сами вы увидите...

Затрудненіе тети возрастало; она даже нѣсколько покраснѣла.

Вѣрочка снова откинула назадъ волосы, наклонилась къ афишкѣ и прочла съ особеннымъ жаромъ:—„*Гуттаперчевый мальчикъ. Воздушныя упражненія на концѣ шеста вышиною въ шесть аршинъ!..*“ —Нѣтъ, душечка тетя, это ужь ты намъ разскажешь!.. это ужь разскажешь!.. Какой же это мальчикъ! Онъ настоящій? живой?.. Что такое гуттаперчевый?

— Вѣроятно его такъ называютъ потому, что онъ очень гибкій... наконецъ, вы это увидите...

— Нѣтъ, нѣтъ, разскажи теперь, разскажи, какъ это онъ будетъ дѣлать на воздухѣ и на шестѣ?.. Какъ это онъ будетъ дѣлать?..

— Какъ будетъ онъ дѣлать? подхватила Зизи.

— Дѣлать? коротко освѣдомился Пафъ, открывая ротъ.

— Дѣточки, вы у меня спрашиваете слишкомъ ужь много... Я право ничего не могу вамъ объяснить. Сегодня вечеромъ все это будетъ передъ вашими глазами. Вѣрочка, ты бы продолжала; ну, что-жъ дальше?..

Но дальнѣйшее чтеніе не сопровождалось уже такою живостью; интересъ замѣтно ослабъ; онъ весь сосредоточивался теперь на гуттаперчевомъ мальчикѣ; гуттаперчевый мальчикъ сдѣлался предметомъ разговоровъ, различныхъ предположеній и даже спора.

Зизи и Пафъ не хотѣли даже слушать продолженіе того, что было дальше на афишкѣ; они оставили свои табуреты и принялись шумно играть, представляя, какъ будетъ дѣйствовать гуттаперчевый мальчикъ. Пафъ снова становился на четвереньки, подымалъ какъ клоунъ лѣвую ногу и, усиленно пригибая языкъ къ щекѣ, посматривалъ на всѣхъ своими киргизскими глазками,—что всякій разъ вызывало восклицаніе у тети Сони, боявшейся, чтобы кровь не бросилась ему въ голову.

Торопливо дочитавъ афишку, Вѣрочка присоединилась къ сестрѣ и брату.

Никогда еще не было такъ весело въ игральной комнатѣ.

Солнце, склоняясь къ крышамъ сосѣднихъ флигелей за садомъ, освѣщало группу играющихъ дѣтей, освѣщало ихъ радостныя, веселыя, раскраснѣвшіяся лица, играло на разбросанныхъ повсюду пестрыхъ игрушкахъ, скользило по мягкому ковру, наполняло всю комнату мягкимъ, теплымъ свѣтомъ. Все, казалось, здѣсь радовалось и ликовало.

Тетя Соня долго не могла оторваться отъ своего мѣста. Склонивъ голову на ладонь, она молча, не дѣлая уже никакихъ замѣчаній, смотрѣла на дѣтей, и кроткая, хотя задумчивая улыбка не

покидала ея добраго лица. Давно уже оставила она мечты о себѣ самой; давно примирилась съ неудачами жизни. И прежнія мечты свои, и умъ, и сердце,—все это отдала она дѣтямъ, такъ весело играющимъ въ этой комнатѣ, и счастлива она была ихъ безмятежнымъ счастьемъ...

Вдругъ, показалось ей, какъ будто въ комнатѣ стемнѣло. Обернувшись къ окну, она увидѣла, что небо заслонилось большой сѣрой тучей и мимо оконъ полетѣли пушистыя снѣжныя хлопья. Не прошло минуты, изъ-за снѣга ничего уже нельзя было видѣть; мятель ходила по всему саду, скрывая ближайшія деревья.

Первое чувство тети Сони—было опасеніе, чтобы погода не помѣшала исполнить обѣщанія, даннаго дѣтямъ. Такое же чувство вѣроятно овладѣло и Вѣрочкой, потому что она мгновенно подбѣжала къ тетѣ и, пристально поглядывая ей въ глаза, спросила:

— Это ничего, тетя?.. Мы въ циркъ поѣдемъ?..

— Ну, конечно... конечно! поспѣшила успокоить тетя, цѣлуя Вѣрочку въ голову и обращая глаза къ Зизи и Пафу, которые вдругъ перестали играть.

Но уже съ этой минуты въ миловидныхъ чертахъ Вѣрочки явно стало проступать больше внутренняго безпокойства, чѣмъ беззаботной веселости. Она поминутно заглядывала въ окно, переходила изъ комнаты въ другую, разспрашивая у каждаго входившаго о томъ, долго ли можетъ продолжаться такая мятель и можетъ ли быть, чтобы она не утихла во весь вечеръ. Каждый разъ, какъ тетя Соня выходила изъ дѣтскихъ комнатъ и, спустя нѣсколько времени, возвращалась назадъ,—она всегда встрѣчалась съ голубыми глазами племянницы; глаза эти пытливо, безпокойно допрашивали и какъ-бы говорили ей: —„Ты, тетя, ты ничего, я знаю; а вотъ что тамъ будетъ, что папа и мама говорятъ...“

*

Худенькая Зизи и неповоротливый Пафъ были гораздо довѣрчивѣе; они также выказывали безпокойство, но оно было совсѣмъ другого рода. Перебѣгая отъ однихъ часовъ къ другимъ, и часто взлѣзая на стулья, чтобы лучше видѣть, они поминутно приставали къ тетѣ и миссъ Бликсъ, упрашивая ихъ показать имъ, сколько времени на ихъ собственныхъ часахъ. Каждый входившій встрѣчаемъ былъ тѣмъ же вопросомъ:

— Который часъ?..

— Пятый въ началѣ.

— А скоро будетъ семь?

— Скоро; подождите немножко.

Дѣтскій обѣдъ прошелъ въ разспросахъ о томъ, какая погода и который часъ.

Тетя Соня напрасно употребляла всѣ усилія, чтобы дать мыслямъ дѣтей другое направленіе и внести сколько-нибудь спокойствія. Зизи и Пафъ, хотя и волновались, но еще вѣрили; что-жъ касается Вѣрочки,—извѣстіе о томъ, что мятель все еще продолжается, замѣтно усиливало ея безпокойство. По голосу тетки, по выраженію ея лица, она ясно видѣла, что было что-то такое, чего тетя не хотѣла высказывать.

Всѣ эти тревожныя сомнѣнія мигомъ однакожъ разсѣялись, когда тётя, исчезнувшая снова на четверть часа, возвратилась на дѣтскую половину; съ сіяющимъ лицомъ объявила она, что графъ и графиня велѣли одѣвать дѣтей и везти ихъ въ циркъ.

Вихремъ все поднялось и завозилось въ знакомой намъ комнатѣ, освѣщенной теперь лампами. Пришлось стращать, что оставятъ дома тѣхъ, кто не будетъ слушаться и не дастъ себя какъ слѣдуетъ закутать.

— Пойдемте теперь; надо проститься съ папà и мамà, проговорила тетя, взявъ за руку Вѣрочку и пропуская впередъ Зизи и Пафа.

Миссъ Бликсъ и учительница музыки закрывали шествіе.

Церемонія прощанья не была продолжительна.

Вскорѣ дѣтей вывели на парадную лѣстницу, снова внимательно осмотрѣли и прикутали и, наконецъ, выпустили на подъѣздъ, передъ которымъ стояла четырехмѣстная карета, полузанесенная снѣгомъ. Лакей величественнаго вида, съ галунами на шляпѣ и на ливреѣ, съ бакенами *à l'anglaise*, побѣлѣвшими отъ снѣга, поспѣшилъ отворить дверцы. Но главная роль въ данномъ случаѣ предоставлена была, впрочемъ, старому, сѣдому швейцару; онъ долженъ былъ брать дѣтей на руки и передавать ихъ сидѣвшимъ въ каретѣ тремъ дамамъ; и надо сказать, онъ исполнилъ такую обязанность не только съ замѣчательной осторожностью, но даже выразилъ при этомъ трогательное чувство умиленнаго благоговѣнія.

Дверцы кареты захлопнулись, лакей вскочилъ на козлы, карета тронулась и тутъ же почти исчезла посреди мятели.

VI.

Представленіе въ циркѣ еще не начиналось. Но на масляницѣ любятъ веселиться, и потому циркъ, особенно въ верхнихъ ярусахъ,—былъ набитъ посѣтителями. Изящная публика, по обыкновенію, запаздывала. Чаще и чаще, однако, у главнаго входа показывались господа въ пальто и шубахъ, офицеры и цѣлыя семейства съ дѣтьми, родственниками и гувернантками. Всѣ эти лица, при входѣ съ улицы въ ярко освѣщенную залу, начинали въ первую минуту мигать и прищуриваться, потомъ оправлялись, проходили—кто направо, кто налѣво вдоль барьера и занимали свои мѣста въ бенуарахъ и креслахъ.

Оркестръ гремѣлъ въ то же время всѣми своими трубами. Многіе, бравшіе билеты у кассы, суетились, думая уже, что началось представленіе. Но круглая арена, залитая свѣтомъ съ боковъ и сверху, гладко выглаженная граблями, была еще пуста.

Вскорѣ, бенуары, надъ ковровымъ обводомъ барьера, представили почти сплошную пеструю массу разнообразной публики. Яркіе туалеты мѣстами били въ глаза. Но главную часть зрителей на первомъ планѣ составляли дѣти. Точно цвѣтникъ разсыпался вокругъ барьера.

Между ними, всѣхъ милѣе была все-таки Вѣрочка!

Голубая атласная стеганая шляпка, обшитая лебяжьимъ пухомъ, необыкновенно шла къ ея нѣжнорозовому лицу съ ямочками на щекахъ и пепельнымъ волосамъ, ниспадавшимъ до плечъ, прикрытыхъ такою же стеганой голубой мантиліей. Стараясь сидѣть передъ публикой спокойно, какъ большая, она не могла, однакожъ, утерпѣть, чтобы не наклониться и не нашептывать что то Зизи и Пафу и не посматривать веселыми глазами на тетю Соню, сидѣвшую позади, рядомъ съ величественной миссъ Бликсъ и швейцаркой. Зизи была одѣта точь-въ-точь какъ сестра, — но подлѣ нея она какъ-то пропадала и дѣлалась менѣе замѣтной; къ тому же, при входѣ въ циркъ, ей вдругъ представилось, что будутъ стрѣлять и, не смотря на увѣщанія тети, она сохранила на лицѣ что-то кислое и вытянутое. Одинъ Пафъ, можно сказать,—былъ невозмутимъ; онъ оглядывалъ циркъ своими киргизскими глазками и раздувалъ губы. Не даромъ какой-то шутникъ, указывая на него сосѣдямъ, назвалъ его тамбовскимъ помѣщикомъ.

Неожиданно оркестръ заигралъ учащеннымъ темпомъ. Занавѣсь у входа въ конюшню раздвинулась и пропустила человѣкъ двадцать, одѣтыхъ въ красныя ливреи, обшитыя галуномъ; всѣ они были въ ботфортахъ, волосы на ихъ головахъ были круто завиты и лоснились отъ помады.

Сверху до низу цирка прошелъ одобрительный говоръ.

Представленіе начиналось.

Ливрейный персоналъ цирка не успѣлъ вытянуться, по обыкновенію, въ два ряда, какъ уже со стороны конюшень послышался пронзительный пискъ и хохотъ, и цѣлая ватага клоуновъ, кувыркаясь, падая на руки и взлетая на воздухъ, выбѣжала на арену.

Впереди всѣхъ былъ клоунъ съ большими бабочками на груди

и на спинѣ камзола. Зрители узнали въ немъ тотчасъ же любимца Эдвардса.

— Браво, Эдвардсъ! Браво! — Браво!... раздалось со всѣхъ сторонъ.

Но Эдвардсъ на этотъ разъ обманулъ ожиданія. Онъ не сдѣлалъ никакой особенной штуки; кувыркнувшись разъ-другой черезъ голову и пройдясь вокругъ арены, балансируя павлиньимъ перомъ на носу,—онъ быстро скрылся. Сколько потомъ ему ни хлопали и ни вызывали его, онъ не являлся.

На смѣну ему поспѣшно была выведена толстая бѣлая лошадь и выбѣжала, граціозно присѣдая на всѣ стороны, 15-лѣтняя дѣвица Амалія, которая чуть не убилась утромъ, во время представленія.

На этотъ разъ все прошло, однакожъ, благополучно.

Дѣвицу Амалію смѣнилъ жонглеръ; за жонглеромъ вышелъ клоунъ съ учеными собаками; послѣ нихъ танцовали на проволокѣ; выводили лошадь высшей школы, скакали на одной лошади безъ сѣдла, на двухъ лошадяхъ съ сѣдлами, — словомъ, представленіе шло своимъ чередомъ до наступленія антракта.

— Душечка тетя, теперь будетъ гуттаперчевый мальчикъ, да? спросила Вѣрочка.

— Да; въ афишѣ сказано: онъ во второмъ отдѣленіи... Ну, что, какъ? Весело ли вамъ, дѣточки?..

— Ахъ, очень, очень весело!.. О-че-нь!.. восторженно воскликнула Вѣрочка, но тутъ же остановилась, встрѣтивъ взглядъ миссъ Бликсъ, которая укоризненно покачала головою и принялась поправлять ей мантилью.

— Ну, а тебѣ, Зизи?.. тебѣ, Пафъ,—весело ли?..

— А стрѣлять будутъ? спросила Зизи.

— Нѣтъ, успокойся; сказано: не будутъ!

Отъ Пафа ничего нельзя было добиться; съ первыхъ минутъ антракта все вниманіе его было поглощено лоткомъ съ лакомствами и яблоками, появившимся на рукахъ разнощика.

Оркестръ снова заигралъ, снова выступили въ два ряда красныя ливреи. Началось второе отдѣленіе.

— Когда же будетъ гуттаперчевый мальчикъ? не переставали спрашивать дѣти каждый разъ, какъ одинъ выходъ смѣнялъ другой:—когда же онъ будетъ?

— А вотъ, сейчасъ...

И дѣйствительно. Подъ звуки веселаго вальса портьера раздвинулась и показалась рослая фигура акробата Беккера, державшаго за руку худенькаго, бѣлокураго мальчика.

Оба были обтянуты въ трико тѣлеснаго цвѣта, обсыпанное блестками. За ними два прислужника вынесли длинный золоченый шесть, съ желѣзнымъ перехватомъ на одномъ концѣ. За барьеромъ, который тотчасъ же захлопнулся со стороны входа, сгруппировались, по обыкновенію, красныя ливреи и часть циркового персонала. Въ числѣ послѣдняго мелькало набѣленное лицо клоуна съ красными пятнами на щекахъ и большою бабочкою на груди.

Выйдя на середину арены, Беккеръ и мальчикъ раскланялись на всѣ стороны, послѣ чего Беккеръ приставилъ правую руку къ спинѣ мальчика и перекувырнулъ его три раза въ воздухѣ. Но это было, такъ сказать, только вступленіе.

Раскланявшись вторично, Беккеръ поднялъ шестъ, поставилъ его перпендикулярно, укрѣпилъ толстый его конецъ къ золотому поясу, обхватывавшему животъ, и началъ приводить въ равновѣсіе другой конецъ съ желѣзнымъ перехватомъ, едва мелькавшимъ подъ куполомъ цирка.

Приведя такимъ образомъ шестъ въ должное равновѣсіе, акро-

батъ шепнулъ нѣсколько словъ мальчику, который взлѣзъ ему сначала на плечи, потомъ обхватилъ шесть тонкими руками и ногами и сталъ постепенно подыматься кверху.

Каждое движеніе мальчика приводило въ колебаніе шесть и передавалось Беккеру, продолжавшему балансировать, переступая съ одной ноги на другую.

Громкое браво раздалось въ залѣ, когда мальчикъ достигъ, наконецъ, верхушки шеста и послалъ оттуда поцѣлуй.

Снова все смолкло, кромѣ оркестра, продолжавшаго играть вальсъ.

Мальчикъ, между тѣмъ, придерживаясь къ желѣзной перекладинѣ, вытянулся на рукахъ, и тихо, тихо началъ выгибаться назадъ, стараясь пропустить ноги между головою и перекладиной; на минуту можно было видѣть только его свѣсившіеся назадъ бѣлокурые волосы и усиленно сложенную грудь, усыпанную блестками.

Шесть колебался изъ стороны въ сторону, и видно было, какихъ трудовъ стоило Беккеру продолжать держать его въ равновѣсіи.

— Браво!... браво!!... раздалось снова въ залѣ.

— Довольно!... довольно!... послышалось въ двухъ-трехъ мѣстахъ.

Но крики и аплодисменты наполняли весь циркъ, когда мальчикъ снова показался сидящимъ на перекладинѣ и послалъ оттуда поцѣлуй.

Беккеръ, не спускавшій глазъ съ мальчика, шепнулъ снова что-то. Мальчикъ немедленно перешелъ къ другому упражненію. Придерживась на рукахъ, онъ началъ осторожно спускать ноги и ложиться на спину. Теперь предстояла самая трудная штука: слѣдовало сначала лечь на спину, уладиться на перекладинѣ

такимъ образомъ, чтобы привести ноги въ равновѣсіе съ головою, и потомъ вдругъ, неожиданно сползти на спинѣ назадъ и повиснуть въ воздухѣ, придерживаясь только на подколѣнкахъ.

Все шло, однакожь, благополучно. Шестъ, правда, сильно колебался, но гуттаперчевый мальчикъ былъ уже на половинѣ дороги; онъ замѣтно перегибался все ниже и ниже и начиналъ скользить на спинѣ.

— Довольно! Довольно! Не надо! настойчиво прокричало нѣсколько голосовъ.

Мальчикъ продолжалъ скользить на спинѣ и тихо, тихо спускался внизъ головою...

Внезапно что-то сверкнуло и завертѣлось, сверкая въ воздухѣ; въ ту же секунду послышался глухой звукъ чего-то упавшаго на арену.

Въ одинъ мигъ все заволновалось въ залѣ. Часть публики поднялась съ мѣстъ и зашумѣла; раздались крики и женскій визгъ; послышались голоса, раздраженно призывавшіе доктора. На аренѣ также происходила сумятица; прислуга и клоуны стремительно перескакивали черезъ барьеръ и тѣсно обступили Беккера, который вдругъ скрылся между ними. Нѣсколько человѣкъ подхватили что-то и, пригибаясь, спѣшно стали выносить къ портьерѣ, закрывавшей входъ въ конюшню.

На аренѣ остался только длинный золоченый шестъ съ желѣзной перекладиной на одномъ концѣ.

Оркестръ, замолкнувшій на минуту, снова вдругъ заигралъ по данному знаку; на арену выбѣжало, взвизгивая и кувыркаясь, нѣсколько клоуновъ; но на нихъ уже не обращали вниманія. Публика отовсюду тѣснилать къ выходу.

Не смотря на всеобщую суету, многимъ бросилась въ глаза хорошенькая бѣлокурая дѣвочка въ голубой шляпкѣ и мантильѣ; обвивая руками шею дамы въ черномъ платьѣ и истерически ры-

дая, она не переставала кричать во весь голосъ: „ай, мальчикъ! мальчикъ!“...

Положеніе тёти Сони было очень затруднительно. Съ одной стороны, сама она была крайне взволнована; съ другой — надо было успокоивать истерически рыдавшую дѣвочку; съ третьей — надо было торопить миссъ Бликсъ и швейцарку, копавшихся съ Зизи и Пафомъ; наконецъ самой надо было одѣться и отыскать лакея.

Все это однакожъ уладилось и всѣ благополучно достигли кареты.

Разсчеты тети Сони на дѣйствіе свѣжаго воздуха, на перемѣщеніе въ карету нисколько не оправдались; затрудненія только возрасли. Вѣрочка, лежа на ея колѣняхъ, продолжала, правда, рыдать, попрежнему вскрикивая помянутно: — „ай, мальчикъ! мальчикъ!..“ но Зизи стала жаловаться на судорогу въ ногѣ, а Пафъ плакалъ, не закрывая рта, валился на всѣхъ и говорилъ, что ему спать хочется... Первымъ дѣломъ тети, какъ только пріѣхали домой, было раздѣть скорѣе дѣтей и уложить ихъ на постель. Но этимъ испытанія ея не кончились.

Выходя изъ дѣтской, она встрѣтилась съ сестрой и графомъ.

— Ну что? какъ? какъ дѣти! спросили графъ и графиня.

Въ эту самую минуту изъ спальной послышалось рыданье, и голосъ Вѣрочки снова прокричалъ: — „Ай, мальчикъ, мальчикъ!..“

— Что такое!... тревожно спросилъ графъ.

Тетя Соня должна была разсказать обо всемъ случившемся.

— *Ah mon Dieu*! воскликнула графиня, мгновенно ослабѣвая и опускаясь въ ближайшее кресло.

— Графъ выпрямился и началъ ходить по комнатѣ.

— Я это зналъ!... Вы всегда такъ! Всегда!... проговорилъ онъ, передвигая бровями не то съ видомъ раздраженья, не то тоскливо: — всегда такъ! Всегда выдумаютъ какія-то... циркъ; гм!!... очень нужно! *quelle idée!!*... Какой-то тамъ негодяй сор-

вался... (графъ видимо былъ взволнованъ, потому что никогда, по принципу, не употреблялъ рѣзкихъ, вульгарныхъ выраженій),— сорвался какой-то негодяй и упалъ... какое зрѣлище для дѣтей!... Гм!... наши дѣти особенно такъ нервны; Вѣрочка такъ впечатлительна... Она теперь цѣлую ночь спать не будетъ...

— Не послать ли за докторомъ? робко спросила графиня.

— *Tu crois? Tu penses? Quelle idée*!.. подхватилъ графъ, пожимая плечами и продолжая отмѣривать полъ своими длинными ногами...

Не безъ труда успокоивъ сестру и графа, тетя Соня вернулась въ дѣтскую.

Тамъ уже наступила тишина.

Часа два спустя, однакожъ, когда въ домѣ всѣ огни были погашены и все окончательно угомонилось, — тетя Соня накинула на плечи кофту, зажгла свѣчку и снова прошла въ дѣтскую. Едва переводя духъ, бережно ступая на цыпочкахъ, приблизилась она къ кровати Вѣрочки и подняла кисейный пологъ.

Разбросавъ по подушкѣ пепельные свои волосы, подложивъ ладонь подъ раскраснѣвшуюся щечку, Вѣрочка спала; но сонъ ея не былъ покоенъ. Грудь подымалась неровно подъ тонкой рубашкой, полураскрытыя губки судорожно шевелились, а на щекѣ, лоснившейся отъ недавнихъ слезъ, одна слезинка еще оставалась и тихо скользила на углу рта.

Тетя Соня умиленно перекрестила ее; сама потомъ перекрестилась подъ кофтой, закрыла пологъ и тихими, неслышными шагами вышла изъ дѣтской...

VII.

Ну... А тамъ?... Тамъ, въ концѣ Караванной... Тамъ, гдѣ ночью зданіе цирка чернѣетъ всей своей массой и теперь едва виднѣется изъ-за падающаго снѣга, — тамъ что?...

Тамъ также давно все темно и тихо.

Во внутреннемъ корридорѣ только слабымъ свѣтомъ горитъ ночникъ, прицѣпленныйкъ стѣнѣ подъ обручами, обтянутыми бумажными цвѣтами. Онъ освѣщаетъ на полу тюфякъ, который разстилается для акробатовъ, когда они прыгаютъ съ высоты; на тюфякѣ лежитъ ребенокъ съ переломленными ребрами и разбитою грудью...

Ночникъ освѣщаетъ его съ головы до ногъ; онъ весь обвязанъ и забинтованъ; на головѣ его также повязка; изъ-подъ нея смотрятъ бѣлки полузакрытыхъ, потухающихъ глазъ.

Вокругъ, направо, налѣво, подъ потолкомъ, все окутано непроницаемою темнотою и все тихо.

Изрѣдка раздается звукъ копытъ изъ конюшни, или доходитъ изъ отдаленнаго чулана безпокойное взвизгиванье одной изъ ученыхъ собакъ, которой утромъ во время представленья придавили ногу.

Время отъ времени слышатся также человѣческіе шаги... Они приближаются... Изъ мрака выступаетъ человѣкъ съ лысой головою, съ лицомъ выбѣленнымъ мѣломъ, бровями перпендикулярно выведенными на лбу и красными кружками на щекахъ; накинутое на плечи пальто позволяетъ разсмотрѣть большую бабочку съ блестками, нашитую на груди камзола; онъ подходитъ къ мальчику, нагибается къ его лицу, прислушивается, всматривается...

Но клоунъ Эдвардсъ очевидно не въ нормальномъ состояніи. Онъ не въ силахъ выдержать до воскренья обѣщанья, даннаго режиссеру, не въ силахъ бороться противъ тоски, имъ овладѣвшей; его настойчиво опять тянетъ въ уборную, къ столу, гдѣ едва виднѣется почти опорожненный графинъ водки. Онъ выпрямляется, потряхиваетъ головою и отходитъ отъ мальчика нетвердыми шагами. Обликъ его постепенно затушевывается окружающею темнотою, пропадаетъ наконецъ вовсе—и снова все вокругъ охватывается мракомъ и тишиною...

На слѣдующее утро, афишка цирка не возвѣщала упражненій „гуттаперчеваго мальчика". Имя его и потомъ не упоминалось; да и нельзя было: гуттаперчеваго мальчика уже не было на свѣтѣ.



BAYERISCHE STAATS-BIBLIOTHEK MUENCHEN

[illegible]

[illegible]

[illegible]



Bayerische StaatsBibliothek
Münchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliothek

Grigorovič, Dmitrij Vasiljevič

Polnoe sobranie sočinenij Dm. Vas. Grigoroviča

Bd.: 9

1890

P.o.rel. 3073 b-9
urn:nbn:de:bvb:12-bsb11679058-9